

THOMAS WOLFE



THE WEB AND THE ROCK

"Wolfe was a genius."

—SATURDAY REVIEW OF LITERATURE

- [Томас Вулф](#)

- [ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА](#)
- [Книга первая. Паутина и корень](#)
 - [1. РЕБЕНОК-КАЛИБАН](#)
 - [2. ТРИ ЧАСА](#)
 - [3. ДВА РАЗРОЗНЕННЫХ МИРА](#)
 - [4. СИЯЮЩИЙ ГОРОД](#)
- [Книга вторая. Гончая тьмы](#)
 - [5. ТЕТЯ МЭГ И ДЯДЯ МАРК](#)
 - [6. УЛИЦА ДЕТСТВА](#)
 - [7. МЯСНИК](#)
 - [8. И РЕБЕНОК, И ТИГР](#)
 - [9. ВЗГЛЯД НА ДОМ С ГОРЫ](#)
- [Книга третья. Паутина и мир](#)
 - [10. ОЛИМП В КЭТОУБЕ](#)
 - [11. ПОХОЖИЙ НА СВЯЩЕННИКА](#)
 - [12. СВЕТОЧ](#)
 - [13. СКАЛА](#)
 - [14. ПАТРИОТЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА](#)
 - [15. GOTTER DAMMERUNG\[9\]](#)
 - [16. В ОДИНОЧЕСТВЕ](#)
- [Книга четвертая. Чудесный год](#)
 - [17. СУДНО](#)
 - [18. ПИСЬМО](#)
 - [19. ПОЕЗДКА](#)
 - [20. ТЕАТР](#)
 - [21. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ](#)
 - [22. ВМЕСТЕ](#)
 - [23. ДОМ ЭСТЕР](#)
 - [24. «ЭТА ВЕЩЬ НАША»](#)
 - [25. НОВЫЙ МИР](#)
 - [26. ТКАНЬ ПЕНЕЛОПЫ](#)
 - [27. ЗАВЕДЕНИЕ ШТЕЙНА И РОЗЕНА](#)
 - [28. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АПРЕЛЯ](#)
- [Книга пятая. Жизнь и литература](#)
 - [29. КОЛЬЦО И КНИГА](#)
 - [30. ПЕРВАЯ ВЕЧЕРИНКА](#)
 - [31. МРАЧНАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ](#)
 - [32. ФИЛАНТРОПЫ](#)
 - [33. ОЖИДАНИЕ СЛАВЫ](#)
 - [34. СЛАВА МЕДЛИТ](#)
 - [35. НАДЕЖДА НЕ УМИРАЕТ](#)
- [Книга шестая. Горькая тайна любви](#)

-
- [36. ВИДЕНИЕ СМЕРТИ В АПРЕЛЕ](#)
- [37. ССОРА](#)
- [38. СЪЕДЕННЫЕ САРАНЧОЙ ГОДЫ](#)
- [39. РАСКАЯНИЕ](#)
- [40. ПОГОНЯ И ПОИМКА](#)
- [41. ПЛЕТЕЛЬЩИК СНОВА ЗА РАБОТОЙ](#)
- [42. РАЗРЫВ](#)
- [43. ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО ЭСТЕР](#)
- [Книга седьмая. Oktoberfest \[18\] *](#)
 -
 - [44. ВРЕМЯ – ЭТО МИФ](#)
 - [45. ПАРИЖ](#)
 - [46. ПАНСИОН В МЮНХЕНЕ](#)
 - [47. ПОХОД НА ЯРМАРКУ](#)
 - [48. БОЛЬНИЦА](#)
 - [49. МРАЧНЫЙ ОКТЯБРЬ](#)
 - [50. ЗЕРКАЛО](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)

- [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
-

Томас Вулф

Паутина и скала

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Это роман об открытии одним человеком жизни и мира – не мгновенном, внезапном, не подобно некоему астроному, «чьим взорам новое открылось светило», а в процессе поисков, через неизбежные ошибки и испытания, через фантазию и иллюзии, через ложь и собственное неразумие, через просчеты и заблуждения, эгоизм, честолюбие, надежды, веру, путаницу; он во многом схож с любым из людей тем, что переживает, познает, и каким становится.

Надеюсь, главный герой отобразит своим жизненным опытом каждого из нас – этот впечатлительный молодой человек не только пребывает в разладе со своим городом, семьей, окружающим мирком; не только влюблен и потому сосредоточен на маленькой вселенной своей любви, которую принимает за всю вселенную – кроме этих черт ему присущи и многие другие. Черты эти, хоть и весьма существенны, подчинены замыслу книги; юностью, влюбленностью, жизнью в большом городе не исчерпывается приключение ученичества и открывания.

Таким образом, роман этот не просто отход от тех книг, которые я написал в прошлом, но подлинное духовное и художественное обновление. Он самый объективный из всех, мною написанных. Я вывел на его страницы персонажей, которые складываются в ясную картину из всех отражений и отзвуков увиденного, прочувствованного, продуманного, пережитого, знания многих людей. Через свободное творчество я стремился дать выход всей мощи своей фантазии.

И, наконец, в романе с начала до конца присутствует сильный элемент сатирического преувеличения: этого требует не только характер сюжета – «наивный человек» познает жизнь, – но и характер жизни, особенно американской.

ТОМАС ВУЛФ

Нью-Йорк, май 1938 г.

Заставить бы язык сказать больше, чем он способен произнести!

Заставить бы мозг постичь больше, чем он способен осмыслить!

Вплести бы в бессмертную глупость небольшую словесную тесьму, обнажить сокрытые в непроглядных глубинах корни жизни какой-нибудь сотней тысяч волшебных слов, сильных, как моя жажда, излить на трехстах страницах итог своей жизни, – а потом пусть смерть уносит меня, ибо я добился своего: я утолил жажду, я победил смерть!

1. РЕБЕНОК-КАЛИБАН

До самой смерти Джона Уэббера, отца Джорджа, в городе Либия-хилл находились непримиримые люди, отзывавшиеся о нем как о человеке, который не только бросил жену с ребенком, но и увенчал свое прегрешение уходом к другой женщине. В основном эти факты верны. Что до их трактовки, могу лишь сказать, что предпочел бы предоставить окончательное суждение Всемогущему Богу или тем Его многочисленным представителям, которых Он, видимо, назначил Своими глашатаями на земле. В Либия-хилле их полно, и я готов предоставить слово им. Со своей стороны, могу только подтвердить, что голые факты ухода Джона Уэббера от жены не выдуманы, и отрицать их никто из его друзей никогда не пытался. Кстати, стоит отметить, что друзья у Джона Уэббера были.

Джон Уэббер, северянин, пенсильванец голландского происхождения, приехал в Старую Кэтоубу в 1881 году. Он был каменщиком, подрядчиком, и его пригласили руководить строительством отеля, который возводили Коркораны на Белмонт-хилле, в центре города. Коркораны были богачами, они приехали в этот край, накупили земельных участков и стали строить большие планы, в которых отель занимал центральное место. Строительство железной дороги близилось к концу. И всего года два назад Джордж Уиллетс, мультимиллионер-северянин, купил несколько тысяч акров горных дебрей и привез своего архитектора для проектирования громадного загородного имения, равного которому не было во всей Америке. Новые люди приезжали в город постоянно, на улицах появлялись новые лица. Почти все считали, что близятся великие события и Либия-хиллу уготована блестящая судьба.

То было время первых шагов, затерянный горный поселок с населением в несколько тысяч человек превращался в оживленный современный город с железной дорогой, с растущим количеством богатых людей, которые, прослышав о красотах той местности, приезжали туда жить.

Тогда-то Джон Уэббер приехал в Либия-хилл, остался, добился скромного преуспевания. И оставил на городе свою печать. Говорили, что нашел он это место поселком с деревянными домами, а оставил процветающим кирпичным городом. Такой это был человек. Любил все крепкое и стойкое. Когда к нему обращались за советом относительно строительства нового здания и спрашивали, какой материал будет наилучшим, он неизменно отвечал: «Кирпич».

Поначалу в Либия-хилле идея строить из кирпича была в новинку, и с минуту, покуда мистер Уэббер бесстрастно ждал, спрашивающий не произносил ни слова; потом удивленно, словно сомневаясь, что расслышал правильно, переспрашивал:

– Кирпич?

– Да, сэр, – непреклонно отвечал мистер Уэббер, – кирпич. Он в конечном счете обойдется вам не намного дороже леса, и, – говорил он негромко, но убежденно, – это единственный подходящий материал для строительства. Его нельзя сгноить, он не растрескается и не покоробится, достаточно прочен, в доме будет тепло зимой, прохладно летом, и пятьдесят лет спустя, собственно, даже и сто, дом будет все так же стоять. Не люблю я лесоматериалов, – упрямо продолжал мистер Уэббер, – не люблю деревянных домов. Я приехал из Пенсильвании, где знают, как строить. Да что там, – говорил он в тех редких случаях, когда у него проявлялась хвастливость, – у нас в Пенсильвании каменные сараи построены лучше и стоят дольше, чем любой дом в этих краях. На мой взгляд, для строительства дома годятся только два материала – кирпич или камень. И будь моя воля, – добавлял он с легкой угрюмостью, – строил бы только из них.

Но мистер Уэббер не всегда мог поступать по своей воле. Со временем условия

конкуренции вынудили его присоединить к кирпичному складу лесосклад, но то было просто-напросто неохотной уступкой условиям времени и места. Его настоящей, первой, глубокой, неизменной любовью являлся кирпич.

И в самом деле, даже сама внешность Джона Уэббера, несмотря на физические черты, казавшиеся с первого взгляда странными и даже несколько настораживающими, наводила на мысль о достоинствах, столь же стойких и основательных, как дома, которые он строил. Роста он был чуть выше среднего, однако производил впечатление более низкого, чем на самом деле. Вызывалось это целым рядом причин, главной была легкая сутулость. Было нечто почти обезьянье в его коротких, чуть выгнутых наружу ногах, широких, выглядевших плоскими ступнях, мощном бочкообразном торсе и громадных, длинных, как у гориллы, руках, огромные кисти которых болтались возле колен. Короткая толстая шея словно бы уходила в широкие плечи, короткие рыжеватые волосы начинали расти примерно в дюйме от глаз. Он еще тогда начинал лысеть, и на макушке у него была широкая плешь. Имел привычку, выставив голову вперед, смотреть из-под необычайно густых, кустистых бровей с выражением невозмутимого внимания. Но когда этого человека узнавали получше, первое впечатление его легкого сходства с обезьяной быстро забывалось. Потому что, когда Джон Уэббер шел по улице в костюме из добротного сукна, строгом, хорошо скроенном, с пиджаком-визиткой, в отглаженной белой рубашке с накрахмаленными манжетами, с широким воротничком, в завязанном толстым узлом галстукке из черного шелка и в замечательной жемчужно-серой шляпе дерби, то выглядел подлинным символом солидной респектабельности среднего класса.

И все же, к изумлению всего города, этот человек покинул жену. А что касается ребенка, тут требуется особое объяснение. В общих чертах эта история сводится к следующему:

В 1885 году Джон Уэббер познакомился с Эмилией Джойнер, молодой жительницей Либия-хилла. Она была дочерью Лафайета, или Фейта, как его прозвали, Джойнера, который через два года после Гражданской войны привез туда семью из горного округа Зибулон. Женился Джон Уэббер на Эмилии в 1885 или в 1886 году. Пятнадцать лет у них не было детей, и лишь в 1900-м родился сын Джордж. А в 1908-м, после двадцати с лишним лет супружеской жизни, Уэббер жену бросил. Года за два до того он познакомился с молодой женщиной, супругой некоего Бартлетта, к 1908 году их связью стали возмущаться чуть ли не в открытую, тогда он ушел от жены и потом не делал никакой тайны из этого романа. Ему шел уже шестой десяток, женщина была двадцатью годами моложе и писаной красавицей. Они прожили вместе вплоть до его смерти в 1916 году.

Нельзя отрицать, что брак Уэббера оказался неудачным. Я отнюдь не собираюсь осуждать женщину, на которой он женился; какими бы ни были ее недостатки, она не могла от них избавиться. И, пожалуй, самым большим недостатком являлось то, что Эмилия принадлежала к семейству в высшей степени обособленному, провинциальному, самодовольному – пуританскому в самом узком и отвратительном смысле слова. Привитые ей в раннем детстве суждения и взгляды настолько укоренились в ее натуре, что никакой жизненный опыт, никакое развитие не могли хотя бы умерить их.

Отец Эмилии мог торжественно и беспощадно заявить, что ему «лучше видеть свою дочь мертвой в гробу, чем замужем за пьющим». А Джон Уэббер пил. Более того, отец, если б кто посмел высказать столь чудовищное предположение, вполне мог подкрепить только что процитированное выражение христианских чувств, объявив, что ему «лучше видеть свою дочь в могиле, чем замужем за разведенным». А Джон Уэббер был разведенным.

Это впоследствии явилось причиной несказанных страданий – возможно, корнем всех неладов. И, видимо, было единственным, что он утаил от нее из своей прошлой жизни. В начале семидесятых годов, будучи еще молодым человеком, едва получившим право голосовать, Джон

женился на одной девушке из Балтимора. О своей бывшей жене он упомянул одному из близких друзей лишь однажды: сказал, что она была всего двадцатилетней, «красивой, будто картинка» и неисправимой кокеткой. Супружеская жизнь их прекратилась почти столь же внезапно, как и началась – они прожили вместе меньше года. К тому времени обоим стало ясно, что они совершили губительную ошибку. Жена уехала домой к родителям и вскоре развелась с ним.

В восьмидесятых годах, да, собственно говоря, и значительно позже, в таком городке, как Либия-хилл, развод считался постыдным. Джордж Уэббер впоследствии говорил, что даже в его детстве о разведенных разговаривали вполголоса, и когда кто-нибудь, прикрываясь ладошкой, шептал, что такая-то является «соломенной вдовой», все считали, что она не только не отличается строгостью поведения, но стоит почти на одном уровне с обыкновенной проституткой

В восьмидесятых годах это мнение было до того сильным, что на разведенных налагали позорное клеймо, такое же, как на тех, кто сидел в тюрьме за уголовное преступление. Убийство могли простить – и прощали – гораздо легче, чем развод. Преступления против личности были не редкостью, многие совершали убийства и либо бежали, либо, отбыв срок, возвращались в город и становились уважаемыми гражданами.

Таковыми вот были семья и окружение той, на ком женился Джон Уэббер. И с уходом к миссис Бартлетт он подвергся отчуждению от всего упрямого, пуританского клана Джойнеров. Эмилия вскоре умерла. После ее смерти связь Уэббера с миссис Бартлетт продолжалась, к злословию горожан и ханжескому возмущению родственников покойной.

Марк Джойнер, старший брат Эмилии, прошедший детство и юность в горькой нищете, нажил скромный достаток, торгуя скобяными товарами. Он жил вместе с женой по имени Мэг в доме из ярко-красного кирпича с чопорными, диковинными бетонными колоннами по фасаду – в доме все было диковинным, чопорным, уродливым, наглым и режущим глаз, как новоприобретенное богатство. Мэг была набожной баптисткой, и все праведное негодование на откровенно скандальную жизнь Джона Уэббера не ограничивалось у нее злобными речами. Она упорно донимала Марка, денно и нощно твердила ему о долге перед сыном покойной сестры, и в конце концов, с полным сознанием, что их одобряют все порядочные люди, они отобрали Джорджа у отца.

Мальчик был привязан к отцу, но Джойнеры сделали его одним из них. И с тех пор по решению суда содержали.

Детство Джорджа Уэббера у приехавшей с гор родни было, несмотря на его жизнерадостность, тоскливым и мрачным. В сущности, мальчик являлся бедным родственником, приемльем. Жил он не в прекрасном новом доме вместе с дядей Марком, а в маленьком, одноэтажном, деревянном, который собственноручно срубил его дедушка Лафайет Джойнер, перебравшись сорок лет назад в город. Стоял этот домик на одном участке с новым кирпичным домом Марка Джойнера, справа и чуть в глубине, заслоненный и придавленный более величественным строением.

Там сынишка Джона Уэббера и рос под приглядом старой, олицетворявшей судьбу карги, тети Мэй, вековухи, старшей сестры его матери, первой из детей старого Лафайета. Родилась она за тридцать лет до Эмилии, ей шел седьмой десяток, но подобно некоей ведьме, которая вечно пророчит беду, но никогда не умирает, казалась нестареющей и бессмертной. Эта роковая старая тетя, протяжные голоса Джойнеров постепенно воссоздавали мрачную картину мира его матери, ее времени, всей вселенной джойнеровского клана, и они постепенно, мрачно, со смутным, но потрясающим ужасом входили в память, разум, душу мальчика. Зимними вечерами, когда тетя Мэй хриплым, монотонным голосом рассказывала истории при свете

керосиновой лампы – в дедовский коттедж так и не провели электричества – Джорджу слышались давным-давно отзвучавшие в горах голоса, рев ветра, безутешная печаль ушедших мартовских дней на изрытых колеями глинистых дорогах в унылых холмах сто лет назад:

Кто-то давным-давно лежал мертвым в горной хижине. Стояла ночь. Слышалось завывание мартовского ветра. Мальчик оказался в хижине. Грубые половицы закрипели под его ногами. Свет исходил только из печки от горящих легким трепещущим пламенем смолистых сосновых дров, от крошащихся углей. У стены на кровати лежал прикрытый простыней неизвестный мертвец. А возле печки с трепещущим в ней огнем слышались протяжные, столетней давности голоса Джойнеров. Джойнеры не могли умереть, они присутствовали при смерти других, словно олицетворения рока или предсказания. И в комнате, где сидел мальчик, внезапно появилось легкое пламя сосновых поленьев, трепещущее отсветами на лицах Джойнеров, запахи камфоры и скипидара – некий тягучий, мрачный ужас в кровотокающей памяти мальчика, которого он не мог выразить словами.

И во множестве подобных картин, в каждой интонации тети Мэй, рассказывающей о том, что видела и помнила, мальчик слышал давным-давно отзвучавшие в горах голоса, видел быстро проплывающие по дикой местности темные тени, прислушивался к дикому ледяному отчаянию мартовских ветров, завывающих в сухой траве горных полян за месяц до прихода весны. Прошрое являлось ему зимними ночами в комнате с догорающим камином, летом – на веранде дедовского домика, где тетя Мэй сидела с другими старыми каргами, связанными с ней кровным родством, за нескончаемыми историями смерти, рока, ужаса и давным-давно сгинувших в горах людей. Являлось во всем, что они говорили и делали, в мрачном образе мира, из которого они вышли, в чем-то давным-давно сгинувшем среди этих гор.

Джойнеры всегда были правы, нестигаемо правы, торжествовали над смертью и всеми выпавшими на их долю напастями. А он, их родственник, временами чувствовал себя прирожденным преступником, парией, недоступным миру их нестигаемой правоты, незапятнанной чистоты, непогрешимой добродетели. Они наполняли его безымянным ужасом того утраченного, уединенного мира в старых забытых холмах, из которого вышли, какой-то ненавистью, каким-то невыразимым страхом.

Отец его был плохим. Мальчик это знал. Он тысячу раз слышал о постыдном поведении отца. История отцовских преступлений, отцовской греховности, отцовской распутной, нечестивой, безнравственной жизни запечатлелась в его сердце. И все же образ отцовского мира был для него хорошим, приятным, исполненным тайных тепла и радости. Все части города, все места, земли, вещи, связанные с жизнью отца, казались ему дышащими счастьем и весельем. Мальчик знал, что это дурно. Он с горечью чувствовал, что опорочен отцовской кровью в жилах. Сознал с трагической удрученностью, что недостойн быть торжествующим над смертью, неизменно безупречным, олицетворяющим предсказание или рок Джойнером. Джойнеры вызвали у него отчаянное чувство безнадежного одиночества. Он знал, что недостойн их, и постоянно думал об отцовской жизни, о греховной теплоте и блеске отцовского мира.

Мальчик часто лежал на траве перед прекрасным новым домом дяди в золотисто-зеленой послеобеденной дремотности и постоянно вспоминал об отце, думая: «Сейчас он там. В это время дня он, видимо, там». И дальше: «Теперь он, наверное, идет по тенистой стороне улицы – к окраине – мимо сигарной лавки. Вот он вошел туда. Я ощущаю запах хороших сигар. Он опирается на прилавок, поглядывает на улицу и разговаривает с Эдом Бэттлом, продавцом. Возле двери стоит деревянная статуя индейца, люди снуют туда-сюда по узкому прохладному тротуару. Вот в лавку заходит отцовский друг Мак Хэггертти. Там есть и другие мужчины, они курят сигары и жуют крепкий ароматный табак...».

«Рядом парикмахерская, щелканье ножниц, запах одеколона, ваксы и хорошей кожи, несмолкаемые протяжные голоса парикмахеров. Теперь он заходит побриться. Я слышу звучный, чистый скрип бритвы по щетине на его лице. Вот люди обращаются к нему. Слышу дружелюбные голоса мужчин, вздымающиеся в приветствии. Все эти люди из мира моего отца, греховного, блестящего, соблазнительного, о котором я столько думаю. Все эти мужчины, что курят сигары, жуют табак и ходят в парикмахерскую Формена, знают моего отца. Добродетельные люди вроде Джойнеров ходят по другой стороне улицы – солнечной в послеполуденное время, где блеск и свет...».

«Вот он побрился. И быстро заходит за угол в заведение О'Коннела. Плетеные двери закрываются за ним. Сразу же ощущаются хмельные пары пива, запахи опилок, лимона, ржаного виски и горькой настойки «Ангостура». Лениво вертятся деревянные лопасти вентилятора, он бросает взгляд на большую отполированную стойку, громадные зеркала, бутылки, на блестящие протертые стаканы, бронзовую подставку для ног со вмятинами от тысяч башмаков, и Тим О'Коннел, с тяжелым подбородком, опоясанный белым фартуком, подается к нему...».

«Он снова выходит на улицу. Вижу, как идет по ней. Вот он в платной конюшне. Вижу стены, обитые ржавой рифленой жестью, деревянный уклон, выщербленный множеством подков, большие копыта, топающие по деревянным половицам, ударяющие быстро, небрежно о стенки стойл, полы с конскими яблоками, чистые, сухие хвосты на вычищенных, лоснящихся гнедых крестцах, негров, хрипло разговаривающих с лошадьми грубовато-ласковым тоном, с грубыми шутками, с пониманием лошадей, людей вперемешку с лошадьми в тесноте: «Иди сюда! Куда поперлась?». Резиновые шины на колесах карет и колясок, плавно шелестящие по истоптанному полу... Тесную контору слева, где отец любит посидеть, поболтать со служащими конюшни, маленький обшарпанный сейф, старое шведское бюро, скрипучие стулья, маленькую горячую железную печку, грязные, немые окна, там пахнет кожей, старыми потрепанными гробсбухами, упряжью...».

Так мальчик непрестанно думал об отцовской жизни, о местах, где бывает отец, о его маршрутах, обо всей очаровательной картине отцовского мира.

В детстве он, по сути дела, мучительно разрывался надвое. Вынужденный жить в окружении, в семье, которые ненавидел со всем врожденным чувством отвращения и неприязни, мальчик постоянно мечтал о другой вселенной, созданной его ярким воображением. И поскольку Джорджу постоянно твердили, что ненавистный ему мир хорош, превосходен, а тот, о котором он втайне мечтал, порочен и отвратителен, у него развилось чувство вины, терзавшее его много лет. Восприятие *места*, ощущение его своеобразия, ставшие впоследствии у Джорджа очень сильными, проистекали, как он считал, от детских ассоциаций, от непреодолимого убеждения или предрассудка, что существуют места «хорошие» и «плохие». Ощущение это было развито у него в детстве до того остро, что в его маленьком мире не существовало улицы или дома, склона или ложбины, переулка или заднего двора, не окрашенных этим предрассудком. В городе были улицы, по которым он с трудом мог ходить, были дома, мимо которых не мог пройти без холодного отвращения или неприязни.

К двенадцати годам Джордж создал некую географию своей вселенной, окрашенную сильными интуитивными симпатиями и антипатиями. Картина «хорошей» стороны вселенной, той самой, которую Джойнеры называли плохой, была почти полностью так или иначе связана с его отцом. Состояла она из таких своеобразных мест, как отцовский кирпично-лесной склад; табачная лавка Эда Бэттла – там он видел отца каждое воскресенье по пути в воскресную школу; парикмахерская Джона Формена на северо-западном углу Площади, с седыми и

черными головами, с хорошо знакомыми лицами негров-парикмахеров – Джон Формен был негром, отец Джорджа Уэббера заходил к нему побриться почти ежедневно; платная конюшня Миллера и Кэшмена с обитыми жестью стенами и маленькой пыльной конторой – еще одно место встреч с отцом; ларьки и палатки городского рынка, представлявшего собой большой, покатый бетонный подвал под муниципалитетом; пожарное депо с арочными воротами, топотом больших копыт по доскам и кружком людей без пиджаков – пожарников, бейсболистов, местных бездельников,- сидевших вечерами в креслах с потрескавшимися сиденьями; все места, где видел подвалы или догадывался об их существовании – его всегда привлекали потайные, замкнутые места; интерьеры театров и старой Оперы по вечерам, когда в городе давали какое-нибудь представление; аптека Мак-Кормака на юго-западном углу Площади, напротив скобяной лавки его дяди, с ониксовой стойкой, вентиляторами с косыми деревянными лопастями, прохладным темным интерьером и чистыми ароматными запахами; бакалейный магазин Соьера в одном из старых кирпичных зданий на северной стороне Площади, с его щедрым изобилием, заставленными полками, большими бочками солений, кофейными мельничками, крупными кусками бекона и продавцами в передниках, с соломенными манжетами на рукавах; все карнавальные и цирковые площадки; все связанное с железнодорожными вокзалами, депо, поездами, паровозами, товарными вагонами и сортировочными станциями. Все это и многое другое у мальчика причудливо, но прочно связывалось с образом отца; а поскольку тайные привязанности и желания так сильно влекли его к этим сторонам жизни, мальчик невольно чувствовал, что они должны быть плохими, поскольку он считал их «хорошими», и что они ему нравятся, потому что он порочен, потому что он сын Джона Уэббера.

Вся картина отцовского мира – того, в котором вращался отец,- сложившаяся в его мозгу со всей наивной, необузданной впечатлительностью детства, напоминала эстампы Карриера и Айвза^[1], только полотно здесь было более заполненным людьми, а масштаб более крупным. Нарисован был этот мир очень яркими, простыми и волнующими красками: трава в нем была очень-очень зеленой, деревья раскидистыми и толстыми, воды сапфировыми, а небеса прозрачно-голубыми. То был великолепный, уютный, четко сработанный мир без неровных выступов, голых пустырей, гнетущих зияющих провалов.

С годами Джордж Уэббер уже наяву обнаружил подобный мир в двух местах. Одним из этих мест была деревушка в южной Пенсильвании, откуда приехал его отец, с большими красными сараями, аккуратными кирпичными домами, белыми изгородями и тучными полями; одни поля идиллично зеленели подрастающей пшеницей, по другим перекатывались бронзовые волны, с красноземом, с безмятежно цветущими яблоневыми садами на холмах – все было столь великолепным, четким и волнующим, каким только могло явиться в его детских мечтах. Другим местом явились некоторые районы Германии и Австрийский Тироль – Шварцвальд, леса Тюрингии, города Веймар, Айзенах, старый Франкфурт, Куфштейн на австрийской границе и Инсбрук.

2. ТРИ ЧАСА

Лет двадцать пять назад, майским днем, Джордж Уэббер лежал, растянувшись на траве, перед дядиным домом в Старой Кэтоубе.

Старая Кэтоуба – правда, чудесное название? Люди на севере, на западе и в других частях света почти ничего не знают об этом штате и редко о нем говорят. Однако если хорошо знать этот штат и думать о нем все больше и больше, название его становится чудесным.

Старая Кэтоуба намного лучше Южной Каролины. Она более северная, а «север» гораздо более чудесное слово, чем «юг», как понятно каждому, обладающему чувством слова. Слово «юг» кажется замечательным прежде всего потому, что существует «север»: не будь «севера», «юг» и все вызываемые им ассоциации не казались бы столь чудесными. Старая Кэтоуба замечательна своей «северностью», а Южная Каролина – «южностью». И «северность» Старой Кэтоубы лучше «южности» Южной Каролины. В Старой Кэтоубе есть косые лучи вечернего солнца и горная прохлада. Там чувствуешь себя тоскливо, но это не тоскливость Южной Каролины. В Старой Кэтоубе живущий в горах мальчишка помогает отцу строить изгороди и слышит легкое завывание весеннего ветра, видит, как ветер змеится по волнующимся травам горных пастбищ. А издали негромко доносится по горной долине протяжный гудок паровоза, мчащего поезд к большим городам на востоке. И в сердце живущего в горах мальчишки он рождает радость, так как мальчишка знает, что, хотя живет в глуши, н безлюдье, когда-нибудь он выйдет в широкий мир и увидит эти города.

Но в Южной Каролине тоскливость иная. Там нет горной прохлады. Там пыльные проселочные дороги, громадные навевающие печаль хлопковые поля, окаймленные сосновыми лесами, негритянские лачуги и что-то навязчивое, нежное, унылое в воздухе. Люди там сломлены окончательно. Они не могут уехать из Южной Каролины, а если уезжают, им приходится несладко. У них приятный протяжный говор. В их обращениях, в приветствиях слышатся восхитительные теплота, расположение, сердечность, но люди испуганы. В глазах у людей виден отчаянный страх, они наполнены какой-то мучительной, злобной жутью старой, сломленной, уязвленной «южности» с ее жестокостью и вожделением. У некоторых женщин там кожа медового цвета, они само золото и страсть. Исполнены самой вычурной и соблазнительной прелести, нежности и ласкового сострадания. Но мужчины сломлены. У них либо толстые животы, либо голодная худоба. Голоса у мужчин мягкие, протяжные, однако бегающие глаза то и дело полнятся страхом, ужасом, подозрительностью. Они мягко разговаривают, стоя перед аптекой, мягко болтают с девушками, когда те подъезжают, бродят взад-вперед, сняв пиджаки, по улицам прокаленных солнцем пыльных городков, исполнены добродушной, грубоватой приветливости. Они окликают:

– Как дела, Джим? Не слишком жарко?

И Джим, оживленно встряхнув головой, отвечает:

– Жарче, чем, по словам Шермана, на войне, верно, Эдди?

Тут улица оглашается добродушным, грубоватым смехом:

– Клянусь Богом! Ответ хорош. И будь я проклят, если старина Джим не прав!

Однако глаза бегают по сторонам, и страх, подозрительность, ненависть и нечто, сломленное на Юге давным-давно, не покидает их.

А проведя день перед аптекой или возле пустого фонтана на Площади, где стоит здание суда, эти люди отправляются линчевать черномазого. Они убивают его, и убивают жестоко. Приезжают на машинах, когда стемнеет, сажают черномазого между собой и везут пыльной дорогой до намеченного места, по пути колют его ножами, неглубоко, слегка. И смеются, глядя,

как он корчится. Когда приезжают на место, там, где сидел черномазый, оказывается лужа крови. Возможно, у парня, который ведет машину, от этого к горлу подступает тошнота, но все остальные смеются. Потом тащат черномазого по колкой стерне и вешают на дереве. Но перед тем, как повесить, отрезают ржавым ножом его широкий нос и толстые негритянские губы. И при этом смеются. Потом кастрируют его. И уже напоследок вешают.

Так обстоят дела в Южной Каролине; в Старой Кэтоубе по-другому. Старая Кэтоуба гораздо лучше. Хотя подобное может случиться и там, это не в нравах и характере местных жителей. В Старой Кэтоубе – горная прохлада и косые лучи вечернего солнца. Живущие в горах люди убивают на горных полянах – из-за расположения изгороди, из-за собаки, из-за межей. Убивают спяну или в неудержимой ярости. Но носов черномазым не отрезают. В глазах у них нет страха и жестокости, как у жителей Южной Каролины.

Старая Кэтоуба населена простыми людьми. Там нет чарлстонского гонора, и мало кто хочет казаться не тем, что есть. Чарлстон ничего не создал, однако претендовал на слишком многое. Теперь претензии чарлстонцев поубавились, они претендуют лишь на то, что много значили в прошлом. На самом деле значили они очень мало. В этом и заключается проклятье Южной Каролины с ее «южностью»-в претензиях, будто в *прошлом* она значила очень много, хотя теперь и не значит. Старой Кэтоубе не нужно этого изживать. Там нет Чарлстона, и она не претендует ни на что. Там живут простые, скромные люди.

Словом, Старая Кэтоуба лучше, потому что «севернее». Еще в детстве Джордж Уэббер понял, что в общем смысле лучше быть более северным, чем южным. Если станешь слишком северным, добра это не принесет. Все в тебе замерзнет и высохнет. Если слишком южным, это тоже не принесет добра, и все истлеет. У слишком северного тлен холодный, сухой. У слишком южного – нет. Если ты намерен истлеть, то южный образ самый надежный но тлен этот отвратительный, вялый, мокрый, смрадный, душный, к тому же сдобрен гнусными шепотками и глумливым смехом.

Самое лучшее – это Старая Кэтоуба. Жители ее звезд с неба Нв хватают и не стремятся к этому. Они совершают все ошибки, свойственные людям. У них есть Ротари-клубы, каторжники, Бэббиты^[2] и прочее. Но люди они неплохие.

Людам в Старой Кэтоубе несвойственны четкость, определенность взглядов. Там нет ничего определенного, четкого. Города не похожи на новоанглийские. Там нет красивых белых домов, обсаженных вязами улиц, нежного очарования в начале мая, нет определенности и цели всего окружающего. В Старой Кэтоубе все не так. Во-первых, там около двухсот миль приморской равнины. Это унылая, плоская, поросшая соснами пустошь. Потом около двухсот миль Пидмонта. Это холмистая, неровная местность, запоминается она по-другому, чем щедрая, мягкая, восхитительная земля пенсильванских голландцев-фермеров с громадными, высящимися над ней амбарами. Старая Кэтоуба запоминается не так. Нет; поле, овчарня, ущелье, холм, лощина, неровная земля на полянах, густо поросшая жесткой травой, обсаженные соснами межи, глинистый склон, ущелье, ложбина и всевозможные деревья, акации, каштаны, клены, дубы, сосны, ивы и платаны, растущие все вместе, сплетаясь ветвями, прелестные девственные заросли кизила, лавра, рододендронов, палая листва с прошлого октября – это один из видов Старой Кэтоубы в мае. А к западу от Пидмонта вы натькаетесь на горы. Хотя «натькаетесь» – не то слово, они приближаются постепенно. Поле, овчарня, холм, лощина, глинистый склон, ущелье, неопишуемые, неровные выпуклости и впадины земли, и вот появляются взгорья.

Какой-то непонятный, неожиданный, пронзительный звук заставляет вас содрогнуться. Оттуда? Вроде не должно быть. И однако по рельсам движутся маневровые паровозики, вы видите окаймленное бурьяном полотно, серую инструментальную кладовую, холодную,

незабываемую, чудесную желтизну станции Южной железной дороги. Громадный, как гора, черный паровоз подходит к ней, вы садитесь в поезд и внезапно видите холмы. Большие пассажирские вагоны ползут мимо горных пастбищ, жердевых изгородей, проселочной дороги, хрустально сверкающего горного потока. Вы ощущаете шеей горячее, восхитительное, глубокое, странное и очень знакомое дыхание могучего локомотива. И внезапно появляются горы. Вы поднимаетесь, огибая повороты с визгом и скрежетом. Как близко, как обыденно, как привычно и как странно, как знакомо – громадный массив Голубого хребта надвигается на вас и возвышается над вами. Можно протянуть руку из медленно, с натугой идущего поезда и коснуться его. И внезапно вся жизнь становится близкой, привычной, как ваше дыхание, и странной, как время.

В городах смотреть особенно не на что. Это не Новая Англия с ее архитектурными красотами. Там только простые дома, негритянские лачуги, современные бунгало с верандами и уродливые загородные клубы, кое-где Общественная Площадь, старые строения с надписями «Квартал Уивера, 1882» и новые, где размещаются агентства Форда, по краям Площади стоят автомобили.

На востоке Старой Кэтоубы сохранился некий дух древности. Восток заселялся прежде запада, там есть несколько старых городов, остатки плантаций, наперечет прекрасных старых зданий, там много негров, скипидара и табака, сосновые рощи и унылые, плоские земли прибрежной равнины. Люди на востоке привыкли считать себя лучше тех, кто живет на западе, потому что поселились на своих землях несколько раньше. На самом деле они ничем не лучше. На западе, в окружении гор, люди совершенно обыкновенные, у них привычные, простые ирландско-шотландские лица и такие фамилии, как Уивер, Уилсон, Гаджер, Джойнер, Александер и Паттон. В действительности запад лучше востока. Жители запада шли воевать, хотя войны и не хотели. Сражаться им было не за что: это простые, обыкновенные люди, они не имели рабов. И всегда пойдут на войну, если прикажут Лидеры – они созданы для военной службы. Думают они долго и серьезно, взвешивая все «за» и «против»; они консервативны, голосуют по старинке и отправляются на войну, если им велят большие люди. Собственно говоря, запад – край незначительных, добрых людей шотландско-ирландского происхождения, они ничем особо не выделяются, только говорят менее протяжно, работают прилежнее, меньше бездельничают и стреляют чуть по-метче, когда приходится. Это просто одно из неприметных мест на земле, здесь проживает около двух с половиной миллионов людей, у которых нет ничего выдающегося. Будь у них что-то выдающееся, оно проявилось бы в их домах, как в прекрасных белых зданиях Новой Англии; или в амбарах, как у пенсильванских голландцев. Это всего-навсего простые, обыкновенные, скромные люди – но в них заключено почти все, что есть в Америке.

Джордж Уэббер должен был знать все это двадцать пять лет назад, когда однажды лежал на траве перед дядиным домом. Он прекрасно знал все, что его окружало. Люди это знают, хотя подчас и притворяются, что нет. Джордж лежал на траве, срывал травинки, удовлетворенно рассматривал их, принимался жевать. И знал, что травинки такие. Засовывал пальцы босых ног в траву, думал о ней. Он знал, что трава щекочется так. Среди зеленой травы видел пряди бурой, прошлогодней, и знал, что они такие. Протянул руку, коснулся клена. Он видел, как дерево поднимается из земли, из травы, ощупал кору и ощутил ее грубость, шероховатость. Нажал пальцами посильнее, неровный кусочек коры отломился; он знал, что кора такая. Ветер завывал негромко, как всегда в майские дни. Молодые кленовые листья жались к ветвям, трепеща на ветру. Джордж слышал их шелест, пробуждавший в душе какую-то печаль. Ветер было прекратился, потом задул снова.

Повернув голову, мальчик увидел дядин дом, ярко-красные кирпичи, чопорные,

диковинные бетонные колонны, в нем все было уродливым, режущим глаз; а сбоку и чуть в глубине – старый домик, который построил дед, обитые вагонкой стены, веранду, фронтоны, окна, окраску. Он появился на свет по воле случая, как и очень многое другое в Америке. Джордж Уэббер видел его и знал, что дела обстоят так. Он видел, как солнечный свет то появляется, то исчезает, видел задние дворы с массой знакомых вещей, видел холмы с восточной стороны города, нежно-зеленые, чуточку пестрые, привычные, знакомые, в позднейших воспоминаниях чудесные, ибо так и ведется на свете.

Двенадцатилетний Джордж обладал зоркими глазами и крепким телом. У него был прекрасный нюх, он безошибочно различал запахи. Лежа на траве перед дядиным домом, он думал: «Вот так обстоят дела. Вот трава, такая зеленая, шероховатая, такая мягкая и нежная, но в ней попадаются бурые камни. Вот дома вдоль улицы, бетонные блоки стен, какие-то скучные, уродливые, но знакомые, покатые крыши из кровельной дранки, лужайки, живые изгороди и фронтоны, задние дворы с возведенными по воле случая хозяйственными постройками, с такими знакомыми сараями и курятниками. Все привычно, знакомо, как мое дыхание, все случайно, как прихоть, и, однако же, неким образом предопределено, будто судьба: оно такое, потому что такое!»

Вокруг царила какая-то безмятежность. Щебетание птиц, шелест кленовых листьев, расслабляющий покой, далекий стук молотка по доскам, жужжание шмеля. День словно бы дремал в тишине, неподвижно зеленела ботва репы, а по улице шел работник Карлтона Лезергуда, высокий, рябой, желтый негр. Рядом с ним трусила, дыша шумно, как паровоз, большая собака по кличке Шторм, поражающая своим дружелюбием. Громадный язык ее вываливался из пасти, большая голова покачивалась из стороны в сторону, собака, радостно пыхтя, приближалась, и вместе с ней приближался рябой негр Симпсон Симмс. Высокий, тощий, весело усмехающийся, исполненный достоинства и почтительности негр шел по улице, как всегда, в три часа. Он вежливо, с улыбкой, поприветствовал Джорджа взмахом руки. Назвал его, как обычно, «мистер» Уэббер; приветствие было любезным и почтительным, тут же забытым, как того и следует ожидать от добродушных негров и дурачков, но все же оно наполнило мальчика теплом и радостью.

– Добрый день, мистер Уэббер. Как самочувствие?

Большая собака трусила, пыхтя как паровоз, язычище ее свисал из пасти; она приближалась, свесив большую голову, играя мышцами широкой черной груди и плеч.

Внезапно тишина улицы стала зловещей, а спокойный пульс мальчика тревожно участился. Из-за угла дома на другой стороне улицы вышел поттерхемовский бульдог. Увидя мастиффа, замер; широко расставил передние лапы, глубоко втянул голову с мнушающей ужас челюстью, губы его растянулись, обнажив длинные клыки, в недобрых, налитых кровью глазах вспыхнул iubный огонь. Под складками толстой шеи заклокотало негромкое ворчанье. Мастифф вскинул крупную голову и зарычал, бульдог, широко расставляя лапы, медленно надвигался на него, иреисполненный ярости, рвущийся в схватку.

А рябой желтый негр подмигнул мальчику и с веселой уверенностью покачал головой.

– Он не свяжется с *моей* собакой, мистер Уэббер!.. Нет, сэр... Не гак он глуп!.. Да, сэр! – выкрикивал негр с безграничной убежденностью.- Не *настолько* глуп!

Рябой негр ошибся! Вдруг послышался рык, в воздухе мелькнула черная молния, сверкнули смертоносные оскаленные клыки. Не успел мастифф понять, что случилось, маленький бульдог яростно вцепился в большое горло более крупной собаки и мертвой хваткой сомкнул челюсти.

За тем, что происходило дальше, трудно было уследить. Большая собака замерла на миг воплощением недоуменного удивления и ужаса, какие недоступны человеку; потом тишину разорвал дикий рев, огласивший всю улицу. Мастифф бешено затряс большой головой,

маленький бульдог болтался в воздухе, но крепко держался впившимися зубами; крупные капли алой артериальной крови разлетались во все стороны, но все же бульдог не разжимал челюстей. Развязка наступила молниеносно. Большая голова резко поднялась и опустилась: бульдог – уже не собака, просто черный ком – шлепнулся на тротуар с ужасающим хрустом.

В поттерхемовском доме хлопнула дверь, и оттуда выбежал огненно-рыжий четырнадцатилетний Огастес Поттерхем. По улице грузно затопал толстый, неуклюжий, неряшливый полицейский, мистер Метьюз, дежурство которого приходилось на три часа. Однако негр уже яростно дергал мастиффа за кожаный ошейник, выкрикивая проклятия.

Но было поздно. Меньшая собака испустила дух, едва ударясь о тротуар – хребет ее и большинство костей были переломаны; по словам мистера Метьюза, «бульдог не успел понять, что с ним случилось». А большая, сделав дело, тут же успокоилась; повинувшись дерганью за ошейник, она медленно отвернулась, дыхание ее было тяжелым, с горла медленно капала кровь, окропляя улицу ярко-красными пятнами.

Улица неожиданно, будто по волшебству, заполнилась людьми. Они появлялись со всех сторон, отовсюду, теснились возбужденным кружком, все пытались говорить сразу, каждый свое, все убеждали, объясняли, излагали свою версию. Дверь в доме хлопнула снова, и мистер Поттерхем выбежал на своих потешных кривых, коротких ногах, его яблочко-румяные щеки пылали гневом, негодованием и возбуждением, потешный писклявый голос явственно слышался сквозь более мягкие, низкие, медлительные, более южные голоса. Теперь это был уже не знатный джентльмен, уже не благородный потомок герцогов Поттерхемов, не кровный родственник титулованных лордов и графов, возможный претендент на огромные поместья в Глостершире, когда их нынешний владелец умрет, а Поттерхем-простолюдин, маленький Поттерхем, торговец негритянской недвижимостью, владелец негритянских лачуг, неукротимый маленький Поттерхем, от гнева и возбуждения кричавший с просторечным выговором лондонских кокни:

– Вот вам! Что я говорил? Я всегда предупреждал, что этот проклятый пес натворит бед! *Гляньте* на него! На эту окровавленную, мигающую тварь в ошейнике! Слон да и только! *Могла* ли такая собака, как моя, тягаться с этим зверюгой? Убить его надо, вот что! Попомните мои слова – дать этому зверюге волю, так в городе ни единой собаки не останется, вот что!

А рослый рябой негр, держа мастиффа за ошейник, чуть ли не слезно умолял полицейского: – Господи, мистер Метьюз, моя собака не виновата *совсем!* Нет, сэр! Она никого не трогала – *моя* собака! Даже не замечала ту собаку – спросите *любого!* – вот мистера Уэббера!

И внезапно обратился к мальчику с горячей мольбой:

– Разве не правда, мистер Уэббер? Вы же видели все своими глазами, правда? Скажите мистеру Метьюзу, как было дело! Я шел со своей собакой по улице, тихо-спокойно, только поднял руку поздороваться с мистером Уэббером, а тут из-за угла этот пес, засопел, зарычал, и не успел я опомниться, как он вцепился моей собаке в глотку – спросите мистера Уэббера, так ли все было.

А все вокруг продолжали убеждать, спорить, соглашаться и возражать, высказывать свои версии и мнения; мистер Метьюз задавал вопросы и записывал ответы в блокнот; бедняжка Огастес Поттерхем ревел, как ребенок, держа мертвого маленького бульдога на руках, его некрасивое веснушчатое лицо жалобно искривилось, по нему катились жгучие слезы и капали на труп животного; большой мастифф тяжело дышал, ронял капли крови на землю и держался так, словно никакого отношения к происходящему не имел, вид у него был слегка скучающим. Вскоре волнение улеглось, люди разошлись; мистер Метьюз велел негру явиться в суд; Огастес Поттерхем с плачем понес собаку в дом; мистер Поттерхем последовал за ним, все еще громко и взволнованно писклявя; а удрученный рябой негр и его громадная собака пошли дальше по

улице; мастифф на ходу ронял крупные капли крови. И вновь тишина, вновь спокойствие на улице, шелест молодых кленовых листьев на легком ветерке, вялое приближение трех часов и все прочее, такое же, как всегда. Джордж Уэббер снова растянулся на траве под деревом во дворе дядиного дома, подпер ладонями подбородок, погрузился в дремотное течение времени и думал:

«Великий Боже, дела обстоят так, я вижу и понимаю, что дела обстоят так. Великий Боже! Великий Боже! Дела обстоят именно так, и до чего же странно, просто и жестоко, прекрасно, ужасно и загадочно, до чего понятно и привычно они все обстоят!».

Три часа!

– Детка, детка! Где ты?

Так он всегда узнавал о появлении тети Мэй!

– Сынок, сынок! Ты где?

Рядом, а не найдешь!

– Мальчик, мальчик! Где же этот мальчишка?

Там, где *ты* и прочие в юбках и передниках никогда не появитесь.

– Нельзя даже на минуту отвести от него глаз...

Ну так *не отводи*; ничего этим не добьешься.

– Стоит повернуться к нему спиной, тут же удерет...

Подальше от *тебя* - куда б ты ни поворачивалась!

– Никак не същу его, когда он мне нужен...

Обойдетесь без меня, милостивая леди. Когда вы понадобится мне, то узнаете об этом!

– А вот *есть* он горазд... Тут же появляется, как из-под земли...

Господи, в *этом-то* что особенного? Конечно, он *ест* - к тому же, от еды прибавляется сил. Разве Геркулес походил на живые мощи; Адам питался водяным крессом; толстяк Фальстаф ел салат-латук; наедался до отвала доктор Джонсон пшеничной соломкой; или Чосер горсткой жареной кукурузы? Нет! Мало того – разве сражения вели на пустой желудок; был Кублахан вегетарианцем; ел Вашингтон на завтрак одни сливы, а на обед только редиску; сидел Джон Л. Салливан на одном хлебе или президент Тафт на печенье «детские палочки»? Нет! Мало того – те, кто устремил стальные рельсы на запад; кто рыл землю, наводил мосты через ущелья, прокладывал туннели; те, чьи руки в старых перчатках сжимали дроссели; те, кто бил молотом – неужели они падали в голодный обморок при мысли об ореховом масле и имбирных пряниках? И наконец, мужчины, которые возвращаются в двенадцать часов, оглашая громким мелодичным скрипом кожи полуденные улицы, люди труда и дела – его дядя, мистер Поттерхем, мистер Шеппертон, мистер Крейн – шли бы они домой только ради того, чтобы выпить чашечку кофе и чуть подремать?

– *Есть* он горазд... Всегда на месте, когда приходит время *еды!*

Чтобы слушать такую вот ерунду, великие люди жили и страдали, великие герои проливали кровь! Ради этого сражался Аякс и погиб Ахилл; ради этого пел и страдал Гомер, ради этого пала Троя! Ради этого Артаксеркс вел громадные армии, ради этого Цезарь пошел со своими легионами в Галлию; ради этого Одиссей бросал вызов неизвестным морям, бывал окружен опасностями далеких чудесных берегов, спасался от Циклопа и Харибды, преодолел все прославленное очарование Цирцеи, чтобы слушать такую вот чушь – потрясающее, сделанное женщиной открытие, что мужчины *едят!*

Прекрати, женщина, свою скучную трескотню, придержи язык! Возвращайся в тот мир, который знаешь, к работе, для которой создана; тебя никто не звал – возвращайся, возвращайся к своим кухонным отбросам, к сковородкам и кастрюлям, к тарелкам, чашкам и блюдам, к

тряпкам, мылу и помоям; иди-иди, оставь нас; мы сыты и приятно расслаблены, нами владеют великие мысли; дремотные мечтания; мы хотим лежать в одиночестве и созерцать свой пуп – сейчас вторая половина дня!

– Мальчик, мальчик! Куда он только подевался!..Да ведь я же видела, как он оглядывался... крался к двери!..Ага, подумала, считает себя очень хитрым... но точно знала, что у него на уме... выскользнуть и удрать... боялся, что задам ему пустячную работу!

Пустячную! В том-то и беда – если б только нам вечно не приходилось делать *пустячную* работу! Если б только они могли хоть на миг подумать о *великом событии* или *грандиозном деле*! Если б только на уме у них были вечно не пустяки, не пустячная работа, которую нам нужно сделать! Если б в ней было хоть что-то, какая-то искра радости, возвышающая сердце, искра очарования, способная возвысить дух, искра понимания того, что мы хотим совершить, хоть зернышко чувства, хоть грань воображения! Но нам всегда поручают *пустячную* работу, *пустячное* дело!

Разве недовольство у нас вызывает *пустячная работа*, о которой она просит? Разве нам ненавистно *пустячное усилие*, которое для нее потребуется? Разве мы так неблагородно отказываем ей в *пустячной* помощи из ненависти к работе, из страха вспотеть, из духа неуступчивости? Нет! Все не потому Дело в том, что в начале второй половины дня женщины бестолковы и бестолково просят нас о бестолковых вещах; по своей бестолковости они вечно просят нас о *пустяках* и ничего не способны понять!

Дело в том, что в этот час дня мы хотим быть подальше от них – мы предпочитаем одиночество. В это время от них пахнет кухонным паром и скукой: мытыми овощами, капустными кочерыжками, теплым варевом и обедками. Теперь они пропитаны атмосферой помоев; с рук у них каплет, жизнь у них серая.

Женщины этого не знают, из жалости мы скрываем это от них, но в три часа их жизни лишены интереса – они нам не нужны и обязаны оставить нас в покое.

У них есть какое-то понятие утром, какое-то днем, несколько большее на закате, гораздо большее с наступлением темноты; но в три часа они докучают нам и должны оставить нас в покое! Им не понять множества оттенков света и погоды так, как нам; для них свет это просто свет, утро это утро, полдень – полдень. Они не знают того, что приходит и уходит – как меняется освещение, как преобразуется все вокруг; они не знают, как меняется яркость солнца, как подобно мерцанию света меняется дух мужчины. Да, они не знают, не могут понять жизнь жизни, радость радости, горе невыразимого горя, вечность жизни в мгновении, не знают того, что меняется, когда меняется свет, быстрого, исчезающего, как ласточка налету, не знают того, что приходит, уходит и никогда не может быть остановлено, мучительности весны, пронзительности безгласного крика.

Им непонятны радость и ужас дня так, как их способны чувствовать *мы*; им непонятно то, чего мы страшимся в этот послеполуденный час.

Для них этот свет просто свет, этот час быстро проходит; их помойный дух не улавливает ужаса жаркого света после полудня. Они не понимают нашего отвращения к жарким садам, не понимают, как наш дух тускнеет и никнет при жарком свете. Не знают, как нас покидает надежда, как улетает радость при виде пестрой неподвижности жаркого света на гортензиях, вялости широколиственных зарослей щавеля возле сарая. Не знают ужаса ржавых жестянок, брошенных в мусорные кучи под забором; отвращения к пестрому, жаркому, неподвижному свету на рядах чахлой кукурузы; им неведома безнадежная глубина тупой, оцепенелой подавленности, которую в течение часа может вызвать вид горячей грубой травы под солнцем и пробудить ужас в наших душах.

Это какая-то вялая инертность, какая-то безнадежность надежды, какая-то тупая, онемелая

безжизненность жизни! Это все равно, что в три часа смотреть в пруд с затхлой водой в тупой неподвижности света, все равно, что находиться там, где нет зелени, прохлады, пения невидимых птиц, где нет шума прохладных невидимых вод, нет звука хрустальной, пенящейся воды; все равно, что находиться там, где нет золота, зелени и внезапного очарования – если тебя в три часа зовут ради *пустяковых цел*.

Господи, могли бы мы выразить невыразимое, сказать несказанное! Могли бы мы просветить их окухоненные души откровением, тогда бы они никогда не посылали нас заниматься *пустяками* в три часа.

Мы ненавидим глиняные насыпи после полудня, вид шлака, закопченные поверхности, старые, обожженные солнцем деревянные дома, сортировочные станции и раскаленные вагоны на путях.

Нам отвратительны вид бетонных стен, засиженных мухами окон грека, земляничные ужасы ряда теплых бутылок с содовой водой. В это время нас тошнит от его горячей витрины, от жирного противня, который *жарит* и сочится каким-то отвратительным потом в полной неподвижности солнца. Нам ненавистны ряд жирных сосисок, которые *потеют* и *сочатся* на этом неподвижном противне, отвратительны сковородки, шипящие жареным луком, картофельным пюре и бифштексами. Нам противно смуглое лицо грека в послеполуденном свете, крупные поры, из которых льется пот. Мы ненавидим свет, сияющий в три часа на лигомобилях, ненавидим белый гипс, новые оштукатуренные дома и большинство открытых мест без деревьев.

Нам в три часа нужны прохлада, влажность, тень; нужны весело бегущие, переливающиеся золотом и зеленью прозрачные поды. Нужно спускаться в прохладу бетонированных погребов. В три часа мы любим потемки с их прохладными запахами, любим прохладные, темные, потаенные места. Любим сильные запахи с какой-то прохладной затхлостью. В три часа обоняние у мужчин острое. Любим вспоминать, как пахло все в комнате нашего отца: прохладную влажную едкость надкушенной плитки жевательного табака на каминной полке с воткнутым ярко-красным флажком; запах старой каминной полки, часов в деревянном корпусе, кожаных переплетов нескольких старых книг; запах кресла-качалки, ковра, орехового бюро и прохладный унылый запах одежды в чулане.

В этот час мы любим запахи старых закрытых комнат, старых деревянных ящиков, смолы, виноградных лоз на прохладной стороне дома. Если выходим, мы хотим выходить в зеленую тень и приятную прохладу, полежать на животе под кленом, сунуть пальцы босых ног в густую зеленую траву. Если нам нужно отправиться в город, мы хотим идти в такие места, как скобяная лавка нашего дяди, где ощущается запах прохладных, темных, чистых гвоздей, молотков, пил, инструментов, рейшин, всевозможной утвари; или в шорную лавку, где пахнет кожей; или на склад стройматериалов нашего отца с запахами замазки, стекла, чистой белой сосны, запряженных мулов и досок под навесами. Неплохо в этот час зайти и в прохладу аптеки, услышать прохладный быстрый шелест деревянных лопастей вентилятора, унюхать цитрусовую пикантность лимонов и апельсинов, волнующий, чистый и резкий запах неизвестных лекарств.

Трамвай в это время тоже пахнет хорошо – электромоторами, деревянной обивкой, плетеными сиденьями, старой бронзой и блестящими стальными рельсами. Это запах приятного, мечтательного волнения и несказанного биения сердца; он говорит о поездке куда-то. Если в это время дня мы куда-нибудь едем, хорошо отправиться на бейсбольный матч, вдыхать запах трибун, старых деревянных скамей, зеленого дерна на игровом поле, конской кожи мяча, перчаток, рукавиц, чистый запах упругих ясеневых бит, запахи снявших пиджаки зрителей и потеющих игроков.

А если в три часа заниматься работой, если нам прерывать свой усыпляющий отдых,

дремотное золотисто-зеленое очарование наших размышлений – ради Бога, дайте нам делать что-нибудь *существенное*. Дайте громадный труд, но извольте при этом обещать громадный успех, восторг опасности, надежду на возвышенное, волнующее приключение. Ради Бога, не разбивайте сердце, надежду, жизнь, волю, отважную и мечтательную душу мужчины вульгарным, бестолковым, гнетущим, презренным занятием *пустяковыми* делами!

Не разбивайте нам сердце, надежду, радость, не рушьте окончательно некое прекрасное приключение духа или некую тайную мечту, отправляя нас по делам, с которыми вполне справится любая дура-девчонка, или негритянка, или малыш. Не разбивайте мужского сердца, мужской жизни, мужской песни, величественного видения его мечты поручениями: «Эй, мальчик, сбегай за угол, купи хлеба», или «Эй, мальчик, сейчас звонили из телефонной компании – тебе придется сбегать туда..»- о, *пожалуйста*, ради Бога, ради *меня*, не говори «сбегать» -«...и оплатить счет, пока нас не отключили!».

Или раздражающе-бесцеремонная, словно бы подвыпившая, тараторящая без умолку, рассеянная и растерянная, ты волнуешься и горячишься, жалуешься, хнычешь, бранишь всю вселенную, так как не сделано то, что *сама* должна была сделать, так как *сама* натворила ошибок, так как *сама* вовремя не уплатила долги, так как забыла то, что *сама* должна была помнить-волнуешься, жалуешься, носишься туда-сюда, не способная собраться с мыслями, не способная даже окликнуть ребенка его настоящим именем:

– Эд, Джон, Боб – фу ты! *Джордж*, хочу сказать!..

Ну так *говори*, ради Бога!

– Фу ты! – подумать только, эта дура-негритянка – я ей шею готова свернуть – так вот, послушай...

Ну *говори* же!

– ...*понимаешь*, какое дело...

Нет! *Не* понимаю!

– ...я понадеялась на нее – она сказала, что придет – тут столько работы, – а она улизнула после обеда, и тут хоть разорвись.

Конечно, еще бы; потому что ты не уплатила бедной девчонке в субботу вечером три доллара, царственное вознаграждение за усердную работу в поте лица по четырнадцать часов семь дней в неделю; потому что у тебя «из головы вылетело», потому что ты не могла расстаться сразу с такой кучей денег – разве не правда? – потому что решила подержать у себя эти деньги еще *немного*, так ведь? – оставила их полежать у себя в чулке еще *немного*, так? – разбила этой бедной дурочке сердце как раз в субботний вечер, когда она только и помышляла о жареной рыбе, джине и своем ухажере, потому что тебе захотелось не расставаться еще *немного* с этими тремя смятыми, скомканными, засаленными долларами. Ты решила выделять ей по одному – сегодня вечером доллар, в среду вечером доллар, в пятницу то же самое...вот и разрывайся теперь на части. А мой отец *расплатился бы*, притом *сразу*, и негритянка бы его не подводила. И все потому, что ты женщина с мелочной женской прижимистостью, с мелочным женским отношением к прислуге, с женским эгоизмом, с бесчувственным отношением к нему страдающей, скорбной душе мужчины – поэтому будешь в растерянности беспокоиться, волноваться, суетиться и звать меня:

– Эй, мальчик! – фу ты! – Подумать только, что она сыграла со мной такую шутку! – Послушай – детка! Детка! – я не знаю, как быть – осталась совсем одна – придется тебе сейчас сбегать, срочно поискать кого-то.

Как! Ты зовешь меня от прохлады, от приятной нежности прохладной травы, чтобы я потный носился по негритянскому кварталу в безобразном оцепенении дня, по запекшейся глине, глине, где нет ни травы, ни деревьев; чтобы дышал вонью и кислым запахом, вдыхал

противную негритянскую вонь, кислый запах негритянских помоев и сточных канав, негритянских лачуг и уборных; терзал душу и зрение видом сопливых негритят, измазанных навозом и так скрюченных рахитом, что их ножки похожи на резиновые колбаски; значит, мне искать, стучаться в двери лачуг, упрашивать, уговаривать ради того, чтобы найти другую угрюмую девку, которая будет приходить, потеть по четырнадцать часов семь дней в неделю – и всего за три доллара!

Или, может быть, я услышу:

– Фу ты, мальчик! Кто мог подумать, что он сыграет со мной такую шутку! – Я забыла вывесить знак – но думала, развозчик знает, что мне нужно двадцать фунтов! – Хоть бы спросил! – так нет, проехал мимо, ничего не сказав, в холодильнике нет ни ледышки, а на ужин у нас мороженое и холодный чай. Придется тебе сбежать в ледохранилище, принести хорошую глыбу за десять центов.

Ага! Хорошую глыбу за десять центов, перевязанную шпагатом, который врезается, как бритва, в мою потную ладонь; глыбу, которая измочит мне всю штанину; которая колотит, трет, царапает, холодит мое несчастное колено, покуда не сдерет кожу до мяса; по голым, чувствительным ногам ползут холодные струйки, а это лишает меня всякой радости жизни, заставляет клясть день своего рождения – и все потому, что *ты* забыла «вывесить знак», все потому, что *ты* не подумала о двадцати фунтах льда!

Или это будет наперсток, или коробка иголок, или катушка ниток, в которых *ты* срочно нуждаешься! И я должен «сбежать» куда-то за такой вот *мелочью*, за содой, солью или сахаром, фунтом масла или пачкой чая!

Ради Бога, никаких наперстков, никаких катушек! Если я должен отправиться куда-то с заданием, поручи мне мужскую работу, дай мужское поручение, как делал мой отец! Отправь меня с одним из его негров привезти телегу ароматных сосновых бревен, править двумя серыми мулами! Отправь меня за телегой песка к реке, где я буду ощущать запах теплого желтого потока, перекрикиваться с купающимися ребятами! Отправь в город на его склад стройматериалов, на Площадь, где искрятся под солнцем машины. Отправь купить что-нибудь на городской рынок, там пахнет рыбой и устрицами, там прохладная зелень овощей, холодное, развешенное на крюках мясо, мясники в соломенных шляпах и забрызганных кровью фартуках рубят и режут. Отправь меня к жизни, к делу, к свету дня; только ради Бога, не мучь катушками, нитками, запекшейся глиной и неуклюжими рахитиками негритянского квартала!

– Сынок, сынок!.. Куда запропастился этот глупый мальчишка!.. Слушай, мальчик, тебе придется сбежать...

Джордж бросил мрачно-задумчивый взгляд в сторону дома. Ничего не говорите, милостивая леди; никуда я не сбегаяю. Сейчас три часа, и я хочу побыть в одиночестве.

С этими мыслями, чувствами, словами он перекатился, скрылся из виду под «надежную» сторону дерева, с наслаждением зарылся голыми пальцами ног в прохладную зеленую траву, подпер ладонями подбородок и принялся созерцать свою маленькую трехчасовую вселенную.

«Маленький ребенок, слабый эльф» – двенадцатилетний, в октябре ему исполнится тринадцать. Сейчас, в мае, он на полпути к этой годовщине, и мыслям его доступен весь мир. Он не высок и не грузен для своего возраста, но силен, широк в плечах, руки у него до смешного длинные, с большими кистями, ноги тонкие, чуть кривые, длинные плоские ступни; маленькое лицо с живыми чертами, глаза глубоко посажены, взгляд их быстр и спокоен; невысокий лоб, большие оттопыренные уши, копна коротко стриженных волос, большая голова выдается вперед и кажется слишком тяжелой для тонкой шеи – не на что смотреть, чей-то гадкий утенок, мальчишка как мальчишка.

И однако – лазает по деревьям, как обезьяна, прыгает, как кошка; может подскочить и ухватиться за ветку клена в четырех футах над головой – кора уже отполирована его большими ладонями; может молниеносно взобраться на дерево; может пройти там, где не пройдет больше никто; может влезть на что угодно, ухватиться руками и уцепиться пальцами ног за что угодно; может измерить стену утеса, будь в том необходимость, может вскарабкаться чуть ли не по стеклянному листу; может поднимать вещи пальцами ног и удерживать; может ходить на руках, сделать, прогнувшись, «мостик», просунуть голову между ног или обвить ногами шею; может свернуться обручем и катиться, как обруч, может подскакивать на руках и крутить сальто – прыгать, лазать, подскакивать, как никто из мальчишек в городе. Он – нелепо выглядящее маленькое существо, по сложению нечто среднее между обезьяной и пауком (друзья, разумеется, прозвали его Обезьян) – однако глаза и слух у него острые, увиденное и услышанное удерживается в его памяти, нос вынюхивает неожиданные запахи, дух непостоянный, быстрый, как молния, то воспаряет ракетой ввысь, безумный от восторга, обгоняя ветер и сам полет в эфирной радости небесного блаженства, то погружается в невыразимое, крайнее, черное, безмерное уныние; он то лежит на мягкой траве под кленом и, забыв о времени, думает о своем трехчасовом мире; то подскакивает на ноги кошкой, – словно воспаряющая ракета внезапной радости, – затем кошкой влезает на дерево и хватается за нижнюю ветку, потом по-обезьяньи влезает на дерево и по-обезьяньи спускается, то неистово катится обручем по двору – и наконец снова лежит животом на траве, глубоко погружаясь в дремотный трехчасовой отдых.

Сейчас, подперев подбородок ладонями, он сосредоточенно размышляет о своем маленьком мире, мире небольшой скромной улочки, домов соседей и своего дяди. Главным образом это приятный мир простых людей и простых, маленьких жилищ, большей частью старых, очень знакомых: дворы, веранды, качели, изгороди, кресла-качалки; клены, дубы и каштаны; полуоткрытые калитки, трава, цветы; заборы, кусты, живые изгороди и гроздь жимолости; переулки и уютный, знакомый мир задних дворов с курятниками, конюшнями, сараями, садами, и в каждом свое знакомое увлечение, у Поттерхемов огородик за домом, у Небраски Крейна голубятня – целый маленький привычный мир добрых скромных людей.

Он видит у освещенной солнцем линии восточных холмов приятно знакомую массу зелени. Воображение его летит к западу, рисуя себе широкие просторы и величественные горные цепи; сердце его обращается к западу с мыслями о незнакомых людях и местах, о странствиях; однако всякий раз оно возвращается домой, к своему миру, к тому, что он знает и любит больше всего. Это – он смутно чувствует, осознает – город простых людей, таких, как его отец. За исключением дядино дома, нового, режущего глаз, вид которого его огорчает, это город уютных простых домов, старых, обыкновенных улиц, где каменщики, штукатуры, камнетесы, лесоторговцы, резчики по камню, паяльщики, торговцы скобяными товарами, мясники, бакалейщики и старые, простые местные семьи с гор – родственники его матери – свили себе гнездо.

Это город весенних фруктовых садов, суглиnkовых, мокрых по утрам от росы огородов, облетающего в апреле цвета персиков, вишен, яблонь, пряных, пахучих, сводящих с ума ароматов автрака. Город роз, лилий, настурций, увитых лозами веранд, странного, восхитительного запаха зреющего винограда в августе и голосов – близких, странных, навязчивых, одиноких, большей частью знакомых – людей, сидящих в летней темноте на верандах, голосов невидимых во мраке людей, прощающихся друг с другом. Потом ребята услышат хлопок двери, ночную тишину, нарушаемую далеким, тягучим завыванием, и наконец приближение, визгливый скрежет, краткую остановку, удаление и затихшие последнего трамвая за подножием холма, и будут сидеть в наполненной неизвестностью темноте, думая: «Я здесь

родился, здесь живет мой отец, это я!».

Это мир возбужденного, несмолкаемого кудахтанья сладострастных кур, хриплого, приятного, спокойного мычания крейновской коровы, разносящегося по переулку; это город оповещающих о себе звоном телег со льдом на улицах, потеющих негров, пряных, острых, экзотических запахов от бакалейных фургонов, от ящиков со свежими продуктами. Город выходящих по утрам домохозяек в бесформенных хлопчатобумажных платьях, без чулок, в комнатных туфлях, с тюрбанами на головах, с голыми, костлявыми, натруженными руками, свежего, чистого, влажного запаха проветриваемых утром домов. Город плотных полуденных обедов, запахов ростбифа, вареной кукурузы, аппетитных ароматов фасоли и томившейся все утро нежной, жирной свинины; и пересиливающего их все чистого, манящего, влажного запаха и парной свежести ботвы репы в полдень.

Это мир чудесных апреля и октября; мир первой зелени и ароматов цветения; мир палой дубовой листвы и запаха дыма осенью, мир мужчин, работающих в одних рубашках у себя во дворах в красном, угасающем октябрьском свете, когда дети их возвращаются домой из школы. Это мир летних вечеров, мир сказочных ночей августа, громадной луны и колокольного звона; мир зимних ночей, воя ветров и жарко горящих каминов – мир пепла времени и тишины, покуда сверкающие угли превращаются в золу, мир ожидания, ожидания, ожидания – мир радости, лица, по которому истосковался, задуманного шага, невероятного волшебства новой весны.

Это мир тепла, близости, уверенности, домашних стен! Мир ясных лиц и громкого утробного смеха; мир простых людей, с которыми жизнь не церемонится; мир сыновей, вылепленных, подобно отцам, из низменной, вульгарной, отталкивающей глины, удел которой – ярость и кровь, пот и мучение, – и они должны встать на ноги или оказаться на задворках жизни, выплыть или утонуть, выжить или сгинуть, жить, умирать, побеждать, сами находить свой путь, познать обман, побои, ярость, хмель, отчаяние, безрассудство, валяться избитыми в кровь, найти дверь, жилье, где царят тепло, любовь и твердый достаток или быть гонимыми, голодными, мятущимися и неприкаянными до самой смерти!

Наконец это мир настоящих друзей, славных, сильных ребят, способных как следует ударить по мячу и взобраться на дерево, они постоянно ищут восторга и опасности приключений. Они смелые, свободные, веселые и надежные, не особенно благовоспитанны и не терпят насмешек. У них такие замечательные, звучные имена, как Джон, Джим, Роберт, Джо и Том. А также Уильям, Генри, Джордж, Бен, Эдвард, Ли, Хью, Ричард, Артур, Джек! В этих именах верный глаз, спокойный, уверенный взгляд, в них брошенный мяч и точный, сильный удар битой; в них дикая, ликующая и надежная темнота, ночь дикая, ликующая, наполненная раздумьями и хождениями, протяжный свист и плеск больших колес у берега реки.

В них надежда, любовь, дружба, уверенность и смелость, в них жизнь, которая победит, не поддастся тем именам, в которых отчаяние, безнадежность, насмешка, любовь к смерти и ненависть к жизни, дьявольская гордыня – к ненавистным и отвратительным именам, которые носят ребята, живущие в западной части города.

И в заключение звучные, необычные имена, странные и вместе с тем простые, твердые – Джордж Джосая Уэббер и Небраска Крейн.

Небраска Крейн шел по другой стороне улицы. Его густые черные волосы индейца торчали в разные стороны, расстегнутый воротник рубашки обнажал крепкую стройную шею, широкое смуглое лицо покрылось загаром и покраснелось от недавней игры в бейсбол. Из глубокого кармана брюк торчали толстые черные пальцы рукавицы полевого игрока, на плече он нес выдавшую виды ясеневую битую, рукоятка ее была туго обмотана лентой. Шел он ровным, твердым шагом, невозмутимо и уверенно, будто солдат, проходя мимо, он повернул дышавшее

бесстрашием лицо к мальчику на другой стороне улицы – поглядел на него черными индейскими глазами и, не повышая голоса, спокойно, дружелюбно произнес:

– Привет, Обезьян!

Мальчик, лежавший там на траве, подперев ладонями подбородок, ответил точно тем же тоном:

– Здорово, Брас.

Небраска Крейн прошел еще немного по улице, свернул к своему дому в переулок, прошагал по нему, зашел за угол дома и скрылся из виду.

А мальчик, лежавший на животе, продолжал спокойно смотреть вдаль. Но сердце его заполняло чувство уверенности и покоя, теплоты, доверия и спокойной радости, как всякий раз, когда Небраска Крейн проходил в три часа мимо.

Мальчик лежал на молодой, нежной траве. По другой стороне улицы шел Джерри Олсоп, шестнадцатилетний, толстый, похожий на священника, брюшко его облегал застегнутый на все пуговицы костюм из синей саржи. Невысокий, серьезный, тихий, он пользовался симпатией у ребят, однако всегда держался с краю их жизни, всегда был сторонним наблюдателем их игр, созерцателем их вселенной – толстый, тихий визитер, учтивый, с приятным голосом, плотно застегнутый в неизменный саржевый костюм... Была одна ночь отчаянных поисков, один час, когда все страдания и муки этого маленького, толстого мальчугана вспыхнули жгучим пламенем. Он убежал из дома, и нашли его шесть часов спустя у грязной речушки, возле того места, куда все другие ребята ходили купаться, единственного места, достаточно глубокого, чтобы утонуть. Мать подошла, взяла его за руку; он повернулся, посмотрел на нее, а потом оба расплакались, сжимая друг друга в объятиях... Вообще же это был тихий, прилежный мальчик, и все в городе держались о нем хорошего мнения. Отец Джерри торговал галантереей, и семья жила в скромном достатке. Джерри обладал недюжинным умом, необыкновенной памятью на все прочитанное, учеба давалась ему легко. В будущем году он должен был окончить среднюю школу...

Джерри Олсоп прошел мимо.

Внезапно Джордж Уэббер услышал на улице голоса. Повернул голову и взглянул в их сторону, но еще до поворота головы слух подсказал ему, холодное, сухое сжатие сердца, кислая сухость на губах, холодное, сухое отвращение в крови подсказали ему, кто это.

Четверо мальчишек с вызывающим видом шли по улице; они приближались беспорядочной гурьбой, отбегая в сторону, гоняясь друг за другом, перебрасываясь непристойными шутками, шлепая друг друга мокрыми полотенцами по заду (они возвращались с купания в коровьем пруду Джима Рейнхардта), бесцеремонно оглашая тихую улицу пронзительными голосами, лишая день солнца, радости, пения.

Они захлопывали калитки и перескакивали через изгороди; кружили вокруг деревьев, прятались за телефонные столбы, гонялись один за другим взад-вперед, ненадолго схватывались, рисовались друг перед другом, издавали пронзительные выкрики, выпаливали противные насмешки. Один погнался за другим вокруг дерева, упал от ловкой подножки и растянулся под издевательский хохот остальных, поднялся с красным, злобным лицом, попытался вымученно улыбнуться, запустил скомканным полотенцем в того, кто подставил ногу – промахнулся, подвергся осмеянию, поднял полотенце и, чтобы сохранить свое отталкивающее лицо и отвести от себя насмешки, проходя мимо дома Пеннока, громко заорал:

– Пе-е-енка!

Мальчик смотрел на него с холодным отвращением – остряк нашелся!

Они оглашали тихую улицу громкими насмешками, лишали день надежды, покоя, ясности.

Это были отвратительные безобразники, вместо того, чтобы идти дружно, они бесстыдно, беспорядочно носились, голоса их звучали хрипло, грубо, противно, будто харканье; в них не было тепла, радости, надежды или веселости; они оскверняли приятную улицу грубым нахальством. Ребята эти явились из западной части города, и Джордж Уэббер интуитивно понимал, кто они такие – бесцеремонные наглецы, носители ненавистных имен.

Вот в их числе Сидни Пертл, долговязый, тощий, пятнадцатилетний, весь тусклый – тусклые глаза, тусклое лицо, тусклые длинные волосы, тусклые брови, тусклый длинный нос, тусклые губы, постоянно кривящиеся в тусклой, безобразной усмешке, тусклый пушок на лице, тусклые веснушки и тусклая, ехидная, злобная душонка:

– Джорджес-Порджес!

Тусклая улыбка, тусклый издевательский смех; произнося эти слова, Сидни Пертл наотмашь хлестнул отвратительным, мокрым полотенцем. Джордж, пригнувшись, избежал удара и выпрямился.

Карл Хутон – звероподобный, приземистый, с широко расставленными ногами, краснорожий, краснорукий, красноглазый, рыжебровый, с приплюснутым лбом – стоял, глядя на Джорджа в упор.

– Провалиться мне на этом месте, – глумливо произнес он (остальные улыбочками выразили восхищение его блестящим остроумием) – это же малыш Макака Уэббер!

– Кака-Макака, – мягко, отвратительно проговорил Сидни Пертл и шлепнул мальчика мокрым полотенцем по голой ноге.

– Кака-Макака – отлично! – насмешливо сказал Карл Хутон и еще несколько секунд глядел на Джорджа с жестоким, издевательским презрением. – Малыш, ты *пешка*, – продолжал он, выделив последнее слово, и обратился к своим приятелям: – Эти белки с обезьяньими мордами еще никогда не падали с дерева.

Эту остроуту встретили громким, одобрительным смехом; вспыхнувший возмущением мальчик пристально глядел на своих недругов, не произнося ни слова. Сид Пертл подошел к нему поближе, тусклые глаза его сузились в злое щелочки.

– Правда, Обезьянус? – вкрадчиво спросил он с отвратительным спокойствием. Из горла его вырвался противный булькающий смешок, но он придал лицу серьезное выражение и негромко, с угрожающей требовательностью спросил: – Правда или нет? Еще не падали?

– Сид, Сид, – прошептал Гарри Нэст, дергая приятеля за рукав; по его острому, крысиному лицу промелькнула чуть заметная усмешка. – Давай проверим, хорошо ли он виснет на ветке.

Все засмеялись, и Сидни Пертл спросил:

– Хорошо ты виснешь, Обезьянус? – Затем, повернувшись к приятелям, серьезным тоном произнес: – Проверим, ребята, на что он способен?

Внезапно преисполнясь пыла и отвратительной жестокости, все они приблизились и со сдержанным, противным смехом окружили мальчика.

– Да-да, конечно! Проверим, на что он способен!

– Юный Обезьянус, – серьезным тоном сказал Сид Пертл, схватив свою жертву за руку, – хоть это и огорчительно для всех нас, мы устроим тебе экзамен.

– Отойдите от меня! – Мальчик вырвался, огляделся и прижался спиной к дереву; стая надвигалась на него, выставя вперед злобные лица, тусклые, противные глаза маслились затаенным, отвратительным ликованием. Дыхание мальчика стало хриплым. Он повторил:

– Я сказал – отойдите от меня!

– Юный Обезьянус, – ответил Сид Пертл тоном сдержанно го упрека, тем временем грязно, глумливо веселящиеся псы негромко подвывали. – Юный Обезьянус, ты удивляешь нас! Мы думали, ты поведешь себя, как маленький джентльмен, по-муж ски покоришься неизбежному...

Ребята!

Он повернулся и обратился к приятелям, в голосе его звучали серьезное предостережение и глубокое удивление:

– Кажется, юный Обезьянус хочет броситься в драку. Как думаете, следует нам принять меры?

– Да, да, – с готовностью ответили остальные и еще больше приблизились к дереву.

На минуту воцарилось зловещее, ликующее, напряженное молчание, все смотрели на мальчика, а тот под их взглядами лишь тяжело, часто дышал и чувствовал, как у него сильно, отрывисто бьется сердце. Потом Виктор Мансон неторопливо вышел вперед, протянул короткую, толстую руку, широкие ноздри его загорелого, надменно вздернутого носа презрительно раздувались. А голос, негромкий, издевательский, улецивающий, с отвратительной насмешкой звучал почти в лицо мальчику:

– Ну-ну, Обезьянус. Не артачься, маленький Обезьянус. Смирись и прими неизбежное, маленькая Обезьянка!.. Сюда, Макака! Иди, Макака! Сюда, Макака! Иди, Макака! Иди, получай свои орехи – Макаша-Макаша-Макаша!

И пока его приятели отвратительно хохотали, Виктор Мансон снова шагнул вперед, его загорелые короткие пальцы с бородавками на тыльной стороне сомкнулись на левой руке мальчика; внезапно мальчик вздохнул в слепом кромешном ужасе и горькой муке, он знал, что должен умереть, никогда больше не дышать с позором в тишине и покое, или утратить всякую надежду на легкость в душе; в его невидящих глазах что-то расплылось, потемнело – он нырвался из коротких пальцев с бородавками и ударил.

Нанесенный вслепую удар пришелся по толстой, загорелой шее, и она с бульканьем подалась назад. Жгучая ненависть на миг застлала мальчику глаза и вернула им зрение; он облизнул губы, ощутил горечь и, всхлипывая горлом, двинулся к ненавистному лицу. Сзади его крепко схватили за руки. Держа мальчика, Сид Пертл заговорил, его противный голос звучал с угрозой и уже неподдельной злобой:

– Пойдите-пойдите! Погодите, ребята!..Мы просто шутили с ним, так ведь, а он в драку полез!..Верно?

– Верно, Сид! Так и было!

– Мы-то думали, он мужчина, а это, оказывается, маленький злючка. Просто подшучивали над ним, а он разозлился. Не можешь принимать шутки по-мужски, да? – негромко, зловеще произнес Сид в ухо своему пленнику и при этом слегка встряхнул его. – Ты просто маленький плакса, скажешь, нет? Трус, бьющий исподтишка.

– Пусти, – выдохнул мальчик. – Я покажу тебе, кто плакса! Покажу, кто бьет исподтишка!

– Вот как, малыш? – спросил Виктор Мансон, тяжело дыша.

– Да, вот так, малыш! – злобно ответил мальчик.

– А кто говорит, что это так, малыш?

– Я говорю, малыш.

– Лучше не напрашивайся, а то получишь!

– Сам получишь!

– Вот как?

– Да, вот так!

Наступила пауза. Мальчик, тяжело дыша, кривил губы; во рту у него ощущался едкий, отвратительный вкус, сердце противно сжималось от животного страха, голова чуть кружилась, под ложечкой образовалась какая-то пустота, колени слегка подгибались, исчезло все недавнее золото дня, пение, зелень; в солнечном свете осталась только противная белизна, все виделось с какой-то неприятной резкостью; лица противников внезапно заострились, в резких взглядах

засквозила острая ненависть, у обоих пробудилась древняя жажда убийства.

– Ты лучше не задавайся, – неторопливо произнес Виктор Мансон, тяжело дыша, – а то кто-нибудь тебя отделает!

– И ты знаешь, кто?

– Может, знаю, а может, и нет, не скажу. Это не твое дело.

– И не твое тоже!

– Может, – сказал Виктор Мансон, жарко задышав и сделав крохотный шаг вперед, – может, я сочту, что мое!

– Что оно твое, счесть можешь не только ты!

– Знаешь кого-нибудь, кто этого хочет?

– Может, да, а может, нет.

– Уж не *ты* ли?

– Может, да, а может, и нет. Вот тебе и весь сказ.

– Ребята, ребята, – заговорил Сидни Пертл спокойно, насмешливо. – Вы злитесь друг на друга. Разговариваете в резких тонах. Так, смотришь, у вас и до драки дойдет – где-нибудь к Рождеству, – негромко съязвил он.

– Если он хочет выяснить отношения, – злобно сказал Виктор Мансон, – то знает, что надо делать.

– И ты тоже знаешь!

– Ребята, ребята, – мягко съязвил Сидни Пертл.

– Деритесь, деритесь! – сказал Гарри Нэст и украдкой хихикнул. – Ну, когда начнется настоящая драка?

– Черт возьми! – грубо вмешался Карл Хутон. – Они не хотят драться. Оба до того трусят, что вот-вот намочат штаны. Хочешь драться, Мансон? – вкрадчиво, жестоко спросил он, угрожаясь подходя к нему сзади.

– Если он хочет выяснить отношения... – начал снова Мансон.

– Ну так выясняйте! – выкрикнул Карл Хутон с грубым смехом и сильно толкнул Мансона к его схваченному за руки противнику. Сид Пертл толкнул своего пленника навстречу Мансону; через секунду они, пригнувшись, кружили друг перед другом. Сид Пертл спокойно произнес:

– Если они хотят подраться, не мешайте! Отойдите назад, дайте им место.

– Стойте!

Это слово прозвучало почти монотонно, но с такой спокойной, непоколебимой властью, что все ребята остановились и с изумлением посмотрели в ту сторону, откуда оно раздалось.

Небраска Крейн, держа на плече битую палку, приближался к ним с другой стороны улицы. Шел он ровно, не ускоряя шаг, лицо его ничего не выражало, черные индейские глаза неотрывно смотрели на всех.

– Стойте! – повторил он, подойдя вплотную.

– В чем дело? – спросил Сидни Пертл, изображая удивление.

– Оставьте Обезьяна в покое, – ответил Небраска Крейн.

– А что мы сделали? – спросил Сидни Пертл с видом полнейшей невинности.

– Я видел, – упрямо, монотонно ответил Небраска, – вы все четверо прицепились к нему; отстаньте от него.

– Отстать? – запротестовал Сид Пертл.

– Ты слышал, что я сказал!

Карл Хутон, более жестокий, смелый, менее осторожный, чем Сид Пертл, грубо вмешался:

– Тебе-то что? Какое твое дело, что тут у нас?

– Я считаю это своим делом, – спокойно ответил Небраска. Обезьян, – продолжал он, – иди ко мне.

Карл Хутон встал перед Уэббером и спросил:

– Какое у тебя право указывать нам, что делать?

– Уйди с дороги, – сказал Небраска.

– Кто заставит меня? – спросил Карл Хутон, вызывающе надвигаясь на него.

– Карл, Карл, оставь, – негромко, предостерегающе сказал Сид Пертл. – Не обращай внимания. Раз уж он так взбеленился, не связывайся с ним.

Послышались негромкие, предостерегающие голоса и других

– Можете драпать, – ответил Хутон, – но я перед ним не попячусь. Отец его полицейский, вот он и прет на меня. Ну так я тоже могу попереть на него.

– Ты слышал меня! – сказал Небраска. – Уйди с дороги!

– Пошел к черту! – ответил Карл Хутон. – Мне ты не указ!

Небраска Крейн взмахнул со всего плеча бейсбольной битой и сбил с ног рыжего парня. Сокрушительный удар был нанесен с такими хладнокровием и твердостью, что ребята побледнели от ужаса; такой беспощадной, смертоносной решимости они не предвидели. Всем было ясно, что удар этот, придиись он по голове, мог бы убить Карла Хутона; было точно так же до жути очевидно, что Небраска Крейн и ухом бы не повел, если бы убил Карла. Черные глаза его сверкали, будто агаты, в нем пробудился чероки, тот был готов убивать. При ударе раздался ужасающий стук древесины ясеня о живую человеческую плоть, пришелся он по руке Карла Хутона, рука онемела от плеча до кисти, и трое мальчишек, изумленных, пораженных, жутко испуганных, поднимали четвертого, не зная, уцелела у него хотя бы одна кость, останется ли он навсегда калекой или сможет ходить снова.

– Карл... Карл... сильно он тебя? Как рука? – спросил Сидни Пертл.

– Наверное, сломана, – простонал этот смельчак, держась за ушибленное место другой рукой.

– Ты... ты... ты пустил в ход биты, – прошептал Сидни Пертл. – Ты... не имел права.

– Кажется, у него сломана рука, – с трепетом произнес Гарри Нэст.

– Я и хотел ее сломать, – спокойно ответил Небраска Крейн. – Его счастье, что не проломил ему башку.

Ребята глядели на него в изумлении и трепете, словно замороженные.

– Тебя... тебя можно арестовать за это! – выпалил Сид Пертл. – Ты чуть не убил его!

– Убил бы, и черт с ним! – твердо ответил Небраска. – Он того заслуживает! У меня было такое желание!

Ребята уставились на него расширенными от ужаса глазами. Он ответил им индейским взглядом и шагнул вперед, держа биты наготове возле плеча.

– Я вот что скажу вам – и можете передать остальным, когда вернетесь в свою часть города. Передайте, что я готов вышибить мозги первому же ублюдку, который явится сюда искать приключений. И если кто-то из ваших заденет еще хоть раз Обезьяна, я приду туда и переломлю вам кости, – заверил Небраска. – Приду, излупцую до смерти... А теперь проваливайтесь! Мы больше не хотим терпеть вас на своей улице! Живо!

Он медленно стал приближаться к ребятам, держа наготове биты и твердо глядя на них черными глазами. Ребята в страхе попятились, подхватили пострадавшего и, негромко переговариваясь на ходу, торопливо потащились по улице прочь. На углу обернулись, Сид Пертл приложил руки рупором ко рту и с неожиданным вызовом громко закричал:

– Мы еще сочтемся с тобой! Только появись в нашей стороне города!

Небраска Крейн не ответил. Он продолжал упорно смотреть на них своими индейскими

глазами, несколько секунд спустя они свернули за угол и скрылись из виду.

Тогда Небраска снял с плеча битую, изящно оперся на нее и бросил на побледневшего мальчика спокойный, дружелюбный взгляд. Его смуглое, широкое, усеянное веснушками лицо расплылось в открытой, простодушной улыбке:

– В чем дело, Обезьян? Они хотели тебя унижить?

– Ты... ты... Небраска! – прошептал мальчик. – Ты ведь мог его убить!

– Ну и что, если б убил? – дружелюбно ответил Небраска Крейн.

– Т-тебя это не волновало? – прошептал с трепетом юный Уэббер, в глазах его застыли сомнение, ужас, восторженное изумление.

– Да ничуть! – искренне ответил Небраска. – Убил бы – туда ему и дорога! Этот рыжий мне всегда не нравился, да и те, с кем он водится, – вся эта шобла с западной стороны! Я всегда презирал их, Обезьян!

– Б-брас, – промямлил Джордж, – неужели ты *не* боялся?

– Боялся? Чего?

– Ну как же – что можешь его убить.

– Да нечего тут бояться! – ответил Небраска. – Каждый может быть убит, Обезьян. Ты можешь кого-то убить почти в любое время! Возьми моего отца. Он убивал людей всю жизнь – по крайней мере с тех пор, как стал полицейским! По-моему, он ухлопал столько, что счет потерял – как-то досчитал до семнадцати, а потом сказал, что еще несколько начисто вылетели у него из памяти! Да! – торжествующе продолжал Небраска, – и еще нескольких *до того*, как стал полицейским, об этом никто не узнал – думаю, это еще в детстве, так давно, что совершенно забыл о них! Недавно тут он застрелил негра – с неделю назад – и даже глазом не моргнул. Пришел домой ужинать, снял португепю, китель, вымыл руки, сел за стол и, съев половину ужина, вспомнил об этом. Говорит вдруг матери: «Ах, да! Совсем забыл сказать тебе! Пришлось сегодня застрелить негра!».- «Вот как? – говорит мать.- А другие новости есть?» Они заговорили о том, о другом, и готов держать пари, через пять минут напрочь забыли об этом негре!.. Ерунда, Обезьян! – искренним тоном завершил Небраска Крейн, – о таких вещах даже *думать* не стоит. Каждый может кого-то убить. *Такое* случается ежедневно!

– Д-да, Брас, – промямлил юный Уэббер, – но если что-то случится с *тобой*?

– Случится? – воскликнул Небраска и поглядел на юного друга с откровенным удивлением.

– Что может случиться с тобой, Обезьян?

– Д-да вот – я подумал, что когда-нибудь могут убить тебя *самого*.

– А!- произнес Небраска, кивнув головой после недолгого размышления. – Вот ты о чем! Да, Обезьян, такое может случиться! Но, – серьезным тоном продолжал он, – *не должно* случаться! Ты не должен допускать этого! А случилось – значит, сам виноват!

– Д-допускать! Виноват! Не понимаю, Брас!

– А что тут непонятного? – терпеливо, но с ноткой легкого раздражения ответил Небраска.

– Я хочу сказать, что с тобой ничего не случится, если будешь *осторожным*.

– Ос-осторожным? Брас, как это понять?

– Ну, Обезьян, – теперь Небраска говорил с явным, хотя и добродушным раздражением, – быть осторожным – значит, не позволять себя убить! Вот, возьми моего старика! – продолжал он с торжествующей логикой. – Он убивает людей уже лет тридцать – во всяком случае, с тех пор, когда тебя и *меня* еще на свете не было! Но вот *его* не убили! – торжествующе заключил он. – *А почему!* А потому, Обезьян, что мой старик всегда старается убить другого раньше, чем тот сможет убить его. И пока будешь поступать *так*, с тобой ничего не случится.

– Д-да, Брас. А если п-попадешь в беду?

– В беду? – переспросил Небраска, недоуменно глядя на него. – В какую? Если *ты* убил

другого, не дав ему убить себя, то в беду попал он. А ты цел и невредим; думаю, понять это может любой!

– Д-да, Брас. Это я понимаю. Но вел речь об аресте... тюрьме.

– А, эта беда! – с легким недоумением произнес Небраска и ненадолго задумался. – Ну что ж, Обезьян, если тебя арестуют, значит, *арестуют*, - только и всего! Ерунда, малыш, – *каждого* могут арестовать; от этого никто не застрахован. Мой старик всю жизнь арестовывает людей. Думаю, уже и счет потерял, скольких взял под арест и посадил!.. Да и самого отца тоже несколько раз арестовывали, но его это *нисколечки* не беспокоило.

– 3-за что, Брас? Почему его арестовывали?

– А, за убийства и прочее! Ведь как получается, Обезьян. Иногда родственники, соседи или жены с детьми убитых людей поднимают шум – говорят, он не имел права их убивать и тому подобное. Но мой старик *всегда* оказывался прав – всегда! – воскликнул Небраска серьезным тоном. – А почему? Да потому что, как говорит мой старик, это Америка, и мы *свободная* страна – а если кто-то встает у тебя на пути, ты вынужден убить его – вот и весь разговор!.. Если попадешь под суд – значит, попадешь. Конечно, это неприятно, отнимает много времени – а потом присяжные освобождают тебя, и все тут!.. Мой старик постоянно говорит, что это единственная страна, где у бедняка есть надежда. В Европе надежды у него было б не больше, чем у снежного кома в аду. А почему? Да потому что, как говорит мой старик, законы в Европе созданы для богатых, *там* бедняку не дожидаться правосудия – оно у них только для королей, герцогов, лордов и прочих. Но бедняк – вот какое дело, Обезьян, – выразительно произнес Небраска, – если бедняк в Европе взял и убил человека, с ним могут сделать почти все, что угодно – до того там все гнило и продажно. Расспроси об этом как-нибудь моего старика! Он порасскажет тебе!.. Ерунда, малыш! – продолжал он с прежней добродушной, дружелюбной небрежностью. – Тебе ничего на свете не нужно бояться. Если какая-то шобла с западной стороны заявится и пристанет к тебе, дай мне знать, я с ней разделаюсь! Придется убить кого-то – уьем, только пусть тебя это совершенно не волнует!.. Ну ладно, пока, Обезьян! Дай мне знать, если что случится, и я разберусь!

– С-спасибо, Брас! Я очень благодарен...

– Ерунда, малыш! Не за что! Нам надо держаться заодно в своей части города. Мы соседи! Ты сделал бы для меня то же самое, это я знал!

– Д-да, Брас, конечно. Ладно, до свидания.

– До свидания, Обезьян. Скоро увидимся.

И спокойно, уверенно, невозмутимо, мерным шагом, обратив вперед спокойное, мужественное лицо с индейскими глазами, твердо сжав битую на плече, мальчик-чероки пошел, свернул в свой переулок и скрылся из виду.

Небраска Крейн был лучшим из ребят в городе, а Сид Пертл – белой швалью и шушерой с гор. Будь в нем хоть что-то стоящее, родители не назвали бы его Сидом. Дядя Джорджа Уэббера сказал, что они просто-напросто шушера с гор, хоть и живут на Монтгомери-авеню в западной части города; шушера, и ничего больше. И он был прав. Сид! Ничего себе имечко! Мерзкое, грязное, глумливое, подлое, наглое, мутноглазое, дурацкое! Другими мерзкими, глумливыми именами были Гай, Кларенс, Рой, Гарри, Виктор, Карл и Флойд.

Носившие эти имена ребята были отталкивающими – тонкогубыми, ухмыляющимися, конопатыми, мутноглазыми хамами с поросшими пушком лицами, с неприятными, узловатыми руками, с противной, сухой кожей. В этих людях постоянно было что-то насмешливое, отвратительное, безобразное, самодовольное и торжествующее. Джордж Уэббер, сам не зная почему, всегда испытывал желание расквасить им рожи, он ненавидел не только все в них, но и

«землю, по которой они ступали», дома, в которых жили, часть города, где появились на свет, а также их отцов, матерей, сестер, братьев, кузин, тетюшек и близких друзей.

Джордж чувствовал, что они отвратительно непохожи на симпатичных ему людей не только теми свойствами, которые существуют для теплоты, радости, счастья, преданности, дружбы и золотисто-зеленого очарования великолепной погоды – что в них есть и физическое отличие, до того отвратительное и мерзкое, словно они существа иного вида. Кровь, кости, мозги, сухая плоть с белым пушком, жилы, суставы, слюна – отвратительно-тягучее липкое вещество, видимо, того же состава, что их мутные глаза и ухмыляющиеся губы, – а также все сложное сплетение нервов и вен, соединительные ткани, связывающие воедино ту чудесную обитель души, ту оболочку жизни, которую представляет собой человеческое тело, у людей, в которых все, вплоть до имен, было ненавистно Джорджу, должно быть, состояли из какого-то мерзкого, отвратительного, в высшей степени нечистого и ещества. То была субстанция, отличавшаяся от великолепного материала, из которого состояли симпатичные ему люди, как гадостные экскременты от здоровой, вкусной, полезной, живительной пищи. То была субстанция не только разума и духа, но и плоти, поэтому казалось, что рождены они из едучих, ядовитых утроб и всю жизнь питались какими-то неведомыми, отврати-к-льными продуктами. Джордж не смог бы есть ту еду, что гото-вили их матери, без того, чтобы не рыгать и давиться при каждом глотке, чувствуя, что глотает какую-то дрянь, мерзость.

И все же, где бы Джордж их ни встречал, они словно бы лучились каким-то злобным, безмерным торжеством. Это было торжество смерти над жизнью; ехидной насмешки и глумления над нсселостью, теплотой, дружеской непринужденностью; злополучия, боли и страдания над всей могучей музыкой радости; скверной, бесплодной, злобной жизни над приятной жизнью надежды, счастья, прекрасной веры и крепкой любви.

Они проживали на проклятых улицах, самые стены которых были ни до того ненавистны, что каждый шаг по ненавистным тротуарам давался с трудом. Они ходили под проклятыми небесами и злобно радовались противному, безжизненному, безнадежному, вязкому, утепляющему душу свету, погоде горя, усталости и отчаяния.

Они были людьми, каких не встретишь в местах торжествующей радости – в волшебстве зеленых полян, блистающих мучительно-невыносимым очарованием одуванчиков, где волнами струятся прохладные воды. Нет! Они купались в противной воде без тени, где сникает душа. Они не приходили к окруженным зеленью прудам; они были не способны издать удалой возглас и не пели песен.

В любых бесплодных, безлюдных местах, при любых подвергающих душу в серый ужас свете и погоде, на покрытых бетоном улицах в жестокую, изнуряющую жару августа или на неровных тропинках с вязкой глиной под холодными красными лучами заката в марте они постоянно появлялись в торжествующей черствости своей отвратительной жизни. Они без утомления, страдания или душевного отчаяния дышали каким-то проклятым воздухом, от которого вы шарахались с дрожью отвращения; они насмехались над вами всякий раз, когда вы испытывали удушье.

Они были стервятниками этого мира, которые с отвратительным, неизменным предвидением беды постоянно кружат над полем брани и непременно опускаются на вас в тягчайшие минуты вашей жизни. Если ваши кишки были никудашными, больными, слабыми, не способными удержать поноса; руки и ноги дрожащими, бессильными, бледными и больными; кожа сухой, отвислой и зудящей; желудок изрыгал отвратительную рвоту; глаза слезились, из носа текло, и внутренности заполнял густой, серый, вязкий, мучительный холод – тогда они обязательно появлялись, радовались вашему несчастью с выражением отвратительного, торжествующего превосходства на своих ухмыляющихся лицах.

Точно так же, если серые, влажные, вызывающие отчаяние небеса угнетали ваш дух; если их сырой, противный, низменный свет въедался в вашу неприкрытую, беззащитную плоть; если безымянный, непереносимый страх – громадный, мягкий, серый, бесформенный – давил на вас из межпланетной пустоты вечных небес; если вас затоплял серый ужас, и вся телесная, мощная, торжествующая сила, вся возвышенная музыка вашей души вместе с густой хрупкой тканью бесчисленных нервов никли смятенными, притуплёнными, парализованными, оставляя вас разбитым, сокрушенным, беспомощным и дрожащим в жутком бессилии; тогда они, *они* – Сид, Карл, Гай, Гарри, Флойд, Кларенс, Виктор, Рой, эта проклятая, подлая ухмыляющаяся свора со злорадными, садистскими, враждебными жизни именами – непременно появлялась там, чтобы вонзить нечистые клювы вам в сердце, торжествуя наслаждаться вашим горем в то время, когда вы задыхались в своем злополучии, словно бешеная собака, и умирали!

Подумать только! Умирать так, уходить из жизни так, давясь и задыхаясь, беспомощно истекая до смерти кровью – и умирать! умирать! умирать! – в ужасе и страданиях, когда эти любители смерти лишают тебя помощи и друзей! О, смерть может быть блистательной – в битве, в любви, в дружбе и опасности, может быть славной, если это благородная смерть, костлявая, сухопарая, одинокая, нежная, любящая и героическая смерть, которая склонилась, чтобы милосердно, любовно, сострадательно коснуться своего избранника и возложить на него печать чести!

Да, смерть может быть блистательной! Может прийти величественно, если рядом с тобой замечательные люди, носящие прекрасные имена. Члены героического братства дружбы, радости и любви, они носят имена Джон, Джордж, Уильям, Оливер и Джек; имена Генри, Ричард, Томас, Джеймс и Хью; имена Эдвард, Джозеф, Эндрю, Эмерсон и Марк! Имена Джордж Джосая Уэббер и Небраска Крейн!

Гордая, простая музыка их имен сама по себе являлась гимном их славной жизни и торжествуя говорила ему о теплоте, радости, надежности и преданности этого героического братства. Говорила о подвигах и великих свершениях, о славной смерти в бою и торжестве над ней, если только они смогут увидеть, как он будет приветствовать ее, когда она явится. Тогда он сможет ликуя воскликнуть им: «О, братья, друзья и товарищи, дорогие соперники по славным делам, как горячо любил я жизнь среди вас! Я был вашим другом-соперником и равным вам во всем! Как гордо и возвышенно я жил! – Теперь смотрите, как гордо и возвышенно я умираю!».

Умереть так, в этом братстве жизни, было бы славной, радостной и блистательной смертью для любого! Но умирать жалко и мучительно, с неутоленным голодом; с тошнотой и поносом, сухой кожей, слабыми руками и ногами, с противно сжимающим-сердцем; умирать со слезящимися глазами и покрасневшими ноздрями, из которых течет; умирать потерпевшим крушение, отчаявшимся, не исполнив своего предназначения, загубив свои таланты, с нерастраченными, парализованными, впустую пропавшими силами – мысль об этом была невыносимой, и мальчик клялся, что скорее умрет сама смерть, чем он придет к такому концу.

Умирать, будто унылый, сломленный раб в окружении омерзительных, радующихся смерти Сида, Роя, Гарри, Виктора, Карла и Гая! – умирать сломленным, видя их насмешку и дьявольскую гордыню, дать наслаждаться этой грязной своре живущих жизнью-в-смерти их отвратительной, окончательной победой – о, это было невыносимо, невыносимо! При мысли об этом его охватывали ужас и ненависть, и он клялся, что победит, побьет их оружием уверенности, приколотит к стене их грязные шкуры сверкающими, несокрушимыми гвоздями радости и очарования, набьет их ухмыляющиеся рты грязью, навсегда придавит победоносной ногой жизни горделивую, склоненную шею презрения и страдания.

Одним из тех, к кому он питал симпатию, был Небраска Крейн. Имя, конечно, странное, но вместе с тем и хорошее. Честное, крепкое, мускулистое, сильное, загорелое и веснушчатое, простое, будто старый башмак, ничего не боящееся и все же с какой-то странностью. Как и сам его обладатель.

Отец Небраски был полицейским, уже в чине капитана; он приехал из округа Зибулон; в жилах его была доля индейской крови. Мистер Крейн знал все; для него не существовало ничего неизвестного. Если день четырнадцатого марта был солнечным, он мог сказать, что это предвещает, будет ли погожим апрель. Если за три дня до Пасхи шел дождь, снег или град, или дул сильный ветер, он мог предсказать погоду на Пасху. Мог поглядеть на небо и сказать, что надвигается; если близились ранние заморозки, грозившие погубить персиковые деревья, он мог предсказать, когда они начнутся; всякую бурю, всякую перемену погоды он заранее «чувствовал в костях». Для подобных предсказаний у него было множество примет и признаков – цвет луны или вид облака, состояние воздуха или направление ветра, прилет самых ранних птиц, всходы травы. Он чувствовал приближение грозы и ощущал запах грома. Все это означало, что он обладает неким сильным, полученным от природы шестым чувством, почти сверхъестественной интуицией. В дополнение к этому – или вследствие этого – мистер Крейн выращивал лучшие в городе овощи – самые большие, самые вкусные помидоры, самый крупный картофель, лучший горошек, капусту, шпинат и лук, самую сладкую клубнику, самые красивые цветы.

Мистер Крейн был, как нетрудно догадаться, видным человеком в городе не только как капитан полиции, но и как своего рода местный пророк. Газета постоянно публиковала интервью с ним на всевозможные темы – относительно перемены погоды, перспектив холодной зимы, жаркого лета или сильных заморозков, ждать ли засухи или сильных дождей. Ответ у него всегда бывал готов, и он редко ошибался.

Наконец – и это, разумеется, делало его в глазах ребят незабвенно-героическим – мистер Крейн был некогда профессиональным борцом (притом хорошим; говорили, что однажды он стал «чемпионом Юга»), и хотя ему было уже далеко за сорок, он иногда соглашался выступить на местных соревнованиях, показать свое мастерство. Одной восхитительной зимой, года два назад, мистер Крейн встречался с целым рядом грозных противников – Чудами-в-маске, Скрытыми Опасностями, Ужасными Турками, Могучими Шведами, Демонами Финтов и прочими.

Джордж Уэббер помнил их всех; Небраска всегда проводил его на состязания по взятым у отца контрамаркам. Одной мысли о приближении этих вечеров было достаточно, чтобы привести мальчика в горячку ожидания, неистовство предвидения, мучительное беспокойство. Он не представлял, как мистер Крейн и Небраска могут быть накануне поединка с его жутким противостоянием, поражением или победой, травмой или увечьем, переломами костей или разрывами связок выказывать не больше беспокойства, чем перед ужином.

Однако же это было так! Эти люди – и отец, и сын, – казалось, вышли прямо из сердца неизменной и невозмутимой природы. Они обладали теплотой, непоколебимым дружелюбием и способностью на неистовую вспышку гнева, безжалостное убийство. Но страха у них было не больше, чем у горы. Нервы у них имелись, стальные; но что до болезненно-затрудненного пульса, сильной сухой боли и сжимания горла, пустоты под ложечкой, легкого головокружения, какой-то нереальной легкости перед атакой – они, казалось, не имели об этом понятия, словно состояли из твердой древесины.

Всякий раз, когда мистеру Крейну предстояло бороться в городском спортзале, мальчик наблюдал, как он проходит мимо дома. Всякий раз искал в широком лице полицейского признаков страдания или напряжения, смотрел, есть ли в странных, жестких чертах лица какое-то беспокойство, угрюмо ли сжаты его крепкие челюсти, видно ли беспокойство в суровых

глазах, есть ли какие-то признаки страха, смятения, опасения в его походке, виде, тоне голоса, жестах, приветствиях. Их не бывало. Полицейский не менялся ни на йоту. Могучий, слегка неуклюжий мужчина ростом чуть меньше шести футов, с толстой шеей, сильно изборожденной морщинами, длинными руками, большими кистями, плечами, как у гориллы, и чуть шаркающей походкой, в брюках, слегка пузырящихся на коленях, – воплощение громадной, однако несколько порастраченной силы, – он проходил мимо в слегка неряшливом мундире, с золотыми лампасами на брюках, сворачивал к своему дому и поднимался по ступеням переднего крыльца, выказывая не больше волнения, чем в любой другой день. Хотя все мужское население города наверняка взволнованно гудело, размышляя об исходе схватки, и сердца ребят колотились с тревожным ожиданием при мысли о ней.

Позднее, когда уже наступала темнота, примерно за полчаса до начала встречи, мистер Крейн выходил из дома, держа под мышкой завернутые в газету старые борцовские трико и туфли; неспешной, ровной поступью шел к городскому спортзалу – и, Великий Боже! – к своей намеченной и теперь уже до жути неминуемой схватке со Шведом Костоломом, Чудом-в-маске или Турком Душителем!

Несколько минут спустя к дому Джорджа подходил Небраска и пронзительно свистел; Джордж выбежал из дома и торопливо спускался по ступенькам, все еще с трудом проглатывая обжигающий кофе – и они вдвоем отправлялись в город!

Какие то были вечера – спокойные, с запахом дыма, далеким лаем собак, костром из дубовых листьев на углу и мальчишками, скачущими вокруг него в пляске – чудесные вечера приближающейся схватки борцов, вечера, насыщенные морозцем и опасностью, радостью и страхом – октябрьские вечера!

О, как стучало сердце в такт шагам по пути в город! Как сжимало горло, как пересыхали рот и губы! Как мог Небраска идти так спокойно и выглядеть таким невозмутимым! Вот и спортзал, людская толчея, резкий, яркий свет известково-белых фонарей, гомон взволнованных голосов. Потом вход, места в передних рядах большого, продуваемого сквозняком, вызывающего волнение зала, громадный занавес с надписью «Горный лен», возня и громкие шутки в толпе, пронзительные выкрики мальчишек, наконец свист, топот ног, требовательные аплодисменты, пустой, волнующий, огороженный канатами квадрат. Вот и секунданты, хронометражисты, судьи; и наконец – сами борцы!

О, какое волнение! Мука и радость, ужас и опасность, пересохшая кожа, горящие глаза, лихорадочный пульс, нервное, распирающее изнутри возбуждение! Господи, как только может плоть его выдержать! При том – вот они оба, те, что неизбежно, фатально вот-вот сойдутся в поединке, и мистер Крейн совершенно расслабленный, холодный, как камень, терпеливый, как ломовая лошадь, и взволнованный, как стена!

А в другом углу – ха! таким, как ты, и адресуются шипение, свист, насмешки! – во всем зловещем вызове и угрозе своего подлого инкогнито сидит и ждет Чудо-в-маске. На его круглую голову и толстую, как у гориллы, шею, надет и затянут шнурком какой-то зловещий черный мешок из грубой ткани! Это жуткая черная маска с недобрыми прорезями для глаз, сквозь которые маленькие глаза-бусинки поблескивают злобно и безжалостно, как у гремучей змеи; под маской проступают черты его плоского, терского лица, и все же оно так зловеще, таинственно скрыто, что больше всего он похож на заплечных дел мастера. На изверга и черной маске и зловещем капюшоне, который исполняет жестокие, тайные приказы инквизиции или Медичи; на того, кто пришел под покровом ночи к двум маленьким принцам в Тауэр; на ку-клукс-клановца; на Джека Кетча^[3] с опущенным капюшоном; на гильотину, где Сидни Картон был двадцать третьим; на Красную Смерть, Робеспьера и Террор!

Пока он сидит там, свирепо подавшись вперед, с короткими, толстыми, волосатыми

пальцами, в наброшенном на устрашающие плечи старом халате, толпа гикает в его адрес, мальчишки и щают насмешливые выкрики! И все же в каждом гиканье, в каждом выкрике слышатся тревожные предчувствия, люди беспокойно размышляют и перешептываются.

– Господи! – негромко, испуганно произносит один мужчина. – Смотрите, ну и шея у него, как у быка!

– Боже, гляньте только на его плечи! – говорит другой. – Гляньте на руки! Запястья у него толщиной с икру! Дик, погляди на эти ручищи; ими можно удавить медведя!

Или раздается испуганный шепот:

– Черт побери! Похоже, Джону Крейну придется туго!

Все взгляды с тревогой обращаются к мистеру Крейну. Он спокойно сидит в своем углу, похожий на усталого, терпеливого старика. Помигивает и равнодушно косится на яркие лампы над рингом, задумчиво проводит большой рукой по лысому темени, почесывает огрубелую, морщинистую шею. Кто-то из зала выкрикивает ему приветствие, он с легким удивлением поворачивается в ту сторону, оглядывает толпу спокойными, твердыми, как агат, глазами, находит человека, который кричал ему, приветственно машет, потом терпеливо подается вперед, снова положив руки на колени.

Судья пролезает между канатами на ковер, вполголоса разговаривает по-ученому с доктором Недом Ревиром, сверяет с ним записи, принимает очень серьезный, глубокомысленный вид, наконец вызывает обоих гладиаторов, над которыми хлопчут секунданты, помощники, массажисты, к центру ковра, очень серьезным тоном дает им наставления, отправляет их по своим углам – и встреча начинается.

Каждый из борцов возвращается в свой угол, сбрасывает с плеч видавший виды халат, несколько раз отжимается от канатов, раздается гонг, они поворачиваются лицом друг к другу и сходятся.

Сходятся они медленно, мощные руки их слегка вытянуты вперед ладонями наружу, и начинают кружить, чуть пригнувшись, ловкие, словно кошки. Мистер Крейн в борцовском трико выглядит даже более нескладным и неуклюжим, чем в мундире; у него все слегка обвисает, словно бы под тяжестью силы, какой-то старой, безмерно упорной, несколько усталой. Широкие плечи покатые, большие грудные мышцы покатые и обвислые, ноги присогнуты в коленях, длинное борцовское трико сморщенное и тоже слегка обвислое; большие наколенники для работы в партере тоже старые, обвислые, напоминающие сумку кенгуру.

Мистер Крейн неторопливо, осторожно вертится на месте, но Чудо-в-маске быстро кружит и перемещается; скачет взад-вперед на бугрящихся мышцами, словно бы резиновых ногах; пригибается и принимает грозный вид, финтит и бросается вперед, пытаясь сделать захват, но мистер Крейн уклоняется с какой-то изощренной легкостью. Толпа неистово раздражается ободряющими возгласами! Чудо-в-маске делает нырок, промахивается, падает и растягивается во весь рост. Мистер Крейн бросается на него, проводит хаммерлок; Чудо-в-маске делает мостик своим кряжистым телом, вырывается, захватывает шею мистера Крейна на крепкой хваткой; рослый полицейский резко изгибается назад, высвобождается и отлетает в угол ринга. Противники сходятся снова – зрители безумствуют!

О, какое волнение! Страх и угроза, неистовые, учащающие пульс радость и ужас! Целых два часа кряканья, отдышки, потения, хрипа, стоны! Ликующее торжество, когда мистер Крейн оказывается наверху; тупое, мертвящее, безнадежное страдание – когда внизу! И главное – нечеловеческие таинственность, сокровенность, зловещая маскировка!

Что из того, если Ужасный Турок на самом деле просто-напросто мускулистый ассириец из Нью-Бедфорда, штат Массачусетс? Что из того, если Демон Финтов на самом деле молодой помощник машиниста из паровозного депо Южной железнодорожной компании? Что из того,

если вся эта зловещая рать Шведов Костоломов, Ужасных Гуннов, Отчаянных Итальянцев, Моряков Страшилищ набрана главным образом среди крепких штукатуров из Ноксвилла, штат Теннесси, здоровенных пекарей из Хобокена, бывших маляров из Хэмтремка, штат Мичиган, и вчерашних пастухов из Вайоминга? И наконец, что из того, если этот палач со злобными глазами, этот Чудо-в-маске на самом деле просто-напросто молодой грек, работающий за стойкой в привокзальном кафе «Жемчужина»? Что из того, если это раскрылось во время одной из схваток, когда ужасный черный капюшон оказался сорван? Было, разумеется, потрясением узнать, что Костоломная Угроза, один вид которого поражал ужасом сердце, всего-навсего безобидный, добродушный парень, готовящий булочки с бифштексами для железнодорожных рабочих. Но даже когда все раскрылось, волнение, угроза, опасность остались прежними.

Для мальчика двенадцати лет они были тайной, были Чудами, Угрозами, Ужасами, – а человек, который отваживался встретиться с ними в поединке – героем. Человек, который встречался с ними на ковре, был стальным. Человек, который, шаркая, выходил навстречу и схватывался с ними – напрягался и тужился, избегал их приемов или тяжело пыхтел в их захватах в течение двух часов – был могучим, совершенно бесстрашным и несокрушимым, как гора. Этот человек не знал, что такое страх, – а сын походил на него во всем, был самым лучшим и самым смелым из ребят в городе!

Небраска Крейн и его семья переехали в эту часть города недавно. Раньше он жил в районе Даблдэй; возможно, бесстрашие его объяснялось отчасти этим.

Даблдэй – район, где жили ребята с отвратительными именами Риз, Док и Айра. Они носили в карманах ножи, разбивали в драках камнями головы и вырастали бродягами, завсегдатаями бильярдных, сводниками и сутенерами, живущими за счет потаскух. Были рослыми, неотесанными, нескладными, задирами с расплывчатыми чертами лица, вялой, кривой улыбкой, с желтыми пальцами, в которых постоянно держали обмусоленную сигарету, время от времени подносили ее к губам и глубоко затягивались, кривя рот и прикрывая глаза, с видом грязной, закоренелой распущенности швыряли окурок в канаву. Медленно выпускали из ноздрей дым, похожий на влажный туман, – словно громадные, пористые мехи их легких уже покрылись желтыми, липкими никотиновыми пятнами – и сурово, негромко цедя слова из уголков рта, обращались к восхищенным приятелям со скучающим видом бывалых людей.

Вырастая, эти ребята наряжались в дешевую, кричащую одежду, светло-желтые тупоносые штиблеты, рубашки в яркую полоску, что наводило на мысль о расфранченности и телесной нечистоте. Вечерами и в воскресные дни топтались на углах пользующихся дурной славой улиц, рыскали украдкой поздними ночами мимо магазинов с дешевой одеждой, ломбардов, маленьких, грязных закусовых для белых и негров (с перегородкой посередине), бильярдных, неприглядных маленьких отелей со шлюхами – знатоки Южной Мейн-стрит, представители всего подлого, жуликоватого дна ночной жизни маленького города.

Они были скандалистами, дебоширами, хулиганами, драчунами, поножовщиками; были жучками из бильярдных, содержателями подпольных кабачков, охранниками борделей, сутенерами на содержании у шлюх. Они были лихачами с толстыми красными шеями, в кожаных гетрах, и по воскресеньям, после недели, проведенной в драках, подвальных закусовых, борделях, в затхлом, нечистом воздухе потайных злачных мест, их можно было увидеть едущими по приречной дороге вдвоем со своими шлюхами на разгульный пикник. Они бесстыдно катили средь бела дня со спутницами, издающими чувственный, теплый, бередящий нутро запах, свежий, отдающий порочностью, струящийся неторопливо, как эта речушка, который властно, ошеломляюще, тайно пробирает тебя, неизменно вызывая какую-то мучительную страсть. Потом в конце концов останавливались у обочины, вылезали и вели своих

спутниц вверх по холму в кусты, чтобы уединиться под листьями лавра, лежа в густом, зеленом укрытии южных зарослей, теплых, влажных, соблазнительных, как белая плоть и щедрая, чувственная нагота потаскухи.

В районе Даблдэй жили ребята с именами Риз, Док и Айра – худшие в школе. Они всегда были переростками, сидели по нескольку лет в одном классе, вечно не выдерживали экзаменов, грубо, презрительно усмехались, когда учителя корили их за лень, по нескольку дней подряд прогуливали занятия, наконец школьный надзиратель приводил их, они вступали в кулачную драку с директором, если тот пытался задать им порку, зачастую подбивали ему глаз, и в конце концов, когда они были уже здоровенными лоботрясами шестнадцати-семнадцати лет, одолевшими не больше четырех классов, на них с отчаянием махали рукой и с позором изгоняли.

Эти ребята учили малышей нехорошим словам, рассказывали, как ходили в бордели, насмешничали над теми, кто не ходил, и заявляли, что нельзя называться мужчиной, пока не побывал там и не «попробовал». В довершение всего Риз Макмерди, шестнадцатилетний, рослый и сильный, как взрослый, сказал, что нельзя называться мужчиной, пока не подцепишь венерическую болезнь. Он говорил, что заразился впервые, когда ему было четырнадцать, хвастал, что потом заражался еще несколько раз, и утверждал, что это не страшнее сильного насморка. У Риза Макмерди был шрам, при взгляде на который по телу бежали мурашки; он тянулся от уха до правого уголка рта. Получил его Риз в драке на ножах с другим подростком.

Айра Дингли недалеко ушел от него. Он был пятнадцатилетним, не столь рослым и крупным, как Риз Макмерди, но крепко сложенным и сильным, как бык. У него было маленькое, отвратительное, дышавшее энергией и злобой лицо, маленький, красный, недобро, вызывающе глядевший на весь мир глаз. На другой он был слеп и закрывал его черной повязкой.

Однажды на перемене с игровой площадки раздался громкий, торжествующий крик: «Драка! Драка!». Ребята сбежали со всех сторон, Джордж Уэббер увидел внутри круга Айру Дингли и Риза Макмерди, они медленно, свирепо сближались, сжав кулаки, потом кто-то сильно толкнул Риза в спину, и тот врезался в Айру. Айра отлетел в толпу и вышел оттуда медленно, пригибаясь, не сводя с противника горящего ненавистью маленького красного глаза, с раскрытым ножом в руке.

С лица Риза сошла мерзкая, небрежная улыбка насмешливого простодушия. Он осторожно попятился от наступавшего Айры, не сводя с него сурового взгляда, нашаривая толстой рукой нож в кармане. И внезапно заговорил, негромко, с холодной, холодящей сердце напряженностью.

– Ладно же, сукин сын! – произнес он. – Погоди, сейчас я выну нож!

Нож внезапно появился и сверкнул зловещим шестидюймовым, открывающимся пружиной лезвием.

– Раз ты так, я откромсаю твою поганую башку!

И все ребята в толпе замерли, испуганные, загипнотизированные смертоносным очарованием двух сверкающих лезвий, от которых не могли оторвать глаз, и видом двух противников, кружащих с побледневшими, искаженными лицами, безумными от страха, отчаяния, ненависти. Их жуткое, тяжелое дыхание насыщало воздух опасностью и вселяло в сердца ребят такую смесь ужаса, очарования и парализующего изумления, что они хотели от нее избавиться, но боялись вмешиваться и не могли оторваться от зрелища этой непредвиденной, роковой, жестокой драки.

Потом, когда противники сблизились, Небраска Крейн внезапно подошел к ним, с силой оттолкнул друг от друга и с непринужденным смешком заговорил грубоватым, дружелюбным, совершенно естественным тоном, который сразу же всех покорил, привел в себя, вернул игру

красок и яркость дневному свету.

– Кончайте, ребята, – сказал он. – Если хотите подраться, деритесь по-честному, на кулаках.

– А тебе-то что? – угрожающе произнес Риз и вновь стал подступать, держа нож наготове. – Какое право ты имеешь вступать? Кто сказал, что тебя это касается?

Говоря, он медленно приближался с ножом в руке.

– Никто не говорил, – ответил Небраска, голос его утратил все дружелюбие и стал твердым, непреклонным, как взгляд черных глаз, устремленных непоколебимо, будто винтовка, на подступающего недруга. – Хочешь выяснить отношения?

Риз ответил ему взглядом, потом отвел глаза, повернулся боком и несколько угомонился, однако ждал, не желая отступать, и бормотал угрозы. Ребята тут же разбились на группы и разошлись, Риз и Айра двинулись в разные стороны, каждый со своими приверженцами. Назревшая драка не состоялась. Небраска Крейн был самым храбрым в школе. Он не боялся ничего.

Айра, Док и Риз! Дикие, отвратительные, зверские имена, но все же в них звучала какая-то угрожающая, необузданная надежда. Мир «шушеры с гор», белые бедняки, жалкие, заброшенные, отчаявшиеся частицы дебрей обладали своей незаконной, греховной свободой. Имена их наводили на мысль о гнусном, мерзком мире рахитичных трущоб, где они появились на свет; вызывали тягостное, навязчивое, мучительное воспоминание о полужнакомой, забываемой вселенной белого отребья, состоявшей из Пеньков, переулка Свиной Хвостик, района Даблдэй, Складской улицы и отвратительного, хаотичного поселка, Бог весть почему иронически названного Земляничным Холмом, которая раскинулась беспорядочным смешением неопишуемых, немощенных, грязных улиц и переулков, рахитичных лачуг и домишек на обезображенных рытвинами бесплодных, глинистых склонах холмов, спускавшихся к железной дороге в западной части города.

Это место Джордж видел всего несколько раз в жизни, но оно постоянно, до самой смерти, будет не давать ему покоя своей жуткой странностью и кошмарностью. Хотя этот рахитичный мир являлся частью его родного города, то была часть столь чуждая всей привычной ему жизни, что впервые он увидел ее с таким ощущением, будто обнаружил нечто карикатурное, когда ушел оттуда, ему с трудом верилось, что этот мир существует, и в последующие годы он будет думать об этом мире с тяжелым, мучительным чувством.

«Вот город, вот улицы, вот люди – и все, кроме *этого*, знакомо, как лицо моего отца; все, кроме *этого*, так близко, что можно коснуться рукой. Все здесь до самых дальних кварталов наше – все, кроме *этого*, кроме *этого*! Как могли мы жить рядом с этим миром и знать так мало? Существовал ли он на самом деле?»

Да, он существовал – странный, отвратительный, невероятный, его невозможно было ни забыть, ни полностью вспомнить, он вечно тревожил душу с противной яркостью отвратительного сна.

Он существовал, непреложный, немислимый, и самым странным, самым ужасным в нем было то, что Джордж узнал его сразу же – этот мир Айры, Дока и Риза, – увидя впервые еще ребенком; и хотя сердце и внутренности мальчика сжимались от тошнотворного изумления, он познал этот мир, пережил его, вобрал в себя до последней отвратительной мелочи.

И поэтому Джордж ненавидел этот мир. Поэтому отвращение, страх и ужас подавляли естественное чувство жалости, которое вызывала эта нищенская жизнь. Этот мир с той минуты, как Джордж увидел его, тревожил ему душу чувством какого-то похороненного воспоминания, отвратительного открытия заново; и Джорджу казалось, что он ничем не отличается от этих

людей, что он такой же телом, кровью, мозгом до последней крупницы жизни и не разделил их участь лишь благодаря какой-то чудесной случайности, невероятной безалаберности судьбы, способной ввергнуть его в кошмарную грязь, нищету, невежество, безнадежность этого пропащего мира с той же небрежностью, с какой избавила от него.

В этом бесплодном мире не слышалось птичьего пения. Под его безрадостными, тоскливыми небесами возглас все торжествующей радости, мощный, не удержимый гимн юности, уверенности и победы не рвался ни из единого сердца, не раздавался с дикой, не удержимой силой ни из единого горла. Летом жара палила этот прокаленный, бесплодный холм, жалкие улочки, пыльные, лишенные тени дороги и переулки трущоб, и в этих беспощадных разоблачениях солнца не было жалости. Оно светило с полнейшей, жестокой безучастностью на твердую красную землю и пыль, на лачуги, хижинки и трухлявые дома.

Оно светило с той же безразличной жестокостью на запаршивевших, грязных, неопикуемых собак и на множество запаршивевших, грязных, неопикуемых детишек – ужасающих, маленьких, взъерошенных пугал с тощими тельцами, невообразимо покрытыми грязью и усеянными гнойными язвами, неизменно тарасившихся тусклыми, пустыми глазами, не переставая копать в прокаленной, пыльной, истоптанной земле без единой травинки перед унылой лачугой или с жалким видом ползать на четвереньках под тучами надоедливых мух в жаркой вони маленького навеса, доски которого были такими же сухими, твердыми, прокаленными, плачевно выглядящими, как истоптанная земля, из которой они торчали.

Светило солнце и на неряшливых женщин этого района, представляя их во всей отталкивающей неприглядности, отвратительной и необъяснимой плодовитости – всех этих Лони, Лиззи, Лотти, Лен, всех Салли, Молли, Милли, Бернис, – а также на все их жалкое малолетнее потомство, на Айр, Доков, Ризов, на их Аз, Джетеров, Грили, Зебов и Роев. Они стояли на краю ветхих веранд, рослые, костлявые, неопрятные, с чумазами, взъерошенными сопляками, ползающими на четвереньках возле подолов их грязных, измятых юбок. Они стояли там, эти отталкивающие, уродливые женщины с изможденными, недобрыми лицами, запавшими глазами, беззубыми челюстями и неприятными бледными губами с тонкими потеками нюхательного табака по краям. Стояли, будто какие-то лишенные надежды и любви труженицы природы, неизменно с полным набором результатов своей плодовитости. На руках держали закутанного в грязное тряпье последнего, младшего, несчастного ребенка с голубыми, слезящимися глазами, с изможденным, чумазым личиком, с соплями в ноздрях и на верхней губе. А в животах, выпирающих на костлявом, некрасивом теле, словно некое разбухшее семя, отвратительно плодоносящее под солнцем, носили последнее, крайне отталкивающее свидетельство зачаточного периода материнства, мерзко проявляющегося во всех его отвратительных стадиях от обвислых грудей к вздувшемуся животу, а потом к чумазому выводку грязной детворы, ползающей по веранде возле их отвратительных юбок. Идиотское, объясняемое слепым инстинктом размножение, которое эти тощие, уродливые греховодницы демонстрировали так откровенно и неприлично, выставляя отвратительно раздутые животы в безжалостном, бесстыдном свете жаркого солнца, наполняло Джорджа такими удушливыми, невыразимыми яростью, неприязнью и гадливостью, что ноя кое естественное чувство жалости и сострадания затапливал мощный прилив отвращения, и его антипатия к этим женщинам с их жалкой детворой очень походила на слепую ненависть.

Потому что жалость – самое «благоприобретенное» из чувств; ребенок почти лишен ее. Жалость возникает из бесконечного накопления воспоминаний, из муки, срадания, боли, которыми полна жизнь, из всей суммы пережитого, забытых лиц, утраченных людей и множества странных, навязчивых обликов времени. Жалость возникает мгновенно и ранит, как нож. Лицо у нее тонкое, мрачное, пылающее, и появляется она неожиданно, исчезает внезапно,

неуловимо; она оставляет глубокую, коварно, жестоко, изощренно нанесенную рану и всякий раз возникает наиболее остро по мелочам.

Она появляется без предвестия, без причины, которую возможно определить, когда мы далеки от всех зрелищ, вызывающих сострадание; мы не знаем, как, почему и откуда она берется. Однако в городе – громадном, миллионнолюдном городе – жалость неожиданно возникает у нас вечером, когда пыль и неистовство очередного городского дня уже улеглись, и мы, опершись на подоконник, переносимся в прошлое. Тогда жалость охватывает нас; мы вспоминаем давние детские голоса, непринужденный, радостный смех ребенка, которого знали когда-то, исполненный ликующей невинности, песни, которые давным-давно пели на летних верандах, нотку гордости в голосе матери и ее серьезный, усталый, простодушный взгляд, когда она хвасталась какой-то мелочью, простые слова, сказанные в какую-то забытую минуту женщиной, которую мы некогда любили, когда она вновь расставалась с нами до вечера.

И тут сразу же появляется жалость со своим мрачным лицом, пронзает нас болью, которую невозможно выразить словами, терзает невыносимым, неопишуемым горем, тревожит краткостью наших дней, разрывает сердце страданием и неистовой скорбью. По чему? По чему? По всему, чего невозможно добиться, по всему, чего жаждем и не можем обрести. По любви, которая должна стариться и вечно умирать, по нашим костям, мозгу, пылкости, энергии, силе, по нашим сердцам, нашей юности, которая под бременем лет должна согнуться, стать бесплодной, исчезнуть!

О! И по красоте, по этой неистовой, странной песне чарующей, мучительной красоты, нестерпимой, невыразимой, непостижимой славы, мощи и очарования этого мира, этой земли, этой жизни, которая повсюду вокруг нас, которую мы видели и постигали в тысячах мгновений нашей жизни, которая разбила нам сердце, помрачила разум, подорвала силы, пока мы неукротимо метались, носились в ее поисках в бурной череде лет, неутомимые в безумной надежде, что когда-нибудь отыщем ее, обретем, закрепим, присвоим навеки – и которая теперь странно, печально тревожит нас своей неистовой песней и мучительным восторгом, когда мы в большом городе вечером опираемся на подоконник. Мы ощущаем печаль и покой вечера, слышим негромкие, случайные, унылые голоса людей, далекие крики и бессвязные звуки, чувствуем запах моря, гавани, мощное, медленное дыхание покинутых доков и сознаем, что там стоят пароходы! И красота переполняет нам сердце, словно неистовая песня, лопается, словно громадная винограда, у нас в горле, мучительная, терзающая, невыразимая, несказанная красота внутри и вокруг нас, которую вовеки невозможно присвоить, – и мы сознаем, что умираем так же, как течет река! О, тогда появляется жалость, странная, внезапная, и ранит нас множеством не поддающихся описанию утраченных, забытых мелочей!

Мы не знаем, как, откуда, почему она появляется, но жалеем всех людей, какие только жили на свете. Наступает ночь, и в сиреновой темноте светят громадные звезды, светят на сотню миллионов людей по всей Америке, стоит ночь, и мы живем, надеемся, страшимся, любим, умираем в этой темноте, а тем временем громадные звезды освещают нас, как освещали всех умерших и живущих на этой земле и будут освещать всех еще нерожденных, тех, кому предстоит жить после нас!

Однако Джордж при взгляде на этих отталкивающих, беременных уродин в трущобных закоулках испытывал не жалость, а только противную тошноту, гадливость, невыразимые страх, ужас, трепет, столь ошеломляюще заливавшие его, что он смотрел на грязь и нищету этих людей с дрожью отвращения и потому ненавидел их. Радость, вера, надежда, всякая крепнущая уверенность в славе, любви, торжестве, свойственные юности, сникли, тускнели, гибли в этом отвратительном месте. В легкомысленной, грязной, непрестанной плодовитости этих вечно беременных уродин явственно виднелись не любовь к жизни, а презрение, пренебрежение к ней,

до того подлое и преступное, что они производили на свет выводок рахитичных, паршивых, жалких, обреченных детишек с тем же безразличием, с каким может щениться сука, с бездушной беспечностью и животной бесчувственностью, которая уравнивала человека с навозом и мгновенно уничтожала все гордые иллюзии относительно бесценности, достоинства и святости каждой человеческой жизни.

Как появлялся на свет человек? Само собой, его зачинали в перерыве среди скотского храпа, при случайном пробуждении похоти в глухие часы ночи! Зачинали в грязном углу за дверью в ужасающей неукромности этих рахитичных деревянных домов, стоя в боязливом уединении, под опасливый шепот: «Быстрее, а то дети услышат!». Зачинали в каком-то зверском, неожиданном пробуждении желания и вожделения, когда на плите варилась, издавая влажный запах, ботва репы! Зачинали в случайные, забытые минуты, выхваченные из жизни в грязи, бедности, усталости и труда, подобно тому, как зверь выхватывает зубами кусок мяса; зачинали в грубом, внезапном полунасилии в случайном порыве страсти; зачинали, едва валились на неприбранную кровать в красном, угасающем свете забытого субботнего вечера, когда работа окончена, недельная зарплата получена, когда наступает краткая передышка, отведенная праздности, отдыху и грубым развлечениям! Зачинали без любви, прелести, нежности, очарования, безо всякого благородства духа, в идиотской, слепой вспышке похоти, столь гнусной, что мужчина не испытывал отвращения к грязи, вони, мерзости, уродливости и не желал ничего, кроме мешка с потрохами, куда можно выплеснуть накопившуюся животную энергию.

Мысль об этом невыносима, и внезапно мальчик вытягивает шею, крепко стискивает пальцами горло, корчится, словно животное, попавшее в стальной капкан, дикая гримаса искажает его лицо – это невыносимо, как утопание. Свора отвратительных, зверских имен – ненавистная компания Айр, Доков, Ризов, Джетеров, Зебов и Грили из этих населенных белой голью трущоб – возвращается, чтобы терзать его память жгучей болью мгновенного, ужасного постижения. Почему? Потому что эти люди с гор. Эти люди – белая гольтьба с холмов. Эти люди – о! это нестерпимо, но правда – выходцы из мира его матери, они жили одной жизнью с ней! Мальчик слышит давно отзвучавшие в горах голоса! Они доносятся к нему из глубин какой-то таинственной памяти, из мест, которых никогда не видел, домов, где никогда не гостил, – из всего багажа наследия, жизнью и голосов людей, скончавшихся в холмах сотню лет назад.

То были резко выделяющиеся, твердые характером люди из рода его матери, племя своенравное, сильное, вдумчивое, честное, энергичное – далеко не чета этой тупой, выродившейся породе. Племя, жившее на горных склонах и в речных низинах старого, дикого, сурового округа Зибулон; племя, добывавшее в холмах слюду и дубильную кору в горах; племя, которое жило на берегу бурной горной реки и пахало плодородную землю в низинах. То было племя, не похожее на этих людей, негибемое в своей гордости, закореневшее в самодовольстве, презрительное в собственном превосходстве, тщеславное, обособленное, весьма самобытное – но и родственное этим людям.

Мальчик слышит голоса своих родственников, отзвучавшие в горах сотню лет назад, – грустные, слабые, отдаленные, словно крики в каком-то ущелье, грустные, словно тень тучи, проплывающей по дебрям, сиротливые, отзвучавшие, грустные, как странное, ушедшее время. Они сиротливо доносятся к нему из дали холмов – самодовольные, протяжные голоса торжествующих над смертью Джойнеров давних времен!

Видение меняется, и перед мальчиком вновь грязь и убожество трущоб белой швали, рахитичность с холмов, перебравшаяся в город, – время ночное; раздается крик скандальной женщины из недр, из темноты какого-то неприглядного дома, освещенного лишь коптящим,

тусклым, неровным пламенем единственной лампы. Видение это возникает из визга, крика, брани, из пьяного возгласа и топота сапог, тухлого мяса, жирной свинины, гнилой капусты и его воспоминания об отвратительной бледной неряхе, редкозубой, тощей, бесформенной, как жердь, – она стоит там на краю трухлявой веранды, с жидкими, немытыми волосами, закрученными в узел на затылке, с выпирающим животом, беременная в четырнадцатый раз.

Утопание! Утопание! Невыносимо! Омерзительное воспоминание сдавливает, сжимает, иссушает его сердце в холодных тисках страха и гадливости. Мальчик хватается за горло, краснеет лицом, вытягивает шею, вертя головой, резко вскидывает ладонь и поднимает ступню, словно получив неожиданный, болезненный удар по почкам. Он знает, что эти люди уступают роду его матери – значительно уступают здравым смыслом, умом, волей, энергичностью, характером – однако они вышли из тех же дебрей, того же мрака, что Джойнеры – и на нем неизгладимая печать этих людей, в нем их неизбывная скверна. Кость от их кости, кровь от их крови, плоть от плоти, как бы ни были разнообразны и слабы родственные узы, он один из них, они в нем, он принадлежит к ним – он видел, ощущал, познавал и выпитал в кровь все дикие страсти, преступные желания, мучительные вожеления, которые знали они. А кровь убитых, реки крови, пролитые в этих дебрях, тихо впитавшиеся бесчисленными, немymi, тайными языками в суровую, прекрасную, неподатливую, вечную землю, запятнала его жизнь, его плоть, его дух и пала на его голову, как и на головы этих людей!

И внезапно, словно утопающий, который ощущает скалу под ногами; словно заблудившийся умирающий человек, замерзший, изголодавшийся, едва не стинувший в темных, ужасающих, безлюдных, незнакомых дебрях, который видит свет, неожиданно выходит к крову, теплу, спасению, дух мальчика обращается к образу отца. Видение отцовской жизни, благопристойного порядка, строгих аккуратности и чистоты, видение тепла, достатка, пылкой энергичности и радости возвращается к мальчику со всем, что есть в ней красивого и правильного, спасает его, мгновенно приводит в себя, избавляет от ужаса и мерзости того воспоминания, в котором дух его утонул на минуту.

Увидя надежное спасение в облике отца, мальчик видит и его дом, его жизнь, весь мир, который отец создал, наложив на него отпечаток своей мощи, своей самобытности, своей души.

И тут же перед взором мальчика возникает отцовская родина, местность, из которой приехал отец, прекрасный, богатый край, мальчик ни разу его в глаза не видел, но уносился туда много раз сердцем, разумом, духом и древней, таинственной, наследственной человеческой памятью, покуда та земля не стала частью его жизни, словно он там родился. Это та неведомая земля, которую мы все стремились отыскать в юности. Это неоткрытая совокупность того, что мы видели и знали, утраченная половина нашего непостижимого сердца, тайная жажда, влечение, очарование, волнующие нам кровь; и, оказавшись на этой земле, мы сразу же узнаем ее.

И теперь словно воплощение уверенности, покоя, радости, безопасности и достатка, которые избавят его от грязи и убожества другой картины, мальчик видит отцовскую родину. Видит большие красные сараи, опрятные дома, зажиточность, уют и красоту, бархатистые пастбища, луга, поля и сады, красновато-бурую почву, благородно-величественную землю Южной Пенсильвании. И дух мальчика вырывается из отвратительной пустыни, сердце его вновь умиротворенно, спокойно, исполнено надежды. Существуют новые земли.

Видит мальчик и образ своего храброго друга Небраски Крейна. Чего бояться? Чего на свете страшиться, если Небраска Крейн рядом? Небраска являет собой воплощение той героической твердости, которую невозможно сломить или поколебать, это никому не под силу, и с которой должна быть связана его жизнь, если он хочет уцелеть. Так чего же бояться, раз Небраска Крейн – свободный, откровенный, дружелюбный, сильный, загадочный и

бесстрашный – показывает ему своим примером как постоять за себя? Может ли он страшиться ребят, живущих на западной стороне, со всеми их манерами, нравами, наружностью и повадками, с их именами и коварными уловками, если Небраска Крейн рядом с ним?

Нет – даже если они встанут против него скопом в полном слиянии своих отвратительных черт, все на свете Сидни, Рои, Карлы, Викторы, Гаи и Гарри, – даже если он встретится с ними на их земле угасающего красного зарева воскресных мартовских вечеров, разве какой-то мерзкий, отвратительный ужас сможет погасить этот бесстрашный свет, это скрытое, чистое, сильное, одинокое пламя? Он может вдыхать их ядовитый, безжизненный воздух, стоять бесприютным, незащищенным, неподготовленным под их унылыми небесами – может выстоять, столкнуться с ними, одолеть их, выбрать для себя победоносную силу своего мира и добиться, чтобы ликующая радость, всепобеждающая уверенность, торжествующий разум и крепкая любовь навсегда одержали верх над мерзостью и пре-фенной сомнительностью их отвергающего жизнь существования – только бы его видел при этом Небраска Крейн!

И в сердце его вновь поднимается неистовая радость трех часов дня – бессловесная, безъязыкая, словно дикий крик, со всей ее страстью, болью, исступлением – и он видит мир, Запад, Восток, поля и города всей земли с торжеством, потому что в этом мире есть Небраска Крейн!

Джордж Уэббер и Небраска Крейн! Эти великолепные имена, сияя на солнце, вместе взмывают к западу, вместе пролетают над всей землей, вместе возвращаются обратно, и вот они здесь!

Джордж Уэббер! Джордж Джосая и Джосая Джордж! Джосая Джордж Небраска Уэббер и Крейн Джордж!

– Меня зовут Джордж Джосая Уэббер! – воскликнул мальчик, подскочил и распрямился.

«ДЖОРДЖ ДЖОСАЯ УЭББЕР!»

Это славное имя пронеслось в напоенном светом воздухе; на лету вспыхнуло и озарило трепещущую листву; все листья клена засверкали от гордой вспышки славного, гордого имени!

«ДЖОРДЖ ДЖОСАЯ УЭББЕР!» -

воскликнул мальчик снова; и весь золотисто-великолепный день огласился звучанием этого имени; оно вспыхнуло и озарило кроны осин; во вспышке его словно бы дрогнула живая изгородь из жимолости, пригнулась к земле каждая бархатистая травинка.

– Меня зовут Джордж Джосая Уэббер!

Гордое имя вспыхнуло под медный звон колокола на здании суда; вспыхнуло, воспарило и слилось с тремя звучными, торжественными ударами!

«ОДИН!.. ДВА!.. ТРИ!..».

И тут появились чернокожие ребята.

– Привет, Пол!..Эй, Пол!..Как самочувствие. Пол? – выкрикивали они, проносясь перед ним на велосипедах.

– Меня зовут Джордж Джосая Уэббер! – крикнул им в ответ мальчик.

Торжественно, четким строем ребята покатали дальше, развернулись по-военному, не нарушая рядов, и с шелестом колес медленно поехали обратно, четкими рядами по восемь, притормозили, сохраняя полный порядок, и серьезным тоном поинтересовались:

– Как старина Пол чувствует себя?

– Меня зовут не Пол! – твердо ответил мальчик. – Мое имя Джордж!

– Нет-нет, не Джордж! – закричали чернокожие ребята с дружелюбной усмешкой. – Твое имя Пол!

Это было безобидное подтрунивание, какая-то непонятная, непостижимая шутка, какой-то тайный смысл, игривый юмор их негритянской души. Бог весть какой смысл они вкладывали в

это имя. Они сами не смогли бы сказать, почему так окрестили его, но для них он был Полом, и ежедневно в три часа, перед тем как рынки откроются снова, эти ребята приезжали и проносились мимо, называя его *Пол*.

А он упрямо спорил, не сдавался, настаивал, что его имя Джордж, и почему-то – Бог весть почему! – это непреклонное возражение наполняло его сердце теплом и восхищало чернокожих ребят.

Ежедневно в три часа мальчик знал, что они приедут и назовут его «Пол», ежедневно в три часа он дожидался их с теплотой, с радостью, с нетерпением и сердечностью, со странным чувством восторга, очарования, со страхом, что они могут не появиться. Но каждый день в три часа, едва открывались рынки и на здании суда звонил колокол, они появлялись и проносились перед ним.

Мальчик знал, что они приедут. Не обманут его ожиданий. Знал, что восхищает их, что они очень любят смотреть на него – длиннорукого, лопухого, плоскостопого. Знал, что все его слова и движения – прыжки и подскоки, возражения и твердые настояния, чтобы его называли настоящим именем – доставляют им огромное невинное удовольствие. Словом, знал, что, когда они называют его «Пол», в их подтрунивании нет ничего, кроме теплой симпатии.

Поэтому мальчик ежедневно ждал их появления, и они всегда появлялись! Они не могли обмануть его ожиданий, они появились бы, даже если бы весь ад встал между ними. Незадолго до грех часов во все дни недели, кроме воскресенья, эти чернокожие ребята прекращали сиесту под теплым солнцем у стен городского рынка со словами:

– Пора навестить старину Пола!

Они расставались с приятной вонью тухнувших под солнцем рыбьих голов, прелых капустных листьев и гнилых апельсинов; расставались с облюбованными теплыми местами, с блаженной апатией, с глубиной и мраком африканской сонливости – и го-ворили:

– Надо ехать! Старина Пол ждет нас! Не подведите нас, ножки; мы пускаемся в путь!

И что это был за путь! О, что за чудесный, планирующий, стремительный, похожий на полет путь! Они появлялись, словно черные молнии; словно вороны, устремляющиеся на добычу; как выстрел из орудия, как удар грома; они появлялись, словно демоны – но появлялись!

Мальчик слышал их приближение издали, слышал, как они мчатся по улице, слышал неистовое брнчанье велосипедных колес, и вот они появлялись перед ним! Они проносились мимо по восемь в ряд, пригибаясь, крутя педали, будто черные демоны; они проносились мимо на сверкающих колесах, негромко тарахтя рыночными корзинками, и при этой кричали: «Пол!».

Потом торжественно, эскадронами, они ехали медленно, степенно назад, глядели на него, замерев в седлах, и обращались к нему:

– Привет, Пол!..Как самочувствие?

Затем начинался парад. Они выделяли поразительные фигуры, устраивали изумительные маневры; проносились мимо по четверо, затем подвое; разбивались на отделения, отступали или наступали эшелонами, проносились поодиночке, словно взлетающие птицы, словно демоны, летящие по ветру.

Потом их охватывали азарт, желание блеснуть индивидуальным мастерством, жажда превзойти других, неистовая изобретательность, эксцентричные причуды. Они вопили с мягким негритянским смехом, выкрикивали друг другу насмешливые замечания, старались переплюнуть остальных, – заслужить аплодисменты и одобрение – все ради Пола! Проносились по улице с быстротой молнии, со скоростью пули; выписывали ужасающие спирали от одного тротуара к другому, едва не врезаясь в бровки; свешивались с седла, будто ковбои, подхватывали с земли свои драные кепочки. И осыпали друг друга такими вот выкриками:

- С дороги, Губастый! Я должен показать Полу кое-что!
- Эй, Пол, – смотри, как ездит старина Быстроногий!
- Посторонись, ребята! Пусть Пол посмотрит на того, кто умеет ездить!
- Уступи дорогу, Черномазый, а то сшибу! Я покажу Полу то, чего он еще не видел! Что скажешь на это, Пол?

И вот так они планировали, петляли, носились, булькающим смехом, добрыми, теплыми голосами окликали его: «Пол!». А потом, словно фурии, умчались в город, к открывшимся рынкам, их мягкие, теплые голоса доносились к нему в сердечном прощании:

- До свидания, Пол!
- Пока, Пол!
- Увидимся, Пол!
- Мое имя, – крикнул он им вслед, – Джордж Джосая Уэббер!

Великолепное имя вспыхнуло и воспарило, гордое, сияющее, как этот день.

И ветер донес еле слышный ответ с теплой, доброй насмешкой:

- Твое имя Пол! Пол! Пол!

И эхо повторило еле слышно, уныло, навязчиво, будто во сне:

- ...Пол\ Пол\ Пол\

3. ДВА РАЗРОЗНЕННЫХ МИРА

Когда тетя Мэй говорила, комната иногда заполнялась призрачными голосами, и мальчик знал, что принадлежат они сотням людей, которых он никогда не видел, и ему сразу же становилось ясно, что это были за люди и что у них была за жизнь. Достаточно было всего каких-то фразы, слова, какой-то интонации этого таинственного джойнеровского голоса, негромко звучавшего вечерами перед догорающим огнем с какой-то безмерной, спокойной безотрадностью, как мальчика окружали неведомые выходцы с того света, и ему не терпелось выследить живущего в нем пришельца из другого мира, отыскать его последнее, тайное убежище в своей крови, выведать все его секреты и заставить все множество чужих, неведомых жизней в себе пробудиться, воскреснуть.

Однако, несмотря на это, жизнь тети Мэй, ее время, ее мир, таинственные интонации джойнеровского голоса по вечерам в комнате, где угли в камине сверкали и крошились, и где медлительное время терзало, будто стервятник, его сердце, захлестывали мальчика волнами ужаса. Подобно тому, как жизнь отца говорила мальчику обо всем бурном и новом, о ликующих пророчествах освобождения и победы, о торжестве, полете, новых зем-чях, прекрасных городах, обо всем великолепном, поразительном и славном на свете – жизнь материнской родни мгновенно отбрасывала его к какому-то мрачному, таинственному месту в природе, ко всему, что было отравлено медленно тлеющими огоньками безумия в его крови, каким-то неискоренимым ядом в крови и душе, темным, густым, грозным, в котором ему суждено утонуть трагично, ужасно, без надежды на помощь или спасение, с помраченным рассудком.

Мир тети Мэй возник из какой-то безотрадной глубины, какой-то бездонной пучины времени, в котором все тонуло, которое уничтожало все, чем было насыщено, кроме себя самого, – уничтожало ужасом, смертью, сознанием, что тонешь в какой-то бездне непонятного, незапамятного джойнеровского времени. Тетя Мэй вела скорбное повествование с какой-то спокойной радостью. В той необъятной хронике прошлого, которую вечно сплетала ее поразительная память, было все, что согревает душу, – солнечный свет, лето, пение, – однако неизменно присутствовали печаль, смерть и скорбь, укромные, безотрадные жизни людей в глупой глуши. И однако же, сама тетя Мэй не скорбела. Она вела речь о безотрадности и смерти в этом необъятном мрачном прошлом с каким-то задумчивым, непреходящим удовольствием, наводившим на мысль, что все люди обречены смерти, кроме этих торжествующих цензоров человеческой участи, этих бессмертных, всепобеждающих свидетелей скорби Джойнеров, которые жили вечно.

Это роковое свойство ничего не упускающей, словно паутина, памяти, заливало душу мальчика безысходным отчаянием. И в этой паутине было все – кроме неистовой радости.

Жизнь ее уходила своими истоками в глушь округа Зибулон еще до Гражданской войны.

– Помню ли? – полудовольно-полураздраженно переспросила однажды тетя Мэй, поднимая иглолку к свету и продевая нитку в ушко. – Ну и глупыш же ты! – воскликнула она презрительным тоном. – А как же? Помню, конечно! Я же была там, в Зибулоне, со всеми нашими в тот день, когда солдаты вернулись с войны!.. Да уж, я все это видела. – Она приумолкла, задумалась. – Появились они, – спокойно продолжала тетя Мэй, – часов в десять утра, знаешь, их было слышно задолго до того, как они показались из-за поворота. Люди вдоль всей дороги шумно встречали их, и, конечно же, я тоже принялась орать, вопить. Не хотела оставаться в стороне, – продолжала она со спокойным юмором, – и мы все встали у забора, отец, мать и твой двоюродный дедушка Сэм. Ты, конечно, не знал его, мальчик, но он был с нами,

приехал в отпуск по здоровью на Рождество. Все еще хромал после раны – и, конечно же, война кончилась, как все *заранее* знали, прежде, чем он оправится настолько, чтобы вернуться туда. Хха, – понимающе издала она отрывистый смешок и, сощурясь, поглядела на иголку. – Во всяком случае, сам он так говорил...

– Что говорил, тетя Мэй?

– Ну как же, что дожидается, пока рана заживет, но какое там! – негромко ответила она, покачивая головой. – Сэм был *лодырем* – в жизни такого не видела! – воскликнула тетя Мэй. – И, по правде говоря, *ничего* больше дурного в нем не было. Я вот что еще тебе скажу: поняв, что война кончается и возвращаться туда ему не придется, он поправился быстро. То хромал, опираясь на трость, словно каждый шаг мог оказаться последним, а на другой день разгуливал, не чувствуя ни малейшей боли...

«Сэм, я о таком быстром выздоровлении и не слыхивал, – сказал ему отец. – Если у тебя есть еще это лекарство, удели мне капельку». В общем, Сэм был там с нами, – продолжала она после недолгой паузы. – И конечно, Билл Джойнер – старый Билл Джойнер, твой прапрадед, мальчик, – такого здорового, бодрого старика тебе в жизнь не увидать! – воскликнула она.

Билл Джойнер... тогда ему наверняка было все восемьдесят пять, только, глядя на него, ты бы ни за что об этом не догадался! Справлялся с любой работой! Куда угодно ходил! Не боялся ничего! – объявила она. – И оставался таким до самого смертного часа. Он тогда жил здесь, в Либия-хилле, заметь, за пятьдесят миль от нас, но если у него возникало желание поговорить с кем-то из своих детей, тут же отправлялся в путь, не тратя времени даже на то, чтобы взять шляпу. Да-да! Однажды появился как раз, когда мы все садились за обед, без пиджака, с непокрытой головой! «Вот тебе на! – говорит мать. – Откуда вы, дядя Билл?». Она называла его дядей Биллом. «Из города», – отвечает он. «Да. Но как сюда добрались?» – спрашивает мать. «Пешком пришел», – говорит он. «Не может быть! – удивляется она. «А шляпа с пиджаком где?» – «Да я без них отправился,» – отвечает он. – Работал в саду, захотел повидать вас всех и не стал заходить за пиджаком и шляпой. Просто взял да пошел!». Именно так все и было, – с подчеркнутой выразительностью произнесла тетя Мэй. – Захотел повидать нас всех и пошел, нигде не останавливаясь по пути!

Она ненадолго замолчала, задумалась. Потом с легким, утвердительным кивком заключила:

– Вот таким человеком и был Билл Джойнер!

– Стало быть, в тот день он находился там? – спросил Джордж.

– Да, там. Стоял рядом с отцом. Отец-то, знаешь, был майором, – сказала она с гордостью в голосе, – но перед концом войны приехал домой в отпуск. Да-да! Он часто приезжал в течение всей войны. Как майор, наверное, мог выбираться чаще, чем рядовые солдаты. – гордо сказала тетя Мэй. – Словом, он был там, старый Билл Джойнер, стоял рядом с ним. Билл, конечно, пришел, потому что хотел повидать Ранса, знал, что Ранс должен вернуться вместе с остальными. Конечно, детка, – сказала она, чуть покачивая головой, – твоего двоюродного дедушку Ранса никто из нас не видел с самого начала войны. Он ведь пошел в армию сразу, как только объявили войну, и не появлялся все четыре года. О! Нам рассказывали, знаешь, рассказывали! – ворчливо сказала она, слегка покачивая головой с каким-то зловещим неодобрением, – через что он прошел... чего ему пришлось хлебнуть – бррр! – неожиданно произнесла тетя Мэй с укором и отвращением. – Про то, как его взяли в плен, а он убежал, вынужден был идти ночами, днем спать в сараях или прятаться где-то в лесу, и про... брр! «Перестаньте, – сказала я тогда, – меня при одной мысли об этом дрожь пробирает!» Про то, как Ранс нашел на дороге брошенного дохлого мула, отрезал от него кусок мяса и съел... «И такого вкусного, – говорил он, – больше я не пробовал!». Вот и представь, до чего Ранс был голодным!

В общем, слушали мы эти рассказы, однако никто из нас не видел Ранса с тех пор, как он

ушел на войну, поэтому нам всем было интересно узнать. Ну вот, появились они на старой дороге, что идет вдоль реки, слышно было, как их приветствуют, мужчины кричали, женщины плакали, и вот подходит Боб Паттен. Само собой, мы все принялись расспрашивать его о Рансе: «Где он? Здесь?».

«Да, конечно, здесь, не волнуйтесь, – отвечает Боб. – Сейчас подойдет. Вы его увидите, а если нет, – тут он вдруг рассмеялся, – а если нет, говорит, *то, клянусь Богом, унюхаете!*».

Вот так и заявил, понимаешь, не церемонясь, и, конечно, всем пришлось рассмеяться... Но, детка, детка. – Она с сильным отвращением покачала головой. – Какой ужасный! – О! До чего *ужасный, ужасный* запах! Бедняга! Думаю, он ничего не мог поделать! Но от него все время так несло... А он был совершенно чистым! – с ударением выкрикнула тетя Мэй. – Ранс всегда содержал себя в чистоте не меньше кого угодно. И жизнь вел чистую, добродетельную. Ни разу не выпил ни капли виски, – убедительным тоном сказала она. – Ни разу в жизни – ни он, ни отец. О, отец, отец! – воскликнула тетя Мэй с гордостью. – Он близко никого бы не подпустил к себе с запахом спиртного! И вот что тебе скажу! – торжественно произнесла она. – Знай он, что твой папа пьет, так ни за что не позволил бы твоей матери выйти за него замуж! Даже на порог бы к себе не пустил – счел бы позором, что кто-то из членов его семьи якшается с пьющим! – гордо сказала тетя Мэй. – И Ранс был таким же – даже вида виски не выносил – но, ох! – вздохнула она, – этот ужасный, ужасный запах – застарелый, зловонный, от всего тела, который ничто не могло изгнать – ужас, ужас, – прошептала тетя Мэй. Потом с минуту молча шила. – И конечно, – заговорила снова, – так вот о нем и говорили... так прозвали...

– Как, тетя Мэй?

– Да ведь, – произнесла она и умолкла снова, покачивая головой с сильным осуждением, – подумать только! Подумать только, до того не иметь понятий ни о приличии, ни об уважении, чтобы так прозвать человека! Хотя, с другой стороны, чего хотеть от солдат? По-моему, это очень грубый народ, невоздержанный на язык, вот они и дали ему это прозвище.

– Какое?

Тетя Мэй с серьезным выражением лица поглядела на мальчика, потом рассмеялась.

– Вонючий Иисус, – стыдливо ответила она. И негромко процедила: – Бррр! «Не могут они такого говорить!» – воскликнула я, но это оказалось правдой. Подумать только!.. И, конечно, бедняга знал это, говорил: «Я готов сделать, что угодно, лишь бы hi него избавиться. Видимо, Господь возложил на меня этот крест... Но он не проходил – этот застарелый... зловонный... запах! *Ужас, ужас!* – прошептала она, опустив взгляд на иголку. – И пот еще что! Ране, когда вернулся, сказал всем нам, что Судный день уже наступил! Что аппоматтокский суд ознаменовал пришествие Господа и Армагеддона – и всем надо ждать больших перемен! Да! Я помню тряпичную карту, свернутую в комок, которую он носил на шнурке вокруг шеи. И знаешь, там доказывалось цифрами и фактами из Библии, что конец света должен наступить в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году... И вот он шел по дороге, вместе со всеми, с этой штукой на шее, в тот день, когда они все вернулись с войны.

С минуту тетя Мэй молча шила, а потом, покачав головой, печально сказала:

– Бедняга Ранс! Но я скажу тебе вот что! Он *бесспорно* был хорошим человеком.

Ранс был самым младшим из детей старого Билла Джойнера. Лафайет, дедушка Джорджа Уэббера, появился на свет двенадцатью годами раньше его. У них было два средних брата – Джон, погибший в битве под Шайло, и Сэм. Сведения о детстве Ранса, сохранившиеся в рассказах, в слухах – другого способа сохранять их эти люди не знали, – были скудными, но, видимо, совершенно точными.

– Ну вот, теперь я расскажу тебе, как все это было, – сказала тетя Мэй. – Братья дразнили

его, насмешничали над ним. Ясное дело, он был простодушным и, пожалуй, верил всему, что они говорили. Нуда, конечно! Отец же рассказывал мне, как они говорили ему, будто Марта Александер влюбилась в него, и заставили поверить. А Марта, скажу тебе, была первой красавицей на всю округу, могла выбрать любого, кто ей понравится! Так они стали писать ему дурацкие любовные письма от ее имени, назначали свидания, где попало – на Индейском кургане, в ложине, у какого-нибудь старого пня или дерева – о! в любых местах! – выкрикнула тетя Мэй, – просто, чтобы посмотреть, хватит ли у него дурачества пойти туда! Она не появлялась, и они писали другое письмо, где говорилось, будто отец Марты что-то заподозрил и глаз с нее не спускает! Да еще сказали, будто Марта говорила, что он будет нравиться ей больше, если отрастит бороду! И что у них есть особое снадобье, от которого борода растет быстрее, если им мыть лицо. Уговорили его умываться водой с индиго, которым красят шерсть, и он неделями расхаживал с синим, как у обезьяны, лицом!

А однажды после церковной службы он потихоньку подошел к Марте сзади и прошептал на ухо: «Я приду. Когда будешь готова, проведи три раза лампой перед окном, потом незаметно выходи, я буду ждать!». Напугал бедную девушку чуть ли не до полусмерти. «Ой! – вскрикнула она и завопила, чтобы братья забрали его. – Ой! Заберите его! Уведите!». Решила, что он умом тронулся. И тут, конечно, все раскрылось. Братьям пришлось признаться, что они его разыгрывали. – Тетя Мэй, слегка покачивая головой, грустно, чуть расстроено улыбнулась при воспоминаниях об этих давних событиях.

– Но я вот что хочу сказать тебе, – заговорила она через минуту серьезным тоном, – пусть болтают о твоём двоюродном дедушке Рансе что угодно, но человеком он был всегда прямым и честным. Сердце у него было доброе, – негромко сказала она, и в этих словах прозвучало одобрение. – Он всегда готов был помочь людям, чем только мог. И не ждал, чтобы его попросили о помощи! Рассказывали, что он, можно сказать, тащил на спине Дейва Ингрема, когда они отступали от Антьетама, не бросил лежать, чтобы его не взяли в плен! Само собой, Ране был сильный, силен, как мул! – воскликнула она. – Мог вынести что угодно. Говорили, был способен шагать целый день, а потом не спать всю ночь, ходить за больными, помогать раненым.

Тетя Мэй сделала паузу и покачала головой.

– Ранс, небось, навидался ужасов, – заговорила снова она. – Видимо, находился рядом со многими беднягами, когда те испускали дух, – остальные вынуждены были признать это по возвращении! Несмотря на все насмешки, им пришлось отдать ему должное! Джим Александер, знаешь, подтвердил это, сказал: «Да, Ранс проповедовал пришествие Господа и лучшую жизнь на земле, а мы, что греха таить, иногда смеялись над ним – но вот что я вам скажу: слова у него никогда не расходились с делом. Будь у всех такое доброе сердце, как у него, эта лучшая жизнь уже бы настала!»

С минуту тетя Мэй молча шила, продевая иглу пальцем с наперстком и сильным движением руки протягивая нитку.

– Вот что, детка, скажу я тебе, – негромко заговорила она. – На свете немало людей, которые считают себя очень умными, только они многого не знают. Думаю, на земле много людей поумнее Ранса – они бы, небось, сочли его глуповатым, только вот что я тебе скажу! Не всегда самые умные знают больше всех – а вот я могу сказать кое-что такое, о чем знаю! – прошептала тетя Мэй таинственным тоном и вновь принялась покачивать головой, зловеще нахмурясь. – Детка! Детка!.., не знаю, как бы ты это назвал... какое объяснение дал бы этому... но ведь это, если подумать, очень странно, разве не так?

– Что странно? О чем вы, тетя Мэй? – возбужденно спросил мальчик.

Она повернулась и поглядела на него в упор. Затем прошептала:

– Он – *являлся!*... Своими глазами видела это однажды!.. Всю жизнь *являлся!* - продолжала она шептать. – Я знаю с десятков людей, которые это видели, – добавила она уже спокойно. И какое-то время молча шила.

– Так вот, – заговорила вскоре тетя Мэй, – впервые он *явился* еще мальчишкой, лет, наверное, восьми-девяти. Отец рассказывал эту историю много раз, и мать тоже знала об этом. Случилось это в тот самый год, когда они поженились, совершенно точно, – торжественно объявила она. – Словом, мать с отцом пока еще жили в Зибулоне, и старый Билл Джойнер тоже был там. Еще не переехал в город. Перебрался в Либия-хилл он через несколько лет после того случая, а отец последовал за ним, когда уже кончилась война... В общем, – продолжала тетя Мэй, – Билл, как я уже сказала, жил в Зибулоне, и рассказывают, что произошло это в воскресное утро. После завтрака семья отправилась в церковь – пошли все, кроме старого Билла, видимо, у него были какие-то дела, или он решил, что *ему* можно остаться дома, раз все остальные пошли... Словом, – улыбнулась она, – Билл в церковь не пошел, но видел, как пошли остальные! *Видел!* - выкрикнула тетя Мэй. – Стоял в дверях и смотрел, как они идут по дороге – отец, Сэм, мать и твой двоюродный дедушка Ранс. А когда скрылись – думаю, прошло еще какое-то время – Билл пошел на кухню. И видит там, что крышка ящика с шерстью открыта. Само собой, отец был шляпным мастером и хранил шерсть для изготовления фетра на кухне, в этом большом ящике. Взрослый человек мог бы вытянуться там почти во весь рост, и конечно, лучшей постели и желать было нельзя. Я знаю, что когда отец хотел после обеда вздремнуть или обдумать что-то в одиночестве, то шел и растягивался на этой шерсти.

«Надо же, – думает Билл, – чьих это может быть рук дело? Фейт сказал всем – он так называл моего отца, Лафайета – Фейт сказал всем, чтобы ящик не открывали». И подходит к ящику, значит, чтобы положить крышку на место – а *он* там! – громко выкрикнула тетя Мэй. – Там *он*, представь себе, растянулся на шерсти и спит крепким сном – ну как же, Ранс, конечно! Ранс!..

«Ага! – думает Билл, – попался ты мне. Значит, улизнул от других, когда думал, что я не увижу, и пробрался сюда прикорнуть, когда ему полагается быть в церкви!». Так думал Билл, понимаешь. «Ну если он думает, что меня можно так провести, то здорово ошибается. Ну, посмотрим, думает Билл. Подождем, посмотрим. Будить его пока что не буду, уйду, пусть себе дрыхнет – но когда остальные вернутся из церкви, я спрошу его, где он был. И если скажет правду – если признается, что тайком забрался в ящик подремать, наказывать не стану. Но если начнет отпираться, думал Билл, задам ему трепку, какой он в жизни не получал!»

Словом, он уходит, а Ранса оставляет спать. Ждет-пождет, вскоре все возвращаются из церкви, и, само собой, Ранс приходит вместе с остальными. «Ранс, – спрашивает Билл, – как тебе понравилась проповедь?». «О, – отвечает Ранс с улыбкой во все лицо, – замечательная была, папа, замечательная». «Замечательная, вот как? – говорит Билл. – Стало быть, понравилась тебе?» – «Ну еще бы! – отвечает Ранс. – Очень». – «Ну что ж, хорошо, – говорит Билл. – Рад это слышать. А о чем вел речь проповедник?».

И тут, знаешь, Ранс начал пересказывать ему – пересказал нею проповедь с начала до конца, даже описал, как говорил проповедник, и все такое прочее.

А Билл слушал. Не проронил ни слова. Ждал, когда Ранс дойдет до конца. Потом поглядел на него и покачал головой. «Ранс, – говорит, – посмотри мне в глаза». Ранс посмотрел, знаешь, удивленно так, и говорит: «Папа, а в чем дело? Что случилось?». Тут Билл поглядел на него и снова покачал головой. Говорит: «Ранс, Ранс я бы простил тебя, если б ты сказал правду, но, – говорит, – ты мне *солгал*». – «Да нет, папа, – говорит Ранс. – Не лгал я тебе. Что ты имеешь в виду?». А Билл, не сводя с него глаз, отвечает: «Ранс, ты не был в церкви. Я обнаружил тебя

крепко спящим в ящике с шерстью – вот где ты был все утро. А теперь, – говорит Билл, – пойдём со мной». -И взял его за плечо. «Папа, да ничего я не сделал, – заплакал он, – не бей меня, не бей, я не лгал тебе, клянусь, не лгал». – «Пошли со мной, – говорит Билл и тащит мальчика. – Я тебе так всыплю, что никогда больше не будешь мне лгать».

– И вот тут, – сказала тетя Мэй, – вмешался отец – мой отец, твой дедушка. Встал между ними и остановил Билла Джойнера. Само собой, тогда отец был уже взрослый. «Нет, – говорит отец, – не делай этого. Ты совершаешь ошибку. Нельзя его наказывать за то, что сегодня не был в церкви». - «Это еще почему?» – спрашивает Билл Джойнер. «Потому что, – ответил отец, – он был там. Находился при нас все время с тех пор, как мы вышли из дома. И проповедь слушал. Ранс говорит правду – готов поклясться в этом, – потому что он все время сидел рядом со мной».

Тут, конечно, вмешались остальные, мать и Сэм, говорят: «Да, Ранс сказал тебе правду. Он был с нами все время, мы бы знали, если б он ушел». Тут Билл, само собой, обозлился на всех, решил, что они объединились в попытке защитить Ранса.

«Да вы еще хуже, чем он, – говорит, – потому что покрываете его, подстрекаете лгать и впредь. А ты, – говорит он отцу, – ты уже достаточно взрослый, чтобы это понимать. Не ждал я, Фейт, что ты станешь помогать ему обманывать меня». А отец ответил: «Нет». Поглядел ему в глаза и сказал: «Нет, отец, никто не помогает ему обманывать. Он не лжет. Мы все говорим правду – и я могу это доказать». И выяснилось, что проповедник, все люди в церкви, видели его и готовы были это подтвердить. «Не знаю, что ты видел, – сказал отец, – но только не Ранса. Он все время находился при нас». Тогда Билл поглядел на него, увидел, что отец говорит правду, и тут, как рассказывают, лицо Билла Джойнера стало очень задумчивым.

«Ну и ну, – сказал он, – странная штука! Один Бог знает, что выйдет из этого. Ранс явился!»

Тетя Мэй сделала паузу; потом повернулась и молча, в упор посмотрела на Джорджа. Затем слегка покачала головой с какой-то таинственностью.

– И вот что еще скажу тебе, – прошептала она. – То был не единственный случай!

Потом эти явления последовали одно за другим. Весть о первом молниеносно разнеслась по всей общине: жуткая история, как мальчика обнаружили в ящике с шерстью, когда его телесная оболочка находилась за две мили оттуда, в церкви, мгновенно стала всеобщим достоянием и воспламенила изумление и воображение всех, кто ее слышал.

Как почти всегда бывает в подобных случаях, люди совершенно не подвергали сомнению свидетельство, которое было сомнительным; они усомнились лишь в том, что являлось несомненным, а обнаружив, что это подтверждается полностью, поверили во все целиком! Они мгновенно восприняли как нечто бесспорное, что Билл Джойнер видел мальчика или «по крайней мере, видел нечто – это уж наверняка». Но вот был ли Ранс на самом деле в тот день в церкви? Находился ли с другими членами семьи с начала до конца? Была ли у него возможность «ускользнуть» незаметно? На все это был один ответ – подтвержденный сотней людей. Он был в церкви с начала службы до конца; его видели, здоровались с ним и запомнили священник, церковный сторож, дьяконы, певчие и прихожане; видели не только до начала, но и после окончания службы. Таким образом, этот факт закрепился в сознании людей с непоколебимой убежденностью. Никаких сомнений больше не могло быть – Ранс являлся.

Затем, месяцев восемь спустя, пока еще история этого призрачного явления была свежа в людской памяти и служила темой благоговейных разговоров, произошло еще одно необычайное событие!

Как-то вечером, под конец непогожего мартовского дня, один из соседей Джойнеров торопливо въезжал в лесную деревушку Блэнкеншип, находившуюся примерно в двух милях от его дома. Ночь наступала быстро, дотлевали серые зимние сумерки, и человек по фамилии

Робертс ехал по глинистой, изрытой колеями дороге со всей быстротой, на какую была способна запряженная в разболтанную коляску старая лошадь. У его жены внезапно начались спазмы или колики, по крайней мере, там это называлось так, и она лежала дома в жутких мучениях, дожидаясь, когда муж привезет из города помощь. Подъезжая к городу, встревоженный, погонявший клячу человек повстречал Ранса Джойнера. Мальчик устало шел по дороге в направлении к дому и, по словам Робертса, нес на правом плече мешок с продуктами, придерживая его рукой. Когда человек в коляске поравнялся с ним, мальчик слегка повернулся, остановился, поглядел на него и поздоровался. Ничего необычного в этом не было. Робертс много раз встречал этого мальчика шедшим в город с каким-то поручением или возвращавшимся оттуда.

Роберте рассказывал, что в тот раз ответил на приветствие Ранса рассеянно, отрывисто, потому что спешил, тревожился и останавливаться не стал. Но, проехав десять ярдов, спохватился и натянул поводья, решил объяснить мальчику причину своей спешки, попросить, чтобы заглянул по пути к больной женщине, оказал ей посильную помощь и дождался, пока он вернется. Обернулся и окликнул Ранса. К его изумлению, дорога оказалась совершенно пуста. На расстоянии десяти ярдов мальчик исчез из виду, «словно земля разверзлась и поглотила его», по словам Робертса. И покуда он таращился, раскрыв от изумления рот, в голову ему пришло объяснение:

«Чуть дальше по дороге было несколько деревьев у обочины, я подумал, – тактично объяснил он, – что Ранс зашел за них на минутку. Поэтому задерживаться не стал. Уже темнело, я торопился и поехал дальше быстро, как только мог».

Роберте приехал в город, взял свояченицу и поспешил обратно. Но, когда подъезжал к дому, его охватило предчувствие беды. В доме было совершенно темно и тихо, он вошел с тяжелым сердцем. Окликнул жену, но ответа не получил. Тогда, подняв коптящий фонарь, который держал в руке, он подошел к кровати, где лежала жена, и сразу же увидел, что она скончалась.

В ту ночь соседи толпой хлынули к нему. Женщины обмыли покойную, обрядили и «приготовили к погребению», а мужчины расселись у огня, стругали ножами палочки и протяжными голосами рассказывали бесчисленные истории о странностях судьбы и смерти. Роберте, в сотый раз пересказывая все обстоятельства случившегося, обратился к Лафайету Джойнеру, который, услышав эту весть, немедленно пришел с женой и братьями:

– ... и я хотел сказать Рансу, чтобы зашел, побыл здесь, покуда я не вернусь, но, пожалуй, хорошо, что не сказал – Ранс не успел бы застать ее в живых и, наверное, испугался бы, обнаружив мертвой.

Фейт Джойнер поглядел на него с недоумением.

– Ранс? – переспросил он.

– Ну да, – ответил Робертс, – подъезжая к городу, я встретил его шедшим домой, и если бы так не спешил, то, наверное, попросил бы зайти сюда и обождать меня.

Джойнеры разом перестали стругать палочки. И молча, пытливо уставились на Робертса, как зачарованные. Тут он умолк, и остальные тоже замолчали, уловив во взглядах Джойнеров мрачное, зловещее предчувствие какой-то новой истории с призраком.

– Говоришь, ты разминулся с Рансом по пути в город? – спросил Фейт Джойнер.

– Нуда, – ответил Роберте и снова описал все обстоятельства встречи.

Фейт Джойнер, не сводя с него глаз, медленно покачал головой.

– Нет, – сказал он. – Ранса ты видеть не мог. Тот, которого ты видел, был не Ранс.

Роберте похолодел.

– Как это так?

– Ранса здесь не было, – спокойно ответил Фейт Джойнер. – Он с неделю назад отправился

в гости к Руфусу Александеру и сейчас находится за пятьдесят миль отсюда.

Освещенное огнем лицо Робертса посерело. Несколько секунд он не произносил ни слова. Затем пробормотал:

– Да. Да, теперь понятно. Клянусь Богом, это оно самое.

И рассказал, что мальчик исчез из виду, едва он разминулся с ним, «будто... будто, – сказал Роберте, – земля разверзлась и поглотила его».

– И это было оно самое? – прошептал он.

– Да, – спокойно ответил Фейт Джойнер, – оно самое.

Он сделал паузу, и все пытливые, жаждущие ужаса взгляды медленно, словно по волшебству, обратились к кровати, где лежала мертвая со сложенными руками в спокойной, строгой позе, языки пламени бросали длинные отблески на ее холодное, безжизненное лицо.

– Да, это было оно самое, – сказал Фейт Джойнер. – Она умерла в ту минуту – но ты не знал этого, – добавил он спокойно, и в голосе его слышалось глубокое торжество.

Итак, этот добрый, глуповатый мальчик, не желая и даже не понимая этого, стал сверхъестественным предвестником человеческих судеб. Ранса Джойнера, вернее, его духовную субстанцию, видели в сумерках и в темноте на пустынных дорогах, идущим через поля и выходящим из леса, взбирающимся на холм по узкой тропе – а потом внезапно исчезающим. Иногда эти явления не имели видимой связи с какими-то происшествиями; но большей частью наблюдались либо перед каким-то роковым событием, либо одновременно с ним, либо после него. И эта способность не ограничивалась периодом детства. В зрелые годы она усилилась и стала проявляться чаще.

Так однажды вечером в начале апреля 1862 года жена Лафайета Джойнера, подойдя к двери дома – выстроенного на вершине холма над небольшой речушкой – внезапно увидела Ранса, взбиравшегося по крутой тропинке, ведущей к дому. В грязном, драном мундире он выглядел неряшливым, запыленным, стершим ноги и невероятно усталым – «словно бы, – говорила она, проделал долгий-долгий путь», должно быть, так оно и было, потому что в то время он служил в одном из полков Джексона в Виргинии.

Жена Лафайета ясно видела его, когда он остановился на миг, чтобы распахнуть ворота, находившиеся на середине склона. Она рассказывала, что отвернулась крикнуть о его появлении другим членам семьи, находившимся в доме, и Ранс тут же исчез с ее глаз. Когда она вновь поглядела на дорогу, там никого не было; все вокруг погружалось в темноту и тишину, и женщина, заломив в отчаянии руки, воскликнула:

– О Господи, Господи! Что станет с нами? Что на сей раз случится?

Так рассказывала она. И, как обычно, это подтвердилось роковым событием. В тот апрельский день в двухстах с лишним милях к западу, в штате Теннесси, разыгралась кровопролитная битва при Шайло, и в ту минуту, хотя весть об этом пришла несколько недель спустя, один из братьев, Джон, лежал с обращенным к небу лицом, павшим на поле сражения.

Многие истории, которые Джордж слышал от тет, и Мэй, были такими. И всякий раз, когда она рассказывала их вечерами, когда угли в камине сверкали и крошились, сильные ветры безумствовали в темноте, и ужас глухого безмолвия терзал ему сердце – он слышал бесчисленные, торжествующие над смертью голоса Джойнеров, победно звучащие из столетнего мрака, из печали укромных, безотрадных холмов, и каким-то невероятным образом обонял – неизменно и постоянно! – мягкий ароматный пепел сосновых дров, едкость древесных стружек, обилие сочных, румяных яблок. К ним всякий раз почему-то примешивались отвратительные, напоминающие о смерти запахи скипидара и камфоры – это. было забытым впечатлением младенчества, мать приносила его двухлетнего в такую комнату – джойнеровскую, с горящим камином, яблоками и прочим – повидать дедушку вечером накануне

кончины.

На множестве укромных, безотрадных дорог, в вечно укромных, вечно безотрадных холмах мальчик слышал еле слышные, протяжные голоса Джойнеров. Видел, как они поднимаются по склону лесистого холма в печальном, тусклом вечернем свете, а потом исчезают, словно призраки; и это являлось жутким пророчеством о давних войнах и сражениях, обо всех людях, преданных в тот день земле! Видел их во множестве домишек посреди глуши, в годы, еще более отдаленные и безотраднее, чем времена Верцингеторига^[4], неизменно приходящих в темноте, чтобы провести ночь в бдении у ложа усопшего, посидеть в полумраке злополучного соседского дома возле покойника, на котором пляшут отблески легкого пламени, с торжествующей страстью говорить протяжными голосами и стругать палочки до утра, сосновые дрова догорали и рассыпались в мягкий пепел, а в их голосах неумолчно звучала дарованная судьбой и необоримая способность предвещать горе.

Чего добивалась тетя Мэй этими ужасающими сплетениями своих воспоминаний? В картине того мира, которая сложилась у мальчика, Джойнеры были незаконным, как земля, и преступным, словно природа, племенем. Все прочие щедро бросали свое семя в сырую почву тела живущей в горах женщины, порождали обильное потомство, оно жило или умирало, гибло в младенчест-не или победоносно пролагало себе путь в зрелости, сражаясь со злыми врагами – бедностью, невежеством, убожеством, угрожавшими ему на каждом шагу. Они расцветали или гибли, подобно тому, как живут или гибнут особи в природе – однако торжествующие Джойнеры, не знающие никаких утрат и потерь, жили вечно, подобно реке. Другие племена выходили из земли, процветали какое-то время, а потом под непосильным бременем невзгод гибли и возвращались в ту землю, из которой вышли.

Только Джойнеры – эти падкие на ужасы, торжествующие над временем Джойнеры – жили и умирать не собирались.

И он принадлежал к этому роковому, безумному, торжествующему миру, из темницы которого побег невозможен. Принадлежал точно так же, как сотни его сородичей, и должен был либо изгнать этот мир из мозга, крови, внутренностей, бежать с демонической, ликующей радостью в мир своего отца, к новым землям и утрам, к сияющему городу – либо утонуть, как бешеный пес, умереть!

С первых же лет связной памяти Джорджа охватило всепоглощающее предчувствие прекрасной жизни. Ему постоянно чудилось, что он вот-вот отыщет ее. В детстве она окружала мальчика, надвигалась мягко, неуловимо, наполняя его каким-то невыносимым чувством неопишуемой радости. Она терзала ему сердце неистовой болью восторга, лишала его опоры в жизни, но вместе с тем и заполняла душу ликующим чувством мгновенного облегчения, близящегося открытия – казалось, в воздухе внезапно обнаружится и раздвинется некая громадная стена, казалось, медленно, величаво в полном, торжественном безмолвии отворится некая огромная дверь. Мальчик не мог подобрать слова для этой жизни, но у него было множество заклинаний, молитв, мысленных образов, которые придавали ей красочность, лад и смысл, не выразимые никакими словами.

Джорджу представлялось, что стоит лишь найти определенный манер вывернуть кисть руки, повернуть запястье или сделать круговое движение рукой (подобно тому, как ребята находят способ разъединить две петли, продетые одна в другую, или специалист по замкам легко, осторожно вращая наборный диск кончиками пальцев, отыскивает нужную комбинацию цифр для открытия сейфа) – и он обнаружит утраченное измерение этого таинственного мира, немедленно войдет в открытую им дверь.

Были у него и другие чудодейственные способы заставлять этот мир открыться. Так в

течение десяти с лишним лет он устраивал магический ритуал почти из всего, что делал. Не дышал, идя вдоль определенного квартала, вдыхал и выдыхал четыре раза, спускаясь по выходе из школы с холма, проходя мимо стены, касался пальцами каждого бетонного блока, в торце ее, там, где лестница поднималась вверх, касался каждого дважды, а если не выходило, то возвращался и начинал все заново.

По воскресеньям же, целые сутки с полуночи до полуночи, Джордж всегда делал не первое, что приходило на ум, а второе. Если, проснувшись в воскресное утро, он опускал ноги по левую сторону кровати, то поднимал их и вставал с правой. Если сперва надевал носок на правую ногу, то снимал его и надевал на левую. И если ему хотелось надеть один галстук, откладывал его и надевал другой.

И так весь день напролет. Но когда вновь наступала полночь, он с той же фанатичной суеверностью делал первое, что приходило на ум; а если случалось оплошать в какой-то мелочи этого ритуала, становился мрачным, беспокойным, исполненным тревожных сомнений, словно на него ополчились все демоны неудачи.

Эти ритуалы и самопринуждения разрастались, переплетались, постоянно увеличивали плотность и сложность своей паутины и временами управляли всем, что он делал, – не только тем, как он касался стен, регулировал дыхание, спускаясь со школьного холма, не дышал, идя вдоль квартала или мерил бетонные плиты тротуаров расстоянием в четыре шага, но даже и как шел по улице, какую ее сторону выбирал, где останавливался и осматривался, где непреклонно шел мимо, даже если ему очень хотелось постоять, посмотреть, на какие деревья влезал в дядином саду, в конце концов он стал влезать на определенное дерево по четыре раза в день и, чтобы вскарабкаться по стволу, совершать четыре движения.

Эта тираническая тайна числа «четыре» мешала ему, когда он играл в мяч, декламировал нараспев латинские изречения или бормотал греческие глаголы. И когда мыл шею и уши, садился за стол, рубил на растопку щепки (на каждую – четыре удара топором) или носил уголь (четыре взмаха лопатой, чтобы наполнить недерко).

Кроме того, существовали дни сурового самоограничения, когда он смотрел только на одну черту людских лиц. В понедельник на носы, во вторник на зубы, в среду на глаза, четверг отводился рукам, пятница ступням, в субботу он с суровой задумчивостью созерцал лбы, неизменно отводя воскресенье для того, что вторым приходило на ум – глаз, если думал о ногах, зубов, если о глазах, и лбов, если первым соблазном были носы. Этот долг разглядывания он исполнял с таким непреклонным, фанатичным рвением, так бесцеремонно таращился на лбы, руки или зубы людей, что те иногда смотрели на него встревоженно, возмущенно, недоумевая, что неладного он нашел в их внешности, или негодуяще трясли головами и вполголоса бранились, проходя мимо него.

Вечерами Джордж совершал четырехкратные моления – так как числа четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два почему-то были ключевыми в его арифметике чародейства. Он бубнил одну молитву четырежды по четыре раза, вскоре значение слов и смысл молитвы (мальчик сложил ее сам для шестнадцатикратного повторения) улетучивались, и он следил лишь за ритмом и числом чтений, бубнил так быстро, что слова сливались, но обязательно шестнадцать раз. А если, улегшись в постель, сомневался, что сосчитал правильно, тут же вставал, опускался на колени, какой бы холодной или сырой ни была погода, как бы он себя ни чувствовал, и не прерывался, пока не досчитывал, к своему собственному удовлетворению, до шестнадцати, затем читал молитву еще шестнадцать раз в виде епитимьи. Двигало им не чувство благочестия, не мысль о Боге, праведности или вере: то был просто суеверный обряд, вера в магическое действие определенных чисел и убеждение, что с помощью этого ритуала он добьется удачи.

Так ежевечерне он неукоснительно исполнял долг перед «их» темными силами, чтобы пользоваться «их» благосклонностью, чтобы «они» не покидали его, чтобы «они» были по-прежнему за него, а не против, чтобы «они» – бессмертные, таинственные «они», не дающие нам покоя! – поддерживали его, оберегали, даровали ему победу, сокрушали его злых врагов и вели его к славе, любви и торжеству, к той самой огромной двери, потайным вратам в жизнь – в тот сокрытый, неопиcуемый мир радости, который так близко, странно, волшебнo, невыносимо близко, который он может найти в любую минуту, и по которому так томится его душа.

Однажды в город приехал цирк, и при виде его в сознании мальчика возникли два образа, которые до конца детства будут волновать его, которые тут он впервые увидел в их внезапной, чудесной гармонии. То были образы цирка и отцовской родины.

Мальчику представилось, что он поступил на работу в цирк и поехал с ним в большое турне по всей Америке. Стояла весна: цирк отправился из Новой Англии на запад, а потом на юг, наступило лето, за ним осень. Номинальной обязанностью Джорджа – в его воображении все события, лица, голоса, обстоятельства были совершенно реальными, как сама жизнь – была продажа билетов. Но в этой маленькой труппе каждому приходилось заниматься несколькими делами, поэтому он также расклеивал афиши и договаривался о новых местах с торговцами и фермерами о поставке свежих продуктов. В этом деле он достиг большой сноровки – сказался недюжинный сокрытый талант расчетливо торговаться, унаследованный от живших в горах родичей. Он мог раздобыть самые лучшие, самые свежие мясо и овощи по самым низким ценам. Циркачи были суровыми, требовательными, они постоянно испытывали волчий голод, не терпели скверных продуктов или стряпни, ели помногу и всегда получали самое лучшее.

Обычно цирк приезжал в новый город рано утром, еще затемно. Он тут же принимался за дела: шел на рынки или к фермерам, которые приехали посмотреть представление. Видел и ощущал чистоту рассвета, слышал внезапное, мелодичное пение ранних птиц и неожиданно чувствовал себя на месте в новом городе, среди новых людей. Расхаживал среди фермерских телег, договаривался с фермерами на месте о поставке множества их товаров – арбузов с бахчи, уложенных в мягкое сено, свежего масла, завернутого в чистые тряпицы, еще влажные от росы и блестящие в звездном свете, громадных обшарпанных фляг с парным, пенящимся молоком, свежих яиц, которые он покупал по сотне дюжин, десятков цыплят, связок нежного зеленого лука, огромных красных помидоров, хрустящего салата, зеленого горошка и сочной зеленой фасоли, а также картофеля с пятнами земли-суглинка, аппетитных яблок, вишен и персиков, молодой кукурузы и увесистых окороков домашнего копчения.

Когда рынки открывались, он принимался торговаться с мясниками за лучшую вырезку. Мясники поднимали в узловатых пальцах большие куски, выкатывали бочонки свежих колбас, шлепали длинными ладонями по говяжьим и свиным тушам. Возвращался к цирку он с телегой, полной мяса и овощей.

На цирковой площадке уже кипела работа. До него доносились чудесно-размеренные удары молота по вбиваемым кольям, крики людей, ведущих животных на водопой, тяжелый грохот телег, отъезжающих от товарных платформ. К этому времени навес столовой бывал уже воздвигнут, и, подъезжая, он видел поваров, занятых своим делом, расставленные под навесом длинные столы со скамьями, жестяные тарелки и кружки. Ощущался аромат крепкого кофе и запах гречишного теста.

Потом циркачи шли завтракать. Еда у них была здоровая, великолепная, как мир, в котором они обитали. Она связывалась в сознании с манящим, красочным миром циркового шатра, чистым, здоровым запахом животных и дикой, нежной, лиричной природой земли, на которой

они жили скитальцами. И этой замечательной, аппетитной еды было в изобилии. Они съедали груды горячих гречишных оладий, намазанных желтым маслом, которого каждый отрезал, сколько захочет, от лежащих на столе кусков, и сдобренных густым кленовым сиропом. Они съедали на завтрак густо посыпанные луком бифштексы прямо со сковороды; съедали целые арбузы со зрелой, темно-розовой мякотью, ломти бекона и большие тарелки яичницы или омлета с телячьими мозгами. Они брали фрукты, разложенные на столе пирамидами, – сливы, персики, яблоки, вишни, виноград, апельсины, бананы. Все это запивали большими кружками густых сливок и заканчивали завтрак пинтами крепкого, ароматного кофе.

За обедом они ели неудержимо, жадно, с волчьим аппетитом, со сведенными бровями и конвульсивными движениями горла. Уписывали большие куски жареной говядины с румяной корочкой, полусырые и мягкие; ломти нежной свинины с ароматными каемками жира; нежных жареных цыплят; мясо, тушившееся несколько часов со свежей морковью, луком, брюссельской капустой и молодым картофелем; все овощи, какие только были в это время года – громадные початки жареной кукурузы, лежавшие на двух огромных блюдах, нарезанные помидоры с дольками окры и луком, взбитое картофельное пюре и крупные бобы, приготовленные со свининой. На десерт ели сладости со всеми фруктами, какие могли только быть в то время и в том месте: горячие пирожки с яблоками, персиками и вишнями, присыпанные сверху корицей; всевозможные торты и пудинги; и фруктовые пироги толщиной в несколько дюймов.

Так ездил этот цирк по всей Америке, из города в город, из штата в штат, из Мэна на просторные равнины запада, вдоль Гудзона и Миссисипи, по прериям, и с Севера на Юг.

Путешествуя по этому океану земли и грез, мальчик думал о родине отца, ее больших красных амбарах, ее близкой знакомости и тревожащей душу странности, о ее чарующей и трагичной красоте. Думал о запахе ее гаваней и морском шуме, о городе, о пароходах, румяных яблоках и красновато-булой земле, уютных, теплых домах, о ее лиричной, невыразимой радости.

И произошло чудо. Однажды рано утром мальчик внезапно проснулся и увидел над собой великолепие мерцающих звезд. Сперва он не понял, где находится. Цирковой поезд остановился неизвестно отчего посреди поля. Мальчик слышал вялое, прерывистое дыхание паровоза, странно звучащие в темноте голоса людей, постукивание копыт в конских вагонах и чуткое, многозначительное молчание земли.

Внезапно мальчик поднялся с кипы брезента, на которой спал. Близился рассвет: на востоке небо начинало белеть, слабый первый проблеск дня медленно поднимался все выше, гася звезды. Поезд стоял у небольшой, быстрой, глубокой речки, текущей вдоль полотна, и мальчик понял, что принял за молчание быструю, непрестанную музыку воды.

Накануне ночью прошел дождь, и от речки шел нежный, чистый запах земных отложений. Мальчик видел легкое белое мерцание березок, склонившихся над водой, а по другую сторону поезда – белую вьющуюся дорогу. Сразу же за дорогой находился сад с оградой из покрытых лишайником камней. Свет усиливался, земля и все ее очертания становились четкими. Мальчик видел древний узор поросших лишайником камней, тучную почву распаханного поля; видел оберегаемый порядок, строгую чистоту с легким оттенком пышной зелени. Это была земля с широкими, как сердце человека, изгородями, но не столь огромными, как его мечта, и эта земля казалась знакомой, как комната, в которой он некогда жил. Он вернулся к ней, как моряк к маленькой закрытой гавани, как человек, изнуренный скитаниями, возвращается домой. Мальчик мгновенно узнал это место. Понял, что в конце концов приехал на родину отца. Здесь находился его родной дом, вернувшийся к нему, покуда он спал, словно забытое сновидение. Здесь находилась его мечта, отцовская родина, земля, где обитал его дух. Ему был знаком каждый дюйм этого пейзажа, и он знал наверняка, что дом находится меньше чем в трех милях.

Мальчик немедленно поднялся и спрыгнул на землю; он знал, куда идти. Вдоль состава медленно раскачивались и плясали фонари тормозных кондукторов. Поезд тронулся, колокол его прозвонил, и тяжелые товарные платформы стали удаляться от мальчика. Он пошел в обратную сторону вдоль путей, он знал, что меньше чем в миле оттуда, где речка, бурля, переливается через плотину, находится мост. Когда мальчик подошел к мосту, свет стал ярче; четко возникла старая кирпичная мельница и отразилась в блестящей, светлой воде.

Он перешел мост и повернул налево. Река осталась позади, дорога шла среди полей, потом темным лесом со стройными елями и соснами, с величавыми раскидистыми кленами и обнаженной белизной берез. Лесные птицы нарушили тишину. Поднялся щебет, раздавались негромкие, бессмысленные крики, звучавшие подобно лютне. Они падали каплями жидкого золота.

Мальчик шел по дороге туда, где, как он знал, находится дом отцовских родственников. Наконец, миновав поворот, вышел из леса, зашагал вдоль живых изгородей и увидел на склоне холма старый белый дом, чистый, прохладный под густой тенью деревьев. Из трубы вилась струйка дыма.

Он свернул на дорогу, ведущую к дому, и в эту минуту из-за угла появился могучий старик, несший в огромной руке копченый окорок, словно предвидя появление гостя. Едва мальчик увидел старика, из горла его вырвался приветственный возглас. Старик ответил радостным восклицанием, от которого содрогнулась земля, бросил окорок и вразвалку пошел навстречу мальчику; они встретились на середине дороги, и старик крепко стиснул мальчика в объятиях. Оба попытались заговорить, но не смогли, обнялись снова, и в следующий миг все муки одиночества и неосуществленной мечты исчезли, словно иней с освещенного солнцем стекла.

В этот же миг из дома выскочили двое молодых людей и побежали к нему с приветствием. Эти крепко сложенные юноши, подобно своему отцу, сразу узнали мальчика и, обняв его с двух сторон за плечи, повели в дом. За завтраком он рассказал им о своих странствиях, а они ему о своей жизни. Они поняли все, что он хотел сказать, но не мог выразить, окружили его любовью и радушным гостеприимством.

Таковыми вот предстали мальчику образы цирка и отцовской родины, когда он стоял, глядя на цирк, они мгновенно слились в единое живое целое и предстали ему во вспышке света. И вот так, еще не видя в глаза той земли, не ступив на нее ногой, он впервые оказался на родине отца.

Вот так, изо дня в день, в тугой, запутанной паутине жизни мальчика эти две сферы, которые соприкасались, никогда не сливаясь, боролись, расходились, потом сближались и вновь схватывались. Первыми являлись мрачные воспоминания погруженного в прошлое человека, голоса, отзвучавшие в горах сто лет назад, скорбь укромно живших там торжествующих над временем Джойнеров. Потом дух мальчика уносился от холмов, от давних времен и скорби к отцу и отцовской родине; и когда мальчик думал об отце, на душе у него теплело, горячая кровь быстрее струилась в жилах, он вырывался за пределы места и времени и видел на севере, ярко сияющем за холмами, картину прекрасного будущего в новых землях.

4. СИЯЮЩИЙ ГОРОД

Всякий раз, когда мальчик думал об отце и гордом, холодном таинственном севере, ему приходил на ум и этот город. Отец его приехал оттуда, однако, странным образом, благодаря тонкой игре воображения, какой-то волшебной силе в уме и сердце, он связывал отцовские жизнь и облик с этим ярко сияющим городом севера.

В его детской картине мира не существовало невозделанных или неплодородных почв: существовал лишь красочный ковер громадной, безгранично плодородной земли, вечно лиричной, как апрель, и вечно готовой к жатве, слегка окрашенной колдовской зеленью, вечно купающейся в золотистом свете. А над краем этой выдуманной земли неизменно нависало прекрасное видение этого города, более изобильного и богатого, более исполненного радости и щедрости, чем земля, на которой он стоит. Далекий, сияющий, он поднимался в воображении мальчика из переливающейся дымки, висящий невесомо, словно облако, и, однако, непоколебимо высящийся в ярком золотистом свете. Видение это было простым, созданным из глубинных субстанций света и тени, ликующе пророчащим славу, любовь и радость победы.

Мальчик слышал вдали низкий, похожий на пчелиное жужжание шум миллионнолюдного города, и в этом звуке содержалась вся таинственность земли и времени. Видел его бесчисленные улицы с яркой, красочной, бесконечно разнообразной жизнью. Город сверкал перед ним, словно прославленный бриллиант, вспыхивал бесчисленными великолепными гранями жизни, столь замечательной, столь щедрой, столь причудливо и постоянно интересной и красивой, что мучительно было находиться вдали от нее хотя бы минуту. Мальчик видел все улицы, заполненные благородными мужчинами и прекрасными женщинами, и ходил среди них как завоеватель, яростно и ликующе добиваясь побед своими талантом и мужеством, заслуживая высшие награды, какие только мог предложить этот город, высочайший приз власти, богатства и славы, великое вознаграждение любви. Там будут черные, низменные злодейство и мошенничество, но он сокрушит их одним ударом, заставит уползти в свое логово. Там будут герои мужчины и красавицы женщины, и он одержит победу, займет место среди самых достойных и счастливых на свете людей.

Итак, в этом видении, расцвеченном всеми причудливыми, волшебными красками юношеской фантазии, мальчик ходил по улицам этого великолепного, легендарного города. Иногда он сидел среди владык земли в комнатах с подобающей мужчинам роскошью: его окружали мебель из красного дерева, портьеры из дорогой, шоколадного цвета кожи. Входил в вечерние залы, блистающие мрамором теплых расцветок, величественными лестницами, опирающимися на горделивые колонны из красочного оникса, устеленными красными ковровыми дорожками, толстыми, мягкими, в которых бесшумно тонет нога. А по залу, заполненному волнами страстной музыки, глубоким, мягким звучанием скрипок, ходило множество красавиц, и все, захоти он того, принадлежали бы ему. Самые красивые принадлежали. Длинноногие, стройные, однако с соблазнительными фигурами, они ходили с гордыми, прямыми взглядами, с изящными, беззаботными лицами, мерцая обнаженными плечами, их ясные, бездонные глаза светились любовью и нежностью. Яркий золотистый свет озарял их, озарял всю его любовь.

Ходил он и по невероятным, похожим на ущелья улицам, чопорным, неприветливым от вызывающе бросающихся в глаза богатства и большого бизнеса, кажущимся коричневыми от чарующего, сильного аромата кофе, с приятным зеленым запахом денег и свежей влажностью духа гавани с ее приливами и пароходами.

Таким было его представление об этом прекрасном городе – юношеским, чувственным,

эротическим, но опьяненным невинностью и радостью, странным и чудесным из-за волшебных золотистого, зеленого, коричневого освещений, в которых город рисовался ему. Главным тут был свет. Золотистый от плоти женщин, изумительный, как их ноги, чистый, бездонный, нежный, как их восхитительные глаза, изысканный, приводящий в исступление, как их прически, несказанно вожденный, как их гнездышки неги, их налитые груди. Свет бывал золотистым, как утренние лучи солнца, льющиеся через старое стекло в темную комнату. Бывал коричневым, тронутым позолотой, как высыхающие над городской улицей старые дома поутру. Бывал свет и голубым, как утро под фронтонами зданий, отвесными, холодно-голубыми, затянутыми утренней дымкой, как чистая, прохладная вода гавани с пляшущими на ней солнечными бликами.

Свет бывал янтарно-коричневым в просторных, темных спальнях, закрытых ставнями от утреннего света, где в больших ореховых кроватях великолепные женщины шевелили в чувственном тепле своими изумительными ногами. Бывал коричнево-золотистым, как молотый кофе, его продавцы и цвет домов, в которых они жили; коричнево-золотистым, как старые кирпичные здания, мрачные от богатства и запаха торговли; как утро в большом баре с блестящим красным деревом, свежим пивом, лимонными корочками и запахом настойки «Ангостура». Свет бывал совершенно золотистым вечерами в театрах, сиял золотистой теплотой и телесностью на золотистых фигурах женщин, на толстом красном плюше, на крепком, старом, слегка затхлом запахе, на позолоченных снопах, купидонах и рогах изобилия, на плотском, сильном, нежно-золотистом запахе всех людей. А в больших ресторанах свет бывал ярко-золотистым, округлым, как теплые ониксовые колонны, гладкий мрамор теплых расцветок, как старое вино в округлых, замшелых бутылках и большие белые изображения женщин на расписанных розами потолках. Кроме того, свет бывал обильным, ярким, коричнево-золотистым, как громадные поля осенью; бывал золотистым, радующим душу, как жнивье с толстыми, рыже-золотистыми снопами, над которыми высятся большие красные амбары и стоит густой, пьянящий яблочный аромат.

Это видение прекрасного города составлялось из множества разрозненных источников, из книг, рассказов путешественников, фотографии Бруклинского моста с громадным, крылоподобным размахом, песни и музыки его тросов, даже маленьких фигурок идущих по нему людей в шляпах дерби. Эти и многие другие впечатления составили у него в мозгу картину прекрасного города, она долго владела им мощно, ликующе, неотвратимо входило во все, что он делал, думал, чувствовал.

Это видение прекрасного города сияло не только от тех образов и предметов, которые буквально порождали его, как фотография моста: оно входило смутно и мощно в его общее видение мира, в состав крови и ритм сердцебиения, во множество вещей, с которыми не имело видимой связи. Оно входило в женский смех на вечерней улице, в звуки музыки и легкий напев вальса, в гортанные переборы контрабаса; оно было в запахе свежей апрельской травы, в доносимых ветром еле слышных криках, в жаркой дымке и вялом гудении воскресного дня.

Оно входило во все шумы и звуки карнавала, в запахи конфетти, бензина, громкие, ликующие крики людей, кружащую музыку карусели, резкие крики и скрипучие голоса зазывал. Было оно и в звуках, запахах цирка – в реве и тяжелом духе львов, тигров, слонов, в рыжевато-коричневом запахе верблюда. Оно входило каким-то образом в морозные осенние ночи, в чистые, резкие, ледяные звуки кануна дня всех святых. И невыносимо являлось ему вечерами в удаляющемся, тоскливом гудке поезда, в негромком, печальном звоне его колокола, стук громадных колес по рельсам. Приходило и в зрелище длинного состава рыжих товарных вагонов на путях, в зрелище уходящих вдаль и теряющихся из виду рельсов, сияющих музыкой пространства и полета.

В подобных и бесчисленных прочих вещах видение прекрасного города оживало и ранило его, словно нож.

Книга вторая. Гончая тьмы

До шестнадцати лет Джордж Уэббер, прозванный ребятами Обезьян – это прозвище пристало к нему на всю жизнь и казалось более подходящим, чем полученное от родителей имя, - рос среди своих родственников, Джойнеров. И был одним из них, тесно связанным множеством нитей с их ограниченным, замкнутым горами, самодовольным миром. Однако же он был и Уэббером, что для этой семьи являлось позором, а для него - предметом тайной гордости, и нечто, находившееся за этими горами, будоражило его дух.

Таким образом, сильные, противоречивые влечения джойнеров-ской и уэбберовской кровей, которые встретились, но не слились в его жилах, вызывали бесконечные колебания в его уме и сердце. Из этого беспокойства духа возникло странно-обостренное видение мира, весьма пестрая картина жизни, сотканная из светлых и темных нитей, из солнечного света и глубокой тени.

5. ТЕТЯ МЭГ И ДЯДЯ МАРК

Жену Марка Джойнера, тетю Мэг, мальчик недолюбливал. Она происходила из семьи живших в горах крестьян и, вольно обращаясь с кошельком мужа, делала все возможное, дабы занять более высокое положение в жизни.

– Нечего ей напускать на себя, – говорила тетя Мэй. – Когда Марк впервые увидел ее, она мотыжила кукурузу в поле.

Мэг, бездетная в свои сорок пять лет, была высокой, худощавой, бледнолицей женщиной с холодными глазами, тонким носом и ртом, вечно кривящимся в злобной, язвительной усмешке. В прошлом красавица, она двадцать лет страдала от невроза и пре-бывала в непоколебимой уверенности, что у нее туберкулез, рак, заболевание сердца и злокачественное малокровие. Находилась под постоянным врачебным наблюдением. Половину часов бодрствования проводила, растянувшись в смертельном ужасе на кровати; в комнате, наглухо закупоренной от сквозняков, было полно полок и столиков, заставленных пузырьками с лекарствами.

На самом деле она была сильной, здоровой.

Джордж иногда сопровождал тетю Мэй, когда та ходила навестить Мэг в новом уродливом доме из ярко-красного кирпича. Обычно они находили ее в наглухо закупоренной комнате, где было изнурительно жарко.

– Поди-ка сюда! – говорила тетя Мэг резким, язвительным голосом, и мальчик неохотно подходил к ее кровати. – Боже милосердный! – добавляла она со злобным смешком, глядя ему в лицо. – От него пахнет Уэббером! Ноги у тебя воняют, малец?

Эти шутки под аккомпанемент язвительного смеха, опускание уголков тонкого, ханжеского рта, когда она делала вид, будто с отвращением нюхает воздух, не усиливали любви Джорджа к тетушке.

– Ты даже не представляешь, малец, как тебе повезло! – выкрикивала она. – Тебе надлежит каждый вечер благодарить на коленях Господа за то, что живешь в таком истинно христианском доме! Что случилось бы с тобой, если б не я? Дядя Марк взял тебя по моему требованию! Если б не я, ты оказался бы в сиротском приюте – вот что!

Побуждаемый таким образом, мальчик бормотал благодарность, но в глубине души часто желал, чтобы его действительно отправили в приют.

Мэг была баптисткой, очень активной в церковных делах. Она делала щедрые пожертвования; потчевала до отвала священника за своим воскресным столом; но главное – вносила крупные суммы на содержание баптистского приюта и постоянно держала в услужении двух-трех детей, взятых под ее щедрое крыльшко. Эта благотворительность снискивала потоки лести, сулящей успех на земле и милость на небесах. Священник, обращаясь по воскресеньям к прихожанам, говорил:

– ...Я знаю, все мы будем рады услышать, что сердце еще одного сиротки исполнилось счастья благодаря щедрости сестры Джойнер, она в великой доброте своей души предоставляет уютное жилье Бетси Белчер, девочке, которая, не достигнув восьми лет, лишилась обоих родителей. Это уже шестой осиротевший ребенок, которого она взяла под свое любовное попечение. Я знаю, когда мы видим ее щедрые пожертвования, найдутся и другие, которые, следуя этому примеру, внесут свою лепту на поддержание той великой работы, которую добрые братья и сестры ведут в приюте.

И когда Мэг, сдержанная и комично-смирная, подходила после речи священника к кафедре, он с неприятной елейностью склонялся к ее руке со словами:

– Как ваше самочувствие, добрая женщина?

Мэг брала к себе в дом этих несчастных детей и заставляла выполнять домашнюю работу. Одним из них был четырнадцатилетний мальчик по имени Вилли, бестолковый, улыбчивый, вечно озадаченный идиот. Он никогда не играл с ребятами, потому что постоянно занимался работой по дому, и Джордж видел его, можно сказать, только во время визитов вежливости к тете Мэг, когда сироту вызывали к ней в комнату растопить камин.

– Видели хоть раз такого идиота? – спрашивала Мэг с язвительным хохотом. – Боже милосердный!

И мальчик улыбался в ответ неуверенно, идиотски, испуганно, сам не зная, почему.

Как-то Марк и Мэг поехали во Флориду, оставив Вилли у тети Мэй. Мальчик работал, как лошадь. Тетя Мэй сытно кормила его и отвела ему комнату для сна. Она его не оскорбляла. Они с Джорджем постоянно смеялись над ним, он был нелепо доволен, что служит для них посмешищем, и широко, идиотски улыбался с благодарностью.

Волосы его представляли собой густые спутанные джунгли, спускавшиеся почти до плеч. Небраска Крейн как-то с серьезным видом сказал ему, что хорошо владеет ремеслом парикмахера, и Вилли с радостью согласился подвергнуться стрижке. Небраска надел ему на голову ночной горшок и, негромко посмеиваясь, состригал волосы, торчавшие из-под горшка, Вилли продолжал улыбаться им, дружелюбно, недоуменно, идиотски, а Небраска с Джорджем давились от смеха.

У Мэг было два племянника, жили они в большом доме вместе с нею и Марком. Это были сыновья ее умершего брата, мать их скончалась вскоре после смерти мужа, и Мэг взяла обоих ребят к себе. Поскольку они доводились ей кровными родственниками, она неразумно потакала им, будто собственным сыновьям, и питала к ним такую привязанность, на какую только была способна ее ограниченная, вздорная натура. Деньги Марка Мэг тратила на них щедрой рукой, главным в ее системе подготовки этих ближайших родственников к высокому положению в жизни было не отказывать им ни в чем.

Старший, Эрл, был рослым, цветущим, вульгарно-красивым юношей с громким, бессмысленным, заразительным смехом. Жителям города он весьма нравился. Все свое время он посвящал изучению гольфа как изящного искусства и был одним из лучших игроков в Либияхилле. Мэг приятно было сознавать, что Эрл является членом загородного клуба. В ее понимании светскость была полнейшей праздностью в обществе «лучших людей».

Другого племянника, усладу очей Мэг, звали Тэд. Он был уже молодым человеком лет семнадцати-восемнадцати, с круглым, румяным лицом и раздражающим самодовольным смехом. Тэд ловко избегал всяческих жизненных трудов. Он не хуже тетушки умел прикрываться нездоровьем, и Мэг пребывала в убеждении, что мальчик унаследовал свойственный их роду порок сердца.

Слишком утонченный для грубых школьных нравов, Тэд получал образование дома, на аристотелевский манер, между тремя и четырьмя часами дня, учил его иссохший человек, директор небольшой школы для мальчиков, он получал за это хорошую плату и, тактично подмигивая, уверял Мэг, что ее племянник уже получил образование, равное университетскому.

Большую часть времени Тэд проводил в своей «лаборатории», небольшой островерхой комнате на чердаке, куда приносил объекты своих опытов – трепещущих птичек, дрожащих кошек, бродячих дворняг – и с легким любопытством наблюдал за их реакцией, вонзая булавки им в глаза, отрубая по частям хвост или прижигая раскаленной кочергой.

– Этот мальчик – прирожденный натуралист, – говорила Мэг.

Марк Джойнер ограничивал себя во всем, но ничего не жалел для жены. Завтракал он гренок и двумя яйцами, которые варил на печурке у себя в комнате, в разговорах с друзьями

оценивал дрова, яйца и хлеб в двенадцать центов. Горячую воду использовал после еды для бриться.

– Ей-богу, – говорили горожане, – потому-то он и разбогател!

Одевался Марк в еврейских лавочках; курил дрянной, вонючий табак; неумело чинил свои башмаки; одинаково радовался скупости в тратах на себя и щедрости к домашним. С первых лет совместной жизни он давал Мэг на расходы крупные суммы; поскольку торговля его шла хорошо, суммы эти росли, а Мэг изводила значительную их часть на племянников. Они доводились ей кровными родичами, и все, что имела она, принадлежало им.

Мэг почти неизменно держала мужа под каблуком, однако внутри у него таился вулкан гнева, набиравший силу по мере прожитых с ней лет, и когда он извергался, все ее оружие – грубый смех, непрестанные придирки, хроническая болезненность – становились бессильными, Марк замыкался в себе, всеми силами сдерживался, кривя от напряжения губы в жуткой гримасе, но в конце концов душевная буря становилась невыносимой, он выскакивал из дома, прочь от Мэг и ее голоса, обращал мрачное лицо к западным холмам и часами бродил по лесу, покуда дух его не успокаивался.

6. УЛИЦА ДЕТСТВА

Когда Джордж Уэббер был ребенком, Локаст-стрит, улица, на которой он жил у Джойнеров, казалась ему незапамятно древней. Он не сомневался, что у нее было начало, была история, однако столь давняя, что на ней селилось, жило, умирало и уходило в забвение бесчисленное множество людей, и никто из ныне живущих не помнит, как она возникла. Более того, Джорджу представлялось, что каждый дом, сад, дерево являются частью некоего непреложного замысла: находятся они на своих местах потому, что должны там находиться, построены дома так потому, что по иному и не могли быть построены.

Эта улица была для него миром радости и очарования, которых должно хватить на множество жизней. Размеры ее были благородны в их космической, безграничной изумительности. Ее мир домов, дворов, садов и сотни людей казался ему обладающим несравнимым великолепием лучшего места на земле, непоколебимым авторитетом центра вселенной.

С годами Джордж ясно понял, что мир, в котором он живет, очень мал. Все размеры улицы жутко сократились. Дома, казавшиеся ему столь впечатляющими в их роскоши и величии, лужайки, некогда такие просторные, задние дворы и живописные сады, тянувшиеся бесконечной полосой восхищения и новых открытий – все это жалко, невероятно съежилось, выглядело крохотным, убогим, стесненным. И все же много лет спустя воспоминания об этой улице с бесчисленными подробностями жизни на ней пробуждались у него с ослепительной, нестерпимой яркостью сновидения. То был мир, который Джордж знал, в котором жил каждой мельчайшей толикой крови, мозга, духа, каждый из ее образов навеки вошел в жизнь Джорджа, стал такой же его частью, как самые сокровенные мысли.

Поначалу улица была просто-напросто ощущением травы и земли под босыми ногами, когда впервые выходишь без обуви и ступаешь с опаской. Была прохладой песка, набивающегося между пальцами ног, мягкой липкостью гудрона на проезжей части, ходьбой по стене из бетонных блоков и прохладной, сырой землей в тенистых местах. Была стоянием на низкой кромке крыши, в чердачном окне сарая или на втором этаже строящегося дома и вызовом, брошенным другим мальчишкой, прыгнуть оттуда; осматриванием, ожиданием, знанием, что должен прыгнуть; смотрением вниз, борьбой со страхом, поддразниванием и колотящимся сердцем, пока не прыгнешь.

Потом она была удовольствием бросить круглый, тяжелый камешек в открытое окно пустого дома, когда красный незапамятный вечерний свет ярко отражался на стеклах; связывалась с первым ощущением в руках бейсбольного мяча по весне, его округлости, тяжести в вытянутой руке, с тем, как мяч летит подобно пуле, когда впервые бросаешь его с ощущением громадной силы и скорости, с тем, как он влетает в пахучий, засаленный карман на рукавице принимающего. А потом с рысканьем по прохладному, темному подвалу в надежде, что вот-вот найдешь спрятанное сокровище, с находкой рядов покрытых паутиной бутылок и ржавой велосипедной рамы.

Иногда она связывалась с пробуждением в субботу, с прекрасным ощущением субботнего утра, пляшущим в сердце, со зрелищем лепестков яблочного цвета, плавно опускающихся на землю, с запахами колбасы, ветчины и кофе, со знанием, что сегодня не будет занятий в школе, не будет ужасающего утреннего звона школьного колокола, не будет сердцебиения, спешки, нервной дрожи, наскоро проглоченной, лежащей комом еды и кислого неприятного кофе в желудке, потому что в школу идти не нужно, потому что наступила великолепная, сияющая,

прекрасная суббота.

А потом она связывалась с субботним вечером, радостью и опасностью, разлитым в воздухе, с нетерпением выйти из дома и отправиться в «верхнюю часть» города, горячей ванной, чистой одеждой, ужином и походом в верхнюю часть по темным субботним улицам, где воздух напоен радостью и опасностью, где слава обдаёт тебя своим дыханием, но не появляется, с проходом в передние ряды, с трехкратным просмотром фильма, где Брончо Билли поражает выстрелами плохих людей, покуда последний сеанс не кончится, и на экране не засветится поцарапанный кадр с надписью «Доброй ночи».

Потом она связывалась с воскресным утром, пробуждением, шумом автомобиля снаружи, запахом кофе, омлета с мозгами, гречишных оладий, ощущением спокойного, тихого счастья, не ликующего, как в субботу, вялой, дремотной, более унылой радости, с запахом воскресных газет, воскресным утренним светом снаружи, ярким, золотистым и вместе с тем благочестивым, церковными колоколами, людьми, наряжающимися, чтобы идти в церковь, по-воскресному тихими улицами, хождением по тенистой стороне, где находится табачная лавка, с воскресными утренними развлечениями тех, кому идти в церковь не нужно, с крепким чистым запахом хорошего табака, с приятным запахом и атмосферой церкви, не столько молитвенной, сколько благопристойной – с детьми, поющими «Соберемся мы у Реки, у Прекрасной, Прекрасной Реки!» – а потом с гудением голосов в классной комнате, неярко-красно-коричневым светом из церковного витража, с пристойно, нерасфранченно одетыми людьми, которых дома ждет хороший обед, с холодной, однако же страстной суровостью в голосе священника, благородством его худощавого, вытянутого лица, когда он, вытягивая шею, произносит слово «гнусный», – и весь он холодный, суровый, смиренный, благопристойный, словно сам Бог находится в этом красно-и-го-коричневом свете и высоком крахмальном воротничке; а потом двадцатиминутной молитвой, органом, играющим звучное благословение, людьми, которые, разговаривая и смеясь, расходятся после надлежащей еженедельной красновато-коричневой дезинфекции душ, снова выходят в яркий, золотистый свет воскресного утра, потом, постояв дружелюбными, однако зубоскалящими группами на лужайке, идут по домам, с мерным, звучным, воскресным шарканьем хорошей кожи на тихих улицах - все это бывало чинно, благочестиво, однако наводило на мысль не о Боге, а о predetermined покое и благопристойности воскресного утра, хороших обедах, деньгах в банке и полной обеспеченности.

А потом она связывалась с сильными ветрами, шумевшими по ночам в больших деревьях, – издали налетавшими, безумными ветрами, частым, резким стуком желудей о землю, демоническим шепотом злобного ликования в сердце, говорящем о торжестве, полете и тьме, новых землях, утрах и сияющем городе.

Потом она связывалась с пробуждением по утрам и невесть откуда взявшимся знанием, что идет снег, еще до того, как его увидел, с ошеломляющим, белым, грустным предвидением мягкого, тихого, все заносающего снега, со слышными потом его мягким, почти бесшумным падением на землю и скрежетом лопаты на тротуаре перед домом.

А потом она связывалась с суровой, холодной зимой, днями и ночами, нестерпимо поглощавшими скучный, серый пепел времени, с апрелем, который все не наступал, с мечтательным ожиданием по ночам какого-то чуда, которого никогда не случалось, с голыми кустами, скрипя качавшимися в темноте, с неподвижными ветвями деревьев, бросавшими тени на тротуар под фонарем, с голосом тети, преисполненным бездонных глубин времени и ужаса Джойнеров, племени, которое жило вечно, хотя ты тонул в этих глубинах.

Потом она связывалась с теми несколькими днями, когда школа нравилась, с началом учебы в сентябре и окончанием в июне. Связывалась с возвращением в школу после летних

каникул, с легкой радостью и надеждой, вызванными списком учебников, который учительница выдавала в первый день, затем ощущением, видом, запахом нового учебника географии, хрестоматии и тетрадей, учебника истории, с запахами карандашей, линеек и бумаги в книжном магазине, с приятным ощущением тяжести книг в связке, с приносом их домой и жадным чтением новых, богато иллюстрированных учебников географии, истории, хрестоматий – чтением с ненасытными радостью и жаждой, пока в книгах не оставалось больше ничего нового, с подъемом по утрам, звоном школьного колокола и надеждой, что этот год окажется не таким уж плохим.

Связывалась она и с ожиданием в мае конца занятий, с легкой грустью, что они скоро кончатся, с их последним днем, когда испытывал подлинную горечь и вместе с тем ликующую радость, с присутствием на выпуске окончивших школу, с гипсовыми скульптурами Минервы и Дианы, с бюстами Сократа, Демосфена и Цезаря, с запахом мела, чернил и прочими школьными запахами, с радостью и печалью, что расстанешься с ними.

И с ощущением слез на глазах, когда класс пел выпускную песню на мотив «Старого Гейдельберга», когда девчонки, истерически рыдая, целовались, висли на шее мистера Хэмби, директора, клялись, что никогда, до самой смерти не забудут его, что школьные дни были счастливейшими в их жизни, что расставание со школой для них невыносимо – хны-хны-хны! – а затем все слушали речь distinguished Зибулоне Н. Микинса, местного конгрессмена, который говорил, что мир никогда еще так не нуждался в руководителях, как в настоящее время – вперед, вперед, вперед, мои юные друзья, будьте руководителями в этом Огромном Мире, он ждет вас, и благослови Бог вас всех. И при этих прекрасных словах Зибулоне Н. Микинса глаза увлажнились, горло сжимало от радости и нестерпимой боли, потому что, когда он произносил их, у свеса крыши прошумел ласковый, пахнущий цветами июньский ветер, ты видел за окном свежую зелень деревьев, ощущал запахи смолы, зелени, полей, усеянных клонящимися под ветром бело-желтыми маргаритками, слышал дальний грохот на железной дороге, и тут узрел Огромный Мир, сияющий вдали прекрасный, очаровательный город, услышал далекий, приглушенный гул всей его миллионнолюдной жизни, уидел его поразительные башни, вздымающиеся из переливчатой дымки, понял, что когда-нибудь будешь ходить по его улицам завоевателем, руководителем среди самых красивых и счастливых людей на свете; и подумал, что обязан этим красноречию Зибулоне Натаниела Микинса, не придав значения ни изменчивому свету, становившемуся из золотистого серым, а потом вновь золотистым, ни свежей июньской зелени и очаровательным, густо усеянным маргаритками полям, ни волнующему школьному запаху мела, чернил и лакированных парт, ни волнующей тайне, радости и печали, ошеломляющему, восхитительному ощущению славы нутром – нет, он не придал всему этому никакого значения и решил, что всем обязан красноречию Зибба Микинса.

И он задумался о том, что представляют собой классные комнаты летом, когда в них никого нет, и ему захотелось оказаться там наедине со своей хорошенькой, рыжеволосой, пышнотелой учительницей или с одноклассницей, что сидела по другую сторону прохода от тебя, Эдит Пиклсеймер, у которой густые локоны, мягкий, спокойный взгляд голубых глаз и нежная, простодушная улыбка, которая носит короткие юбочки, чистые синие чулки, и он иногда видел белую, нежную пухлость ее ног, где резинки и пряжки подвязок врезаются в них, и ему хотелось побыть с нею наедине в пустом классе, однако не позволяя себе ничего лишнего.

А иногда она связывалась с возвращением из школы в октябре, с запахом жженой листвы в воздухе, с дубовыми листьями в канаве, с видом мужчин без пиджаков, с синими резинками на рукавах, сгребавших у себя во дворах листья, с ощущением, запахом, звуками спелости, жатвы, подчас с заморозками по ночам, белым от мороза светом луны в окна, далеким лаем собаки и грохотом поезда по рельсам, с уносящимся в ночь поездом, со звоном колокола, с тоскливым,

прощальным гудком.

Эти оттенки света, очертания, звуки переплетались в мозгу мальчика, словно волшебная, изменчивая, радужная паутина. Потому что место, где он жил, было для него не просто улицей – не просто мостовой и старыми, ветхими домами: то была живая оболочка его жизни, обрамление и сцена всего мира детства и очарования.

Здесь на углу Локаст-стрит, у подножия холма под домом его дяди, стояла стена из бетонных блоков, на которой Джордж множество раз сидел с ребятами, жившими по соседству, заговорщицки разговаривая вполголоса; они сплетали жуткий заговор ночного, таинственного приключения, крадучись, уходили в темноту на его поиски, то перешептывались и сдавленно смеялись, тихо рыская по темным местам с внезапными остановками, с шепотом «Погодите!», то внезапно пускались в ужасе наутек... ни от чего. Потом опять заговорщицки разговаривали на стене и крались в темноту улиц, дворов, переулков с какими-то отчаянными ужасом и решительностью, надеясь встретить в ночи нечто опасное, дикое, злое, столь же торжествующее и черное, как демоническая радость, неистово и невыносимо заполнявшая их сердца.

На этом же углу Джордж однажды видел, как погибли двое ребят. Стоял весенний день, мрачный, серый, промозглый, воздух был прохладным, сырым, напоенным запахом земли и буйной зелени. Мальчик шел в верхнюю часть города, а тетя Мэй, наводившая порядок в столовой, смотрела, как он идет по Локаст-стрит мимо дома Шеппертонов, мимо дома напротив, где жил Небраска Крейн. Настроение у него было хорошее, так как он собирался купить шоколада и кленового сиропа, и потому что воздух был мрачным, серым, зеленым, в нем ощущалась какая-то невыносимая радость.

Когда Джордж свернул на Бэйрд-стрит, навстречу ему катили под уклон в коляске Элберт и Джонни Эндрюсы, правил Элберт; когда Джордж поравнялся с ними, Джонни кличем приветствовал его и поднял руку, Элберт тоже издал клич, но руки не поднял. Потом Джордж обернулся посмотреть, как они свернут за угол, и на его глазах в коляску врезался большеколесный «олдсмобил», за рулем которого сидел юный Хэнк Бэсс. Джордж вспомнил, что машина эта принадлежит мистеру Пендерграфту, изысканного вида лесопромышленнику, он был богат, жил на Монтгомери-авеню, в лучшей части города, имел двух сыновей, Хипа и Хопа, они учились в воскресной школе вместе с Джорджем, широко улыбались людям, были косноязычными, с заячьими губами. Джордж видел, как машина столкнулась с коляской, разнесла ее в щепки и протащила Элберта вниз лицом пятьдесят ярдов. Коляска была окрашена в желтый цвет, на ее боках печатными буквами было выведено «Лидер».

Лицо Элберта превратилось в кровавое месиво, Джордж видел, как оно волоклось по мостовой, будто окровавленная тряпка; когда он подбежал, беднягу вытаскивали из-под машины. Сильно пахло стертой резиной, бензином, маслом и, кроме того, кровью; изо всех домов с криками бежали люди, мужчины лезли под автомобиль, чтобы вытащить Элберта, Бэсс стоял с позеленевшим лицом, с каплями холодного пота на лбу, в изгвазданных брюках, а Элберт представлял собой окровавленную тряпку.

Мистер Эрнест Пеннок, ближайший сосед дяди Марка, вытащил Элберта из-под машины и держал на руках. Это был рослый, краснолицый человеке приветливым голосом. Сэм Пеннок, друг Джорджа, доводился ему племянником. Эрнест Пеннок был без пиджака, с синими резинками на рукавах, кровь Элберта залила ему всю рубашку. У бедняги был сломан позвоночник, переломаны обе ноги, сквозь прорванные чулки торчали осколки костей, и он непрерывно вопил:

– О мама спаси меня О мама, мама спаси меня О мама спаси меня!

И Джорджу стало не по себе – Элберт поздоровался с ним, был радостным всего минуту

назад, потом что-то громадное, безжалостное словно бы свалилось на него с неба, сломало спину, и теперь ничто не могло его спасти.

Джонни машина переехала, но не поволокла за собой, и крови на нем не было, только синели две вмятины на лбу. Мистер Джо Блэк, живший на углу, через дом от Джойнеров, был мастером в трамвайном парке, целыми днями стоял на Площади и каждые четверть часа, когда подъезжал трамвай, отдавал вагоновожатым распоряжения, он был женат на одной из дочерей мистера Макферсона, шотландца, жившего на другой стороне улицы выше Джойнеров, поднял Джонни, держал его на руках и говорил веселым голосом отчасти ему, отчасти себе и другим людям:

– Этот мальчик цел-невредим, да-да, просто слегка ушибся, но он молодец, в два счета оправится.

Джонни постанывал, но негромко, крови на нем не было, и никто не обращал на него внимания, однако он умер, пока Джо Блэк обращался к нему.

Потом из-за угла стремглав выбежала миссис Эндрюс, на ней был фартук; вопя, как резаная, она продралась через толпу вокруг Элберта, выхватила сына из рук Эрнеста Пеннока, целовала, покуда ее лицо не покрылось его кровью, и без умолку вопила:

– Он мертв? Он мертв? Почему не говорите?

И сразу же перестала орать, когда ей сказали, что мертв не Элберт, а Джонни, – стала спокойной, тихой, почти хладнокровной, так как Элберт был родным ее сыном, а Джонни – приемным; и хотя она всегда была добра к Джонни, все соседи потом говорили:

– Видели, а? Вот вам, пожалуйста! Сразу же утихла, услышав, что погиб не родной сын, а приемный.

Но Элберт тоже скончался два часа спустя, в больнице.

Наконец – почему-то это оказалось самым тягостным – появился мистер Эндрюс и заковылял к людям, собравшимся вокруг Элберта. Этот крохотный человек, страдающий какой-то жуткой болезнью суставов, был страховым агентом. Передвигаться он мог только с помощью трости, его большая голова с исхудалым лицом и громадными, широко раскрытыми глазами казалась слишком тяжелой для хилых тела и шеи. Ходил он, раскачиваясь, корчась, подергиваясь из стороны в сторону на каждом шагу, ноги его совершали странные, конвульсивные движения, словно собирались выпорхнуть из-под туловища. Однако этот немощный человек породил девятерых детей и продолжал делить ложе с супругой. Джордж разговаривал об этом вполголоса с ребятами, испытывая страх и любопытство, его занимала мысль, не связано ли каким-то образом его недомогание с этой плодовитостью, не какая-то ли преступная невоздержанность ослабила, изнурила этого человека до такой степени, что ноги словно бы выпархивали из-под него при этой конвульсивной ходьбе; он испытывал какое-то жуткое очарование и смятение духа перед этой тайной природы – как может проистекать столько жизней из увядших чресел подобного живого мертвеца.

Но вот мистер Эндрюс, корчась, раскачиваясь, подергиваясь, появился из-за угла и с жуткими, пустыми, широко раскрытыми глазами заковылял к окровавленному месту гибели двоих его детей; и это – вкуче с сильными, своеобразными запахами резины, кожи, бензина и масла, мешающимися с тяжелой, липкой свежестью теплой крови, жуткой свежестью, висящей, словно туча, в прохладном, влажном, пахнущем землей воздухе, который минуту назад был напоен невыразимым, нестерпимым предвкушением радости, а теперь наполнился ужасом, тошнотворностью, отчаянной душевной болью – навсегда запечатлело в памяти тот угол, день, час, слова и лица людей с ощущением, что жуткая, неопишуемая смерть поджидает за этим углом всех и каждого, чтобы сломать им спины и мгновенно разрушить жалкие, бессмысленные иллюзии их надежд.

Здесь, чуть выше по холму, неподалеку от того предательского угла, прямо перед домом Шеппертонов, находилось место, где произошел другой несчастный случай, столь же комичный и нелепый, насколько первый был трагичным и жутким.

Однажды утром, весной, когда все плодовые деревья были в цвету, Джордж внезапно проснулся у себя в комнате, он видел, как плавно опускаются на землю опадающие с вишен лепестки, и помнил о каком-то жутком столкновении – громкие скрежет и треск стекла, стали, дерева все еще звучали у него в ушах. На улице уже слышались перекрикивания людей и топот бегущих. В дядином доме хлопнула наружная дверь, и мальчик услышал, как дядя Марк взволнованно крикнул кому-то:

– Это внизу на Локаст-стрит! Милостивый Боже, там все, наверно, погибли!

И, выйдя на улицу, быстро зашагал вниз.

Джордж выскочил из постели, поспешно натянул брюки и босиком, без рубашки, бросился на крыльцо, сбегал по ступенькам и со всех ног помчался на улицу. Все люди бежали в одну сторону, он видел своего дядю в быстро разрастающейся толпе перед шеппертоновским домом, возле большого телефонного столба, переломленного, как спичка, у основания и полуповисшего на проводах.

Подбежав, Джордж увидел обломки машины, разлетевшиеся по мостовой на пятьдесят ярдов – колесо здесь, рулевая тяга там, еще в одном месте фара, в другом кожаное сиденье, и повсюду валялось битое стекло. Побитый, искореженный корпус машины стоял, как вкопанный, перед сломанным столбом, в который с огромной силой врезался, внутри его торжественно восседал Лон Пилчер с ошалелым выражением лица и с рулевой баранкой на шее. В нескольких футах оттуда, по ту сторону тротуара, на высокой насыпи шеппертоновского газона восседал на своем массивном зад мистер Метьюз, толстый, краснолицый полицейский, лицо его выражало то же ошалелое, торжественное изумление, что и у незадачливого водителя.

Дядя Марк и еще несколько человек вытащили Лона Пилчера из разбитой машины, сняли с его шеи баранку и убедились, что он каким-то чудом совершенно не пострадал. Лон, быстро оправясь от потрясения, стал тупо осматривать разлетевшиеся обломки машины и наконец с пьяной хитростью обратился к дяде Марку:

– Как по-вашему, мистер Джойнер, здорово она пострадала? Сможем мы отремонтировать ее, чтобы снова бегала?

Тем временем мистер Метьюз, оправясь от потрясения, неуклюже спустился с насыпи и грузно затопал к Лону, крича:

– Я арестую тебя! Арестую! Отведу в тюрьму и посажу под замок, так и знай!

Угроза эта, поскольку он арестовывал Лона уже не раз, казалась пустой.

Выяснилось, что Лон всю ночь колесил по городу с какими-то хористками на своем знаменитом «кадиллаке» модели 1910 года; полицейский арестовал его на вершине холма Локаст-стрит и велел ехать вместе с ним в полицейский участок; а потом, когда машина с ужасающей скоростью неслась вниз по склону, во все горло орал водителю:

– Стой! Стой! Выпусти меня! Ты арестован! Черт возьми, я посажу тебя за это, вот увидишь!

По словам очевидцев, при столкновении полицейский грациозно проплыл в сияющем утреннем воздухе, совершил два сальто и приземлился прямо на зад с такой силой, что пребывал в ошеломлении несколько минут, однако все это время продолжал бормотать:

– Стой! Стой! Арестую!

Здесь, напротив шеппертоновского, прямо над домом Небраски Крейна, стоял дом, в котором жил капитан Саггз, инвалид с ампутированными значительно выше колена ногами. У

него были гигантский корпус, широченные плечи, толстые сильные руки; могучая шея и широкий, с жесткой складкой губ рот говорили о зверской силе и решительности. Одну ногу ему оторвало под Кодд-Харбором, другая оказалась покалечена, и ее пришлось ампутировать. Несмотря на увечье и громадный корпус, он при желании мог передвигаться с поразительной быстротой. В гневе пользовался костылем, как дубиной, и мог уложить любого в радиусе шести футов. Жена его, маленькая, хрупкая женщина, была в высшей степени покорной.

Его сын тридцати с небольшим лет, «Принимающий» Саггз, сколачивал состояние. Некогда он был профессиональным бейсболистом. Потом, когда у него достало денег арендовать на месяц пустующий склад, устроил там первый в городе кинотеатр. Теперь ему принадлежали кинотеатры «Принцесса» и «Веселье» на Площади, его жизненный путь представлял собой чудо внезапного обогащения.

Здесь было место напротив дома Макферсона, где однажды холодным январским вечером на обледенелой мостовой поскользнулась лошадь, упала и сломала ногу. Возле дома появились люди с мрачными лицами, вскоре Джордж услышал два выстрела, дядя Марк вернулся с печалью на лице, сокрушенно покачивая головой и бормоча: «Какая жалость! Какая жалость!» – а потом принялся злобно осуждать городские власти за то, что мостовые такие скользкие, а холм такой крутой. Свет с теплом исчезли из жизни мальчика, и его охватил мрачный ужас.

Здесь была аллея, шедшая понизу мимо дома его дяди, окаймленная рядами унылых сосен, в аллее был громадный обмазанный глиной пень, ребята ходили к нему в рождественские утра и в дни Четвертого июля устраивать фейерверки. Руфус Хиггинсон, старший брат Гарри, однажды пришел туда Четвертого июля с игрушечной пушкой и большим мешком из желтой бумаги, наполненным порохом. В этот пакет Руфус выбросил спичку, и когда нагнулся к нему, чтобы взять еще пороха для пушки, произошел взрыв. Руфус с воплями побежал по аллее, как сумасшедший, лицо его почернело, как у негра, глаза ничего не видели, он носился по всему дому из комнаты в комнату, и никто не мог его успокоить или остановить, потому что боль была нестерпимой. Пришел врач, извлек порох из кожи, и Руфус несколько недель мыл лицо маслом; оно превратилось в сплошной струп, который со временем слез, не оставив шрамов, хотя все говорили, что он «будет обезображен на всю жизнь».

Повыше на холме, за новым кирпичным домом дяди и чуть в стороне стоял маленький деревянный дом, построенный его дедом, Джордж жил там вместе с тетей Мэй; еще повыше стоял дом Пеннока и старый дом Хиггинсонов; еще повыше – дом Макферсонов на другой стороне улицы, он всегда выглядел новым, чистым, опрятным и сверкал свежей краской; еще повыше, на вершине холма, где Локаст-стрит пересекалась с Чарльз-стрит, по левую руку стоял громадный старый дом со щипцовой крышей, огромными верандами, гостиными, дубовыми залами, въездными воротами и громадными, величественными дубами перед фасадом. Там жили какие-то богачи из Южной Каролины. У них был чернокожий кучер, он ежедневно приезжал за ними, они не общались ни с кем на улице, потому что были слишком утонченными и вращались в более высоких кругах.

По той сторону Чарльз-стрит, на углу, стоял кирпичный дом, где жила женщина со старухой-матерью. Женщина эта была добросердечной, с мягкими рыжими волосами, крючковатым носом, краснолицей и большезубой. Все называли ее Красотка Ара, потому что и внешностью, и хриплым голосом она напоминала попугая. Она играла на пианино в кинотеатре «Веселье» во время сеансов, и каждый вечер, едва переставала играть, зрители поднимали крик: – Музыка, Ара, музыка! Пожалуйста, Ара, музыка, Ара! Красотка Ара, пожалуйста! Она как будто бы нисколько не обижалась и вновь начинала играть.

У Красотки Ары был любовник, Джеймс Мирс, более известный как Герцог Мирс, потому что неизменно щеголял в костюме для верховой езды, по крайней мере в таком, какими представлял себе костюмы английских аристократов для конного спорта. Он носил шляпу дерби, широкий галстук, бежевый жилет с небрежно расстегнутой нижней пуговицей, облегающий клетчатый пиджак, бриджи, великолепные, начищенные сапоги со шпорами и не расставался со стеклом. Одевался Мирс так всегда. В этом наряде он выходил утром из дома, в нем прогуливался по Площади, в нем вышагивал по главной улице города, в нем садился в трамвай, в нем посещал платную конюшню Миллера и Кэшмана.

Герцог Мирс ни разу в жизни не садился в седло, однако знал о лошадях больше, чем кто бы то ни было. Разговаривал с ними и относился к ним лучше, чем к людям. Джордж видел его зимним вечером на пожаре, уничтожившем платную конюшню, Мирс орал, как сумасшедший, когда слышал вопли лошадей из огня; его пришлось повалить на землю и усесться сверху, чтобы он не бросился в пламя спасти животных. На другой день мальчик проходил мимо, конюшня представляла собой груду дмящихся бревен, стоял влажный запах черных, подернутых ледком углей, едкий запах погашенного пожара и тошнотворная вонь горелого лошадиного мяса. Бригады рабочих вытаскивали дохлых лошадей цепями, у одной лопнуло брюхо, и оттуда вывалились синие, сварившиеся внутренности, их жуткий смрад мальчик долго не мог изгнать из ноздрей.

На другом углу Локаст-Чарльз-стрит, напротив дома Красотки Ары, стоял дом Лезергудов; выше по Чарльз-стрит, в направлении загородного клуба находился пансион миссис Чарльз Монтгомери Хоппер.

Миссис Чарльз Монтгомери Хоппер знали все. Мистера Чарльза Монтгомери Хоппера никто в глаза не видел и не слышал о нем. Никто не знал, откуда он приехал, где она вышла за него замуж, где они жили вместе, кем он был, где умер и похоронен. Возможно, его вообще не было, не существовало. Тем не менее, горласто называясь этим звучным, впечатляющим именем из года в год сильным, вызывающим, несколько пронзительным голосом, она убедила всех, заставила, вынудила безоговорочно признать, что имя Чарльз Монтгомери Хоппер весьма изысканное, и миссис Чарльз Монтгомери Хоппер – личность весьма выдающаяся.

Хотя дом ее и был пансионом, никто его так не именовал. Если кто-то звонил по телефону и спрашивал, не пансион ли это миссис Хоппер, в тех случаях, когда отвечала она, злосчастный вопрошающий получал один из двух возможных ответов. Либо швыряли трубку, оскорбив перед этим его слух потоком убийственных оскорблений, на которые миссис Хоппер была большой мастерицей; либо едким тоном доводили до его сведения, что это *не* пансион, что Миссис Хоппер *не содержит* пансиона, что это *резиденция* миссис Хоппер – после чего точно так же швыряли трубку.

Никто из жильцов не смел даже заикаться о том, что эта леди является владелицей пансиона, и они платят ей за кров и еду. Если б кто-то позволил себе такую неделикатность, то немедленно бы за это поплатился. Его бы уведомили, что комнату, где он проживает, требуется освободить, что люди, заказавшие ее, приезжают завтра, и ему нужно побыстрее собрать вещи. Миссис Хоппер не церемонилась даже со своими жильцами. Им давалось почувствовать, какой огромной, редкой привилегии удостаивались они, получив возможность хоть недолгое время погостить в резиденции миссис Хоппер. Давалось почувствовать, что сей факт неким чудесным образом снимает с них клеймо обычных постояльцев. Сей факт придавал им некое аристократическое достоинство, общественное положение, каким мало кто мог похвастаться, заносил их с одобрения миссис Хоппер в календарь высшего света. Словом, этот пансион вовсе не являлся пансионом. Скорее то был изысканный, непрерывный прием гостей, где

привилегированным приглашенным милостиво разрешалось вносить свои деньги.

Действовало ли это? Всякий живший в Америке должен представлять, как сильно это действовало, как бодро, кротко, смиренно, униженно сносили гости на приеме у миссис Хоппер скудный стол, неудобства, холодные, дрянные туалеты и неприбранность, сносили даже миссис Хоппер с ее голосом, властностью и потоками брани, лишь бы оставаться там, в кругу избранных, не постояльцами, а привилегированными гостями.

Эта маленькая компания верных возвращалась во дворец миссис Хоппер ежегодно. Сезон за сезоном, лето за летом комнаты бывали прочно забронированы. Иногда доступ туда пытался получить кто-то посторонний – разумеется, какой-то выскочка, пытавшийся с помощью денег пролезть в замкнутый аристократический круг, какой-то низкий пройдоха с деньгами в кармане, какой-то честолюбец. И гости смотрели на него очень холодно, подозрительно, замечали, что вроде бы не помнят его лица, спрашивали, бывал ли он когда-нибудь в доме миссис Чарльз Монтомери Хоппер. Виновный негодник, заикаясь, смущенно и робко признавался, что это первый его визит. В обществе немедленно воцарялось ледяное молчание. Вскоре кто-нибудь говорил, что приезжает сюда каждое лето четырнадцать раз подряд. Другой замечал, что нанес первый визит сюда еще до начала войны с Испанией. Еще один скромно признавался, что он здесь всего одиннадцатый год и только теперь почувствовал себя по-настоящему своим; требуется десять лет, заявлял он, чтобы почувствовать себя здесь дома. И это было правдой.

Итак, этот маленький кружок избранных возвращался туда из года в год. В него входили старик Холт с женой, приезжавшие из Нового Орлеана. Входил мистер Мак-Кетэн, который жил там безвыездно. Он работал у ювелира, родом был из-под Чарлстона. Положение его в доме было прочным. Входила миссис Бэнгс, старая дева в годах, она преподавала в нью-йоркской школе, вскоре должна была выйти на пенсию и, как полагали, навсегда поселится в изысканной уединенности дома миссис Хоппер. Входила миссис Милли Тисдейл, кассирша из аптеки Мак-Кор-мака. Она тоже приехала из Нью-Йорка, но теперь в доме миссис Хоппер стала «постоянной».

На кухне у миссис Чарльз Монтомери Хоппер уже не меньше пятнадцати лет работала Дженни Грабб, сорокалетняя негритянка. Пухлая, массивная, веселая и до того черная, что, как говорится, уголь оставил бы на ней белую отметину. Ее звучный, сердечный смех, в котором слышались все темные глубины и теплота Африки, разносился по дому. Она постоянно пела, и ее звучный, сильный негритянский голос тоже слышался целыми днями напролет. В будни она работала от рассвета дотемна, с шести утра до девяти вечера. По воскресеньям во второй половине дня у нее бывал выходной. Этого дня она дожидалась, готовилась к нему целую неделю. Однако воскресенье у Дженни Грабб, в сущности, не бывало днем отдыха: то бывал день ревностного служения, день гнева, день расплаты. Потенциально он являлся днем светопреставления, страшного суда над грешниками.

Каждое воскресенье в три часа дня, когда клиенты миссис Хоппер бывали накормлены, Дженни Грабб освобождалась до шести часов и времени зря не теряла. Выходила через кухонную дверь, огибала дом и шла по аллее к улице. Уже начинала мрачно, злоеце бормотать себе под нос. К тому времени, когда переходила Локаст-стрит и спускалась на два квартала, ее приземистое тело начинало ритмично раскачиваться. Когда доходила до подножия холма Сентрал-авеню, сворачивала за угол и поднималась по Спринг-стрит к Площади, начинала тяжело дышать, негромко постанывать, издавать внезапные вопли хвалы или проклятия. Подходя к Площади, она доводила себя до нужного состояния. И когда входила на Площадь, воскресную Площадь, праздную, пустую в три часа дня, из горла ее вырывался предостерегающий крик.

– О грешники, я иду! – пронзительно вопила Дженни, хотя никаких грешников там не бывало.

То, что Площадь пуста и безлюдна, ничего не значило. Ритмично раскачиваясь приземистым, массивным телом, Дженни быстро шла к намеченному углу, на ходу предостерегая грешников. А Площадь бывала пуста. Всякий раз. Дженни занимала облюбованное место под жгучими лучами солнца на том углу, где аптека Мак-Кормака и скобяная лавка Джойнеров смотрели друг на друга. И потом витийствовала на пустой жаркой Площади три часа подряд.

Каждые четверть часа подъезжали и останавливались трамваи. Вагоновожатые выходили с рукояткой управления и шли к противоположному концу: кондукторы разворачивали токосниматели. Какой-нибудь одинокий бездельник, привалясь к ограде, ковырял в зубах и вполуха слушал речь чернокожей Дженни. Потом трамвай уезжал, бездельник уходил, а Дженни продолжала витийствовать на пустой Площади.

7. МЯСНИК

Ежедневно по холму перед домом Марка Джойнера взбирался, пыхтя мотором, старый, ветхий грузовичок, в котором мистер Лэмпли, мясник, развозил нежные, сочные бифштексы, отбивные и куски жареного мяса, восхитительно благоухающие колбасы домашнего изготовления, зельц, ливерную колбасу и толстые красные сосиски. Джорджу Уэбберу казалось, что эта чудесная рахитичная машина обретает все больше славы и очарования с течением лет, по мере того, как жир, масло, острые запахи шалфея и других специй, которыми мистер Лэмпли сдабривал свиные колбасы и еще около дюжины деликатесов, все больше пропитывали старый красный деревянный кузов. Даже годы спустя, в преобразующем свете времени, его не покидало сознание необычности, значительности, громадности, когда вспоминались мистер Лэмпли, его жена, дочь и сын, сытные, ароматные, вкусные плоды их трудов – и нечто дикое, необузданное, словно природа, в жизни каждого члена этой семьи.

Мистер Лэмпли, чужак, приехал в город двадцать лет назад, но так и остался чужаком. О его происхождении, о прошлом никто ничего не знал. Это был невысокий, жутко изуродованный человек, кряжистый и сильный, как бык, ужасающе спокойный и совершенно бесстрашный в словах и жестах, что наводило на мысль о сдерживаемой, однако неистовой, беспредельной горячности. Его маленькое, красное, по-ирландски пламенеющее лицо было чудовищно перекошено шрамом, который, по слухам, задолго до приезда мистера Лэмпли в город, оставил ему в драке ударом топора другой мясник. Этот синевато-серый морщинистый рубец тянулся от лба до горла, даже уголки жестких губ были искривлены и сморщены этим шрамом. Более того, этот человек, казалось, никогда не мигал, и его маленькие черные глаза – более суровых, черных, уверенных и вообразить невозможно – глядели на мир так решительно, с таким убийственным, грозным выражением, что любой не мог долго вынести их взгляда, начинал заикаться, мямлить, и все попытки установить приятельские или дружеские отношения тут же увядали и терпели крушение под взглядом этих немигающих глаз. Поэтому никто с ним не znalся, никто не делал повторных попыток завязать с ним дружбу; за все годы, прожитые в городе, он ни с кем, кроме членов своей семьи, не завел тесных связей.

Однако если мистер Лэмпли был грозен бесстрашной речью и немигающим взглядом, супруга его была не менее грозной, но совсем по-другому. Он женился на женщине из той же части города, одном из тех созданий, что обладают баснословной жизнерадостностью и неопишным добродушием, и которых невозможно судить ни по каким законам или меркам. О ней можно только сказать, что она была бесхитростна, как природа, милосердна, как река в наводнение, и добродетельна, как земля. Исполненная добродушия и громкого, удушливого смеха, который бурно вырывался из ее могучей груди, она могла, не раздумывая, вышибить мозги любому, кто обманул ее или привел в безотчетный гнев; и ни на миг не ощутила бы ни жалости, ни раскаяния, даже если б пришлось поплатиться за это жизнью.

Происходила она из большой семьи выходцев сельской местности, все члены которой отличались могучим телосложением, была единственной дочерью баснословно жестокого и грубого человека, тоже мясника.

Такой крупной женщины, как миссис Лэмпли, Джордж никогда не видел. Ростом она была больше шести футов и весила, очевидно, больше двухсот фунтов, хотя полностью не отличалась. Кисти ее рук формой и размером напоминали окорок, руки и ноги вздувались мышцами безграничной мощи и силы, громадные груди казались почти бездонными в своей полноте. У нее были громадная грива густых темно-рыжих волос; глаза ясные, серые, бездонные, как у кошки; широкий, тонкий, несколько вялый рот; и кожа, здоровая, чистая, но с какой-то

мрачностью, липкостью – как ее улыбка и громкий, удушливый смех, – словно все липкие, сперматические флюиды земли находились внутри нее.

Не существовало ни мерок, ни законов, по которым можно было б ее судить: эта женщина вырывалась за пределы всех человеческих оценок и потому поражала ужасом сердце Джорджа. Она могла рассказывать до того кошмарные истории, что сердце сжималось, запрокидывать при этом голову, неудержимо хохотать – и смех ее бывал жуток, не потому, что жесток, а потому что субстанции, из которой состоит жестокость, совершенно не было в ее натуре.

Так о происшествиях из жизни своего отца, мясника, она рассказывала странно мягким, деревенским голосом, в котором, однако, постоянно ощущались безграничная сила и громкий, удушливый смех, готовый вырваться из ее горла:

– Был на рынке кот, вечно рыскал, подбирался к нашему мясу, – доверительно говорила миссис Лэмпли спокойным, тягучим голосом, с легкой улыбкой на губах. – Так вот, – фыркнула она, чуть колыхнув могучими грудями, – старик злился все больше, как-то снова обнаружил кота возле своего мяса и говорит мне – знаете, я вела у него бухгалтерию, – поворачивается ко мне и говорит: «Увижу этого гада здесь еще раз, отрублю ему башку...». – Тут она прервала рассказ и засмеялась, ее громадное горло раздувалось от смеха, могучая грудь тоже. – Я видела, что он разозлился, – продолжала она почти елейным тоном, – и знала, что коту придется плохо, если появится!.. Ну так вот, – миссис Лэмпли начала слегка задыхаться от сдерживаемого смеха, – не прошло и десяти минут, старик поднял взгляд и видит кота на колоде, кот хотел стащить лежавший там большой кусок мяса!.. Тут старик закричал так, что отсюда было б слышно на Площади! «Ах ты, гад! Сказал же, что убью, если увижу здесь снова!» – хватает топор, – выдавила миссис Лэмпли, – что есть силы швыряет в кота и – ха-ха-ха! – захохотала она внезапно, горло ее раздулось, как у быка, волна неудержимого смеха вырвалась из ее груди и окончилась воплем, – попал точно в него и разрубил как раз пополам – ха-ха-ха-ха!

На сей раз смех словно бы не умещался в ее могучей груди, из глаз ее потекли слезы, и она откинулась на спинку стула, ловя воздух ртом.

– Господи! Господи! – выдавила она. – Ничего более забавного в жизни не видела! Чуть не умерла со смеху! – выпалила миссис Лэмпли и, все еще содрогаясь, принялась утирать глаза тыльной стороной огромной ладони.

В другой раз она рассказывала о своем достопочтенном родителе вот такую историю:

– Приходит как-то один черномазый, говорит старику, чтобы отрезал и завернул кусок говядины. Когда старик протянул ему попку, черномазый начал спорить, дерзить, заявлять, будто старик обвесил его! Так вот, – она начала слегка задыхаться, – старик берет разделочный нож да с размаху им черномазого через прилавок, и – ха-ха-ха! – Громкий смех вырвался из ее могучей груди и закончился тягучим, удушливым воплем, – кишки полезли из живота черномазому на руки, будто колбасный фарш! – выдавила миссис Лэмпли. – Жаль, вы не видели его рожи! – выпалила она. – Он так глядел на них, будто не знал, что с ними делать, и – ха-ха-ха! – Миссис Лэмпли запрокинула голову и захохотала во все горло так, что вскоре стала задыхаться, – это было самое смешное, что я только видела! Видели б вы только рожу этого черномазого! – выпалила она, утирая глаза тыльной стороной огромной лапищи.

Всякий раз, когда в маленькой мясницкой лавке впервые появлялся какой-то рослый, сильный, крепко сложенный мужчина, миссис Лэмпли тут же льстиво, добродушно отзывалась о его росте и силе, однако в глазах ее таилось что-то суровое, задумчивое, словно она холодно рассчитывала его возможности выстоять против нее в драке. Многие мужчины замечали этот взгляд, и Джордж слышал, как они говорили, что в нем есть нечто до того жестоко-расчетливое, аж холодеешь от ужаса. Оглядывала мужчин она с добродушной улыбкой, но быстро сужала

кошачье-серые глаза, оценивая их, и при этом говорила шутливым, приветливым голосом:

– Скажите на милость! Здоровенный же вы человек, а? Я смотрела, как вы входили – едва пролезли в эту дверь, – при этих словах она посмеивалась. – И подумала: «Не хотела бы с ним связаться. Такой, если разозлить его, уж врежет, так врежет...». Какой у вас вес? – спрашивала она потом, все еще улыбаясь, однако меряя беднягу-незнакомца с головы до ног холодным взглядом суженных серых глаз.

И когда бедняга, заикаясь, сообщал, сколько весит, она негромко, задумчиво произносила: «У-гу». И оглядев его напоследок безжалостными суженными глазами, говорила добродушным, не допускающим возражений тоном:

– Да, вы силач, это уж точно! Держу пари, будете хорошим помощником папе с мамой, когда подрастете, – ха -ха -ха!

И громкий, удушливый смех вырывался из ее могучей груди и бычьего горла.

Ведя речь о муже, она неизменно называла его «Лэмпли» и так же обращалась к нему. Когда говорила о нем, в голосе ее не звучало ничего похожего на любовь, такому чувству не могло быть места в ее натуре, как лебедю на лоне вод разлившейся Миссисипи, однако слышалась нотка чувственного, животного удовлетворения, внятно и жутко говорящая об идеальном браке двух особей, обладающих неистовой, безграничной сексуальной энергией, и о партнере, этом изуродованном, невысоком, сильном, как бык, мужчине, способном полностью ублажить эту громадную женщину в баснословном, длящемся всю ночь пиршестве похоти и страсти.

Миссис Лэмпли говорила постоянно, откровенно, вульгарно, зачастую с грубым, отталкивающим юмором о соитии, и хотя никогда не раскрывала тайн своего супружеского ложа – если только такой неистовый, полный и явный союз, как у нее с мужем можно назвать тайной, – однако без малейших колебаний оповещала о своих взглядах на этот вопрос всех окружающих, давала молодым супружеским парам и парням с девушками такие советы, что те краснели до корней волос, и весело хохотала, видя их смущение.

Ее сын Бакстер, в то время восемнадцатилетний, года два назад взял силой рано развившуюся и соблазнительную рыжеволосую девочку четырнадцати лет. Это событие несколько не огорчило его мать и показалось ей до того забавным, что она оповестила о нем весь город, с хохотом описывая свой разговор с возмущенной матерью девочки:

– Черт побери! – рассказывала миссис Лэмпли. – Она явилась ко мне в ярости, говорит, Бакстер обесчестил ее дочь, так вот что я теперь намерена делать! «Погодите-погодите! – говорю я. – Нечего тут из себя строить! Он никого не обещивал, – говорю, – прежде всего потому, что и обещивать-то было некого» – ха-ха-ха-ха! – громкий, удушливый хохот вырвался из ее горла. – «Так вот, – говорю, – если она оказалась шлюхой, значит, родилась такой – ха-ха-ха-ха! – и Бакстер тут ни при чем». – «Что такое? Что такое? – кричит она, вся красная, как помидор, и начинает грозить мне в лицо пальцем. – Я посажу вас в тюрьму за оскорбление, вот увидите!».- «Оскорбление! -говорю я. – Оскорбление! Так вот, – говорю, – если это оскорбление, значит, закон сильно изменился. Впервые слышу, – говорю, – что можно оскорбить шлюху, назвав ее шлюхой».- «Не смейте называть так мою дочь, – говорит она, злющая, как цепная собака. – Не смейте! Я потребую, чтобы вас арестовали». – «Ах ты, черт тебя побери! – прямо так ей и режу, – все знают, что представляет собой твоя дочь! Так что проваливай отсюда, – говорю, – а то рассерчаю и скажу такое, что вряд ли тебе понравится!». После этого, будьте уверены, она ушла!

Громадное создание откинулось на спинку стула, ловя ртом воздух.

– Черт возьми! – спокойно продолжала миссис Лэмпли через минуту. – Я спросила об этом Бакстера, и вот что он мне сказал. «Бакстер, – говорю, – здесь была сейчас эта женщина, и я

хочу знать: насильничал ты ту девчонку?». – «Да что ты, мама? – отвечает он. – Это она меня насильничала!» – Ха-ха-ха! – Громкий хохот душил ее. – «Черт возьми! – говорит Бакстер, – она повалила меня, чуть спину мне не сломала! Если б я не сделал этого, так она, небось, не дала бы мне оттуда уйти!» – Ха-ха-ха-ха! – Видно, Бакстер решил, что на его месте мог оказаться кто угодно, – выдавила она, утирая выступившие от смеха слезы. – Видно, решил, что можно попользоваться, раз предоставился случай. Господи! – вздохнула она, – я так над этим смеялась, аж в боках закололо, ха-ха-ха-ха! – Громадное создание опять согнулось пополам на скрипящем стуле, громкий смех душил ее, и от него дрожали стены.

Однако за дочерью по имени Грейс, которой в то время было пятнадцать, миссис Лэмпли следила пристально, даже сурово. В обоих детях уже была видна нечеловеческая горячность родителей, а в девочке особенно обнаруживалась беспредельная животная энергия матери. Пятнадцатилетняя девочка была громадной, чуть пониже ее, и до того зрелой физически, что тонкие ситцевые платица, которые вполне подходили большинству ее ровесниц, выглядели на ней почти неприлично. В толстых икрах, раздавшихся бедрах и полных грудях этого громадного, белотелого пятнадцатилетнего создания уже была видна потрясающая соблазнительность; мужчины глядели на нее с жутким восхищением, ощущали пробуждение безрассудного желания и отворачивались с чувством сильного стыда.

Над жизнью этой девочки уже нависала тень обреченности. Невольно ощущалось, что этому громадному созданию суждены обесчещение и горе – читаешь же в книгах, что гиганты умирают рано, а животные с растениями, слишком большие по меркам этого мира, исчезают с лица земли. В большом, невыразительном, красивом лице девушки, в нежной, бессмысленной, чувственной улыбке, не сходящей с него, ясно читалось предвестие неизбежной катастрофы.

Девочка была неразговорчивой и, казалось, не знала никаких страстей, кроме той, что выражалась ее постоянной, бесконечно чувственной, бессмысленной улыбкой. Когда она послушно, покорно стояла рядом с матерью, и это огромное создание говорило о ней с полной откровенностью, а дочь улыбалась нежно, бессмысленно, словно слова матери ничего не значили для нее, ощущение чего-то нечеловеческого и катастрофического в натуре этих людей было ошеломляющим.

– Да-а, – протяжно тянула миссис Лэмпли, девочка, бессмысленно улыбаясь, стояла при этом рядом с ней. – Я и заметить не успела, как она выросла, а теперь надо не сводить с нее глаз, чтобы какой-нибудь сукин сын не обесчестил. Тут вот с месяц назад эти двое типов из платной конюшни, вы знаете, о ком я, – небрежно сказала она негромким, презрительным голосом, – об этом грязном, никчемном Пегрэме и другом гнусном ублюдке, с которым он водится – как его зовут, Грейс? – раздраженно спросила она, повернувшись к девочке.

– Джек Кэшмен, мама, – мягким, кротким голосом ответила дочь все с той же нежной, бессмысленной улыбкой.

– Вот-вот! – продолжала миссис Лэмпли. – Гнусный Кэшмен – если увижу еще хоть раз, что он здесь крутится, шею сверну, и думаю, он это знает, – зловеще произнесла она. – Весной я как-то вечером отпустила ее отправить несколько писем, – продолжала миссис Лэмпли объяснительным тоном, – и велела быть дома не позднее чем через полчаса. А эти типы усадили ее к себе в коляску и повезли кататься на гору. Ну вот, я жду-жду, десять часов пробило, ее все нет. Я ходила по комнате, ходила, мучилась ожиданием и к этому времени чуть с ума не сошла! Клянусь, думала, что тронусь рассудком, – продолжала она неторопливо, непритворно. – Просто не знала, как и быть. Наконец, когда стало совсем невтерпеж, поднялась наверх и разбудила Лэмпли. Он ложится рано, в девять вечера уже всегда в постели, он ни из-за кого сном не поступится. Ну так вот, я разбудила его, – неторопливо произнесла она. – «Лэмпли, – говорю, – Грейс ушла два часа назад, и я найду ее, даже если придется искать всю ночь».- «Как же ты

найдешь ее, – отвечает он, – если даже не знаешь, куда она подалась?» – «Не знаю, – говорю, но отыщу, даже если придется обойти все улицы, вломиться во все дома – а если окажется, что какой-то сукин сын испортил ее, убью его голыми руками. Убью обоих – мне легче видеть ее мертвой, чем знать, что она стала шлюхой», – вот что я сказала ему.

Все это время девочка покорно стояла возле кресла, в котором сидела ее мать, улыбалась нежной, бессмысленной улыбкой и не выказывала никаких эмоций.

– И тут, – продолжала миссис Лэмпли, – я услышала ее. Пока разговаривала с Лэмпли, услышала, как она осторожно открыла дверь и крадучись поднимается по лестнице. Я ничего не говорила – подождала, пока не услышала, как она прошла на цыпочках мимо двери – а потом открыла дверь и окликнула ее. «Грейс, – спрашиваю, – где была?». И она, – сказала миссис Лэмпли чистосердечным тоном, – рассказала мне. Врать она никогда не пыталась. Ручаюсь, ни разу мне не солгала. Понимает, небось, – зловеще добавила она, – что я сверну ей за это шею.

А девочка послушно стояла, все время улыбаясь.

– Так вот, – продолжала миссис Лэмпли, – она рассказала мне, где была и с кем. Ну, я подумала, что сойду с ума! – неторопливо произнесла женщина. – Взяла ее за руки и гляжу ей в лицо. «Грейс, – говорю, – смотри мне в глаза и отвечай правду. – Эти двое сделали с тобой что-нибудь?».- «Нет», – говорит она.- «Ну-ка, пошли со мной, – говорю, – я узнаю, правду ли ты говоришь, даже если придется убить тебя, чтобы добиться правды».

С минуту это громадное создание сидело молча, угрюмо глядя в пространство, девочка стояла рядом с ней и нежно, невозмутимо, чувственно улыбалась.

– В общем, – неторопливо заговорила миссис Лэмпли, продолжая глядеть в пространство, – спустилась я с ней в подвал и, – в голосе ее появился оттенок легкого сожаления, – наверное, не стоило этого делать, но я так беспокоилась, так беспокоилась, сдержанно воскликнула она, – мы ее столько воспитывали, столько сил приложили, чтобы она не пошла по кривой дорожке – я, наверное, тогда потеряла разум... нагнулась, оторвала от старого ящика болтавшуюся доску, – медленно проговорила она, – и принялась ее бить! *Била*, - громко воскликнула она, – покуда кровь не проступила сквозь платье и не потекла на пол... Покуда она могла стоять на ногах, – воскликнула миссис Лэмпли с ноткой какой-то странной материнской добродетельности. – Била ее, пока она не встала на колени и не взмолилась о пощаде – вот так, – сказала миссис Лэмпли с гордостью. – А вы знаете, Грейс не плачет почему зря – так вот, можете представить, до чего сильно я ее била, – произнесла миссис Лэмпли с глубоким удовлетворением.

Все это время девочка стояла покорно с нежной, бессмысленной улыбкой, миссис Лэмпли вскоре издала мощный вздох материнского страдания и, медленно покачивая головой, заговорила:

– Но, Господи! Господи! Они – забота и беспокойство для тебя с самого рождения! Из кожи вон лезешь, чтобы воспитать их, как надо – и все равно не можешь предвидеть, что с ними может случиться. Глаз не спускаешь с них день и ночь – а потом первый же встречный ублюдок может увезти их и обесчестить, едва ты отвернешься.

Она снова тяжело вздохнула, покачивая головой. И в этой нелепой, жутко-комичной демонстрации материнской любви и заботливости, в бессмысленной, нежной улыбке на широком, пустом лице девочки поистине было что-то трогательное, ужасно печальное, неопишное.

Всякий раз, когда Джордж думал об этой неистовой, потрясающей семье, перед глазами у него вставал мистер Лэмпли, главную тайну которого представляла молчаливость. Он ни с кем не разговаривал больше, чем того требовала голая деловая необходимость; когда задавал вопрос или отвечал, речь его бывала предельно сжатой, отрывистой, и его суровые, сверкающие глаза,

устремленные твердо, как пистолет, на лицо собеседника, отбивали напрочь всякое желание более продолжительного разговора. Однако голос его никогда не бывал грубым, угрожающим или ворчливым. То был негромкий, твердый, бесстрастный голос, спокойный, уверенный, как его суровые, блестящие глаза, но в тоне и тембре его не звучало ничего неприятного; он был таким же, как все в этом человеке, за исключением блестящих, немигающих глаз – суровым, скрытным, сдержанным. Этот человек просто устремлял на собеседника неистовые, злобные маленькие глаза и говорил предельно кратко, лаконично.

– Черт возьми! – сказал один мужчина о мистере Лэмпли. – Да ему незачем говорить! Глаза сами говорят все за него!

И это было правдой.

Если не считать этого голого костяка речи, Джордж слышал, чтобы мистер Лэмпли говорил, всего один раз. Мясник приехал за причитавшимися ему деньгами. В городе было уже известно, что сына мистера Лэмпли, Бакстера, обвинили в краже денег у своего работодателя, и – как гласили ненадежные, передаваемые шепотком слухи – Бакстер вынужден был уехать из города. Тетя Мэй, подстрекаемая врожденным любопытством и присущим всем людям желанием услышать подтверждение своих худших подозрений из уст тех, кого они больше всего задевают, обратилась к мяснику с той деланой, неуклюжей небрежностью тона, к которой люди прибегают в подобных случаях.

– Да, мистер Лэмпли, – сказала она, будто спохватясь, после того, как уже расплатилась, – я, кстати, собиралась спросить вас. Что с Бакстером? Мне как раз вчера пришло в голову, что я вроде бы месяца два его не вижу.

Пока тетя Мэй говорила, мистер Лэмпли неотрывно смотрел ей в лицо своими блестящими глазами и, отвечая, не моргнул и не отвел взгляда.

– Да, – негромко, твердо, бесстрастно произнес он. – Не видели. Он больше не живет здесь. Служит на флоте.

– Что вы говорите? – оживленно воскликнула тетя Мэй, приоткрыв наружную дверь чуть пошире и подавшись вперед. – На флоте? – нетерпеливо спросила она.

– Да, мэм, – бесстрастно ответил мистер Лэмпли, – на флоте. Я предоставил ему выбор – флот или тюрьма. Бакстер выбрал флот, – сурово произнес он.

– Что вы говорите? Тюрьма? – оживленно спросила тетя Мэй.

– Да, мэм, – ответил мистер Лэмпли. – Бакстер украл деньги у человека, на которого работал. Сделал то, на что не имел права. Взял чужие деньги, – произнес он с каким-то жестоким упорством. – Бакстера вывели на чистую воду, пришли ко мне и сказали, что отпустят его подобру-поздорову, если я возьму убыток. Тогда я сказал Бакстеру: «Так и быть. Я верну эти деньги, если пойдешь служить во флот. Предлагаю выбор: флот или тюрьма. Что тебе больше нравится?». Он пошел служить, – вновь сурово заключил мистер Лэмпли.

Тетя Мэй чуть постояла в задумчивости, и теперь, когда ее жгучее любопытство было утолено этим прямым, категоричным высказыванием, в ней пробудилось более теплое, приятное чувство сострадания и дружелюбия.

– Знаете, я вот что вам скажу, – обнадеживающе заговорила она. – По-моему, вы совершенно правильно поступили. Это как раз то, что нужно Бакстеру. Ну да, конечно! – весело воскликнула тетя Мэй. – Он повидает свет, познакомится со всевозможными людьми, приучится в одно время ложиться, в одно время вставать, вести хороший, нормальный, здоровый образ жизни – потому что ясно, как день, – сказала она пророчески, – законы природы нарушать нельзя. Иначе непременно когда-нибудь за это поплатишься, – сказала она и потрясла головой. – Непременно.

– Да, мэм, – негромко, бесстрастно ответил мистер Лэмпли, глядя в упор на нее

маленькими сверкающими глазами.

– Ну, конечно! – снова воскликнула тетя Мэй и заговорила с нарастающей веселой уверенностью. – Парня там обучат профессии, хорошим манерам, правильному образу жизни, и попомните мои слова, все обернется для него к лучшему, – сказала она с ободряющей убежденностью. – Он забудет о случившемся. Ну да, конечно! – вся история улетучится из памяти, люди напрочь о ней забудут. Само собой! Каждый может совершить ошибку, правда ведь? – убеждающе сказала она. – Ошибки бы вают у всех, и готова держать пари, биться об заклад на что угодно, когда парень вернется...

– Он не вернется, – перебил мистер Лэмпли.

– Что-что? – резко, испуганно воскликнула тетя Мэй.

– Я сказал – он не вернется.

– Почему же?

– Потому что, – ответил мистер Лэмпли, – если появится, я его убью. И он это знает.

Тетя Мэй с минуту смотрела на мясника, чуть нахмурясь.

– О, мистер Лэмпли, – негромко сказала она, с искренним сожалением покачивая головой, – мне очень тяжело это слышать. Не говорите так.

Мясник сурово взглянул на нее неистово сверкающими глазами.

– Да, мэм, – сказал он, словно бы не слышав ее. – Убью. Исколочу досмерти.

Тетя Мэй глядела на него, чуть покачивая головой и произнося сквозь неподвижные губы:

– Ах- ах- ах- ах.

Лэмпли молчал.

– Я всегда терпеть не мог воров, – заговорил он наконец. – Соверши Бакстер что другое, я мог бы забыть. Но кражу! – Голос его впервые повысился в порыве гнева. – Ах-х-х! – протянул он, проводя рукой полбу, и в его твердом тоне прозвучала нотка недоумения и досады. – Вы не представляете! Не представляете, чего я натерпелся с этим парнем! Его мать и я делали для него все, что могли. Работали изо всех сил, пытались воспитать его, как надо, только ничего не могли с ним поделать, – пробормотал мясник. – Парень оказался непутевым. – Он спокойно поглядел на тетю Мэй маленькими сверкающими глазами. Потом неторопливо заговорил с нарастающей ноткой добродетельности в голосе: – Я бил его. Так, что он не мог подняться, так, что кровь текла по спине – но с таким же успехом можно бить столб. Да, мэм. С таким же успехом.

И теперь в голосе его звучала странная, жесткая нотка горя, сожаления, смирения, словно бы гласившая: «Я делал для сына все, что может сделать отец. Но если человек бьет сына так, что кровь течет по спине, а сын все равно не исправляется и не раскаивается, то как же быть?».

Мистер Лэмпли снова помолчал, в упор глядя на нее своими маленькими глазами.

– Да, мэм, – заключил он негромким, бесстрастным голосом. – Я не ожидаю увидеть его лицо еще раз. Он больше не вернется. Знает, что я его убью.

С этими словами он повернулся и пошел к своей старой машине, а тетя Мэй сокрушенно глядела ему вслед.

И мистер Лэмпли сказал правду. Бакстер больше не вернулся. Он исчез для всех, словно бы умер. Исчез навсегда.

Однако Джордж, слушая все это, неожиданно вспомнил Бакстера. Вспомнил его отчасти свирепое, отчасти порочное лицо. Бакстер был существом, преступным от природы и совершенно в том неповинным. В хриплом смехе его звучало что-то недоброе, грубое, отвратительное; было что-то липкое, грубое, гнусное в его улыбке; взгляд его казался тупым. Он испытывал странную, неожиданную, совершенно непонятную ярость к чистым, сильным увлечениям, знакомым многим подросткам. У него был нож с длинным изогнутым лезвием, и,

завидя негров на своей улице, он сразу же за него хватался. В ярости издавал горлом что-то похожее на всхлипы. Однако Бакстер был рослым, довольно красивым, хорошо сложенным. Порывистый, буйный, он постоянно вызывал ребят побороться с ним. Боролся напористо, грубо и раздражался хриплым смехом, если швырял на землю противника, радовался жестоким поединкам и любил вести из последних сил схватку, стоя ободранными коленями на земле; но сразу же прекращал борьбу, если противник оказывался сильнее, внезапно обмякал и равнодушно улыбался, когда противник прижимал его к земле.

В этом было что-то дурное; и было что-то липкое, млечное, неопределенное во всех его ссадинах и царапинах. Джорджу казалось, что из раны у него сперва потекла бы какая-то липкая, млечная слизь, а потом кровь. Он носил в карманах кубинские, но его словам, фотографии голых проституток, пышнотелых, густоволосых, заснятых в извращенных латиноамериканских оргиях с черноусыми мужчинами, часто хвастался своими похождениями с городскими девчонками и негритянками.

Все это вспомнилось Джорджу с поразительной яркостью.

Но он вспомнил также доброту, сердечность, дружелюбие, столь же странные, неожиданные, которые были присущи Бакстеру; нечто нетерпеливое, пылкое, щедрое, побуждавшее его де-питься всем – колбасой и бутербродами, принесенными в школу, своим обильным, вкусным завтраком, вспомнил, как он протягивал, предлагал ребятам аппетитно пахнущую коробку, где носил завтрак, с какой-то пылкой, просящей, ненасытимой щедростью. И голос его временами становился мягким, в манерах появлялись такие же странные, пылкие, сердечные и почти робкие доброта и дружелюбие.

Джорджу вспомнилось, как однажды он проходил мимо лавки мясника, и из подвала, пахнущего ароматными специями, внезапно услышал вопль Бакстера: «О, я буду хорошим! Буду хорошим!» – и эти слова жестокого, грубого мальчишки внезапно пронзили его неопишным чувством стыда и жалости.

Таким вот Джордж знал Бакстера, таким вспомнил, когда мясник говорил о нем в тот день. И слыша, как мясник жестко, бесстрастно произносит слова осуждения, Джордж ощутил волну невыносимой жалости и горечи при воспоминании о Бакстере и сознании, что тот уже никогда больше не вернется.

8. И РЕБЕНОК, И ТИГР

Однажды после занятий в школе Джордж и еще несколько ребят играли в футбол во дворе Рэнди Шеппертона. Рэнди подавал сигналы и вел распасовку. Небраска Крейн отбивал мяч ногой. Огастес Поттерхем был слишком неуклюжим, чтобы бегать с мячом, бить по воротам или пасовать, поэтому его поставили в центр, где от него требовалось лишь по сигналу отдавать мяч Рэнди. Для остальных ребят Гас Поттерхем был белой вороной, бедняжкой, мишенью насмешек и шуток, но вместе с тем они питали к нему искреннюю привязанность; он служил для них объектом опеки, защиты, заботы.

Там было еще несколько членов их компании: Гарри Хиггинсон и Сэм Пеннок, Говард Джарвис и Джим Редмонд. Этого, разумеется, было мало, чтобы составить команду. И места для игры было мало, даже наберись у них команда в полном составе. В сущности, то была просто тренировка. Рэнди и Небраска играли в защите, Гас стоял в центре, еще двое ребят по краям, а Джордж и остальные играли на другой стороне, их обязанностью было атаковать и «прорвать оборону», если смогут.

Октябрь шел к концу, было около четырех часов дня, пахло дымом и палой листвой. Брас ударом ноги послал мяч Джорджу. Джордж отбежал назад, пытаясь взять его, но похожий на дыню мяч оказался далеко «за линией ворот» – то есть на улице. Ударился о мостовую и беспорядочно запрыгал.

Мяч покатился к углу. Джордж побежал за ним, но тут появился Дик Проссер, новый негр, работавший у Шеппертонов, ловко поймал его своей черной лапичей и бросил Джорджу. Затем Дик вошел во двор и пошел к дому, приветствуя на ходу ребят. Он всех их величал «мистер», только Рэнди неизменно был у него «капитан» – «капитан Шеппертон». Эти официальные обращения – «мистер Крейн», «мистер Поттерхем», «мистер Уэббер», «капитан Шеппертон» – очень им нравились, придавали ощущение взрослой значительности и солидности.

«Капитан Шеппертон» звучало великолепно! Для всех ребят это было не просто почтительное титулование. Оно несло в себе восхитительные военные ассоциации, особенно в устах Дика Проссера. Дик долго служил в армии по контракту, в полку отборных негритянских частей на тexasской границе, и военная сноровка ощущалась во всем, что он делал. Доставляло радость просто смотреть, как он рубит щепки на растопку. Рубил он сильно, точно, с какой-то поразительной военной четкостью. Каждая щепка казалась точно такой же длины и формы, как и все остальные. Дик аккуратно складывал их у стен шеппертоновского подвала с такой военной безупречностью, что жаль даже было нарушать их симметрию для использования по назначению.

И так во всем. Его побеленная известкой подвальная комната была безукоризненной, словно казарма. Голые половицы всегда были чисто выметены, простой голый стол и простой прямой стул стояли точно посреди комнаты. На столе постоянно лежала только одна вещь – старая Библия в мягком переплете, истертом от постоянного пользования, потому что Дик был глубоко верующим. В комнатке были маленькая железная печка и небольшой деревянный ящик с несколькими кусками угля и аккуратной стопкой щепок. А слева у стены стояла железная койка, всегда аккуратно заправленная и застеленная грубым серым одеялом.

Шеппертоны были от него в восторге. Дик пришел к ним в поисках работы месяца два назад, «подошел к задней двери» и скромно изложил свои условия. Сказал, что только что демобилизовался и хочет получить работу, неважно за какую плату. Он умел стряпать, обращаться с отоплением, выполнять случайные работы, был искусен в плотницком деле, водил машину – собственно говоря, ребятам казалось, что Дик Проссер умеет делать почти все.

И уж разумеется, Дик умел стрелять. Однажды он устроил скромную демонстрацию своей меткости из «двадцатидвухкалиберки» Рэнди, и ребята пораскрывали от изумления рты. Своими сильными черными руками он вскинул маленькую винтовку, будто игрушечную, направил, словно бы не целясь, ствол на лист жести, где ребята грубо нарисовали круглую мишень, и так быстро изрешетил ее центр, проделал двенадцать пулевых отверстий на площади в квадратный дюйм, что ребята не успевали считать выстрелы.

Умел Дик и боксировать. По словам Рэнди, он был чемпионом полка. Во всяком случае, обладал кошачьими проворством и ловкостью. С ребятами, конечно, в бой не вступал, но у Рэнди было две пары боксерских перчаток, и Дик тренировал ребят, когда те устраивали спарринги. Он отличался поразительными нежностью и заботливостью. Обучал их многому: как передвигаться, наносить боковые и встречные удары, приемам защиты, но внимательно следил, чтобы они не причиняли друг другу вреда. Небраска, самый сильный из компании, обладал сокрушительным ударом. Дай ему волю, он мог бы, не нарушая правил, убить Гаса Поттерхема. Однако Дик с его быстрой реакцией, с мягкой, убедительной тактичностью внимательно следил, чтобы этого не произошло.

Разбирался Дик и в футболе. В тот день, когда проходил мимо ребят, он, рослый, респектабельного вида негр тридцати с небольшим лет, остановился и с минуту смотрел, как они играют.

Рэнди взял мяч и подошел к нему.

– Дик, как ты держишь мяч? Так правильно?

Негр внимательно посмотрел, как мальчик сжимает мяч и держит его за плечом, затем одобрительно кивнул.

– Правильно, капитан Шеппертон. Научились. Только, – сказал он, беря мяч сильной рукой, – когда чуть подрастете, ладонь у вас станет побольше, а хватка покрепче.

Сам Дик, казалось, держал в большой руке мяч легко, словно яблоко. Чуть подержав так, размахнулся, прицелился вверх протянутой левой руки и со свистом послал крученный мяч Гасу ядров на тридцать, если не больше. Потом показал, как бить по мячу ногой, чтобы он, вертясь, взлетал в воздух.

Дик показал ребятам, как разводить огонь, как укладывать растопку, куда класть уголь, чтобы пламя поднималось конусом, не дымило и не гасло. Как зажигать спичку о ноготь большого пальца и не давать ей потухнуть на самом сильном ветру. Как поднимать тяжести, как проще всего сбрасывать ношу с плеч. Не существовало такого, чего бы он не знал. Все ребята гордились им. Сам мистер Шеппертон признавал, что это лучший работник, какой у него только был, умнейший негр, какого он только знал.

И что еще? Ходил он очень мягко, быстро. Иногда подкрадывался к ребятам, как кошка. Они видели только мир перед собой, потом внезапно ощущали тень на спинах и, подняв взгляд, обнаруживали, что Дик рядом. Кроме того, по ночам что-то двигалось. Шеппертоны ни разу не видели, как он приходит или уходит. Иногда они внезапно просыпались и сознавали, что слышали скрип доски, негромкий щелчок задвижки, какой-то легкий шелест. Но все уже было тихо.

– Молодые белые люди – о, молодые белые джентльмены, – его мягкий голос умолкал с каким-то привыванием, создающим своеобразный ритм. – О, молодые белые люди, говорю вам, – снова мягкое, негромкое привывание, – вы должны любить друг друга, как братья.

Дик был очень верующим и ходил в церковь три раза в неделю. Библию он читал каждый вечер.

Иногда Дик выходил из своей подвальной комнатки с красными глазами, словно бы плакал. Ребята понимали, что он читал Библию. Иногда он чуть ли не стонал, обращаясь к ним с каким-

то напевом, с религиозным экстазом, идущим от некоего глубокого возбуждения духа, приводившего его в восторг. У ребят это вызывало недоумение, беспокойство. Они пытались отделаться от него смехом и шутили по этому поводу. Однако во всем этом было нечто до того непонятное, странное, исполненное чувства, что они не могли не понимать пустоты своих шуток, и беспокойство не покидало их души и разум.

Иногда в подобных случаях речь Дика представляла собой причудливый жаргон из библейских фраз, цитат, аллюзий, которых у него, казалось, были сотни, и которые он сплетал в странные узоры своих чувств в бессмысленной для них последовательности, но к которой у него имелся логический ключ.

– О, молодые белые люди, – начинал он, мягко привывая, – сухие кости в долине. Говорю вам, белые люди, близится день, когда Он вновь явится на эту землю вершить суд. Он поставит овец по правую руку, а козлищ по левую – о, белые люди, белые люди – близится день Армагеддона, белые люди, – и сухие кости в долине.

А то иногда они слышали, как Дик поет за работой низким, звучным голосом, исполненным теплоты и силы, исполненным Африки, поет не только негритянские гимны, но и всем им знакомые. Ребята не знали, где он выучил их. Может быть, в армии. Может, у других хозяев. Утром по воскресеньям он возил Шеппертонов в церковь и ждал их до конца службы. Входил в боковую дверь церкви, одетый в добротный черный костюм, почтительно держа в руке шоферскую шляпу, смиренно стоял там и выслушивал всю проповедь.

А затем, когда начиналось пение гимнов, и мощные, величественные звуки вздымались, раскатываясь в тихом воскресном воздухе, Дик слушал, иногда негромко подтягивал. Ребята много раз слышали, как он глубоким грудным голосом напевал за работой излюбленные «Кто следует в Его свите?», «Песнь славы Александра», «Скала вечности», «Вперед, о воинство Христово».

И что еще? Собственно говоря, ничего не происходило, были только «намек случайный» да ощущение чего-то происходящего по ночам.

Однажды, когда Дик вез мистера Шеппертона по Площади, из-за угла неожиданно на полной скорости вынесся Лон Пилчер, задел машину Дика и сорвал крыло. Негр выскочил, как кошка, и вытащил хозяина. Мистер Шеппертон не пострадал. Лон Пилчер вылез и, мертвецки пьяный, шатаясь, перешел улицу. Неуклюже, злобно размахнулся и ударил негра по лицу. Из черных ноздрей и толстых темно-каштановых губ потекла кровь. Дик не шевельнулся. Но внезапно белки его глаз покраснели, окровавленные губы на миг раздвинулись, обнажив белые зубы. Лон ударил его снова. Негр твердо принял удар; руки его слегка дрогнули, но он не шевельнулся. Пьяного схватили, увели и посадили под замок. Дик чуть постоял, потом утер лицо и повернулся посмотреть, какой вред причинен машине. Только и всего, но там были люди, которые все видели и вспоминали потом, как его глаза налились кровью.

И вот еще что. У Шеппертонов была кухарка, Пэнси Гаррис. Хорошенькая негритянка, молодая, пухлая, черная, как пиковый туз, добродушная, с глубокими ямочками на щеках и безупречными зубами, обнажавшимися в заразительной улыбке. Никто не видел, чтобы Дик с нею разговаривал. Никто не видел, чтобы она хоть мельком взглянула на него или он на нее, однако эта пухлая, улыбчивая, добродушная кухарка стала траурно-тихой и молчаливо-угрюмой, как полуночная могила. Она перестала петь. Никто больше не видел ее белозубой улыбки. Никто не слышал ее сердечного, заразительного смеха. Работала она с таким понурым видом, будто собиралась на похороны. Мрачнела все больше и больше. Когда к ней обращались, отвечала угрюмо.

Как-то вечером, незадолго до Рождества, Пэнси объявила, что увольняется. В ответ на настойчивые вопросы, все попытки узнать причины этого внезапного, безрассудного решения,

она лишь угрюмо твердила, что ей необходимо уволиться. В конце концов из кухарки удалось вытянуть, что этого требует ее муж, что она нужна дома. Ничего больше сказать Пэнси не пожелала, да и этот предлог казался весьма сомнительным, потому что ее муж работал проводником вагона, бывал дома два дня в неделю и давно привык сам обихаживать себя.

Шеппертоны привязались к ней. Пэнси работала у них уже несколько лет. Они вновь и вновь пытались выяснить причину ее ухода. Недовольна она чем-нибудь? «Нет, мэм», – неуступчивое, краткое, мрачное, непроницаемое, как ночь. Предложили ей где-нибудь работу получше? «Нет, мэм», – столь же невразумительное, как прежде. Останется она, если ей повысят жалование? «Нет, мэм», – вновь и вновь, угрюмо и непреклонно; в конце концов раздраженная хозяйка вскинула руки, признавая свое поражение, и сказала:

– Ладно, Пэнси. Раз так хочешь, будь по-твоему. Только ради Бога, подожди, пока мы не возьмем другую кухарку.

Пэнси с явной неохотой согласилась. Потом надела шляпку и пальто, взяла пакет с «остатками», которые ей разрешалось забирать по вечерам, и понуро, угрюмо вышла в кухонную дверь.

Был субботний вечер, начало девятого.

В тот день Рэнди с Джорджем играли в шеппертоновском подвале и, увидя, что дверь в комнату Дика чуть приоткрыта, заглянули, там ли он. Комнатка была пустой, подметенной, чистой, как обычно.

Но они заметили! Увидели ее! У обоих от изумления резко перехватило дыхание. Рэнди обрел голос первым.

– Смотри! – прошептал он. – Видишь?

Что за вопрос? Джордж не мог оторвать от нее глаз. Если б он вдруг увидел голову гремучей змеи, его ошеломляющее изумление не могло бы оказаться сильнее. Прямо на голых досках стола, вороненая, жуткая в своей смертоносности, лежала автоматическая армейская винтовка. Мальчики знали, что это за оружие. Они видели такие, когда Рэнди ходил покупать «двадцатидвухкалиберку», в магазине дядюшки Мориса Тейтельбаума. Рядом с ней стояла коробка, вмещавшая сотню патронов, а за ней, посередине стола, лежала обложкой вверх раскрытая, потрепанная, знакомая Библия Дика Проссера.

И тут Дик подошел неслышно, будто кошка. Неожиданно возник возле них огромной черной тенью. Ребята обернулись в испуге. Он высился над ними, его толстые губы раздвинулись, обнажив десны, глаза стали маленькими, красными, как у грызуна.

– Дик! – выдавил из себя Рэнди и облизнул пересохшие губы. – Дик! – воскликнул он уже во весь голос.

Губы Дика тут же сомкнулись. Ребята вновь увидели белки его глаз. Он улыбнулся и мягко, приветливо заговорил:

– Да, сэр, капитан Шеппертон. Да, сэр! Смотрите на мою винтовку, джентльмены?

И шагнул через порог в комнату.

Джордж сглотнул и, будучи не в силах произнести ни слова, ответил кивком. Рэнди прошептал: «Да». И оба продолжали таращиться на него, как зачарованные, со страхом и любопытством.

Дик покачал головой и негромко хохотнул.

– Не могу обойтись без винтовки, белые люди. Никак! – И снова добродушно покачал головой. – Старина Дик, он ведь... он... старый солдат. Винтовка ему необходима. Отнять винтовку у него – все равно, что у ребенка конфетку. Да-да! – Он хохотнул снова и любовно взял в руки оружие. – Старина Дик чувствовал приближение Рождества, нутром, видно,

чувствовал, – усмехнулся он, – поэтому копил деньжата, хотел припрятать ее здесь, чтобы она оказалась большим сюрпризом для молодых белых людей. Хотел не показывать ее вам до рождественского утра. Потом собрать молодых белых людей и поучить их стрельбе.

Тут ребята задыхались свободнее и словно под дудочку гамельнского крысолова вошли в комнатку следом за Диком.

– Вот так, – со смешком сказал Дик, – хотел я припрятать винтовку до Рождества, но капитан Шеппертон – ха! – добродушно усмехнулся он и хлопнул себя по бедру, – капитана Шеппертона не проведешь! Куда уж там. Он, небось, нюхом винтовку учуял. Вошел и увидел, пока меня не было... Вот что, белые люди, – голос Дика звучал негромко, с обезоруживающей доверительностью, – я хотел приберечь для вас эту винтовку как небольшой сюрприз к Рождеству. Ну, а раз уж вы увидели ее, то сделаем вот что. Если ничего не скажете до Рождества другим белым, я возьму вас всех, джентльмены, с собой и дам из нее пострелять. Конечно, – негромко продолжал он с ноткой смиренности в голосе, – если хотите разболтать, дело ваше, но, – голос его понизился снова, и в нем зазвучала легчайшая, но весьма красноречивая нотка сожаления, – старина Дик готовился к этому. Хотел устроить всем вам сюрприз на Рождество.

Ребята искренне пообещали хранить его тайну, как свою собственную. Четко прошептали торжественную клятву. Потом вышли из комнатки на цыпочках, словно боялись, что даже звук шагов может выдать Дика.

Было это в субботу, в четыре часа дня. Уже слышалось унылое завывание ветра, по небу плыли серые тучи. В воздухе ощущалось приближение снегопада.

Снег пошел вечером, в шесть часов. Его принесло ветром из-за гор. К семи часам из-за летящих снежинок нельзя было ничего разглядеть, земля покрылась белым ковром, улицы стали тихими. Ветер выл за стенами домов с потрескивающими огнем печами и лампами под абажурами. Вся жизнь, казалось, замкнулась в восхитительной обособленности. По улице, неслышно ступая копытами, прошла лошадь.

Джордж Уэббер отправился спать, отложив до утра встречу с этой тайной; он лежал в темноте, прислушиваясь к ликованию метра, к этому немому чуду, этой безмерной, чуткой тиши снега, и ощущал в душе нечто невыразимое, мрачное и торжествующее.

Снег на Юге чудесен. Там он, как нигде, обладает некими очарованием и тайной. Потому что приходит к южанам не как угрюмый, непреклонный квартирант зимы, а как странный, разгульный гость с загадочного Севера. Приходит из темноты ради их особой, в высшей степени таинственной южной души. Приносит им восхитительную обособленность своей белой таинственностью. Приносит нечто недостающее; нечто такое, что они утратили, но теперь обрели; нечто очень знакомое, но забытое до настоящей минуты.

У каждого человека в душе есть темная и светлая полусферы; два разрозненных мира, две страны ее приключений. И одна из них – вот эта мрачная земля, другая – обитель души, родина отца, где он еще не был.

И последнюю он знает лучше. Он не бывал на этой земле – и она роднее ему, чем все уже виданное. Этот мир неосязаем – однако роднее, чем все, что было родным всегда. Это восхитительный мир его разума, души, духа, созданный в его воображении, сформированный благоговением и очищенный от туч могучими шквалами фантазии и реальности, гордая, неведомая земля затерянной, обретенной, небывалой, вечно реальной Америки, незапятнанная, надежная, исполненная совершенства, возникшая в мозгу и превращенная в рай гордым и пылким воображением ребенка.

Так на каждом из этих полюсов жизни лежит истинный, правдивый образ одной из ее бессмертных противоположностей. Так живущий в темном сердце холодного, загадочного

Севера вечно представляет себе исполненный совершенства образ Юга; так в темном сердце Юга вечно сияет бессмертное великолепие Севера.

У Джорджа так было всегда. Другой половиной обители его души, неведомым миром, который он знал лучше всего, являлся темный Север. И в ту ночь снег, демонический гость, падал на холмы, чтобы воссоздать для него ту землю, устелить ее соверше-нейшим чудом. Отложив до утра встречу с этой тайной, мальчик заснул.

В третьем часу ночи Джорджа разбудил колокольный звон. Пожарный колокол на муниципалитете бил тревогу – он никогда еще не слышал таких сильных, частых ударов. Набатные, оглушительные в тихом холодном воздухе, они раскатывались с угрозой и призывностью, доньше неизвестными Джорджу. Мальчик подскочил и бросился к окну взглянуть на зарево. Но пожара не было. Едва ли не до того, как он выглянул, эти жуткие удары вбили ему в сознание, что тревога не пожарная. То был неистовый, звенящий глас, призывающий город к бою, предостерегающий человечество о какой-то опасности, таинственной, темной, неведомой, гораздо более грозной, чем любые пожар или наводнение.

Джорджа тут же до глубины души потрясло и взбудоражило сознание, что весь город пробудился к жизни. В домах по всей улице зажигались огни. Дом Шеппертонов был ярко освещен сверху донизу. Мистер Шеппертон в пальто поверх пижамы торопливо спустился по ступенькам крыльца и заснеженной дорожкой пошел к улице.

Люди начинали выбегать из домов. Повсюду слышались взволнованные крики, вопросы, возгласы. Джордж увидел Небраску Крейна, со всех ног бегущего через улицу. Понял, что бежит он за Рэнди и за ним. Пробегая мимо дома Шеппертонов, Брас сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Все ребята знали этот сигнал.

Когда Небраска вбежал во двор, Джордж был уже почти одет. Когда заколотил в дверь, Джордж был уже возле нее. Оба заговорили разом. Небраска ответил на встревоженный вопрос Джорджа прежде, чем тот успел его задать.

– Пошли! – произнес он, тяжело дыша от возбуждения, его черные индейские глаза горели с невиданной яркостью. – Пошли! – выкрикнул он. Оба были уже на полпути к улице. – Это тот негр! Спятил и совсем озверел!

– К-какой негр? – выдавил Джордж, бежавший сзади.

Не успел Небраска ничего сказать, как он получил ответ. Мистер Крейн уже вышел из дома и шел через улицу, застегивая толстую полицейскую шинель и пояс. Остановился на миг поговорить с мистером Шеппертоном, и Джордж услышал, как мистер Шеппертон торопливо, негромко спросил:

– В какую сторону он пошел?

Затем послышался чей-то крик:

– Это тот шеппертоновский черномазый!

Мистер Шеппертон повернулся и быстро зашагал к дому. Его жена и две дочери сгрудились в проеме открытой двери. Через крыльцо внутрь залетали снежинки. Три женщины, бледные, дрожащие, жались друг к другу, пряча руки в широких рукавах кимоно.

Телефон в шеппертоновском доме неистово звонил, однако никто не обращал на это внимания. Джордж услышал, как миссис Шеппертон торопливо спросила взбегавшего по ступенькам мужа:

– Это Дик?

Он кивнул и бесцеремонно прошел мимо нее к телефону.

Тут Небраска вновь пронзительно свистнул, заложив пальцы в рот, Рэнди пробежал мимо матери и стремглав спустился по ступенькам. Мать резко окликнула его. Рэнди не обратил на

это внимания. Когда он подошел, Джордж увидел, что его изящное, худощавое лицо побледнело, как простыня. Глянув на Джорджа, он прошептал:

– Это., это Дик! – И после короткой паузы: – Говорят, он убил четверых!

– Из...- Джордж не смог договорить.

Рэнди молча кивнул, и двое бледных ребят с минуту пристально глядели друг на друга, теперь полностью осознавая смысл страшного секрета, который хранили, доверия, которого не нарушили, с внезапным чувством вины и страха, словно каким-то образом были повинны в случившемся преступлении.

На другой стороне улицы, в гостиной Саггза распахнулось окно, показался старик Саггз в одном халате, его зверское старческое лицо покраснелось от волнения, копна серебристо-седых волос растрепалась, могучие руки сжимали костыли.

– Он идет сюда! – прокричал старик, обращаясь ко всему миру. – Говорят, он ушел с Площади! И движется в этом направлении!

Мистер Крейн приостановился и раздраженно крикнул через плечо:

– Нет, он пошел по Южной Мейн-стрит. Направляется к Уилтону и реке. Мне уже сообщили из управления.

По всей улице заревели, зафыркали автомобили. Даже еще в то время больше половины семей, живших на этой улице, имело их. Джордж слышал, как на другой ее стороне мистер Поттерхем возится со своим «фордом». Он раз десять принимался вертеть заводную ручку, мотор было заводился, потом кашлял, фыркал и глохнул. Гас выбежал с чайником кипятка и лихорадочно стал заливать его в радиатор.

Мистер Шеппертон уже оделся. Ребята видели, как он бегом спустился по ступенькам заднего крыльца к гаражу. Рэнди, Брас и Джордж побежали подъездной аллеей ему на помощь. Распахнули старые деревянные ворота. Он вошел внутрь и принялся заводить ручкой машину. То был новый «бьюик». Машина вняла их молитвам и сразу же завелась. Мистер Шеппертон выехал задом на заснеженную аллею. Все ребята взобрались на подножку. Он рассеянно произнес:

– Ребята, останьтесь здесь. Рэнди, тебя зовет мать.

Но они влезли внутрь, и мистер Шеппертон не сказал ни слова.

Он поехал задом по аллее на предельной скорости. Выехав на улицу, они подобрали мистера Крейна. Когда свернули на Чарльз-стрит, их обогнали Фред Сэнфорд с отцом в «олдсмобиле». Они мчались в город на полной скорости. Все дома на Чарльз-стрит были освещены. Даже больница сияла огнями. Машины выезжали из всех дворов. Ребята слышали, как люди перекликаются. Кто-то крикнул:

– Он убил шестерых!

Джордж не знал, с какой скоростью они ехали, но на улицах в том состоянии это была опасная быстрота. Путь до Площади занял у них не больше пяти минут, но когда они приехали туда, то казалось, что весь город опередил их. Мистер Шеппертон поставил машину перед муниципалитетом. Мистер Крейн выскочил из нее и, ни слова не говоря, со всех ног помчался через Площадь.

Все бежали в одном направлении. Со всех улиц, ведущих на Площадь, вливались люди. Бегущие мужчины виднелись темными силуэтами на белом ковре Площади. Все направлялись к одному месту.

В юго-западном углу Площади, там, где в нее вливается Южная Мейн-стрит, происходило столпотворение. Силуэты, мчащиеся к густой толпе, напомнили Джорджу драку между двумя мальчишками на спортивной площадке во время школьной перемены.

Но затем Джордж услышал разницу. От той толпы неслись негромкий, нарастающий гул,

угрожающее, настойчивое рычание такого тона и тембра, каких он еще ни разу не слышал, однако сразу же понял, что они означают. В этом смутном рычании явственно слышалась кровожадная нотка. И трое ребят переглянулись с одним и тем же вопросом в глазах.

Такими свирепыми искрами, как теперь, угольно-черные глаза Небраски еще никогда не сверкали. В нем бурлила пробудившаяся кровь индейцев чероки.

– Пошли, – негромко, торжествующе сказал он. – Они явно настроены решительно. Идем! И стремглав бросился к густой, зловеще чернеющей толпе.

Едва ребята последовали за ним, на границе негритянского квартала раздался, усиливаясь, нарастая с каждым мгновением, один из самых зловещих, ужасающих звуков, какие только могут оглашать ночь. То был лай гончих на поводках. В нем, громком, заливистом, слышались их природная свирепость и жестокость людского обвинительного приговора.

Гончие появились быстро, они беззлобно лаяли вслед ребятам, бегущим по темной, снежно-белой Площади. Подбежав к толпе, ребята увидели, что собралась она на углу возле скобяного магазина Марка Джойнера. Дядю Джорджа уже вызывали по телефону. Но Джордж услышал, как мистер Шеппертон раздраженно выругался вполголоса:

– Черт, мне даже в голову не пришло – могли бы его захватить!

Несколько человек, выставив вперед руки, стояли цепочкой лицом к толпе, подступившей так близко, угрожающе, что они прижались к стеклу витрины, словно пытаясь всеми силами и доводами защитить святость частной собственности.

Мэром тогда был Джордж Гэллетин, он стоял плечом к плечу и рукой к руке с Хью Макферсоном. Джордж Уэббер видел Хью, возвышавшегося на полфута над окружающими, его высокую сухопарую фигуру, суровое, пылкое лицо, даже вытянутые костлявые руки, странно, трогательно похожие на линкольновские, единственный его зрячий глаз сверкал в холодном свете углового фонаря с какой-то холодной, вдохновенной шотландской страстностью.

– Обождите! Стойте! Обождите! – воскликнул он. Его слова прозвучали громом среди гомона и криков толпы. – Этим вы ничему не поможете, ничего не добьетесь.

Толпа попыталась заглушить его гневным, насмешливым ревом. Хью вскинул громадный кулак и стал кричать, холодно сверкая зрячим глазом, пока она не утихла.

– Послушайте меня! – кричал он. – Сейчас не время самосудов. Не время линчеваний. Сейчас время закона и порядка. Подождите, пока шериф приведет вас к присяге. Подождите Марка Джойнера. Подождите...

Продолжать ему не дали.

– К черту! – заорал кто-то. – Сколько можно ждать? Надо убить этого черномазого!

Толпа подхватила возглас. И стала гневно корчиться, словно раненая змея. Потом внезапно засуетилась, рассыпалась. Кто-то выкрикнул предостережение Хью Макферсону. Тот поспешно пригнулся, как раз вовремя. Мимо него со свистом пролетел кирпич и разбил стекло витрины в осколки.

И тут же поднялся кровожадный рев. Толпа ринулась вперед, отшвыривая ногами зазубренные осколки стекла. И ворвалась в темный магазин. Марк Джойнер опоздал буквально на минуту. Потом он говорил, что услышал звон стекла, сворачивая на Площадь с Колледж-стрит. Достав ключи, Марк отпер переднюю дверь, но, как он мрачно заметил, конвульсивно шевеля губами, это было все равно, что запирать конюшню, когда лошадь уже украли.

Толпа ворвалась и ограбила его. Расхватала все винтовки, какие смогла найти. Разбила патронные ящики и наполнила патронами карманы. Через десять минут там не осталось ни одной винтовки, ни единого патрона. По магазину словно бы пронесся ураган. Толпа хлынула на улицу и стала собираться примерно в ста футах вокруг гончих, бравших след в том месте, где Дик останавливался перед тем, как свернуть на юг и вниз по склону Южной Мейн-стрит

отправиться к реке.

Собаки перебирали лапами, натягивали поводки, негромко завывали, обнюхивая снег и прижав уши. Однако при том свете, при снеге казалось, что следовать за Диком можно и без собак. Посередине заснеженной улицы, прямо, словно по нитке, между колеями от автомобильных колес, тянулись следы негра. При свете уличных фонарей они были видны, покуда не исчезали внизу в темноте.

Но теперь, хотя снегопад кончился, ветер поднимал снежные вихри, наметал сугробы. Следы вскоре должны были пропасть.

Собакам дали команду. Они двинулись вперед легким шагом, натягивая поводки и обнюхивая снег; толпа сомкнулась темной массой и пошла за ними. Трое ребят стояли, провожая ее взглядами. Толпа спустилась по склону и скрылась с глаз. Но снизу в холодном воздухе им было слышно негромкое ее бормотание.

Люди стали собираться группами. Марк Джойнер стоял перед разбитой витриной, печально созерцая разорение. Несколько человек собралось на углу возле большого телефонного столба, они измеряли его толщину и указывали на два сквозных пулевых отверстия.

И от группы к группе быстро, словно огонь по запалу, передавались все подробности кровавой хроники той ночи.

Произошло вот что.

Где-то между девятью и десятью часами вечера Дик Проссер явился в лачугу Пэнси Гаррис в негритянском квартале. Кое-кто говорил, что, идя туда, он пил на ходу. Во всяком случае, полиция обнаружила там недопитый галлоновый кувшин крепкого кукурузного виски.

Что происходило в лачуге потом, осталось неизвестным. Женщина, очевидно, протестовала, не хотела его пускать, но в конце концов, как и прежде, уступила. Дик вошел. Они были одни. Что творилось между ними, никто не знал. Да особо и не интересовался. То были сумасшедший черномазый и черномазая девка. Возможно, она «путалась» с Диком. Таково было общее предположение, хотя всем оно было безразлично. Прелюбодеяния среди негров считаются само собой разумеющимися.

Во всяком случае, после десяти часов – должно быть, около одиннадцати, потому что поезд, на котором Гаррис работал проводником, опоздал и пришел на станцию в 10.20 – появился муж Пэнси. Драка началась не сразу. По словам женщины, настоящая беда случилась через час или больше после его возвращения.

Мужчины стали пить вместе. Оба были озлоблены. Дик постепенно распялялся все больше и больше. Незадолго до полуночи у них началась драка. Гаррис хотел полоснуть Дика бритвой. Секунду спустя они сцепились, повалились на пол и принялись драться, как сумасшедшие. Пэнси Гаррис с криком выбежала и бросилась в стоящую напротив тускло освещенную бакалейную лавку.

В управление полиции, расположенное в муниципалитете, тут же поступило телефонное сообщение, что на Вэлли-стрит, в негритянском квартале, разбушевался сумасшедший, и нужна срочная помощь. Пэнси Гаррис поспешила обратно к своей лачужке.

Когда она подбежала, ее муж с окровавленным лицом нетвердым шагом спустился с маленькой веранды на улицу, в ужасе инстинктивно прикрывая сзади руками голову. Тут же в дверном проеме появился Дик Проссер, не спеша прицелился из винтовки и выстрелил убегающему негру в затылок. Гаррис ничком упал в снег. Уже мертвым. Дик Проссер шагнул вперед, схватил перепуганную негритянку за руку, швырнул в лачугу, запер изнутри дверь, опустил шторы, задул лампу и стал ждать.

Через несколько минут появились двое полицейских. Молодой констебль по фамилии

Уиллис, недавно поступивший в полицию, и лейтенант Джон Грэди. Они посмотрели на окровавленный труп в снегу, расспросили испуганного владельца бакалейной лавки, потом, немного посоветовавшись, вынули пистолеты и вышли на улицу.

Уиллис осторожно взошел на заснеженную веранду, прижался к стене между дверью и окном и стал ждать. Грэди отправился к боковой стене, достал фонарик, осветил в окно, которое было незашторено, и громко приказал:

– Выходи!

В ответ Дик прострелил ему запястье. Тут Уиллис сильным ударом ноги вышиб дверь и ринулся внутрь, держа пистолет наготове. Дик всадил ему пулю в лоб. Полицейский упал ничком.

Грэди выбежал из-за дома, устремился в бакалейную лавку, сорвал с крючка телефонную трубку, неистово позвонил в управление, прокричал, что сумасшедший черномазый убил Сэма Уиллиса и негра, потребовал подмоги.

В эту минуту Дик без пальто и шляпы вышел с винтовкой в руках на улицу, быстро прицелился через грязное окно тускло освещенной лавки и застрелил Джона Грэди, державшего в руке телефонную трубку. Грэди упал, пуля вошла ему чуть пониже левого виска и пробила голову навывлет.

Дик широким, неторопливым шагом с кошачьей быстротой вышел на заснеженный склон Вэлли-стрит и начал марш к городу. Шел он прямо посередине улицы, стреляя на ходу то вправо, то влево. На середине холма, на втором этаже многоквартирного негритянского дома распахнулось окно. Старик негр, швейцар одного из конторских зданий на Площади, высунул седую голову. Дик повернулся и небрежно выстрелил с бедра. Пуля сняла негру верхнюю часть черепа.

Когда Дик дошел до верхней части Вэлли-стрит, там уже знали о его приближении. Шел он спокойно, оставляя свои большие следы посередине заснеженной улицы, поводя винтовкой, которую держал поперек туловища. То был негритянский Бродвей, центр ночной жизни негритянского квартала. Однако бильярдные, парикмахерские, аптеки, закусовые, где подавали жареную рыбу, оживленно-шумные десять минут назад, стали безмолвными, как развалины Египта. По городу неслась весть, что приближается сумасшедший негр. Никто не высовывал головы.

Дик дошел до конца Вэлли-стрит и свернул на Южную Мейн-стрит – направо вверх по холму, между автомобильными колеями, и зашагал к Площади. Проходя мимо закусовой по левую сторону, быстро выстрелил через окно в бармена. Бармен нырнул за стойку. Пуля вошла в стену над его головой.

Тем временем по городу разносилась весть, что Дик приближается. В городском клубе на Сондли-стрит, в трех кварталах отсюда, самые известные игроки и прожигатели жизни, сидевшие в табачном дыму, не сводили глаз со столов, обитых зеленым сукном, где лежали стопки покерных фишек. Зазвонил телефон. Попросили Уилсона Редмонда, судью полицейского суда.

Послушав немного, Уилсон спокойно повесил трубку.

– Пошли, Джим, – небрежно обратился он к своему приятелю Джиму Макинтайру, – там разошелся сумасшедший черномазый. Поднял стрельбу в городе. Идем, арестуем его.

И с той же небрежностью сунул руки в рукава пальто, которое подал ему негр в белой куртке, надел шелковый цилиндр, натянул перчатки, взял трость и направился к выходу. Оба приятеля были под хмельком. Словно направляясь на свадьбу, они вышли на безлюдную, занесенную снегом улицу, свернули на углу возле почты и зашагали к Площади. Выйдя на нее, слышали выстрел Дика в закусовую и звон стекла.

– Он там, Джим, – радостно сказал Уилсон Редмонд. – Теперь я немного позабавлюсь. Пошли, арестуем его.

Оба джентльмена быстро миновали Площадь и вышли на Южную Мейн-стрит.

Дик неумолимо шел вперед легким шагом прямо посередине улицы. Уилсон Редмонд направился к нему. Поднял трость с золотым набалдашником и помахал Дику Проссеру.

– Ты арестован!

Дик выстрелил, снова с бедра, однако промахнулся на какую-то долю дюйма. Видимо, причиной тому явился высокий шелковый цилиндр Уилсона Редмонда. Пуля пробила отверстие в верхней части шляпы и снесла ее с головы. Судья юркнул в дверь какого-то дома, охваченный пылким желанием, чтобы его чрезмерно тучная плоть уменьшилась в объеме.

Джиму Макинтайру повезло меньше. Он бросился к той же двери, однако Редмонд опередил его. Дик снова выстрелил с бедра и попал Макинтайру в бок. Бедняга Джим растянулся. Правда, он остался жив, но потом уже всегда ходил, опираясь на трость. Тем временем на другой стороне Площади, в полицейском управлении, сержант приказал Джону Чэпмену перехватить Дика. Из всех полицейских мистер Чэпмен пользовался у горожан, пожалуй, наибольшей симпатией. Это был славный румяный человек сорока пяти лет с курчавыми каштановыми усами, покладистый, добродушный, привязанный к семье, смелый, но все же слишком добрый и мягкий для хорошего полицейского.

Джон Чэпмен услышал выстрелы и бросился вперед. Он подбежал к углу, на котором стоит скобяной магазин Джойнера, когда выстрел поверг на землю беднягу Макинтайра. Мистер Чэпмен спрятался за телефонный столб. Стоя в этой выигрышной позиции, он выхватил револьвер и выстрелил в приближавшегося Дика Проссера.

Дик находился от силы в тридцати ярдах. Он спокойно опустил на колено и прицелился. Мистер Чэпмен выстрелил еще раз и промахнулся. Дик нажал на спуск. Пуля прошла через столб чуть в стороне от центра. Оцарапала плечо мундира Джона Чэпмена и отбила осколок с памятника больше чем в шестидесяти ярдах позади, в центре Площади.

Мистер Чэпмен выстрелил и снова дал промах. А Дик, все еще стоявший на колене, спокойный, уверенный, будто на стрельбище, выстрелил еще раз, продырявил столб точно посередине и угодил Джону Чэпмену в сердце. Мистер Чэпмен упал замертво. Дик поднялся, повернулся кругом, как солдат, и пошел обратно между автомобильными колеями, прямо, как по струне, прочь из города.

Такой была эта история, сложенная из обрывочных эпизодов, распространявшихся подобно запальному огню между группами взволнованных мужчин, стоявших на утоптанном снегу перед разбитой джойнеровской витриной.

А винтовка? Где он ее взял? У кого купил? Ответ не заставил себя долго ждать.

Марк Джойнер сразу же заявил, что это оружие не из его магазина. Тут в толпе поднялась суматоха, появился дядюшка Морис Тейтельбаум, владелец ломбарда, он оживленно жестикулировал и жался к полицейскому. Лысый, приземистый, с обезьяньим лицом, он пронзительно протестовал, делая руками красноречивые жесты и обнажая неровные золотые зубы.

– Ну а что мне было делать? Деньги его были не хуже, чем у других! – жалобно произнес он, воздев руки, и поглядел по сторонам с не допускающим возражения видом. – Он приходит с деньгами, платит, как и любой другой, – а я должен отказываться? – выкрикнул он с таким выражением оскорбленной невинности, что, несмотря на происшедшее, кое-кто улыбнулся.

Ломбард дядюшки Мориса Тейтельбаума на правой стороне Южной Мейн-стрит, мимо которого Дик прошел меньше часа назад в своем кровавом походе на город, был в отличие от джойнеровского магазина надежно защищен по ночам толстыми решетками на витринах и

дверях.

Однако теперь, если не считать тех групп разговаривающих людей, город был снова безмолвен. Издали, со стороны реки и Уилтон Боттомс, слышался негромкий, заунывный лай гончих. Больше нечего было ни смотреть, ни делать. Марк Джойнер нагнулся, поднял несколько осколков стекла и швырнул в витрину. Там остался на страже полицейский, и вскоре пятеро – мистер Шеппертон, Марк Джойнер и трое ребят – прошли обратно через Площадь, сели в машину и поехали домой.

Однако в ту ночь сна ни у кого не было. Чернокожий Дик убил сон. Перед рассветом снег пошел снова и не переставал все утро. К полудню он лежал глубокими сугробами. Занес все следы. Город ждал нетерпеливо, напряженно, размышляя, удалось ли этому человеку удрать.

Дика в тот день не настигли, однако шли по его следу. Время от времени в город долетали новости. Дик свернул у реки на восток, к Уилтон Боттомс и, держась как можно ближе к воде, прошел несколько миль по фэйрчайлдской дороге. Потом, милях в двух от Фэйрчайлда, перешел реку у Роки Шел-лоуз.

Вскоре после рассвета фермер из-под Фэйрчайлда увидел, как Дик шел через поле. Преследователи снова взяли след и прошли по нему через поле и через рощу. Выйдя из рощи, негр оказался в районе Кэйн-Крик, и след его на несколько часов потерялся. Дик вошел в ледяную воду ручья и прошел вверх по течению около мили. Там, где след оборвался, собак перевели на другой берег и пустили в обе стороны.

К пяти часам примерно в миле вверх по течению собаки снова взяли след. После этого Дика стали настигать. Перед наступлением темноты его видели несколько человек из поселка Лестер. Собаки пошли по его следу через поля, через лестер-скую дорогу к роще. Часть преследователей отправилась в обход рощи, чтобы перекрыть ему выход. Они понимали, что настигли его. Дик прятался в этой роще голодный, промерзший, лишенный укрытия. Они понимали, что ему не уйти. Окружили рощу и стали ждать до утра.

Наутро в половине восьмого Дик сделал попытку уйти. И едва не скрылся. Он незаметно прошел через оцепление, пересек лестерскую дорогу и направился через поля обратно в сторону Кэйн-Крик. И тут увидели, как он бежит по сугробам. Поднялся крик. Преследователи ринулись за ним.

Часть преследователей ехала на конях. Они поскакали по полю. Дик остановился у опушки рощи, неторопливо опустился на колени и в течение нескольких минут сдерживал их частым огнем. На расстоянии двухсот ярдов ссадил Дока Лэвендера, помощника шерифа, всадив ему пулю в горло.

Преследователи приближались медленно, обходя Дика с боков. Дик убил еще двоих, а потом, медленно, неторопливо, как спокойно отступающий опытный солдат, стал, отстреливаясь, отходить через рощу. Выйдя из нее, повернулся и побежал по граничащему с ручьем полю. На берегу ручья повернулся снова, встал на колени и прицелился.

То был последний выстрел Дика. Дик не промахнулся. Пуля вошла в лоб Уэйну Форейкеру, другому помощнику шерифа, и убила его в седле. Затем преследователи увидели, что негр прицелился снова, однако выстрела не последовало. Дик в ярости отвернул затвор, потом отбросил винтовку. Раздались ликующие восклицания. Преследователи бросились в атаку. Дик неуверенно повернулся и пробежал несколько ярдов, отделявших его от холодной, кристальной воды ручья.

И тут он совершил странный поступок, ставший впоследствии темой частых, повторяющихся размышлений, полностью его так и не поняли. Все думали, что Дик совершит последний рывок к свободе, перейдет ручей и попытается убежать. Вместо этого он спокойно,

словно на койку в казарме, сел на берег, расшнуровал ботинки, разулся, аккуратно поставил их рядом, потом босой встал, выпрямься, словно солдат, лицом к толпе.

Верховые оказались возле Дика первыми. Подскакали с разных сторон и разрядили в него винтовки. Изрешеченный пулями Дик упал лицом в снег. Всадники спешили, перевернули его на спину, и остальные, подбежав, тоже стали стрелять в него. Обвязали веревку вокруг шеи и повесили безжизненное тело на дереве. Затем толпа расстреляла все патроны в изрешеченную пулями грудь.

К девяти часам утра эта весть достигла города. К одиннадцати толпа вернулась по приречной дороге. Множество людей отправились ей навстречу к Уилтон Боттомс. Шериф ехал впереди. Тело Дика бросили, как мешок, поперек седла лошади одного из убитых и привязали веревками.

Таким вот, изрешеченным пулями, открытым всем мстительным и любопытным взглядам, Дик вернулся в город. Толпа возвратилась к своей исходной точке на Южной Мейн-стрит. Остановилась перед похоронной конторой менее чем в двадцати ярдах от того места, где Дик остановился в последний раз, опустился на колено и убил Джона Чэпмена. Чудовищно изуродованный труп сняли и повесили в витрине, чтобы его увидели все мужчины, женщины и дети в городе.

Таким ребята увидели его в последний раз. Да, они пришли посмотреть. В конце концов пришли. Рэнди и Джордж заявили, что не пойдут. Но в конце концов отправились. С людьми всегда так. И было, и будет. Они протестуют. Содрогаются. Говорят, что не пойдут. Но в конце концов непременно смотрят.

Не лгал только Небраска. С присущей ему прямоотой, причудливо сплетенной из простодушия и грубости, геройства, жестокости и чуткости, он сразу же объявил, что пойдет, а потом нетерпеливо ждал, презрительно сплевывая, пока ребята подыскивали оправдания своему лицемерию.

В конце концов они пошли. Увидели изуродованный труп и жалко пытались убедить себя, что вот этот предмет некогда учтиво разговаривал с ними, был поверенным их секретов, пользовался их уважением и привязанностью. Им было не по себе от страха и отвращения, потому что в их жизнь вошло нечто такое, понять чего они не могли.

Снег прекращался. Потом шел снова. Под ногами прохожих на улицах он превратился в грязное месиво, а толпа перед захудалой похоронной конторой теснилась, толкалась и все не могла насытиться жутью этого зрелища.

Внутри конторы находились обшарпанное шведское бюро, вращающийся стул, железная печка, увядший папортник, дешевый диплом в дешевой рамочке, а в витрине висел жуткий памятник человеческой свирепости, отвратительно изуродованное мертвое тело.

Ребята смотрели, бледнели до самых губ, вытягивали шеи, отворачивались, потом снова невольно смотрели, как зачарованные, на этот ужас, отворачивались снова, беспокойно топтались на талом снегу, но уйти не могли. Поднимали взгляды к свинцовым испарениям, к отвратительному туману, печально смотрели на силуэты и лица вокруг – то были люди, пришедшие поглазеть, полюбопытствовать, бездельники из бильярдной, городское хулиганье, всякий сброд – но все же привычные, знакомые, живые.

И в жизнь ребят – в их жизни – вошло нечто, им доселе неведомое. Некая тень, ядовитая чернота, насыщенная приводящей в недоумение ненавистью. Они знали, что снег сойдет, небо разъяснится. Появятся листья, трава, бутоны, птицы, настанет апрель – будто этого и не бывало. Снова засияет привычный свет дня. И все это исчезнет, как дурной сон. Однако не полностью. Потому что им запомнятся мрачный застарелый страх и ненависть к себе подобным, нечто

отвратительное и гнусное в душах людей. Они знали, что не забудут.

Рядом с ними какой-то человек рассказывал небольшой группе зачарованных слушателей о своих подвигах. Джордж повернулся и взглянул на него. Это был невысокий мужчина, напоминающий лицом хорька, с хитрыми, бегающими глазами, зубастым ртом и крепкими челюстными мышцами.

– Я первый всадил в него пулю, – говорил он. – Видите эту дырку? – И указал грязным пальцем. – Большую, прямо над глазом?

Слушатели тупо, жадно вытаращились.

– Моя, – объявил герой и, чуть отвернувшись, сплюнул табачную жвачку в талый снег. – Вот куда угодил. Черт, он и не понял, что с ним случилось. Этот сукин сын упал на землю уже мертвым. Потом мы его изрешетили. Каждый подходил и всажи вал в него пулю. Однако убил его я, первым выстрелом. Да, парни! – Он потряс головой и сплюнул снова. – Нашпиговали мы его свинцом. Черт возьми! – безапелляционно заявил он и указал подбородком на труп, – мы насчитали до двухсот восьмиде сяти семи. Должно быть, в нем триста дырок.

И тут Небраска, как всегда бесстрашный, грубоватый, прямой, резко повернулся, приложил к губам два пальца и плюнул между ними сильно, презрительно.

– Да – *мы!* – процедил он. – *Мы* убили крупного зверя! *Мы* – мы убили медведя, *мы!*.. Идем отсюда, ребята, – угрюмо позвал он друзей, – нечего здесь делать!

И бесстрашный, непоколебимый, без тени страха или неуверенности зашагал прочь. Двое бледных от отвращения ребят пошли с ним.

Прошло два дня, прежде чем кто-либо смог войти в комнату Дика. Джордж вошел вместе с Рэнди и его отцом. Комнатка была, как всегда, чистой, почти пустой, опрятной. Все оставалось на своих местах. И эта спартанская скромность маленькой комнаты жутко напоминала о ее недавнем чернокожем обитателе. Это была комната Дика. Все они это понимали. И каким-то образом чувствовали, что жить там не сможет больше никто.

Мистер Шеппертон подошел к столу, взял старую Библию, все еще лежавшую раскрытой страницами вниз, поднял к свету, поглядел на место, которое Дик пометил, когда читал ее последний раз. И через несколько секунд, ни слова не сказав мальчикам, принялся громко читать вслух:

– «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною...».

Затем мистер Шеппертон закрыл книгу и положил на то место, где ее оставил Дик. Все вышли, он запер дверь, и никогда больше никто из ребят не входил в эту комнату.

Прошли годы, и все они повзрослели. Все пошли своими путями. Однако лица и голоса прошлого часто возвращались и вспыхивали в памяти Джорджа на фоне безмолвной и бессмертной географии времени.

И все оживало снова – выкрики детских голосов, сильные удары по мячу и Дик, идущий твердо, Дик, идущий бесшумно, заснеженный мир, безмолвие и нечто, движущееся в ночи. Потом Джордж слышал неистовый звон колокола, крики толпы, лай собак и чувствовал, как надвигается тень, которая никогда не исчезнет. Потом снова видел комнатку, стол и книгу. Ему вспоминалось пасторальное благочестие старого псалма, и душу его охватывали сомнение и замешательство.

Потому что впоследствии он слышал другую песню, которую Дик наверняка не слышал и не

понял бы, однако Джорджу казалось, что ее выражения и образы подошли бы Дику больше:

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?

А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной,-
Улыбнулся ль, наконец,
Делу рук своих Творец?^[5]

Что за горн? Что за млат? Никто не знал. Это было загадкой и тайной. Оставалось необъясненным. Существовало около дюжины версий, множество догадок и слухов; в конце концов все они оказались пустыми. Одни говорили, что родом Дик был из Техаса, другие, что дом его находился в Джорджии. Одни говорили, что он действительно служил в армии, но убил там человека и отбыл срок в Ливенуорте^{[6]*}. Другие – что получил почетное увольнение из армии, но потом совершил убийство и сидел в тюрьме штата Луизиана. Третьи – что служил в армии, но «спятил» и долго находился в сумасшедшем доме, что сбежал оттуда, что сбежал из тюрьмы, что явился в город, скрываясь от правосудия.

Но все эти версии оказались пустыми. Никто ничего не доказал. Никто ничего не выяснил. Люди множество раз спорили, обсуждали эти темы – кем он был, что наделал, откуда появился, – и все попусту. Ответа никто не знал.

Дик явился из темноты. Из сердца тьмы, из темного сердца таинственного, неоткрытого Юга. Явился ночью и ушел ночью. Он был порождением ночи и наперсником ночи, символом загадки и тайны, темной половиной души человека, его ночной наперсницы и ночного потомства, символом всего, что уходит с темнотой и все же остается, символом пагубной невинности человека и его тайны, отображением его непостижимой натуры, другом, братом и смертным врагом, неведомым демоном – нашим любящим другом, нашим смертным врагом, двумя слитыми воедино мирами – тигром и ребенком.

9. ВЗГЛЯД НА ДОМ С ГОРЫ

В ту зиму, когда Джорджу было пятнадцать лет, по воскресеньям и после уроков он совершал с дядей долгие прогулки по горам, высящимся над городом, по долинам и пещерам на другом их склоне. Марку Джойнеру всегда была присуща неуравновешенность, жизнь с Мэг обострила ее, усилила, усугубила, довела до степени неистовства и демонической ярости, временами, дрожа от бешенства, он бывал вынужден уходить из дома, чтобы успокоить истерзанную душу. В такие минуты Марк Джойнер ненавидел всю свою жизнь, все, с нею связанное, и стремился в безлюдные горы. Там, под холодными, ледяными ветрами, он обретал, как нигде, какой-то странный и сильный катарсис.

Эти походы будоражили дух мальчика чувствами одиночества, бесприютности и неистовой, неведомой доселе пылкой радости. Там он особенно остро видел громадный мир за родными холодными холмами и ощущал сильное, мучительное сопротивление тех неразрывных антагонистов, тех полярных сил, которые вечно соперничают в душе человека, – жажды вечных странствий и стремления к родному очагу.

Неистовые, неопишуемые, невыразимые, но совершенно согласованные в его осознании в их противоречивой и непостижимой связи, они, как ничто больше, терзали дух мальчика своей странной, мучительной общностью в этом свирепом сопротивлении, невыносимым единством двойственных, соперничающих влечений дома и дальних путей, ухода и возврата. Громадные просторы земли непрерывно звали его вперед нестерпимым желанием исследовать ее бесконечную тайну и перспективу славы, могущества, торжества и женской любви, восхитительные богатство и радость новых земель, рек, равнин и гор, наивысшее великолепие сияющего города. И вместе с тем Джордж ощущал сильную, спокойную радость оград и дверей по вечерам, света окна, некоего постоянства тела и объятий единственной непреходящей любви.

Зимой горы обладали суровым, демоническим величием, вызывающим дикую радость, по-своему столь же странно, неистово волнующим, как все великолепие и золото апреля. Весной или в замороженном, дремотном покое середины лета неизменно бывало нечто отдаленное, грустное, волнующее радостью и печалью, одиночеством и невыносимым, ошеломляющим торжеством какого-то огромного, приближающегося счастья. Звон колокольчика на шее короны, вялый, далекий, заглушаемый порывами ветра, едва слышно долетающий из глубины и дали горной долины; удаляющийся протяжный гудок паровоза, мчащего поезд на восток, к большому городу по зеленым горным долинам Юга; или тень облака, проплывающая по сплошной зелени дебрей, и оживленный покой, множество неожиданных мелодичных, отрывистых, стрекочущих невест чьих голосов в лирической таинственности подлеска.

Они с дядей взбирались по склону горы, то широко шагая по изрытым колеям и скованным морозом дорогам, то продираясь с такой сильной, неистовой радостью, какую только испытывали исследователи дебрей, сквозь сухой, хрупкий зимний подлесок, слышали под ногами негромкий треск кустов и прутьев, ощущали упругие опавшие коричневые листья и сосновые иглы, эластичный напластованный компост прошедших зим.

А вокруг них вздымались высокие деревья, близко знакомые и вместе с тем странно, тревожно неприветливые, угрюмые и бесплодные, непреклонные, дикие и наводящие тоску, как свирепые ветры, вечно бушевавшие с протяжным, безумным воем в раскачивающихся безлиственных ветвях.

А ненастные холодные небеса – то в рваных серых тучах, несущихся до того низко, что края их цеплялись за вершины гор; то беспросветные, гнетущие, холодно-серые; то в причудливых проблесках неистового холодного света, красных на западе и ярко-золотистых там, где

проглядывало солнце, – неизменно нависали над ними со свирепыми, невыразимыми болью и скорбью, с восторгом неистового воодушевления, печалью безысходности, с духом ликующей радости, столь же веселым, безумным, неистовым, щемящим, чарующим своими бурными, бесплотными предвестиями полета, безумными прорывами сквозь мрак над всем необъятным спящим холодом земли, как буйный, сумасшедший ветер, казавшийся мальчику духом радости, печали и неистового воодушевления, которые он испытывал.

Этот ветер обрушивался на них, когда они взбирались по каменистой тропе, или продирались сквозь стылые заросли, или всходили на унылую бесплодную вершину. Обрушивался на Джорджа, исполненный своей бурной жизни, и наполнял мальчика своим духом. И когда мальчик жадно, до боли в легких вдыхал этот ветер, вся жизнь его словно бы воспаряла и устремлялась вперед с ликующим воплем демонической силы, полета, неодолимого своеравия могучего ветра, и в конце концов он переставал быть просто-напросто пятнадцатилетним мальчишкой, племянником скобяного торговца в маленьком городе, одним из безымянных маленьких атомов громадной, многолюдной земли, чья самая скромная мечта показалась бы старшим смехотворной, осмелся он заикнуться о ней.

Нет. Донельзя опьяненный этим могучим, безумным ветром, он тут же возвышался над убийственными, непроверяемыми данными, фактами, возрастом, перспективой и положением. И становился уже не пятнадцатилетним. Он превращался в повелителя этой громадной земли и завоевателем взирал с горной вершины на родной город. Притом не из пределов холодного городка, затерянного среди холмов вдали от чарующего шума сияющего города, а с вершины, из центра мира он глядел на свои владения с радостью уверенности, победы и знал, что все на земле, чего только душа пожелает, принадлежит ему.

Овладев этой безумной силой, столь же неистовой, норовистой и всепобеждающей, как его боевой конь, он держал в руках все царства земли, населял мир по своему капризу, летал в темноте над горами, реками, равнинами и городами, заглядывал сквозь крыши, стены, двери во множество комнат и знал сразу все, лежал в темноте какого-то уединенного, забытого места с женщиной, щедрой, необузданной и таинственной, как земля. Вся планета, величайшая на ней слава, драгоценнейшее сокровище успеха, радость путешествий, все великолепие ее незнакомых земель, наслаждение неизвестными соблазнительными блюдами, величайшее счастье приключений и любви – все принадлежало ему: полет, шторм, странствия, океан и все маршруты гордых судов, громадные плантации вместе с уверенностью и покоем возвращения – оградой, дверью, стеной, крышей, единственным лицом и обителью любви.

Но внезапно эти неистовые, демонические мечты увядали, потому что он вновь слышал дядин голос, хриплый, страстный, дрожащий, осуждающий, видел мрачную ярость в его костлявой фигуре и сверкающих глазах. Стоя на вершине горы, глядя на маленький город своей юности, Марк Джойнер говорил обо всем, что мучило его. Иногда о жизни с Мэг, своих юношеских надеждах на уют, любовь и тихий покой, обернувшихся лишь горечью и ненавистью. Иногда ему вспоминались давние, глубоко схороненные в душе огорчения. В тот день, обратясь лицом к Джорджу и завывающему ветру, он внезапно выплеснул с вершины застарелую жгучую злобу, очернив память о старом Фейте, своем отце. Рассказал о ненависти и отвращении к отцовской жизни, о страданиях в юности, память о которых была жива во всех мучительных подробностях даже пятьдесят лет спустя.

– При рождении каждого из моих несчастных братьев и сестер, – сказал он до того хриплым и дрожащим от страстного негодования голосом, что мальчик ужаснулся, – я проклинал отца, проклинал тот день, когда Бог дал ему жизнь! И все же они нарождались! – прошептал он, яростно сверкая глазами, со всхлипом в голосе. – Нарождались из года в год, он

бездумно плодил их в своей преступной похоти – это в доме, где мы едва помещались, в гнусной, ветхой развалюхе, – прорычал он, – где старшие из нас по трое спали в одной кровати, а самый младший, слабый, беспомощный бывал счастлив, если имел набитый гнилой соломой тюфяк, который мог назвать своим собственным! Когда мы просыпались по утрам, наши пустые животы болели! – *болели!* – простонал он, – от жуткого, гложущего голода! Мой дорогой детка, дорогой, дорогой детка! – воскликнул он с неожиданной, ужасающей добротой. – Пусть из всех жизненных невзгод *эта* никогда не коснется тебя! – А мы укладывались спать всегда несатыми – всегда! всегда! всегда!. – выкрикнул он, раздраженно взмахнув рукой, – наевшись отвратительного хлеба, набив животы вареной травой со свиным жиром, ворочались в постели, будто неугомонные животные, и никак не могли уснуть, а твой достопочтенный дед – майор!.. *Майор!* – Он презрительно улыбнулся, скорчил гримасу и засмеялся с ехидным, нарочитым, вымученным весельем.

– Так вот, мой мальчик, – вскоре продолжал он более спокойным тоном покровительственной терпимости, – ты, вне всякого сомнения, часто слышал, как твоя добрая тетя Мэй говорит с присущей ее полу неумеренной и пышной цветистостью, – с облегчением причмокивая губами, произнес недопустимые слова: – об этом образце всех нравственных добродетелей, о своем благородном родителе, майоре! – Тут он вновь презрительно рассмеялся. – И возможно, ты по малости лет создал в своем воображении образ этого выдающегося джентльмена несколько более романтичным, чем он был на самом деле!.. Так вот, мой мальчик, – неторопливо продолжал Марк Джойнер и, чуть повернув голову, глянул на племянника, – чтобы твоя фантазия не соблазнялась иллюзиями аристократического величия, я поведаю тебе несколько фактов из жизни этого благородного человека... Он был самозванным майором полка добровольцев из лесной глуши, о которых можно только сказать, что они были, если это мыслимо, менее грамотными, чем он!.. Да, это правда, – продолжал Марк Джойнер четко, спокойно, неторопливо, – ты производишь из воинственной породы – однако среди твоих предков, дорогой мой мальчик, не было бригадных генералов, и даже майоров, – съязвил он, – поскольку самым высоким чином, какой только получал кто-то из них, был чин капрала – и удостоился этой высокой чести набожный брат майора, – я говорю, разумеется, о твоём двоюродном дедушке Рансе Джойнере!..

– Ранс! Ранс! – Тут он снова скривил лицо. – Имя-то, имя, Господи! ^[7] Неудивительно, что он вселял страх и трепет в сердца янки!.. *Одного вида* его было явно достаточно, чтобы заставить их замереть, как вкопанных, в разгар атаки. А *запах*, чтобы поразить благоговением сердца смертных, – я говорю, разумеется, – сардонически произнес он, – о простых людях, поскольку, как тебе хорошо известно, ни твоего деда, ни его брата, святого Ранса, ни прочих Джойнеров, каких я знаю, – усмехнулся он, – уподоблять простым смертным нельзя. Мы сами признаем это. Потому что все мы, мой мальчик, не столько были зачаты, как остальные, сколько появились на свет по воле Божией, созданы сошествием Святого Духа, – ухмыльнулся он, – и ты наверняка уже знаешь, что нам принадлежит единственная в своем роде привилегия быть пророками, вестниками, представителями Бога на земле – показывать Божьи пути человеку – открывать самые сокровенные Его промыслы и глубочайшие тайны вселенной другим людям, не столь возвышенным судьбой, как мы...

– Но как бы там ни было, – продолжал он, внезапно перейдя по своему обыкновению от ревущей ярости к спокойной, снисходительной терпимости, – думаю, в доблести твоего праведного двоюродного дедушки сомнений не может быть. Да! Я слышал, что он был способен убивать и с пятидесяти, и пятисот ярдов, и, выпуская каждую пулю, произносил какой-нибудь евангельский текст, дабы освятить ее!.. Да, мой дорогой детка, – воскликнул дядя, – свет не видел столь добродетельного убийцы! Он продырявливал людям головы с улыбкой святого

сострадания и пел осанну, когда они выпускали последний вздох! Освящал акт убийства и уверял людей, лежавших в собственной крови, что явился им как ангел милосердия, принесший дары бесконечной жизни и вечного счастья взамен греховной быстротечности их земных жизней, которых лишил их с таким нежным человеколюбием. Стрелял им в сердце и так ласково обещал все благодеяния в день Армагеддона, что они плакали от радости и целовали перед смертью руку своего спасителя!..

– Да, – продолжал спокойно дядя, – сомнений в доблести твоего двоюродного дедушки – или в его благочестии – нет, но все же, мой мальчик, положение его было невысоким – он дослужился только до капрала! Были и другие, кто сражался хорошо и смело на той войне, – и они тоже оставались незаметными! Твой двоюродный дедушка Джон, парень двадцати двух лет, пал в кровопролитной битве при Шайло... И многие другие твои родственники сражались, гибли, проливали кровь, получали раны на той суровой войне, однако никто из них, дорогой мой детка, не стал майором!... Был только один *майор*, – злобно произнес он, – твой благородный прауродитель!

И Марк Джойнер ненадолго умолк в угасающем свете зимнего дня на вершине горы, отрешенно обратив худощавое, открытое, грустное лицо к холодному пламенеющему закату, к унылым холмам, среди которых появился на свет. Когда заговорил снова, голос его звучал печально, негромко, со спокойным ожесточением и казался пронизанным чудесным, волнующим светом, шедшим, словно по волшебству, из громадной дали – столь же унылой, как холмы, к которым было обращено его лицо.

– Майор, – негромко произнес он, – мой достопочтенный отец, майор Лафайет Джойнер! – майор захолустья, воинственный повелитель Сэнди Мэша, Бонапарт округа Зибулон и Пинк Бедс, искусный стратег ущелья Фрайинг Пэн, Маленький Капрал ополченцев, проводивший великолепную операцию на приречной дороге всего в четырех милях от города, – усмехнулся дядя, – когда вслед двум скачущим прочь конокрадам генерала Шермана было произведено два залпа – безрезультатных, лишь ускоривших их бегство!.. Майор! – Его хриплый голос гневно повысился. – Выдающийся талант, гений, который мог все – только не обеспечить свою семью едой на неделю!

Марк Джойнер зажмурился и вновь неторопливо рассмеялся.

– Да, мой дорогой мальчик! Лафайет мог часами разглагольствовать с видом величайшего знатока – о! *величайшего!* – иронически протянул он, – о красоте и совершенстве римских акведуков, хотя крыша у нас протекала, как решето!.. О загадке Сфинкса, истоках Нила, о том, что за песни пели сирены, о дне, часе и минуте Армагеддона и сошествия Бога на землю, обо всех осуждениях и карах, о наградах и званиях, которые Он установит для нас – и особенно для своего любимого сына, *майора!* – на смешливо произнес дядя мальчика. – Уверяю тебя, дорогой мой детка, он знал все! Не было на земле никаких загадок, в вечных невозмутимых небесах никаких тайн, в жизни океанских глубин никаких неведомых ужасов, в самых дальних уголках вселенной никаких чудес, которых этот могучий разум не раскрывал немедленно и не объяснял любому, у кого хватало сил слушать!..

– Между тем, – прорычал Марк Джойнер, – мы жили хуже собак, выкапывали съедобные корни, чтобы утолить голод, объедались дикими ягодами с придорожных кустов, найдя зернышко кукурузы, прижимали его к груди и бежали домой, словно обобрали сокровищницу Мидаса, а *майор* – *майор* – окруженный своими многочисленными детьми, самые младшие из которых ползали в лохмотьях возле его ног, восседал в небесном свете поэтического вдохновения, с воспарившей душой, незапятнанной окружающим его земным убожеством, слагая стихи, – усмехнулся дядя, – владычице своих грёз. «Волосы моей дамы сердца! – иронически протянул он. – *Волосы!*».

И, зажмурясь в мучительной гримасе, конвульсивно топнул ногой.

– О, до чего возвышенно! *Возвышенно!* - хрипло протянул наконец дядя. – Видел бы ты, как он сидит, погружаясь в поэтические грезы, жует жвачку вдохновения и измочаленный конец карандаша, – Марк Джойнер задумчиво уставился на далекие холмы, – как поглаживает роскошные бакенбарды пальцами пухлых белых рук, которыми заслуженно гордился! – усмехнулся дядя, – Одетый в прекрасный костюм из тонкой черной ткани с глянцевой отделкой и белую крахмальную рубашку, которую *она*, несчастная, терпеливая, преданная женщина, за всю жизнь не купившая себе ни единого платья, стирала, крахмалила и подавала своему господину и повелителю с такой любовной заботой...

– Дорогой мой детка, – продолжал он через минуту хриплым, дрожащим голосом чуть громче шепота, – дорогой, дорогой детка, пусть у тебя в жизни никогда не будет таких мук, бешенства и отчаяния, тех жутких душевных ран, той бури изначальных ненависти и отвращения, которые вызывал у меня отец – родной *отец!* – и которыми моя жизнь была отравлена с юности! О! Видеть, как он сидит там, такой чопорный, холеный, довольный, непоколебимо уверенный в своей правоте, с елейным, протяжным голосом, в котором звучит безграничное самодовольство, с радостным смехом над своими треклятыми каламбурами, шуточками и остроумными репликами, с ненасытимым восторгом всем, что он – он *один!* – видел, думал, чувствовал, видеть, как он восседает на горной вершине собственного тщеславия – в то время, как мы все голодаем – и пишет стихи о волосах своей дамы сердца – о *волосах*, а *она*, бедная женщина – несчастная, мертвая, невоспетая мученица, которую я имею честь называть матерью, – хрипло произнес дядя, – трудится, как негритянка, покуда он, блестяще разодетый, пишет стихи. Она каким-то чудом поддерживала в нас жизнь, в тех, кому удалось выжить, – с горечью продолжал дядя, – не жалела себя, мыла, шила, штопала, стряпала, когда было что стряпать, – и постоянно уступала проклятой ненасытной похоти этого лицемерного распутника – она трудилась до самой минуты нашего рождения, мы выпадали из ее чрева в то время, когда она склонялась над корытом... Стоит ли удивляться, что я возненавидел даже сам его вид – густые бакенбарды, толстые губы, белые руки, костюм из тонкой ткани, елейный голос, радостный смех, чопорное самодовольство, неодолимое тщеславие и всю жестокую тиранию его мелкой, упрямой, пустой душонки? Черт побери, – хрипло прошептал дядя, – иногда я готов был схватить это жирное горло и стиснуть, хоть он и был моим отцом! И его худощавое лицо вспыхнуло.

– Майор! – негромко пробормотал он наконец. – Ты наверняка слышал, что твоя добрая тетя Мэй говорит о майоре – о его эрудиции, уме, священной непогрешимости всех его суждений, о его белых руках, изысканной одежде, о его нравственной чистоте, о том, что он ни разу не произнес ни единого вульгарного словечка, что в его доме никогда не было ни капли спиртного – и что он не позволил бы твоей матери выйти замуж за твоего отца, если б знал, что твой отец пьет. Об этом образце нравственности, добродетели, чистоты и хороших манер, этом последнем, безупречном, вдохновенном судье и критике всего и вся. О, мой дорогой мальчик, – негромко протянул он с хриплым презрительным смешком, – она женщина и поэтому руководствуется чувством; женщина – и поэтому слепа к логике, к свидетельствам жизни, к законам упорядоченного мышления; женщина – и потому в глубине души консерватор, рабыня обычая и традиции; женщина – потому осторожна и поклоняется идолам; женщина – поэтому страшится за свое гнездо; женщина – поэтому заклятый враг протеста и новизны, ненавидит перемены, яркий свет истины, разрушение освященных временем предрассудков, какими бы жестокими, ложными, постыдными они ни были. О! Она женщина, и ей не понять!..

– Ей *не понять!* – протянул дядя с презрительным смешком. Дорогой мой детка, я не сомневаюсь, что она рассказывала тебе о той мудрости своего отца, его эрудиции и о

безупречном изяществе речи... Чушь! – усмехнулся он.- Отец набирался нелепых суждений, читал всякий вздор, моментально попадался на удочку любого бродячего шарлатана, продающего лекарство от всех болезней, охотно верил всем суеверным пророчествам, астрологическим предзнаменованиям: неправдоподобным слухам, гаданиям и предвестиям... Да, мой мальчик,- прошептал дядя, наклоняясь к Джорджу с таким видом, будто раскрывал ужасающую тайну, – он говорил громкие слова, не понимая их подлинного смысла, стремился произвести впечатление на темных людей изящными фразами, которых не понимал сам. Да! Я слышал, как он говорил таким образом в присутствии людей, не лишенных образованности и ума, видел, как они перемигивались и подталкивали друг друга локтями, пока он делал из себя посмешище, и признаюсь, отворачивался и краснел от стыда, – яростно прошептал дядя, сверкая глазами, – от *стыда*, что мой отец выставляет себя в таком унижительном свете.

С минуту дядя молчал, глядя на холмы в лучах заката. Когда заговорил снова, голос его звучал старчески, устало, с горечью и спокойной обреченностью:

– Нравственные добродетели: чистота, благочестие, изящная речь, никакой вульгарности – да! Полагаю, у отца все это было, – устало сказал дядя Марк. – Ни капли спиртного в доме – да, это правда, но правда и то, что там не было ни еды, ни человеческой благопристойности, ни укромности. Да, мой дорогой мальчик, – внезапно прошептал он, снова чуть повернув голову к Джорджу и перейдя к постыдным откровениям, – знаешь ли ты, что, даже когда мне уже исполнилось двадцать лет и семья переехала в Либия-хилл, мы все – восемь человек – спали в одной комнате с отцом и матерью? И целых три дня! – внезапно со злобой воскликнул он. – Целых три проклятых, незабываемых дня позора и ужаса, оставивших шрам на жизни каждого из нас, тело моего деда Билла Джойнера лежало в доме и разлагалось- *разлагалось!* – Голос его оборвался со всхлипом, и он ударил по воздуху костлявым кулаком, – разлагалось в летней жаре, пока этот смрад не проник в наше дыхание, нашу кровь, наши жизни, в постели, еду и одежду, даже в окружавшие нас стены – и память о нем превратилась для нас в смрад позора и ужаса, который ничто не могло смыть, который заполнял наши сердца ненавистью и отвращением друг к другу – а тем временем мой отец Лафайет Джойнер и этот проклятый, толстогубый, тянувший слова, лицемерный, распутный, как негритянский проповедник-баптист – твой двоюродный дедушка, святой Ранс! – злобно прокричал дядя, – чопорно сидели там в смраде гниющего трупа, спокойно обсуждали, представь себе, утраченное искусство бальзамирования древних египтян, которое *они*, разумеется, единственные на свете, – злобно прорычал он, – открыли заново и собирались применить на этом гниющем трупе!

Он вновь замолчал. Его худощавое, неистовое лицо, которое после уродливых гримас презрения, ярости, насмешки, отвращения стало так странно, благородно спокойным в отрешенном благородстве, горело суровым, каменным бесстрашием в холодном красном зареве заходящего солнца.

– И все же во всех нас была какая-то странность, – продолжал он глухим, спокойным, хриплым голосом, в котором звучали какие-то причудливые, тревожащие холодность и страстность, каких мальчик не слышал ни у кого больше, – нечто слепое и дикое, как природа – осознание нашей неотвратимой судьбы. Только не сочти это самомнением! – воскликнул дядя. – Самомнение, в сущности, такая мелочь! Оно лишь высокое, как горы, широкое, как мир, или глубокое, как океан! То, чем обладали мы, могло противопоставить свою волю всей вселенной, праведность любого нашего деяния – единому могучему голосу и осуждению всего мира, наши нравственные оценки – оценкам самого Бога. – Это убийство? Значит, убийство было не в нас, а в плоти и крови тех, кого мы убивали. Их убийство вырвалось из их грешных жизней просить о кровавой казни от наших рук. Грешник осквернил клинок нашего ножа своим нечистым горлом. Злодей нарочно бросился на острие нашего штыка своим мгрубелым в преступлениях сердцем,

нечестивец в глазах Бога бросился к нам, сунул шею в наши чистые руки и по справедливости сломал ее, мы ничего не могли поделать!..

– Дорогой мой детка, ты уже должен знать, – воскликнул дядя, обратясь к нему с застывшим сверкающим взглядом, с гримасой презрения и ярости, – ты уже наверняка узнал, что никто из Джойнеров не способен совершить дурной поступок. Жестокость, слепое безразличие ко всем, кроме себя, грубое пренебрежение, дети, преступно зачатые в бездумном утолении похоти, рожденные нежеланными и заброшенными в мире убожества, бедности и небрежения, где им предстояло жить или умереть, болеть или быть шоровыми в зависимости от своих способностей к борьбе за выживание, столь же варварски жестокой, как в индейских племенах – эти недостатки могли считаться преступлениями у других, а у Джойнеров были добродетелями! Нет, он мог видеть голодные глаза детей, глядящие на него из темноты, когда безутешные дети ложились спать на пустой желудок, а потом выйти на веранду, слушать легкие, бесчисленные звуки ночи и размышлять о сиянии луны, когда она восходит над холмом за рекой! Мог вдыхать нежное, неистовое благоухание летней ночи и мечтательно слагать стихи о луне, сирени и волосам своей дамы сердца, хотя его дочь тем временем выкашливает жизнь в темноте нищенского дома, – и не обнаруживать в своей жизни никакой вины, никаких недостатков!..

– Мне ли не знать всего этого? – воскликнул дядя. – Я пережил эту муку жизни и смерти, слепого случая, выживания или исчезновения с лица земли. Разум мутился, сердце и вера разбивались при виде того, как мало мы получали любви, каким жестоким, пустым, бессмысленным было угасание! Мой брат Эдвард умер, когда ему было четыре года: в комнате, где жили мы все, он пролежал на своей кровати целую неделю – о! мы смотрели, как он умирает у нас на глазах! – воскликнул дядя, ударив по воздуху кулаком с мукой боли и утраты, – он умер под теми кроватями, на которых спали мы, потому что его кровать каждую ночь задвигали под большую кровать, где спали отец с матерью. Мы стояли, тупо, бессмысленно глядя на него, когда тело его напрягалось, ноги загибались к голове в мучительных конвульсиях – а этот проклятый ханжеский, самодовольный голос все тянул с тщеславием бесконечной самоуверенности «выдвигаю это как собственную теорию», – прорывал дядя, – и хоть в доме постоянно всего не хватало, недостатка в теориях не было, этот неизмеримый кладезь мудрости мог выдвигать теорию за теорией, покуда все не умрут. А Эдвард, слава Богу, умер до истечения недели, – негромко продолжал дядя. – Внезапно, в два часа ночи, когда Великий Теоретик спокойно храпел над ним – пока мы все спали! Он вскрикнул один раз – в этом крике прозвучала вся слепая мука смерти, – и когда мы зажгли свечу, вытащили его кровать, этот несчастный, брошенный ребенок был мертв! Тело его было жестким, будто кочерга, изогнуто назад, как лук, даже когда Благородный Теоретик поднял его – мы еще не успели понять, что он умер, и даже когда несчастная женщина, родившая его, с воплем выбежала из дома, как сумасшедшая, спотыкаясь на бегу, – Бог весть куда, по склону холма, в темноту, в дебри, к реке, – чтобы позвать на помощь соседей, когда помочь уже ничем было нельзя. И отец держал мертвого ребенка на руках, когда она вернулась с этой ненужной помощью...

– О, мой детка, – прошептал дядя, – видел бы ты лицо этой женщины, когда она возвратилась в эту комнату смерти, когда она взглянула сперва на ребенка у него на руках, потом на нас, а он покачал головой и сказал: «Я понял, что он мертв, прежде чем ты вышла за дверь, но у меня духу не хватило сказать тебе, позвать тебя обратно» – о! слышал бы ты ханжескую, горестно-любовную елейность этого голоса, ненасытное, торжествующее тщеславие печали, питающееся смертью собственного ребенка, этот голос говорил мне, как уже тысячу раз, яснее всяких слов: «Я!Я!Я! Другие умирают, но я остаюсь! Смерть, печаль, человеческие страдания и утраты, все горе, ошибки, убожества и несчастья, от которых

страдают люди, происходят для возвеличения этой торжествующей над смертью, всепоглощающей, неподвластной времени вселенной моего Я! Я!Я!». Черт возьми, – хрипло произнес Марк Джойнер, – у меня не было слов, чтобы выразить возмущение, – он ускользнул, как всегда, словно масло между пальцев, говоря эти елейные слова благочестия и печали, к которым никто не мог придраться, – но я ненавидел его до глубины души – я готов был убить его на месте!

Однако теперь, когда мальчик с дядей смотрели с горной вершины на грустную картину заката, на яркие красные и золотистые проблески солнца, заходящего в туманной дымке за крутые склоны гор, ветер наполнял сердце мальчика сиротливой бесприютностью, тоской по домам, улицам, привычным разговорам, страстным желанием возвращения.

Потому что черная, бурная ночь, неизбежная, загадочная, таинственная, с тоскливым неистовством бури, безумными криками и бесприютностью надвигалась на них, словно враг. И на одинокой иершине свистел ветер в сухой, жесткой траве, а внизу неслось отдаленное завывание ветра, ведущего непрестанную, суровую войну с гибкими ветвями безлиственных, сиротливых деревьев.

И мальчик сразу же увидел внизу город, теперь курящийся множеством очажных дымков, являющий дружелюбно мерцающими огоньками свое великолепное, уютное расположение, свои трогательные, страстные залюбки крова, тепла, уюта, еды, любви. Город говорил мальчику о чем-то бессмертном и неодолимом в людских душах, напоминающем крохотный огонек в бескрайней тьме, который никогда не погаснет. И надежда, порыв, страстное стремление, радость, неодолимое желание спуститься и город наполнили его сердце. Потому что в надвигающейся неистовой, бурной ночи не было двери, и мысль остаться в темноте на горной вершине была невыносима.

Потом они с дядей спускались по горному склону, избрав самый короткий, самый крутой путь, стремились обратно к знакомым пределам города, улиц, домов, огней с чувством неистовой поспешности, пребывания на волосок от смерти, словно громадный зверь тьмы крался за ними по пятам. Когда вновь оказались в городе, он встретил их туманной, дымной, неизменной и странно волнующей атмосферой декабрьского вечера, запахами ужина из множества домов. Ароматы еды были сильными, аппетитными, сообразными зимнему времени, жгучему, вызывающему голод резкому, ядреному воздуху. Ощущались запахи жареного мяса, рыбы, приятное, жирное благоухание свиных отбивных. Запахи тушеной печенки, жареных цыплят и самый острый, смачный запах рубленого бифштекса с жареным луком.

В этом замечательном домашнем запахе были не только глубокое довольство и покой насыщения, он почему-то вызывал у мальчика мысль и о нежной, миловидной, опрятной, желанной молодой жене, о восхитительных ночных удовольствиях, о страстных любовных играх, когда свет погашен, весь дом погружен в темноту, и сильные, сумасшедшие ветры с холмов обдают его резкими порывами. Этот образ наполнял его сердце неудержимой радостью, пробуждал вновь прекрасную надежду на простое, бесценное, интимное счастье супружеской любви, доступное любому – мяснику, пекарю, фермеру, инженеру, продавцу, точно так же, как и поэту, ученому, философу.

То был образ супружеской любви, вечно пылкой, сильной, верной, чистой и нежной, ни в коем случае не вероломной, грязной, охладелой, угасшей, неизменно горячей и страстной в темные часы ночи, когда сильные ветры бьются о дом. Она являлась бесценным сокровищем, единственным в своем роде владением одного человека, и вместе с тем, подобно бифштексу с жареным луком, простой радостью, высшим блаженством, на которое, как думал мальчик, может надеяться любой человек.

Так этот сильный домашний аромат плотной еды, сообразной зимнему времени, вызывал

множество образов теплоты, надежных домашних стен, ревущего огня и весело освещенных им запотевших окон. Двери были затворены, окна закрыты, все дома жили своей тайной, замечательной, уединенной жизнью, почему-то пронзающей душу прохожего какой-то неистойой и грустной радостью, какой-то сильной приязнью к человеческой жизни, столь беззащитной перед загропляющим ужасом ночи, бури, вечного мрака, и, однако же, обладающей бессмертной решимостью возвести стены, разжечь огонь, закрыть дверь.

Вид этих великолепных закрытых домов с их теплотой жизни пробуждал в мальчике горькое, мучительное, причудливо двойственное чувство изгнания и возвращения, одиночества и уюта, вечной отдаленности от непроницаемого, манящего покровы жизни душа в душу и такой близости к нему, что он мог коснуться его рукой, войти в него через некую дверь, овладеть им с помощью какого-то слова – слова, которого почему-то ему никогда не сказать, дверь, которой, почему-то, никогда не открыть.

Когда отец Джорджа Уэббера скончался в 1916 году, мальчик был безутешен. Правда, Джордж в течение восьми лет был разлучен с отцом, но, как сам говорил, постоянно ощущал его рядом. Теперь сильнее, чем прежде, он почувствовал себя крепко застрявшим в той паутине ушедших, но вечно сущих времен и жизней, которой опутала его джойнеровская родня, и как-то вырваться из нее стало для него главной необходимостью.

К счастью, Джон Уэббер оставил сыну небольшое наследство – достаточное, чтобы окончить колледж и при тщательной бережливости помочь ему впоследствии ступить на свою стезю. Поэтому той осенью, с грустью и ликованием, он простился со всей джойнеровской родней и отправился в свое великое приключение.

А после занятий он мечтал о славе в новых землях, о замечательном будущем в ярко сияющем городе.

10. ОЛИМП В КЭТОУБЕ

В один из сентябрьских дней 1916 года тощий юнец с дешевым чемоданом, одетый в куцый пиджачок и облегающие брюки, едва достигающие до лодыжек, шел по одной из аккуратных дорожек, пересекающих живописную территорию старого колледжа на среднем Юге, то и дело несколько растерянно, недоуменно оглядывался по сторонам и с сомнением поглядывал на листок бумаги в руке, где явно были написаны какие-то указания. Едва он вновь поставил чемодан и сверился с листком в шестой или седьмой раз, из старого общежития с краю городка кто-то вышел, вбежал по ступеням и широко зашагал по дорожке, на которой стоял юнец. Тот поднял взгляд и слегка поперхнулся, увидя, что красивое, словно пантера, создание с грациозностью, быстротой, ловкостью большой кошки приближается к нему.

Ошеломленный юнец совершенно лишился дара речи. Даже ради спасения собственной жизни он не смог бы членораздельно заговорить; а если бы и смог, то не посмел бы обратиться к столь великолепному созданию, словно бы созданному по иным меркам для иной вселенной, более олимпийской, чем могло присниться любому юнцу. Но, к счастью, великолепный незнакомец взял дело в свои руки. Подойдя своей изящной поступью, легонько ударяя руками по воздуху с безупречной прирожденной грацией, он бросил на юнца быстрый, острый взгляд пронизательных блестящих серых глаз, улыбнулся с весьма приветливым, ободряющим дружелюбием – в улыбке сквозили нежность и юмор, потом очень мягким, южным голосом, чуть хриловатым, в котором, несмотря на всю его приятную, ласковую теплоту, слышалась громадная жизненная сила, сказал:

– Ищешь что-нибудь? Я, пожалуй, смогу помочь.

– Д-да, сэр, – выдавил не сразу юнец и, обнаружив, что язык не повинуется ему, протянул дрожащей рукой мятый листок бумаги.

Великолепный незнакомец взял его, быстро глянул блестящими серыми глазами и улыбнулся.

– А, ищешь Мак-Ивер. Новичок, значит?

– Д-да, сэр, – прошептал юнец.

Великолепный молодой человек еще несколько секунд, чуть склонив голову набок, оценивающе смотрел на собеседника, в его серых глазах и приятной улыбке сквозили нарастающие юмор и удивление. Наконец он откровенно рассмеялся, но так обезоруживающе, дружелюбно, что это не могло задеть даже оробевшего юнца.

– Провалиться мне на месте, ты сущее пугало! – сказал великолепный молодой человек и еще несколько секунд пронизательно, но с юмором разглядывал собеседника, легко поставив сильные руки на бедра с бессознательной грациозностью, прису щей всем его движениям.

– Ладно, – негромко произнес он. – Наставлю тебя на путь, новичок.

С этими словами он положил сильные руки на плечи юнца, развернул его и мягко спросил:

– Видишь эту дорожку?

– Д-да, сэр.

– А здание в ее конце – с белыми колоннами по фасаду?

– Да, сэр.

– Так вот, – спокойно, неторопливо сказал молодой олимпиец, – это и есть Мак-Ивер. То самое здание, которое ты ищешь. А теперь, – очень мягко продолжал он, – тебе нужно только взять свой чемодан, идти прямо по дорожке, подняться по вон тем ступеням и войти в первую дверь справа. Все остальное сделают другие. Там регистрация. – И, подождав немного, чтобы эти сведения усвоились, легонько встряхнул юнца за плечи и любезно спросил:

– Ну как, все понял? Сможешь сделать то, что я сказал?

– Д-да, сэр.

– Отлично! – С поразительными быстротой и грациозностью, присущими всем его движениям, олимпиец выпустил юнца, запрокинул красивую голову и заливисто, мягко, совершенно обезоруживающе засмеялся. – Отлично, новичок. Ступай. И смотри, не поддавайся на розыгрыши тех второкурсников.

Юнец, заикаясь, робко и вместе с тем признательно поблагодарил, торопливо поднял чемодан и отправился выполнять указания высокого олимпийца. Идя по дорожке, он вновь услышал негромкий, залиvistый, обезоруживающий смех и понял, что олимпиец смотрит ему вслед пронизательными серыми глазами, с прирожденной, бессознательной грацией поста-вляя руки на бедра.

Джордж Уэббер никогда в жизни не забывал этой встречи. Память о ней ничуть не потускнела даже двадцать с лишним лет спустя. Потому что он был тем самым тощим юнцом, а олимпиец, хотя Джордж тогда не мог знать этого, был известен своим темным товарищам как Джим Рэндолф.

Спустя много лет Джордж будет по-прежнему утверждать, что Джеймс Хейуорд Рэндолф был самым красивым мужчиной, какого он только видел. Джим являлся созданием такой силы и грациозности, что воспоминания о нем впоследствии стали походить на легенду. Легендой, увы, он был даже тогда.

Джим был человеком, совершавшим блестящие, героические деяния, и обладал соответствующей внешностью. Казалось, он специально создан природой, дабы соответствовать самым взыскательным требованиям писателей-романтиков. Он являл собой героев книг Ричарда Хардинга Дэвиса, Роберта У.Чеймберса, Джеффри Фарнола, в нем воплощались все бесстрашные молодые люди из кинофильмов, все футбольные герои с обложек журнала «Сатердей ивнинг пост», все молодые люди с рекламы одежды – он был всеми ими вместе взятыми и представлял собой нечто большее, чем все они вместе взятые. Красота его сочеталась с истинным мужеством, физическое совершенство – с природной несравненной грациозностью, правильность черт лица – с силой, умом, добротой и юмором, недостижимыми для всех героев романтической литературы.

Джим являл собой классический тип рослого молодого американца. Он был чуточку ниже шести футов трех дюймов и весил сто девяносто два фунта. Двигался с несравненными грациозностью и мощью. При виде того, как Джим идет по улице, создавалось ошеломляющее впечатление, что он ведет мяч и вот-вот помчится с ним к воротам. Двигался он в каком-то четком ритме, больше всего наводящем на мысль о скаковой лошади, направляющейся от загона к линии старта. Ступал легко, изящно, словно кошка, казалось, его сильные руки легонько ударяют по воздуху, жест этот был не подчеркнутым, но очевидным, и подобно его походке, осанке и всему прочему наводил на мысль о громадных кошачьих быстроте и силе – сдерживаемых, дрожащих, готовых высвободиться, словно пантера в прыжке.

Все в нем обладало изящной, сдержанной, выразительной грациозностью породистого животного. Главными особенностями были поджарость, легкость и быстрота. Голова его была небольшой, изящной формы. Черные волосы были коротко острижены. Уши, тоже изящной формы, плотно прилегали к голове. Над серыми, очень глубоко сидящими глазами нависали густые брови. В минуты гнева или любого сильного чувства глаза темнели и становились почти черными. Обычно они излучали громадную скрытую жизненную силу кошки. Эта изящная голова гордо восседала на сильной, худощавой шее и широких, могучих плечах. Руки были длинными, мускулистыми; кисти рук – большими и сильными. Все тело его формой

напоминало клин: торс от широких плеч постепенно скашивался к тонкой талии, потом фигура несколько расширялась к узким бедрам, потом завершалась изящными длинными ногами. Речь и голос Джима тоже создавали впечатление кошачьей силы. Голос был мягким, негромким, очень южным, чуть хриловатым, исполненным скрытых страсти, доброты и юмора, и свидетельствующим, насколько это возможно для голоса, о громадной, словно у пантеры, жизненной силе этого человека.

Происходил Джим из хорошей южнокаролинской семьи, однако его ветвь обеднела. Бремя самообеспечения легло на его плечи еще в школьные годы, и в результате он набрался такого опыта, какого мало кто набирается за целую жизнь. Казалось, он занимался всем и бывал повсюду. Когда Джордж познакомился с ним в колледже, Джим был уже двадцатидвухлетним, на несколько лет старше большинства студентов, а по жизненному опыту взрослее лет на двадцать. Чего он только не повидал за свою недолгую жизнь. Около двух лет преподавал в сельской школе. Отправился в годичное плавание на грузовом судне из Норфолка, побывал в Рио и Буэнос-Айресе, обошел весь Берег Слоновой Кости в Африке, заходил в средиземноморские порты, «имел» женщин (он любил этим хвастаться) «на четырех континентах и в сорока семи штатах». Торговал летом книгами в процветающих сельскохозяйственных штатах Среднего Запада. Некоторое время работал коммивояжером и в этом качестве «побывал во всех штатах, кроме одного». Орегона. Женщин в этом штате он, разумеется, не «имел», это упущение, судя по всему, немало его беспокоило, и он клялся, что исправит его, если только Бог даст ему еще несколько лет жизни.

В дополнение ко всему этому он два сезона играл в профессиональный – или «полупрофессиональный» – бейсбол в одном из текстильных городов Юга. Его описание этого эпизода было красочным. Играл он под вымышленной фамилией, чтобы сохранить положение любителя и свое будущее студента-спортсмена. Работодателем его был владелец хлопкопрядильной фабрики. Жалованье составляло сто пятьдесят долларов в месяц плюс дорожные расходы. За эти деньги он должен был раз в неделю являться в контору фабрики и вытряхивать мусорные корзины. В дополнение к этому руководитель команды каждые две недели пел его в бильярдную, клал шар в двух дюймах перед лузой и заключал со своим юным первым бейсменом пари, что тот не сможет загнать его.

Когда Джордж познакомился с ним в колледже, Джим уже стал по крайней мере для молодых людей двух штатов почти легендарной личностью. Событие, которое запечатлело его в их сердцах, обеспечило ему бессмертие среди всех, кто учился когда-либо в Пайн-Рокском колледже, представляло собой вот что:

Двадцать лет назад одним из самых значительных событий на Юге являлся ежегодный футбольный матч между Пайн-Роком и старым виргинским колледжем Монро-Мэдисона. Оба колледжа были маленькими, но одними из старейших на Юге, и эта встреча в День Благодарения была освящена почти всеми элементами традиции и давности, придававшими ей колорит. То был отнюдь не просто футбольный матч, отнюдь не просто соперничество между двумя сильными командами, претендующими на звание чемпиона, потому что даже в то время на Юге существовали лучшие футбольные команды, и проходили матчи, гораздо более значительные с точки зрения спортивного мастерства. Однако встреча Монро-Мэдисона с Пайн-Роком напоминала гребные состязания между Оксфордом и Кембриджем на Темзе, или матч между армией и флотом, или ежегодное соперничество между Йелем и Гарвардом – была своего рода церемонией, историческим событием, уже тогда имевшим почти двадцатилетние корни в связи двух старых колледжей, история которых неразрывно переплеталась с историей штатов. Поэтому не только для сотен студентов и тысяч выпускников, но и для сотен тысяч

людей в обоих штатах этот матч в День Благодарения был интереснее и значительнее всех прочих.

У Пайн-Рока еще не бывало лучшей команды, чем в тот год. Рэби Беннет играл в защите, Джим Рэндолф стоял в центре, чуть пригнувшись и положив на колени большие руки, а Рэнди Шеп-пертон подавал из-за центральной линии сигналы к атаке. Джим мог бежать только по правому краю; никто не знал, почему, но это было так. Противники всегда знали, куда он побежит, но остановить его не могли.

В тот год Пайн-Рок выиграл у Монро-Мэдисона впервые за девять лет. То был великий год, год, которого пайн-рокцы ждали весь этот злосчастный период, год, на пришествие которого они так долго надеялись, что почти утратили надежду, год чуда. И когда он наступил, они поняли. Ощущали его в воздухе всю осень. Вдыхали с запахом дыма, чувствовали в покусывании мороза, слышали в шуме ветров, в стуке желудей о землю. Они чувствовали его, вдыхали его, говорили о нем, молились о нем со страхом и надеждой. Они ждали его девять долгих сезонов. И теперь поняли, что он наступил.

В тот год пайн-рокцы даже отправились в Ричмонд. Теперь об этом трудно рассказывать. Трудно передать страстную, пылкую надежду того нашествия. Их уже нет и в помине. Пайн-рокцы приезжают в большие города вечером накануне матча. Ходят по ночным клубам и барам. Танцуют, пьют, предаются разгулу. Берут на матчи девушек, одеваются в меховые шубы и дорогие костюмы, пьют во время матча. Собственно говоря, не видят игры и ничуть не волнуются. Они надеются, что их машина работает лучше чужой, наберет больше очков, одержит победу. Надеются, что их наемные работники вырвутся вперед, но не волнуются. Не знают, чего тут волноваться. Стали слишком умными, знающими, самоуверенными для этого. Они недостаточно пылки, провинциальны и наивны, чтобы волноваться. Слишком беззаботны. Трудно испытывать страсть, глядя на работу механизма. Трудно волноваться из-за усилий наемных работников.

В тот год было не так. Они очень волновались – так, что чувствовали привкус волнения во рту, слышали его биение в пульсе. Так, что голодали, копя деньги на эту поездку, урезали до предела расходы на покупку новой одежды на смену изношенной. Большею частью эти ребята были бедными. В среднем они тратили не более пятисот долларов в год, две трети их работали ради большей части этой суммы. Большая часть их приехала из сельской местности, из городков в горах, в Пидмонте, в сосновых лесах вдоль побережья. Многие приехали с ферм. Остальные из маленьких городков. Больших городов в штате не было.

Они были, собственно говоря, студентами старого, бедного, шхолустного колледжа. И жили прекраснейшей жизнью. Это был прекраснейший колледж со всеми его старозаветной провинциальностью, аскетизмом выбеленных известкой спален, колодцем и уединенностью в пидмонтских нагорьях старого штата. Он превосходил все другие учебные заведения «на голову». Превосходил Гарвард, превосходил Йель, превосходил Принстон. Жизнь там была лучше, чем в Кембридже или Оксфорде. Была скудной, трудной, безденежной, во многих отношениях ограниченной и провинциальной, но зато чудесно подлинной.

Эта жизнь не отгораживала их от действительности, не укры-иала и не обособляла, не превращала в снобов, не заслоняла суровой, грубой картины мира роскошью и уединением. Они все знали, откуда вышли. Знали, откуда берутся деньги, потому что им они доставались трудно. Знали все не только о своей жизни, но и о жизни всего штата. Правда, они мало что знали о любой другой жизни, но окружающую знали досконально. Знали жизнь всего городка. Знали каждую женщину, каждого мужчину и ребенка. Знали историю и характер каждого. Знали их особенности, их недостатки, их пороки и добродетели; были преисполнены понимания, юмора и наблюдательности. Это была умеренная и, возможно, ограниченная жизнь, но они имели то,

что имели, знали то, что знали.

И они знали, что в том году должны победить. Ради этого копили деньги. Готовы были отправиться в Ричмонд даже пешком. У Джорджа это затруднений не вызывало. Ему предстояло сделать очень простой экономический выбор. Купить новое пальто или ехать в Ричмонд, и, как любой разумный юноша, он выбрал поездку.

Я сказал, что у него был выбор между Ричмондом и новым пальто. Точнее будет сказать, что у него был выбор между поездкой и пальто. Единственное, какое у него было в жизни, позеленело от старости и расползлось по швам за год до того, как он поступил в колледж. Но деньги на новое у него были, и он решил потратить их на поездку в Ричмонд.

Джим Рэндолф как-то прознал об этом – возможно, просто догадался. Команда выезжала за два дня до матча. Остальные за день. Они устроили праздничный костер и воодушевляющий митинг перед отъездом команды, а когда он кончился, Джим повел Джорджа к себе в комнату и протянул ему свой свитер.

– Надевай.

Джордж надел.

Джим, поставив сильные руки на бедра, наблюдал за ним.

– Теперь надень свой пиджак.

Джордж надел пиджак поверх свитера. Джим глянул и расхохотался.

– Боже всемогущий! – воскликнул он. – Ты пугало!

Он в самом деле был пугалом! Свитер поглотил Джорджа, окутал, словно громадное одеяло; рукава высывались на добрых четыре дюйма, низ доходил чуть ли не до колен. Сидел свитер плохо, но грел хорошо. Джим снова поглядел на Джорджа, медленно покачал головой, сказал: «Провалиться мне на месте, ты сущее пугало!», – взял чемодан и надел шляпу (Джим носил черные или серые фетровые шляпы с широкими полями, но не мягкими, опущенными, как у южных политиков, он всегда был разборчив в одежде, шляпа, как и все остальное, подчеркивала его силу и зрелость). Потом, обратясь к юнцу, сурово сказал:

– Вот что, новичок. Поезжай в Ричмонд в этом свитере. Если увижу, что ты ходишь в своем пиджачке, так надаю по мягкому месту, что сесть не сможешь. – И вдруг негромко, хрипловато, нежно и совершенно обезоруживающе засмеялся. – До свиданья, малыш.

Затем положил на плечо свою большую руку.

– Носи этот свитер. Ничего, что он так сидит на тебе. В нем будет тепло. Увидимся после матча.

И с этими словами ушел.

Носить его! Джордж с той минуты жил в нем. Не расставался с ним, не мог ему нарадоваться, готов был сражаться за него и погибнуть, как ветеран армии генерала Ли за свое боевое знамя. То был не просто свитер Джима. То был свитер Джима с большими белыми инициалами «ПР», освященный множеством одержанных в нем славных побед. То был прославленный свитер Джима, самый знаменитый в колледже, – Джорджу казалось, что и во всем мире. Если б ему на плечи вдруг набросили горностаевую мантию его величества короля Великобритании и Индии, эта честь не могла бы произвести на него большего впечатления.

И все остальные считали так же. По крайней мере, все первокурсники. Среди них не было ни единого, кто немедленно не снял бы пальто, если б Джордж предложил обменять его на этот свитер.

В этом свитере он и поехал в Ричмонд.

Но как передать захватывающее великолепие того путешествия? С тех пор Джордж Уэббер поездил немало. Исколесил Север и Юг, Запад и Восток на великолепных американских

поездах. Не раз, подперев голову рукой, смотрел в темноте с вагонной полки на проплывающие мимо призрачные, тусклые виды Виргинии. Пересекал пустыню, горные цепи в лунном сиянии, больше десятка раз бороздил бурное море и знал скорость и мощь больших лайнеров, ездил до Парижа от бельгийской границы в мчавшихся с сумасшедшей скоростью экспрессах, видел громадную протяженность огней вдоль берегов Средиземного моря в Италии, старые, зачарованные, наводящие на мысль об эльфах чудесные леса Германии, тоже в темноте. Однако ни единое путешествие днем или ночью не обладало увлекательностью, великолепием, радостью той поездки в Ричмонд двадцать лет назад.

Праздничный костер с пляшущими языками пламени, красный отсвет на старых кирпичных стенах и сухом осеннем плюще, возбужденные лица восьмисот юношей, звон старого колокола на башне. А потом поезд. Маленький, жалкий. Он казался реликвией былой Конфедерации. Труба маленького пыхтящего паровоза расширялась кверху. Старые деревянные вагоны были покрыты коркой вьевшихся за сорок лет золы и сажи. Половина старых, обитых красным, дурно пахнущим плюшем сидений была разломана. Студенты набились в вагоны битком. Они теснились в проходах, в тамбурах, залезали на тендер, облепили весь грязный состав, будто саранча. Наконец старый колокол заунывно прозвонил, раздался пронзительный свисток, и под аккомпанемент их громких радостных возгласов старый паровоз дернул, ржавые сцепы звякнули – они отправились в путь.

Мчась к узловой станции, находящейся в четырнадцати милях, паровоз сошел с рельсов, но студентов это не расстроило. Они вылезли, обступили его и дружно помогли старику машинисту с помощью рычагов, домкрата и уговоров вновь поставить локомотив на ржавые рельсы. В конце концов они добрались до узловой станции, где уже стоял заказанный для них поезд. Студенты влезли в десять пыльных, грязных вагонов компании «Сиборд Эйр Лайн», и те, кто смог, расселись. Десять минут спустя они ехали в Ричмонд. Всю ночь они катили на север, по штату Виргиния, и, едва забрезжил серый рассвет, прибыли в его столицу.

Джордж Уэббер потом бывал в этом старом городе еще много раз, однако никогда больше не испытывал такой невозможной, невероятной радости, как в ту ночь. В Ричмонде студенты с веселыми криками высыпали из вагонов. Вышли на безлюдную Гэй-стрит. И шумной толпой отправились по ней мимо темных лавок и магазинов вверх по склону холма к Капитолию. Когда подошли к нему, купол его освещали первые лучи утреннего солнца. Воздух был свежим, морозным. Деревья в парке вокруг Капитолия и холма обладали восхитительной, чистой суровостью утра, рассвета, мороза, ноября.

Зрелище того, как просыпается громадный город – большинству из них Ричмонд казался громадным, – произвело волнующее впечатление, для многих совершенно новое. На то, как с грохотом, лязгая на стрелках, проезжают первые трамваи, они смотрели с такими изумлением и радостью, каких еще никто не испытывал при взгляде на трамвай. Будь это первые трамваи на свете, будь это восхитительные, волшебные машины с Марса или с лунных шоссе, они бы не могли показаться пайн-рокцам более изумительными. Окраска их была ярче всех других, сияние света небывало сияющим, пассажиры, читающие утренние газеты, более загадочными, более интересными, чем все люди, каких они только видели до сих пор.

Они чувствовали соприкосновение с чудом и жизнью, с очарованием и историей. Видели здание законодательного собрания штата и слышали орудийную пальбу. Знали, что Грант стоит у ворот Ричмонда. Что Ли окапывается милях в двадцати, возле Пи-терсберга. Что Линкольн выехал из Вашингтона и ждет вестей в Сити-Пойнте. Что под Вашингтоном Джубал Эрли садится в седло. Они чувствовали, сознавали, ощущали причастность всему этому и еще многому. Знали, что находятся у ворот легендарного, неведомого Севера, что к их услугам большие поезда, что они могут за час-другой домчаться до громадных городов. Ощущали пульс

сна, сердцебиение спящих мужчин, легкое ворочанье в вялой дреме живущих в богатстве и роскоши красивых женщин. Чувствовали мощь, близость, подлинность всего священного и очаровательного, всех радости, прелести, красоты и чудес, какие только есть на свете. Каким-то образом сознавали причастность к ним. Торжество какого-то неминуемого славного свершения, невысказанного успеха, невероятного достижения было волнующе близко. Они знали, что оно наступит – скоро. И, однако, не могли бы сказать, откуда и почему знают.

Они заходили толпами в закулочные и рестораны на Брод-стрит; самые богатые искали роскоши больших отелей. Поглощали обильные завтраки, дымящиеся стопки пшеничных лепешек, но несколько порций яичницы с ветчиной, пили чашку за чашкой крепкого обжигающего кофе. Наедались, курили, читали газеты. Самые скромные закулочные казались им раем гурманов.

Утро полностью вступило в свои права, и чистый холодный спет косо падал на улицу с восхитительной резкостью. Все на свете казалось до невозможности хорошим, радостным и, они это чувствовали, принадлежало им. Казалось, что ричмондцы им улыбаются. Что дожидались их всю ночь, готовились, стремились оказать им самый лучший прием. Что все эти люди не только ждут победы Пайн-Рока, но и жаждут ее. Что все девушки прелестны и с нежностью поглядывают на них. Что все жители города широко открыли им свои сердца и дома. Они увидели флаг своих расцветок, и им показалось, что весь город разукрашен к их приезду. Отели были переполнены ими. Негры-рассылные весело бросались выполнять их поручения. Продавщицы им улыбались. Они могли получить все, что угодно. Весь город был к их услугам. По крайней мере, они думали так.

Утро прошло. В половине второго они отправились на стадион. И одержали победу. Игра, насколько запомнилось Джорджу, была скучной. Маловпечатляющей, если не считать того существенного факта, что они победили. Они ждали очень многого. А когда вкладываешь в мечту столько пыла, страсти, воображения, итог всегда приносит разочарование. Они ждали выигрыша с большим счетом. Команда у них была гораздо лучше, чем у противника, но все годы поражений воздвигли перед ними огромное психологическое препятствие. Они выиграли матч единственным голом. Счет был шесть : ноль. Они даже не смогли забить второго гола. Нога подвела Рэнди впервые за весь сезон.

Но что игра окончилась именно так, было к лучшему. Это была игра Джима. Вне всяких сомнений. Целиком и полностью его. В третьем периоде он сделал то, чего от него и ожидали. Побежал направо, петляя и легонько ударяя руками по воздуху, обнаружил возможность прорваться, прибавил скорости, обошел крайнего защиты, сделал перебежку в пятьдесят семь ярдов и забил гол. Команда получила шесть очков, и все их принес ей Джим.

Впоследствии вся эта история обрела чистую, скупую четкость легенды. Все подробности игры забылись напрочь. Остался в памяти лишь самый существенный, самый яркий факт – то была игра Джима. Ни единый матч не приводил еще к такому классическому, полному единодушию в оценке главного героя. Было даже хорошо, что он забил всего один гол, совершил одну перебежку. Если б добился большего, это повредило бы единству и яркости их позднейшего представления. А так оно было совершенным. Их герой сделал именно то, чего от него ждали. Сделал по-своему, в своей безупречной, несравненной манере, впоследствии только это и помнилось. Весь матч забылся. В глазах у них стоял только Джим, бегущий по правому краю, легонько ударяя по воздуху правой рукой, мяч, лежащий в сгибе его длинной левой руки и затем брошенный на всем бегу.

Это был апогей жизни Джима, вершина его славы. Что бы он ни совершил потом, ничто не могло затмить полнейшего ликования той блистательной минуты. Ничто никогда не могло сравниться с нею. То были торжество и трагедия, но в ту минуту Джим, бедняга Джим, мог

ощущать только торжество.

На другой год в апреле Соединенные Штаты вступили в войну. Еще до первого мая Джим Рэндолф уехал в Оглторп. Он приезжал несколько раз проведать товарищей, пока проходил курс обучения. Приехал один раз осенью, после окончания школы, за неделю до отплытия во Францию. Он был первым лейтенантом. Самым красивым человеком в военной форме, какого только видел Джордж. Стоило только взглянуть на него, и становилось ясно, что война выиграна. Джим отплыл за океан перед Днем Благодарения; перед Новым годом он был на фронте.

Джим полностью оправдал ожидания товарищей. Он участвовал в бою при Шато-Тьери. После этого стал капитаном. Едва не погиб под Аргоннским лесом. До них сперва дошло сообщение, что он пропал без вести. Потом, что убит. Потом наконец, что тяжело ранен, вероятность выжить невелика, а если выживет, останется калекой. Он пролежал в турецком госпитале чуть ли не год. Потом несколько месяцев в Ньюпорт Ньюс. Товарищи снова увидели его только весной 1920 года.

Вернулся он красивым, как всегда, великолепным в мундире с капитанскими нашивками, ходил с тростью, но выглядел, как прежде. И тем не менее был очень хрупок здоровьем. Ранен он был в область позвоночника. Носил кожаный корсет. Однако состояние его улучшилось; он мог даже понемногу играть в баскетбол. Слава его была велика, как всегда.

И все же они каким-то образом понимали, что чего-то лишились, что утратили нечто бесценное, невозместимое. И когда глядели на Джима, в их взглядах сквозили печаль и сожаление. Ему было бы лучше погибнуть во Франции. Его постигла печальная судьба тех, кто живет, чтобы увидеть себя легендой. Жила только легенда. Сам человек стал для них просто призраком.

Джим, пожалуй, был одним из тех, кого интеллектуалы впоследствии назвали «потерянным поколением». Но война не сломила Джима. Она уничтожила его. Джим, в сущности, принадлежал не к потерянному, а к отжившему поколению. Жизнь его окончилась с войной. В двадцать шесть или двадцать семь лет Джим отстал от жизни. Он прожил слишком долго. Принадлежал другому времени. Все они это понимали, хотя тогда никто из них не мог об этом говорить.

Правда заключается в том, что та война провела духовную границу в жизни всех пайн-рокских студентов. Разделительная линия прошла прямо по лицу времени и истории, четкая, осязаемая, как стена. Жизнь их до войны была не той, что предстояла им после. Чувства, мысли, убеждения их отличались от послевоенных. Америка, которую они знали до войны, весьма отличалась от послевоенной. Это было очень странно, очень печально, очень сбивало с толку.

Началось все с большими надеждами. Джордж до сих пор помнит, как ребята раздевались перед медиками в старом спортзале. Помнит весенние ветры, отмечающие появление первых травы и листьев, и всех своих товарищей, с ликованием шедших на войну. Помнит ребят, выходявших из общежитий с чемоданами, Джима Рэндолфа, спустившегося по ступеням южного общежития и подошедшего к нему, его бодро:

– Пока, малыш. Придет и твой черед. Увидимся во Франции.

Джордж помнит, как они приезжали из учебных лагерей новоиспеченными вторыми лейтенантами, гордыми, красивыми, в ладно скроенных мундирах с серебряными нашивками. Помнит все – воодушевление, пыл, верность и преданность, радость, гордость, ликование и восторг. Неистовое оживление, когда они узнавали, что мы побеждаем. Оживление – и горечь – когда мы победили.

Да, горечь. Кто-то всерьез думает, что они радовались? Что хотели конца войны? Он

ошибается. Они любили войну, мечтали о ней, стремились на нее. Устами говорили то, что устам было положено говорить, но в глубине души молились:

– Господи, пусть война не кончается. Пусть длится, покуда мы, юные, не окажемся на ней.

Теперь они могут это отрицать. Если угодно, пусть отрицают. Это правда.

Джордж до сих пор помнит, как пришла весть об окончании войны. Как звонил в большой колокол. Как изо всей силы тянул за веревку, как она отрывала его от пола, как высоко над ним в темноте колокол, раскачиваясь, звоном разносил эту новость, как ребята выбегали из дверей по всему городку, и как по его лицу струились слезы.

Джордж был не единственным, кто плакал в тот вечер. Потом они говорили, что плакали от радости, но это неправда. Плакали они от горечи. Оттого, что война кончилась, что мы победили, что всякая такая победа приносит множество огорчений. Оттого, что знали – в мире что-то окончилось и началось нечто новое. Оттого, что знали – нечто навсегда ушло из их жизни, на смену входит нечто новое, и жизнь их уже никогда не будет прежней.

11. ПОХОЖИЙ НА СВЯЩЕННИКА

Когда Джордж поступил в колледж, Джералд Олсоп стал своего рода заботливой мамашей наивных первокурсников, руководителем и наставником всей их неоперившейся стаи.

С первого взгляда он казался огромным. В то время молодой человек девятнадцатидвадцати лет, он весил почти триста фунтов. Но при более пристальном взгляде становилось ясно, что этот громадный вес держится на очень маленьком скелете. Рост его составлял от силы пять футов шесть-семь дюймов. Ступни для человека такой дородности были поразительно маленькими, кисти рук, если бы не их пухлость, мало чем отличались бы от детских. Живот, разумеется, был внушительным. По толстой шее спускались от подбородка жировые складки. Когда он смеялся, смех вырывался изнутри громким, удушливым, взрывным воплем, отчего жир на шее и громадное брюхо тряслись, словно желе.

У него было очень богатое, острое чувство юмора, этот юмор с громким, удушливым смехом и громадным трясущимся животом создал ему среди многих студентов репутацию покладистого и добродушного. Однако более наблюдательные замечали, что это впечатление несколько обманчиво. Если в нем пробуждались вражда или предубеждения, он мог точно так же громко смеяться, но тут уже в смехе появлялась новая нотка, потому что большой, конвульсивно подрагивающий живот наполнился желчью. Он представлял собой странную личность с причудливым смешением разнородных свойств, характер, в котором было много хорошего, много возвышенного и утонченного, много теплого, нежного и даже благородного, однако немало и мстительности, злопамятства, предубеждений и сентиментальности. Словом, в этом характере было слишком много женского и, пожалуй, это являлось основным его недостатком.

Пайн-Рок – небольшой краснокирпичный баптистский колледж на кэтоубском суглинке в окружении сосен – раскрепостил его. В этом новом и несколько более свободном мире он быстро развернулся. Живой ум и острословие, громкий утробный смех и покладистость сделали его не только приятным собеседником, но и одним из общих любимцев. В колледж Олсоп поступил осенью тысяча девятьсот четырнадцатого. Через два года, когда Джордж последовал по его стопам, он был уже студентом предпоследнего курса, занявшим прочное положение в этой среде: председательствующим членом одного из кружков; руководителем одной из группировок; уже похожим на священника, заботливым и покровительственным, отцом-исповедником младших ребят, главным образом первокурсников, которых объединил под своим крылышком, и которые приходили к нему, как, должно быть, недавно к матерям, чтобы излить на его сочувственной груди свое горе.

Джерри – его все звали так – любил исповеди. Они были и останутся сильнейшим возбудителем в его жизни. И роль исповедника подходила ему больше всего: природа сотворила его для выслушивания. Впоследствии он любил говорить, что только на втором курсе по-настоящему «нашел» себя; строго говоря, процесс поисков почти полностью состоял из выслушивания исповедей. Джерри походил на громадную, ненасытную губку. "Чем больше получал, тем больше ему требовалось. Под воздействием этой нужды его поведение, облик, личность приобрели какую-то чуткую назойливость. К двадцати годам он стал мастером в искусстве руководства. Его широкий лоб, щекастое лицо, пухлая рука, держащая обмусоленную сигарету, большая голова, то и дело поворачивающаяся, чтобы всласть затянуться табачным дымом, чуть слезящиеся глаза за блестящими стеклами очков, рот, слегка растянутый в улыбке, назвать которую можно только мягкой, несколько капризной, как у человека, готового сказать: «Ах, жизнь. Жизнь. Как она скверна, жестока, печальна, но вместе с тем, ах, право же, до чего

прекрасна!» – были так притягательны, что первокурсники прямо-таки бежали с блеянием к этому пастырю. Они веряли Джерри все свои тайны, а если, как нередко случается, поверять было особенно нечего, что-нибудь выдумывали. В этом процессе духовного испражнения, пожалуй, главную роль играли искушения плоти.

Просто поразительно, скольких первокурсников мучительно соблазняли красивые, но порочные женщины – если эти сирены оказывались таинственными незнакомками, тем лучше. В одном из вариантов этой истории невинный младенец по пути в колледж останавливался на ночь в отеле какого-нибудь соседнего городка. И когда шел к себе в номер по коридору, одна из дверей оказывалась открыта: перед ним стояла прекрасная соблазнительница, совершенно нагая, она приглашала его нежными улыбками и ласковыми словами в свое логово разврата. Новичок бывал потрясен, голова у него шла кругом, все, что его учили чтить, как святыню, вылетало у него из памяти; сам не сознавая, что делает, он входил в этот притон греха и едва не терял сознания в объятиях этой современной вавилонской блудницы.

И вот тут – вот тут – перед взором его всплывало лицо матери или чистой милой девушки, для которой он «сберегал себя». Пайн-рокские первокурсники стойко противились соблазнам плоти – почти все они «сберегали себя» для целого полка чистых, милых девушек, во всяком случае, при режиме Джерри в Пайн-Роке количество растленных красавиц, курсирующих совершенно без одежды по корридорам отелей, было поистине изумительным. Численность подобного рода искушений не была столь высокой ни до него, ни после.

Однако все заканчивалось благополучно: спасительное лицо Матери или Избранницы являлось на пятьдесят девятой минуте одиннадцатого часа – и соблазн оказывался побежден. Что до Джерри, то его заключительное благословение этому торжеству добродетели стоило видеть и слышать:

– Я не сомневался в тебе! Да-да! – Тут он покачивал головой и мягко посмеивался. – Такого благонаправленного человека, как ты, не поймать на такую удочку!.. А представь, как бы чувствовал себя, если б попался! Ты не смог бы поднять голову и посмотреть мне в глаза! Сам понимаешь! И всякий раз при мысли о матери (скудными средствами нашего языка не выразить, что умудрялся Джерри вкладывать в слово «мать»; однако можно сказать без преувеличения, что тут имело место такое мастерское, непревзойденное владение голосовыми связками, по сравнению с которыми даже такие усилия, как, например, покойного синьора Карузо, бравшего высокое «до», кажется незначительными) – всякий раз при мысли о матери ты бы чувствовал себя последним подонком. Да-да! Сам понимаешь! А женись ты на той девушке (это слово он произносил с несколько меньшей елейностью, чем «мать»), то ощущал бы себя гнидой при каждом взгляде на нее! Да-да, ты отравил бы себе всю жизнь ложью!.. И вот что... учти это на будущее! Ты даже не представляешь, как тебе посчастливилось! Впредь держись подальше от подобных соблазнов! Да-да! Я знаю, что говорю! – Тут он снова покачивал щекастой головой и смеялся с каким-то зловещим предостережением. – Ты можешь не устоять и загубить всю свою жизнь!

Джерри собирался, правда, впоследствии отбросил это намерение, стать врачом и бессистемно прочел немало медицинской литературы; главным результатом этого чтения, очевидно, стало то, что он принялся предупреждать простодушных новичков об ужасных последствиях потворства плотским страстям. Этими предостережениями он прямо-таки упивался. Его описания болезни, смерти, безумия, к которым приводят случайные связи с незнакомыми женщинами, встреченными в коридорах отелей, были до того красочными и впечатляющими, что у молодых людей волосы поднимались дыбом, «словно иглы у рассерженного дикобраза».

По мнению Джералда, грех этот был непростительным, неискупным. Кроме того, что

возмездием за него являлась неизбежная смерть, возмездием за соvrащение являлись неизбежное отцовство, злосчастная судьба мужчины и окончательная гибель «чистой, милой девушки».

Словом, Джерри в юном возрасте создал картину мира, догматическую в полном, слепом принятии всех форм признанной, почитаемой авторитетности – воздействующих не только на гражданскую и политическую деятельность человека, но и на его внутреннюю, личную жизнь. В этом порядке вещей – лучше сказать, в этой мифологии – верховной была священная фигура Матери. Женщина в силу того, что производит в законном браке потомство, каким-то загадочным образом становится не только источником всяческой мудрости, но и безупречным блюстителем всяческой нравственности. Предположить, что та или иная женщина не обязательно является непогрешимым божеством лишь потому, что родила ребенка, было опасной ересью; упрямый спор на эту тему с далеко идущими выводами заклеил бы спорщика в глазах Джерри как распутного или безответственного члена общества. И сердце Олсопа навсегда бы ожесточилось против неверного.

Неприязнь его, правда, бывала замаскирована. Внешне, поскольку был умен, однако недостаточно смел, чтобы признаться в неискренности своих чувств, Джерри держался терпимо – его терпимость представляла собой одну из разновидностей доброжелательного «я-понимаю-вашу-точку-зрения-но-давайте-попытаемся-рассмотреть-этот-вопрос-всесторонне» и являлась более нетерпимой, чем любой фанатизм, потому что маскировала непреклонную, неумолимую враждебность, вызванную уязвленной сентиментальностью. Однако втайне неприязнь его бывала злобной, мстительной. Она принимала форму коварных сплетен, слухов, шепотков, колких насмешек под маской простодушия, придирки к какому-то слову, якобы неумышленного искажения смысла сказанного, серьезной и даже почтительной внимательности, неожиданно сменявшейся взрывом громкого, удушливого смеха, который, как могли бы засвидетельствовать все его жертвы, бывал более уничтожительным и неопровержимым, чем любая логика спокойных доводов.

Больше всего на свете Джерри ненавидел несчастья и страдания – как и всякий порядочный человек. Однако ненависть у этого толстяка была до того сильна, что он не мог взглянуть в лицо того, что ненавидел. Поэтому с детства приучился смотреть на жизнь сквозь розовые очки, и вполне естественно, что его упорная, непреклонная ненависть обращалась на все – человека, конфликт, положение, факт или идею, – угрожающее существованию этих очков.

И все же Джералд Олсоп являлся замечательным во многих отношениях человеком. Привлекательнее всего в нем было искреннее, пылкое жизнелюбие. Он в самом прямом смысле слова любил «жизненные блага» – хорошую еду, хорошие беседы, хороший юмор, хорошее общество, хорошие книги, всю здоровую, радостную атмосферу хорошей жизни. Недостатком являлось то, что любил их он слишком сильно и потому не хотел признавать или допускать никаких противоречий, способных испортить наслаждение этими благами. Видимо, он был достаточно умен, чтобы понять, однако слишком сентиментален, чтобы признаться себе, что его наслаждение ими неизмеримо возросло бы от признания элементов противоречия и отрицания даже в том, что касается «жизненных благ».

Поэтому в натуре его не имелось ни единой добродетели – а она была щедро одарена ими, – не подпорченной этим недостатком. К примеру, он искренне и глубоко любил хорошую литературу, обладал блестящим, тонким вкусом; но когда его суждения входили в противоречие с сентиментальностью, сентиментальность одерживала верх. В результате возникал хаос. Джерри не только не смог найти никаких достоинств в книгах великих русских писателей – Толстого, Достоевского, Тургенева, даже Чехова, – он даже не попытался их понять. У него существовало какое-то странное предубеждение против этих авторов; он боялся их. Джерри

давным-давно усвоил предрассудок, что в книгах русских писателей царят беспросветный мрак, жестокая трагедия, и со временем стал обосновывать его одной фразой: «нездоровый, извращенный взгляд на жизнь», противопоставляя их тем писателям, которых одобрял, и которые, разумеется, соответственно обладали «более здравым и широким взглядом на вещи».

Из последних он, пожалуй, больше всех любил и ценил Диккенса. Знание книг этого писателя у него было почти энциклопедическим. Он перечитывал их все столько раз и с такой жадностью, что вряд ли во всей громадной, замечательной галерее диккенсовских персонажей был хоть один неприметный, которого он не мог бы сразу вспомнить – не мог бы охарактеризовать тем эпитетом, точно процитировать ту выразительную фразу, которой охарактеризовал его сам Диккенс.

Однако недостаток Олсопа давал себя знать и тут. Хоть Джерри и обладал достаточным умом, знаниями и вкусом, чтобы составить верное и точное суждение о творчестве великого писателя, его сентиментальность все же умудрялась создать совершенно фальшивого, ложного Диккенса, диккенсовский мир, какого никогда не существовало. Сам Диккенс в представлении Джералда был неким грандиозным сверх-мистером Пиквиком, и мир, который он создал в своих книгах, был пиквикским – веселым, забавным, радостным миром таверн и гостиниц, полным вкусной еды и крепкого эля, солнечного света и хорошего настроения, товарищества, любви и дружбы, замечательных комических персонажей и трогательных, иногда смутных чувств, полную картину которого Джерри обрамил выразительной фразой: «более здравый и широкий взгляд на жизнь». То был мир, очень напоминающий много раз виденные рождественские открытки: сверкающий дилижанс, переполненный румяными пассажирами в красных шарфах, подъезжает к увенчанному фронтоном входу веселой гостиницы, их приветствуют хозяин с трубкой в руке и веточки остролиста над боковой дверью.

О другом Диккенсе – более великом – том, который видел так много порока, бедности, страданий и угнетения, питал глубокое сочувствие к страдающим и угнетенным, выражал сильнейшее негодование жестокостью и несправедливостью окружающей его жизни – Джерри не знал почти ничего, а если и знал, то отказывался видеть это в подлинном свете, отворачивался душой, потому что для него это было неприятным и безвкусным, не совпадало с его видением сквозь розовые очки «более здравого и широкого взгляда на вещи».

В результате возникал хаос. Пожалуй, это можно уподобить нескольким ломтикам правды в море черной патоки. Олсоп мог расчувствоваться, обсуждая и оценивая изумительные красоты Джона Китса, Шелли, Шекспира, Чосера и Кристофера Марло; но точно так же мог расчувствоваться и прийти в неистовый восторг, оценивая поразительные красоты Винни-Пуха, Дона Маркиза, виденного накануне вечером фильма и причудливых Ягнят некоего Морли:

– Истинный гений – да-да! – настоящий, волшебный, фантастический гений!

Затем он прочитывал какой-нибудь избранный отрывок, запрокидывал голову так, что в зрачках его затуманенных глаз начинал мерцать свет, и со смехом, похожим на всхлипывание, с благоговением и слащавостью, рвущимися из глубины души, восклицал:

– Господи! Господи – это поистине волшебный гений!

Еще учась на первом курсе, Джерри начал собирать библиотеку. И она представляла собой поразительное олицетворение его разума и вкуса, символ внутреннего хаоса, слипшихся в патоке его умиротворяющей сентиментальности.

В библиотеке было немало хороших книг – тех, что многим нравились, тех, о которых многие слышали и хотели бы прочесть, книг, которые подбирались с незаурядным умом и тонким вкусом. Олсоп запоем читал романы, и его книжные полки даже в том баптистском колледже свидетельствовали о требовательности и пылком интересе к лучшим новинкам. Это было поразительно у столь юного человека в подобном месте.

Однако в библиотеке было и множество макулатуры: большие кипы газет с какой-то понравившейся ему слащавой чепухой; громадные стопы журналов с причудливыми или сентиментальными сочинениями, запавшими ему в душу; сотни газетных вырезок, где были запечатлены особо дорогие для него чувства; и наряду с тем много другого, действительно хорошего, стоящего, раскрывающего путаницу ошеломляющих противоречий – незаурядный ум и способность к пронизательным суждениям в море чувствительности.

Сведенный к голой сути «более здравый и широкий взгляд на вещи» представлял собой полное принятие существующего порядка вещей, потому что существующий порядок, как бы ни был он уродлив, разорителен, жесток и несправедлив, являлся «жизнью», – следовательно, неизбежным, если понять его «в полной перспективе» и увидеть, «как, в сущности, прекрасна (эта фраза оказывала ему неоценимую услугу) жизнь».

Таким образом, Джерри Олсоп стал самозабвенным защитником условностей, принятого и устоявшегося порядка вещей. Если бы можно было создать картину его разума в военные и послевоенные годы, в ней обнаружился бы следующий перечень взглядов и убеждений:

Президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон не только являлся «величайшим после Иисуса Христа человеком», но его жизненный путь и завершающее мученичество – ибо так называл это Олсоп – вполне были сравнимы с Христовыми. Президент был идеальным человеком, безупречным в поведении, безукоризненным в мудрости и безошибочным в ведении дел. Его обманывали, подводили и довели до смерти негодяи – бессовестные, лукавые политики в родной стране, завидовавшие его славе, и беспринципные шарлатаны от дипломатии в других.

«Вторым величайшим после Иисуса Христа человеком» являлся президент колледжа, высокий, бледный мужчина с ясным, страдальческим лицом, который поднимался в часовне и усиленно наставлял студентов, постоянно твердя такие слова, как «служение», «демократия», «идеалы руководства» – все популярные свидетельства просвещенной – нет, вдохновенной! – мысли на жаргоне того времени. Что, в сущности, подразумевалось под этим, было не совсем понятно. «Репутация», «образование для достойной жизни», видимо, означали на практике блаженство монашеского существования без выпивки, курения, азартных игр и женщин, ведущее в конце концов к «служению и руководству, для которых Пайн-Рок готовит человека» – то есть к таинству брака с безупречной особью слабого пола, именуемой на жаргоне идеализма то «превосходной женщиной», то «чистой, милой девушкой».

«Вдумчивый и свободный интерес к работе правительства и к политической жизни», видимо, означал поддержку демократов или республиканцев и голосование за тех кандидатов, которых выдвинут политические машины, возглавляющие эти партии.

«Серьезное и просвещенное отношение к религии» не означало узколого фундаментализма, поскольку пайн-рокский колледж и его идеалист-президент гордились либеральностью взглядов. Например, Бога можно было понимать как «великую идею» или «океан сознания», а не традиционного старого джентльмена с длинной бородой, – но ходить по воскресеньям в церковь все-таки требовалось.

Однако, несмотря на всю высокопарность разглагольствований о «служении», «идеалах руководства» и «демократии», особого влияния их на существующее положение вещей было незаметно. Дети все так же работали по четырнадцать часов в день на хлопкопрядильных фабриках штата. Десятки тысяч мужчин, женщин и детей жили, страдали и умирали в вопиющих бедности, кабале и эксплуатации на арендуемых фермах. Миллион чернокожих жителей штата, примерно треть всего населения, был лишен избирательных прав – хотя «второй величайший после Иисуса Христа человек» часто заявлял, что это право является одним из высших достижений англосаксонского законодательства и «замечательной американской

конституции». Миллион чернокожих жителей штата был лишен права на высшее образование – хотя «второй величайший после Иисуса Христа человек» нередко заявлял, что ради этого идеала пайн-рокский колледж существовал и существует, и что права на образование в Пайн-Роке не будет лишен ни один способный человек «вне зависимости от вероисповедания, происхождения, цвета кожи или каких бы то ни было иных отличительных признаков». Несмотря на эти звучные фразы, идеализм, мученический вид, вдохновенную уверенность и все прочее жизнь шла прежним путем, на прежний манер, в сущности, как всегда. Выпуск за выпуском юных, чистых идеалистов-знаменосцев выходил из Пайн-Рока с готовностью, если потребуется, обнажить грудь и благородно погибнуть на баррикадах, какие бы зловещие влияния ни грозили им, какие бы несметные силы ни превосходили их – защищая моногамию, супружество, чистых, милых женщин, детей, баптистскую церковь, конституцию и блистательные идеалы демократической и республиканской партий; и, более того, с решимостью, если придется – до того сильна была их приверженность этому праву – погибнуть на баррикадах, защищая блистательные институты детского труда, хлопкопрядильных фабрик, арендуемых ферм, бедности, горя, убожества, проклятия, смерти и прочего, но ни на миг не отречься, ни на секунду не изменить заложенным в них чистым идеалам, сияющей звезде поведения, к которой обратил их юношеские взгляды «второй величайший после Иисуса Христа человек».

И в идолопоклонстве благоговения перед ним Джералд Олсоп, подобно своему выдающемуся предшественнику Эдхему, был первым.

«Третьим величайшим после Иисуса Христа» являлся священник, пастор пайн-рокской епископальной церкви, которого студенты любовно прозвали Проповедник Рид. Он сам подбил ребят называть себя так. Джерри Олсоп смотрел на Проповедника как на одно из своих открытий. Определенно рассматривал его как лишнее доказательство собственного либерализма. Пайн-Рок был баптистским колледжем, но Джерри отважился перескочить через стену ортодоксии и прижать новоявленного мессию к своей груди.

Проповедник мог бы прекрасно обойтись и без него, с помощью своих уловок. Уловки эти были необычными. Ребятам они сперва показались забавными, потом поразительными, наконец очаровательными – и почти все студенты колледжа в конце концов восторженно поддались им.

Сперва казалось, что шансов у Проповедника добиться чего-то – один из тысячи. Он принадлежал к епископальной церкви – никто, видимо, толком не знал, что она собой представляет, но звучало это настораживающе. У него была всего-навсего маленькая церквушка, почти без прихода. К тому же, он был «северянином». Положение казалось безнадежным, однако не прошло и полугодя, как весь студенческий городок был очарован им, а все другие проповедники в городе злобно смотрели на него и сердито ворчали.

Никто толком не понимал, как Проповедник этого добился; действовал он так ненавязчиво, что все произошло прежде, чем студенты догадались об этом. Но, пожалуй, главным плюсом его было, что поначалу никто не видел в нем проповедника. Подтверждается это тем, что студенты прозвали его так. Подобной вольности они бы не позволили себе ни с одним другим священником в городе. К тому же, Проповедник не проповедовал им; не читал им часами поучений; не возносил за них двадцатиминутных молитв; не метал с кафедры грома и молнии; не использовал все регистры голосовых связок: не ворковал голубицей, не рычал львом, не блял ягненком. У него была уловка, стоившая шести или восьми таких, как эти.

Проповедник стал навещать в комнаты к ребятам. В его визитах было нечто до того простецкое и дружелюбное, что все сразу же чувствовали себя непринужденно. В самой шуточной манере он сумел внушить студентам, что является их поля ягодой Это был крепкий

мужчина пятидесяти лет с рыжеватыми волосами, худощавым лицом, выражавшим чувство собственного достоинства и вместе с тем нечто дружелюбное, привлекательное. В довершение всего, одевался он довольно небрежно – носил пиджак из грубого ворсистого твида, серые фланелевые брюки, ботинки на толстой подошве, все имело несколько поношенный вид, однако ребята невольно задавались вопросом, где он купил эти вещи, и смогут ли они купить себе такие же. Он заглядывал в дверь и громко, весело спрашивал:

– Трудитесь? Если да, пойду. Я просто шел мимо.

Тут же раздавались скрип стульев, шарканье ног и хор голосов, самым серьезным образом заверявших, что никто не трудится, и приглашавших его присесть.

Получив эти заверения, Рид усаживался, клал шляпу на верхнюю койку, удобно откидываясь к стене вместе со старым, скрипучим стулом, водружал одну ногу на круглое сиденье и доставал трубку – вересковую, почерневшую, словно бы высушенную в кузнице Вулкана, – набивал ее ароматным табаком из клеенчатого кисета, зажигал спичку и начинал с удовольствием попыхивать, говоря в промежутках между затяжками:

– Я вот... люблю... трубку! – пфф, пфф – Вы... молодежь... – пфф, пфф – можете курить... себе... сигареты – пфф, пфф, пфф – но мне... ничто... не заменит... .пфф, пфф, пфф – этой... старой... вересковой... трубки!

О, какой смак! Какая безмятежность! Какое глубокое, ароматное, пикантное, заполняющее душу довольство! Мог ли кто-то подумать, что такой человек не оправдает ожиданий? Или усомниться, что через неделю половина ребят закурит трубки?

Так что Проповедник вполне бы обошелся без помощи Олсопа, но все же Джерри в стороне не остался. Он организовал целый ряд дружеских встреч в комнатах студентов, где Проповеднику доставалась ведущая, в высшей степени почетная роль. Собственно говоря, Проповедник был одним из тех, кто в то время усиленно занимался «установлением связи между церковью и современной жизнью» – по его собственному, более хлесткому выражению, «привлечением Бога в студенческий городок». Методы его были, по выражению Джерри, «просто восхитительными».

– Христос... – заговорил как-то Проповедник на одном из тех восхитительных собраний в студенческих комнатах, где восемь – десять увлеченных юношей лежали на полу в разнообразных позах, с полдюжины сидели на шатких верхних кроватях, и еще несколько всовывались в окна с улицы, жадно поглощая пикантный напиток из смеси острословия, юмора, благожелательного практицизма, жизни и христианства. – ...Христос, – продолжал он, попыхивая трубкой в своей восхитительно эксцентричной манере, – никогда не получал двух баллов по философии. Он начал играть в команде-дубль и кончил защитником в основном составе. Но останься Он в дубле, – видимо, это говорилось в ободрение потенциально вечным дублерам, находившимся в пределах слышимости, – останься Христос играть в дублирующем составе, то добился бы успеха. Видите ли, – какое-то время Проповедник задумчиво попыхивал своей черной трубкой, – дело вот в чем, ребята, вот что вам нужно понять – Христос всегда добивался успеха во всем. А вот взять Павла... – он вновь задумчиво пыхнул, потом рассмеялся на свой восхитительный манер, потряс головой и воскликнул: – ...взять Павла! Ах-ха-ха – это совсем другое дело! Павел был птицей другого полета! Его удалили с поля.

Увлеченные молодые люди с жадностью ловили эти вдохновенные слова.

– Играть Павел начал в дублирующем составе, и ему следовало оставаться там, – сказал Проповедник Рид. – Но для него это было невыносимо! Он постоянно терзался, что не может войти в основной состав, а тут появилась вакансия, понадобился новый защитник – понимаете, ребята, – негромко произнес Проповедник, – прежний скончался... – Он сделал небольшую паузу, чтобы до всех дошло – ...и Павла взяли на его место. А Павел не мог показать класса! Не

мог, и все тут. И что в конце концов он сделал? Так вот, слушайте, – сказал Проповедник. – Поняв, что показать класса не сможет, он придумал новую игру. Старая была слишком трудной. Павел не мог в нее играть – было не по силам! Тогда он придумал посильную – и потому его удалили с поля. Понимаете, ребята, Христос всегда показывал класс там, где Павел оказывался мазилой. Вот и вся между ними разница, – сказал Проповедник непринужденным, поучительным тоном на манер «теперь об этом можно говорить» и приумолк, с задумчивым видом глубоко затягиваясь старой вересковой трубкой.

– Другими словами, Проповедник, – почтительно воспользовался наступившим молчанием Олсоп, он имел пятерку по логике и считал себя не таким уж невеждой в гегелевской философии, – другими словами, Павел оказался сломлен собственным Моментом Отрицания. Не смог его абсорбировать.

– Вот именно, Джерри! – тут же с жаром воскликнул Проповедник Рид таким тоном, как говорят «ты предвосхитил мои слова!» – вот именно! Над Павлом взял верх его собственный Момент Отрицания. Он не смог его абсорбировать. Находясь в составе дублеров, он не хотел играть. Вместо того чтобы использовать свой Момент Отрицания – понять, что это лучший союзник, какого только может иметь человек – Павел стал его жертвой. Его удалили с поля. А вот Христос... – Проповедник сделал паузу, в задумчивости затянулся трубкой, потом внезапно заговорил: – Понимаете, ребята, в Христе это главное. Его никогда не удаляли с поля. Он всегда показывал класс, хоть в дублирующем составе, хоть в основном. С одинаковой радостью играл и там, и тут. Для Него это не имело значения... и если Христос находился на поле, все шло хорошо.

Проповедник вновь глубоко затянулся и продолжал:

– Понимаете, Христос удержал бы Павла от этого промаха, сказал бы ему: «Слушай, Павел, если хочешь играть защитником в основном составе, Я не против. Мне все равно, где Я играю – Меня интересует только Игра. – Проповедник сделал легкую паузу, чтобы сказанное дошло. – Мне без разницы, в основном составе играть или в дубле. Так что давай поменяемся, если хочешь. Только вот что, Павел, *играть так играть*. – Проповедник пыхнул трубкой, – По правилам. – Пыхнул снова. – Возможно, ты думаешь, что можешь изменить правила, но нет – ах-ха-ха, – Проповедник резко встряхнул головой и отрывисто хохотнул, – изменить их нельзя, Павел. Ничего не выйдет. Правила не меняются. Иначе это не Игра. А если и менять их, то не нам – Другому – так что давай держаться заодно, в какой бы команде мы ни были, и вести игру, как положено...». Только – изящное, худощавое лицо Проповедника помрачнело, он сделал затяжку, чуть более долгую, чем обычно, и продолжал: – Этого не произошло... Увы, увы, истинного Защитника не стало!

В наступившей благоговейной тишине он ловко выколотил трубку о каблук, потом бодро выпрямился, встал и весело заговорил:

– Вот так так! Что ж молчите, джентльмены? Ну-ну! Сильным людям нашего склада так не годится!

После этого лестного замечания началась общая дискуссия, послышались взволнованные голоса, смех, в дыму задвигались силуэты, появились тарелки с бутербродами и лимонад. А в центре всего этого стоял поджарый Проповедник Рид, великолепно прямой, с внимательным выражением худощавого лица, он перекрывал шум юношеских голосов своим звучным, более низким голосом, то и дело весело издавал неожиданные отрывистые смешки. И словно мотыльки, замороженные ярким светом, все пришедшие в движение жестикулирующие группы неизбежно вновь собрались в тот магический круг, центром которого был Проповедник.

Джордж не понимал, в чем тут дело, но все они чувствовали себя радостными, восторженными, взволнованными, возвышенными, вдохновенными; либеральными,

просвещенными, соприкасающимися с жизнью и высокой истиной; получающими наконец то, ради чего поступили в колледж.

Что до Джерри Олсопа, он довольствовался тем, что ждал и наблюдал, изредка посмеиваясь, в том углу, где хотел бы поговорить с первокурсниками, и все же едва заметно выдавал легкой улыбкой, чуть увлажненными глазами, редкими спокойными, но пристальными взглядами в центр комнаты, что знает о присутствии любимого учителя, и другого блаженства ему не нужно.

И когда стихли последние, неохотно удаляющиеся шаги, когда отзвучало последнее «доброй ночи», он, протирая в опустевшей комнате запотевшие очки, сказал с легкой хрипотцой:

– ...Это было просто восхитительно! Просто чертовски восхитительно! Да-да! Иначе не скажешь!

И он был прав.

12. СВЕТОЧ

Когда Джордж Уэббер поступил в колледж, Олсоп взял его под свое крылышко, и какое-то время связь между ними была очень тесной. Джордж быстро стал членом кружка преданных первокурсников, жавшихся к своему руководителю, словно цыплята к квочке. По крайней мере несколько месяцев он был неразрывен с компанией Олсопа.

Однако признаки того, что журналисты именуют «разрывом», начали появляться еще до конца первого курса – когда юный студент стал оглядываться вокруг и задаваться вопросами об этом тесном, однако новом и сравнительно либеральном мире, где он впервые в жизни ощущал себя нестесненным, свободным, взрослеющим. Вопросы неистово множились.

Джордж слушал президента колледжа, покойного Хантера Гризволда Мак-Коя, которого Олсоп называл не только «вторым величайшим после Иисуса Христа человеком», но и замечательным убедительным оратором, мастером литературного стиля, который, как и стиль Вудро Вильсона, несомненно, оказавший на Мак-Коя сильное влияние, являлся непревзойденным во всей англоязычной словесности. Обладая, как большинство юношей этого возраста, весьма острым и пытливым умом, Джордж при этих утверждениях Олсопа стал чувствовать себя очень неловко, беспокожно ерзать на стуле, помалкивать или почтительно, нехотя соглашаться и при этом отчаянно задаваться вопросом, что с ним такое. Дело в том, что «второй величайший после Иисуса Христа человек» наводил на него ужасную скуку.

Что же до блистательного стиля, почти непревзойденного, по уверениям Олсопа, во всей английской словесности, Джордж много раз делал попытки вчитаться в него, разобраться в нем – надежно сохранившемся от забвения в книге, озаглавленной «Демократия и руководство» – и просто не мог продраться через эти словеса. А знаменитые беседы в часовне, считавшиеся шедеврами непритязательного красноречия и перлами философии, он ненавидел. Он предпочел бы принять горькое слабительное, чем высидеть до конца на одной из них; однако терпеливо высиживал множество раз и проникся к Хантеру Гризволду Мак-Кою стойкой неприязнью. Бледное, ясное лицо президента колледжа, вытянутое и чахлое, вид его, неизменно говоривший, что он носит в душе некую глубокую, таинственную печаль и утонченную, непостижимую скорбь обо всем человечестве, стали вызывать у Джорджа чувство, близкое к отвращению. И когда Олсоп уверял его и остальных благоговейных членов группировки, что Хантер Гризволд Мак-Кой всегда был и останется «чистым и добрым, как милая, непорочная девушка – да-да!» – неприязнь его к Хантеру Гризволду Мак-Кою становилась мучительно жгучей. Джордж питал к нему неприязнь, потому что Хантер Гризволд Мак-Кой заставлял его чувствовать себя презренным, как птица, гадящая в собственном гнезде, потому что непрестанно, мучительно думал, что в нем, видимо, есть нечто порочное, низкое, извращенное, раз он не способен разглядеть сияющей добродетели этого безупречного человека, и потому что сознавал, что никогда в жизни не станет ни в чем на него похожим.

Олсоп уверял его, что в блестящих фразах Хантера Гризволда Мак-Коя содержатся не только перлы красноречия и поэзии, но и очень яркая картина самой жизни, что каждый, кому посчастливилось прослушать одну из этих бесед в часовне, получил не только сведения об истине и действительности, но и некий волшебный ключ ко всей тайне жизни и сложной проблеме человечества, которым может пользоваться во веки веков. Однако Джордж страдальчески сидел в часовне день за днем, неделю за неделей, и, надо сказать грубую, горькую правду, ничего не понимал. Ища вина жизни в этих гроздьях красноречия, он сжимал их изо всей силы, и они лопались, будто пустые стручки. «Демократия и руководство»,

«образование для достойной жизни», «служение», «идеалы» и все прочее ничего не говорили ему. Джордж не мог понять, хоть и отчаянно старался, что такое «достойная жизнь», когда она не связывалась неким весьма интимным, личным образом с Хантером Гризволдом Мак-Кой, целомудрием, супружеством, трезвостью и беседами в часовне. И вместе с тем мучительно сознавал, что не хочет никакой иной жизни, кроме «достойной» – однако та «достойная жизнь», которая трудно поддавалась описанию, но пылала в его воображении со всем жаром, страстью, неудержимостью юности, обладала многим, о чем Хантер Гризволд Мак-Кой никогда не говорил, чего, как Джордж молча, мучительно сознавал, Хантер Гризволд Мак-Кой ни за что бы не одобрил.

Облик, уклад, образ, определение этой «достойной жизни» были все еще мучительно смутны; однако Джордж уже твердо знал, что в ней много соблазнительного. В ней были толстые бифштексы и румяный, рассыпчатый жареный картофель. В ней были, увы, плоть любвеобильных женщин, возбуждающие загадочные улыбки, восхитительные многообещающие прикосновения, тайные, подтверждающие пожатия руки. В ней были громадные тихие комнаты, целая вселенная замечательных книг. Однако были и табачный дым – увы, увы, столь греховные мечты о плотских наслаждениях! – и букет крепкого вина. В ней было очарование поисков Ясона: мысль о Золотом Руне; почти непереносимое видение быстроходных, горделиво воздевающих нос громадных лайнеров, плывущих в субботний полдень по реке величественной чередой, проходящих, обдирая рули, через расселину среди обдаваемых брызгами скал к морю. И наконец в ней, как всегда, было чудесное видение большого города, красочная атмосфера пылких юношеских мечтаний о славе, богатстве, торжестве, о счастливой жизни среди самых великих мира сего.

А в словах и фразах безупречного человека об этом не было ни слова. Поэтому юноша молча страдал. В довершение всего за два месяца до Перемирия Хантер Гризволд Мак-Кой взял да и умер. Это явилось его апофеозом: Олсоп тут же заявил, что повторилась история Спасителя и его мученичества на кресте. Правда, никто не знал, какие муки претерпел Хантер Гризволд Мак-Кой, если не считать смертоносного распространения микробов гриппа, но вся его жизнь, внутренняя чистота, просвечивавшая сквозь бледное, мученическое лицо во время множества занудных бесед в часовне, каким-то образом придавали убедительность этим словам. И когда Олсоп сдавленным голосом объявил, что «он отдал жизнь за великое Дело утверждения демократии во всем мире» и что ни один погибший во Франции солдат, сраженный градом пуль, когда шел в атаку против варварских орд, не принес большей жертвы за это великое Дело, чем Мак-Кой, не раздалось ни единого возражения.

И все же надо сказать неприятную правду: наш юный грешник втайне испытал ошеломляющее облегчение, узнав, что Хантер Гризволд Мак-Кой скончался, что больше не будет бесед в часовне – по крайней мере, вести их будет уже не этот безупречный человек. Сознание этой неприятной правды наполнило его столь глубоким ощущением своего падения, своей низости, что подобно многим другим до него, сознававшим себя недостойными, покатился по наклонной плоскости. Стал водиться с разгульными бездельниками, наводнявшими аптеку колледжа; играть с ними в азартные игры, где ставкой был стакан шипучки. Один ложный шаг влек за собой новый. Вскоре Джордж курил сигареты с развязным видом. Стал отдаляться от олсопского кружка; вечерами начал задерживаться допоздна – но не с Олсопом и преданными неопитами, наслаждавшимися по вечерам речами своего наставника. Наоборот, сошелся с компанией гуляк, которые до утра крутили фонограф, а по выходным устраивали отвратительные кутежи в Ковингтоне, городке, находящемся в двадцати милях. Дело быстро кончилось тем, что эти негодники взяли с собой невинного младенца, напоили допьяна, а потом отдали на попечение известной проститутки, прозванной Вокзальная Лил. Эта история

не только дошла до колледжа – она прогремела на весь колледж, ее с гоголом пересказывали и обсуждали те самые беспутные повесы, которые с умыслом устроили эту трагедию загубленной невинности, а потом – из такого дрянного они были теста – видимо, сочли, что история падения одного из олсоповских ангелов способна рассмешить богов.

Это едва не стало концом. Однако Олсоп не изгнал его без отсрочки, без того, чтобы «дать ему возможность исправиться», потому что прежде всего был снисходительным – как Брут. Был благородным человеком. И спокойно, сдержанно велел своим ученикам не быть слишком суровыми с их падшим собратом; они даже получили указание не заводить с ним разговоров на эту тему, обходиться с оступившимся товарищем, будто ничего не случилось, словно он по-прежнему один из них; показать ему этими легкими проявлениями любезности, что не считают его парией, что он все так же принадлежит к роду человеческому. Получив такие инструкции и вдохновясь христианским состраданием, они все преисполнились милосердия.

Что же до нашего падшего ангела, надо признать – когда он полностью осознал свою вину и ужаснулся ей, то явился с повинной головой к пастырю. Они три часа разговаривали с глазу на глаз в комнате Олсопа, к которой благоговейно никто не приближался. Наконец Олсоп, протирая запотевшие очки, открыл лиерь, все торжественно вошли и услышали, как Олсоп сказал негромким, но хриплым голосом, с легким смешком:

– Господи Боже! Господи Боже! Жизнь прекрасна!

Приятно было бы поведать, что прощение было окончательным, а преобразование полным. Увы, этого не произошло. Меньше чем через месяц получивший отсрочку – пожалуй, лучше сказать «прощенный условно» – опять взялся за старое. Снова начал слоняться возле аптеки, тратить время в обществе других прожигателей жизни, играть на стакан шипучки. И хоть не скатился окончательно, не допустил повторения той первой катастрофы, поведение его определенно стало подозрительным. Он начал оказывать решительное предпочтение людям, которые только и думали о приятном времяпрепровождении; казалось, ему нравятся их ленивые манеры и протяжные голоса; его видели праздно греющимся под солнцем на крыльце нескольких студенческих братств. А поскольку Олсоп и все члены его группы не принадлежали ни к одному братству, это сочли очередным признаком беспутства.

Вдобавок Джордж стал пренебрегать учебой и много, бессистемно читать. Это тоже было плохим признаком. Нельзя сказать, чтобы Олсоп неодобрительно относился к чтению – он много читал сам; но когда стал расспрашивать ученика, что тот читает, желая выяснить, добротная ли это литература, согласуется ли с «более здравым и широким взглядом на вещи» – то есть, получает ли он какую-то пользу от чтения, – худшие опасения его подтвердились. Джордж стал рыскать по библиотеке колледжа совершенно самостоятельно и наткнулся на несколько подозрительных томов, неведь как попавших на эти респектабельные полки. Среди них обращали на себя внимание произведения Достоевского. Положение оказалось не просто настораживающим; когда Олсоп полностью допросил своего прежнего неопита – любопытство, даже если дело касалось падших, было одной из характернейших черт Джерри, – то нашел его, как впоследствии сказал верным, с сожалением описывая положение, «несущим бессмыслицу, словно псих».

Вышло так, что наш искатель приключений наткнулся на одну из этих книг подобно тому, как человек, идущий ночью по лесу, спотыкается о невидимый камень и падает на него. Джордж ничего не знал о Достоевском: если и слышал о нем, то нечто в высшей степени неопределенное, потому что эта странная, труднопроизносимая фамилия определенно никогда не произносилась в стенах Пайн-Рока – по крайней мере, в его присутствии.

Джордж наткнулся на Достоевского случайно, потому что искал что-нибудь почитать, и

любил большие книги – на него всегда производили впечатление большие, толстые тома; и этот с многообещающим заглавием «Преступление и наказание» приглянулся ему.

Вслед за этим началось весьма странное и сумбурное приключение с книгой. Джордж принес ее домой, начал читать, но, одолев пятьдесят страниц, отложил. Все ему казалось очень странным и сумбурным; даже персонажи вроде бы имели по несколько разных имен, и он не всегда мог понять, кто говорит. В довершение всего, Джордж не мог разобраться, что там происходит. Повествование, вместо того чтобы следовать привычным для него путем развития интриги, словно бы выбивалось, бурля, из какого-то тайного, бездонного подземного источника – говоря словами Кольриджа, «как лава, что в земле родил подземный изрыв». В результате сюжет словно бы сплетался с каким-то мрачным и бурным приливом чувств. Мало того, что Джордж не мог разобраться в течении событий; когда он возвращался назад, чтобы проследить нить повествования, то не всегда был уверен, что проследил ее до подлинного источника. Что до диалогов, все персонажи постоянно выкладывали с поразительной откровенностью все, что у них на уме и на душе, все, что они думали, чувствовали, видели во сне или воображали. И даже это прерывалось в самый напряженный момент вроде бы бессмысленными и несущественными высказываниями. Следить за ходом запутанных событий было трудно, поэтому, прочтя пятьдесят страниц, Джордж отложил книгу и больше на нее не смотрел.

И все же она не шла у него из головы. События, персонажи, диалоги, эпизоды вспоминались, будто обрывки не дающего покоя сновидения. Кончилось тем, что недели через две Джордж вернулся к роману и за два дня дочитал его. Так поражен, так озадачен он еще никогда не бывал. На следующей неделе он перечел книгу вновь. Затем прочел «Идиота» и «Братьев Карамазовых». На этой стадии Олсоп его выследил, загнал в угол и в результате состоявшегося разговора сказал своим ученикам, что заблудший «нес бессмыслицу, словно псих».

Возможно, так и было. По крайней мере, все, что первооткрыватель мог тогда сказать, было довольно бессвязным. Он даже не высказывал никаких фанатичных убеждений, не признавался в страстной вере, что открыл великую книгу или великого писателя. Тогда все это не приходило ему в голову. Он лишь был уверен, что наткнулся на нечто странное, ошеломляющее, о существовании чего до сих пор не подозревал.

В голове у Джорджа царил сумбур, однако он горел желанием поговорить с кем-нибудь, рассказать о прочитанном. И когда Олсоп явился к нему, с радостью вцепился в него. Олсоп был старше, мудрее, много читал, любил литературу, хорошо разбирался в книгах. Разумеется, лучше всего было поговорить об этом с Олсопом. В результате Олсоп предложил ему появляться, добродушно заметив, что в последнее время он стал чуть ли не чужаком: они устроят традиционный вечер дискуссий, придут все. Джордж восторженно согласился, было назначено время. И Олсоп потихоньку сообщил остальным членам группы, что там, возможно, удастся провести полезную работу по перевоспитанию – «вернуть Джорджа на правильный путь». Когда назначенное время наступило, все были добродетельно воодушевлены чувством долга, стремлением протянуть руку помощи.

Замысел Олсопа не удался. Встреча началась непринужденно, как ему того и хотелось. Олсоп сидел посреди комнаты, положив толстую руку на стол, с видом доброжелательного исповедника, с легкой улыбкой, говорящей: «Расскажи мне об этом. Сам знаешь, я готов к всестороннему взгляду». Ученики сидели в наружней тьме, кружком, должным образом сосредоточенные. Злополучный простак вынесся на эту арену, очертя голову. Он принес старый, потрепанный экземпляр «Преступления и наказания».

Олсоп по ходу общего разговора искусно подводил к этой теме и наконец сказал:

– Что это... э... за новая книга, о которой ты говорил мне в прошлый раз? То есть, –

вкрадчиво продолжал он, – ты тогда рассказывал мне о книге, которую читал, – какого-то русского писателя, так ведь? – ласково произнес он и замялся: – Доста... Доста.... едского? – выговорил Олсоп с невинным видом, а потом, прежде чем Джордж успел бы ответить, его громадный живот заколыхался, из горла вырвался самодовольный громкий смех. Ученики бурно присоединились к нему.

– Господи Боже! – воскликнул Олсоп, снова негромко посмеиваясь, – я не хотел этого, смех вырвался случайно, помимо моей воли... А как все-таки произносится эта фамилия? – сдержанно спросил он. Манеры его стали серьезными, однако глаза за блестящими стеклами очков насмешливо сузились.

– До-сто-ев-ский, – ответил Джордж.

– Черт возьми, Джерри, может, просто начхать на нее? – спросил один из учеников. Комната вновь огласилась их смехом. Громадный живот Джерри задрожал, и его клокочущий смех оказался самым громким.

– Не обижайся, – снисходительно сказал он, увидя, что лицо Джорджа побагровело. – Мы смеялись не над книгой – нам хочется послушать о ней, только чудно говорить о книге, когда не можешь произнести фамилию автора. – Внезапно он снова затрясся от смеха. – Господи Боже, книга, может, и замечательная, но такой ужасной фамилии я еще не слышал.

Комната вновь огласилась одобрителем смехом.

– Но продолжай, продолжай, – сказал Олсоп, притворяясь всерьез заинтересованным, – мне хочется послушать. О чем эта книга?

– Она... она... о... – сбивчиво заговорил Джордж, внезапно осознав, как трудно объяснить, о чем, тем более, что он и сам толком не знал.

– Я имею в виду, – вкрадчиво сказал Олсоп, – можешь ты рассказать нам что-нибудь об интриге? Дать представление, о чем там речь?

– Ну, – неторопливо заговорил Джордж, напряженно думая, – главный персонаж ее – человек по фамилии Раскольников.

– Как-как? – с невинным видом переспросил Олсоп. Вновь послышалось одобрителем хихиканье. Раскольщик?

Хихиканье перешло в хохот.

– Она произносится, – настойчиво сказал Джордж, – Раскольников!

Джерри вновь сдержанно засмеялся.

– Черт возьми, ну и фамилии ты выбираешь! – Потом заговорил одобряюще: – Ну, ладно, ладно, продолжай. Что делает этот Раскольщик к?

– Ну... он... он... убивает старуху, – ответил Джордж, ощущая теперь вокруг атмосферу веселья и насмешек. – Топором! – выпалил он и при взрыве смеха побагровел от гнева и смущения, поняв, что ведет рассказ неуклюже, что начал объяснения наихудшим образом.

– Будь я проклят, если он не оправдывает своей фамилии! – пропыхтел Олсоп. – Старый Доста... старый Доста... знал, что делал, когда назвал его Раскольщиком, не так ли?

Джордж рассердился и с жаром заговорил:

– Тут не над чем смеяться, Джерри. Тут...

– Да, – веско ответил Олсоп. – Убийство старух топором не смешно – кто бы его ни совершал, – даже если язык можно сломать, произнося фамилию убийцы!

Эта острота была встречена взрывом одобрителем смеха, молодой человек окончательно вышел из себя и напустился на собравшихся:

– Да уйметесь ли вы наконец! Отпускаете шутки, хохочете над тем, о чем понятия не имеете. Что тут смешного, хотел бы я знать?

– Мне это вовсе не кажется смешным, – спокойно заметил Олсоп. – На мой взгляд, это

отвратительно.

Его спокойное замечание было встречено одобрительным ропотом.

Однако одно из любимых определений Олсопа вызвало у Джорджа жгучее возмущение.

– Что здесь отвратительного? – гневно спросил он. – Господи, Джерри, ты вечно называешь что-то отвратительным просто потому, что тебе оно не нравится. Автор вправе говорить о чем угодно. Он *не отвратителен*, раз не пишет все время о сливках и персиках.

– Да, – ответил Олсоп с приводящей в ярость поучительной снисходительностью. – Но великий писатель видит все стороны ситуации....

– Все стороны ситуации! – возбужденно воскликнул Джордж.- Джерри, и это тоже не сходит у тебя с уст. Ты постоянно твердишь о видении всех сторон ситуации. Как это понять, черт возьми? Может, у ситуации нет всех сторон. Слыша это выражение, я не понимаю, что ты имеешь в виду!

Это был уже откровенный бунт. В комнате воцарилась зловещая тишина. Олсоп продолжал слегка улыбаться, сохраняя маску невозмутимой снисходительности, однако улыбка его была тусклой, сердечность исчезла с лица, глаза за стеклами очков превратились в холодные щелочки.

– Я только хотел сказать, что великий писатель – поистине великий – пишет обо всех типах людей. Он может писать об убийстве и преступлении, как этот До-ста-как-его-там, но он напишет и о других вещах. Иными словами, – с важным видом сказал Олсоп, – он постарается увидеть Целое в истинной перспективе.

– В какой истинной перспективе, Джерри? – выпалил Джордж. – Ты о ней постоянно твердишь. Объяснил бы, что это означает.

Опять ересь. Все затаили дыхание, а Олсоп, сохраняя невозмутимость, спокойно ответил:

– Это означает, что великий писатель постарается видеть жизнь ясно и всесторонне. Постарается дать полную картину.

– Вот Достоевский и старается, – упрямо сказал Джордж.

– Да, я знаю, но добивается ли он этого? Выказывает ли более здравый и широкий взгляд на вещи?

– Э... э... Джерри, ты и это вечно твердишь – более здравый и широкий взгляд на вещи. Что *это* означает? Кто хоть раз выказал его?

– По-моему, – невозмутимо ответил Олсоп, – его выказывал Диккенс.

Послушные ученики одобрительно забормотали, но бунтовщик вполголоса гневно перебил их:

– А – Диккенс! Надоело вечно слышать о нем!

Это было святотатством, и на минуту воцарилось ошеломленное молчание, словно кто-то в конце концов согрешил против Святого Духа. Когда Олсоп заговорил вновь, лицо его было очень серьезным, глаза превратились в ледяные лезвия.

– Хочешь сказать, что твой русский представляет такую же здравую и широкую картину жизни, как Диккенс?

– Я уже сказал, – ответил Джордж дрожащим от волнения голосом, – не понимаю, что ты под этим имеешь в виду. И хочу только сказать, что, кроме Диккенса, есть и другие великие писатели.

– Стало быть, ты думаешь, – спокойно спросил Олсоп, – что этот человек более великий писатель, чем Диккенс?

– Я не....- заговорил было Джордж.

– Да, но все же скажи, – перебил Олсоп. – Мы все уважаем чужие мнения – ты всерьез считаешь, что он более великий, так ведь?

Джордж взглянул на него с каким-то недоуменным возмущением, потом, всплыв при виде окружающих его суровых лиц, неожиданно выкрикнул:

– Да! Гораздо более великий! Как сказал Паскаль, одна из величайших неожиданностей в жизни – открыть книгу, ожидая встречи с писателем, и вместо него обнаружить человека. Именно так обстоит дело с Достоевским. Ты встречаешься не с писателем. С человеком. Можно не верить всему сказанному, но ты веришь человеку, который это говорит. Тебя убеждает его предельная искренность, его яркий, пылающий свет, и как бы временами он ни был сбивчив, озадачен, неуверен, ты неизменно понимаешь, что он прав. Понимаешь, что неважно, как люди высказываются, потому что в этих высказываниях выражается подлинное чувство. Могу привести тебе пример, – с жаром продолжал Джордж. – В конце «Братьев Карамазовых», где Алеша разговаривает с мальчиками на кладбище, опасность впасть в сентиментальность и фальшь просто ошеломляющая. Во-первых, сцена эта происходит у могилы мальчика, на которую Алеша и дети принесли цветы. Потом в этой же опасности находится и Алеша с его проповедью братской любви, его доктриной искупления через жертву, спасения через смирение. Он произносит перед детьми речь, сбивчивую, бессвязную, которую фраза за фразой мог бы произнести секретарь Христианской ассоциации молодых людей или учитель воскресной школы. В таком случае, почему же в ней нет ничего отвратительного, тошнотворного, как было бы в разглагольствованиях этих людей? Потому что мы понимаем с самого начала, что слова эти честные, искренние, потому что верим в искренность, правдивость, честность персонажа, который произносит эти слова, и человека, который написал эти слова и создал персонажа. Достоевский не боялся использовать эти слова, – страстно продолжал Джордж, – потому что в нем не было фальши и сентиментальности. Слова те же самые, что может сказать учитель воскресной школы, но выражают они другое чувство, в этом все дело. Выражают то, что хотел Достоевский. Алеша говорит детям, что мы должны любить друг друга, и мы верим ему. Он просит их никогда не забывать умершего товарища, помнить все его добрые, бескорыстные поступки, его любовь к отцу, его великодушие и смелость. Потом Алеша говорит детям, что главное в жизни, то, что искупит все наши ошибки и заблуждения, спасет нас – это хранить добрую память о ком-то. И эти простые слова трогают нас больше, чем самая искусная риторика, так как мы понимаем, что нам сказали о жизни нечто истинное, непреходящее, и человек, который сказал это, прав.

В конце этой долгой речи Олсоп спокойно потянулся к книжным полкам, взял изрядно потрепанный том, и пока Джордж еще говорил, принялся невозмутимо листать страницы. Теперь он вновь был готов к спору. Раскрыл книгу и держал толстый палец на нужной строке. Со снисходительной, терпеливой улыбочкой ждал, когда Джордж закончит.

– Знаешь, – спокойно сказал он, когда Джордж умолк, – ситуация, которую ты описал, меня очень занимает, поскольку Чарлз Диккенс описывает подобную в конце «Повести о двух городах» и говорит то же самое, что Достоевский.

Джордж заметил, что на сей раз он правильно произнес фамилию.

– Так вот, – продолжал Олсоп, оглядывая своих учеников с легкой, смутной улыбкой, которая служила вступлением ко всем его восхвалениям сентиментальности и в особенности главного объекта его идолопоклонства, Чарлза Диккенса – и которая говорила им яснее всяких слов: «Сейчас я покажу вам, что по-настоящему великий человек может сделать с добротой и светом», – полагаю, вам всем будет интересно узнать, как описывает Диккенс ту же самую ситуацию.

И тут же принялся читать заключительные пассажи книги, посвященные знаменитым мыслям Сидни Картона, когда он всходит на гильотину, чтобы пожертвовать жизнью ради спасения того человека, которого любит его возлюбленная:

«Я вижу тех, за кого я отдаю свою жизнь – они живут спокойно и счастливо, мирной, деятельной жизнью там, в Англии, которую мне больше не придется увидеть. Я вижу ее с малюткой на руках, она назвала его моим именем. Вижу ее отца, годы согнули его, но он бодр и спокоен духом и по-прежнему приходит на помощь страждущим. Я вижу их доброго, испытанного друга; он покинет их через десять лет, оставив им все, что у него есть, и обретет награду на небесах.

Я вижу, как свято они чтут мою память; она живет в их сердцах и еще долго будет жить в сердцах их детей и внуков. Я вижу ее уже старушкой, вижу, как она плачет обо мне в годовщину моей смерти. Я вижу ее с мужем; преданные друг другу до конца жизни и до конца сохранив память обо мне, они починут рядом на своем последнем земном ложе.

Я вижу, как малютка, которого она нарекла моим именем, растет, мужает, выбирает себе дорогу в жизни, которой некогда шел и я; но он идет по ней не сбиваясь, мужественно преодолевает препятствия, и имя, когда-то запятнанное мною, сияет, озаренное славой. Я вижу его праведным судьей, пользующимся уважением и любовью; сын его носит мое имя – мальчик с золотистыми волосами и ясным выразительным челом, милыми моему сердцу. Он приводит своего сына на это место, где нет уже и следа тех ужасов, что творятся здесь ныне, и я слышу, как он прерывающимся от волнения голосом рассказывает ему обо мне.

То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал; я счастлив обрести покой, которого не знал в жизни»^[8].

Олсоп прочел эти знаменитые строки хриплым от волнения голосом, потом громко высморкался. Он был глубоко, искренне растроган, его чувство и тон, которым он читал отрывок, несомненно, оказали сильное воздействие на слушателей. В заключение, после громкого салюта в платок и недолгого молчания, он огляделся со смутной улыбкой и спокойно спросил:

– Ну, что скажете? Сравнимо ли это с мистером Доста-как-его-там или нет?

Тут же послышался хор одобрительных восклицаний. Все шумно согласилось, что прочитанный отрывок не только «сравним» с мистером До-ста-как-его-там, но и намного превосходит все его достижения.

Поскольку о мистере Доста-как-его-там никто из собравшихся ничего не знал, однако все стремились высказать свое суждение с такой фанатичной безапелляционностью, Джордж ощутил жгучий гнев и негодуяще перебил их:

– Это совсем не одно и то же. Ситуации совершенно разные.

– Послушай, – увещевающим тоном заговорил Джерри, – ты должен признать, что ситуация по существу та же самая. В обоих случаях – идея любви и жертвования. Только мне кажется, что в разработке этой ситуации Диккенс превосходит Достоевского. Он говорит то, что Достоевский пытается сказать, и, по-моему, говорит гораздо лучше. Представляет более широкую картину, дает понять, что жизнь продолжается и будет прекрасной, как всегда, несмотря ни на что. Итак, – продолжал он спокойно и вновь увещевающе, – разве не согласен ты, Джордж, что метод Диккенса лучше? Сам знаешь, что согласен! – Он громко фыркнул, плечи его и живот затряслись от добродушного веселья. – Я знаю, что ты чувствуешь в глубине души. И споришь просто для того, чтобы слышать себя.

– Вовсе нет, Джерри, – с пылкой серьезностью возразил Джордж. – Я не кривлю душой. И не вижу ничего общего между той и другой ситуацией. То, что говорит Сидни Картон, не имеет отношения к тому, что Алеша хочет сказать в конце «Братьев Карамазовых». Одна книга – умело сработанная, волнующая мелодрама. Другая, в сущности, даже не вымысел. Это великая картина жизни и людской участи, увиденная сквозь призму духа великого человека. Алеша говорит не о том, что человек гибнет во имя любви, не о том, что он жертвует жизнью ради

романтического чувства, но что он живет ради любви, не романтической, а любви к жизни, любви к человечеству, и что через любовь его дух и память о нем продолжают жить, хотя тело его и мертво. Это совершенно не то, что говорит Сидни Картон. В одной книге у нас глубокое, бесхитрое выражение великой духовной истины, в другой – высокопарная, сентиментальная концовка романтической мелодрамы.

– Нет! – запальчиво выкрикнул Джерри Олсоп, лицо его покраснело от гнева и волнения. – Нет! – снова крикнул он и возмущенно потряс головой. – Если ты называешь это сентиментальным, то сам не знаешь, что говоришь! Ты совершенно за путался. И даже не понимаешь, чего добивается Диккенс!

Тут поднялся невообразимый шум, больше десятка гневных, насмешливых голосов пытались заглушить бунтовщика, который, по мере того как противодействие нарастало, лишь кричал еще громче; и так продолжалось, пока соперники не запыхались и весь юродок из множества окон громко не потребовал тишины.

Завершилось все тем, что Олсоп, бледный, но добродетельный, в конце концов восстановил тишину и сказал:

– Мы все старались быть тебе друзьями, старались выручить тебя. Раз не понимаешь этого, можешь не общаться с нами. Мы все видели, куда ты катишься... – продолжал он дрожащим голосом; и Джордж, доведенный этими словами до бешенства и полного бунта, исступленно выкрикнул:

– Да, качусь – качусь, черт возьми! Укатился! – И выбежал из комнаты, держа под мышкой потрепанный том.

Волнение поднялось снова, преданные сторонники собрата, вокруг уязвленного вождя. Итог произошедшего, когда шум глубных одобрений поутих, был подведен в заключительных словах Олсопа:

– Он сущий осел! Учинил склоку, иначе не скажешь! У меня была какая-то надежда, но он выставил себя сущим ослом! Не возитесь с ним больше, он того не стоит!

Этими словами была поставлена последняя точка.

– Добывай факты, брат Уэббер! Добывай факты!

Четырехугольная голова Сфинкса, выбритая, щекастая, серовато-желтая; неприятный, сухой рот, скривленный в угрюмой насмешке; негромкий скрипучий голос. Он неподвижно сидел, иронически глядя на студентов.

– Я исследователь! – объявил он наконец. – Я добываю факты.

– А что потом делаете с ними? – поинтересовался Джордж.

– Разбираюсь в них и добываю другие, – ответил профессор Рэндолф Уэйр.

Его вялое, ироничное лицо с тяжелыми веками выражало удовольствие восторженно-удивленными взглядами студентов.

– Есть ли у меня воображение? – спросил он. И покачал головой в категорическом отрицании. – Не-ет, – протянул он с ворчливым удовлетворением. – Есть ли у меня литературный талант? Не-ет. Мог бы я написать «Короля Лира»? Не-ет. Больше ли у меня ума, чем у Шекспира? Да. Знаю ли я английскую литературу лучше, чем принц Уэльский? Да. Знаю ли об Эдмунде Спенсере больше, чем Киттридж, Мэнли и Сентсбери вместе взятые? Да. Мог бы я написать «Королеву фей»? Не-ет. Мог бы написать докторскую диссертацию о «Королеве фей»? Да.

– Видели вы когда-нибудь диссертацию, которую стоило бы читать? – спросил Джордж.

– Да, – последовал категорический ответ.

– Чью же?

– Свою собственную.

Студенты восторженно завопили.

– В таком случае, какая польза от фактов? – спросил Джордж.

– Они не дают человеку размякнуть, – сурово ответил Рэндолф Уэйр.

– Но факт сам по себе неважен, – сказал Джордж. – Он всего-навсего проявление идеи.

– Завтракал ты, брат Уэббер?

– Нет, – ответил Джордж. – Я всегда ем после занятий. Чтобы разум был бодрым и активным.

Класс захихикал.

– Твой завтрак факт или идея, брат Уэббер? – Уэйр бросил на Джорджа суровый взгляд. – Брат Уэббер получил пятерку по логике и завтракает в полдень. Он думает, что приобщился к божественной философии, но ошибается. Брат Уэббер, ты много раз слышал полуночные колокола. Я сам видел тебя под луной, неистово вращающим глазами. Тебе никогда не стать философом, брат Уэббер. Ты приятно проведешь несколько лет в аду, добывая факты. Потом, возможно, станешь поэтом.

Рэндолф Уэйр был весьма замечательной личностью – большим ученым, верующим в дисциплину формальных исследований. Научным прагматиком до глубины души: верил в прогресс, облегчение участи человека и говорил о Фрэнсисе Бэконе – в сущности, первом американце – со сдержанной, но страстной премудростью.

Джордж Уэббер впоследствии вспоминал его – седого, бесстрастного, ироничного – как одного из самых странных людей, которых знал когда-либо. Станным было все. Уроженец Среднего Запада, он учился в Чикагском университете и знал об английской литературе больше, чем оксфордские ученые. Казалось странным, что человек в Чикаго взялся за изучение Спенсера.

Рэндолф Уэйр был в высшей степени американцем – казалось, даже предзнаменовывал будущее. Джордж редко встречал людей, способных так полно и умело использовать свои возможности. Он был замечательным преподавателем, способным на поразительные плодотворные новшества. Однажды он заставил класс на занятиях по письменной практике писать роман, и студенты с кипучим интересом принялись за работу. Джордж трижды в неделю, запыхавшись, врывался в класс с новой главкой, написанной на бумажных пакетах, конвертах, случайных клочках бумаги. Рэндолф Уэйр сумел донести до них сокрытое очарование поэзии: холодная величественность Мильтона стала полниться жизнью и ярким колоритом – в Молохе, Вельзевуле, Сатане – без вульгарности или нелепости, он помог им разглядеть среди людей того времени множество хитрых, жадных, злобных. И, однако же, Джорджу всегда казалось, что в этом человеке есть некая трагично пропадающая попусту сила. В нем таились сильный свет и некое сокрытое сияние. Казалось, он с нарочитым фанатизмом зарылся в мелочах. Несмотря на свои великие силы, он составлял антологии для колледжей.

Но студенты, толпившиеся вокруг него, ощущали чуткость и красоту под этой бесстрастной, ироничной маской. Однажды Джордж, придя к нему домой, застал его за пианино, с распрямленным грузным телом, с мечтательным, как у Будды, желто-серым лицом, пухлые пальцы со страстью и мудростью извлекали из инструмента великую музыку Бетховена. И Джордж вспомнил, что Алкивиад сказал Сократу: «Ты как Силен – снаружи толстый, некрасивый, но таишь внутри фигуру юного прекрасного божества».

Несмотря на бесконечную болтовню выдающихся педагогов того времени о «демократии и руководстве», «идеалах служения», «месте колледжа в современной жизни» и так далее; реальности в направлении того «образования», которое получил Джордж, было маловато. Это не

значит, что не было совсем. Была, разумеется – не только потому, что реальность есть во всем, но и потому, что он соприкоснулся с искусством, литературой и несколькими замечательными людьми. Большого, пожалуй, и ждать нельзя.

Было бы несправедливостью сказать, что до подлинной ценности этого, прекрасного и бессмертного, он вынужден был «докапываться» сам. Это неверно. Он познакомился со многими молодыми людьми, похожими на него, и этот факт был «прекрасен» – множество молодых людей были заодно, они не знали, куда идут, но знали, что идут куда-то.

Вот что получил Джордж , и это было немало.

Лет пятнадцать или больше назад (по тем меркам, которыми люди измеряют с помощью созданных их изобретательностью приборов неизмеримую вселенную времени) в конце прекрасного, жаркого, ясного, свежего, благоуханного, ленивого дня, обладающего изнуряющим зноем тело, кости, жилы, ткани, дух, реки, горы, равнины, ручьи, озера, прибрежные районы Американского континента, одинокие наблюдатели на равнинах штата Нью-Джерси могли видеть поезд, приближавшийся с огромной скоростью к той легендарной скале, тому кораблю жизни, той многолюдной, многобашенной, взмывающей к небу цитадели, которая носит чудесное имя Остров Манхеттен.

Действительно, в ту минуту один из одиноких ловцов лангустов, которые занимаются своим любопытным промыслом в это время года по всей площади болот, характерных для того района иью-джерсийского побережья, поднял обветренное, морщинистое лицо от сетей, которые чинил перед вечерней ловлей, и, глянув на неистово мчавшийся мимо с грохотом поезд, повернулся и спокойно сказал сидевшему рядом загорелому юноше:

– Курьерский.

Юноша, глянув в ответ на отца такими же голубыми, безучастными глазами, так же спокойно спросил:

– Идет по расписанию, папа?

Старик ответил не сразу. Он сунул узловатую, обветренную руку в карман горохового цвета куртки, пошарил там, достал огромные серебряные часы с компасом, фамильную ценность трех поколений ловцов лангустов. Задумчиво поглядел на них.

– Да, парень, – равнодушно ответил он. – По расписанию – или почти. Пожалуй, немного опоздает.

Но большой поезд уже промчался с ураганным шумом и скоростью. Шум затих, оставя болота извечным крикам чаек, низкому гудению огромных комаров, унынию, погребальным кострам горящего мусора, одинокому ловцу лангустов и его юному сыну. Несколько секунд они равнодушно глядели вслед уносящемуся поезду. Потом вновь принялись чинить сети. Близился вечер, с ним – полный прилив, а с приливом – лангусты. Все оставалось неизменным. Поезд появился, прошел, исчез, и над равниной, как всегда, нависал невозмутимый лик вечности.

В поезде, однако, была иная атмосфера, своеобразное пробуждение надежд и ожиданий. На лицах пассажиров можно было разглядеть отражения всех чувств, которые обычно вызывает конец долгого путешествия: у кого – сосредоточенной готовности, у кого – пылкой нетерпеливости, у кого – опасливого беспокойства, а на лице одного из них, юноши двадцати с небольшим лет, отражались надежда, страх, томление, ликование, вера, убежденность, предвкушение и поразительное осознание, которые испытывал каждый юноша на земле, приближаясь к чудесному городу. Хотя остальные люди в вагоне, уже деятельные, суетливые, занимались приготовлениями к концу пути, юноша сидел у окна, словно погруженный в грезы, восторженный взор его был прикован к проносящимся мимо пустынным болотам. Ни одна подробность пейзажа не ускользала от его жадного внимания.

Поезд мчался мимо клеевой фабрики. Молодой человек, словно бы хмельной от восторга, упивался ее зрелищем. Радостно смотрел на высокие дымовые трубы, блестящие окна, мощные печи. Потянуло едким запахом горячего клея, и юноша стал жадно вдыхать его.

Поезд пронесся по мосту через извилистый заливчик бесконечного всепоглощающего моря, неподвижный, как время, густо подернутый неподвижной зеленью; совершенная красота его навсегда запала в разум и сердце молодого человека.

Он поднял взгляд, как некогда покорители Запада поднимали взгляды на сияющие бастионы гор. Перед ним по краям болота вздымались гордые вершины Джерси-Сити, неизменно встречающего путешественника тлением своих мусорных куч – вершины, гордо вздымающиеся над первозданностью этих унылых болот знаменем стойкости человека, символом его силы, свидетельством несокрушимого духа, которое вечно пылает громадным факелом в этой пустыне, противопоставляя потемкам слепой природы картину его свершений – высоты Джерси-Сити, сияющие вечным празднеством.

Поезд мчался под вершины гордого зубчатого холма. Холм окутывал его, поезд с грохотом входил в тоннель. В вагоне вдруг стало темно. Поезд нырнул под широкое русло неустанной реки, и у молодого человека заложило взволнованно настороженные уши.

Он повернулся и взглянул на попутчиков. Увидел на их лицах изумление, а в сердцах уловил нечто такое, чего никому не постичь; и сидя в немом остолебенении, услышал два голоса, два негромких голоса жизни, голоса двух безымянных слагаемых жизни, мужчины и женщины.

– Черт возьми, ну и рад же я буду вернуться домой, – негромко сказал мужчина.

Женщина несколько секунд молчала, потом так же негромко, однако до того выразительно, проникновенно, что молодой человек никогда этого не забудет, ответила:

– Вот-вот.

И только. Но как ни просты были эти слова, они запали ему в сердце своим лаконичным выражением хода времени и горькой краткости человеческих дней, всей спрессованности истории его трагического удела.

Пораженный этой несказанной красноречивостью, он услышал над ухом другой голос, мягкий, негромкий, настоящий, сладкий, как медвяная роса, и вдруг с изумлением осознал, что слова эти адресованы ему, и только ему.

– Собираетесь выходить, босс? – произнес мягкий голос. – Подъезжаем. С вещами помочь?

Молодой человек повернулся и взглянул на проводника-негра. Потом легонько кивнул и спокойно ответил:

– Я готов. Да, ничего не имею против.

Поезд уже замедлял ход перед станцией. Серые сумерки вновь сочились в окна. Состав вышел из тоннеля. По обеим сторонам пути тянулись старые многоэтажные дома, таинственные, как время, и древние, как человеческая память. Молодой человек глядел в окно, куда только достигал взгляд, на все эти ярусы жизни, на бесчисленные ячейки жизни, на окна, комнаты, лица непреходящего, вечного города. Они нависали над ним в своем древнем молчании. Отвечали ему взглядом. Он глядел в их лица и молчал. Жители большого города, опершись на вечерние подоконники, смотрели на него. Смотрели из бойниц в древних кирпичных стенах. Смотрели безмолвно, но пристально сквозь старинные застиранные шторы. Сквозь развешенные простыни, сохнущее белье, сквозь ткань бесценных неведомых гобеленов, и молодой человек понимал, что сейчас все обстоит так, как обстояло всегда и будет обстоять завтра и вовеки.

Однако поезд окончательно замедлял ход. Появились длинные бетонные языки, лица, человеческие фигуры, бегущие силуэты. И все эти лица, силуэты, фигуры не проносились за окнами, а оставались видны из подтягивающегося к остановке поезда. Заскрежетали тормоза, поезд чуть дернулся, и на миг воцарилась полная тишина.

В этот миг молодой человек испытал ужасающее потрясение. Он был в Нью-Йорке.

На свете нет более правдивой легенды, чем о парне из захолустья, простачке-провинциале, впервые приехавшем в большой город. Опошленная повторениями, спародированная и представленная в комическом виде дешевой беллетристикой и фарсом водевильного юмора, она

тем не менее представляет собой историю одного из самых потрясающих и значительных событий в жизни человека и жизни страны. Она нашла вдохновенных, великолепных повествователей в Толстом и Гете, Бальзаке и Диккенсе, Филдинге и Марке Твене. Она нашла прекрасные образцы во всех артериях жизни, в Шекспире и Наполеоне. И большие города мира изо дня в день непрестанно снабжаются, пополняются, обогащаются этой жизненной силой нации со всеми страстью, стремлением, пылкостью, верой и ярким воображением, какими только может обладать юность или какие только может вместить в себя человек.

Ни одному горожанину никогда не понять, что для такого, как Джордж Уэббер, родившегося в захолустье, выросшего в провинции, где людям негде развернуться, представляет собой большой город. Мысль о нем зарождается в отдалении, в тишине, в детстве; он вырастает в воображении подростка до облаков; он записан в сердце юноши, словно прекрасная легенда пером из ангельского крыла; он живет и пламенеет в сердце и духе со всей непреходящей фееричностью волшебной страны.

Поэтому, когда такой человек впервые приезжает в огромный город – но как можно говорить о приезде впервые, когда, по сути дела, этот огромный город находился в нем, заключен в его сердце, возведен во всех сияющих мысленных образах: это символ его надежд, воплощение его пылких желаний, венец, твердыня всего, о чем он мечтал, что жаждал, предполагал получить от жизни? В сущности, приезда в большой город для такого человека нет. Он повсюду носит этот город с собой и когда наконец вдыхает его воздух, ступает ногой на его улицу, глядит вокруг на вершины городских домов, на мрачный нескончаемый поток городских лиц, ощупывает себя, щиплет, дабы убедиться, что он в самом деле здесь, – то неизменно возникает вопрос, в ошеломляющей сложности которого надо разбираться проницательным психологам, чтобы понять, какой город настоящий, какой город он обрел и видит, какой город на самом деле здесь для этого человека.

Потому что этот город миллионнолик, и как, по справедливому утверждению, никто из двух людей не может знать, что думает другой, видит другой, говоря о «красном» или «синем», так никто не знает и что имеет в виду другой, говоря о городе, который видит. Ибо видит он тот, что привез с собой, что заключен в его сердце; даже в тот безмерный миг первого восприятия, когда впервые воочию видит город, в тот потрясающий миг окончательного осознания, когда город наконец воздействует на его разум, никто не может быть уверен, что город, который видит этот человек, подлинный, поскольку в краткий миг узнавания возникает совершенно новый, воспринимаемый разумом, но сформированный, окрашенный, пронизанный всем, что он думал и чувствовал, о чем мечтал раньше.

Мало того! Существует множество других мгновений, случайных, мимолетных событий, которые формируют этот город в сердце юноши. Это может быть мерцающий свет, хмурый день, листок на кусте; может быть первый мысленный образ городского лица, женской улыбки, ругательство, полурасслышанное слово; может быть закат, раннее утро или поток машин на улице, клубящийся столб пыли в полдень; или то может быть апрель и песни, которые пели в том году. Никто не знает, только это может быть нечто случайное, мимолетное, как все названное, в слиянии с глиной и соснами, с атмосферой юности, с местом, домом и жизнью, от которых оторвался, и все это, отложившееся в памяти, складывается в видение города, которое человек привозит туда в своем сердце.

В тот год их было пятеро. Джим Рэндолф и Монти Беллами, южнокаролинец Харви Уильяме, его друг Перси Смит и Джордж Уэббер. Они жили в квартире, которую сняли на Сто двадцать третьей стрит. Дом стоял на склоне холма, тянувшегося от Мор-нингсайда к Гарлему; место это находилось у самого края большого Черного Пояса, так близко, что границы

переплетались – улицы делились на черные и белые. То был невзрачный многоквартирный дом, каких полно в том районе, шестиэтажное здание из спекшегося желтого, довольно грязного кирпича. Вестибюль его был разукрашен с чрезмерной броскостью. Пол был кафельным, стены от пола до середины покрывали плиты мрамора с прожилками. По бокам находились ведущие в квартиры двери, обитые раскрашенной под дерево жостью, с маленькими золотистого цвета номерами. В глубине вестибюля находились лифт, и по ночам угрюмый, сонного вида негр, а днем «управляющий» – итальянец, ничего не носивший поверх рубашки, трудолюбивый, добродушный мастер на все руки, – он производил ремонт, топил печи, чинил водопровод, знал, где купить джина, любил спорить, протестовать, но был добрым. Спорщиком он был неутомимым, и они вечно с ним пререкались просто затем, чтобы послушать пересыпанную итальянскими словами речь, потому что очень любили этого человека. Звали его Джо. Они любили его, как на Юге любят людей, забористые словечки, своеобразие личности, шутки, споры и добродушные перебранки – как любят землю и населяющий ее род людской, что является одним из лучших достоинств Юга.

Словом, их было пятеро – пятеро юношей-южан, впервые собравшихся здесь, в этой восхитительной катакомбе, пылких, необузданных, честолюбивых, – и им было весело.

Квартира, в которую из мраморного вестибюля вела правая дверь, шла от фасада в глубь здания и принадлежала к типу, известному как «железнодорожная платформа». Комнат, если считать все, было пять: гостиная, три спальни и кухня. Квартиру из конца в конец пересекал узкий, темный коридор. Это был своего рода тоннель, постепенно темнеющий проход. Гостиная с двумя большими, выходящими на улицу окнами находилась в передней части; это была в сущности единственная сносно освещенная комната. За ней начиналась адская, постепенно сгущающаяся тьма. В первой спальне было узкое окошко, выходящее в проход шириной два фута и открывающее вид на грязную кирпичную стену соседнего дома. В этой комнате стоял густой полумрак, напоминавший атмосферу джунглей в фильмах о Тарзане, или даже скорее о доисторическом человеке, когда он только-только выползает из первозданной грязи. Дальше находилась ванная, ее адскую тьму ни разу не нарушал луч дневного света; за ней другая спальня, идентичная первой во всех отношениях, вплоть до освещенности; потом шла кухня, чуть более светлая, так как была попросторнее и с двумя окнами; а в самом конце находилась последняя спальня, лучшая, поскольку была угловой, с окном в каждой наружной стене. Разумеется, ее, как достойную принца королевской крови, по общему молчаливому согласию отвели Джиму Рэндолфу. Монти Беллами и Джордж занимали следующую, а Харви и его друг Перси третью. Квартплата составляла восемьдесят долларов в месяц и распределялась на всех поровну.

В ванной, где электрическая лампочка отказывалась зажигаться, иллюзия полуночи была полной. Ее усиливали на довольно зловещий и влажный манер постоянное капанье из крана и непрерывное журчание воды в туалете. Они добрый десяток раз пытались избавиться от этих зол; каждый проделывал собственные сантехнические эксперименты. Результаты хоть и свидетельствовали об изобретательности, но не делали особой чести их умелости. Сперва по ночам, когда они пытались уснуть, шум донимал их. Журчание туалета и мерное, громкое капанье из крана в конце концов выводили кого-то из себя, все слышали, как он бранился и поднимался с кровати со словами:

– Черт возьми! Как тут уснуть, если этот проклятый туалет шумит всю ночь!

Затем он плелся по коридору, спускал воду в туалете, снимал крышку с бачка, копался в его механизме, ругаясь под нос, в конце концов клал крышку на место, предоставляя пустому бачку наполняться снова. И с удовлетворенным вздохом возвращался, говоря, что, кажется, на сей раз он как следует починил эту проклятую штуку. Затем снова укладывался в постель, готовясь к

блаженному сну, но тут стук капель и выводящее из себя журчание начинались снова.

Но то была едва ли не худшая из их бед, и они вскоре к этому привыкли. Правда, две спальни были до того маленькими, тесными, что там оказалось невозможно установить две односпальные койки и пришлось водружать одну на другую, как в спальнях колледжа. Правда и то, что в обеих спальнях было до того темно, что в любое время дня читать газету можно было лишь включив электрический свет. Единственное окно каждой выходило в пыльную вентиляционную шахту, на кирпичную стену соседнего здания. И так как они были на первом этаже, то находились на дне этой шахты. Разумеется, квартплата из-за этого была поменьше. Чем выше обитали жильцы, тем больше у них было света и воздуха, тем дороже им приходилось платить за квартиру. Эта система расценок была восхитительно проста, однако никто из них, приехавших оттуда, где права на атмосферу у всех равные, так и не оправился полностью от удивления новому миру, где даже воздух распределялся за деньги.

Все же они очень быстро привыкли к этому и особого недовольства не испытывали. Даже считали свою жизнь великолепной. У них была *квартира, настоящая* квартира на легендарном острове Манхеттен. Была своя ванная, пусть из кранов там и текло, своя кухня, где они готовили еду. У каждого был свой ключ, все могли уходить и приходиться, когда вздумается.

У них был самый поразительный набор мебели, какой Джорджу только доводилось видеть. Бог весть, где раздобыл ее Джим Рэндолф. Он был душой их общества, их главой дома, их вождем. Джордж поселился там на год позже Джима и поэтому застал квартиру уже меблированной. У них было два шифоньера в лучшем грэнд-рэпидском стиле, с овальными зеркалами, деревянными ручками на дверцах и лишь местами облупившейся лакировкой. У Джима в спальне стоял настоящий письменный стол, днища двух выдвижных его ящиков были целы. В гостиной находились большое мягкое кресло со сломанной пружиной, длинная кушетка с вылезавшей набивкой, старое кожаное кресло, настоящее кресло-качалка с треснувшим плетеным сиденьем, книжный шкаф с несколькими книгами и застекленными дверцами, которые дребезжали, а в дождливую погоду иногда не хотели раскрываться, наконец – самое замечательное из всего – настоящее пианино.

Инструменту этому пришлось хлебнуть лиха. Судя по виду и звучанию, он долго служил в бурлесках. Клавиши слоновой кости пожелтели от старости, корпус красного дерева хранил на себе, царапины от сапог и ожоги от окурков множества сигарет. Некоторые клавиши не отзывались на прикосновение, многие издавали неприятный звук. Но что из того? Это было пианино – *и* х пианино, – самое настоящее, в гостиной их великолепной, роскошной пятикомнатной квартиры в северной части легендарного острова Манхеттен. Они могли развлекать там гостей. Могли приглашать туда приятелей. Могли там есть и пить, петь и смеяться, устраивать вечеринки, тискать девиц и играть на своем пианино.

Играть на нем, собственно говоря, мог только Джим Рэндолф. Играл он очень плохо и вместе с тем замечательно. Многие ноты пропускал, на других фальшивил. Однако его сильные пальцы колотили по клавишам с несомненным чувством ритма. Слушать, как играет Джим, было приятно, потому что приятно было *видеть* и *сознавать*, что играет он. Бог весть где Джим выучился этому. То было одно из его многочисленных достоинств, которые он приобрел в странствиях по свету и которые включали в себя способности пробежать сто ярдов меньше чем за одиннадцать секунд, послать ударом ноги мяч на восемьдесят метров, метко стрелять из винтовки, ездить верхом, умение немного говорить по-испански, итальянски и французски, поджарить бифштекс или цыпленка, испечь пирог, вести судно, печатать на машинке – и подцепить девчонку когда угодно и где угодно.

Джим был намного старше остальных. Тогда ему было уже под тридцать. И легенда все еще окружала его. Видя, как он идет по комнате, Джордж всякий раз вспоминал его на футбольном

поле. Несмотря на возраст, он был поразительно юным, импульсивным, подверженным порывам гнева, энтузиазма, сентиментальности, капризности и безрассудства, словно мальчишка.

Но если этот мужчина был во многом мальчишкой, то и мальчишка был мужчиной в неменьшей степени. Джим держал остальных под доброжелательной, но строгой властью, и все они смотрели на него снизу вверх, беспрекословно признавали его своим вождем не из-за нескольких лет разницы в возрасте, а потому, что он во многом казался зрелым, взрослым человеком.

Чего хочется молодому? Где основной источник того дикого неистовства, что бурлит в нем, что вечно торопит, подгоняет, подхлестывает его, подрывает его силы и развеивает его замысел вихрем множества внезапных, хаотических побуждений? Люди постарше и посдержанней, научившиеся жить без напрасной траты сил, без метаний, думают, что знают причину сумбурности и хаоса жизни молодого человека. Они научились тому, что им было доступно, научились, чтобы идти своим единственным путем через множество изменчивых расцветок, тонов, каденций жизни, чтобы четко, со спокойным сердцем тянуть свою единственную нить по огромному лабиринту меняющихся условий и противоречивых интересов, из которых и состоит жизнь, – и потому говорят, что причина сумбурности, бесцельности, сумасбродности жизни молодого человека в том, что он «не нашел себя».

Тут, возможно, люди постарше и посдержанней правы по своим меркам, однако этим приговором жизни молодых они, в сущности, произносят более суровый, более беспощадный приговор самим себе. Заявляя, что некий молодой человек «еще не нашел себя», эти люди, в сущности, говорят, что он не потерял себя, как они. Люди часто говорят, что «нашли себя», когда на самом деле загнаны в колею грубой принудительной силой обстоятельств. Они говорят о спасении своей жизни, хотя просто-напросто слепо идут случайным путем. Они забыли свои жизненные устремления и всю веру, надежду, непоколебимую уверенность мальчишки. Забыли, что под всеми очевидными потерями, растратой сил, хаосом и беспорядочностью жизни молодого человека сокрыты главная цель и единая вера, которые сами они давно уже утратили.

Что делает молодой человек – здесь, в Америке? Как живет? Каковы колорит, уклад, сущность его жизни? Как он смотрит, чувствует, действует? Что представляет собой история его дней – то тайное неистовство, которое пожирает его, – сущность и центр его единой веры – рисунок и ритм его единственной жизни?

Все мы знаем, что представляет она собой. Мы жили с нею каждый миг, знаем ее каждым атомом наших костей, крови, мозга, мышц, чувств. Это знание неразрывно входит в субстанцию наших жизней. Мы распознаем его мгновенно не только в себе, но и в тысячах людей вокруг – знакомое, как земля, по которой ступаем, близкое, как наше сердце, несомненное, как свет утра. И, однако, никогда не говорим о нем. Не можем. Не в состоянии.

Почему? Потому что молодые люди этой страны не являются, как часто о них говорят, «потерянным» племенем – они еще не открытое племя. И вся тайна, наука, знание, как открыть его, заключена в них самих – они сознают это, чувствуют, носят в себе – и не могут высказать.

Джордж Уэббер быстро понял, что, пожалуй, именно здесь, в этом железногрудом городе, подходишь ближе всего к этой загадке, являющейся наваждением и проклятием для всей страны. Этот город – место, где люди постоянно ищут свою дверь, где обречены вечно блуждать. Для Нью-Йорка это более справедливо, чем для всех других мест. Этот город большей частью чудовищно безобразен, однако запоминается как место, обладающее величественной, потрясающей красотой; это место вечной жажды, однако люди считают, что цель их жизни будет здесь с блеском достигнута, жажда утолена.

Ни в одном месте мира жизнь одинокого парня, провинциала, которого повлекло на север

манящее сияние мечты, не может быть более пустой, более скучной, более безуспешной и неудобной. Жизнь его – это метро, спертый воздух, запах горелой стали, скука и застарелая вонь дешевой комнатухи в квартире какой-нибудь «славной парочки» на Сто тридцатой стрит или, может, радость восьмидесятидолларовой квартиры в Бруклине, на севере Манхэттена или в Бронксе, которую он снимает еще с тре-мя-четырьмя молодыми людьми. Здесь они «могут делать все, что вздумается», это стремление приводит к субботним вечеринкам, дешевому джину, дешевым девицам, возбужденным бессвязным речам, и, возможно, случайному безрадостному пьяному соитию чуть ли не прилюдно.

Если у юноши серьезные устремления, если он собирается «измениться к лучшему», то существуют огромное безлюдье Публичной библиотеки, билеты по сниженным ценам у Грея, место на балконе театра, где идет пьеса, которую весьма хвалили и которую смотрят все интеллектуалы, или серая скука на воскресном концерте в Карнеги-Холле, набитом посредственными, надменного вида музыкантами с шелковистыми усиками, которые шипят в темноте, как змеи, когда исполняются произведения ненавистного композитора; или, наконец, музей «Метрополитен».

Почти во всех попытках вести упорядоченную жизнь в этом юрде есть что-то фальшивое, напускное. Когдаходишь в аккуратную маленькую квартирку молодого человека или юной супружеской пары и видишь на аккуратных, ярко раскрашенных полках аккуратные ряды книг – маленькие плотные квадратики книг серии «Эвримен» и «Современная библиотека», Д. Г. Лоуренса, «Будденброков», Кэбелла, иллюстрированное издание «Острова пингвинов», затем несколько французских книг в бумажных обложках, Пруста, Жида и так далее, – чувствуешь смущение и неловкость; в этом есть что-то обманное. Точно так же чувствуешь себя в домах богатых, живут ли они в «очаровательном домике» на Девятой стрит или в огромных квартирах на Парк-авеню.

Какая бы там ни была атмосфера традиций, уюта, заведенного порядка, покоя и надежной устроенности, у тебя всякий раз возникает то же самое чувство, что все это обманное, что попытка добиться постоянства в этом непостоянном, непрерывно меняющемся мире не более реальна, чем кажущееся постоянство на театральной сцене: никто не удивится, возвратясь наутро в театр и обнаружив, что декорации убраны, сцена пуста, актеров нет. Иногда даже самые обыденные встречи в непринужденной обстановке – приход в гости к друзьям, разговоры с ними в комнате, сидение у камина – о, особенно сидение у камина в этом городе! – кажутся нарочитыми и жалкими. Есть огромная тоска и печаль в этих попытках изобразить устоявшуюся жизнь там, где постоянны только перемены.

В последние годы многие уловили это упорное, постоянное движение. Одни винят в нем войну, другие – темп жизни, третьи называют это время «веком джаза» и советуют людям принять ритм этого века, двигаться и жить в соответствии с ним; но хотя это мнение стало модным, оно вряд ли приемлемо для людей, которых подгоняет жажда, которые познали одиночество и изгнание, скитались по лику земли и не нашли двери, куда могли бы войти, которым хочется до смерти положить конец всем скитаниям и одиночеству, обрести дом, воплощение всех своих устремлений, где могли бы всегда жить в полном достатке. Такие люди, а исчисляются они не тысячами, а миллионами, вряд ли готовы понять, что одиночество и страдание человеческого духа можно умерить дерганым джазовым ритмом.

Возможно, чувство беспокойства, одиночества, жажды усугубляются в этом городе, но если кто помнит свое детство и юность в Америке, то наверняка помнит эти желания и движения. Они подгоняют людей повсюду. У всех было кресло-качалка, и в погожие месяцы все раскачивались в нем на передней веранде, представляя, что движутся куда-то. Люди всегда стремятся «отправиться куда-нибудь», и с появлением автомобиля дороги, особенно по

воскресеньям, стали забиты машинами, едущими за город, едущими в другой город, едущими Бог весть куда, как бы ни была тягостна или бессмысленна поездка. Людям хочется хоть слегка унять свою кошмарную непоседливость.

Жутко представить, какие страдания и жажду претерпели в этом громадном городе люди – особенно молодые, потому что там нет совершенно никакой цели для лихорадочных перемещений. Они возвращаются после дневных трудов в комнату, которая, несмотря на все старания украсить ее опрятной кроватью, яркими расцветками, раскрашенными книжными полками, несколькими картинами, представляет собой всего лишь замаскированную камеру. Комнатой этой возможно пользоваться только для сна; читать там книгу, сидеть в кресле и вообще просто бодрствовать невыносимо.

И что же делать этим несчастным людям? Убеждение, что человек должен иметь хоть какой-то уют, ежесекундно грубо попирается. Человек знает, что всем на свете нужно иметь простор – достаточный, чтобы вытянуть ноги и вдыхать воздух без страха или усилий; знает, что жизнь его в этом жалком чулане скучна, груба, убога, бессмысленна. Знает, что люди не должны надругаться над собой подобным образом, поэтому старается проводить как можно больше времени за пределами своего жилья. Но чем он может заняться? Куда пойти? На жутких улицах этого города нет ни отдыха, ни покоя, нет закоулка, места, где можно уединиться от постоянного наплыва толпы и спокойно погрузиться в себя. Он бежит от одного тупика к другому, спасается, купив билет «на какое-нибудь зрелище» или перекусывая в кафетерии, мечется по громадным ночным улицам и возвращается в свою камеру, не найдя двери, которую мог бы открыть, места, которое мог бы назвать своим.

И потому поразительно, что нигде на свете молодой человек не питает таких надежд и упований, как здесь. Перспектива блестящего достижения, любви, богатства, славы – или невообразимой радости – постоянно носится в воздухе. Его разрывает множество желаний, и он не может назвать ни одно из них, но убежден, что поймает птицу счастья, добьется любви и славы, что схватит неуловимое, выскажет несказанное, постигнет непостижимое; и что все это может произойти в любую минуту.

Возможно, в составе воздуха там есть нечто, вызывающее это поодушевление и радость, но этим же воздухом дышит и вся непостижимая страна, такая богатая, но в которой люди голодают, такая изобильная, ликующая, буйная, полная жизни, веселая, сияющая, великолепная, но в которой столько бедных, неимущих, жаждущих, не знающих, что им делать. Однако богатство и могущество этого города очевидны, они не иллюзия; людей не покидает чувство, что земля здесь полна золота, что тот, кто ищет и трудится, может его добыть.

В Нью-Йорке есть несколько замечательных периодов, когда чувство это достигает лирической силы. Одним из них являются первые весенние дни, когда милостивые женщины и девушки словно бы внезапно пробиваются сквозь тротуары, подобно цветам: неожиданно улица становится заполненной ими, вышагивающими с плавно колеблющимися в горделивом ритме грудями и бедрами, с выражением страстной нежности на лицах. Другой период наступает ранней осенью, в сентябре, когда город обретает великолепную оживленность и пышность: порывы бодрящего ветерка, трепет пестрой листвы, запах морозца и жатвы; после летней вялости город пробуждается к бурной оживленности, красивые женщины вернулись из Европы или с летних курортов, и воздух насыщен ликованием и радостью.

Наконец есть чудесное, тайное предвкушение какой-то приближающейся радости в студеную зимнюю ночь. В одну из таких ночей с морозной тишиной, когда холод так силен, что тело немеет, а небо вверху сверкает алмазами холодных звезд, весь город, как бы ни были безобразны отдельные его районы, становится величественным, потрясающим, северным: все вокруг словно бы воспаряет в сияющем великолепии к звездам. Слышатся гудки больших

пароходов на реке, неожиданно вспоминается пояс величественных, мощных вод, стягивающий город, и Нью-Йорк внезапно сияет, будто великолепный алмаз в подобающей ему оправе моря, земли и звезд.

Нет города, подобного этому, нет города хоть с единой каплей его славы, гордости и ликования. Он берет человека за душу; и человек пьянеет от восторга, становится юным, торжествующим и ощущает себя бессмертным.

14. ПАТРИОТЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Джерри Олсоп приехал в Нью-Йорк несколькими годами раньше, сразу же по окончании колледжа. Джордж знал, что он там, и однажды случайно встретился с ним. Ни тот, ни другой, судя по всему, не были склонны вспоминать отступничество Джорджа в Пайн-Роке; Джерри приветствовал своего бывшего протеже, словно брата после долгой разлуки, и пригласил к себе домой. Джордж пошел к нему, потом пошел снова, и на какое-то время отношения их возобновились, по крайней мере, внешне.

Олсоп жил в той же части города, на поперечной улице между Бродвеем и рекой, неподалеку от Колумбийского университета. У него были две полуподвальные комнаты и убогая кухонька.

Квартира была темной, он собрал туда пришедшую в негодность мебель – старый зеленый диван, несколько стульев, два стола, кушетку – она была застелена грязным бельем и предназначалась для гостей, кровать, на которой спал сам, и грязный старый ковер. Квартиру Джерри считал чудесной и сумел убедить в этом всех друзей. В сущности, она олицетворяла для него свободу – восхитительную, пьянящую свободу, которую этот город давал и ему, и всем. Если смотреть на квартиру под таким углом зрения, она представляла собой не просто две комнаты в полуподвале мрачного дома, заставленные дрянной мебелью. То было владение, поместье, частная твердыня, цитадель. Джерри передал это чудесное ощущение всем, кто приходил к нему.

Когда Джордж впервые увидел Олсопа во всей необычности Нью-Йорка, перемены в его убеждениях и взглядах показались ему разительными. Правда, только поначалу. Потрясение Джорджа, результат слепящей яркости первого впечатления после нескольких лет разлуки, быстро прошло. Олсоп собрал вокруг себя новый кружок, преемников прежней пайн-рокской клики: он был их наставником, путеводной звездой, и две его полуподвальные комнаты стали их клубом. Поэтому Джордж понял, что Олсоп, в сущности, совершенно не изменился, что под всей разительностью внешних перемен душа его оставалась прежней.

В то время одним из главных объектов ненависти Олсопа был мистер Г. Л. Менкен. Этот человек стал для него Апокалиптическим Зверем. Откровенные насмешки Менкена над педагогикой, над культом Матери, над всей цивилизацией, которую он именовал Библейским Поясом, и представителем которой являлся Олсоп, и, пожалуй, главным образом, откровенное кощунственное высмеивание «величайшего после Иисуса Христа человека», которого критик называл то «покойным доктором Уилсоном», то «мучеником Вудро» – все это являлось кинжалом убийцы в сердце того, что было близко и дорого Олсопу, и как представлялось ему, в сердце самой цивилизации, религии, морали, «всего, что снято для людей». В результате этот беспощадный, но в сущности консервативный критик выглядел в глазах Олсопа Антихристом. Месяц за месяцем Олсоп читал последние разносы балтиморского ученого мужа со страстной самозабвенностью жгучей ненависти. Жутковато было смотреть на него за этим злобным чтением: его толстое, обычно довольно бледное лицо становилось лиловато-синим и судорожно корчилось, словно перед апоплексическим ударом, глаза превращались в щелочки, время от времени он разражался яростным смехом и перемежал чтение такими вот комментариями:

– Ну и ну, черт возьми!.. Вот тебе на!.. Он же просто осел... да-да!.. И больше никто!.. Сущий осел. Господи, вот послушай, что он пишет! – Тут голос его поднимался до прерывающегося вопля. – Да у него мозгов меньше, чем у вши! – И заканчивались комментарии всякий раз рекомендацией мстительной кары: – Знаешь, как надо поступить с этим человеком? Вытащить на улицу и...

Этот акт увечья он называл с искренним наслаждением. Видимо, то было первое, что приходило ему в голову, когда кто-нибудь говорил, писал или делал что-то, вызывающее у него враждебность и ненависть. И казалось, что мистер Г. Л. Менкен, которого Олсоп в глаза не видел, является его личным врагом, зловещей угрозой его жизни, смертельной опасностью не только для него самого, но и для друзей, для всего мира, который он создал вокруг себя.

И все же Олсоп постоянно менялся. Его способность приспособливаться была поразительной. Подобно одному знаменитому епископу, «он много и легко глотал». Главным для него была не внутренняя суть, а видимость. Он мог бы без труда согласиться, что черное – это белое, а дважды два равно четырем и трем четвертым, если бы господствующий в обществе класс начал считать так.

Дело было только в том, что, говоря словами Олсопа, «сфера его расширилась». Он приехал из провинциальной общины баптистского колледжа в большой город. И этот ошеломляющий переезд, для многих столь мучительный, опасный и беспокойный, оказался для Олсопа восхитительно легким. Он быстро почувствовал себя в большом городе, как рыба в воде. И в этом полном, восторженном погружении раскрылось заодно с бесхребетностью все, что было в нем сердечного, творческого и доброго.

Одни, вне всякого сомнения, приезжают в этот город с напряженными нервами, с тревожным предчувствием, с решимостью вступать в жестокие конфликты, в отчаянную борьбу, с убеждением, что должны победить или погибнуть. Другие, скованные старыми страхами, опутанные старыми предрассудками, приезжают с робостью и недоверием. Для них жизнь в этом городе бывает тягостной. А третьи едут с ликованием и надеждой, словно бросаются обнять милую сердцу возлюбленную, которую никогда не видели, но о которой всегда знали, и вот так Олсоп – этот толстяк, бочонок жира – приехал туда.

Ему даже не приходило в голову, что он может потерпеть неудачу. И действительно, при такой вере, при таком рвении, как у него, неудача была немыслима. Другие достигали в этом городе более высоких вершин. Достигали больших успехов, богатства, славы, побед и известности. Однако никто не окунался в жизнь этого города полнее, чем Джерри Олсоп.

Он был создан для нее; она была создана для него. Здесь был водоем, в котором он мог плавать, омут, где мог ловить рыбу. Здесь была пища для всех его многочисленных appetitov. И жи-иная вода для ненасытимой губки, которую он представлял собой: миллионноустая молва, способная вечно питать его ненасытное ухо, хроника восьми миллионов жизней, способная утолить его непреходящий интерес к человеческой истории.

Олсоп был человеком, которому требовалось жить через посредство других. Был огромным Ухом, Глазом, Носом, Горлом, был ненасытимой всасывающей губкой в человеческом облике. И город являлся для него превосходной устрицей. Олсоп был по-своему бесподобен. Здесь раскрылись все его лучшие качества. Он заражал окружающих своим энтузиазмом, упоением и восторгом, которые вызывал у него этот город. С ним любая экскурсия становилась достопамятным событием. Поездка в центр на метро, яркие огни и сплошные потоки машин на Таймс-сквер, подвал в аптеке Грея, где продаются билеты по сниженным ценам, постоянное ночное великолепие театров, дешевые рестораны, какой-нибудь кафетерий или закусочная, китайская харчевня, необычные лица, вывески и огни, чужеземные овощи, экзотические блюда в Китайском квартале – все бывало просто изумительным. Олсоп жил в зачарованном мире и повсюду носил его с собой.

У него был душевный склад ненасытимого романтика. Он сразу же, незамедлительно, мгновенно проникся тягой города к шаменитостям. Если сам он не мог быть великим, то хотел находиться рядом с теми, кто был. Он с жадностью впитывал любой обрывок сплетни о знаменитых людях. Письменные упоминания, дневники, комментарии, наблюдения газетных

репортеров были для него евангелием. Мнения известного театрального критика Котсволда – священным писанием: он заучивал их вплоть до последней причудливой фразы. Благоговейно ходил смотреть каждый спектакль, который этот критик хвалил. Однажды вечером он воочию увидел в антракте этого великого человека в обществе другого знаменитого критика и прославленной актрисы. Возвратясь домой, Олсоп был просто вне себя – если б он увидел Шекспира, разговаривающего с Беном Джонсоном, то не мог бы разволноваться сильнее.

Он стал одним из наблюдателей у служебного входа театров. То было время постановок Зигфелда, прославленных хористок, великолепной, доступной плоти, прикрытой складками бархата. Олсоп бывал повсюду, его восхищала эта прославляемая чувственность. Девушки те были знаменитыми, он дожидался, когда они выйдут, облизывался и вожаделенно, будто старый развратник, смотрел, как уходят красавицы Зигфелда со своими богатыми покупателями. Эти встречи дорогостоящей плоти с манишками, фраками и высокими шелковыми цилиндрами теперь восхищали его. Странно для старого пайн-рокца? Ничуть: теперь это было окружено ореолом, вправлено, будто драгоценный камень, в громадную Медузу ночи, разрешено богатством и властью, одобрено гласностью. Теперь старый развратник, облизывающий сухие губы и ждущий с помертвелым взглядом своей юной вавилонской блудницы, приводил Олсопа в восторг. Об одном таком он рассказывал: красавица, уже прославленная в печати, шла мимо, пожилой развратник с умильным видом подошел к ней. «О, ради Бога!» – устало сказала красавица и пошла дальше.

– Это было сказано всерьез, – злорадно рассказывал Олсоп. – Да-да! Всерьез! – Громадный живот его заколыхался, в горле заклокотал пронзительный смех. – Господи! Самая красивая женщина, какую ты только видел, – смачно произнес он, покачивая большой щекастой головой, – дала ему от ворот поворот!

Эта сцена его восхищала.

И все прочее тоже: тысячеустая молва, обилие сплетен: кто спал с такой-то; чья супруга была неверна Цезарю; какой остряк произнес столь неприличную шутку; какие знаменитости, какие писатели вели себя так-то на такой-то вечеринке, напились, исчезли, заперлись в спальнях с привлекательными женщинами, пошли с ними в ванную, с кем они ссорились и дрались; какая пожилая актриса, знаменитая страстностью в исполнении ролей, путалась с румяными юношами; и кто такие знаменитые гомосексуалисты, в каких танцзалах они танцуют друг с другом, какие жеманные фразы произносят в постели – тут живот колыхался, и Олсоп давился пронзительным смехом; подобная греховность нкупе со всеми эксцентричностью, фельетоны Морли, написанные в превосходном волшебном-вычурном стиле – «Истинный гений! Истинный волшебный гений!», – старый Лондон в закоулках Нью-Йорка, диккенсовская атмосфера городских улиц, толчея на Геральд-сквер и Парк-роу; грязь непротертых мемориальных досок, которую не замечают- проходящие мимо толпы людей, но заметная при определенном свете, и подлинный, собст-менно говоря, архаизм окружающего мира: продавщицы, поедающие бутерброды с сыром среди завсегдааптечек в обеденные часы – они напоминали клиенток какой-нибудь истчипской гостиницы девяносто лет назад. И все это, вместе взятое – Зигфелд, красавицы хористки и старые развратники в шелковых цилиндрах; скабрзные сплетни о великих, разговоры о пьяных буйствах в кругу прославленных и немногих, о том, что сказала мисс Паркер, что сказала такая-то; вкупе с величественным центром города, людьми в метро и на скамейках в парке – с ожившим Лэммом, разгуливающим среди непротертых мемориальных досок в причудливых закоулках Манхеттена – все это было пищей, питием, дыханием жизни для Олсопа.

Восхищала его и еда. Вкус Олсопа, как и доктора Сэмюэла Джонсона, не был изысканным – ему нравилось изобилие, нравилось окунаться в него с головой. Он любил Китайский квартал,

его харчевни и острый соус: кормили там обильно и дешево. Необычные лица китайцев, ароматный пар, восточный и несколько успокаивающий, приводили его в восторг. Олсоп любил ходить туда с компанией – можно было взять себе несколько порций и разделить расходы на всех. Когда обед заканчивался, он требовал бумажные пакеты и со смехом складывал туда недоеденное.

Когда все это надоедало или когда он тосковал по привычной еде – ибо сердцу и желудку дом был все еще очень памятен, – он и его друзья накупали «всякой всячины». Магазины были повсюду, в каждом квартале, с освещенными витринами, с ломящимися полками овощей и фруктов; были мясные лавки, бакалейные, булочные с широким выбором всяческой снеди. Они ходили по этим лавкам и покупали то, к чему привыкли дома: дробленой кукурузы, именуемой также «крупа»; стручковой фасоли, готовить которую в Нью-Йорке никто не умел; кусок соленого сала для навара; муки для подливки и для бисквитного теста – благо Олсоп не пасовал перед трудной задачей его приготовления; мяса для жарки, пусть оно бывало дешевым, жестким, зато подавалось с мучной подливкой и приправами; хлеба, масла, кофе. Потом возвращались в полуподвальную двухкомнатную квартиру, оглашали ее шумом юношеских голосов, смеха, шуток, обвинений – Олсоп довольно посмеивался, но бывал серьезен и руководил всем, давал указания, суетился в шлепанцах и протертых носках, обнажавших грязные пятки. Наконец появлялась острая южная еда – кукурузная каша, жареное мясо с густой бурой подливкой, приготовленная с салом стручковая фасоль, бисквиты с румяной корочкой, крепкий горячий кофе, тающее масло. Поднимался нестройный шум протяжных юношеских голосов, оживленных, южных, перебивающих друг друга, приятельских и язвительных – это новое приключение в повседневной жизни обсуждалось жарко, со смехом, одобрениями, едкими замечаниями. Новый мир, в котором жили, они оценивали критически, зачастую с грубыми, презрительными насмешками.

Возвращаться домой они не собирались. По крайней мере, редко говорили о любви к родным пенатам. Любовь их, в сущности, переместилась сюда – большинство этих молодых людей, подобно Олсопу, поддалось чарам Нью-Йорка, привязалось к этому новому миру, считало его своим, как на это способны только южане – какая-то странная, упрямая гордость не позволяла им признаться в этом. Теперь они жили в легенде: среди приманок окружающего блеска любили порассуждать о покинутом великолепии. «Юг» – ибо это слово виделось им в кавычках – теперь представлял собой некий утраченный рай, замечательный образ жизни, мир человеческих ценностей, которых «этим северянам» никогда не понять.

Возможно, они создали этот рай, чтобы легче было переносить удары, получаемые в захватывающей и вместе с тем ужасающей повседневной борьбе. Зачастую он служил бальзамом для уязвленной гордости. Обычаи и нравы нового мира критически рассматривались и оказывались худшими. О сутяжничестве северян, их недоверчивости, взяточничестве, о кознях коварных евреев говорили с презрением, нередко со злобой. На «Юге» люди были не такими. Как сказал Олсоп, нужно приехать «сюда», чтобы понять, какие они «славные, милые и обаятельные».

Джордж Уэббер заметил, что на свете нет никого более преданного – по крайней мере, на словах – тем краям, откуда приехал, чем американец из южных штатов. Покинув их ради жизни в другой, не столь прекрасной и процветающей местности, он готов сражаться за честь Юга по любому поводу, утверждать его превосходство над всеми другими населенными частями земли при любом случае, говорить красноречиво и страстно об очаровании его природы, превосходстве его культуры, героизме его мужчин, красоте его женщин, защищать его, умирать за него, если придется, – словом, делать почти все ради милого старого Диксиленда, но только не возвращаться туда на постоянное жительство.

Надо признать, что многие все же возвращались, однако большинство их – самые жалкие, неспособные представители этого племени, потерпевшие поражение неудачники – не умеющие писать писатели, не умеющие играть актеры, не умеющие рисовать художники, мужчины и женщины всевозможных профессий от юристов до продавцов газированной воды, пусть и не совсем лишенные способностей, но не обладающие ими в нужной мере, чтобы выдержать более острую конфликтность более широкого мира, открытую битву на чужом поле, более напряженные усилия и более высокие требования городской жизни. Это отбившиеся от армии солдаты. Какое-то время они держатся, избитые, озадаченные, испуганные, донельзя ошеломленные грохотом битвы. Потом один за другим, дрогнув, бросают оружие и, обескураженные, озлобленные, сломленные, возвращаются вразброд к привычной безопасности и утешительной надежности тыла.

Там уже начинается знакомая южная церемония, приятное времяпрепровождение, в котором жители тех краев знают давно толк, – хитроумная, успокаивающая мотивировка своих поступков. Самые скромные солдаты этой обратившейся в бегство армии – растерявшие иллюзии продавцы газированной воды, потерпевшие поражение делопроизводители, работники универмагов, банковские служащие и маклеры – быстро приходят к заключению, что большой юрод «не место для белого человека». Несчастливые жители больших городов «знать не знают, что такое настоящая жизнь». Терпят свое жалкое существование, потому что «о другом понятия не имеют». Городские люди невежественны и высокомерны. У них нет ни хороших манер, ни любезности, ни уважения к правам других, ни человечности. В больших городах каждый «сам за себя», каждый норовит тебя облапошить, получить от тебя все, что можно. Это эгоистичная, ненадежная, унылая, своекорыстная жизнь. У человека есть друзья, куда у него водятся деньги. Когда деньги кончаются, друзья улетучиваются, как дым. Кроме того, в городской жизни попираются и растаптываются общественные приличие и благопристойность, достоинство расы, престиж избранных – «черномазый там ровня белому».

Когда Джордж был еще ребенком, по всему Югу ходила одна байка. Некий местный герой – деревенский поборник прав белых людей и сохранения превосходства белой расы – рассказывал о своей единственной, первой и последней, достаточной на всю жизнь поездке на отсталый и гнилой Север. Приключение это иногда происходило в Вашингтоне, иногда в Нью-Йорке или Филадельфии, иногда в Бостоне или Балтиморе, но существо дела неизменно оставалось одним и тем же. Героическая драма всякий раз разыгрывалась в ресторане северного города. Благородный рыцарь из-за линии Мейсонна-Диксона зашел перекусить и сел за столик. Едва принявшись за суп, он поднял взгляд и увидел, к своему ужасу и негодованию, что «здоровенный молодой черномазый» уселся напротив, *за его столиком*. И тут – но предоставим завершить это повествование более искусному рассказчику из маленького городка:

– «В общем, по словам старины Джима, он глянул на него и спрашивает: «Черный сукин сын, как ты посмел садиться за мой столик?». А черномазый начинает дерзить, говорит ему, что он на Севере, где черный равен всем и каждому. Старина Джим и говорит: «Черномазый ублюдок, может, ты и ровня какому-то там янки, но сейчас разговариваешь с белым человеком!» – с этими словами встает и разбивает о башку черномазого бутылку кетчупа. Джим говорит, он счел, что убил его, дожидаться, чтобы выяснить, не стал, бросил черномазого валяться, схватил шляпу и ушел. Говорит, сел в первый же поезд, шедший на Юг, больше не бывал на Севере и видеть больше не хочет это гнусное место».

Байку эту обычно слушали с одобрительным ревом и восторженным смехом, с восхищенным хлопаньем по бедрам, ликующими восклицаниями: «Черт побери! Все на свете отдал бы, чтобы увидеть ту картину! Вот это да! Представляю, как старина Джим ему саданул! Готов держать пари, он угробил того черномазого ублюдка! И провалиться мне на месте, я не

вину его! Я и сам поступил бы точно так же!».

Джордж, наверное, слышал в детстве и ранней юности эту иосторженно пересказываемую историю около сотни раз. Имена персонажа иногда менялись – то это бывал «старина Джим», то «старина Дик», то «старина Боб», но суть оставалась той же самой: вошел наглый черномазый, дьявольское отродье, сел, куда не следует, и тут же безжалостно был убит бутылкой с кетчупом.

Эта байка в различных вариантах и со многими современными обновлениями все еще ходила среди возвратившихся беглецов с Юга, когда Джордж приехал жить в большой город. В более современных вариантах наглого негра убивали в автобусах, в поездах метро, в железнодорожных вагонах или в кинотеатрах, в переполненных лифтах, на улице – собственно говоря, в любом месте, где он посмел бесцеремонно посягнуть на гордо лелеемое достоинство белого южанина. И существование этого черного злодея, как можно было понять, являлось одной из главных причин возвращения уроженца Юга в свое более благородное болото.

Другая, пожалуй, более разумная часть этой потерпевшей поражение – и отступившей – группировки давала своему поступку иное объяснение, почерпнутое, однако, из тех же источников самооправдания. Эти люди были членами более интеллектуальных групп – писателями, художниками, актерами, – хлебнувшими прелестей жизни в большом городе и бежавшими от нее. Их доводы и мотивы были более утонченными, возвышенными. Актер или драматург заявлял, что чистота его искусства, подлинно народная драма, оказалась испорчена и загублена пагубным, противоестественным влиянием бродвейской драмы, нежизненностью, вычурностью и дешевой сентиментальностью, всем тем, что уничтожало местные корни и давало лишь восковую копию местного цветка. Художник или музыкант заявлял, что творец и его искусство всецело зависят от модных группировок, стеснены безжизненной ограниченностью эстетических школ. У писателя были аналогичные жалобы. Жизни творца в большом городе угрожали безжизненные подделки под искусство – ядовитые миазмы «литературной жизни», ядовитые интриги литературных группировок, ядовитая политика взаимовосхваления, продажность и угодливость критики, весь мерзкий, пресмыкающийся, паразитический мир бумагомарателей.

В этой неестественной, отвратительной атмосфере художник – по утверждению этих бунтарей – терял связь с действительностью, забывал живительные влияния своего истока, отрывался от живительной связи с тем, что стал именовать своими «корнями». Поэтому для художника, оторванного подобно Антею от родной, придающей силы земли, задыхающегося в той удушливой, гнилой атмосфере, существовал, если он хотел спастись, лишь один выход. Он должен был вернуться, возвратиться туда, где появился на свет, где черпал силы и вдохновение для своего искусства. И навсегда, решительно и бесповоротно, отречься от бесплодных пределов группировок, салонов, кружков, всей неестественной городской жизни. Должен был вернуться к плодородной земле, к истокам, к связи с «корнями».

Поэтому утонченные юные джентльмены из Новой Конфедерации стряхивали эти унижительные путы, стирали последнюю паутину иллюзий, застилавшую им глаза, и заносчиво отступали на Юг, к спокойному преподаванию в одном из университетов, где могли ежеквартально выпускать очень маленькие и очень манерные журналы, в которых превозносились преимущества сельской жизни. Самые тонкие интеллектуалы из этой бунтарской орды вечно составляли кодексы и провозглашали культы своих районов – кодексы и культы, в которых простые добродетели истоков и корней утверждались до того непростым языком, с такой эстетической утонченностью, что даже приверженцы самых манерных городских группировок не могли докопаться до их смысла.

Джордж Уэббер наблюдал все это и находил несколько странным, удивительным. Молодые

люди, чьи пристрастия, вкусы, образ мыслей и писания, на его взгляд, принадлежали атмосфере эстетских группировок, от которых они отрекались, гораздо больше, чем любой другой, утверждали добродетели возврата к «сельскому образу жизни» языком, по его мнению, некоего культа, который мало кто из местных жителей, постоянных или вернувшихся, был способен понять. Более того, как потомку поколений живших в холмах фермеров, которые год за годом выбивались из сил, чтобы вырастить кукурузу на выветренном горном склоне, и поколений батраков из Пенсильвании, которые по пятнадцать часов в день ходили за плугом и получали за это пятьдесят центов, ему было несколько странно слышать от белоручки-интеллектуала из какого-то южного университета, что он прежде всего должен возвратиться к простым и благотворным добродетелям общества, которое его взрастило.

Разумеется, сущностью всего этого, основным признаком всех этих потерпевших поражение и отступивших – интеллектуалов, художников или рабочих – было уже знакомое мотивированное оправдание южного страха и южного неуспеха: страха борьбы и соперничества в более широком мире; неумения приспособиться к условиям, противоречиям и темпам современной жизни; старого, бессильного, капитулянтского отступления в тень безрассудства и иллюзий, предрассудков и фанатизма, цветистой легенды и оправдательной казуистики, надменного, иронического отдаления от жизни, с которой Юг определенно связан, к которой определенно хотел принадлежать.

Ну и хватит о потерпевших поражение – этих слишком слабых и неспособных отрядах орды бунтовщиков, которые не смогли выстоять в схватке и отступили. А как остальные, лучшие и более многочисленные, те, что остались? Потерпели они поражение? Были сметены? Были рассеяны или оттеснены и обращены в бегство?

Ничего подобного. Их успех в городской жизни был поистине поразительным. В стране нет другого места, где приезжие преуспевали бы так блестяще, если преуспевали. Этому блеску успеха в городской жизни южанин в поразительной степени обязан природе своих недостатков. Если он одерживает верх, побеждает, то не вопреки своему провинциализму, а благодаря ему, не вопреки страху, а благодаря ему и мучительному, терзающему сознанию собственной неполноценности, побуждающим его к сверхчеловеческим усилиям.

Южанин зачастую вдохновлен не жалеть усилий, когда находится в неблагоприятных условиях, когда знает это, когда узнает, что мир тоже это знает и на это рассчитывает. Истина эта не раз подтверждалась во время Гражданской войны, когда самые блестящие победы Юга – можно сказать, и самые блестящие поражения – были одержаны при подобных обстоятельствах. Южанину при всех присущих ему чувствительности, уязвимости, пылкости, живости, возбудимости и богатом воображении должен быть ведом страх, и ведом основательно. Однако именно благодаря чувствительности, живости, воображению ему ведом страх *перед* страхом. И эта вторая разновидность страха зачастую оказывается настолько сильнее первой, что южанин скорее умрет, чем выкажет это. Он будет сражаться не просто как солдат, а как сумасшедший, и зачастую добьется почти невероятной победы против ошеломляюще превосходящих сил, даже когда почти никто на свете не поверил бы, что победа возможна.

Эти факты неоспоримы, более того, восхитительны. Однако в самой их неоспоримости есть некоторая ложность. В самой их силе есть некая опасная слабость. В самом блеске их победы есть прискорбное поражение. Замечательно одержать победу в сражении против сил, имеющих огромный перевес, но не замечательно, нехорошо для здоровья и силы духа быть способным побеждать только имеющие огромный перевес силы. Захватывающе видеть, как солдаты доходят до такой степени безрассудства, что сражаются, как сумасшедшие, но захватывающе также видеть их решительными и сильными в способности сражаться как солдаты. Хорошо быть

до такой степени гордым и щепетильным, что боязнь выказать страх оказывается сильнее самого страха, однако подобная сила пылкости, гордости и безрассудства имеет обратную сторону. Опасность заключается в том, что она может не только подтолкнуть людей к лихорадочному достижению громадных высот, но и низвергнуть их, изможденных и обессиленных, в бездонную бездну, и что человек добивается величайших достижений длительным, упорным трудом.

Переехавший южанин – очень одинокое животное. Поэтому его первое инстинктивное движение в большом городе – к своим. Первым делом он навещает друзей по колледжу или ребят из родного городка. Они создают общину совместных интересов и совместной самозащиты; отгораживаются своего рода стеной от ревущего водоворота жизни большого города. Создают Общину Юга, не имеющую параллелей в городской жизни. Разумеется, подобной общины Среднего Запада, или Великих Равнин, или Штатов Скалистых гор, или Тихоокеанского побережья не найти. Возможно, есть какие-то зачатки Новоанглийской общины, района, который после Юга наиболее четко отмечен самобытностью местной культуры. Однако если эта община и существует, то до того незаметно, что о ней и не стоит говорить.

Самая очевидная причина существования Общины Юга в жизни большого города кроется в глубоко укоренившейся провинциальной ограниченности южной жизни. Раскол в убеждениях, разность интересов, обычаев и традиционных взглядов, которые нарастали с огромной быстротой в американской жизни первой половины девятнадцатого века, все больше и больше разделяли жизнь сельскохозяйственного Юга и промышленного Севера, завершились кровопролитной Гражданской войной, были окончательно подтверждены мрачным и трагичным процессом реконструкции.

После войны и реконструкции Юг отступил за свои расшатанные стены и остался там.

В детстве Джорджу Уэбберу приходил на ум образ, в котором отражалась вся безрадостная картина тех десятилетий поражения и мрака. Ему виделся старый дом, отстоящий далеко от проезжей дороги, многие проходили по ней, потом прошли войска, пыль поднялась, и война окончилась. И больше по той дороге никто не ходил. Виделся старик, прошедший по тропинке прочь от дороги, в тот дом; и тропинка зарастала травой и бурьяном, колючим кустарником и подлеском, пока не исчезла совсем. Больше по той тропинке никто не ходил. И человек, который вошел в дом, больше оттуда не вышел. Адом продолжал стоять. Он слегка виделся сквозь заросли, словно призрак самого себя, с черными, словно пустые глазницы, дверями и окнами. Это был Юг. Юг в течение тридцати или более лет.

То был Юг не жизни Джорджа Уэббера, не жизни его современников – то был Юг, которого они не знали, но все же каким-то образом его помнили. Он являлся им Бог весть откуда в шелесте листвы по вечерам, в тихих голосах на южной веранде, в хлопке двери и внезапной тишине, в полуночном гудке поезда, идущего по долинам на Восток и к волшебным городам Севера, в протяжном голосе тети Мэй и в воспоминаниях о неслышанных голосах, в памяти о таинственной, погубленной Елене и их крови, в чем-то больном, утраченном, далеком и давнем. Сверстники Джорджа не видели того Юга, но помнили о нем.

Они вышли – это уже другой образ – на солнечный свет в новом веке. Вышли опять на дорогу. Дорога была вымощена. Потом вышли еще люди. Они вновь проложили тропинку к двери. Большинство сорняков было выдернуто. Строился новый дом. Они слышали шум приближающихся колес, и мир был здесь, однако они еще не принадлежали полностью к этому миру.

Впоследствии Джордж вспоминал каждый свой приезд с Юга на Север, и ощущение всякий раз бывало одним и тем же – четкое, резкое физическое ощущение, обозначающее границы его

сознания с географической точностью. У него слегка сжимало горло, отрывисто, сильно бился пульс, когда поезд поутру приближался к Виргинии; сжимались губы, начинало сильно жечь глаза, напрягались до предела нервы, когда поезд, притормозив, въезжал на мост и показывались берега реки Потомак. Пусть над этим смеется, кто хочет, пусть насмехается, кто сможет. Это было ощущение острое, как жажда, мучительное, сковывающее, как страх. Это было географическое разделение духа, острое, физически четкое, словно его рассекали мечом. Когда поезд тормозил и Джордж видел широкую ленту реки Потомак, а потом въезжал на мост и слышал негромкое гремящее шпал, видел громадный купол Капитолия, словно бы висящий в утреннем свете словно какая-то блестящая скорлупа, то начинал дышать жарко, глубоко, резко. Чуть наклонял голову, словно проходил через паутину. Сознал, что покидает Юг. Пальцы его крепко сжимали коленные чашечки, мышцы становились упругими, зубы крепко стискивались. Поезд миновал мост, и Джордж вновь оказывался на Севере.

Каждый молодой южанин ощущал эту четкую, официальную границу географии духа, но мало кто из городских жителей знаком с нею. И откуда это напряжение нервов, скрежет зубов, отвердение челюстных мышц при переезде реки Потомак? Они чувствовали, что въезжают в чужую страну? Собирались с духом перед сражением? Испытывали почти отчаянный страх перед встречей с большим городом? Да, все так. И мало того. Они испытывали торжество и надежду, пыл, страсть и высокое стремление.

Джордж нередко задумывался, сколько людей в большом городе сознает, что означает жизнь там для него и множества таких, как он: как, давным-давно, в маленьких городках на Юге, на пустых ночных улицах они прислушивались к скрежету колес, гудку, звону станционного колокола; как на мрачном Юге, на Пидмонте, в холмах, у медленных темных рек, на прибрежных равнинах по ночам вечно пылало в их сердцах видение сияющего города и Севера. Как жадно они собирали все обрывки слухов и добавляли к своим знаниям об этом городе, как слушали рассказы всех путешественников, которые возвращались оттуда, как Ловили слова людей из этого города, как множеством способов, через книги, газеты, кино, через печатное и устное слово они мало-помалу создавали сияющий образ, воплощение своих мечтаний и устремлений – город, какого никогда не бывало, никогда не будет, но лучший, чем тот, который был.

И несли этот образ с собой на Север. Несли со всей гордостью, страстью, горячностью, со всеми устремлениями радужных мечтаний, со всей силой тайной, решительной воли – несли всеми движущими силами своей жизни, всей отчаянной пылкостью духа сюда, в этот сияющий, нескончаемый, прекрасный, вечный город, чтобы добиться успеха, усилиями и талантами завоевать почетное место в самых высших, благородных сферах жизни, которые только этот великий город и может предложить.

Называйте это, если угодно, безрассудством. Или глупой сентиментальностью. Только назовите это и страстностью, назовите беззаветностью, назовите энергичностью, пылкостью, силой, высокими устремлениями и благородной гордостью. Назовите юностью, всей красотой и богатством юности.

И признайте, мои городские друзья, благодаря этому ваша жизнь стала лучше. Они обогатили вашу жизнь тем, о чем вы, может, и не догадываетесь, тем, чего вы не пытались оценить. Они – полмиллиона, если не больше, тех, кто приехал и остался – принесли с собой пылкость, которой вам не доставало, страстность, в которой, видит Бог, вы нуждались, веру и беззаветность, которых не было в вашей жизни, целеустремленность, нечасто встречающуюся в ваших мятущихся ордах. Принесли всей сложной, лихорадочной жизни всех ваших ветхозаветных, мятущихся народов толику пылкости, глубины, яркости таинственного, непостижимого Юга. Принесли толику его . глубины и загадочности всем этим вершинам с мерцающим в

поднебесье светом, всем этим головокружительным, возносящимся к небу кирпичным баррикадам, этим холодным, розовеющим стеклам, всей безрадостной серости всех бездушных тротуаров. Принесли теплоту земли, ликующую радость юности, громкий, живой смех, бодрую горячность и живую энергию юмора, пронизанного теплом и солнцем, пламенную силу живой веры и надежды, уничтожить или ослабить которые не могут все язвительные насмешки, горькие житейские мудрости, циничные отзывы и давняя, несправедная, надменная гордость всей ветхозаветностью земли и Израиля.

Говорите, что угодно, но вы в них нуждались. Вы сами не знаете, чем они обогатили вашу жизнь. Они принесли в нее всю огромную сокровищницу своих надежд и мечтаний, взлет высоких устремлений. Впоследствии они преобразились, возможно, сникли или поблекли, однако бесследно не сгнули. Что-то от всех них, от каждого, вошло в ваш воздух, рассеялось в сумбуре вашей миллионнолюдной жизни, въелось в гранитную унылость ваших тротуаров, проникло в атмосферу ваших кирпичей, холодную структуру ваших стали и камня, в атмосферу всей вашей жизни, мои друзья, вошло тайными, неведомыми путями во все, что вы думали, говорили и делали, во все, что вы создали.

Каждый паромный причал Манхеттена окрашен их страстностью. От каждого розового рассвета у реки сердце и горло сжимаются у вас чуть сильнее, потому что в него вошло пылкое волнение их юности, их необузданного воображения. В каждом ущелье улиц, голубеющих в утреннем свете, есть чуточка их ликования. Они в каждом буксирчике возле утренних причалов, в косо падающем вечернем свете, в последних отблесках заката на красном кирпиче строений гавани. Они в крыловидном изгибе каждого моста, в каждом гудящем рельсе, в каждом поющем проводе. Они в глубинах тоннелей. В каждом бульжнике и в каждом кирпиче. В едком, волнующем запахе дыма. В самом воздухе, которым вы дышите.

Попытайтесь забыть или не признавать их, если угодно, но они согревают вас, братья. Они здесь.

И потому эти молодые южане ездили домой только в гости. Они полюбили выпитый яд; жалившая их змея теперь была сокрыта у них в крови.

В их среде Олсоп играл самую важную роль: они теснились вокруг него, будто цыплята возле квочки, и он усердно опекал их. Олсоп любил Юг – однако жил не так замкнуто, обособленно, как они. В то время, как остальные ограждались тесными стенами своей провинции, своего особого языка и надежного круга своей общины, ежедневно выходя в огромную внешнюю неизведанность словно моряки елизаветинских времен в поисках золота или пути в Китай – в сущности, для некоторых гам была все еще индейская страна, и по ночам они спали в окружении своих фургонов, – окружение Олсопа было более широким. И постоянно расширялось. Он ежедневно общался с новыми людьми – на скамейках в парке, на втором этаже автобуса, в закусных, в аптеках, у киосков с газированной водой; с людьми в Манхеттене, Бронксе, Куинсе и на Стейтен-Айленде.

Олсоп превосходил их всех в презрительном высмеивании «треклятых чужаков». Однако познакомился с Романо, молодым итальянцем, конторским служащим по роду занятий, но художником по профессии. Приводил его к себе, и Романо готовил спагетти. Свел знакомство и с другими людьми – китайцем мистером Чангом, торговцем с Пелл-стрит и знатоком древней поэзии; испанцем, работающим помощником официанта в ресторане; молодым евреем из Ист-Сайда. Олсоп был тверд в своей южности, однако незнакомцы – таинственные, чужеродные, разнообразные – привлекали его.

Юг Олсоп любил – в этом нет сомнений. Ездил туда на каждое Рождество. В первый приезд он провел там две недели, во второй – десять дней, потом неделю и в последний раз возвратился

через три дня. Но он любил Юг – и всякий раз приезжал с ворохом рассказов, с теплым, сентиментальным, непринужденным смехом; с последними сведениями о мисс Уилси, о Мерримене, своем двоюродном брате, об Эде Уэзерби и своей тете мисс Каролине; обо всех других добрых, простых, милых людях «оттуда», какие только смог раскопать.

И все же при всей его сентиментальной натуре в душе Олсопа находилось место для многого. Он, посмеиваясь, соглашался со всеми остальными, язвительно, с презрением отзывался о нравах большого города, однако иногда вдруг проникался пиквикской снисходительностью, теплым чувством к этой чужбине. «И все же надо отдать им должное! – говорил он. – Это самое замечательное место на свете... самый знаменитый, потрясающий, чудесный, великолепный город, какой только когда-либо существовал!» Затем принимался рыться в куче халтуры, горе старых журналов и вырезок, наконец находил и читал вслух какую-нибудь поэму Дона Маркиза.

15. GOTTER DAMMERUNG^[9]

Жизнь, которую они вели в том году, была неплохой. Во многих отношениях хорошей. По крайней мере, неизменно кипучей. Джим Рэндолф был их вождем, их доброжелательным, но строгим диктатором.

Джиму уже исполнилось тридцать, и он стал осознавать, что произошло с ним. Он не мог принять этого. Не мог взглянуть в лицо случившемуся. Он жил в прошлом, но вернуться прошлое не могло. Джордж и остальные тогда об этом не думали, но впоследствии поняли, почему он нуждался в них, почему все, в ком он нуждался, были такими юными. Они представляли для него утраченное прошлое. Утраченную славу. Утраченное величие его почти забытой легенды. Они возвращали ее своей преданностью, своим обожанием. Отчасти восстанавливали для него прошлое. И когда они начали понимать, что случилось с ним, все слегка опечалились.

Джим стал журналистом. Работал в одном из больших агентств международной информации, «Федерал Пресс». Работа ему нравилась. Он, как и почти все южане, обладал безотчетным, романтическим пристрастием к новостям, однако направление мыслей его проявлялось даже в работе. У Джима было вполне естественное желание путешествовать, стремление поехать за границу корреспондентом. Но остальные ни разу не слышали, чтобы он изъявлял готовность поехать в Россию, где осуществлялся важнейший политический эксперимент современности, или в Англию, Германию, Скандинавские страны. Ему хотелось в те места, которые ассоциировались с романтическим, очаровательным приключением. Хотелось, чтобы его послали в Южную Америку, в Италию, Францию или на Балканы. Туда, где царят безмятежность, пылкость, галантность и где, как ему казалось, женщины легкого поведения будут для него легкой добычей. (В конце концов он поехал в одну из этих стран. Пожил там какое-то время и умер.)

Восприятие новостей у Джима, хоть и обостренное, эмоциональное, в известной мере определялось, как и весь его взгляд на жизнь, философией футбольного поля. Несмотря на перенесенное в первой мировой войне, он был все еще очарован войной, видел в ней воплощение личного мужества. Война для него являлась своего рода громадным спортивным соперничеством, международным футбольным матчем, дающим возможность отличиться лучшим игрокам обеих команд. Подобно одному из персонажей Ричарда Хардинга Дэвиса, он не только хотел видеть войну и писать о войне, он хотел играть в ней роль, главную героическую роль. При своем очень личном, субъективном взгляде на новости Джим рассматривал каждое событие как предназначенное для проявления собственной личности.

То же самое со спортивными соревнованиями, интерес к которым у него был, естественно, острым. Это отчетливо и забавно проявилось во время боя между Дэмпси и Фирпо на первенстве мира в тяжелом весе.

Боксеры тренировались. Воздух гудел взволнованными предположениями. Чемпион, Дэмпси, которому суждено было впоследствии, после поражения от Тинни, стать, в соответствии со странной психологией американского характера, чрезвычайно популярным, в то время являлся объектом чуть ли не лютой ненависти. Во-первых, он был чемпионом, а чемпионство в любой сфере американской жизни штука мучительная и опасная. К тому же, он обладал незавидной репутацией почти непобедимого. Это тоже возбуждало против него ненависть. Наконец, на него злобно нападали со всех сторон из-за его поведения во время войны. Дэмпси обвиняли в том, что он уклонился от армейской службы, оставался дома и работал на судовой верфи, когда его современники рисковали жизнью на полях сражений во

Франции. И конечно же, отовсюду слышалось знакомое американское обвинение в том, что он трус. Это было неправдой.

А вот Фирпо вызывал всеобщую симпатию, хотя как боксер ничем не славился, кроме громадной физической силы и страшного, хоть и неуклюжего удара. Этого было достаточно. В сущности, его недостатки, казалось, усиливали возбуждение перед этим неравным боем. Фирпо окрестили Диким быком пампасов, и все считали, что он ринется вперед, опустив по-бычьей голову, и постарается сокрушить противника мощным ударом справа.

Оба боксера готовились к встрече, и Рэндолфу приходилось ежедневно ездить в тренировочный лагерь Фирпо, наблюдать за его успехами. Аргентинец проникся большой симпатией к Джиму, сносно говорившему по-испански, и Джим стал живо интересоваться этим человеком и его перспективами в предстоящем бою. Возможно, что-то беспомощное, немое, бессловесное пробудило у Джима пылкое сочувствие к этому здоровенному, угрюмому быку. Джим каждый вечер возвращался разозленный тем, что происходило в тренировочном лагере.

– Несчастный тупой сукин сын, – беззлобно ругался Рэндолф. – Представление о том, как входить в форму, у него не лучше, чем у толстухи из цирка Барнума и Бейли. И никто из окружения ничего в этом не смыслит. Черт возьми! Его заставляют работать со скакалкой! – Негромко посмеялся и начал ругаться опять: – Можно подумать, его готовят на роль королевы красоты. На кой черт ему скакалка перед встречей с Дэмпси? От Дэмпси ему никуда не деться. Дэмпси достанет его правой на первых же пяти секундах. Этот бедняга ничего не смыслит в боксе. Его учат делать нырки и уклоны, хотя единственное, что ему надо – идти на сближение и колотить, что есть силы... А форма? Я знаю только, как приводить в форму футбольную команду, но если б я за три недели не привел его в лучшую за всю жизнь форму, можете гнать меня пинками отсюда до Поло Граундз. – И, негромко посмеиваясь, затряс головой. – Боже всемогущий, то, что они делают – преступление! Черт возьми, позволяют ему есть все, что захочется! Любой футбольный тренер, увидя, что полузащитник питается так, упал бы замертво. На моих глазах он уплел тарелку супа, два громадных бифштекса с луком и картофелем фри, а на десерт целый яблочный пирог, кварту мороженого и четыре чашки кофе! И они думают, что, поработав со скакалкой после этого несколько минут, он сбросит вес!

– Джим, а почему он не возьмет хорошего тренера? – спросил кто-то.

– Почему? – переспросил Джим. – Жадный очень, вот почему. Скряга! – И снова рассмеялся, покачав головой. – За цент удавится. Даже если Дэмпси будет гнать его кулаками до самой Аргентины, он утащит туда все до гроша.

Эти ежедневные отчеты будоражили остальных. Они начали пылко волноваться из-за успехов быкоподобного аргентинца, и когда время этой громкой схватки близилось, задумали восхитительную спекуляцию. Под руководством Джима все купили билеты на бой. План заключался в том, чтобы перед самой встречей перепродать их фанатичным болельщикам с баснословной выгодой. За каждый билет, стоивший пять – десять долларов, они надеялись получить по пятьдесят.

Возможно, эта надежда и сбылась бы, если б в последнюю минуту они не совершили одного из характерных для них безрассудств. Никто из них, разумеется, не признавался другим, что сам хотел бы посмотреть бой. Всякий намек на это встречали пренебрежительными возгласами. Джим едва не взорвался от негодующего презрения, когда один из них заикнулся, что он гораздо охотнее *использовал* бы свой билет, чем продавать его за пятьдесят долларов.

И все же они держали билеты у себя, пока не стало слишком поздно, по крайней мере, до того времени, когда их надо было попытаться продать возможным последним покупателям. Возможно, им это и удалось бы, однако все они с самого начала хотели, лелеяли в сердце тайную надежду, в которой никто не признавался, самим посмотреть бой. Именно так они и

поступили. Впоследствии Джордж был этим доволен. Тот вечер стал для них историческим в некотором странном, трогательном, не поддающемся точному определению смысле, в Америке сделать его таким могут только бой профессиональных боксеров или популярная песня, они пробуждают с поразительной яркостью массу воспоминаний, которые в противном случае стали бы тусклыми, расплывчатыми эпизодами полузабытого прошлого.

Когда до начала встречи оставался час и даже когда уже начались предварительные бои, все они ожесточенно спорили в гостиной своей квартиры. Каждый обвинял других в том, что их замысел не удался. Каждый яростно отрицал, что собирался от него отказываться. Сквозь этот взволнованный гомон слышался запальчивый голос Джима, заверявшего, что по-прежнему намерен продать билет, что пойдет на Поло Граундз только ради спекуляции, что остальные при желании могут идти на попятный, но свой билет он продаст, даже если это будет его последнее деяние в жизни.

Однако чем больше Джим спорил и доказывал, тем меньше верили ему остальные; и чем больше кричал, тем больше терял уверенность. Все пререкались, спорили, обвиняли и отрицали до последней минуты, о приближении которой догадывались. И в конце концов она наступила. Джим внезапно умолк посреди горячего спора с самим собой, поглядел на часы, обеспокоенно выпалил проклятие, а потом, глянув на остальных, сказал с добрым хрипловатым смешком:

– Ну все, ребята. Кто идет со мной смотреть эту встречу?

Это было замечательно. И было тем самым характерным для них всех безрассудством и неразумием: они вечно строили грандиозные планы, проекты, делали торжественные заявления, а потом в последнюю минуту под воздействием порывов и эмоций отказывались от них. Исключения не представлял и Джим Рэндолф. Неразумные порывы постоянно губили его лучшие замыслы.

Теперь, когда время пришло, когда все отказались от своего плана и наконец откровенно признались в своих намерениях, они отправились на Поло Граундз радостно, торжествуя. И смотрели бой. Сидели они порознь. Билеты у них были в разные секции трибун. Джордж сидел в верхнем ряду за третьей базой. Квадрат огороженного канатами брезента в центре поля находился далеко, его окружала громадная, ошеломляющая масса лиц. Однако у Джорджа видение всей сцены даже впоследствии оставалось поразительно близким и ярким.

Джордж увидел легкие завихрения в толпе, когда боксеры и секунданты шли к рингу, потом услышал громкий рев, усилившийся, когда они пролезали между канатами. В облике молодого Дэмпси было нечто жуткое. Сквозь рев и волнение громадной толпы Джордж ощущал шедшие от него токи свирепости и нервного напряжения. Дэмпси не мог сидеть спокойно. Он подскочил с табурета, попрыгал взад-вперед, ухватился за канат и несколько раз присел, нервничающий, норовистый, как скаковая лошадь.

Потом боксеров вызвали на середину ринга для последних указаний. Фирпо шел флегматично, халат туго облегал его массивные плечи, густая грива грубых черных волос поблескивала, пока он стоял там, насупившись. Прозвище ему дали удачно. Он поистине напоминал угрюмого быка в человеческом облике. А Дэмпси не мог стоять спокойно. Он нервно переминался и, отвернувшись чуть в сторону, глядел в пол, не встречаясь взглядом с угрюмыми, флегматичными глазами Фирпо.

Получив указания, боксеры разошлись по углам. Халаты с них сняли. Дэмпси прогнулся и быстро присел у канатов. Ударил гонг, и противники вышли из углов.

То была не спортивная встреча, не запланированное соперничество за чемпионский титул. То была некая фокусная точка времени, своего рода концентрация всей нашей напряженности, безрассудной скорости тех лет, жестокая, безжалостная, свирепая, быстрая, ошеломляющая, как Америка. Увиденный таким образом бой подытожил и собрал в фокус целый период в жизни

страны. Длился он шесть минут. Окончился едва ли не до того, как начался. В сущности, зрители и не уловили его начала. Бой взорвался перед ними.

С этого мгновения битва бушевала по всему рингу с такой неистовой скоростью, с такими внезапными, разительными поворотами колеса фортуны, что зрители потом оказались в недоумении, в растерянности, никто толком не понимал, что произошло. Толпа бушевала, сотня тысяч голосов повышалась в споре. Никто толком не знал, сколько было нокаутов, сколько раз падал Фирпо под сокрушительными ударами кулаков Дэмпси или сколько времени Дэмпси находился за пределами ринга, когда пролетел от удара Фирпо между канатами. Кто-то говорил, что нокаутов было семь, кто-то – девять, кто-то – четыре. Одни злобно утверждали, что Дэмпси оказался выбит с ринга больше чем на пятнадцать секунд, что счет начали с запозданием, что Фирпо лишили заслуженной победы. Другие – что Дэмпси грубо нарушал правила, что рефери позволял ему наносить жестокие запрещенные удары.

То была отнюдь не искусная демонстрация боксерского мастерства или стратегии. То было сражение двух диких животных, каждый стремился уничтожить противника любыми средствами, любыми способами, как можно скорее. В конце концов наиболее ярким из того калейдоскопического мельтешения неистовых образов осталось воспоминание о черной, подвижной голове Дэмпси, его зубах, оскаленных в жестокой усмешке, невероятных силе и быстроте его сокрушительных ударов и звуках ударов, таких молниеносных, что глаз не успевал их разглядеть. Он казался клепальной машиной в человеческом облике. Сквозь жуткий рев и беснование толпы слышались размеренные бах-бах-бах его ударов, наносимых со скоростью пули. Громадный бычище вновь и вновь падал под ударами этих со свистом рассекающих воздух перчаток, словно подстреленный. Да он *и был* подстрелен. Выглядел и вел себя так, как человек с пулей в мозгу. На миг, на какую-то долю секунды поднимался. А потом не падал, оседал, словно его толстые ноги подламывались. Выглядел он недоумевающим, ошеломленным, угрюмо-злым, как озадаченный бык.

Но внезапно, словно озадаченный и разозленный бык, он ринулся в атаку. Нанес Дэмпси жуткий удар правой, от которого тот отлетел к канатам, потом снова бросился на него и выбил промеж них с арены. И покуда толпа бесновалась, Фирпо походил на торжествующего быка, который напрочь изгнал противника и заполучил всю арену в свое распоряжение. Дэмпси пролетел между канатами, будто сломанная кукла. Репортеры оборонительно вскинули руки. Дэмпси грохнулся среди пишущих машинок и тут же, движимый инстинктом боевого животного, хрипло пробормотал: «Поднимите меня на ринг!».

Его подняли и протолкнули между канатами. С остекленелыми глазами он заковылял, шатаясь, как пьяный. Вошел в клинч и отчаянно уцепился за противника; мозг его прояснился, бой начался снова – опять раздалось клепальное бах-бах-бах его беспощадных кулаков. Бык ошеломленно зашатался и вновь осел, будто изломанная соломинка.

По сути дела все было кончено в первом раунде, длился раунд три минуты, однако напряженность его достигла такой фокальной концентрации, что, как уверяли впоследствии зрители, минуты эти показались им часами. Во втором раунде была окончательно поставлена точка. Убийца научился осторожности. На сей раз он вышел из угла, осмотрительно закрывая пострадавшую челюсть плечом. И тут все было кончено. Громадный бык против таких уловок был безоружен. Опустив голову, он пошел в наступление. Клепальщик разделался с ним.

В тот вечер город взволнованно бурлил. Словно бы началась война и было объявлено о всеобщей мобилизации. Джим Рэндолф, Монти Беллами, Харви Уильяме, Перси Сид и Джордж после боя встретились у одного из выходов и отправились в центр. Когда они пришли туда, исход встречи был там уже известен. Бродвей и треугольное пространство перед Таймс-билдингом заполняла шумная толпа возбужденных, толкущихся, яростно спорящих людей.

Джордж никогда еще не видел ничего подобного. Все это было неистово, отчаянно волнующим, но и зловещим.

Толпа состояла главным образом из мужчин бродвейского пошиба, мужчин с лисьими физиономиями, лихорадочно блестящими глазами, с чертами лиц, на которых отпечатались жестокость и хитрость, из растленных, преступных ночных призраков, порождений особого местоположения, своеобразной атмосферы, нездоровых, отвратительных миазмов ночной жизни города с ее порочностью и преступностью. Их разнузданная ярость была поразительной. Они рычали, огрызались, злобились друг на друга, будто стая дворняг. Слышались сиплые, разнузданные голоса, злобное ворчание, обвиняющее и недоверчивое, с ненавистью и выводящим из себя отвращением, с грязными, непристойными фразами.

Джордж не мог этого понять. В Нью-Йорке он жил совсем недавно, и эти злобные лица, конвульсивно кривящиеся в рычании губы, лихорадочно сверкающие в резком вечернем свете глаза наводили на мысль о каком-то неизменно и совершенно бессмысленном гневе. Он прислушался к словам окружающих. Расслышал злобную, непристойную ругань. Попытался понять, в чем тут суть, однако никакой сути не было. У одних их ненависть вызывал Фирпо, у других Дэмпси, у третьих бой и его исход. Одни утверждали, что встреча была «подтасована»; другие, что бой нужно было продолжать; третьи; что Фирпо «попросту бродяга», что Дэмпси «трусливый дармоед»; что любой прежний чемпион мог бы побить сразу обоих.

Но что крылось за этой рычащей ненавистью? В конце концов, не найдя иного ответа, Джордж решил, что ненавистны им, в сущности, не боксеры, бой и его исход; они ненавидели сами себя, друг друга и все живое на земле. Ненавидели ради ненависти. Высмеивали, поносили, оскорбляли один другого из-за черного яда в собственных душах. Они не могли верить ни во что и потому не верили в себя. Они были расой, одурманенной злом, племенем, питавшимся лишь ядовитыми плодами. Ненависть их была столь слепой, столь упрямой и злобной, столь отвратительной и бессмысленной, что Джорджу вдруг показалось, будто в самом центре жизни города лежит, свернувшись кольцами, какая-то огромная змея, что некая злобная, разрушительная энергия бьет там жутким ключом, что он и остальные, приехавшие с такой надеждой из сел и маленьких городков, столкнулись теперь в самом центре жизни с чем-то злобным, неведомым, чего не ожидали и к чему не готовы.

Впоследствии Джорджу предстояло увидеть, ощутить, познать этот чудовищный, непостижимый недуг человеческого мозга, духа и энергии почти во всех сторонах городской жизни. Но тут он столкнулся с ним впервые. И не находил никакой причины для этой слепой, бессмысленной злобы. Однако недуг этот был там, был повсюду в ненависти на искаженных лицах, в злобном блеске лихорадочных глаз.

Джордж услышал голос Джима. Они переходили от группы к группе, прислушивались к разговорам этих возлюбивших ненависть людей. Неожиданно Джим заговорил, негромко, мягким, хриловатым голосом, добродушно и вместе с тем властно, он втолковывал людям, что они ошибаются, что боксеры не были споены, что встреча не была подтасована, что этот результат был справедливым и неизбежным. А затем Джордж услышал, как один из тех дворняжьих голосов зарычал в ответ с ненавистью и насмешкой, как искривленный, отвратительный рот выпалил грязное слово. Потом все произошло в мгновение ока. Джим схватил это существо одной рукой за грудки, приподнял и затряс, будто крысу.

– Послушай, мистер! – В его хриловатом голосе прозвучала убийственная горячность, от которой пронзительно спорившая толпа притихла, а лицо этого существа стало грязно-серым. – Я никому на свете не позволю так себя называть! Еще слово, и я сломаю твою гнусную шею!

Он снова встряхнул это существо так, что голова у того дернулась, будто у сломанной куклы. Потом опустил, словно бросив грязную тряпку, повернулся к товарищам и спокойно

сказал:

– Пошли, ребята. Нечего здесь делать.

И все ночные существа расступались перед ним.

Бедняга Джим! Он тоже походил на существо из другого мира. Со всеми его безрассудством и сентиментальностью, со всеми недостатками и детским тщеславием он был одним из последних героических представителей уже сошедшего со сцены поколения, в котором мы, видимо, нуждались. Но песенка его была спета.

Джордж Уэббер вырос в юношу чуть повыше среднего роста, примерно пяти футов девятидесяти дюймов, но производил впечатление более низкого из-за сложения и осанки. Ходил он, чуть сутулясь, голова, слегка выставленная вперед, крепко сидела на короткой шее между плечами очень мощными, грузными по сравнению с нижней частью тела – ногами и бедрами. Грудь у него была выпуклой, но что особенно выделялось – это руки и кисти рук, из-за которых он получил в детстве прозвище Обезьян: руки были необычайно длинными, а кисти, как и ступни, очень большими, с длинными, словно бы сплюснутыми на концах пальцами, вечно загнутыми внутрь. Эта необычная длина рук, свисавших почти до колен, вкупе с широкими, сутулыми плечами и выставленной вперед головой придавали всей его фигуре какой-то сгорбленный, приземистый вид.

Черты его лица были мелкими – чуть приплюснутый нос, глубоко сидящие под густыми бровями глаза, довольно низкий лоб, волосы начинали расти не так уж далеко от бровей. Говоря или слушая, он сутулился, выставлял вперед и вскидывал голову с каким-то демонстративным вниманием, и сходство с обезьяной становилось разительным; поэтому прозвище пристало к нему. К тому же, видимо, Джорджу никогда не приходило на ум подбирать одежду по фигуре. Он просто заходил в магазин и покупал первое, что на него налезало. Отчего в некотором не совсем понятном ему смысле черты карикатурности выступали в нем резче.

Карикатурно в прямом смысле слова он не выглядел. Размеры его, пусть необычные и слегка поражающие при первом взгляде, ненормальными не были. Он вовсе не являлся уродом, хотя кое-кто и мог подумать обратное. Это был просто юноша с большими кистями рук и ступнями, чрезмерно длинными руками, несколько грузным торсом, со слишком короткими ногами и слишком мелкими чертами лица. Поскольку в этой нескладной, но не уродливой фигуре у него добавлялось несколько бессознательных манер и повадок, к примеру, выставлять голову и смотреть исподлобья, когда говорил или слушал, неудивительно, что впечатление, которое он производил с первого взгляда, иногда вызывало удивление и смех. Разумеется, он это знал и, бывало, негодуя возмущался; однако не вникал достаточно глубоко или объективно в причины этого.

Хотя Джордж уделял пристальное внимание облику вещей, его пылкий, жгучий интерес был направлен на окружающий мир. О собственном облике он никогда не думал. Поэтому когда ему подчас грубо, жестоко давали понять, какое он производит впечатление на окружающих, это повергало его в неистовый гнев. Потому что он был молод – и не обладал мудростью и терпимостью искушенных и зрелых. Молод – и потому чрезмерно щепетилен. Молод – и не мог добродушно сносить шутки и подтрунивание. Молод – и не знал, что красота для мужчины не Бог весть какое достоинство, что телесная оболочка, в которую заключен дух, может быть пусть некрасивым, но верным и стойким другом.

Все это – и еще многое, более замечательное – часто служило причиной конфузов, страданий, горьких огорчений. Тогда со множеством молодых людей происходило то же самое. Джордж испытывал давление с разных сторон. И потому вбил себе в голову немало бессмыслицы. Несправедливо будет сказать, к примеру, что он ничего не почерпнул из своего

«образования». При том, каким оно было, почерпнул очень многое, но программа его, подобно большинству образовательных программ того времени, содержала в себе немало пустого, нелепого, путаного.

Надо сказать, что Джордж, сам того не сознавая, был исследователем. Что ж, исследования – восхитительная штука. Но даже для путешественников-исследователей трудная. Джордж обладал подлинной целеустремленностью, подлинным героизмом исследователя. Он был более одиноким, чем Колумб когда бы то ни было, и потому отчаянно путавшимся, идущим вслепую, идущим на риск и сомневающимся.

Хотелось бы сказать, что продвигался он в своих поисках уверенно и быстро, как пламя, неизменно попадал в точку и что знал, то знал. Но это не соответствует истине. Он знал то, что знал, однако говорил об этом крайне редко. Потому что если говорил, то безапелляционно; как и все молодые люди, «хватал через край». Раз он так сказал, значит, так оно и есть, и сомнений тут быть не может – он бывал необузданным, пылким и гордым, считал себя правым – однако просыпался наутро с сознанием, что вел себя глупо и придется кое-что объяснять.

Так, например, он «знал», что товарный вагон прекрасен; что прекраснее, чем состав из этих ржавых коробок на запасной ветке, уходящей куда-то в сосновую рощу, ничего не может быть. Знал всю меру его красоты – но не мог об этом сказать. Не находил доводов. К тому же, ему внушали исподволь, что это не так. Нот тут-то и давало себя знать его «образование». Учителя не говорили прямо, что товарный вагон некрасив. Но говорили, что прекрасны Китс, Шелли, Тадж-Махал, Акрополь, Вестминстерское аббатство, Лувр, острова Греции. Говорили так часто и настойчиво, что он не только считал это истиной – в чем был совершенно прав, но и думал, что другой красоты быть не может.

Когда Джорджу приходил на ум товарный вагон, он бывал вынужден спорить на эту тему с собой, потом с другими. Потом стыдился себя и умолкал. Как любой, кто является поэтом, а полов на свете очень много, он бывал весьма здравомыслящим и внезапно уставал от споров, так как видел, что спорить тут не о чем, и погружался в молчание. Мало того, ему казалось, что те, кто говорил, что товарный вагон прекрасен, самозванные эстеты – и он был в этом прав. То было время, когда умные люди утверждали, что рэгтайм или джазовая музыка – подлинно американские ритмы, и приравнивали их к Вагнеру и Бетховену; что странички юмора в журналах – подлинное выражение американского искусства; что Чарли Чаплин на самом деле великий трагик и должен бы играть Гамлета; что реклама – единственная «подлинно» американская литература.

Человек, утверждавший последнее, мог быть либо преуспевающим писателем, либо неудачливым. Если писатель был преуспевающим – к примеру, автором детективов, которые пользовались популярностью и принесли ему состояние, – он убеждал себя, что является на самом деле великим романистом. Но «век расшатался», и он не пишет великих романов, потому что писать великие романы в такие времена невозможно: «гений Америки проявляется в рекламе», и поскольку нет смысла делать что-то иное, поскольку этому мешает дух времени, он стал писать пользующиеся успехом детективы.

Это была одна разновидность. Другую представлял собой человек, не способный добиться успеха ни в чем. Он глумился над автором детективов, но глумился и над Драйзером, О'Нилом, Синклером Льюисом и Эдвином Арлингтоном Робинсоном. То был поэт, или романист, или критик, или член семинара профессора Джорджа Пирса Бейкера по драматургии в Гарварде или в Йеле, однако все, что он писал, не публиковалось лишь потому, что «век расшатался», и подлинная литература Америки – это «реклама в популярных журналах». Поэтому он глумился над всем с чувством превосходства. Драйзер, Льюис, Робинсон, О'Нил и реклама в «Сатердей ивнинг пост» представляли собой для него одно и то же, поистине «Plus ça change, plus c'est la

меме chose»^[10].

Посреди той бессмыслицы, конфузов, страданий, горьких огорчений Джордж Уэббер впервые пытался высказать нечто пугающе необъятное, то, что всегда чувствовал и знал в жизни, и для чего, как думал, он должен либо найти слова, либо утонуть. И вместе с тем ему казалось, что облечь эту необъятность в слова невозможно, что всех языков мира для этого недостаточно, что все это немисливо сказать, выразить, уместить в словах. Казалось, что каждый человек на свете содержит в своем крохотном здании плоти и духа целый океан жизни и времени человечества, и он должен утонуть в этом океане, если только каким-то образом не «выплеснет его из себя» – если не нанесет его на карту, не очертит, не измерит его величайших глубин, не изучит до малейших заливчиков на самых отдаленных берегах вечной земли.

Большая часть жизни Джорджа прошла в пределах маленького городка, но теперь он ясно видел, что ему до конца дней не поведать тысячной доли того, что знал о его жизни и о людях – это знание являлось не только энциклопедическим и огромным, но и было гармоничным, единым, словно громадное растение, живущее во всем множестве своих корней и веток, которое нужно либо показать целиком, либо совсем не показывать. Теперь казалось, что дана ему не только стойкая, основательная отцовская сила, что все множество нитевидных протоков и каналов джой-неровской крови, которая выбилась из вечной земли, прибывала, прокладывала себе дорогу, раскидывала в неустанном переплетении свои осьминожки щупальца, тоже внедрено в здание его жизни; и что мрачное наследие крови и пылкости, устойчивости и непрестанной изменчивости, вечных странствий и возвращения домой – странное наследие, которое могло бы своими обилием и силой спасти его, дать ему лучшую жизнь, какая только возможна – теперь вырвалось из-под контроля и грозит разорвать его на части за ноги, словно обезумевшие лошади на всем скаку.

Память у Джорджа всегда была энциклопедической, поэтому с ранних детских лет до мельчайших подробностей он помнил все, что люди говорили и делали, все, что происходило в ту или иную минуту, она так оттачивалась, обострялась, усиливалась годами, проведенными вдали от дома, возбуждалась чтением и той непереносимой жаждой, которая гнала его по множеству улиц вглядывающимся безумными глазами во множество человеческих лиц, вслушивающимся безумным слухом во множество слов, что стала теперь не могучим оружием с лезвием бритвенной остроты, которое он мог бы великолепно использовать для достижения жизненного успеха, а гигантским, волокнистым растением времени со множеством корней, и оно бурно разрасталось, словно раковая опухоль. Оно подавляло его волю, питалось его внутренностями, покуда он не утратил силу действовать и лежал неподвижно в его щупальцах, а тем временем его величественные планы превращались в ничто, и часы, дни, месяцы, годы протекали мимо, будто в сновидении.

В прошлом году он душевно устал и измучился от неуклюжих попыток пописать. Понял, что все вышедшее из-под его пера не имеет ничего общего с тем, что он видел, знал, чувствовал, и что пытаться передать во всей полноте ощущений мир человеческой жизни – все равно, что пытаться вылить океан в чашку. Поэтому теперь Джордж впервые пытался описать частичку своего видения земли. Какое-то смутное, но сильное беспокойство уже давно побуждало его к этой попытке, и вот без опыта и знания, но с каким-то тревожным предчувствием огромной тяжести труда, за который берется, он принялся за дело – намеренно избрав тему, клавшуюся до того скромной и сжатой в размерах, что надеялся завершить свой труд с величайшей легкостью. Избранной для первой попытки темой было мальчишеское видение мира в течение десяти месяцев, между двенадцатью и тринадцатью годами, работа носила заглавие «Конец золотой поры».

Этим заглавием он хотел передать ту перемену в *цвете* жизни, которая известна каждому

ребенку, – перемену очаровательного спета и поры своей души, яркого золотистого света, волшебных зелени и золота, в которых он видел землю в детстве, и вдали сказочное видение сияющего города, вечно пламеневшее в его воображении и в конце всех его снов, по очаровательным улицам которого он надеялся пройти когда-нибудь завоевателем, гордой, уважаемой личностью в жизни более славной, удачливой и счастливой, чем он когда-либо знал. В этой короткой истории он хотел рассказать, как в этот период мальчишеской жизни тот странный, чудесный свет – та «золотая пора» – начинает меняться, и ему впервые приоткрывается тревожная пора человеческой души; и как мальчишка впервые узнает о множестве меняющихся ликов времени; и как его ясная, сияющая легенда о земле впервые подергивается недоумением, замешательством, и как ей угрожают жуткие глубины и загадки жизненного опыта, которого он не имел раньше. Он хотел написать историю того года в точности, как помнил ее, со всеми явлениями и людьми, которых узнал в том году.

В соответствии с этим замыслом Джордж принялся писать, начав повествование с трех часов дня во дворе перед дядиным домом.

Джерри Олсоп преобразался. Он окунулся в море жизни глубже, чем остальные. Как он выражался, его «сфера расширилась», и теперь он был готов вырваться из того маленького, тесного кружка, который создавал вокруг себя так старательно. Ученики его какое-то время держались, затем один за другим уносились, словно палые листья, попавшие в бурный поток. И Олсоп отпускал их. Старые друзья стали ему надоедать. Они слышали, как Джерри бормотал, что ему «осточертело постоянное превращение квартиры в клуб».

С Джорджем у него разыгралась финальная сцена. Первый рассказ Джорджа был отвергнут, и одно слово, которое произнес Джордж, дошло до Олсопа и задело его. Дерзкое, сказанное с уязвленным юношеским тщеславием о «художнике» в «мире обывателей» и о «правоте» художника. Это глупое слово, просто-напросто бальзам для уязвленной гордыни, с его надменным намеком на превосходство привело Олсопа в ярость. Однако по своему обыкновению при встрече с Джорджем он не начал с прямой атаки. Вместо этого язвительно заговорил о книге одного художественного критика того времени, вкладывая в его уста подчеркнута и уважительно эти глупые слова уязвленных тщеславия и юности.

– Я художник, – глумливо произнес Олсоп. – Я лучше всего этого сброда. Обыватели не в состоянии меня понять.

Потом язвительно засмеялся и, сузив светлые глаза в щелочки, заговорил:

– Знаешь, кто он? Просто осел! Человек, который говорит так, просто сущий осел! Художник! – Снова глумливо рассмеялся. – Господи!

Глаза его так налились злобой и задетым самомнением, что Джордж понял – все кончено. Дружеской сердечности больше ист. И тоже ощутил холодную ярость: на языке его завертелись ядовитые слова, ему так захотелось глумиться, ранить, высмеивать и потешаться, как Олсоп, сердце его наполнилось ядом холодного гнева, однако, когда он поднялся, губы его были холодными и сухими. Он сдержанно произнес:

– До свидания.

И навсегда ушел из той полуподвальной квартиры.

Олсоп промолчал, он сидел со слабой улыбкой, ощущение злого торжества терзало его сердце, будто в наказание. Закрывая дверь, бывший ученик услышал напоследок насмешливые слова:

– Художник! Господи Боже! – И затем удушливый взрыв утробного смеха.

Джим Рэндолф питал к четверым жившим вместе с ним юношам какую-то родительскую

привязанность. Он руководил ими, наставлял их, как отец сыновей. По утрам Джим поднимался первым. Сна ему требовалось очень немного, как бы поздно он ни лег накануне. Четырех-пяти часов бывало вполне достаточно. Джим умывался, брился, одевался, ставил на огонь кофейник, затем шел будить остальных. Становился в дверях, глядя на спящих с легкой улыбкой и небрежно держа сильные руки на бедрах. Потом мягким, тонким и удивительно нежным голосом затягивал:

– Поднимайтесь, поднимайтесь, лежебоки. Поднимайтесь, поднимайтесь, уже утро. – С легким смехом запрокидывал голову. – Эту песенку каждое утро пел мне отец, когда я был мальчишкой, в округе Эшли, штат Южная Каролина... Ну, ладно, – уже прозаично говорил он спокойным, властным, не терпящим возражения тоном. – Вставайте, ребята. Уже почти полвосьмого. Ну-ну, одевайтесь. Хватит спать.

Поднимались все – кроме Монти, которому нужно было выходить на работу в пять часов вечера; работал он в одном из отелей в средней части города и возвращался домой в два часа ночи. Руководитель разрешал ему поспать подольше и даже спокойно, но строго приказывал остальным не шуметь, чтобы не тревожить спящего.

Сам Джим уходил в половине девятого. И возвращался вечером.

Они часто ужинали все вместе в квартире. Им нравилась эта жизнь, дух товарищества и уюта. По всеобщему молчаливому согласию считалось, что они собираются по вечерам, дабы выработать программу на ночь. Тон, как всегда, задавал Джим. Они никогда не знали его планов. И дожидались его возвращения с нетерпением и жгучим любопытством.

В половине седьмого ключ Джима щелкал в замке. Джим входил, вешал шляпу и властно говорил безо всяких предисловий:

– Так, ребята. А ну, полезли в карман. С каждого по пятьдесят центов.

– Это еще зачем? – протестовал кто-нибудь.

– На самый лучший кусок мяса, какой тебе только доводилось есть, – отвечал Джим. – Я видел его в мясной лавке, когда шел мимо. На ужин у нас будет шестифунтовая вырезка, если не ошибаюсь... Перси, ступай в бакалейную лавку, купи две буханки хлеба, фунт масла и на десять центов крупы. Картошка у нас есть... Джордж, почисть ее, только не срезай две трети, как в прошлый раз... А я куплю мясо. И приготовлю его. Должна прийти моя медсестра. Она обещала испечь бисквиты.

И моментально оживив вечер, отправив ребят по их важным делам, принимался за собственные.

В квартире у них постоянно бывали девицы. Каждый приводил тех, с кем знакомился, а у Джима, разумеется, знакомых были десятки. Бог весть, где он находил их или когда изыскивал время и возможность встречаться с ними, но женщины вились вокруг него, как пчелы вокруг медового сота. Всякий раз у него бывала новая. Он приводил их по одной, по две, отрядами, десятками. Это была разношерстная компания. От медсестер, на которых у него, казалось, был особый нюх, продавщиц, стенографисток, официанток из детских ресторанов, ирландок с окраины Бруклина, склонных к вульгарным выкрикам за выпивкой, до хористок, прошлых и нынешних, и стриптизерши из бурлеска.

Джордж не знал, где Джим познакомился с последней, но это была замечательная представительница своего пола. Пышная, обладавшая таким плотским, чувственным магнетизмом, что могла возбудить неистовую любовную страсть, просто войдя в комнату. Она была яркой, смуглой, возможно, южноамериканского или восточного происхождения. Может быть, еврейкой, может, в ней было смешано несколько кровей. Притворялась француженкой, что было нелепо. Говорила причудливой ломаной скороговоркой, пересыпая речь такими фразами, как «О-ля-ля», «Mais oui, monsieur», «Merci beaucoup», «Pardonnez-moi» и «Toute de

suite»^[11]. Этому жаргону она выучилась на сцене бурлеска.

Джордж однажды пошел вместе с Джимом посмотреть ее игру в бурлескном театре на Сто двадцать пятой стрит. Манеры ее, вид, французские фразы и ломаная речь на сцене были такими же, как у них в гостях. Подобно остальным актерам, на подмостках она была такой же, как в жизни. И, однако же, лучшей в спектакле. Она искусно пользовалась своей скороговоркой, сладострастно вертя бедрами и отпуская обычные для бурлескной комедии непристойности. Потом вышла и под рев публики исполнила свой номер с раздеванием. Джим негромко бранился себе под нос и, как говорится в старой балладе об охоте на лисицу, «Обет он Богу приносил» – обет, который, кстати, так и не был исполнен.

Она была необычайной и, как оказалось, поразительно добродетельной. Ей нравились все ребята в квартире, и она любила приходить туда. Однако получали они не больше, чем зрители в театре. Она демонстрировала им свои прелести, и только.

Еще у Джима была медсестра, которая постоянно приходила к нему. Добивался он ее героически. Натиск его был грубым и безрезультатным. Она была очень привязана к нему и податлива до известной степени, дальше которой дело не шло. Джим, кипя от злости, расхаживал по квартире, словно бешеный тигр. Давал клятвы, произносил обеты. Остальные заливались хохотом, гляди на его страдания, но он и ухом не вел.

В конце концов этот образ жизни начал становиться неприглядным. Все, кроме Джима, стали понемногу уставать от него, чувствовать себя слегка пристыженными, опороченными этой неприглядной общностью плотских устремлений.

Их совместная жизнь продолжаться вечно не могла. Все они мзрослели, становились более опытными, более уверенными и приспособленными к громадному морю жизни этого города. Быстро близилось время, когда каждый пойдет своим путем, отделится от этого круга, независимо заживет собственной жизнью. И все понимали, что, когда это время наступит, для Джима они будут потеряны.

Джим терпеть не мог равенства. Это было его слабостью, пороком его природы. Он был слишком уж властителем, слишком властительным для южанина, слишком южным для властителя. Этот дух мужества и эта несовершенная южность являлись слабостью его силы. Джим был человеком столь героического, романтического склада, что ему вечно требовалось быть первым. Спутники были нужны ему, как планете. Он хотел везде быть в центре, везде неоспоримо первенствовать. Ему требовались восхваления, обожание, покорность окружающих, чтобы песенка его не оказалась спета.

А песенка Джима была спета. Период его славы миновал. Блеск его звезды потускнел. Он стал всего лишь воспоминанием для тех, кому некогда представлялся воплощением героизма. Его современники вступили в жизнь, добились успеха, обогнали его, забыли о нем. А Джим забыть не мог. Он жил теперь в мире мучительных воспоминаний. С иронией говорил о своих победах в прошлом. С негодованием о тех, кто, как ему казалось, покинул его. Смотрел со злобной насмешкой на подвиги нынешних спортивных идолов, избалованных зрительскими аплодисментами. Угрюмо ждал, когда в них разочаруются, и, дожидаясь этого, был не в силах забыть о прошлом, жалко цеплялся за обветшавшие остатки своего бывшего величия, за обожание кучки ребят.

Кроме них, у Джима было всего несколько близких друзей, разумеется, не ровесников. Его жгучее, уязвленное тщеславие теперь стало причиной страха перед открытым конфликтом с миром, перед общением с людьми своего возраста, обладающими теми же способностями, что и он, или даже большими. Мысль, что он может кому-то уступить, играть вторую скрипку, признать умственное или физическое превосходство другого, вызывала у него злобу и страх. Во всем городе он тесно сблизился лишь с одним человеком. Это был коротышка по имени Декстер

Бриггз, дружелюбный, добродушный пьяница-журналист, совершенно не обладавший теми героическими достоинствами, какими обладал Джим, и, естественно, он обожал за них Джима чуть ли не до идолопоклонства.

Что же до четверых молодых людей, очарование жизнью в квартире у них стало улетучиваться. Свобода, поначалу казавшаяся им всем чудесной и восхитительной, обнаружила явные ограничения. Они были не столь свободны, как думали. Им стала приедаться свобода, выражавшаяся в однообразном повторении убогих развлечений, в дешевых или доступных девицах, в платных или бесплатных женщинах, в пьяных или полупьяных ирландках, в хористках или звездах бурлеска, медсестрах, во всем этом непотребстве, в унижительной возможности уединиться, в «нечеринках» по субботам с пьянством и занятиями любовью, с постоянным стремлением к скучным, безрадостным соитиям.

Ребята стали уставать от такой жизни. Бывали случаи, когда им хотелось спать, а вечеринка шла своим ходом. Когда им хотелось уединиться, но такой возможности не было. Когда им все это до того становилось поперек горла, что они хотели убраться оттуда. Они начали действовать друг другу на нервы. Начали вздорить, огрызаться, раздражаться. Наступил конец.

Джим это почувствовал. И сознание окончательного поражения озлобило его. Он чувствовал, что все ребята от него отдаляются, что последний остаток его обветшалой славы исчез. И ополчился на них. Принялся грубо, вызывающе заявлять, что квартира его, что он здесь хозяин и устанавливает порядки, какие тхочет, а кому не нравится, может катиться ко всем чертям. Доступные девицы теперь доставляли ему мало удовольствия. Но он дошел до той точки, когда даже столь жалкие победы приносили утешение его истерзанной гордости. Поэтому вечеринки продолжались, толпа потасканных женщин струилась в квартиру и из нее. Джим переступил грань. Возврата обратно не было.

Конец настал, когда Джим объявил однажды вечером, что агентство новостей дало ему назначение в один из малоизвестных корреспондентских пунктов в Южной Америке. Он злобно, мстительно торжествовал. Говорил, что «уедет из этого проклятого города и пошлет всех к черту». Будет через месяц-другой в Южной Америке, где человек может вести себя, как ему вздумается, и где никто не будет ему мешать и докучать, так их всех и перетак. Да и вообще к черту эту жизнь! Он достаточно пожил, чтобы уразуметь – большинство людей, называющих себя твоими друзьями, просто-напросто двуличные, такие-рассякие мерзавцы, и едва ты отвернешься, всадят нож тебе в спину. Ну и черт с ними и со всей этой страной! Пусть возьмут ее и...

Он со злостью пил и подливал себе снова.

Около десяти часов появился Декстер Бриггз, уже полупьяный. Они выпили еще. Настроение у Джима было отвратительным. Он с яростью заявил, что желает видеть девиц. Отправил за ними ребят. Но даже девицы, весь этот потасканный сброд, в конце концов отвернулись от Джима. Медсестра извинилась, сказав, что у нее назначено другое свидание. С женщиной из бурлеска связаться не удалось. Девиц из Бруклина не смогли найти. Молодые люди нанесли все визиты, исчерпали все возможности. Один за другим они возвращались и, потупя взор, признавались в неуспехе.

Джим рвал и метал, а полупьяный Декстер Бриггз уселся за старую машинку Джима и стал отстукивать следующий плач:

Ребята здесь сидят без девиц -

О Боже, срази меня!

Ребята здесь сидят без девиц -

О Боже, срази меня!

Срази, срази, срази насмерть меня,

Ведь ребята здесь сидят без девиц -

Поэтому, Боже, срази!

Завершив этот шедевр, Декстер вынул лист из машинки, поднял, тупо поглядел на текст и, для начала дважды рыгнув, прочел медленно, выразительно, с глубоким чувством.

В ответ на эту декламацию и громкий хохот остальных Джим злобно выругался. Выхватил у Декстера оскорбительный листок, скомкал, бросил на пол и принялся топтать, поэт при этом глядел на него с унынием и слегка недоуменной печалью. Джим яростно напустился на ребят. Обвинил их в предательстве и двуличии. Разразилась жаркая ссора. Комната огласилась гневными выкриками возбужденных голосов.

Покуда бушевала эта битва, Декстер беззвучно плакал. Результатом этого чувства явилось еще одно стихотворение, которое он, всхлипывая, отстукал одним пальцем. Этот плач звучал укоризненно:

Парни, парни,

Будьте южными джентльменами,

Не обзывайте друг друга,

Ведь вы, парни, южные джентльмены,

Южные джентльмены, все.

Это произведение Декстер подобающим образом озаглавил «Южные джентльмены, все», вынул листок из машинки, и когда шум утих, негромко откашлялся и прочел стихи вслух с глубоким, унылым чувством.

– Да-да, – произнес Джим, не обратив на Декстера внимания. Он стоял со стаканом в руке посреди комнаты и разговаривал сам с собой. – Через три недели я уеду. И хочу сказать вам кое-что – всей вашей чертовой своре, – продолжал он зловецким тоном.

– Парни, парни, – печально произнес Декстер и рыгнул.

– Когда я выйду из этой двери, – сказал Джим, – на моей фалде будет висть веточка белой омелы, и вы все знаете, что можете предпринять в этом случае!

– Южные джентльмены, все, – с горечью произнес Декстер, потом печально рыгнул.

– Если кому-то не нравится, как я веду себя, – продолжал Джим, – он знает, что может предпринять! Может немедленно собрать свое барахло и убираться к черту! Я здесь хозяин и, пока не уеду, буду хозяином! Я играл в футбол по всему Югу! Сейчас меня, может, там не помнят, но прекрасно знают, кем я был семь-восемь лет назад!

– О, Господи! – пробормотал кто-то. – Было и былшем поросло! Надоело постоянно слышать об этом! Повзрослей!

– Я сражался во всех краях Франции, – злобно ответил Джим, – я бывал во всех штатах, кроме одного, и везде имел женщин, а если кто думает, что я стану слушаться кучку сопляков, которые всего год, как впервые выехали за пределы родного штата, я им быстро покажу, что они заблуждаются! Да-да! – Он с пьяной свирепостью несколько раз кивнул и выпил снова. – Я превосхожу... физически... – Он негромко икнул, – ... умственно...

– Парни, парни, – ненадолго вынырнул из тумана Декстер Бриггз и печально завел: – Помните, вы южные...

– ...и... и... морально...- торжествующе выкрикнул Джим.

– ...джентльмены, все, – уныло произнес Декстер.

– ...всю вашу чертову свору, вместе взятую...- яростно продолжал Джим.

– ...так будьте джентльменами, парни, и помните, что вы джентльмены. Всегда помните...- уныло тянул Декстер.

– ...и пошли вы все к черту! – выкрикнул Джим. Свирепо оглядел всех налитыми кровью глазами, гневно стиснув громадный кулак. – Пошли все к черту! – Умолк, пошатнулся, не разжав кулака, яростный, недоумевающий, не знающий, что делать. – Ахххх! – издал внезапно неистовый, удушливый крик. – К черту все это! – И запустил опорожненным стаканом в стену, отчего тот разлетелся на мелкие осколки.

– ...южные джентльмены, все, – печально произнес Декстер и принялся рыгать.

Бедняга Джим.

Двое ребят покинули квартиру на следующий день. Затем поодиночке остальные.

Итак, все они в конце концов разошлись, каждый бросился в мощный поток жизни этого города, чтобы испытать, проверить, найти, потерять себя, как и надлежит любому человеку – самостоятельно.

16. В ОДИНОЧЕСТВЕ

Джордж стал жить один в комнатухе, которую снимал в центре, неподалеку от Четырнадцатой стрит. Там он лихорадочно, неистово работал день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, пока не прошел еще год – за этот срок было ничего не сделано, не закончено, не завершено в том литературном замысле, который, возникнув столь скромным год назад, разросся, будто раковая опухоль, и с головой поглотил его. Джордж с детства помнил все, что люди делали и говорили, но когда пытался написать об этом, память разверзала свои бездонные глубины картин и ассоциаций, в конце концов простейший эпизод извлекал на свет целый континент погребенных в ней впечатлений, и Джорджа ошеломляла перспектива открытий, которые истощили бы силы, исчерпали бы жизни множества людей.

То, что двигало им, было не ново. Еще в раннем детстве какая-то неодолимая потребность, жгучая жажда понять, как обстоят дела, заставляла его присматриваться к людям с таким фанатичным рвением, что они зачастую возмущенно глядели на него, недоумевая, что это с ним или с ними. А в колледже, движимый все тем же непрерывным побуждением, он стал до того одержимым и всевидящим, что вознамерился прочесть десять тысяч книг и в конце концов начал видеть сквозь слова, подобно человеку, который одним лишь исступленным всматриванием обретает сверхчеловеческую остроту зрения и видит уже не только наружности вещей, но, кажется, пронизает взглядом стену. Неистовая жажда подгоняла его изо дня в день, покуда глаз его не стал въедаться в печатную страницу, будто алчная пасть. Слова – даже слова великих поэтов – утратили все очарование и тайну, сказанное поэтом казалось всего-навсего плоской, убогой орнаментацией того, что мог бы сказать он, если бы какая-то сверхчеловеческая сила и душевное отчаяние, подобных которым не ведал никто, вставили его выплеснуть содержимое находящегося внутри океана.

Так обстояло даже с величайшим на свете чародем слов. Даже когда Джордж читал Шекспира, его алчный глаз въедался с такой отчаянной жадностью в существо образов, что они начинали выглядеть серыми, тусклыми, чуть ли не заурядными, чего раньше никогда не бывало. Некогда Джордж был уверен, что Шекспир представляет собой живую вселенную, океан мысли, омывающий берега всех континентов, неизмеримый космос, содержащий в себе полную и окончательную меру всей человеческой жизни. Но теперь ему так уже не казалось.

Наоборот – словно сам Шекспир понял безнадежность попытки написать когда-либо хотя бы миллионную долю того, что пидел, что знал об этой земле или даже полностью, с блеском отобразить все содержание единого мига человеческой жизни – Джорджу казалось теперь, что воля Шекспира в конце концов капитулировала перед его гением, который парил в столь недостижимой вышине, что мог потрясти людей могуществом и очарованием, пусть обладатель его и уклонился от непосильного груза извлечь из своей души огромное содержание всей человеческой жизни.

Так даже в том замечательном месте «Макбета», где он говорит о времени -

Когда б вся трудность заключалась в том,
Чтоб скрыть следы и чтоб достичь удачи,
Я б здесь, на этой отмели времен,
Пожертвовал загробным воздаяньем... [\[12\]](#)

– в том потрясающем месте, где он поднимается от триумфа к триумфу, от одного невероятного дива к другому, бросая ошеломленной земле такое сокровище из двадцати строк, которое могло бы заполнить книги дюжины менее значительных людей и прославить их – по

мнению Джорджа, Шекспир не высказал и тысячной доли всего, что знал об ужасе, тайне, замысловатости времени и всего лишь набросал очертания одного из миллиона его ликов, полагая, что потрясающее очарование его гения скроет капитуляцию его воли перед непосильной для человека задачей.

И теперь, когда время, сумрачное время, тянулось медленно, мягко и невыносимо, окутывая его дух громадной, непроницаемой тучей, Джордж думал обо всем этом. Думал, и сумрачное время заливало его, топило в глубинах своего неопишуемого ужаса, покуда он не превратился в какое-то жалкое, бессильное ничтожество, микроскопический атом, бескровное, безглазое существо, ползающее в глубинах необъятности, лишенное возможности познать хотя бы толику той сферы, в которой обитает, ведущее жизнь-в-смерти, наполненную ужасом, и, безголовое, безглазое, слепое, невежественное, оцупью трусливо ищущее путь к сумрачной, но милосердной смерти. Ибо если величайший из поэтов всех времен нашел эту задачу непосильной, что мог поделаться тот, кто не обладал хотя бы частицей его могущества, не мог скрыть эту задачу, как он, за очарованием потрясающей гениальности?

Год, который Джордж прожил там в одиночестве, был унылым и отвратительным. В этот город он приехал с победоносным, торжествующим кличем в крови, с верой, что покорит его, станет выше и величественнее его величайших башен. Но теперь он познал неопишуемое одиночество. Он пытался вместить всю жажду и всю одержимость земли в пределы маленькой комнатки и колотил кулаками по стенам, стремясь вырваться снова на улицы, жуткие улицы без просвета, без поворота, без двери, в которую мог бы войти.

В этих приступах слепой ярости Джордж всеми силами сердца и духа желал одолеть этот громадный, миллионнолюдный, непобедимый и необъятный город, восторжествовать над ним и безраздельно им завладеть. Он едва не сошел с ума от одиночества среди его множества лиц. Сердце Джорджа падало в бездонную пустоту перед ошеломляющим зрелищем его непомерной, нечеловеческой, ужасающей архитектуры. Страшная жажда иссушала его пылающее горло, голод впивался в его плоть клювом хищной птицы, когда измученный множеством образов славы, любви и могущества, которые этот город вечно являет жаждущему человеку, Джордж думал, что умрет – всего в одном шаге от любви, которого не сделать, всего в миге от дружбы, которого не уловить, всего в одном дюйме, в одной двери, в одном слове от всей славы мира, пути к которой не отыскать.

Почему он так несчастен? Холмы, как всегда, красивы, вечная земля по-прежнему у него под ногами, и апрель наступит снова. И все же он жалок, измучен, одинок, преисполнен неистовства и беспокойства, постоянно причиняет себе зло, хотя добро под рукой, избирает путь невзгод, страданий, потерь и одержимости, хотя радость, покой, уверенность и могущество вполне доступны.

Почему он так несчастен? Внезапно ему вспоминались полуденные улицы какой-нибудь десяток лет назад, непрерывное, шучное, ничем не нарушаемое шарканье башмаков в полдень, когда мужчины шли домой обедать; приветственные возгласы их детей, влажное тепло и благоухание ботвы репы, стук закрываемых дверей, а потом вновь вялая тишина, покой и сытая апатия полудня.

Где теперь все это? И где все те давние уверенность и покой: спокойствие летних вечеров, разговоры людей на верандах, запах жимолости и роз, виноград, зреющий в густой листве над крыльцом, росная свежесть и безмятежность ночи, скрежет трамвая, остановившегося на холме над ними, и тоскливая пустота после его отъезда, далекий смех, музыка, беззаботные голоса, все такое близкое и такое далекое, такое странное и такое знакомое, неистовое завывание ночи и протяжный голос тети Мэй в темноте веранды; наконец голоса затихают, люди расходятся, улицы и дома погружаются в полную тишину, а потом сон – нежная, чистая ласковость и

безмятежность целительного сна? Неужели все это навеки исчезло с лица земли?

Почему он так несчастен? Откуда это – одержимость и неистовость жизни? И то же самое у каждого, не только у него, но и у людей повсюду. Он видел это на тысяче улиц, в миллионе лиц; это стало обычной атмосферой их жизни. Откуда это – неистовость непокая и тоски, вынужденный уход и мучительный возврат, жуткая быстрота и сокрушительное движение, которое никуда не ведет?

Ежедневно они валят толпой в гнусное оцепенение множества улиц, стремительно проносятся по грохочущим тоннелям с грязным, зловонным воздухом и высыпают на поверхность, словно крысы, чтобы напирать, толкаться, хватать, потеть, браниться, унижаться, грозить или хитрить в неистовом хаосе жалких, тщетных, мелочных усилий, которые не принесут им ничего, останутся бесплодными.

Вечерами они вновь устремляются на улицы с идиотским, неустанным упорством проклятого и заблудшего племени, с опустошенной душой, чтобы искать с усталым, бешеным, озлобленным неистовством новых удовольствий и ощущений, которые наполнят их усталостью, скукой и омерзением духа, которые гнуснее и низменнее, чем удовольствия собаки. И, однако же, с той же усталой безнадежностью надежды, с той же безумной жаждой отчаяния они вновь ринутся на свои отвратительные ночные улицы.

И ради чего? Ради чего? Чтобы толкаясь, теснясь, давясь бродить взад-вперед мимо дешевой помпезности и скучных увеселений этих улиц. Чтобы беспрестанно слоняться туда-сюда по мрачным, серым, безрадостным тротуарам, оглашая их грубыми колкостями и замечаниями, хриплым бессмысленным хохотом, уничтожившим радостное веселье их юности, заливиный смех от всей души!

Ради чего? Ради чего? Чтобы изгнать жуткое раздражение из своих усталых тел, своих истерзанных нервов, своих смятенных, отягощенных душ обратно на эти скучные, безумные ночные улицы, их вечно подгоняет эта бесплодная безнадежность надежды. Чтобы вновь увидеть раскрашенную личину старой приманки, чтобы стремиться к огромному, бессмысленному блеску и сверканию ночи так лихорадочно, словно их там ждет некое великое воздаяние счастья, любви или сильной радости!

И ради чего? Ради чего? Какое воздаяние приносят им эти безумные поиски? Быть мертвенно освещенными этим безжизненным светом, проходить с развязным самодовольством и многозначительным подмигиванием мимо всей этой броской пустыни киосков с горячими сосисками и фруктовой водой, мимо сияющих искушений, затейливых убранств крохотных еврейских лавочек, в дешевых ресторанах впиваться мертвенно-серыми челюстями в безвкусную мертвенно-серую стряпню. Надменно проталкиваться в тускло освещенную утробу, скучное, скверное убежище, жалкое, полускрытое убожество кинотеатров, а затем с нажным видом продираться обратно на улицу. Ничего не понимать, однако поглядывать с понимающим видом на своих мертвенных ночных собратьев, смотреть на них, насмешливо кривя губы, с презрительной гримасой, суровыми, мрачными, неприятными глазами и отпускать насмешки. Каждую ночь видеть и быть на виду – о, ни с чем не сравнимое торжество! – продемонстрировать блеск своей находчивости, остроту своего плодотворного ума такими вот перлами:

– Черт возьми!

– Ну и ну!

– Иди ты?

– Точно!

– Который парень?

– Вот этот! Нет – не он! Другой!

– Вот тот? Черт возьми! Ты про того парня?

– Которого?

– Который говорил, что он твой друг.

– Мой друг? Черт возьми? Кто сказал, что это мой друг?

– Он.

– Кончай! Откуда ты взял эту чушь? Никакой этот сукин сын мне не друг!

– Нет?

– Нет!

– Ну и ну!

– Черт возьми!

О, вечно швырять эти перлы своих убогих уст в убогие уши своих безжизненных собратьев, в синевато-серое, бессмысленное мерцание ночи, ненавидя свои безрадостные, убогие жизни, лица своих безжизненных собратьев – вечно ненавидящих, ненавидящих и несчастных! А потом, вновь набродясь по улицам в этих давних, бесплодных и нескончаемых поисках, пресытятся ими, снова устремиться в свои камеры с той же неудержимостью, с какой покидали их!

О, дорогие друзья, разве это не та изобильная жизнь в славе, могуществе и неистовой, ликующей радости, не то замечательное видение сияющего, чарующего города, не те герои мужчины и красавицы женщины, не все то, что Джордж Уэббер мечтал найти в юности?

Тогда почему он так несчастен? Господи Боже, неужели им – племени, которое взметнуло ввысь девяностоэтажные дома, запустило снаряды, везущие по тоннелям ежесекундно девяносто тысяч людей – не под силу отыскать маленькую дверь, в которую он мог бы войти?

Неужели людям, создавшим эти громады, не под силу сделать стул, на котором он мог бы сидеть, стол, за которым он мог бы есть пищу, а не безвкусную стряпню, комнату, где в мире, покое, уверенности он мог бы на минуту отдохнуть от всех страданий, неистовства, непокоя окружающего мира, спокойно подышать без мучений, усталости, сокрушения души!

Иногда настроение Джорджа менялось, он часами ходил по людным улицам и в окружающих толпах находил только источник радости, предвестие некоего восхитительного приключения. Тогда он ликующе погружался с головой в городскую жизнь. Громадные толпы будоражили его предвкушением и восторгом. Со сверхъестественно обостренными чувствами он впитывал каждую подробность этого многолюдья, постоянно готовясь увидеть хорошенькое личико и соблазнительную фигуру женщины. Каждую женщину с красивыми ногами или сильной, манящей чувственностью во внешности он тут же облекал пленительным ореолом красоты, мудрости и романтики.

У Джорджа бывало на день множество неопишуемых встреч и приключений. Каждая женщина проходила, терялась в толпе, и краткость этой встречи пронизывала его невыносимым чувством боли и радости, торжества и утраты. В каждые красивые уста он вкладывал слова нежности и понимания. Продавщица из универмага становилась красноречивой, обаятельной благодаря остроумной, безукоризненной речи; в вульгарной болтливости ирландки официантки ему слышалась чарующая музыка. В этих со-щанных его воображением приключениях Джорджу никогда не приходило на ум, что ему трудно будет снискать восторг этих красавиц – что он просто-напросто нескладный юноша с мелкими чертами лица, плечистый, коротконогий, напоминающий обезьяну выставленной вперед головой и неимоверно длинными болтающимися руками. Нет: во всех этих фантазиях он принимал красивый, героический облик и мечтал о мгновенном союзе благородных душ, о немедленном потрясающем соблазнении, облагороженном прекрасной и поэтичной силой чувства.

Иногда в этих чудесных фантазиях ему отдавалась благородная леди – богатая, лет

двадцати четырех – двадцати пяти (он не выносил любовниц младше себя), недавно овдовевшая, лишившаяся нелюбимого старика мужа, выйти за которого оказалась вынуждена. Обстоятельства их встречи менялись от сокрушения одним ударом кулака напавшего на нее убийцы-ирландца до совершенно случайной находки в канаве уже полузанесенного палой осенней листвой бумажника или сумочки, в которой находились не только десять или двадцать тысяч долларов в банкнотах очень крупных достоинств, но и жемчужное ожерелье и нешлифованные драгоценные камни, кольцо с огромным изумрудом, несколько акций или облигаций и письма с неоценимо важными секретами. Эту форму встречи Джордж предпочитал всем остальным, потому что она хоть и лишала его героизма, но давала возможность проявить столь же ценные честность и мужское достоинство. К тому же, в этом случае он получал возможность нанести ей визит.

Итак, подобрав сумочку на пустынной дорожке Центрального парка, он сразу же видел ценность ее содержимого – столь значительную, что даже скромное вознаграждение за находку составило бы немалую сумму – и, торопливо сунув ее в карман, сразу же, правда, несколько кружным, тщательно продуманным маршрутом шел к себе в комнату, там четко, скрупулезно делал на обороте конверта опись всего найденного, при этом заметив, что инициалы на защелке сумочки совпадают с именем на обнаруженной внутри визитной карточке.

Покончив с описью, он брал такси и мчался по указанному адресу. Это оказывался скромный дом на Восточных Шестидесятых или же огромное мрачное здание на Пятой Авеню. Джордж предпочитал скромный дом, трехэтажный, но с узким фасадом, не бросающийся в глаза, мягкого, почти унылого цвета. Мебель в нем бывала мужской, дом все еще хранил отпечаток характера своего покойного владельца – из ореха и красного дерева, с толстыми, потертыми кожаными подушками на стульях. Справа от вестибюля находилась библиотека, темная, отделанная орехом комната с окнами в узких нишах, с полками до высокого потолка, на которых стояло десять – пятнадцать тысяч томов.

Подъехав к дому, Джордж отпускал такси и поднимался по ступеням. Дверь открывала служанка, хорошо сложенная, лет двадцати двух, она явно часто принимала ванну, на ее толстых, но стройных ногах бывали дорогие чулки из черного шелка, полученные от хозяйки. Улыбаясь, она провожала его в библиотеку, перед тем как идти докладывать хозяйке, задерживалась поворошить кочергой пылающие угли в маленьком камине, наклоняясь, обнажала повыше колен толстые белые ноги, в них глубоко врезались гофрированные подвязки из зеленого шелка (видимо, подаренные хозяйкой). Потом уходила с одной красиво покрасневшей от жара стороной лица, бросая ему быстрый соблазнительный взгляд, и он замечал ритмичное покачивание ее больших грудей.

Вскоре до него доносились сверху голоса: негромкий служанки, затем нервозный, раздраженный другой женщины:

– Кто там? Какой-то молодой человек? Передай, что я не могу принять его сегодня! Меня очень расстроило случившееся!

Вспыхнув сильным, но праведным гневом на столь неблагородную оплату за его труды и честность, он широким шагом подходил к лестнице, по которой уже спускалась служанка, и обращался к ней гордым, резким голосом, негромким, но почти металлическим – голосом, который бывает слышен далеко.

– Скажи своей госпоже, что ей необходимо оказать мне честь, приняв меня. Если я бесцеремонно вторгся сюда, то вопреки своему желанию, и мне это стоило немалых беспокойств, трудов и предосторожностей. Но я располагаю сведениями относительно потери, которую, возможно, она совершила, и думаю, они могут весьма ее заинтересовать.

Дальше он не продолжал. Сверху раздавался пронзительный вскрик, и она торопливо, с

риском упасть, сбегала по лестнице, напряженное лицо ее было очень бледным, голос еле слышным. Хватала его своими маленькими сильными руками так неистово, что на запястьях у него появлялись белые круги, и спрашивала голосом, не громче трепетного дыхания:

– Что такое? Вы должны немедленно мне сказать, слышите? Вы нашли ее?

Мягко, утешающе, однако с непреклонной твердостью он отвечал:

– Я нашел вещь, которая, возможно, принадлежит вам. Но дело представляется мне столь серьезным, что я вынужден просить вас первым делом ответить на несколько вопросов.

– Спрашивайте – спрашивайте, что угодно!

– Вы совершили потерю. Опишите ее, назовите время и место.

– Я потеряла серебряную плетеную сумочку два дня назад между восемью двадцатью и восемью тридцатью пяти утра во время верховой прогулки в Центральном парке, прямо за музеем. Сумочка лежала у меня в правом кармане куртки; она выпала во время езды.

– Опишите как можно старательнее и точнее содержимое сумочки.

– Там были деньги, шестнадцать тысяч четыреста долларов – сто сорок стодолларовых банкнот, остальное пятидесятки и двадцатки. Еще ожерелье с платиновой застежкой из девятиста одной жемчужины разных размеров, самая крупная величиной с большую виноградину; простое золотое кольцо с изумрудом ромбической формы...

– Какого размера?

– Примерно с кусочек сахара. Там были еще восемь сертификатов акций компании «Бетлеем стил» и, что для меня ценнее всего, несколько писем от друзей и деловых партнеров покойному мужу, в которых есть весьма конфиденциальные подробности.

Тем временем он, держа конверт в руке, сверялся со списком. Затем, достав сумочку из кармана, протягивал ей и спокойно говорил:

– Полагаю, вы найдете свою собственность в полной сохранности.

Женщина, вскрикнув, хватала сумочку, быстро опускалась на кожаный диван, раскрывала ее и дрожащими пальцами торопливо перебирала содержимое. Он напряженно наблюдал за нею, понимая, что подвергается риску навлечь на себя несмыслимое подозрение, если чего-то не окажется на месте. Но оказывалось все!

В конце концов, подняв взгляд, она устало произносила с невыразимым облегчением:

– Все цело! Все! О! Я чувствую себя так, будто родилась заново!

С холодным, ироничным поклоном он отвечал:

– Тем охотнее, мадам, вы извините меня, что я оставляю вас наслаждаться первыми счастливыми часами детства в одиночестве.

И взяв со стола старую шляпу, в которой походил на искателя приключений, направлялся к двери. Она тут же бросалась за ним и снова взволнованно хватала его за руки.

– Нет-нет, *постойте*. Вы *не уйдете*, пока не скажете мне своего имени. Как вас зовут? Вы *должны* назвать мне свое имя! Он весьма холодно отвечал:

– Мое имя ничего вам не скажет. Я пока что неизвестен. Я всего-навсего бедный писатель.

Она, разумеется, видела по его отрепьям – костюму, который был в данное время на нем, – что человек он небогатый и несветский, но видела также по тому, с каким достоинством он держится, словно не сознает, что это отрепья, или равнодушен к этому, что ему присуще некое гордое величие души, не нуждающееся ни в каких внешних атрибутах. И говорила:

– Раз вы бедный писатель, я могу сделать для вас кое-что – предложить весьма скромную награду за вашу восхитительную честность. Вы должны принять от меня вознаграждение.

– *Вознаграждение?* – изумленно переспрашивал он.

– Пять тысяч долларов. Я... я... надеюсь... если вы не возражаете... – Она умолкала, испуганная его сурово нахмуренными бровями.

– Приму, разумеется, – отвечал он сурово и гордо. – Услуга, которую я вам оказал, стоит этого. Я не стыжусь получать заработанное. Во всяком случае, лучше вложить эти деньги в меня, чем отдать их полицейским-ирландцам. Позвольте поздравить вас с тем, что вы сделали для будущего искусства.

– Я так рада... так счастлива... что вы их возьмете... что они вам помогут. Не придете ли вечером к обеду? Я хочу поговорить с вами.

Он принимал приглашение.

Перед его уходом они получали возможность разглядеть друг друга получше. Он видел, что для женщины она высоковата, ростом около пяти футов шести-семи дюймов, но производит впечатление более высокой. Что у нее густая грива белокурых волос с рыжеватым оттенком – пожалуй, цвета очень светлого янтаря. Волосы бывали плотно уложены на голове, слегка напоминали литой или кованный металл и переливались мерцающими искрами.

Они покоились, словно массивная корона, над небольшим, изящной лепки лицом, необычайно, но не болезненно бледным, от неприятной экзотичности его избавляла живая, по-мальчишески непринужденная мимика, улыбка, напоминающая блик золотистого света на небольших, пухлых, невероятно чувственных губах – бойкая, змеящаяся, она обнажала маленькие, молочно-белые, но слегка неровные зубы. Лицо большей частью бывало застывшим в напряженной, несколько забавной серьезности. Разговор ее бывал по-мальчишески прямым, искренним, говоря, она то серьезно смотрела на слушателя, то задумчиво отводила глаза в сторону; однако в заключение каждого высказывания ее ясные голубовато-серые глаза, обладающие кошачьим блеском и юркостью, искоса обращались украдкой на лицо собеседника.

Одета она бывала в облегающую зеленую блузу из шелкового трикотажа и часто запускала в ее карманы маленькие смуглые ловкие руки (без драгоценных украшений). Грудь ее бывали не обвислыми, как у служанки, а налитыми, они упруго, соблазнительно выдавались вперед, нежные эластичные соски слегка обозначались под шелком. Она носила прямую короткую юбку из синей саржи; на изящных длинных ногах бывали шелковые чулки; на маленьких ступнях красовались бархатные туфли со старомодными пряжками.

Перед его уходом она говорила, что он должен приходить почаще – ежедневно, если получится, – и заниматься в библиотеке: теперь ею почти не пользуются, и ему там никто не будет мешать. Он выходил, дверь за ним закрывала томно и нежно улыбающаяся служанка.

Потом, охваченный пылким волнением и погруженный в раздумья, ощущающий невероятный прилив сил, он ходил по улицам и по широкому бульвару посреди Центрального парка. То бывал пасмурный день в конце осени, с холодной изморосью, с запахом дыма, насыщенный, словно весенний, непонятным предвестием и неопределенной надеждой. С голых ветвей свисали редкие мокрые, увядшие листья; время от времени он разбегался, высоко подпрыгивал и срывал лист рукой или зубами.

В конце концов под вечер он чувствовал приятную физическую усталость, которая под воздействием золотистого вина его фантазии легко превращалась в сладостную истому, так мясо некоторой дичи бывает более вкусным, когда слегка утратит свежесть. И с холодным от измороси лицом сворачивал к Лексингтон-авеню, ехал на метро до Четырнадцатой стрит, шел к себе в комнату, с наслаждением принимал горячую ванну, брился, надевал чистые белье, носки, рубашку и галстук; потом с дрожащими руками и колотящимся сердцем радостно ждал приближающейся встречи.

В половине девятого он вновь появлялся у ее двери. С голых ветвей и свесов крыши медленно падали холодные капли. На первом этаже дома бывало темно, однако в окнах второго этажа сквозь задернутые шторы виднелся мягкий свет. Дверь ему снова открывала служанка и вела мимо темной библиотеки вверх по широкой лестнице с ковровой дорожкой, на лестничной

площадке тускло горела единственная лампочка. Он шел следом, шагах в двух позади, чтобы наблюдать за приятным ритмичным движением ее бедер и за тем, как тесноватая юбка скользит вверх-вниз по красивым, несколько толстоватым ногам.

На верху лестницы его поджидала дама. Быстро взяв за руку, с нежным, быстрым пожатием притягивала его слегка к себе и вела в гостиную, возможно, не произнося ни слова, лишь украдкой бросив на него взгляд светлых глаз. Суховатых, отчужденных, учтивых любезностей вроде «Я так рада вашему приходу!» или «Очень мило с вашей стороны, что пришли», которые охлаждают, замораживают теплые чувства, не бывало – они почти сразу же начинали с естественной, непринужденной задушевности, исполненной достоинства, легкости и красоты.

Все мальчишеское, что было в ее одежде и манерах поутру, исчезало бесследно. В вечернем платье из плотного, жемчужного цвета шелка, без украшений, но дорогом, в серебристых чулках и черных туфлях с драгоценными камнями, она обнаруживала неожиданную зрелость, пышность груди и полноту зада. Ее покатые плечи, твердые, округлые руки и длинная шея, на которой медленно, тепло бился пульс, в том освещении бывали перламутровыми с легким оттенком слоновой кости.

Гостиная бывала высокой, просторной, мужской по размерам, но, в отличие от библиотеки, превращенной с тонким вкусом в женскую, правда, без вычурности или нарочитости, комнату.

Там бывали огромный диван, шезлонг, несколько глубоких кресел с роскошной обивкой из неяркого старого атласа с цветочным рисунком. Жарко горел уголь в маленьком камине, сбоку стояли в ряд бронзовые начищенные щипцы, кочерги, совки, никакой отталкивающей антикварности или псевдореволюционности металлических постельных грелок не бывало. Каминная полка представляла собой гладкую плиту из кремового мрамора, над ней до самого потолка висело французское зеркало восемнадцатого века в простой золоченой раме с легкими бурыми пятнами внизу. Единственным предметом на каминной полке бывали изысканно украшенные позолоченные часы восемнадцатого века, очень женские, изящные. Вся мебель бывала прочной, но изящных пропорций. За диваном стоял круглый стол из полированного ореха. На нем лежало несколько журналов: «Дайел», «Вэнити Фэйр», которые он молча брал и небрежно бросал обратно, слегка приподнимая с насмешкой брови, «Сенчури», «Харперс», «Скрибнерс», но «Атлантик Мансли» не бывало ни единого экземпляра. Бывали также «Панч», «Скетч», «Тэтлер», спортивные и театральные журналы, пестрящие иллюстрациями с видами охоты и множеством маленьких фотографий английских аристократов, сухопарых, большезубых мужчин и женщин, стоящих, болтающих, одетых в клечатые костюмы, с вывернутыми внутрь носками больших ног, или заснятых на ходу с открытыми, искривленными ртами, с рассекающими воздух рукой или ногой, подписями типа: «Капитана Мак-Звона и леди Джессику Шут на прошлой неделе застали за беседой в Содомборо».

На маленьком столике у торца дивана находились ингредиенты для всевозможных коктейлей и охлажденных напитков – дорогая приземистая бутылка светлого рома, бутылка кентукского бурбонского виски, выдержанного более двадцати лет в дубовых бочках, и крепкого, настоящего на померанцах джина. А также шейкер, ведро колотого льда, тарелки с оливками и соленым миндалем.

Выпив холодного крепкого ликера, он, вдохновленный ее легким опьянением, выпивал еще, настроение его поднималось, мозг работал с пылкой, радостной живостью. Потом они шли обедать.

Столовая, расположенная на том же этаже, бывала погруженной в полутьму, лишь круглый стол под белоснежной широкой скатертью заливал золотистый свет, да две маленькие лампы с абажурами стояли на огромном буфете, в котором поблескивала посуда и всевозможные

бутылки с виски, ликерами, вермутом и ромом. За столом им прислуживала служанка. Там бывала, кроме нее, лишь кухарка, женщина средних лет из Нью-Гемпшира, обогатившая свое кулинарное искусство тем, что почерпнула, когда эта семья проводила лето на Кейп-Коде, и в Париже, где эта дама проживала по нескольку лет. В дневное время там бывал еще мужчина, он ведал отоплением и выполнял тяжелые работы.

Это бывала и вся обслуга. Дом не бывал обременен богатством, достигающим нескольких миллионов долларов: у хозяйки бывало всего семьсот – девятьсот тысяч, надежно вложенных в не облагаемые налогом облигации, приносящие ежегодно двадцать – двадцать пять тысяч долларов, этого хватало на скромную роскошь.

Блюд подавалось немного; еда бывала мужской, простой и великолепно приготовленной. Начинали они с густого томатного супа цвета красного дерева, или густого горохового, или великолепного лукового и к нему гренки с сыром, которые она готовила сама. Рыбы не бывало, однако на большом серебряном блюде лежало поджаренное филе со следами решетки по краям и в центре. По его поверхности растекались кусочки масла, смешанного с рубленой мятой и чуточкой корицы. Дама разрезала мясо на нежные трехдюймовые кусочки, обнажая аппетитную, сочную, но не рыхлую красную мякоть. Затем клала ему на тарелку рассыпчатой жареной картошки и молодого, нежного вареного лука, с которого от прикосновения вилки слезала тонкая, острая на вкус кожица. И поливала все густым, жирным, слегка приперченным соусом.

Бывал также и салат – из латука, или артишока, или даже из хрустящего белого цикория. Она готовила его в глубокой миске, мелко нарезала мяту или лук в уксус, масло и горчицу для придания остроты. Наконец подавался толстый яблочный пирог, сдобренный мускатным орехом и корицей, с собственным соком, проступившим на хрустящей волнистой корочке; а к пирогу – ломоть желтого американского сыра. Они также выпивали по большой чашке крепкого ароматного кофе с густыми сливками.

Он наблюдал, как сливки клубятся в черном напитке, словно густой дым, и цвет напитка становится светло-коричневым. За едой он говорил мало. Ел благопристойно, но с аппетитом, и поднимая время от времени взгляд, замечал, что глаза ее обращены на него слегка насмешливо и вместе с тем нежно.

Потом они сидели у камина в гостиной, он в глубоком роскошном кресле, она в шезлонге, выпивали по чашечке черного кофе, по рюмке зеленого шартреза или гранд марнье и курили. Он курил ароматные, сухие, легко тянущиеся «Лаки страйк», она – «Мелакрино». Время от времени она меняла положение ног, и ее обтянутые шелком икры терлись одна о другую с негромким, сладострастным звуком.

Бывало тихо, слышались только успокаивающая капель с ветвей и листьев, потрескивание углей, да тиканье маленьких часов. Иногда он слышал, как служанка убирает со стола в столовой. Вскоре она появлялась, спрашивала, нужно ли что-нибудь еще, желала доброй ночи и поднималась по лестнице в свою комнату на верхнем этаже. И они оставались вдвоем.

Начинали разговаривать они если не скованно, то по крайней мере с какой-то неловкостью. Она рассказывала о своем воспитании – в монастыре, о жизни за границей, о глупых и жадных родителях, уже покойных, о привязанности к тете, мудрой и доброй женщине, ее единственной союзнице в борьбе с родителями в трудные годы юности, о браке в двадцать лет с человеком, которому было уже под пятьдесят, хорошем, преданном, но совершенно не понимавшем ее, умершем в прошлом году.

Потом спрашивала о его жизни, о доме, детстве, возрасте и устремлениях. Он отвечал, сперва кратко, отрывисто. В конце концов слова начинали литься потоком, он пылко исповедовался в своих делах, вере, чувствах, любви, ненависти. И желаниях, во всем, что хотел

сделать, кем стать. Потом закуривал новую сигарету, беспокойно вставал перед камином, садился рядом с ней в шезлонг, непринужденно, небрежно брал ее за руку, и она отвечала ему пожатием. Затем, бросив сигарету в топку камина, обнимал ее, легко, непринужденно и целовал сперва в губы, поцелуй длился около сорока секунд, потом в щеки, глаза, лоб, нос, подбородок и шею, туда, где бился пульс. Потом нежно касался ее груди, начиная с глубокой, восхитительной ложбинки между ними. Тем временем она мягко ерошила его волосы и поглаживала нежными пальцами по лицу. Страсть соединяла их в безмолвном опьянении; она покорялась всему, что он делал, не раздумывая и не противясь.

Лежа рядом с ней, обвитый ее длинными руками, он проводил ладонью по ее шелковистым, пышным бедрам, по икрам в шелковом чулке и мягко вел руку вверх, под юбку, задерживая движение на нежной, пышной плоти повыше колена. Потом вынимал одну ее грудь из выреза платья, любовно держал на руке ее нежный груз. Соски ее упругих груди были не грубыми, коричневыми, дряблыми, как у рожавших женщин; они оканчивались нежным розовым бутончиком, как у женщин на старых французских полотнах – например у Буше.

Потом он поднимал ее руки, замечая нежные, шелковистые завитки светлых волос под мышками. Целовал и, возможно, слегка покусывал ее плечо, ощущал острый, но приятный запах, уже слегка влажный от страсти. И этот запах чувственной женщины не обладал ни вонью, как у груботелых женщин, ни каким-то немислимимым ароматом, отвратительным для здорового вкуса. Он бывал утонченно-вульгарным: запахом здоровой женщины и утонченной дамы, у которой не только самые лучшие жилье, одежда, обслуживание и питание, в таких же условиях жили ее предки, так что теперь ее костный мозг, плоть, кровь, пот, слюна, форма конечностей – все тонкое соединение связок и мышц, вся слитая красота ее тела – были из самого редкого, тонкого, лучшего, чем любой другой на свете, материала.

И лежа так, в тепле бесшумно светящихся углей, он совершал с нею восхитительный акт любви. Отдавал ей всю меру своей любви и силы, обретал, целуя ее губы, полное забвение.

Потом, постепенно приходя в себя, он лежал в ее объятиях, уронив голову ей на шею, ощущал ее медленное, неровное дыхание и слышал, будто сквозь сон, легкий, непрерывный шум дождя.

Он проводил с нею ту ночь и потом еще много ночей. Приходил в темноте, тихо, украдкой, хотя таиться уже не бывало нужды, сознавая, что там, в темном доме, его ждет воплощение красоты и жизни; в темноте они прислушивались к плеску дождевых капель.

Вскоре после той ночи он поселялся у нее в доме. В этом не было ничего унижительного, потому что он настаивал, что будет платить за питание. И несмотря на все ее протесты, отдавал пятнадцать долларов в неделю со словами:

– Это все, что я могу себе позволить – эти деньги я платил бы в любом месте. Не мог бы на них есть, пить и спать так, как здесь, но прожить бы мог. Поэтому возьми их!

Дни он проводил в библиотеке. Читал поразительно много, самозабвенно проглатывал от корки до корки то, что больше всего хотел знать, однако держал под рукой множество других книг и с жадностью принимался то за одну, то за другую.

Библиотека бывала солидной, из пяти-шести тысяч томов, в которых превосходно была представлена классика английской и американской литературы. Там бывали образцовые издания Теккерея, выпущенные Круикшенком и Физом, Диккенс, Мередит, Джеймс, сэр Вальтер Скотт и так далее. В дополнение к хорошо известным елизаветинцам, таким как Шекспир, драматургам, чьи пьесы вошли в сборники серии «Мермейд» и даже к еще более полным антологиям с «Вольпоне», «Алхимиком» и «Бертоломью Честным» Бена Джонсона, «Праздником башмачника» Деккера, «Бюсси д'Амбуа» Чемпена бывало еще несколько сотен менее известных пьес, плохих, глупых, аморфных, однако насыщенных непристойной, буйной,

прекрасной речью того времени.

Там бывали и прозаические издания, например плутовские повести Роберта Грина, драматурга, описание его ссоры с Габриэлем Харви, его исповедь, «Букварь для девочек» Деккера, «Печальный пастух» Джонсона, его «Подлески». Такие книги, как «Anima Poetae», «Biographia literaria», «Застольные беседы» Кольриджа и проповеди пуританских богословов, главным образом Джонатана Эдвардса. Бывали книги о путешествиях Хаклута, Пэрчаса, «Путешествия по Северной Америке» Бартрема.

Бывали там и факсимильные репродукции всех научных манускриптов Леонардо да Винчи, знаменитый «Codice Atlantico», написанный задом наперед, справа налево, испещренный сотнями рисунков, в том числе его летательных аппаратов, канопов, катапульт, пожарных вышек, винтовых лестниц, анатомических разрезов человеческих тел, с диаграммами совокупления стоя, с исследованиями о движении волн, об окаменелостях, о морских раковинах на горном склоне, заметками о глубокой древности мира, жутком безлиственном веке земли, который он изображал на заднем плане своих картин – как на портрете Моны Лизы. С помощью зеркал, итальянской грамматики и словаря он разбирал слова и переводил текст, используя в качестве руководства частичную расшифровку, уже сделанную одним немцем. Потом в свободное от работы над романом время показывал, что Леонардо рассматривал живопись лишь как дополнение к своим исследованиям всяческого движения, всяческой жизни, был инженером и художником только в связи с ними, что он, в сущности, чертил великой кистью карту вселенной, показывая возможность Человека стать Богом.

Там бывали книги и с другими анатомическими рисунками пятнадцатого-шестнадцатого веков, где были изображены лежащие на диванах женщины, задумчиво глядящие в свои вскрытые животы на внутренности, карты средневековых географов, составленные на основании обрывочных фактов, гипотез и необузданного воображения, с разными частями моря, населенными разнообразными чудовищами, в том числе без голов, но с единственным глазом и ртом между плечами.

Потом там бывала часть тех книг, в которые Кольридж был «глубоко погружен», когда писал «Сказание о Старом Мореходе»: Ямбул, Порфирий, Плотин, Иосиф Флавий, Джереми Тейлор, «Английская метафизика» – вся школа неоплатоников; все труды, какие можно было собрать, по истории демонов, колдунов, фей, эльфов, гномов, шабашей ведьм, черной магии, алхимии, спиритизма – все, что елизаветинцы, особенно Реджинальд Скотт, могли об этом сказать; все труды Роджера Бэкона; все легенды и книги об обычаях и предрассудках, «Анатомия меланхолии» Бартона, «Золотая ветвь» Фрейзера, «Encyclopedia Britannica», в которую, устав от другого чтения, он мог с удовольствием углубиться – выбирая первым делом такие изюминки, как Стивенсон о Беренджере или Теодор Уоттс-Дантон о поэзии или Карлейль, если встречал что-то еще неизвестное для себя, на разные темы, Суинсберн о Китсе, Чепмене, Конгриве, Уэбстере, Бомонте и Флетчере.

Он читал «Magnalia» Коттона Мэдера, «Путешествия доктора Синтаксиса» с иллюстрациями, спортивные романы Сюрте. Читал полные собрания сочинений Филдинга, Смоллета, Стерна и Ричардсона, все Даниэля Дефо, что только было под рукой. Читал древнегреческую и древнеримскую литературу, в библиотеке Лоуба и в оксфордских, отпечатанных на коричневой индийской бумаге классических текстах с введением и примечаниями на латыни, с перекрестными ссылками на рукописи. Читал отдельные издания «Кармины» Катуллы (в переводе Лэма), Платона в прекрасном переводе Джоуэтта – особенно «Апологию» и «Федона»; историю Геродота, все лживые и занимательные рассказы о путешествиях таких авторов, как Страбон, Павсаний, Фруассар, Иосиф Флавий, Холиншед, Марко Поло, Свифт, Гомер, Данте, Ксенофонт с его «Анабасисом», Чосер, Стерн, Вольтер с его

путешествием в Англию, и барон Мюнхгаузен.

Там бывали такие оксфордские и кембриджские сборники поэзии, отдельные издания таких поэтов, как Донн, Крэшоу, Герберт, Картью, Геррик, Прайор. Бывало несколько сотен томов драматургии помимо елизаветинской, включающих все от ранних греков и средневековой литургической драматургии до великих периодов во Франции, Германии, Испании, Италии, скандинавских странах, России, всех новейших драматургов – Ибсена, Шоу, Чехова, Бенаvente, Мольнара, Толлера, Ведекинда, Пиранделло, О'Нила, Сарду и неизвестных ему из Болгарии, Перу, Литвы. Бывали там и полные подшивки «Панча», «Блэквудса», «Харперс Уикли», «Ль'иллюстрасьон», «Полис Газетт», «Литерари Дайджест» и «Фрэнк Леслис Иллюстрейтед Уикли».

Окруженный этими благородными, животворными книгами, он безудержно работал целыми днями, черпал в них поддержку и мужество, когда читал их. Здесь, в гуще жизни, правда, текшей размеренно и спокойно, он мог совершать быстрые, отчаянные вылазки в мир, возвращаться, устав от его суматохи и неистовства, в этот устроенный дом.

Вечерами он обедал с сильным аппетитом и жаждой, а потом ночами лежал в живительных объятиях своей красивой любовницы. Иногда среди ночи, когда мягко падающий снег заглушал все звуки, обособлял их от всех людей, они стояли в темноте, которую нарушало только мерцание догорающих углей за их спинами, глядя на преображающее мир медленное, волнующее падение белых снежинок.

Так, будучи любимым и обеспеченным, работая неизменно в обстановке уюта и доверия, он становился плюс ко всему и знаменитым. А если человек любим и знаменит, чего еще можно ему желать?

После успеха первой книги он путешествовал, а любовница оставалась неизменно верной ему, покуда он блуждал и странствовал по свету, словно призрак, приезжал никому не известным в какую-нибудь деревню в сумерках и находил там волоокую крестьянку. Ездил повсюду, видел все, ел, пил, ни в чем себе не отказывая, ежегодно возвращался, чтобы написать очередную книгу.

У него не бывало никакой собственности, кроме деревянного домика и тридцати акров леса возле озера в Мэне или Нью-Гемпшире. Машины он не держал – брал такси всякий раз, когда нужно было куда-то ехать. Его одеждой, стиркой, уходом за ним и, когда он жил в домике, стряпней занимался негр, тридцатипятилетний, черный, добродушный, преданный и чистый.

Когда ему самому исполнялось тридцать или тридцать пять лет, когда все безумство и неистовство угасало в нем или умерялось гульбой и кутежами, едой, питьем и распутством в странствиях по всему миру, он возвращался, чтобы постоянно жить с этой верной женщиной, которая становилась теперь полногрудой и преданной, как ждавшая Пера Гюнта Сольвейг.

И они из года в год проникали все глубже и глубже друг другу в душу; они знали друг друга лучше, чем хоть одна пара до них, и любили друг друга крепче. С возрастом они становились все моложе духом, торжествовали над усталостью, вялостью и пустотой. Когда ему исполнялось тридцать пять, он женился на ней, и у них рождалось два или три ребенка.

Его любовь закрывала его сердце непроницаемым щитом. Она бывала всей его любовью, всей страстью. Он торжествовал над неистовым сумбуром дней в целительные, бестревожные ночи: бывал выбившимся из сил, и его всегда ждало прибежище; усталым – место отдыха; печальным – место радости.

Вот так бывало с ним в том году, когда впервые и со всей мощью стихии неистовства, голода, жажды, исступленной надежды и отчаянного одиночества врывались безумием в святая святых его мозга. Вот так бывало с ним, когда он впервые вышел на бурные улицы жизни, человеческий атом, безмянный ноль, который в одно мгновение мог разукрасить свою жизнь

всем богатством и славой мира. Вот так бывало с ним в двадцать три года, когда он расхаживал по тротуарам большого города – нищим и королем.

Бывало ли с кем-нибудь по-другому?

Книга четвертая. Чудесный год

На последние из тех небольших денег, что унаследовал по смерти отца, Джордж Уэббер отправился в Европу. В неистовстве, в жажде, которые сорвали его с места, он верил, что под иными небесами душа его станет иной, что покой, мудрость, уверенность и могущество придут к нему в какой-нибудь другой стране. Но куда он странствовал по свету, неприкаянность постоянно иссушала его сердце, и однажды утром он проснулся на чужой земле с мыслью о доме, сознание отправилось в путь по улицам памяти, и внезапно он вновь ощутил давнее жгучее желание вернуться.

Так повлекло его за три моря, потом обратно. Он познал чужие страны, множество людей и явлений, жадно вбирал в себя дух новых жизней, новых городов, новых событий. Он работал, трудился, выбивался из сил, проклинал все на свете, распутничал, дрался, пил, путешествовал, истратил все деньги - а потом, желавший всего, бравшийся за многое, совершивший мало, возвратился, одержимый еще большим неистовым стремлением бросить вызов миру.

И в этом неистовстве души, в этом непрестанном безумстве плоти он всегда жил один, думал и чувствовал один среди всех людей на свете. В этих странствиях, в этом одиночестве он научился, полюбил не впускать в свою жизнь никого. Однако теперь наконец время для этого наступило.

17. СУДНО

Под конец одного из августовских дней 1925 года к побережью североамериканского континента приближалось судно на полной скорости – двадцать миль в час. Это был «Везувий» с водоизмещением в тридцать тысяч тонн, зарегистрированный в Италии, и то был его первый рейс.

Суда, как и молодые люди, охочи до славы; им хочется обрести известность сразу же, пройдя боевое крещение; они робки и отчаянны под холодным взглядом мира. А «Везувий» совершал испытательный пробег.

Возникали сомнения, что это громадное судно придет в порт по расписанию. Пять дней море колотило, дубасило его по обшивке, пять дней бушевало с той нескончаемостью, с той нарастающей свирепостью, которая говорит сокрушенному сердцу: «Я море. Я беспредельно и безгранично. И нет ни берега, ни гавани в конце пути. Это плавание никогда не окончится – нет конца изнурению, болезни, морю».

С тех пор как судно спокойно вышло из Неаполитанского залива, освещенного последними огнями Европы, ярко мерцающими по тем чудесным берегам, море изо дня в день наращивало свою мощь и волнение, покуда воспоминание о суше не стало таким дорогим и далеким, как, должно быть, воспоминание о жизни и телесной оболочке для духов. Нескончаемые валы из Лионского залива подхватили судно, когда оно обошло с юга Сардинию, и сильная качка не прекращалась до самого Гибралтара. Поздней ночью, когда судно на ровном киле проходило через пролив, наступила краткая передышка. Лежавшие на койках люди ощутили на минуту надежду и радость. Подумали: «Уже все? Море, наконец, успокоилось?». Однако вскоре у бортов снова предостерегающе зашипела пена, огромная волна нанесла сильный удар по корпусу, тонны воды обрушились на его маленькие иллюминаторы. Судно вздрогнуло, замерло на миг, покуда вода, пенясь, бурлила у его бортов, а потом медленно двинулось вперед, в бескрайнее бушующее пространство, величественно вздымаясь и опускаясь, словно горделиво гарцующая лошадь.

Тогда-то множество людей, лежавших в темном корпусе судна, впервые ощутило ужасную силу моря. Стройное судно, эластичное, как мышца бегуна, легко принаравливалось к нему, мягко поскрипывало, грациозно и мощно шло вперед, медленно вздымаясь и опускаясь вновь в его бурное лоно. Тогда-то многие лежавшие на койках люди впервые познали море: в том мраке оно мгновенно открылось им. Ни вообразить, ни забыть это ощущение невозможно. Оно дается сынам земли лишь раз, они хоть и находятся в темном трюме, осознают, что познакомились с морем. Ибо оно есть все, что не есть земля, и тут люди понимают, что земля им мать и друг; они чувствуют, как громадный корпус судна в темноте погружается в бурлящую пустоту, и мгновенно ощущают ужасную близость пучины под собой и безграничную, завывающую, переменчивую пустыню моря вокруг.

Огромное судно, словно под нажимом некоего гигантского небесного перста, погружалось и поднималось вновь в этой жи-вой, бессмертной среде, которая расступалась перед ним, но с какой-то полнейшей непринужденностью, без малейшего намека на поражение, свободно расступалось и свободно смыкалось вновь, невредимо, без утраты или перемены, с жутким равнодушием вечности. Громадное судно взлетало и падало по воле зловещих, неослабных волн, словно хрупкий, борющийся с ветром ялик. Люди чувствовали, что эти тридцать тысяч тонн стали болтаются под ними, будто веревка, внезапно этот огромный морской паровоз казался маленьким, сиротливым, и они проникались к нему нежностью и жалостью. К их ужасу перед океаном примешивались радость и гордость – это судно, выплавленное из стойкой тверди,

скованное и склепанное и точно сбалансированное чародейством человеческих рук и мозга, доставит их через ужасающее море к безопасности на далеких берегах.

Они поверили в это судно и внезапно полюбили его. Полюбили его хрупкую, податливую стойкость, его горделивое движение по волнам, напоминающее поступь гордой, красивой женщины. Полюбили спокойную песню, прекрасную музыку двигателя; среди завывающей безмерной пустыни океана оно казалось воплощением разума. Полюбили, потому что оно наполняло их сердца гордостью и торжеством: оно плыло по океану символом бессмертной доблести, непоколебимой и великолепной решимости маленького человека, столь великого, потому что он так мал, столь сильного, потому что так слаб, столь отважного, потому что так переполнен страхом. Человек – это крошечный огонек во мраке, это огарок незапамятных времен, который старается придать вечности целенаправленность, это скудельный сосуд, который будет использовать последнее дыхание своих легких, последнее биение сердца, дабы запустить ракеты к Сатурну, возвестить о своих замыслах рассеянными звездам. Люди мудры: они шлют, что их песенка спета, что все вместе они несчастны и обречены; они глядят на буйство бесконечных вод и понимают, что объяснения ему нет, что море само по себе цель и объяснение.

И они пролагают через него пути, создают в их конце гавани и прокладывают к ним курсы, они верят в существование иных земель и отправляются на их поиски, спускают на воду громадные суда, придают смысл бессмысленной пустыне. Их достижения – своего рода прихоть, в душе они забавляются своей мудростью, их чертежи, книги, сооружения, их нескончаемый, усердный труд напоминают собой забавы, так солдаты перед боем используют любую возможность покутить, пораспутничать и тоже не любят говорить о смерти или потерях.

Мозг, старый, проницательный, деятельный мозг, который задумал это судно, который, обладая безграничными познаниями о судах, предвидел его обводы, придал равновесие его корпусу, рассчитал его вес и десяток тысяч внутренних пропорций, принадлежал умирающему от рака старику. Острый разум, не сделавший ни единой ошибки в миллионе расчетов, человек, пожираемый болезнью, навсегда оторванный от путешествий, способный лишь неуверенно ходить по тихой комнатке в немецком городке, все же предвидел каждое движение этого судна по морю, видел громадные волны, бьющие его обшивку. Создавший судно блестящий мыслитель теперь сидел в кресле с пледом на коленях, ронял кашу из дряблого рта, плакал от старческой немощи, ворчливо придирался к детям и слугам, бывал доволен и счастлив, как младенец в минуты тепла и покоя, ходил под себя, был окончательно обессилен, лепетал о детстве в Силезии, о романе с толстой румяной официанткой в студенческие времена в Бонне.

И все же этот разлагающийся мозг сумел восстать из своего угасающего младенчества, обрести на время живость и проницательность, создать судно!

Судно являлось символом национальной гордости, громадной пантерой моря, горделивой быстрой кошкой Италии. Двигатели его, правда, были шведскими. Обшивку выковали из британской стали на Клайде. Надстройку сработали шотландцы. Спроектировал его немец. Трубопроводы были американскими. И все прочее – роскошная драпировка, стенные росписи, великолепная часовня, где служили святую мессу, китайский зал, где пили спиртное, ренессансный зал, где пили и курили, помпейский зал, где танцевали, английский ресторан, обшитый дубовыми панелями и увешанный спортивными эстампами, – являлось произведениями искусства многих народов, однако судно, бесспорно, было итальянским.

Судно было мощным. Капитан, команда и пассажиры ежедневно вели учет его свершений. Бурно радовались его скорости. Гордились его стойкостью. Наблюдали, как оно гордо вздымается на волнах в гармоничном ритме. Судно было их любовью, их радостью, они

обожали его. Члены командного состава расхаживали по его палубам, разговаривая негромкими возбужденными голосами. Иногда пассажиры видели, как они, жестикулируя, оживленно спорили, потом умолкали, вновь оглядывали судно и продолжали спор с еще большей горячностью и гордостью.

Судно стремительно шло вперед сквозь шторм, по-кошачьи подрагивая. Они наблюдали, как оно зарывается в огромные волны. Видели, как пенистый девятый вал перекачивается по его носу, обдавая палубы тучами хлещущих, словно плети, брызг.

Чувствовали, как судно замедляет ход перед тем, как зарыться, или поднимается с гордо задранном носом, с которого стекает вода. Потом тысяча тонн воды снова обрушивалась на обшивку, судно содрогалось, словно боксер от удара по корпусу, потом успокаивалось и вновь устремлялось в безбрежную сумятицу моря и неба, осаждавших его, словно воющий зверь. Не было расстояния, не было горизонта; была только завывающая сумятица неба и моря, в которой судно, словно некая враждебная ей сила, вело борьбу – в аду вод, которые бурлили, пенились, бросали его в глубокие впадины и жутко обрушивались на него с громадных высот, возносили на альпийские вершины волн, а затем со скоростью курьерского поезда опускались под ним, словно вселенная лишалась дна, и море устремлялось в пустоту. Вода была густой, зеленой, с шипящими пеленами пены, а в отдалении – серо-черной, холодной, зловещей, гребни волн взрывались бурлящей белизной. Тучи были густыми, серыми и мгlistо смыкались с морем в бурной, свирепой стихии.

По мере того как день шел за днем, буйство и ярость шторма нарастали, подгоняемое им судно ускоряло ход, великолепно выдерживая первое испытание, превосходя себя; подавленное, нервозное настроение комсостава сменилось откровенным ликованием. Среди членов его раздавались внезапные взрывы громкого смеха. На бурное море они стали смотреть с надменным равнодушием. Когда пассажиры спрашивали их о погоде, они притворялись спокойно-беззаботными: а, ничего особенного; слегка штормит, но хотелось бы настоящей бури, дабы судно могло показать, на что способно.

Это судно было последним из всех в вечных морях. Оно оставило веку в истории. Оно являлось наследником всех прочих судов, которые оставили след во времени, которые несли маленьких пылких людей и всю историю по водам – греков, финикийских торговцев, неистовых белокурых норвежцев с заплетенными в косы волосами, горячих испанцев, французов в пудренных париках и грубоватых англичан, шедших к чужим побережьям, чтобы высаживаться и покорять. Эти люди были владыками морей, они дали название смертных и мерки времени смертных вечному! Да! Они заставили громадные часы мелодично пробить над океаном; они захватили вечное море и установили на нем меру своих лет; они сказали: «В таком-то году мы сделали это море нашим, завладели им для нашего судна и нашей страны».

Это судно являлось воплощением времени и жизни на лоне океана. Если б из холодных морских пещер поднялись древние чудовища пучины, обросшие полипами змеи, женщины с хвостами вместо ног и водорослями вместо волос, то смогли бы постигнуть его время и предназначение. Судну это было безразлично, оно жило жизнью человека, а людей мало волнуют холодные существа из морских пещер. Что люди узнали за свои несколько миллионов лет о просторных, кишачих жизнью морских царствах или о земле помимо тех следов, которые оставили на ней сами?

Шторм достиг наивысшей ярости на исходе пятого дня и потом быстро утих. На другое утро солнце ярко светило с безоблачного неба, и громадное судно шло, легко покачиваясь. Незадолго до полудня курительная комната третьего класса была заполнена шумными игроками в карты, зрителями, любителями поболтать и выпить перед обедом. За одним из столиков в углу

читал письмо молодой человек. Содержание письма, очевидно, ему не понравилось, потому что он угрюмо нахмурился, внезапно бросил читать и раздраженно сунул письмо в карман. И все же, видимо, этот помятый лист бумаги обладал для него каким-то мрачным очарованием, так как он вскоре достал письмо снова, развернул и вновь принялся читать, на сей раз более внимательно, с какой-то сосредоточенной злостью, говорившей, что его прежнее настроение укрепилось духом резкого несогласия. И это проявление неприязненного чувства вдвойне бы заинтересовало наблюдателя, знай он, что местом, вызвавшим у читавшего наибольший гнев, было вроде бы совершенно безобидное замечание о цвете дерна.

Письмо было написано его дядей. А ставшая костью в горле фраза, к которой молодой человек возвращался снова и снова, гласила: «Ты прожил там год и уже должен бы понять, что деньги на кустах не растут. Так что если насмотрелся чужих земель, советую вернуться домой, где трава зеленая».

«Где трава зеленая». Эта пасторальная фраза со всеми ее скрытыми смыслами и причиняла боль молодому человеку. Лицо его омрачилось злобной иронией при мысли, что дядя вменил в достоинство американской траве то качество, которым по сравнению с европейской она обладает в меньшей степени.

Он понимал, что фраза эта иносказательная. Зелень травы была в ней метафоричной. И метаформа эта была не совсем пасторальной. Потому что в Америке – тут мысль его вновь окрасилась иронией – даже зелень травы оценивается в денежном выражении.

Вот это и причиняло ему боль. Задевало за живое.

И он сидел, угрюмо глядя на письмо, – молодой человек, плывущий по лишенному травы океану со скоростью двадцать миль в час, вызывающе настроенный, готовый вступить в ожесточенный спор из-за того, чья трава зеленая.

Юноша этот являлся если не типом и символом того времени, то его приметой. Он был холостым двадцатичетырехлетним американцем. И если не как миллионы соотечественников его возраста и положения, то уж наверняка как десятки тысяч, отправился в Европу на поиски Золотого Руна, а теперь, после года поисков, возвращался «домой». Этим и объяснялись хмурость, сжатые губы и презрительный взгляд.

Однако в душе наш презрительный герой отнюдь не был так самоуверен, так решителен, так тверд в своем надменном вызове, как могло показаться по его виду. Говоря по правде, он представлял собой угрюмое, одинокое, испуганное, несчастное молодое животное. Дядя в письме грубовато советовал ему вернуться «домой». Вот он и возвращался «домой», в том-то и была загвоздка. Потому что он внезапно осознал, что дома у него нет, что почти каждый его поступок с шестнадцатилетнего возраста являлся отрицанием того дома, который у него был, попыткой бежать, избавиться от него, начать новую жизнь. И теперь он понимал, что вернуться будет тем более невозможно.

Он знал, что родные озадачены его поведением сильнее, чем он сам. Как большинство американских семей их класса, они привыкли судить о поведении других исключительно по своим местным меркам. И по их критериям поведение его было несуразным. Поехал в Европу. С какой стати? Они удивились, слегка опешили, слегка обиделись. Никто из его родни никогда не «ездил в Европу». Ездить туда – тут уязвленная гордость подсказала ему слова для выражения их взглядов – хорошо тем, кто может себе это позволить. Хм! Им бы очень хотелось получить возможность смотаться в Европу этак на годик. Он что, вообразил себя – или их – миллионером? Молодой человек знал, что «поездка в Европу» была, на их взгляд, исключительной привилегией богачей. И хотя их возмутил бы любой намек, что они «хуже» кого бы то ни было, однако в соответствии с моральным комплексом Америки они безоговорочно признавали, что есть поступки, которые позволительно совершать богачу, но

непозволительно бедняку. Одним из таких поступков являлась «поездка в Европу».

Мысль, что родственники относятся к этому так, гнетущее, приводящее в ярость сознание, что веских доводов для возражений у него нет – есть только мучительное ощущение горечи и несправедливости, обостренное тем, что при убежденности в собственной «правоте», он не может найти никаких внятных доводов против косного мнения, – усиливали его мрачную надменность и озлобленность, мучительную ностальгию, вызванную больше чувством бесприютности, чем сознанием, что дом у него есть.

И в этом он тоже являлся знакомой приметой того времени: отчаянно тоскующий по дому странник, отчаянно возвращающийся в родной дом, которого у него нет, остриженный Ясон, все еще ищущий и неугомонный, возвращающийся с пустыми руками, без Золотого Руна. По прошествии лет легко высмеять безрассудство того паломничества, легко забыть героизм того поиска. Ибо поиск был проникнут духом Ясона, отмечен его решительностью.

Для этого юноши и для многих таких, как он, то была не просто беспечная, легкомысленная поездка, в каких богатые молодые люди искали развлечений и спасения от праздности. Не походила она и на экспедиции восемнадцатого века, прославленные «большие путешествия», в которых богачи завершали образование. Его паломничество было более суровым и сиротливым. Оно было задумано в исступлении неистовой и отчаянной надежды; было совершено в духе отчаянного приключения, фанатичного исследования, не имевшего иных ресурсов стойкости или убежденности, кроме сокровенной, почти необъяснимой веры. Даже Колумб не мог бросать вызов неведомому с такой отчаянной решимостью или с такой тайной надеждой, у него по крайней мере были общество необузданных авантюристов и поддержка имперских азартных игроков – у молодых людей ничего логического не было. К тому же, у Колумба был предлог отыскания северо-западного пути, и возвращался он с горстью чужой земли, с корнями и стеблями неведомых цветов в подтверждение того, что, возможно, за пределами обжитого полушария существует обетование нового рая.

А эти? Бедные, обездоленные эти – юные Колумбы нашего времени – столь беззащитные, одинокие, неразумные, лишенные возможности ответить на шпильки, презрение, суровые упреки родных, с легкостью отбросить насмешки – эта непонятная, неугомонная горстка людей, которая была столь неуверенна даже в собственных целях, столь дерзка в отчаянных надеждах, что не смела даже заикнуться о них, которая не находилась в ладу даже сама с собой, остерегалась из страха и гордости открываться даже близким друзьям, отправлялась поодиночке в хрупких скорлупках надежды сражаться с бушующим морем и в незнакомом мире делала вот какое потрясающее открытие: там, под сиинцовой пустотой чужих небес, ищешь свою Америку – и теряешь свой дом, затем возвращаешься, чтобы найти его, столь беззащитным, сиротливым, однако не совершенно отчаявшимся, по-прежнему лишенным возможности ответить, по-прежнему одиноким, по-прежнему ищущим – ищущим свой дом.

И все же не совершенно отчаявшимся. Не совершенно. Остриженный Ясон повернул обратно на запад. Молодой Колумб плыл обратно без единой золотой монеты в прохудившемся кармане, без хотя бы щепотки земли своей Америки. Он представлял собой жалкую фигуру. И все же – был не совершенно отчаявшимся.

Вскоре к молодому человеку за столиком присоединился мужчина; войдя в курительную комнату, он заговорил с ним, потом сел напротив и жестом подозвал стюарда. Пришедшему было лет тридцать или немного больше. Он был несколько приземистым, с рыжеватыми волосами и свежим румянцем, который хоть придавал ему вид человека, много бывающего на свежем воздухе, обнаруживал и следы употребления спиртного. Одет мужчина был хорошо, его ладно скроенный, даже шикарный костюм сидел с легкой небрежностью, которая достигается

долгой привычкой и мастерством самых дорогих портных. Принадлежал он к тому типу людей, который, пожалуй, лучше всего назвать «спортивным», типу, часто встречающемуся в Англии, главным интересом в жизни у которого является спорт – гольф, охота, верховая езда – и поглощение виски в больших количествах. По каким-то трудноуловимым признакам можно было безошибочно догадаться, что принадлежит он к американской ветви этого семейства. Его можно было принять за недавнего выпускника колледжа. Но не потому, что он старался выглядеть моложе своих лет. Собственно говоря, его рыжеватые волосы уже редели на темени, на макушке образовалась лысина, под пиджаком был уже даже не намек на брюшко, но, судя по всему, его это мало заботило. Дело заключалось только в том, что, отучась, по всей видимости, в колледже, он не приобрел степенности более зрелого, серьезного человека. Поэтому если и не был в прошлом студентом, то явно принадлежал к тому типу людей, к которым студенты зачастую тянутся. Глянув на него, можно было предположить, что он привычно и, возможно, бессознательно водит компанию с людьми несколько моложе себя – и предположение это оказалось бы верным.

Собственно говоря, Джим Племмонс относился к тем людям, которых постоянно можно встретить в окрестностях самых престижных университетов. Он был тридцати с небольшим лет – представителем одного из недавних студенческих поколений – и до сих пор поддерживал личные и деловые отношения со студентами. Обычно такие люди занимаются не особенно благовидными делами. В средствах изобретательны и неразборчивы. Они подвизываются в том или ином бизнесе как сверхштатные торговые агенты – ценность их для бизнеса, видимо, заключается в умении «налаживать контакты»: их личное обаяние, умение сходитьсь с людьми, знакомство со студентами и наиболее распространенными особенностями студенческой жизни надежно смазывают полозья коммерции маслом дружеских отношений. В этом качестве они служат в разнообразных сферах. Кто-то работает на модных портных или поставщиков мужской одежды. Кто-то продает автомобили, кто-то табак. Услугами Племмонса пользовалась фирма спортивных товаров.

Племмонс был искусен, как зачастую люди его типа, в искусстве «контачить» с очень богатыми людьми. У него были широкие знакомства среди пассажиров первого класса, и с самого начала рейса он значительную часть времени проводил «наверху». Джордж решил, что он только что спустился оттуда.

– А, ты здесь, – подойдя и плюхнувшись в кресло, сказал Племмонс с таким видом, будто обнаружил его случайно. Порылся в кармане, достал трубку с клеенчатым кисетом и, когда стюард подошел к столику, спросил Джорджа:

– Что будешь пить?

Джордж на миг задумался.

– Пожалуй, шотландское с содовой.

– Два, – лаконично произнес Племмонс, и стюард удалился.

– Я искал тебя на палубе, – обратился он к Джорджу, набив трубку и закурив. – Где ты был все утро? Я не видел тебя.

– Спал до одиннадцати. Только что поднялся.

– Жаль, – заметил Племмонс. – Я тебя искал. Думал, не откажешься пойти со мной.

– Куда? Где ты был?

– Сходил наверх, искупался.

Племмонс не уточнил, куда это «наверх». В этом не было нужды. «Наверх» означало в первый класс, и молодой человек на миг ощутил раздражение спокойной уверенностью, с которой тот пользовался всеми преимуществами богатства и роскоши, хотя платил только за скромные удобства бедных. Возможно, раздражение это было слегка окрашено завистью.

Потому что молодой человек уловил в Племмонсе способность чувствовать себя по-исюду, как рыба в воде, которой отнюдь не обладал сам, и хотя был почти уверен, что в жизни Племмонса было немало притворства, за которое наверняка иной раз приходилось расплачиваться чувством собственного достоинства, – он не раз оказывался под впечатлением той демонстрации непринужденных манер, той самоуверенности богача, перенять которые ему бы не позволили стеснение и гордость. Более того, к своей досаде, он иногда ловил себя на том, что подсознательно отзывается на небрежные манеры Племмонса – подыгрывает ему, изображает рубаху-парня, каким себя вовсе не чувствовал, и держится фальшиво, неестественно. И в основе поведения Племмонса – что по-настоящему возмущало Джорджа – лежало скрытое высокомерие.

Свое пребывание среди пассажиров третьего класса Племмонс рассматривал как своего рода веселую экспедицию в труппы. Но не давал понять, что считает себя в чем-то выше окружающих. Наоборот, старался понравиться всем. Был душой стола, за которым они оба сидели в столовой. Его искренняя приветливость покоряла всю группу, обыденную, привычную, составляли ее старый еврей, рабочий итальянец, немец мясник и маленькая англичанка из средних слоев общества, состоявшая в браке с американцем, – ничем не примечательный народ, люди, каких видишь повсюду, на улицах, в метро, плывущих на родину через океан в спартанских условиях, составляющие ту плотную ткань, в которой грубые нити этой огромной земли сплетаются воедино. От Племмонса все они, разумеется, были в восторге. Покуда он не приходил, за столом царил атмосфера ожидания: появлялся он, разумеется, на полчаса позже остальных, но его, видимо, ждали бы до конца обеда, такое удовольствие он им доставлял. Пожалуй, для всех них Племмонс являлся воплощением какой-то более устроенной, веселой, беспечной жизни – той, какую они хотели бы вести и сами, если бы имели возможность, если бы не бедность, семья, невысокие заработки. Он уже стал среди них некой полулегендарной фигурой – своеобразным типом беззаботного молодого богача, а если и не богача, то, что почти одно и то же, человека, который не отстает от молодых богачей, тратит деньги, как молодой богач, который до такой степени принадлежит далекому, очаровательному миру богачей, что ничем от них не отличается.

Не было ни малейшего сомнения в том, что он замечательный человек, щедрый, приветливый, демократичный – совсем такой, «как мы» – и вместе с тем, как сразу видно, джентльмен. Поэтому нет ничего удивительного, что та скромная, простоватая компания за обеденным столом всегда ждала его с нетерпением, с удовольствием и восторгом – постоянно с радостью предвкушала появление Племмонса, опоздавшего на полчаса, но успевшего выпить четыре добрые порции виски. Они не хотели бы разойтись без него ни за что на свете: при его приближении все за столом улыбались. Он излучал столько теплой сердечности, столько веселой непринужденности, столько беззаботной, приятной слегка хмельной жизнерадостности.

Но теперь, несмотря на все эти привлекательные качества – а может, именно из-за них – Джордж ощутил вспышку возмущения, его кольнуло сознание, что приветливая «демократичность» его собеседника, которую большинство этих простых людей находило столь очаровательной, которой, к собственной досаде, он поддавался и сам, была в сущности поддельной, притворной, и нее проявления якобы искренней приязни, подлинного уважения к людям по сути дела были низким потаканием сноба собственным капризам.

Однако Джордж ощутил и приятную теплоту в убедительном обаянии этого человека, когда Племмонс набил трубку, зажег ее, с удовольствием затянулся и небрежно спросил:

– Что делаешь вечером?

– Собственно...- пришедший в недоумение Джордж на миг задумался, – ничего вроде бы... Хотя, – он слегка улыбнулся, – должен состояться концерт, так ведь? Наверное, пойду туда. Ты

пойдешь?

– Угу. – Племмонс сделал несколько сильных затяжек, чтобы трубка разгорелась, как следует. – Собственно, – продолжал он, – об этом я и пришел поговорить. Один будешь?

– Да, конечно. А что?

– Видишь ли, – заговорил Племмонс, – я только что спустился из первого класса. У меня там есть две знакомые. – Он помолчал, попыхивая трубкой, потом с приятной улыбкой на румянном лице и с блеском в глазах глянул на молодого человека и издал негромкий смешок. – Позволю себе сказать – две в высшей степени красивые, очаровательные дамы. Я рассказывал им о тебе, – вдаваться в объяснения он не стал, хотя Джорджу стало любопытно, что мог этот человек рассказать о нем интересного двум совершенно незнакомым дамам, – они очень хотят с тобой познакомиться.

И вновь не стал давать объяснений этому возбуждающе загадочному желанию, но, словно бы ощутив быстрый вопрошающий взгляд собеседника, торопливо продолжал:

– Вечером я собираюсь подняться туда снова, увидеться с ними. Я говорил им о концерте, обо всех людях, и они сказали, что хотели бы спуститься сюда. И я подумал, что если ты ничем не занят, то, может, не откажешься пойти со мной.

Произнес он это быстро и очень небрежно. Но затем, чуть помолчав, обратил на Джорджа серьезный взгляд и с ноткой отеческой любезности в голосе негромко заговорил:

– На твоём месте я бы пошел. В конце концов, если собираешься писать, тебе нелишним будет завести знакомства. А одна из этих женщин сама очень утонченная и талантливая, увлечена театром и знает в Нью-Йорке всевозможных людей, которые могут тебе пригодиться. Советую познакомиться с ней, потолковать. Что скажешь?

– Разумеется, – ответил Джордж и тут же ощутил дрожь волнения и радости, по-мальчишески живое воображение стало рисовать ему яркие портреты двух прекрасных незнакомок, с которыми вечером он познакомится. – Буду очень рад. Спасибо, что пригласил.

Сознавая искреннюю доброту этого поступка, он преисполнился к Племмонсу чувством приязни и признательности.

– Хорошо, – быстро произнес Племмонс с удовлетворенным видом. – После обеда пойдем наверх. Переодеваться не нужно, – торопливо, словно желая успокоить Джорджа, сказал он. – Я этого делать не собираюсь. Иди, в чем есть.

Раздался гонг, возвещающий начало второго завтрака, шумные группы людей за столиками стали подниматься и выходить. Племмонс поднял руку и жестом позвал стюарда:

– Еще два.

Вскоре после половины девятого Джордж с Племмонсом совершили дерзкий поход «наверх». Пересечь волшебную границу оказалось очень просто: потребовалось лишь подняться по трапу на верхнюю палубу, перескочить через запертые воротца и толкнуться в дверь, которая, как Племмонс уже знал по прежним походам, не запиралась. Дверь подалась сразу же, оба молодых человека быстро шагнули в нее и оказались, по крайней мере младший из них, в ином мире.

Переход этот был мгновенным и ошеломляющим. Даже Алиса, проникнув чудесным образом сквозь зеркало, не нашла перемену более поразительной. Оба мира состояли главным образом из стали и дерева. Разница заключалась в размерах. Исследователю из другого мира показалось, что все чудесным образом увеличилось. Джордж сразу же испытал чувство потрясающего освобождения – чувство побега из многолюдного, замкнутого, шумного и тесного мира в мир, который открывался почти бесконечным зрелищем простора, ширины, расстояния и свободы. Молодые люди оказались на одной из палуб громадного лайнера, но у Джорджа

создалось впечатление, что они вдруг вышли на широкую, бесконечную улицу. Там было почти совсем тихо, но чувствовалась какая-то мощная кипучая энергия. После ярости шторма и непрерывной, раздражающей вибрации внизу верхний мир казался твердым, неподвижным, как городская улица. Вибрации там почти не было, движение судна не ощущалось.

Ощущение простора, тишины, таинственной, загадочной энергии усиливалось почти безлюдным видом палуб. Далеко от них одетые по-вечернему мужчина и женщина медленно прогуливались под руку. И зрелище этих двух далеких фигур, их медленное, грациозное покачивание, атласная гладкость красивой женской спины придавали всей сцене дух богатства, роскоши, изящества, какой не могло придать больше ничто на свете. Мальчик-рассыльный с румяными щеками, сияющими над двумя рядами медных пуговиц на куртке, быстро прошел, свернул в какую-то дверь и скрылся. Быстро прошагал мимо молодой моряк в заломленной набок фуражке, но казалось, никто не замечал пришельцев.

Племмонс шел впереди, они прошли по палубе и свернули в дверь, ведущую в другой мир тишины, в громадный коридор, отделанный полированным деревом. Здесь опытный гид быстро нашел еще один трап, ведущий на верхнюю палубу, и они вышли на другой променад, еще более поражающий простором, шириной, красотой и роскошью, чем нижний. Этот променад был застеклен, что усиливало впечатление его богатства. Здесь было больше прогуливающихся мужчин в черных костюмах с белыми манишками и женщин с обнаженными жемчужного цвета плечами. Однако людей было немного – несколько пар совершало большую прогулку по палубе, еще несколько сидело, развалясь в креслах. Вдоль палубы тянулись широкие окна, сквозь них были видны интерьеры громадных помещений – огромных комнат отдыха, салонов, кафе, величиной как те, что в больших отелях, таких же солидных, таких же роскошных.

Племмонс быстро, уверенно повел Джорджа в сторону кормы, нашел еще один трап, быстро поднялся и тут же направился в похожее на веранду кафе, с крышей, но без торцовой стены, оттуда была ясно видна широкая кильватерная струя судна. Здесь они сели за столик и заказали выпивку.

На вопрос Племмонса стюард ответил, что большинство пассажиров еще обедает. Племмонс быстро написал записку и отправил с рассыльным. Рассыльный вернулся с сообщением, что эти дамы еще не встали из-за стола, но вскоре присоединятся к ним.

Молодые люди потягивали свои напитки. Незадолго до девяти часов они услышали приближающиеся шаги. Племмонс быстро оглянулся и встал.

– О, привет, Лили, – сказал он. – А где миссис Джек?

Затем представил их друг другу с Джорджем. Молодая женщина холодно пожала Джорджу руку и вновь повернулась к Племмонсу. Ей было лет тридцать или чуть больше, она обладала ошеломительной, даже устрашающей внешностью. Красивой ее сочли бы, пожалуй, немногие, однако все наверняка бы признали поразительно импозантной. Она была высоковата для женщины, с большими руками и ногами, с крупными формами. Едва ли не грузной, однако солидность ее причудливо сочеталась с почти хрупким изяществом. Пожимая ей руку, Джордж обратил внимание, что кисть руки у нее крохотная, тонкая, чуть ли не как у маленькой девочки, и в манерах ее, чуть ли не отталкивающе угрюмых и холодных, заметил нечто робкое, почти застенчивое и испуганное. У нее было сумрачное, славянское лицо и сумрачная грива черных волос, придающая всей голове какой-то недобрый, дикий, грозный вид. Голос у нее был мелодичным, но в нем слышалась нотка недовольства, словно ее раздражало почти все – скучные люди, с которыми она знакомилась, их скучные разговоры, усталость и раздражение от всех и вся. К тому же, он был весьма манерным, по акценту можно было предположить, что она жила в Англии и переняла английские особенности речи.

Пока она разговаривала с Племмонсом мелодичным, манерным, слегка угрюмым голосом, в

проходе снова послышались шаги, на сей раз более быстрые, частые, торопливые. Все повернулись, Лили сказала: «Вот и Эстер». Вошла еще одна женщина.

Первым впечатлением Джорджа было, что она среднего возраста, небольшая, бодрая, с очень свежим, румяным, дышащим здоровьем лицом. В тот миг он, видимо, мысленно охарактеризовал ее: «Миловидная» – и этим ограничился. Очевидно, такое же впечатление она производила на большинство людей, которые нидели ее впервые или встречали на улице. Ее маленькая, аккуратная фигурка, быстрые шаги, общее впечатление здоровья и бодрости, маленькое, румяное, добродушное лицо пробудили бы у каждого симпатию, интерес – и только. Большинство мужчин приятно оживилось бы при встрече с ней, но мало бы кто на нее оглянулся.

При виде их она, хоть и знала, что ее ждут, удивилась и даже слегка опешила. Остановилась и воскликнула:

– О, привет, мистер Племмонс. Я вас не заставила дожидаться, а?

Сказано это было быстро, даже взволнованно. На свои слова она явно не ждала ответа, скорее, они были невольным проявлением ее склонности волноваться и удивляться.

Племмонс представил их с Джорджем друг другу. Женщина повернулась к Джорджу и, дружелюбно взглянув на него, обменялась с ним крепким, непродолжительным рукопожатием. Потом сразу же обратилась к Племмонсу:

– Ну что, поведете нас вниз на представление, а?

Племмонс слегка раскраснелся от выпитого и был в приподнятом настроении. Он ответил с добродушной шутливостью:

– Значит, вправду хотите поглядеть, как живет другая половина?

И, глянув на нее, засмеялся.

Видимо, она не поняла его и повторила:

– - А?

– Послушайте, – сказал он, на сей раз с легкой язвительностью, – думаете, сможете высидеть там среди нас, иммигрантов?

Ответ ее был очень быстрым, непосредственным, очаровательным. Она пожала плечами и выставила руки ладонями вперед в шутливом протесте, сказав при этом с комичной серьезностью:

– А пошему нед? Расфе я шама не имми-грантка?

Слова эти сами по себе не были ни смешными, ни остроумными, однако импровизация ее была такой быстрой и естественной, что произвела неотразимое впечатление. Она мгновенно поняла свою роль и сразу вошла в нее, полностью, словно увлеченный своим притворством ребенок, а потом так восхитилась собственным лицедейством, что затряслась от хохота, приложила ко рту платок, негромко выкрикнула, словно отвечая на какой-то невысказанный укор: «Знаю, но ведь *было* смешно, разве нет?» – и снова задрожала от смеха. Все это было так забавно, что молодые люди заулыбались, и даже угрюмое, недовольное лицо ошеломительной выходящей женщины озарилось невольной улыбкой, она укоризненным тоном сказала: «Эстер, право же, ты совершенно...» – и, не договорив, беспомощно пожала плечами.

Что до Племмонса, он тоже рассмеялся, а потом примирительно сказал:

– Ладно, думаю, после этого нам всем следует выпить.

И все они, приятно оживленные, сближенные быстрым, естественным проявлением непринужденного юмора этой женщины, сели за один из столиков.

С того вечера Джордж был уже не способен видеть Эстер в подлинном свете, такой, как, должно быть, видели ее другие, даже такой, как увидел ее в первый миг. Не способен был видеть в ней полноватую женщину среднего возраста, создание с приветливым, веселым личиком, с

кипучей, неукротимой энергией, пронизательное, очень талантливое и деятельное, способное стойко держаться в мужском мире. Все это он разузнал о ней впоследствии, однако этот портрет, по которому мир, пожалуй, лучше всего знал ее, для него не существовал.

Она превратилась в прекраснейшую женщину, какая только жила на свете – притом не в каком-то идеальном или символическом смысле, а во всей яркой, буквальной, безумной конкретности его воображения. Превратилась в создание несравненной красоты, мерило для всех других женщин, с образом которого он будет годами ходить по многолюдным нью-йоркским улицам, вглядываться в лицо каждой встречной женщины с отвращением и бормотать:

– Нет – нехороша. Дурна... груба... тоща... безжизненна. На свете не существует подобных ей – сравниться с нею не может никто!

Огромное судно пришло наконец в порт, и четыреста человек, неделю проведенных на нем в пустынной безжизненности моря, сошли на берег, вновь оказались на земле, среди людей; громкий шум города, его могучих машин, с помощью которых человек стремится забыть о своих тщете и недолговечности, утешительно раздавался вокруг них.

Они смешались с толпой, рассеялись в ней. Жизни их пошли своими извилистыми путями. Они петляли среди множества одиночек и сонмищ – одни к своим жилищам в этом городе, другие по широкой сети железных дорог в иные места.

Все пошли своим путем навстречу своей участи. Все вновь затерялись на огромной земле. Но, как знать, обрел ли на ней кто-нибудь радость или мудрость?

18. ПИСЬМО

В совокупности причин, приведших Джорджа обратно в Америку, одна была весьма удручающей. Он истратил все деньги, и ему теперь предстояло зарабатывать на жизнь. Эта проблема причиняла ему немало беспокойства в течение проведенного за границей года. Он не знал, на что годится, разве что к преподаванию, и хотел, если удастся, остаться в Нью-Йорке. Поэтому подал заявление и представил документы в одно из больших учебных заведений города. Было много переписки, несколько друзей хлопотали за него, и незадолго до отплытия в Европу он получил уведомление, что на работу принят. Школа прикладных искусств находилась в центре города, и Джордж, сойдя с судна, снял комнату в одном из небольших отелей поблизости от нее. Потом с приятным сознанием, что наконец «встал на ноги», поехал в Либия-хилл, пока не начались занятия, засвидетельствовать свое почтение тете Мэй и дяде Марку.

Когда после этого краткого визита Джордж вернулся в Нью-Йорк, город показался ему пустынным. Он не видел никого из шакомах, и радость возвращения почти сразу же сменилась старым неотступным чувством бездомности, погони за несуществующим. Это чувство, наверное, знакомо каждому, кто возвращался в Нью-Йорк после долгого отсутствия; оно до того властное и характерное для этого города, что люди испытывают его даже после отъезда на месяц.

И, пожалуй, именно эта особенность делает жизнь в Нью-Йорке такой замечательной и кошмарной. Это приют, в котором как нигде на свете чувствуешь себя бесприютным. Это громадный заезжий дом. Потому-то он такой странный, такой жестокий, такой нежный, такой прекрасный. Нью-йоркцем становишься сразу же, пять минут в нем – словно пять лет, и принадлежит эта многолюдная твердыня не тому, кто умер в среду – о нем, увы, уже забыли, – но тому, кто приехал в город прошлой ночью.

Это очень жестокий, очень любящий друг. Он многим дает возможность бежать из маленьких городков от нетерпимости и убожества захолустного прозябания, одаривает их щедростью своей сверкающей, необузданной жизни, теплом убежища, надеждой, захватывающим вдохновением своих бесчисленных перспектив. И тут же предает забвению. Он говорит им: «Я перед вами, я ваш; берите меня, используйте, как угодно; будьте молодыми, гордыми, красивыми в своем юношеском могуществе». И в то же время предупреждает, что здесь они будут ничем, не более чем пылинками; что они могут приезжать, потеть, надрываться, вливать в водоворот городской жизни все свои надежды, горе, боль, радость и страсть, какие только может ведать юность, какие только может вместить в себя отдельная жизнь, и жить здесь, умереть, подвергнуться быстрым похоронам и тут же оказаться забытыми, не оставить даже следа своей ноги на этих людных тротуарах в знак того, что пылающий метеор перестал существовать.

Здесь-то и кроются очарование, тайна и чудо этого бессмертного города. Он предлагает все и вместе с тем ничего. Дает приют каждому, кто является величайшим средоточием бесприютности на земле. Привлекает все человеческие капли к полному сокрытию в своих нескончаемых волнах и, однако же, дает каждому перспективу моря.

Все это сразу же вернулось к Джорджу, ужаснуло и очаровало его. Если не считать нескольких небрежных кивков, нескольких слов, произнесенных в полудружеских приветствиях, нескольких знакомых лиц, все было так, словно он и не жил здесь, не провел двух лет своей юности, своей пылкости, необузданности, приверженности в ячейках этого чудовищного медового сота. Его ошеломленный разум восхвалял этот город, и слова отдавались

эхом в его ушах: «Я был в отъезде – и вот снова дома».

В течение двух недель, проведенных в Либия-хилле, Джордж ловил себя на том, что много думает об Эстер – гораздо больше, чем хотел бы себе в этом признаться. Возвратясь в Нью-Йорк, он спросил у портье отеля, нет ли ему письма, и ощутил сокрушительное разочарование, когда услышал, что писем не было. Это чувство, столь ошеломляющее, что целый час он не находил себе места, сменилось жгучим презрением и заносчивостью – естественной реакцией юности на разочарованность, к которой привели романтическая надежда и уязвленная гордость. Он злобно сказал себе, что черт с ним. И усиленно старался смотреть на все произошедшее как можно циничнее: это приключение, говорил он себе, просто-напросто обычная забава богатой женщины с любовником в путешествии, где все шито-крыто. Теперь, возвратясь домой, она снова зажила безупречно респектабельной жизнью с семьей, мужем, друзьями и будет паинькой еще год, пока не отправится в новое путешествие. Там наверняка будут интрижки, распутство, целая череда новых любовников.

Жестоко, болезненно задетый за живое Джордж сказал себе, что знал это наперед, что ничего другого и не ждал. Терзаясь муками уязвленной гордости и униженности от сознания, как глубоко затронуты его чувства, как надеялся на другой исход событий, он пытался убедить себя, что спокойно, хладнокровно воспринимал свои отношения с ней с самого начала – что получал свое удовольствие, как и она свое, что теперь все кончено, как он и предвидел, что жалеть ему не о чем.

С этим твердым решением Джордж погрузился в работу и старался забыть обо всей истории. В течение нескольких дней ему это почти удавалось. Начался семестр, приходилось знакомиться со студентами, узнавать новые фамилии, запоминать новые лица, планировать свою программу новой работы, и на какое-то время Эстер оказалась погребенной подо всем этим в его разуме. Но она вернулась. Джордж гнал ее, но понял, что не может изгнать эту женщину из своей жизни, как и память из крови. Она возвращалась непрестанно – воспоминанием о ее цветущем лице, веселом взгляде, голосе, смехе, проворных движениях ее маленькой, дышащей бодростью фигурки, всей памятью об их последней ночи на судне с объятиями в полузабытьи – все это, возвращаясь, тревожило его разум, горело в памяти с нестерпимой яркостью наваждения. Невыносимость этих воспоминаний обостряли их поразительная явственность и сводящее с ума чувство, что все это происходило в ином мире – утраченном навсегда. В незабываемом мире между континентами, в странном и роковом космосе судна. И Джорджа ошеломляло, бесило сознание, что мир со всей его красотой, прелестью, невероятной реальностью утрачен для него навеки, лопнул, словно пузырь, от соприкосновения с землей; и отныне – со всей огромной привлекательностью, манящей и недоступной, так как реальность его стала более странной, эфемерной, чем сновидение – должен вечно жить недосыгаемым в его сердце, жечь, терзать, мучить.

Раз так, надо было его забыть. Но Джордж не мог. Тот мир постоянно возвращался вместе с тем цветущим лицом и не давал ему покоя.

Кончилось все тем, что однажды вечером он сел и написал ей письмо. Высокопарное, глупое, тщеславное, какие выходят из-под пера молодых людей, они считают эти письма превосходными, когда пишут, а потом, вспоминая о них, терзаются от стыда. Вместо того чтобы сказать женщине правду, что думает о ней, скучает и очень хочет увидеться снова, он ударился в амбицию, и его понесло.

«Уважаемая миссис Джек, – начал Джордж (он чуть было не написал «Уважаемая мадам»), – не знаю, помните ли вы меня, – хотя знал, что помнит. – Мне довелось испытать такое на жизненном пути. – Ему понравилось выражение «довелось испытать», в нем звучали зрелая весомость и спокойное понимание, которые он счел весьма впечатляющими, но все же

вычеркнул слова «на жизненном пути» как избитые и, пожалуй, сентиментальные. – Кажется, вы говорили о новой встрече. Если все-таки вспомните меня и когда-нибудь захотите увидеть, живу я в этом отеле.- Джордж подумал, что написано удачно: его гордости слегка льстило, что он милостиво дарует привилегию женщине, которая чуть ли не требовала новой встречи с ним. – Однако если такого желания у вас не возникнет, ничего; в конце концов, мы случайно познакомились в путешествии, а такие знакомства забываются... В жизни, проведенной большей частью в одиночестве, я научился не ожидать и не просить ничего... Мало ли что мир может сказать обо мне, но я никогда не раболепствовал перед толпой, не гнул колени, дабы польстить тщеславию богатых бездельников». Трудно сказать, какое отношение это имело к его желанию снова увидеться с женщиной, но Джордж считал, что в этих словах слышится прекрасная, звучная нота гордой независимости – особенно в «не раболепствовал перед толпой» – и поэтому их оставил. Однако выражение «не гнул колени, дабы польстить тщеславию богатых бездельников» показалось ему грубоватым и резким, поэтому он смягчил его – «дабы польстить чьему бы то ни было тщеславию».

Когда Джордж завершил этот шедевр барабанной риторики, в нем оказалось семнадцать страниц. Перечитывая его, молодой человек испытывал смутное, но сильное сожаление и недовольство. Небрежно уведомить женщину, что милостиво соизволит встретиться с нею, если она того захочет, а если нет, для него это ни малейшего значения не имеет, было замечательно. Но он понимал, что семнадцать страниц для выражения небрежного безразличия многовато. Письмом Джордж явно остался недоволен, так как переписал его несколько раз, то и дело вычеркивая фразы, сокращая, смягчая наиболее язвительные резкости, стараясь придать ему тон непринужденной учтивости. Однако лучшим, чего он в конце концов смог достичь, оказалось послание на одиннадцати страницах, по-прежнему довольно заносчивое, угрюмо декларирующее его решимость «не раболепствовать», правда, по тону более умиротворенное. Джордж вложил его в конверт, написал адрес, стал опускать в почтовый ящик – отдернул, стал опускать снова – опять отдернул, кончилось тем, что он раздраженно спрятал письмо во внутренний карман пиджака и носил там несколько дней, отчего оно испачкалось, истрепалось, а потом в приступе яростного презрения к себе однажды вечером сунул письмо в почтовый ящик и захлопнул крышку. После ее рокового, фатального лязга Джордж понял, что свалил дурака, и понуро задумался, чего ради состряпал эту безвкусную, претенциозную фанфаронаду, когда в письме нужны были только простые слова. И тут его сокрушенный разум сосредоточился на мучительной загадке – почему он делал то же самое в письмах родным и друзьям, и как может человек чувствовать так искренне, а писать так притворно. У него упало сердце при мысли, что он часто изменял себе таким образом, и винить в этом, кроме себя, некого. Но такова есть юность. А он был юным.

19. ПОЕЗДКА

Телефон зазвонил на другое утро, пока Джордж еще спал. Он пробудился, вяло потянулся к аппарату и, когда сознание стало проясняться, крикнул с недовольством человека, совершившего накануне вечером нечто такое, о чем хотелось бы забыть и о чем вскоре придется непременно вспомнить. А в следующий миг сел, напрягся, как струна, и наострил слух – в трубке звучал голос Эстер:

– Алло!.. Алло!

Несмотря на радостное возбуждение, Джордж ощутил легкое разочарование и горечь. Голос Эстер по телефону казался более резким, чем ему помнилось. Он понял, что голос этот «городской» – слегка надтреснутый, беспокойный, чуточку визгливый.

– О, – произнесла Эстер потише, когда убедилась, что Джордж слушает. – Привет... Как поживаешь?

Теперь голос звучал слегка нервозно, с неловкостью, словно какое-то воспоминание об их последней встрече смутило ее. – Получила твое письмо, – продолжала Эстер торопливо и чуть неуверенно. – Обрадовалась... Послушай, – отрывисто заговорила она после небольшой паузы. – Хочешь посмотреть спектакль сегодня вечером?

Эти дружелюбные слова подбодрили его, успокоили, но и вызвали опять смутное чувство разочарования. Джордж сам толком не понимал, отчего, но, видимо, он ждал чего-то более «романтичного». Довольно резкий голос, чувство неловкости, напряженности и обыденное «Хочешь посмотреть спектакль сегодня вечером?» оказались совершенно не тем, чего он ждал.

Но тем не менее Джордж был очень рад ее звонку и пробормотал, что да, конечно, хотел бы.

– Ну и отлично, – торопливо подвела черту Эстер с едва заметным облегчением. – Знаешь, где находится театр?.. Знаешь, как добраться туда, а? – И не дав ему возможности ответить, стала объяснять, давать указания. – Встречу тебя там в двадцать ми-пут девятого... С билетом... Увидимся перед театром...

Затем быстро повторила указания, и пока он неуверенно бормотал слова благодарности, сказала быстро, нервозно, нетерпеливо, словно желая завершить разговор на этом:

– Ладно... Договорились... Буду ждать... Приятно будет увидеться снова.

И поспешила повесить трубку.

Тот день навсегда запечатлелся в памяти Джорджа как разделенный на два периода – раннее утро и вечер. Что происходило к промежутке между ними, он впоследствии совершенно не помнил. Надо полагать, встал, оделся и отправился по делам. Провел занятия со студентами, прошагал среди множества других людей по бесконечным улицам – но все эти поступки, звуки, перемены освещения и погоды, лица исчезли впоследствии из его памяти напрочь.

Как ни странно, потом он вспоминал с резкой, навязчивой яркостью подробности поездки, которую предпринял в тот вечер, отправляясь на свидание.

Театр, один из тех маленьких театров, что были основаны как своего рода благотворительные учреждения, придатки к «местной работе» среди «неимущих классов», существовал главным образом на пожертвования богатых женщин и в последние годы широко прославился. Поначалу, вне всякого сомнения, цели его были в основном гуманитарными. То есть несколько чувствительных дам объединились в своего рода культурную федерацию, девизом которой вполне могло быть «Они должны есть пирожное». На открытии его было, видимо, немало высокопарного суесловия о «привнесении красоты в их жизнь»,

облагораживании масс Ист-Сайда через балет, «искусстве танца», «театре идей» и прочего старого невротического чистого эстетизма, который портил театр того времени.

Однако с годами упования эти претерпели странное, курьезное преобразование. Идеалы остались в основном прежними, но публика стала другой. Самая значительная часть зрителей, заполнявших маленький театр по вечерам, была действительно из Ист-Сайда, но Ист-Сайд перестал быть окраиной, и борющиеся массы вели свое происхождение из фешенебельных многоквартирных домов этого района. Зрители приезжали в сверкающих автомобилях, демонстрируя обнаженные спины и манишки. И хотя массы продолжали бороться, их борьба в основном ограничивалась тем, чтобы попасть в разряд: «Шесть билетов на сегодняшний вечер в партер, если они есть у вас, – а говорит с вами мистер Масена Готро».

Да, театр перестал быть окраинным, хотя оставался на прежнем месте. Он стал модным и процветал. Разумеется, по-прежнему «облагораживал нравы», но с оглядкой на чопорную публику. А чопорная публика проявляла готовность – нет, стремилась – к оглядке на себя. И в самом деле, успех маленького театра в последние год-другой был столь велик, что теперь находился в том безбедном положении, какого достигает Ее Милость Блудница, когда дела у нее идут хорошо, – она может быть разборчивой, назначать свою цену и откровенно насмехаться над своими жертвами, даже беря у них деньги – то есть, несмотря на все свои претензии, культурные программы, «смелые эксперименты» и все такое прочее, Раскрашенная Потаскуха крепко сидела в седле, в театре, и, судя по всему, не собиралась его покидать. Потому что Мода щелкнула кнутом и предписала, чтобы поездки в южный Ист-Сайд были не только в порядке вещей, но обязательными; теперь уже не могло быть застольного разговора без упоминания о нем.

Однако поездка в южную часть Ист-Сайда всегда бывала необычайно запоминающимся, волнующим событием, и Джордж по пути туда к назначенному времени ощущал это сильнее, чем когда бы то ни было. Ист-Сайд всегда представлялся ему, он сам не знал, отчего, подлинным Нью-Йорком, несмотря на всю его бедность, убожество, тесноту и многолюдье, самой сущностью Нью-Йорка; безусловно, самым увлекательным, самым волнующим, самым колоритным Нью-Йорком, какой он знал. И в тот вечер захватывающая подлинность, жизненность Ист-Сайда открылась ему, как никогда раньше. Такси пронеслось вдоль почти безлюдных тротуаров южной части Бродвея, на перекрестке свернуло на восток, а потом на Второй авеню снова на юг. Тут создавалось впечатление, что въезжаешь в другой мир. Улица эта именовалась у жителей города «маленьким Бродвеем» – «Бродвеем всего Ист-Сайда». Джорджу это казалось несправедливым. Если это и Бродвей, думал он, то лучший – Бродвей с теплотой жизни, с чувством общности, Бродвей более сильной и стойкой человечности.

Именно это достоинство делает южный Ист-Сайд столь замечательным, и в тот вечер Джордж впервые оказался способен дать ему определение. Он внезапно понял, что из всех районов города это единственный, где люди кажутся неразрывно связанными с ним, где они «у себя». А если и не единственный, то наверняка в этом отношении первый. Огромные оранжево-розовые многоквартирные дома в фешенебельных районах лишены человечности. При взгляде на них – на утесы-стены Парк-авеню, нескончаемый поток машин, безвкусную буржуазную броскость громадных фасадов вдоль Риверсайд-драйв – возникает чувство отчаяния. Они западают в душу холодным олицетворением жестокого мира – мира оторванных от почвы людей, мира лощеных прихвостней, грубо отшлифованных, отлакированных на один лад, людей, приехавших Бог весть откуда, зачастую это скрывающих, и уходящих Бог весть куда – подобно сыплющимся на тротуар зернышкам риса, сухой листве, гонимой ветром по пустым дорогам, горстке брошенных о стену камешков. Называйте такой район как угодно, но это не Дом.

Дом! Именно это слово нужно было Джорджу, и теперь оно, единственное, простое, придало определенность витающему в его мыслях образу. Ист-Сайд – это Дом, и потому он такой замечательный. Дом, где люди рождаются, живут, трудятся, страдают и умирают. Видит Бог, отнюдь не отраднй, приветливый, удобный для жизни. В этом Доме есть преступность и нищета, убожество и болезни, насилие и грязь, ненависть и страдания, убийства и гнет. Это Дом, куда правители Обетованной Земли согнали множество угнетенных, обездоленных, измученных, спасающихся, привлеченных сюда надеждой избавиться от жестокой нужды, и поселили их там, эксплуатировали, обманывали, перегоняли их кровь в звонкую монету барышей, вынуждали своих собратьев есть горький хлеб и обитать в непригодных даже для свиней жилищах.

И что же Ист-Сайд? Оказался ли сломлен этим кровавым трудом? Исчезла ли вся жизнь из Ист-Сайда? Сокрушен ли Ист-Сайд совершенно? Нет – ибо Джордж неожиданно поглядел, впервые «увидел Ист-Сайд», и понял, что душа Ист-Сайда неодолима; и что по какой-то непостижимой иронии судьбы владыки Ист-Сайда ослабли от накопленного за чужой счет жира, а Ист-Сайд стал сильнее от каждой капли пролитой им крови.

Казалось, что каждая капля крови, пролитая в Ист-Сайде, каждая капля пота, каждый стон, каждый шаг по каждому тяжкому пути, весь огромный, невыносимый компост нищеты, насилия, непосильной работы и людского горя – да, и каждый возглас, раздавшийся в Ист-Сайде, на его людных улицах, каждый взрыв смеха, каждая улыбка, каждая песня – все громадное содружество нужды, тягот, бедности, которое соединяет своими живыми нервами всех обездоленных земли, вошли каким-то образом в самую сущность Ист-Сайда, дали ему увлекательную жизнь, теплоту и яркость, каких Джордж не видел ни в одном другом Доме.

Возьмите старое седло, истертое старым наездником и пропитанное потом старой лошади; возьмите старый башмак, изношенную шляпу, продавленный стул, выемку в каменной ступени, протертую ногами за семь столетий, – во всем этом вы обнаружите некоторые качества, которые создали Ист-Сайд. Каждая капля пота, каждая капля крови, каждая песня, каждый возглас мальчишки, каждый крик ребенка проникли в каждое окно Ист-Сайда, в каждый темный, узкий коридор, вошли в каждую истертую ступеньку, в каждый покосившийся лестничный поручень и даже Бог весть каким образом в архитектуру порыжевших, унылых, угловатых зданий, в фасады мрачных, закопченных многоквартирных домов, в состав камня – да, даже цвет старого красного кирпича оказался до того захватывающим, до того замечательным, что при взгляде на него трепетало сердце: горло сжимало от непонятного, но сильного волнения. Да, все это вошло в Ист-Сайд, благодаря всему этому Ист-Сайд стал Домом. И потому был замечательным.

Вторая авеню бурлила ночной жизнью. Лавки, рестораны, магазины были открыты; улица была насыщена подлинной оживленностью ночи, оживленность эта не радостная, но жгущая неутолимой надеждой, предвкушением, ошеломляющим чувством, что восхитительное, волнующее, чудесное рядом и может достаться тебе в любую минуту. В этом смысле улица была подлинно американской, и Джорджу пришло в голову, что истинные расхождения, различия, деления в американской жизни кроются не в цвете кожи, расе, месте проживания или классовой принадлежности, а в характере; и что во всех своих существенных чертах, в ее ночном возбуждении, любви к темноте, в волнующем ожидании, которое в каждом из нас пробуждает ночь, эта улица является «американской», что жизнь ее очень похожа на жизнь любой американской улицы – улицы субботним вечером в каком-нибудь колорадском городке, когда туда съехались фермеры, мексиканцы, рабочие сахарного завода, в южнокаролинском городе или в виргинском Шенандоа-Вэлли, когда туда съезжаются фермеры и владельцы хлопковых плантаций, и в пидмонтском лесопромышленном городе, когда рабочие заполняют улицу, толпятся в пяти- и десятицентových магазинах, или в голландском городке в

Пенсильвании, или в любом другом городе по всей стране, где люди по субботним вечерам отправляются в «центр», ожидая, что произойдет «то самое», толпятся, слоняются, ждут... неизвестно чего.

Ну что ж, вокруг было «то самое». Джордж знал его, видел, переживал, вдыхал, ощущал его странную, невыразимую увлекательность, напоминающую множество раз перехватывающее горло волнение в родном городке. Да, это было «то самое», но очень своеобразное, субботний вечер на этой улице никогда не кончался, и вместе с тем «американское», подлинно американское, с вечной надеждой в темноте, которая никогда не сбывается, но *может* сбыться. Здесь была американская надежда, та неистовая ночная надежда, что дала жизнь всей нашей поэзии, всей нашей прозе, всем нашим идеям, всей нашей культуре – та темнота, в которой наша надежда усиливается, в которой можно постичь все, что мы собой представляем. Этот Дом просто бурлил отвагой, надеждой, жизнью ночной Америки; и в этом смысле – да, вплоть до свесов его ржавых крыш, его фасадов, его старых кирпичей он был американским – «чертовски более американским», как мысленно выразился Джордж, чем Парк-авеню.

Такси сделало поворот, снова оказалось между жилыми домами, остановилось. Рядом на углу Джордж увидел ржавый, покореженный мусорный бак, потрескивающий костер из рацеплен-ных планок деревянного ящика, пляшущие языки пламени, оживленно играющих, скачущих на одной ножке уличных мальчишек; и внезапно ощутил свежесть воздуха, тайную неистовую надежду, печаль, осознал, что скоро уже октябрь – что октябрь вернется, наступит снова. Все это – костер, потрескивание, пламя, ржавый бак, отблески огня, волнуяще, порывисто пляшущие на кирпичной стене и неистово трепещущие на лицах мальчишек – было очень впечатляющим, захватывающим и поразительно завершенным – «то самое» в полной мере присутствовало здесь, и о нем можно было только сказать, что это и есть Америка.

Тем временем освещенные пламенем мальчишки затеяли спор: там был смуглый итальянец с копной черных волос, еврей, маленький, взъерошенный ирландец, курносый, веснушчатый, со слишком длинной верхней губой. Их маленькие лица были разбойничьими, крепкие, маленькие, упругие, как мяч, тела напряглись в споре. Послышался детский, упрямый, хрипловатый, немелодичный, но исполненный праведного негодования голос ирландца:

– И там есть! Тоже! Там *есть* церковь!

– А, много ты знаешь!

И все – переключение передач, вновь темнота и застроенная многоквартирными домами улица.

Джордж увидел Эстер, ждущую его, как и обещала, перед театром. Это было небольшое, красивое, залитое светом здание, его окружали старые кирпичные дома с восхитительными грубыми фасадами. Место было оживленным – шикарно одетые люди подкатывали в шикарных машинах и вылезали – но Джордж видел ее одну, отчетливую на сером тротуаре и в его памяти. Эстер вышла из театра и ждала его. Она была без пальто, без шляпки и походила на женщину, только что покинувшую рабочее место. На ней было платье из темно-красного шелка, на талии и на груди поблескивали вделанные в ткань крохотные зеркальца. Платье было слегка измятым, но Джорджу это даже понравилось. То было одно из замечательных сари, какие носят женщины в Индии, Эстер переделала его в платье. Джордж тогда не знал этого.

На ногах у Эстер были маленькие бархатные туфли с пряжками из старого серебра. Ступни ее, маленькие, красивые, как и кисти рук, казались не крепче птичьих крыльев. Лодыжки тоже были хрупкими, красивыми, изящными. Джордж подумал, что голени у нее некрасивые. Слишком тонкие, прямые, похожие на палки. Прямоугольный вырез платья обнажал теплую шею; он вновь обратил внимание на то, что шея у нее слегка морщинистая. Лицо было румяным, цветущим, но глаза выглядели несколько усталыми, обеспокоенными, как у занятого, несущего бремя ответственности человека. Глянцевые темные волосы, не особенно густые, сбоку разделял пробор, Джордж заметил в них несколько седых прядей. Она ждала его, отставя одну ступню, словно демонстрировала хрупкие лодыжки и слишком тонкие, с виду слабые ноги. Одной рукой быстро снимала и надевала снова кольцо; весь ее облик выражал ожидание, легкую нетерпеливость, даже волнение.

Приветствовала Эстер Джорджа дружелюбно, как и утром, однако с какой-то нервной, беспокойной торопливостью, с какой-то деловитой сухостью, в которой сквозила озабоченность.

– О, привет, – быстро произнесла она, пожимая ему руку. – Я высматривала тебя. Приятно увидеться снова. Билет здесь. – Протянула конвертик. – Взяла место рядом с проходом... Оно в задних рядах, но там есть свободные места, и я подумала, что потом выйду, подсяду к тебе... С тех пор, как вернулась, занята была ужасно... Мне, видимо, придется быть за кулисами, пока не поднимется занавес, но потом смогу подойти... Надеюсь, ты ничего не имеешь против?

– Нет, конечно. Возвращайся к своим делам. Увидимся потом.

Эстер вошла вместе с Джорджем в маленькое фойе. Там было много зрителей. Одни были одеты шикарно, другие обычно, но корчили из себя, как подумалось Джорджу, знатоков театра. Большинство их, очевидно, знало друг друга. Они стояли шумными группами, и, проходя, Джордж слышал, как один человек сказал с безапелляционной снисходительностью, почему-то вызвавшей у него раздражение:

– Нет-нет. Постановка, разумеется, слабая. А вот декорации, право же, посмотреть стоит.

В другой группе кто-то таким же тоном отозвался о пьесе, шедшей тогда на Бродвее:

– Это довольно неплохой О'Нил. Думаю, вас может заинтересовать.

Все эти реплики, отпускаемые с надменной самоуверенностью знатоков, раздражали Джорджа сверх всякой меры. Подобные разговоры казались ему лицемерными, подлыми, враждебными истинному духу театра; и, не найдя ответа на эти холодные, высокомерные реплики, он вновь почувствовал себя бессильным и разъяренным. Реплика о «довольно неплохом О'Ниле» вызвала у него гнев своей покровительственностью; и он, хотя сам критически относился к этому драматургу, в душе пылко встал на его защиту, возмущенный тем, что подлинно талантливого человека покровительственно похваливает какое-то никчемное,

бездарное ничтожество, только и способное жить за счет жизни и духа людей лучше себя. Это ожесточило Джорджа, словно выпад был сделан против него самого; и он тут же почувствовал себя в лютом разладе с этими людьми.

Это чувство враждебности, несомненно, усиливалось тем, что Джордж ехал в театр, на встречу с Эстер, в задиристом расположении духа. В фойе он вошел воинственно настроенным, и услышанные слова больно хлестнули его, словно кнутом. Разозлили, потому что он всегда считал театр чудесным местом, где можно забыть в очаровании. Так, во всяком случае, бывало у него в детстве, когда «пойти посмотреть представление» было праздником. Но теперь, казалось, этому пришел конец. Все, что эти люди говорили и делали, было направлено на уничтожение очарования, иллюзии театра. Казалось, они ходят в театр не смотреть игру актеров, а играть сами, красоваться друг перед другом, толпиться в фойе перед началом спектакля и между действиями, рисуясь и отпуская вычурные, снисходительные замечания о пьесе, игре актеров, декорациях, освещении. Все фойе словно бы кололось и пахло самомнением этих вычурных людей. Они, казалось, наслаждались этим отвратительным самомнением, черпали в нем какое-то нездоровое, возбуждающее удовольствие, но Джорджа оно коробило, вызывало чувство крайней неловкости, словно его враждебно рассматривают и насмешливо обсуждают, чувство угрюмости, тоски, отчаяния.

Хотя его воображение кое-что дорисовывало или преувеличивало, в глубине души Джордж сознавал, что не совсем уж не прав. Почему-то вновь и вновь проникался ощущением, что в подобном обществе он и такие, как он, обречены вечно ходить по холодным, бесконечным улицам мимо бесконечных дверей, ни одна из которых никогда не откроется перед ними. Он видел, что этот круг неприступных, лощеных людей, непременный атрибут этого здания, притворяется, будто поддерживает таких, как он: жестокие, страшные, они являются заклятыми врагами искусства и жизни, они непременно уничтожат, погубят его труд, если только он им позволит.

Идя по маленькому фойе, негодующий Джордж думал, что даже густые заросли кактусов не могли бы царапаться и колотиться сильнее. У миссис Джек, судя по всему, среди этого сборища было много друзей и знакомых. Она представила его человеку с напыщенным лицом восточного типа: это был Сол Левенсон, известный театральный декоратор. Он глянул на Джорджа, не ответив на его приветствие, и снова перенес внимание на миссис Джек. Когда они входили в зал, она представила его невысокой тощей женщине с большим носом и вытянутым страдальческим лицом. Это была Сильвия Мейерсон, директриса театра, очень богатая, театр существовал в значительной мере благодаря ее пожертвованиям. Джордж сел на свое место, миссис Джек ушла, некорректно огни погасли, и началось представление.

Представление было забавным – озорным ревью, оно пользовалось большим успехом, заслужило высокие оценки критиков и фителей. Но ему был присущ пагубный недостаток всех подобных зрелищ. Ревю, вместо того чтобы черпать свою жизнь из самой жизни, быть острой и убедительной критикой явлений жизни общества, представляло собой остроумную пародию на бродвейские спектакли, имевшие шумный успех. Так, например, там была сатира на знаменитого актера, исполнявшего роль Гамлета. Гут миссис Джек сослужила хорошую службу. Она спроектировала высокую лестницу, похожую на ту, спускаясь по которой, актер впервые появлялся на сцене, и комик постоянно взбирался и спускался по ней, высмеивая тщеславие трагика.

Были там пародии на концерт Стравинского, на одну из пьес О'Нила, несколько песен на злободневные темы, неважных, но с ноткой остроумной сатиры на события и персонажей того времени – на Кулиджа, на мэра Нью-Йорка, на английскую королеву – и целая серия пародий на женщин в исполнении мужчины. Этот артист имел наибольший успех. Видимо, он был

любимцем зрителей, потому что они начали смеяться прежде, чем он успел раскрыть рот, и пародии его, впечатлявшие, как показалось Джорджу, не столько имитацией, сколько ломаньем, утрированием, бесстыдством и вульгарностью, которые актер ухитрялся придавать всем своим персонажам, вызывали бурю аплодисментов.

В середине первого отделения миссис Джек пришла, села рядом с Джорджем и оставалась там до антракта. Когда люди потянулись по проходам в фойе и на улицу, она похлопала его по руке, спросила, не хочет ли он выйти, и весело поинтересовалась:

– Нравится, а? Не скучаешь?

В фойе к ней стали подходить люди, здороваться и поздравлять с работой, которую она сделала для ревью. Казалось, что друзей среди зрителей у нее десятки. У Джорджа создалось впечатление, что две трети публики знают ее, а те, кто не знает, наслышаны о ней. Он видел, как люди подталкивают друг друга и смотрят в ее сторону, иногда к ней подходили незнакомые, представлялись и говорили, что им очень нравится ее работа в театре. Видимо, Эстер была знаменитой в гораздо большей степени, чем ему представлялось, однако приятно было видеть, как она принимает лестное внимание. Эстер не улыбалась жеманно, с ложной скромностью, не воспринимала похвалы с высокомерным равнодушием. Ее ответ каждому бывал сердечным, непринужденным. Видимо, она радовалась своему успеху, и когда люди подходили с похвалами, выказывала детские удовольствие и интерес. Когда подходили несколько человек сразу, в ее поведении появлялись радость и острое любопытство. Лицо ее бывало сияющим от удовольствия тем, что говорил один, и вместе с тем слегка встревоженным, обеспокоенным, потому что ей не слышно было, что говорит другой, поэтому она постоянно поворачивалась от одного человека к другому, взволнованно подавалась вперед, чтобы не упустить ни единого слова.

Эстер, окруженная поздравляющими, представляла собой одно из самых приятных зрелищ в жизни Джорджа. То была самая приятная минута с тех пор, как он вошел в театр. При виде этой маленькой, раздумавшейся от волнения женщины, окруженной светскими, вычурными людьми, ему пришел на ум странный красивый цветок, окруженный роем жужжащих пчел, только цветок этот, казалось, не только отдавал, но и получал мед. Контраст между миссис Джек и теми людьми был до того резок, что Джордж даже задался на миг вопросом, каким это образом она очутилась среди них. На миг она показалась чуть ли не существом из другого мира, мира простой радости, детской веры, доброты и естественности, чистоты и утра. В этом вычурном сборище людей каждый был по-своему отмечен клеймом этого города, каждый подвержен тому нервному заболеванию, которое казалось некоей данью, выплачиваемой самыми любимыми и одаренными его детьми, симптомы которого – жесткая улыбка, бесстрастный тон, пресыщенный, донельзя усталый взгляд, она выглядела некоей Алисой из полуденного мира, которая, бродя по зеленым лугам и цветущим полянам, внезапно очутилась в Зазеркалье. И переход этот как будто радовал ее. Весь этот мир казался таким веселым, блестящим, волнующим, удивительно хорошим и дружелюбным. Она раскрывалась навстречу ему, словно цветок, улыбалась, сияла, как очарованный ребенок, казалось, не могла ему нарадоваться, и ее раздумавшееся лицо, ее пылкий интерес, постоянный вид недоуменного и вместе с тем восторженного удивления, словно изумление ее нарастало с каждой секундой, словно она уже не могла все воспринимать, однако была уверена, что каждый новый миг будет очаровательнее предыдущего – все это было в высшей степени радостным, привлекательным контрастом этому до предела жестокому, лощеному миру – и все же?

И все же. «И все же» будет не раз возвращаться к Джорджу в будущем, преследовать его, мучить, терзать. Великий Кольридж сто лет назад задал не дающий покоя вопрос и не смог найти ответа: «Но если человеку приснится, что он в раю, а пробудясь, он обнаружит в руке

цветок как знак того, что действительно был там, – что тогда, что тогда?». Новые времена создали новый, более мрачный образ, ибо, если человеку приснится, что он в аду, а пробудясь, он обнаружит в руке цветок в знак того, что действительно был там, – что *тогда*?

Контраст, увиденный впервые в этих жестоких зеркалах ночи, был сперва очаровательным, но потом стал невероятным. Неужели она родилась только вчера? Неужели только вылезла из детской кроватки, еще с материнским молоком на губах? Неужели гак ослеплена восторгом перед этим дивным новым миром, что вот-вот захлопает в ладоши от радости – а спросите эту хорошенькую даму, что за вещество у нее на губах, почему ресницы ее торчат в разные стороны – «Бабушка, почему у вас такие большие глаза?» Или пародиста – почему все так громко смеялись, когда он вылезал из женского платья, вертел бедрами, вращал подкрашенными глазами? И говорил – *таким* смешным тоном – «Вы *должны* прийти ко мне?» Ей нужно понять очень много вещей – таких замечательных, – и она надеется, что эти прекрасные люди не будут возражать, если она станет задавать вопросы.

Нет-нет – это немыслимо. Подобной свежей невинности не существует, а существуй она, это было бы невыносимо. Нет, она- часть этого мира, знающая его, сверкающая нить в его густой, сложной паутине – возможно, в нем лучшая, но отнюдь не чужая. Это не дитя утра. Эта розовая невинность появилась на свет не вчера, эта будоражащая красота сохранила свою росистую свежесть не только с помощью волшебства простой природы – но заточенная, возведенная на трон в этих странных, вызывающих беспокойство катакомбах ночи, она цвела здесь и поддельвалась под краски утра. Как поверить, что надписи на этих лицах – тонкая гравировка безжизненной души, болезни нервов, анемичная тонкость изысканных слов, мучительная сложность этих жизней, во многом порождений ущербности, утрат, непонятной, слепой неразберихи этого времени – такие ясные для него, могут быть совершенной тайной для нее, являющейся частью этого мира? С тяжелым сердцем он отвернулся – ошеломленный, измученный, как будет еще много раз, загадкой этого похожего на цветок лица.

Вскоре Эстер пробралась к Джорджу через толпу, все еще раскрасневшаяся от удовольствия, все еще лучащаяся волнением и восторгом, и повела его в странный, очаровательный мир за кулисами. Для этого перехода потребовалось просто-напросто открыть маленькую дверь. Они оказались в коридоре, идущем вдоль стены театра, ведущем за кулисы и на сцену. Коридор был заполнен актерами: многие вышли туда покурить, поболтать, и он оглашался их шумной трескотней.

Джордж обратил внимание, что большей частью актеры очень молоды. Он прошел мимо хорошенькой девушки, в которой узнал одну из танцовщиц. На сцене она была очаровательной, проворной, грациозной танцовщицей и комедианткой, но теперь это впечатление рассеялось. Она была измазана гримом и краской, Джордж заметил, что костюм у нее не совсем чистый, ресницы ярко блестящих глаз, веки и подглазья так густо накрашены красным, что все лицо приобрело одурманенный, лихорадочный вид, глаза блестели, как у кокаинистки. Возле нее находилось несколько молодых людей, в которых Джордж тоже узнал актеров. Лица их лихорадочно краснели от густого слоя румян. Все они повернулись и поздоровались с миссис Джек, когда та проходила мимо, и хотя впоследствии она называла их «эти ребята», в их внешности было нечто, опровергающее эти слова. Все они, хоть были еще совсем молоды, уже утратили значительную часть свежести, пылкой и наивной веры, неотделимых от юности. Джордж отчетливо понял, что «знают» они очень много – и при этом недостаточно: они утратили значительную часть того знания, которым должны обладать еще до того, как получают возможность приобрести его жизненным опытом, и теперь вынуждены были жить слепыми на один глаз, закосневшими в заблуждении.

Джордж зметил, что вне сцены девушка обладает сильной чувственной привлекательностью. И эта бросающаяся в глаза привлекательность тоже придавала ей умудренности, бесстыдства, возраста. У стоявших возле нее молодых людей тоже был виден налет того порочного опыта: в их глазах, губах, лицах было что-то дряблое, распущенное, в нарумяненных щеках и подведенных глазах что-то немужское. К ним присоединился только что появившийся пародист. Он уже оделся к следующему действию. На нем было женское платье, женский пушистый морковного цвета парик, лицо его выглядело чудовищно размалеванным. Манеры у пародиста были теми же, что на сцене: подойдя к своим товарищам, он встряхнул юбкой, повел плечами, бросил на них откровенно бесстыдный взгляд и что-то хрипло сказал двусмысленным тоном, отчего все рассмеялись. Когда подошли миссис Джек с Джорджем, быстро глянул на них и пробормотал что-то, вызвавшее общий смех. Однако вслух сказал Эстер: «О, привет» – с многозначительной пародийностью и вместе с тем по-дружески.

– Привет, Рой, – весело ответила она, потом повернулась к молодым людям с веселой улыбкой, выражавшей любопытство и легкое удивление, спросила: «Что задумали на сей раз, ребята, а?»

Они тепло поздоровались с ней. Было ясно, что все ее очень любят. Все называли ее «Эстер», а один из молодых актеров нежно обнял и назвал «милой».

Эта фамильярность возмутила Джорджа, но миссис Джек, казалось, совершенно ее не заметила, а если и заметила, то восприняла спокойно, почти бессознательно, как проявление той непринужденности, которая существует за кулисами.

Собственно говоря, едва она вошла через ту дверь в этот привычный мир, поведение ее слегка, но все же заметно изменилось. Выглядела она такой же радостной, пылко взволнованной, как и раньше, однако манеры ее стали более раскованными, уверенными. Она словно бы сбросила ту вуаль «поведения на публике», в которую люди непременно облачаются в более церемонной обстановке. Теперь ее поведение казалось совершенно естественным: в этом мире Эстер чувствовала себя, как рыба в воде. Она погрузилась в него, и тут впервые Джордж заметил в ней одну черту, исходившую, как ему предстояло убедиться, из самых лучших и чистых глубин ее характера. Было ясно, что она покинула мир игры и вошла в мир работы, и что этот мир для нее важнее. Разговор ее с молодыми людьми отличался от разговоров в фойе. Был спокойно-дружелюбным, совершенно непринужденным, и в этом сквозило глубокое чувство приязни и понимания. Оно становилось очевидным всякий раз, когда Эстер заговаривала с людьми, непрерывно ходившими по коридору: «О, привет, Эдди», «Привет, Мери», «Извини, платье выглядело хорошо?» – «Да, из партера смотрелось замечательно». И в том, как эти люди обращались к ней, называя «Эстер», «милочкой», и, проходя мимо, фамильярно касались руками, было то же самое чувство искренней приязни и понимания.

Она представила Джорджа кое-кому из актеров. В ответ на его приветствие пародист склонил голову набок и томно поглядел на него подведенными глазами.

Другие засмеялись, и лицо Джорджа вспыхнуло от гнева и возмущения. Минуту спустя, когда он и миссис Джек углубились за кулисы, она весело повернулась к нему и с улыбкой спросила:

– Ну, нравится тебе здесь, молодой человек? Приятно познакомиться с актерами, а?

Лицо его все еще горело, и он пробормотал:

– Вот только этот гнусный тип...

Эстер удивленно взглянула на него, потом поняла и спокойно сказала:

– А – Рой. Да, знаю.

Джордж не ответил, и она продолжала:

– Я знаю всех этих людей много лет. Рой... – она приумолкла, потом очень искренне

добавила: – человек во многих отношениях очень хороший. Другие ребята, – продолжала она с улыбкой после недолгой паузы, – выросли у меня на глазах. Многие из них просто-напросто дети из этого района. Мы их всех вывели в артисты.

Джордж понял, что она не вкладывает упрека в эти спокойные слова, а просто хочет объяснить ему нечто, чего он не понял, и неожиданно вспомнив раскрашенные лица молодых актеров, вспомнил и что-то беззащитное, неприкаянное под их яркими масками. И почувствовал жалость к ним.

Они подошли к задней части сцены. Здесь царили суета, оживление, спешка. Джордж видел, как рабочие с поразительной быстротой ставят на места части большого комплекта декораций. Дальше в таинственных глубинах раздавался стук. Джордж слышал, как бригадир рабочих выкрикивает команды хриплым голосом с ирландским акцентом, люди сновали взад-вперед, проворно увертываясь от быстро передвигаемых больших задников. Казалось, что каждый рабочий действует сам по себе. На миг Джордж почувствовал себя ошеломленным, растерянным, как деревенский парень посреди городской площади, не знающий, куда деваться, и осознающий, что его могут задавить со всех сторон.

И вместе с тем эта сцена была восхитительной. Она напомнила Джорджу цирк. Несмотря на кажущийся беспорядок, он замечал, что все предметы чудесным образом соединяются в гармоничное сооружение. Это было замечательное место. Оно обладало красотой всех больших механизмов, всех огромных двигателей, построенных для мерной работы. Здесь дребедень, которую он видел из зала, напрочь забылась. Собственно говоря, «иллюзия сцены» не обманывала Джорджа. Никогда. Он не мог убедить себя в том, что открытые с одной стороны подмости являются гостиной миссис Картрайт, или что на дворе, как утверждалось в программе, стоит сентябрь. Словом, «реализм» театра никогда не казался ему особенно реальным и постоянно становился все более далеким от реальности.

Джордж обладал тем типом воображения, которое с годами набирает силу, потому что корни его в земле. Он не растерял с возрастом иллюзий, и воздушные, очаровательные видения юности не были стерты грубыми пальцами мира. Просто Пегас не казался уже ему столь же интересным, как военный корабль, – а паровозное депо было для него более чудесным, чем они оба. Иными словами, с возрастом его усилия вырваться направлялись *вглубь*, а не *наружу*. Он уже не хотел «уйти от всего этого», скорее, стремился «войти во все это» – и, стоя за кулисами, остро ощущал сопричастность этому невероятному, осязаемому реальному и неоткрытому миру – который находится рядом с любым человеком и открыть который большинству из них сложнее, чем реки на Луне.

Миссис Джек находилась теперь в центре всей вселенной. И уже не улыбалась. Вид у нее, когда она стояла там, быстро снимая с пальца и вновь надевая кольцо, вбирая наметанным глазом все подробности этой хаотичной и вместе с тем упорядоченной деятельности, был серьезным, спокойно-сосредоточенным. Джордж вновь заметил ее усталый взгляд, который видел, когда она ждала его на тротуаре.

Вверху на помосте один из электриков возился с большим прожектором, необходимым в следующем действии. Быстро, сосредоточенно оглядывая сцену, миссис Джек, казалось, совершенно не замечала его, но вдруг, быстро подняв взгляд, сказала:

– Нет. Повыше. – И чуть приподняла руку. – Надо больше поднять.

– Вот так? – спросил тот и приподнял прожектор.

– Еще немного, – ответила она и стала смотреть. – Да, теперь лучше.

Тут к ней торопливо подошел помощник режиссера.

– Миссис Джек, – объявил он, – этот новый задник маловат. Остается много места, – и быстро развел руки, показывая, сколько, – между ним и кулисой.

– Нет, – раздраженно ответила она, – не остается ничего. Задник в самый раз. Я сама измеряла. Вы слишком далеко отодвинули кулису. Я заметила еще раньше. Постарайтесь слегка придвинуть.

Помреж повернулся и выкрикнул распоряжение двум рабочим. Они придвинули кулису, и задник сомкнулся с ней. Миссис Джек поглядела на него, потом они с помрежем вышли на сцену, перешагивая через изолированные провода, встали у центра занавеса и повернулись. С минуту оба смотрели на задник, потом миссис Джек что-то сказала помрежу, тот отрывисто, но удовлетворенно кивнул, затем отвернулся и стал отдавать распоряжения. Миссис Джек вернулась к кулисам, повернулась и вновь принялась оглядывать сцену.

С того места – из-за просцениума – сцена выглядела превосходно. Справа находилась система канатов, уходящих высоко под сводчатый потолок. Стоило поднять взгляд, становились видны большие опускаемые занавесы, казалось, они так хорошо подвешены, что могут опускаться и подниматься быстро и без-шучно. По другую сторону находился распределительный щит. Осветитель возился с переключателями, глядя на огни рампы. Миссис Джек пристально поглядела на них: огни становились ярче, мягче, менялись и смешивались с восхитительной плавностью. Сказала:

– Чуть побольше синего, Боб, – нет, ближе к центру – нет, теперь слишком много – вон там!

Она смотрела, как чудесное многоцветье света меняет окраску, словно хамелеон, и вскоре сказала:

– Оставь так.

Потом повернулась, коснулась с улыбкой руки Джорджа и повела его в маленький коридор, а затем вверх по лестнице. Навстречу им спускались одетые к новому действию артисты. Все они, проходя мимо, приветствовали миссис Джек так же тепло и непринужденно, как те, которые встречались им раньше. Наверху был ряд артистических уборных, проходя мимо них, Джордж слышал из-за дверей голоса, взволнованные, деловитые, иногда смех.

Они поднялись еще по одной лестнице на третий этаж и вошли в большую комнату в конце коридора. Дверь была открыта, комната ярко освещена.

Это была костюмерная. По сравнению с тем кипучим возбуждением, обстановкой нетерпеливости и лихорадочной деятельности, которую Джордж видел в других частях театра, атмосфера этой комнаты была спокойной, приглушенной и после всей той напряженности, чуточку унылой. Там стоял запах материи, ощущалась своеобразная нежная теплота, сопутствующая женской работе – стрекотанью швейных машин, шуму ножных приводов и бесшумной игре деятельных рук. Атмосфера была явно приятной для женщин, но, пожалуй, слегка угнетающей для мужчин.

Хотя комната была большой, соответствующей своему назначению, на Джорджа там повеяло чем-то домашним. На крючках в стене висел длинный ряд костюмов, несколько длинных столов, за какими работают портные, были завалены платьями, пиджаками, обрезками кружев и лент, всевозможными свидетельствами работы и ремонта.

В комнате находились три женщины. Одна, маленькая, пухленькая, смуглая, в очках, сидела за одним из столов, забросив ногу на ногу, с расстеленной на коленях тканью и быстро шила. Работала она удивительно проворно и ловко; иголка в ее маленькой, пухлой руке мелькала, словно стрела в полете. Сидевшая в ярком свете лицом к ним женщина протрачивала что-то, на швейной машинке. Подальше, позади этих двоих, сидела третья. Она работала иглой. На ней были очки в роговой оправе, подчеркивающие невыразительность ее худощавого лица. Даже занятая шитьем, одетая в платье из темной ткани, она производила впечатление утонченно-элегантной. Возможно, благодаря одежде, столь неброской, что мужчина не обратил бы на нее внимания, и столь безупречной, что потом он не забыл бы ее. Но, пожалуй, еще в

большей степени впечатляющему спокойствию ее худощавого, однако не лишённого привлекательности лица, худобе тела, которое выглядело усталым, однако способным к постоянной работе, и движению тонких белых рук.

Когда Эстер с Джорджем вошли, женщина за швейной машинкой подняла взгляд и прекратила работу; другие – нет. Когда они приблизились, улыбнулась и поздоровалась. Она была немного моложе миссис Джек, однако по какому-то неуловимому признаку становилось ясно, что это «старая дева». В ней сразу же чувствовались юмор, теплота и мягкая, добрая душа. Она была явно не красавицей, но с прекрасными рыжими волосами; волосы были тонкими, как шелковые нити, и чудесно переливались на свету. Голубые глаза казались исполненными ума, пронзительности и юмора, как и голос. Встав, она заговорила с ними, вышла из-за машинки и подала Джорджу руку. Две другие женщины ответили на приветствие, просто подняв головы, а потом снова углубились в работу. Маленькая, пухлая, сидевшая за столом, закинув ногу на ногу, пробормотала свое имя лаконично, почти угрюмо. Другая, которую миссис Джек представила как свою сестру Эдит, глянула на Джорджа сквозь очки большими, слегка запавшими, холодными глазами, произнесла «Здравствуйте» так отчужденно, что на этом всякое общение прекратилось, и иернулась к работе.

Миссис Джек повернулась к рыжеволосой, и они несколько минут разговаривали о костюмах. По тону разговора было ясно, что они добрые приятельницы. Рыжеволосая, звали которую Мери Хук, внезапно остановилась на полупhrазе и сказала:

– А вам не пора возвращаться? Второе действие началось.

Они прислушались. Внизу все было тихо. Актеры ушли на сцену. В комнате тоже все было тихо и вместе с тем исполнено ожидания. Вся жизнь здесь замерла; но тем временем она вся сосредоточилась там. А здесь царили ожидание и тишина.

Миссис Джек оправилась от неожиданности и торопливо сказала:

– Да... ну, что ж... нам надо идти.

Они быстро спустились по лестнице, прошагали по коридору и оказались уже в пустом фойе. Когда вошли в зал, свет уже был погашен, занавес поднят. Они сели на свои места и стали смотреть.

Это действие было лучше первого. В конце каждой сцены миссис Джек подавалась к Джорджу и шепотом сообщала сведения о некоторых артистах. Один из них, невысокий, крепко сложенный, но очень подвижный человек, был чечеточником, он работал ногами с удивительной быстротой и имел большой успех. Миссис Джек подалась к Джорджу и прошептала:

– Это Джимми Хэггертти. После этого сезона мы не сможем его удержать. Он идет вперед.

Она не объяснила, что значит «вперед», но в этом и не было нужды: было ясно, что звезда его восходит.

В другой сцене главную роль играла девица лет двадцати. Она не была красивой, но ее чувственная привлекательность, по выражению миссис Джек, «била в глаза». В своей откровенной силе привлекательность эта была потрясающей, огромной. Когда действие окончилось, и девица вышла, чтобы принять бурю аплодисментов, она принимала их с надменной, даже вызывающей самоуверенностью. Не поклонилась, не улыбнулась, ничем не дала понять, что признательна или довольна. Просто лениво вышла и встала посреди сцены, небрежно поставя руку на бедро, с непроницаемым выражением на юном лице. Потом небрежно ушла за кулисы, каждое движение юного тела было оскорблением и вызовом, словно бы говорило: «Я знаю, что все мое при мне, и с какой стати буду благодарить кого-то?».

Миссис Джек, раскрасневшаяся от смеха и возбуждения, подалась к Джорджу и

прошептала:

– Жуть, правда? Видел ты хоть раз такую наглую, соблазнительную девчонку? И все-таки, – лицо Эстер стало задумчивым, – все ее при ней. Она сколотит целое состояние.

Джордж спросил ее еще о некоторых актерах, в том числе и о Рое Фарли, пародисте.

– Рой, – произнесла она, и на лице ее отразилось сожаление. – Насчет Роя не знаю. – Она говорила теперь с чуть заметным затруднением, глядя в сторону, словно зная, что хочет сказать, но не могла подобрать слов. – Все, что Рой делает – просто... просто... передразнивание кого-то, поэтому сейчас он... в моде... но...

Она повернулась и устремила на Джорджа серьезный взгляд.

– Нужно обладать еще кое-чем, – сказала она, и над переносицей у нее вновь появилась морщинка, когда она подбирала слово: – Не знаю... но... это нечто, что ты *должен* иметь сам... внутри... нечто *свое*, чего нет ни у кого больше. Кое у кого это есть – даже у той сучки, ставящей руку на бедро. Может, это и дешевка, но это ее – и в определенном смысле замечательно. – Помолчала, глядя на него. – Странно, замечательно... и... как-то печально, правда? – прошептала она и очень спокойно сказала после паузы: – Так уж обстоят дела. Это нечто, с чем ни ты сам, ни кто-то другой ничего не можете поделать, это ничем нельзя улучшить.

Ее лицо слегка опечалилось на миг, потом, словно бы совсем не к месту, она произнесла: «Бедняги». И слово это, прозвучавшее со спокойной жалостью, не нуждалось в уточнении.

Когда представление окончилось, Джордж и Эстер снова вышли в фойе. Здесь с ней еще кое-кто поздоровался, кое-кто попрощался, однако оно теперь быстро пустело, зрители разъезжались на такси и частных машинах. Вскоре театр почти совсем обезлюдел. Миссис Джек спросила Джорджа, пойдет ли он с ней, и пригласила в свою «мастерскую», где у нее были пальто, шляпка и несколько рисунков. Они снова пошли за кулисы. Рабочие сцены быстро разбирали декорации, складывая задники, секции и реквизит в полутемной, похожей на пещеру глубине сцены. Артисты разбежались по своим уборным, но, поднимаясь по лестнице, миссис Джек и Джордж слышали их голоса, теперь более громкие, веселые, звучавшие с чувством облегчения.

«Мастерская» миссис Джек находилась на третьем этаже, неподалеку от костюмерной. Она открыла дверь и вошла. Комната была обычных размеров, с двумя окнами в одном конце. Ковра на полу не было, всю мебель составляли чертежный стол у одного из окон, стул и шкафчик. Позади стола к стене был приколот кнопками лист восковки с геометрическими эскизами декорации, рядом свисала с гвоздя рейсшина. На побеленной стене она выглядела очень четкой, чистой, красивой. На столешнице, представлявшей собой гладкую, белую, красивую доску, был приколот кнопками лист чертежной бумаги. Он тоже был покрыт эскизами, и повсюду на столе валялись листы со сделанными наскоро, схематичными, но красивыми эскизами костюмов. Эти маленькие эскизы, исполненные находчивости и уверенности, были замечательными, потому что хотя на них не изображались персонажи, для которых они делались, создавалось впечатление, что видишь их. Там были просто легкие наброски пиджака, согнутого рукава, контур и плиссировка юбки. И все же эскизы изображали жизнь столь же красноречиво и волнующе, как если б там была представлена целая галерея мужских и женских портретов. Там были также маленькая, сложенная картонная модель декорации, остро заточенные карандаши одинаковой длины, сложенные ровно в ряд, длинные мягкие кисти в маленькой банке и массивный белый тршочек, наполненный золотистой краской.

Эстер уложила в портфель несколько восковок и эскизов; потом открыла сумочку и рылась там, как это делают женщины, пока не нашла ключ. Положила его на стол, затем, прежде чем

закрывать сумочку, достала оттуда нечто белое, измятое. Разгладила эту вещь, аккуратно свернула, прижала к груди и нежно погладила, глядя при этом на Джорджа с детской улыбкой.

– Мое письмо, – гордо сказала она и вновь погладила его затянутой в перчатку рукой.

Джордж недоуменно поглядел на нее; потом вспомнив, какой жуткий вздор написал, покраснел и пошел к ней вокруг стола.

– Послушай, дай сюда эту чертову писульку.

Эстер быстро отбежала с встревоженным выражением на лице, встала с другого конца и, прижимая к груди письмо, погладила его уже двумя руками.

– Мое письмо, – повторила она и восхищенным детским голосом, но обращаясь к себе, произнесла: – Мое прекрасное письмо, где он пишет, что не будет раболепствовать.

Слова эти были обманчиво невинными, и Джордж, недоумевая, глянул на нее с подозрением. Потом, словно ребенок, повторяя затверженные слова, она пробормотала:

– Он не будет раболепствовать... Он не подхалим...

И быстро пустилась вокруг стола, когда раскрасневшийся Джордж вновь погнался за ней, вытянув руку.

– Послушай, если не отдашь это проклятое...

Она отбежала на другую сторону и, все еще прижимая это злосчастное послание к груди, пробормотала, будто ребенок, увлеченный нелепым стишком собственного сочинения:

– Бритты никогда не будут подхалимами...

Джордж погнался за ней уже совершенно всерьез. Ее плечи тряслись от смеха, она пыталась убежать от него, негромко вскрикивая, но он догнал ее, прижал спиной к стене, и с минуту они боролись за письмо. Она сунула его за спину. Он прижал ей руки к бокам, потянулся к ее ладоням и завладел письмом. Она поглядела на него и с упреком сказала:

– Нельзя же быть таким вредным! Верни письмо – пожалуйста.

Тон Эстер был таким серьезным и укоризненным, что Джордж выпустил ее и отступил назад, глядя на нее виновато, стыдливо и вместе с тем гневно.

– За смех я не виню тебя, – сказал он. – Понимаю, создается впечатление, что написал его безмозглый балбес. Пожалуйста, пусть оно останется у меня, я его порву. Мне хотелось бы забыть о нем.

– Нет-нет, – негромко и нежно ответила она. – Это прекрасное письмо. Верни.

Эстер положила письмо обратно и закрыла сумочку; потом, пока он все еще глядел на нее с виноватым, озадаченным видом, словно не понимая, что делать, она прижала сумочку к груди и погладила ее, глядя на него с гордой, уже знакомой ему детской улыбкой.

Пора было уходить. Эстер обернулась и бросила прощальный взгляд, как обычно люди смотрят на комнаты, где работали, покидая их. Потом взяла ключ, отдала Джорджу портфель, сунула иод мышку сумочку и выключила свет. Уличный фонарь бросал снаружи отблеск на белую доску стола.

Они постояли немного, потом Джордж неловко обхватил Эстер за талию. Впервые за весь вечер, впервые после того как расстались на судне, они были одни и молчали, и тут, словно осознание этого таилось у обоих в умах и душах, они почувствовали глубокую, сильную неловкость. Джордж крепче стиснул талию Эстер и нерешительно попытался ее обнять, но она неуклюже, смущенно отстранилась и невнятно пробормотала: «Не здесь – все эти люди». Она не сказала, кто «все», и притом большинство людей наверняка ушло из театра, так как там было тихо; но Джордж понял, что ее неловкость и смущение вызваны сознанием этой интимности здесь, где она совсем недавно общалась с друзьями и сотрудниками; тоже ощутил – сам не зная, почему – сильное чувство неловкости и неприличия, и через секунду неуклюже убрал руку.

Не говоря больше ни слова, они вышли. Эстер заперла дверь, они спустились по лестнице

все еще со странным чувством смущения и скованности, словно между ними возник некий барьер, и никто из них не знал, что сказать. Внизу театр был темным и тихим, ночной сторож, ирландец, говоривший с сильным акцентом, выпустил их на улицу через служебный вход. Улицы вокруг театра были тоже пустынными, тихими, и после недавнего веселья и блеска представления и зрителей место это казалось холодным, грустным. Джордж остановил проезжавшее такси; они сели в машину и поехали по почти безлюдным улицам Ист-Сайда и темному отрезку южного Брод-вея. Эстер не позволила Джорджу проводить себя домой и высадила его возле отеля.

Они пожали друг другу руки и почти холодно пожелали доброй ночи. Немного постояли, обеспокоенно и смущенно глядя друг на друга, словно желали что-то сказать. Но сказать этого они не могли, и через секунду Эстер уехала; а Джордж с печальным, недоуменным, разочарованным сознанием чего-то озадачивающего, незавершенного, обманувшего их обоих, вошел в отель и поднялся в свою комнатку.

21. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Этих двоих слепая случайность свела на судне, вдали от головокружных, непостижимых перепутий миллионнолюдной жизни, от мрачной бездны времени и долга, первая их встреча состоялась на вечном, бессмертном море, беспрестанно бьющемся о берега древней земли.

Однако впоследствии Джорджу будет неизменно казаться, что он впервые повстречался, познакомился с Эстер и полюбил ее в один из октябрьских полудней. В тот день ему исполнилось двадцать пять лет, Эстер пообещала увидеться с ним за ленчем по случаю дня рождения; они условились встретиться в полдень перед входом в Публичную библиотеку. Джордж появился там слишком рано. Было начало октября, стояла прекрасная солнечная погода, и огромная библиотека в неистовом сердце города с ее миллионами томов, окруженная высящимися громадными зданиями и отталкивающим, грубым неистовством бурлящей на улицах толпы, вызвала у него мысль о невозможности спокойных занятий посреди слепого сумасбродства и свирепости жизни, затопила душу безнадежностью, наполнила чувством ужаса и тоски.

Но возбуждение, счастье предстоящей встречи с Эстер, радость жизни и сияние дня почти подавили эти чувства, и Джордж, глядя на бурление толпы, потоки автомобилей и громадные здания, отвесно вздымающиеся со всех сторон, ощущал какую-то сильную, горделивую уверенность надежды и торжества.

То был день, когда Джордж впервые в жизни мог сказать: «Мне уже двадцать пять лет», эти чудесные цифры бились у него в сознании, словно некий пульс, и подобно ребенку, думающему, что за ночь он подрос и стал сильнее, он стоял у балюстрады с ощущением ликующей силы, торжествующей власти, с убеждением, что все это принадлежит ему.

Молодой человек двадцати пяти лет является Властелином Жизни. Сам возраст символизирует для него власть. Это время, когда он может сказать себе, что наконец-то стал взрослым, что сумбур и метания юности уже позади. Подобно неопытному боксеру, он, поскольку ни разу не был побит, ликует от уверенности в своих искушенности и могуществе. Это чудесное время жизни и вместе с тем чреватое смертельной опасностью. Ибо эта громадная бутылка эфира, питающая иллюзию относительно неодолимости и неисчерпаемости своих сил, может взорваться по множеству причин, ей неведомых, – этот громадный паровоз, обладающий громадной мощностью, ужасающей энергией собственной скорости, полагает, что его ничто не в силах остановить, что он способен беспрепятственно мчаться по всему континенту жизни, но его могут пустить под откос камешек или пылинка.

Это время, когда человек настолько поглощен собой, своей силой, гордостью, надменным самомнением, что в центре вселенной для всех остальных оказывается не так уж много места. Он до такой степени тщеславный герой своих космических планов, что ему не приходит в голову считаться с планами других: он надменен и лишен простодушия, он нетерпим, и ему недостает человеческого понимания, потому что людей учат пониманию – и мужеству! – не те удары, что они наносят другим, а которые получают сами.

Это время, когда человек воображает себя великим сыном Земли. Он любимец жизни, баловень фортуны, окруженный нимбом мировой гений: он во всем прав. Все должны уступать ему дорогу, ничто не должно ему противиться. Какие-то признаки возмущения среди этого сброда? А ну-ка, мелюзга, шваль, – прочь, не путайтесь под ногами! Перед вами властелин! Так радоваться ли нам тем побоям, которые этот глупец непременно получит? Нет, потому что в этом существе очень много и хорошего. Он глупец, но в нем есть и нечто ангельское. Он очень молод, груб, невежествен, очень прискорбно заблуждается. И очень порядочен. Он хочет

разыгрывать из себя гордого Владыку, не терпеть ни малейшей дерзости, попирать пятой склоненную шею мира. А в душе у этого существа луч света, трепещущий нерв, до того чувствительная фотопластинка, что вся картина этого громадного, измученного мира запечатлена там в подлинных цветах и оттенках человеческой жизни. Он может быть жестоким и вместе с тем ненавидит жестокость лютой ненавистью; может быть несправедлив и посвятить жизнь борьбе с несправедливостью; может в минуту гнева, ревности, уязвленного тщеславия нанести тяжкую обиду тем, кто не причинил ему ни малейшего зла. А в следующую минуту, трижды раненый и пригвожденный к стене копьём собственной вины, раскаяния и жгучего стыда, претерпеть такие муки, каких нет и в аду.

Ибо по сути дела дух этого существа благороден. Сердце у него горячее, великодушное, исполненное веры и благородных устремлений. Он хочет быть первым в мире, но это некий хороший мир. Хочет быть величайшим на земле, но в воображении души и разума не среди заурядных, а среди великих. И запомним еще вот что, пусть это будет словом в его защиту: он не хочет монополии, и огонь его истрачен не на кучу навоза. Он не хочет быть самым богатым на свете, извлекать золото из кровавого пота бедняков. Его благородное, возвышенное устремление заключается не в том, чтобы властвовать над трущобами, жать соки из ограбленных и преданных. Он не хочет владеть крупнейшим на земле банком, присвоить огромнейшую сокровищницу, управлять громаднейшим заводом, наживаться на поте девяноста тысяч маленьких людей. Цель у него более высокая: как минимум, он хочет быть величайшим на свете бойцом, для чего требуется мужество, а не хитрость; как минимум, величайшим поэтом, величайшим писателем, величайшим композитором или величайшим руководителем – и хочет писать картины, а не владеть лучшими картинами в мире.

Он был Владыкой Жизни, повелителем земли, завоевателем города, единственным, кому когда-либо было двадцать пять лет, единственным, кто любил красивую женщину, или к кому красивая женщина шла на свидание. Стояло октябрьское утро; весь город, солнце, люди, идущие в его косых лучах, вся красно-золотистая музыка воздуха были созданы для его крестин. Стояло октябрьское утро, и ему было двадцать пять лет.

А потом вино этих прекрасных мгновений в кубке его жизни стало капля по капле вытекать, минуты шли, а Эстер не появлялась. Ясность дня несколько омрачилась. Он шевельнулся, взглянул на часы, окинул встревоженным взглядом кишевшую толпу. Минуты теперь падали каплями холодной злобы. Воздух стал прохладнее, вся музыка исчезла.

Полдень наступил, миновал, а Эстер не появлялась. Чувство ликующей радости сменилось у Джорджа унылым, болезненным предчувствием. Он принялся нервозно расхаживать взад-вперед по террасе перед библиотекой, браниться вполголоса, уже уверенный, что она одурачила его, что не собиралась приходить, и в ярости сказал себе, что это ерунда, что ему наплевать.

Джордж повернулся и в бешенстве зашагал к улице, бранясь под нос, но тут позади него послышался топот быстрых маленьких ног. Он услышал, как сквозь шум толпы женский голос выкрикнул имя, и хотя не разобрал имени, понял сразу же, что оно его собственное. Сердце его заколотилось от невыразимой радости и облегчения. Он быстро обернулся. Через суетливую, беспорядочную толпу во дворе к нему пробиралась она, оживленная, румяная, как яблоко, в изысканной, желтовато-коричневой осеннего цвета одежде. На нее падали яркие лучи полуденного октябрьского солнца, она по-детски радостно спешила к нему быстрыми шагами и семенящими пробежками. Ловила ртом воздух: и Джордж полюбил ее в этот миг, полюбил всем сердцем, но сердце его не призналось в любви, и он об этом не узнал.

Эстер была очень красивой, румяной, изящной, очень свежей и цветущей и походила на доброго ребенка, пылкого, исполненного веры в жизнь, сияющего красотой, добротой,

обаянием. Глядя на нее, Джордж ощущал боль невыразимой радости и печали: на нее падал бессмертный свет времени и вселенной, люди расступались перед ней, и его вновь охватило мучительное желание всемогущества: ему казалось, что с помощью волшебного слова он сможет раскрыть душу, выразить все, что ощутил, увидя Эстер ясным октябрьским полуднем в тот день, когда ему исполнилось двадцать пять лет.

Джордж широким шагом устремился обратно навстречу ей, она ускорила шаг навстречу ему, они сошлись, импульсивно взялись за руки и стояли, тяжело дыша, не способные от волнения вымолвить ни слова.

– О! – выдохнула Эстер, когда обрела способность говорить. – Я так *безала\..* Увидела, что ты уходишь – сердце у меня из груди чуть не выскочило! – А потом сказала уже поспокойнее, глядя на него с легким упреком: – Ты уходил.

– Я подумал...- Джордж умолк, подбирая слова, не зная в том опьянении от облегчения и радости, *что* подумал. – Я заждался тебя, – выпалил он. – Проторчал здесь почти целый час -ты сказала в двенадцать.

– Нет, мой дорогой, – спокойно ответила она. – Я сказала, что в двенадцать мне нужно быть в костюмерной. Я опоздала на несколько минут, извини – но говорила в двенадцать тридцать.

Чувство облегчения и радости было все еще таким сильным, что Джордж почти не слышал объяснения.

– Я подумал... потерял надежду, – выпалил он. – Решил, что ты не придешь.

– О, – спокойно, но вновь с упреком произнесла она, – как ты мог так подумать? Ты должен был знать, что приду.

Все это время они крепкой от волнения хваткой держались за руки и тут наконец разжали их. Чуть отступили назад и поглядели друг на друга. Эстер сияла, Джордж невольно улыбался от радости.

– Ну, молодой человек, – весело воскликнула она, – каково чувствовать себя двадцатипятилетним?

Все еще улыбаясь и с глупым видом таращась на нее, Джордж промямлил:

– Хо... хорошо... Господи, – порывисто воскликнул он, – тебе очень идет коричневое.

– Нравится, а ? – оживленно, весело спросила Эстер. С гордостью и удовольствием, какие могут вызвать у ребенка его вещи, провела рукой по груди платья, такого же, как красное, что было на ней тогда в театре. – Это одно из моих индийских сари. Очень рада, что тебе понравилось.

Взявшись под руку, все еще глядя друг на друга, совершенно не замечая толпы, прохожих, города, они подошли к ступеням и спустились на улицу. На тротуаре остановились и только тут заметили окружающих.

– Ты уже решил, – неуверенно заговорила Эстер, глядя на Джорджа, – куда поедем?

– А! – Он опомнился, внезапно пришел в себя. – Конечно! Я знаю один итальянский ресторанчик в Вест-Сайде.

Достав из-под мышки сумочку, Эстер похлопала по ней.

– Устроим празднество. Я сегодня получила зарплату.

– Нет-нет! Платить буду сам.

Джордж остановил такси, распахнул перед ней дверцу. Они сели в машину, и он назвал водителю адрес.

Ресторанчик находился на Западной Сорок шестой стрит в ряду особняков, и почти в каждом имелось заведение наподобие этого. Таких, должно быть, в Нью-Йорке тогда были тысячи.

Расположение их за несколько лет «сухого закона» для множества нью-йоркцев стало обыденным. Входили в ресторанчик через решетчатую подвальную дверь. Чтобы подойти к этой двери, нужно было спуститься по нескольким ступенькам в бывший приямок перед окном подвального этажа, потом требовалось позвонить и дожидаться. Вскоре появлялся мужчина, смотрел через решетку и, если узнавал посетителя, впускал его.

Интерьер тоже был обыденным для подобных заведений. Первоначальный план особняка почти не изменился. Узкий коридор шел от фасада в глубь здания, в конце его помещалась кухня; слева от входа находилась крохотная гардеробная. Справа в комнатке чуть побольше, но очень узкой и темной размещался маленький бар. Из бара вела дверь в обеденный зал примерно такой же величины. По другую сторону коридора находился зал побольше, образованный из двух комнат, стену между которыми снесли. Выше, на первом этаже, были еще залы и отдельные номера. Еще выше – Бог знает что! – находились сдаваемые ком-паты, темного вида жильцы бесшумно поднимались и спускались по старой лестнице с ковровой дорожкой, быстро, бесшумно проскальзывали в парадную дверь. То была тайная ночная жизнь, о существовании ее изредка догадывались и никогда не шали, она никогда не соприкасалась с грубым, буйным весельем, с пьяными голосами и громким стуком внизу.

Владельцем этого заведения был высокий, худощавый, бледный мужчина, отмеченный какой-то терпеливой грустью, легкой унылостью, он нравился клиентам, они улавливали в нем порядочность и дружелюбие. Человек этот был итальянцем по фамилии Покаллипо, звали его Джузеппе, постоянные клиенты переделали это имя в Джо.

История Джо Покаллипо, если заглянуть в громадную катакомбу жизни, где обитают миллионы неприметных людей, тоже была обыденной. Он принадлежал к тем простым, добрым, вполне порядочным людям, которых обстоятельства, случай, условия того порочного времени вытолкнули наверх, и которые не очень радовались этому безжалостному улучшению.

До «сухого закона» Джо был официантом в ресторане одного из больших отелей. Его жена сдавала комнаты в этом самом доме, клиентура ее состояла главным образом из актеров, эстрадников и нескольких опустившихся всевозможных театральных служащих. Со временем она стала подавать еду кое-кому из жильцов, когда те просили, и Джо, умелый повар, стал готовить по выходным платные воскресные обеды. Это начинание, представлявшее собой на первых порах услугу жильцам, оказалось удачным: еда была недорогой и превосходной, люди приходили по многу раз, зачастую приводили друзей, в конце концов воскресные обеды у Джо снискали известность, и он с женой трудился в поте лица, дабы накормить всех желающих.

Пришлось, разумеется, взять дополнительную прислугу и расширить столовую; тем временем вступил в силу «сухой закон», и участники воскресных обедов навели Джо на мысль о целесообразности подавать вино тем, кто захочет. Итальянцу такая просьба казалась не только скромной, но и вполне естественной; к тому же, он разузнал, что, несмотря на этот закон, вино, как новое, так и старое, поставляют тем, кто способен за него платить, в изобилии. Хотя цена была высокой, он быстро выяснил у друзей, оказавшихся подобным же образом втянутыми в лабиринт этой необычной деятельности, что прибыли торговля вином дает громадные.

Дальнейший путь был ясен. На миг – всего лишь на миг – Джо задумался, когда понял, на какую опасную дорогу вывело его легкомысленное предпринимательство, когда увидел, перед каким выбором стоит; однако игральные кости были налиты свинцом, одна чаша весов была слишком перегружена, и принять взвешенное решение оказалось невозможно. Перед ним были два пути. С одной стороны, он мог по-прежнему работать официантом, это означало возможность потерять работу, подобострастие, зависимость от чаевых; и конец этого пути, как Джо прекрасно понимал, мог быть только одним: старость, бедность, больные ступни. С другой стороны, перед ним лежал путь более опасный и жестокий, но искушающий перспективой

быстрого обогащения. Он вел Джо если и не в члены преступного мира, то к сговору с ним; к сделкам с уголовной полицией; к насилию, непопорочности, нарушениям закона. Но, кроме того, сулил богатство, собственность, в конце концов независимость, и как многим простым людям того порочного времени, ему показалось, что выбирать не из чего.

Джо сделал выбор, и за четыре года результаты оказались более блестящими, чем он смел надеяться. Прибыли у него были громадные. Теперь он стал собственником. Он владел своим домом, год назад приобрел соседний. И даже подумывал купить небольшой многоквартирный дом. Хотя богачом он пока не был, ему предстояло вскоре стать очень богатым.

И вместе с тем – печальное, мрачное лицо, усталый взгляд, унылая терпеливость, подавленность. Все это совершенно не походило на тот исход дела, который ему рисовался, – на ту жизнь, какую он надеялся вести. С одной стороны, эта жизнь оказалась в некоторых отношениях намного лучше; с другой – гораздо хуже, его удручали и печалили запутанность в той сложной системе, мрачные, гнетущие сплетения гнусной паутины, каверзости преступного мира с его все растущими посягательствами, постоянные взятки, шантаж, подлость, страх перед беспощадной местью, сознание, что теперь он пленник страшного мира, надежды вырваться из которого нет – мира, которым правят в сговоре друг с другом преступники и полиция, а сам он так замарался их беззакониями, что не мог бы обратиться ни в один неподкупный, справедливый суд, если бы такие существовали. А таких не существовало.

И вот он стоял, вглядываясь сквозь решетку своей подвальной двери. Печальный, добрый человек с усталыми глазами смотрел сквозь прутья своей баррикады, кого это принесло, друга или недруга.

Джо постоял, глядя на пришедшего с настороженным видом; потом разглядел молодого человека, лицо его посветлело, и он сказал:

– О, добрый день, сэр. Входите.

Джо отпер и, любезно, приветливо улыбаясь, придерживал дверь, пока посетители проходили. Потом запер ее и повел их по маленькому, узкому коридору. В первом зале, мимо которого они прошли, было несколько человек, второй, поменьше, оказался пустым. Они выбрали этот, вошли и направились к одному из столиков. Джо отодвинул стул и, пока миссис Джек усаживалась, стоял позади нее с дружелюбным, спокойным достоинством, говорящем о порядочности и доброте этого человека.

– Давно не видел вас, сэр, – сказал он Джорджу своим мягким голосом. – Были в отъезде?

– Да, Джо, уезжал на год, – ответил молодой человек, втайне довольный, что владелец помнит его, и немного гордый тем, что сказано это было при миссис Джек.

– Мы скучали по вас, – сказал Джо с мягкой улыбкой. – Ездили в Европу?

– Да, – ответил Джордж небрежно, но очень довольный, что владелец задал этот вопрос, потому что пребывал в том возрасте, когда любят похвастаться путешествиями. – Провел там год, – добавил он и вспомнил, что уже говорил об этом.

– Где были? – вежливо поинтересовался Джо. – В Париже побывали наверняка, – сказал он и улыбнулся.

– Да, – беспечно ответил Джордж с едва уловимой ноткой бесстрастности старого бульвардье. – Прожил там полгода, – сказал он с ленивым равнодушием, – потом пожил немного в Англии.

– В Италию не ездили? – спросил Джо с улыбкой.

– Ездил, был там весной, – ответил путешественник непринужденным тоном, говорящим, что он предпочитает посещать Италию в это время года. Упомянуть о том, что вернулся туда в августе и сел на судно в Неаполе, он не стал: это путешествие в счет не шло, потому что он проехал Италию на поезде и страны не видел.

– Италия красива весной, – сказал Джо. – В Риме были?

– Недолго, – ответил путешественник, чье пребывание в этом городе ограничивалось пересадкой с поезда на поезд. – Весну я провел на севере, – небрежно обронил он, как бы говоря, что в это время года «север» – единственная часть Аппенин ского полуострова, которую способен выносить человек с развитым вкусом.

– А Милан знаете?

– Да, – ответил радостно Джордж с некоторым облегчением, наконец было названо то место, о котором он мог, не кривя душой, сказать, что знает его. – Я пробыл там довольно долго, – тут, пожалуй, он слегка хватил через край, так как провел в Милане всего неделю. – И Венецию, – торопливо продолжал он, с наслаждением произнося это слово.

– Венеция очень красива, – сказал Джо.

– Твой родной дом под Миланом, так ведь?

– Нет, сэр, под Туринном.

– И все здесь, – продолжал Джордж, оживленно повернувшись к миссис Джек, – официанты, гардеробщица, повара и обслуга на кухне родом из того же городка – правда, Джо?

– Да, сэр, да, – ответил Джо, улыбаясь, – мы все оттуда. – Сдержанно, любезно повернулся к миссис Джек и, поведя рукой, объяснил: – Первый человек приезжает в Америку – и пишет домой, – слегка пожал плечами, – что дела идут не так уж плохо. Тогда вслед за ним едут другие. Нас теперь здесь, пожалуй, больше, чем осталось дома.

– Очень интересно, – пробормотала миссис Джек, снимая перчатки и оглядывая комнату. – Послушай, – быстро сказала она, поворачиваясь к Джорджу, – можешь заказать коктейль, а? Хочу выпить за твоё здоровье.

– Само собой, – сказал владелец. – Заказывайте все, что угодно.

– Джо, сегодня у меня день рождения, и мы его отмечаем.

– Отказа не будет ни в чем. Что желаете выпить?

– Пожалуй... – Эстер задумалась на миг, потом весело обратилась к Джорджу: – Хороший мартини – а?

– Отлично. Два мартини, Джо.

– Два. Очень, очень хорошо, – сказал владелец с любезным видом, – а потом?

– А что у тебя есть?

Джо перечислил, и они заказали обед – закуску-ассорти, куриный суп, рыбу, цыпленка, салат, сыр и кофе. Многовато, но у них было поистине праздничное настроение: к обеду они попросили литровую бутылку кьянти.

– Сегодня у меня больше нет никаких дел, – сказала Эстер. – Я выкроила вторую половину дня для тебя.

Джо ушел, и они услышали, как он быстро отдает распоряжения по-итальянски. Официант принес на подносе два коктейля. Джордж и Эстер чокнулись, она произнесла:

– Ну, молодой человек, за тебя. – Она чуть помолчала, очень серьезно глядя на него, потом заговорила: – За твой успех – подлинный – какого ты желаешь в душе – величайший.

Они выпили, но ее слова, присутствие, ощущение изумительного счастья и гордости, которые принес ему этот день, сознание, что это в каком-то смысле подлинное начало его жизни, что удачливая, счастливая жизнь, какая ему всегда представлялась, теперь лежит прямо перед ним, придали какую-то восторженную дерзновенность, опьянение какой-то непреклонной, неодолимой силой, к которому выпивка ничего не могла добавить. Джордж подался вперед и обеими руками стиснул руку Эстер.

– Я добьюсь его! – восторженно воскликнул он. – Добьюсь!

– Знаю, – ответила она. – Добьешься! – И, положив вторую руку поверх его руки, стиснула

ее и прошептала: – Величайшего! Ты самый лучший!

Неимоверная радость этой минуты, торжество этого очаровательного дня безраздельно заполнили его всепоглощающим сознанием, что вот-вот будет достигнута некая чудесная цель. Джорджу казалось, что ему доступно «все» – он не представлял, что именно, однако был уверен, что доступно. Самая сущность этой ошеломляющей уверенности, ошеломляющей радости – что огромный успех, великое свершение, любовь, почет, слава уже достижимы – лежала у него в руке осязаемо, тепло, увесисто, словно ядро. А потом возникло чувство, что это невероятное осуществление невероятно близко, он ощущал эту уверенность так восторженно, дерзновенно так сильно, что твердо знал, на чем они основаны, чувствовал, что слова, каких никогда не произносил, рвутся с его языка, что песни, каких не пел, музыка, которой не слышал, великие книги, романы, поэмы, каких не писал, уже великолепно, четко сложились, и он может явить их миру, когда угодно – немедленно, секунду спустя, через пять минут – как только пожелает!

Эта кипучая неутомимость буйных стихий оказалась чрезмерной для хрупкой телесной оболочки и заключенного в ней разума, поэтому Джорджа словно бы прорвало. Казалось, все тайные надежды, неутоленные желания, все лелеемые подспудные стремления, невысказанные чувства, мысли, взгляды, которые непрестанно бурлили в неистовом брожении его юности, терзали его, въедались кислотой в тайники его духа, которые он утаивал, подавлял, сдерживал, скрывал из гордости, из сомнения или недоверия, или потому, что некому было слушать, ответить, подтвердить – все, что накопилось у него на душе, вырвалось наружу и хлынуло неудержимым потоком.

Слова вылетали у Джорджа исступленными фразами, метательными копьями, брошенными в цель палицами мысли, надежды, устремления, чувства. Будь у него десять языков, он все равно не смог бы выразить их, однако они теснились, бурлили, пролагали себе дорогу в шлюзах его уст, и все же не было сказано и тысячной доли того, что ему хотелось высказать. Чрезмерное многословие несло его, вертя, будто щепку, он был беспомощен в этом собственном бурном потоке; и видя, что всех имеющихся в его распоряжении средств недостаточно, стал, подобно человеку, заливающему маслом бушующий огонь, требовать один стакан виски за другим и осушал их.

Джордж сильно опьянел. Говорил все более необузданно, более бессвязно. И ему, однако, казалось, что он должен в конце концов высказаться, излить душу, объяснить все четко, ясно, определенно.

Когда они вышли на улицу, уже стемнело. Джордж все не умолкал. Они сели в такси. Переполненные улицы, автомобильные пробки, невыносимо резкий блеск, сумасшедший калейдоскоп Бродвея пылали перед его воспаленным, безумным взором, не расплываясь, не в хмельной дымке, а с какой-то искаженной, дикой четкостью, в гротескном отражении того, что представляли собой на самом деле. Его сбитый с толку, возмущенный дух восставал против этого – против всех и вся – против миссис Джек. Потому что он внезапно понял, что она везет его домой, в отель. И взбеленился, счел, что она покидает его, предает. Крикнул водителю, чтобы тот остановил машину. Эстер схватила его за руку, попыталась удержать, он вырвался, заорал, что она обманула его, продала, предала – что не желает больше видеть ее, что она дрянь – и хоть женщина упрашивала его, уговаривала вернуться на место, он велел ей проваливать, захлопнул перед ее лицом дверцу и стремительно скрылся в толпе.

Теперь весь город, качаясь, проплывал мимо него – огни, толпы, ночные, усеянные звездами выси – все это пылало перед его взором в каком-то чудовищном искажении, казалось жестоким и диким. Джорджа охватила убийственная ярость, ему хотелось разбить что-то, разломать, растоптать. Он прокладывал себе дорогу по улицам, словно обезумевшее животное,

вклинивался в толпы, бесцеремонно перся прямо на людей, расталкивал их и наконец, дойдя до полной апатии, достиг конца этого слепого и сияющего пути, оказался перед своим отелом, изможденный, подавленный, навсегда потерявший надежду на счастье. Отыскал свою комнату, вошел и без чувств повалился на кровать ничком. Бутыль эфира взорвалась.

22. ВМЕСТЕ

Эстер позвонила на другое утро, в начале десятого. Джордж пошевелился, застонал и, пошатываясь, сел, в голове у него лопались ракеты, в желудке и на сердце было муторно, ему хотелось провалиться сквозь землю от стыда.

– Как себя чувствуешь? – первым делом осведомилась она, негромко, тем тоном, какой бывает у людей в подобных случаях, не особенно сочувственным, не прощающим, просто вопросительным.

– Ох... хуже некуда, – угрюмо ответил он. – Я... кажется, я вчера перепил.

– Ну... – Она заколебалась, потом издала легкий смешок. – Был слегка необуздан.

Джордж мысленно застонал и без особой надежды произнес жалким голосом: «Извини», сознавая, как обычно люди в подобных случаях, что одними извинениями дела не поправишь.

– Завтракал уже? – спросила она.

– Нет.

При мысли о завтраке его чуть не стошнило.

– Может, тебе подняться и принять душ? Потом сходи куда-нибудь, позавтракай, станет гораздо легче. День замечательный, – продолжала она. – Будет очень полезно выйти, прогуляться.

Джорджу казалось, что ему уже никогда не проявить интереса к завтраку, прогулке или погоде, но он пробормотал, что непременно последует ее совету, и Эстер тут же продолжала, словно намечая программу на день:

– А что собираешься делать потом – я имею в виду вечером?

Вечер казался невозможно далеким, при мысли о нем Джорджу представилась до того унылая перспектива отвратительной вечности, которая должна истечь, прежде чем придет ночь и скроет его проступок в спасительной темноте, что он не смог ответить сразу.

– Не знаю, – сказал он. – Не думал об этом. – И жалким тоном добавил: – Пожалуй, ничего.

– Видишь ли, – торопливо продолжала Эстер, – я подумала, что, может, ты захочешь увидеться вечером со мной. Конечно, если у тебя нет других планов.

В душе у Джорджа шевельнулось волнение, он почувствовал надежду.

– Хочу, конечно, – пробормотал он. – Значит, ты...

– Да, – быстро, решительно перебила она. – Послушай. Сможешь приехать сюда после спектакля? Видишь ли... вряд ли тебе захочется высидеть там снова до конца представления. После него я буду свободна. Сможешь приехать в начале двенадцатого? Будет время пойти куда-нибудь, поговорить.

– К какому времени мне быть там?

– Около четверти двенадцатого. Тебя устраивает?

– Да, вполне. И... я хотел сказать о вчерашнем... о том, как я...

– Ничего, – перебила Эстер со смехом. – Поднимайся, сделай то, что я сказала, почувствуешь себя лучше.

Джордж чувствовал себя уже гораздо лучше, плоть его страдала от головокружения и тошноты, но дух испытывал громадное облегчение и подъем. Спускаясь по лестнице, он смотрел на жизнь уже не столь безнадежно.

Когда Джордж приехал, представление окончилось, и театр обезлюдел. Эстер ждала его в фойе. Они обменялись сдержанным рукопожатием и пошли по коридору за кулисы. Рабочие свои дела почти закончили, несколько человек еще оставалось там, но на сцене горела лишь

одна лампа, очень большая, яркая, однако придавая теням под сводом в глубине таинственную отчужденность мрачного, неисследованного царства.

Актеры разошлись почти все. Один стоял возле доски объявлений, просматривал их. Когда Джордж и Эстер стали подниматься по лестнице, еще двое торопливо спускались, они быстро поздоровались на ходу и поспешили к выходу с видом людей, завершивших работу. Наверху было совершенно тихо, безлюдно. Эстер достала ключ, отперла свою мастерскую, и они вошли. Шаги их раздавались гулко, будто в пустом помещении.

– Послушай, – сказала Эстер, – я оденусь, а потом отправимся в ресторан Чайлдса или еще какой-нибудь. Перед спектаклем я успела съесть только бутерброд, а потом даже не присела.

Она положила на стол сумочку и повернулась к стене, чтобы снять пальто с крючка.

– Я хотел сказать... – начал было Джордж.

– Я быстро, – торопливо сказала она. – И пойдем.

Когда Эстер попыталась отойти, он удержал ее со словами:

– Я хотел объясниться по поводу вчерашнего.

Женщина повернулась к нему и взяла его за руки.

– Послушай, – сказала она, – нам нечего объяснять друг другу. Увидя тебя на пароходе, я поняла, что всегда тебя знала, и с тех пор ничего не изменилось. Когда получила твое письмо...- она вздрогнула и быстро продолжала, – ...когда увидела надпись на конверте, то поняла, что оно от тебя. Поняла вновь, что я нашла тебя и всегда тебя знала, и этого ничто не изменит. Вчера, когда пришла на встречу с тобой, а ты уходил, мне показалось, что ты меня покидаешь. Мне словно бы нож вонзили в сердце, а потом ты повернулся, снова оказался со мной, и потом мы были вместе, только ты и я. И с этим ничего не поделать, я всегда знала тебя, и мы вместе. Ничего объяснять не нужно.

Внизу хлопнула какая-то тяжелая дверь, послышался негромкий, унылый звук удаляющихся шагов по пустому тротуару. В театре царила полная тишина. Эстер с Джорджем стояли, держась за руки, как накануне, и на сей раз им ничего не нужно было говорить, словно бурная встреча накануне уничтожила напрочь смущение, натянутость, необходимость каких бы то ни было объяснений. Они стояли, держась за руки, глядя друг другу в глаза, и понимали, что говорить больше ничего не нужно.

Потом Эстер и Джордж придвинулись друг к другу, он обнял ее, она закинула руки ему на шею, и они поцеловались.

23. ДОМ ЭСТЕР

Миссис Джек жила в Вест-Сайде между Вест-Энд авеню и рекой. По ночам ей были слышны гудки на реке, слышно было, как суда выходят в море. Дом был пятиэтажным, из примелькавшегося рыжевато-песчаника, теперь эти дома исчезают, но тогда они тянулись на много миль. Материал этот уродлив, но пробуждает воспоминания более сильные и чудесные, чем большинство считающихся красивыми вещей. Потому что в этих уродливых, навевающих тоску кварталах, из которых состоит старый Нью-Йорк, сохраняются воспоминания об исконной Америке 1887, 1893, 1904 годов – о том ушедшем времени, которое кажется более отдаленным, более странным и для некоторых людей более прекрасным, чем средние века, – и отзвуки тех времен забыты основательнее, чем Персеполис.

Но дом, в котором жила миссис Джек, уродливым не выглядел. Вид у него был изящный, роскошный. Он не был бесформенным, вычурным, с большими нелепыми углублениями, или чопорным, строгим, угловатым, как многие из тех строений. Фасад его был плоским, простым, изящным, слева от парадной двери блестел большой, занавешенный изнутри лист стекла, в которое была вставлена громадная зеленая бутылка. До того тонкая, что на каждый хлопок двери отзывалась чистым, дрожащим звоном. Трудно сказать, что подвигло владелицу дома вставить туда это украшение, изоощренный профессионализм или чудесная интуиция не менее безошибочного, но менее рационального вкуса, однако оно западало в память. Изящный плоский фасад с громадным листом стекла и огромной бутылкой являлся отображением ее таланта, тонкого, блестящего, безупречного.

Джордж остановился перед этим домом. Он приехал на метро; быстрым, широким шагом прошел по одной из улиц к реке, потом отправился по Риверсайд-драйв вдоль улицы, на которой жила Эстер, пытаясь догадаться, какой дом принадлежит ей. Затем обогнул квартал и вот теперь был на месте. Поднялся по ступеням, позвонил, через несколько секунд молодая ирландка в платье горничной открыла дверь и впустила его. Он спросил, дома ли миссис Джек, представился, горничная хрипловатым, звучным голосом ответила, что его ждут, и пригласила пройти с ней.

Вестибюль был просторным, обшитым темными панелями, с ореховым паркетом. Перед тем как последовать за горничной по лестнице, Джордж глянул в дверь, которую та бросила открытой, увидел сидевших за столом девушек-ирландок и здорового, снявшего мундир полицейского. Они обратили к нему раскрасневшиеся веселые лица, потом раздалась громкая музыка из фонографа, и дверь закрылась. Тогда он стал подниматься по широкой темной лестнице вслед за горничной.

Дом был узковатым, но вытянутым в глубину. Ширины едва хватало для одной большой комнаты благородных пропорций; три большие комнаты уходили вглубь, там царил атмосфера простора и покоя, и повсюду в доме ощущалась изящная, уверенная рука женщины, хрупкой и вместе с тем очень сильной.

Мебель была старая, десятка различных эпох и стилей. Там были стулья, столы, комоды, отмеченные несравненной, чистой простотой колониальной Америки, большой итальянский сундук четырнадцатого века; на каминной доске лежало зеленое покрывало из старого китайского шелка и стояла маленькая зеленая статуэтка одной из прекрасных и сострадательных богинь, выражающая своим обликом бесконечное милосердие, были великолепные венские бокалы, фермерские шкафы веселых баварских крестьян, чудесные ножи и вилки, простые, массивные, изготовленные в Англии восемнадцатого века.

И однако все это разнообразие оборачивалось не мешаниной дурно подобранных

редкостей, а неким живым единством. Вещи эти гармонично, красиво сливались в единство дома; выбраны они были без спешки, в разных местах, в разное время, так как были пригодны и красивы, так как Эстер знала, что для ее дома они в самый раз. Все в доме, казалось, служило тому, чтобы давать людям радость и уют, ничто не было простой музейной редкостью, предназначенной для разглядывания, всеми вещами пользовались, и повсюду ощущались спокойное достоинство, беззаботность, обеспеченность.

Вещи эти создавали впечатление, несомненно, правдивое, что никто из тех, кто сидел там за столом, не ушел голодным или жаждущим. Дом этот был полной чашей, одним из самых гостеприимных в мире. В еврейском характере едва ли не самой замечательной чертой является сладострастная любовь к обеспеченности, достатку: еврей ненавидит все пресное и убогое, он не потерпит скверной еды или гнетущих неудобств, не станет отпускать шуток по их поводу или называть черное белым. Он считает, что в бедности есть нечто жалкое, унижительное, он любит тепло и достаток и он прав.

Поэтому чудесный дом миссис Джек был одним из лучших на свете. Хоть и скромным по размеру и внешнему виду, однако по теплу и красоте ничего сравнимого явно нельзя было отыскать ни среди огромных домов Англии, где люди имеют десятки старых комнат, множество слуг, однако радостно потирают красные, потрескавшиеся руки при виде брюссельской капусты с бараниной и жалко ежатся над полупинтовой спиртовкой; ни во Франции, где все слишком позолочено и хрупко; ни в Германии, где стандарты хорошей жизни очень высоки, но и очень разорительны.

Американская радость – самая сильная и торжествующая на свете: дом наподобие этого окутан волшебным эфиром, а вера в успех, несметное богатство и славу отражается на всем. Так кажется молодым людям. Молодому человеку гораздо приятнее жать богатых людей, чем быть богатым самому: для юноши прекрасно не богатство, а мысль о богатстве. Юноша не хочет денег: он хочет, чтобы его приглашали в богатые дома и угощали шикарными обедами, хочет знать богатых и красивых женщин, хочет, чтобы они любили его, ему кажется, что раз одежда, белье, чулки у них из самых прекрасных и редких тканей, то и ткани их плоти, слюна, волосы, мышцы и связки тоже лучше, качественнее, чем у более бедных.

Джордж никогда не бывал в таких домах, ему были внове его утонченная, слегка тронутая временем изысканность и прелесть, поэтому он слегка разочаровался. Представление о богатстве миссис Джек у него сложилось преувеличенное. С тех пор как тот человек на судне сказал, что она «баснословно богата», ему рисо-мались тридцать – сорок миллионов долларов, и он думал, что ее лом окажется громадным, сверкающим. Теперь дом казался ему старым и несколько ветхим, но вместе с тем приветливым, уют-пым. Он уже не испытывал перед ним страха и благоговения, как до входа в него.

Повернувшись перед вторым пролетом лестницы, Джордж мельком увидел обжитую, уютную гостиную с невысокими книжными шкафами вдоль стен. В шкафах стояли сотни, тысячи юмов, но они не выглядели роскошно переплетенными нечитанными сокровищами в домах неразборчивых богачей. У них были приятные вид и запах книг, которые берут в руки, читают.

Джордж пошел следом за горничной уже оживленнее, увереннее, они прошли мимо спален, просторных, светлых, с большими кроватями под пологом; и наконец на верхнем этаже подошли к комнате, которая служила миссис Джек мастерской. Дверь была приоткрыта, они вошли. Миссис Джек, деловитая, сосредоточенная, склонялась над чертежным столом, небрежно выставив вперед одну изящную ступню. При их появлении она подняла голову. Джордж поразился, увидя на ней очки в роговой оправе. Они придавали ее маленькому лицу какой-то материнский вид, она комично уставилась поверх них на вошедших и весело

воскликнула:

– Вот и вы, молодой человек! Входите!

Потом быстрым, нервным движением маленькой руки сняла очки, положила на стол и пошла навстречу Джорджу. И сразу же превратилась в памятное ему маленькое, приветливое создание. Ее маленькое румяное лицо сияло, но внезапно став немного сдержанной, смущенной, она чуть нервно пожала ему руку и сказала несколько резким, нетерпеливым городским голосом:

– Привет, мистер Уэббер. Как себя чувствуете, а?

И принялась быстро, нервно снимать с пальца и вновь надевать кольцо, что вызвало у Джорджа легкое раздражение.

– Хотите чаю, а? – спросила она все тем же чуть протестующим тоном, и когда он ответил: «Хочу» – сказала:

– Ладно, Кэти, принеси нам чаю.

Горничная вышла и закрыла за собой дверь.

– Ну вот, мистер Уэббер, – сказала миссис Джек, продолжая снимать и надевать кольцо, – это комнатка, где я работаю. Как она вам нравится, а?

Джордж ответил, что комната, на его взгляд, хорошая, и неуверенно добавил:

– Работается в ней, должно быть, отлично.

– О, – серьезным тоном произнесла Эстер, – лучшего места и представить невозможно. Просто чудесная, – торжественно заявила она. – Тут целый день замечательное освещение, но они собираются снести дом. – И указала на большое строящееся здание. – Возведут эту многоквартирную домину, и она просто задавит нас. Обидно, правда? – продолжала Эстер негодуя. – Мы прожили здесь много лет, а теперь они хотят нас выжить.

– Кто они?

– Застройщики. Намерены снести весь квартал и построить один из этих ужасных домов. Кончится, видимо, тем, что они нас выживут.

– Как? Разве этот дом не ваша собственность?

– Наша, но что поделаешь, если нас стараются вытурить? Настроят со всех сторон громадных зданий, лишат нас света и воздуха – просто-напросто задушат. По-твоему, люди вправе поступать так? – выпалила Эстер с легким, беззлобным негодованием, от которого ее приятное, цветущее, раскрасневшееся лицо становилось очень привлекательным, вызвало нежное, улыбочное отношение к ней, даже если она гневно протестовала. – Тебе не кажется, что это ужасно, а?

– Жаль, дом вроде бы хороший.

– Господи, это *замечательный* дом! – с жаром сказала она. – Как-нибудь покажу тебе его весь. Когда мы будем уезжать отсюда, я облачусь в траур.

– Надеюсь все же, что не придется.

– Придется, – ответила Эстер со сдержанной печалью. – Это Нью-Йорк. Здесь ничто долго не сохраняется... недавно я проезжала мимо дома, где жила еще девочкой. Других домов на улице не осталось – все вокруг застроено этими громадными щаниями. Господи, это было похоже на кошмар! Знаешь, какое чувство вызывает время? Непонятно, то ли живешь на свете целую вечность, то ли всего пять минут – в этом есть что-то странное, жуткое. Я испугалась и поплыла, – сказала она с комичным видом.

– Поплыла?

– Ну, знаешь – так чувствуешь себя, когда смотришь вниз с высокого здания... Прожила я в том доме года два. После смерти отца стала жить у дяди. Он был громадиной, весил больше трехсот фунтов – и Господи! До чего же любил поесть! Он бы тебе очень понравился. *Самое*

лучшее было в этом человеке просто-напросто обыденным!

При этих словах нежное, изящное лицо Эстер лучилось весельем, она выделила их, произнеся чуть ли не шепотом, крепко сжала большой и указательный пальцы маленькой сильной руки и сделала жест, означавший, что под «самым лучшим» она подразумевала чуть ли не сверхчеловеческое совершенство.

– Да! Он был замечательным человеком. Врачи сказали, что он сберег себе пятнадцать лет жизни тем, что пил только шотландское виски. Начинал часов в восемь утра и пил целый день. Ты в жизни не видел, чтобы человек поглощал столько спиртного. Даже не поверил бы, что такое мыслимо. И он был очень умным – это самое странное, выпивка как будто совершенно не отражалась на его работе. Он был комиссаром полиции – одним из лучших во все времена. Был очень близким другом Рузвельта, мистер Рузвельт приезжал в тот дом повидаться с ним... Господи! Кажется, это было так давно, и все же помнится совершенно ясно – прямо-таки чувствую себя музейным экспонатом, – со смехом продолжала она. – Как-то вечером дядя взял меня с собой в оперу, мне было, наверное, лет шестнадцать. Господи! Я так гордилась, что нахожусь с ним! Давали оперу Вагнера, у него, сам знаешь, все гибнут, мы незадолго до конца пошли к выходу, и дядя Боб прогремел: «Все мертвы, кроме оркестрантов!». Господи! Я подумала, что спектакль придется остановить! Его было слышно на весь театр.

Эстер остановилась, оживленная, смеющаяся, раскрасневшаяся от горячности собственного рассказа. Остановилась у реки жизни и времени. И на миг Джордж увидел яркое сияние былых времен, услышал странную, печальную музыку, которую издает время. Ибо перед ним находилась эта теплая, дышащая плоть, наполненная воспоминаниями о былом мире и минувших днях. Вокруг нее витали призраки позабытых часов, странный бронзовый свет памяти отбрасывал неземное сияние на свет настоящего. Видение старых фотографий и газет, сильная воскресающая память о прошлом, которого Джордж не видел, но которое вошло в его кровь подобно плодам земли, на которой он жил, пронизали его дух невыразимой светлой печалью.

Он видел мгновенья ушедшего времени, ощущал прилив жажды и невыносимого сожаления, что все ушедшее время, мысль обо всей той жизни, которая была на земле, и которой мы не видели, пробуждается в нас. Слышал шаги множества позабытых ног, речь и поступь безъязыких мертвецов, отзвучавший стук колес – то, что исчезло навсегда. И видел забытые струйки дыма над Манхэттеном, исчезнувшие великолепные суда на бесконечных водах, лес мачт вокруг этого чудесного острова, серьезные лица людей в шляпах дерби, которые, заснятые внезапно в неведомый день старой фотокамерой, застыли в причудливых позах, уходя по Мосту из времени.

Все это отбросило тени на ее изящное, румяное лицо, оставило отзвуки в ее памяти, и вот она стояла здесь, дитя, женщина, призрак и живое существо – создание из плоти и крови, внезапно связавшее его с призрачным прошлым, чудо смертной красоты среди громадных шпилей и башен, сокровище, случайно обретенное на море, частичка беспредельных томления и неприкаянности Америки, где все мужчины странствуют и тоскуют по дому, где все меняется, а постоянны только перемены, где даже намять о любви попадает под сокрушающий молот, зияет какое-то мгновение, словно разрушенная стена на слепом глазу земли, а потом исчезает в нескончаемых потоках перемен и движения.

Миссис Джек была красавицей; у нее было цветущее лицо; шел октябрь тысяча девятьсот двадцать пятого года, и мрачное время струилось мимо нее, словно река.

Станем мы выделять одно лицо из миллиона? Одно мгновение из тьмы минувших времен? А разве любовь не жила в этих дебрях, разве здесь не было ничего, кроме рычания и джунглей улиц, раздражения и понукающей ярости этого города? Разве любовь не жила в этих дебрях,

разве не было ничего, кроме нескончаемых смертей и зачатий, рождений, взрослений, растений и хищного рыка, требующего крови и меда?

Мы станем презирать презирающих, поносить поносителей, насмехаться над насмешниками. Разве они поумнели от брани и колкостей? Разве, если у них злобные языки, они говорят правду? Разве, если глаза ослеплены, они ясно видят? Разве, если пески желтые, то золота не существует? Ложь. Еще будут построены громадные мосты, более высокие башни. Однако клятва исполнилась там, где рухнула стена; слово запомнилось там, где исчез город; и вера не умерла, когда истлела плоть.

Миссис Джек была красавицей; у нее был кроткий взгляд; и таких, как она, на всем свете больше не было.

На миг Эстер умолкла и, мягко улыбаясь, поглядела в окно с тем задумчивым, спокойным, чуточку печальным выражением, какое бывает у людей, когда они вспоминают забытые лица, отзвучавший смех, невинность далеких радостей. Ясный, нежный свет заходящего солнца падал ей на лицо, не обжигая и не слепя, рассеянными, угасающими, золотистыми лучами, она ненадолго погрузилась в еще более глубокую задумчивость, и Джордж увидел на ее лице взгляд, какой несколько раз замечал на судне и ко-трый уже обладал силой вызывать у него подозрения и пробуждать ревнивое любопытство.

Этот безрадостный, мрачный и страстный взгляд преобразил се веселое, оживленное лицо, оно стало угрюмо-напряженным. Внезапно Джордж заметил, что губы ее изогнулись одним концом вниз, будто крыло, сделав лицо похожим на маску горя, придав ему непонятную страстность, и его пронзило острое желание понять тайну этого взгляда. В нем было какое-то странное животное недоумение. Джордж заметил, что невысокий лоб Эстер прочертили морщины, словно мозг ее пытался осмыслить какое-то горестное событие.

Эстер в какой-то миг перешла от простодушного пылкого интереса, живого, детского любопытства, которое обнажало все ее чувства и словно бы наполняло постоянным чувственным наслаждением всей жизнью и поведением мира, к глубокому, полному уходу в себя, к забвению обо всем в мире. В этом взгляде было столько недоумения и боли, столько безутешного горя и задумчивой страсти, что он пробудил у Джорджа чувство мучительного недоверия.

Джордж почувствовал себя обманутым, одураченным, сбитым с толку умом и коварством женщины, слишком опытной, мудрой, хитрой, чтобы он мог постичь ее или тягаться с ней. Подумал, не является ли ее простодушная пылкость и бросающаяся в глаза поглощенность окружающей жизнью, и даже веселое, румяное лицо с его утонченной, благородной красотой просто-напросто маской для сокрытия душевной тайны, не ширма ли все это, предназначенная для того, чтобы обмануть весь мир, и не погружается ли она, едва оставшись наедине с собой, когда не работает и не развлекается, в это мрачное настроение.

В чем тут дело? Память это о какой-то определенной мучительной утрате, мысль о любовнике, покинувшем ее, переживание горя, от которого так и не оправилась? Дума о каком-то мужчине, каком-то неизвестном любовнике, с которым, возможно, она рассталась тем летом в Италии? Был какой-то молодой человек вроде него самого, парень, которого она домогалась? Сосредоточены ее мысли, из которых он сейчас начисто исчез, на том человеке и той страсти? Не является ли он всего-навсего заменой тому парню, раком на безрыбье?

Джордж сказал себе, что ему наплевать, и казалось бы, цинизм, который он исповедовал в ту минуту, с которым причислял эту женщину к множеству богатых светских дам, постоянно ищущих новых связей и любовников, должен был дать ему силы принять такое положение вещей без сожалений. Однако Джордж испытывал муки ревности; не желая признаваться ей в

страсти или и любви, он хотел, чтобы она призналась ему в этих чувствах. Хотел быть для нее дороже всех.

В его мозгу вспыхнуло злое видение города. Не сияющее, радостное, как в детстве, оно было начертано красками похоти и жестокости, наполнено изменами и предательством, населено крамольниками страсти – целым миром богатых, чувственных, ненасытных женщин, профессиональных Дон Жуанов, лесбиянок, педерастов, жестоким и бессильным; миром бесплодия, которое тешится страданиями, угасших влечений, которые можно оживить только зрелищем горя и безумия – весь этот мир словно бы осмеивал веру и страстность юности, так бывает осмеян деревенский парень, когда узнает, что его любовь послужила зрелищем для любителей подглядывать.

Или мрачная, страстная задумчивость этой женщины всего-навсего призрак какого-то менее определенного и менее личного горя? Просто отражение грусти, невнятной и не связанной ни с кем и ни с чем, глубокого, невыразимого ощущения трагической изнанки жизни, утраты юности, приближения старости и смерти, неизбежного ужаса времени?

Джордж вспомнил, как спокойно, с какой роковой твердостью она сказала в последнюю ночь на судне: «Хочу умереть – надеюсь, умру через год или два». И когда он спросил, почему, ответила с тем же выражением животного недоумения на лице: «Не знаю... Просто чувствую себя конченной... Кажется, подошла к концу всего... Я больше ни на что не способна».

Эти слова вызвали у него невыразимый гнев и раздражение, потому что он ненавидил смерть и страстно хотел жить, потому что в ее тонине было ни истерики, ни внезапного горя. Были странная вялость, безвыходное недоумение, словно она действительно подошла к концу всех желаний, всех возможностей, словно была убеждена, что ничего нового или прекрасного не может быть добавлено к итогу ее жизни.

Контраст между этой минутой отчаяния, безнадежного смирения и обычным состоянием миссис Джек, веселой, радостной поглощенностью потребностями жизни был так разителен, что Джордж ощутил гнев и недоверие: если это чувство опустошенности, трагичности жило в ней постоянно, насколько можно доверять тому простодушному, оживленному виду, который она принимала перед миром, лицедейству, которое было таким красивым, чувственным, исполненным радости, прелести и юмора, которое пробуждало у людей любовь к ней.

Джордж не мог считать, что она обманывает мир каким-то лицемерным, хитроумным способом. Подобная мысль казалась нелепой, потому что играть такую роль недоставало бы таланта ни одной актрисе, и Джордж ощущал недоверие и боль, какие испытываешь, открывая неожиданные ошеломляющие глубины и сложности в характере человека, которого считал простым и легко понятным.

Теперь даже ее прямодушная, откровенная, простая манера разговаривать – частое, однако очень непосредственное, непринужденное употребление таких словечек, как «шик», «блеск», «бесподобно» и подчас «клево» – ее маленькое, веселое, румяное лицо, ее открытость, простота, прямодушие казались частью обманной системы неимоверно сложного, умудренного, искушенного духа.

Мало того, что миссис Джек прибегала к этому грубовато-просторечивому жаргону, который входил тогда в моду среди утонченной публики, он звучал в ее устах совершенно естественно, словно она непринужденно, безыскусно пользовалась им наряду с обычной, правильной, меткой речью, обогащенной простыми, обыденными разговорными метафорами, однако в высшей степени своеобразной, изливающейся, казалось, с поразительной самопроизвольной находчивостью и словно бы почерпнутой из опыта и ощущений жизни.

К примеру, описывая невыносимую жару на пирсе в тот день, когда судно вошло в док, она сказала: «Господи, ну и жуть была! Я думала, что растаю, не успев выйти отсюда! Прямо-таки

хотелось открутить голову и бросить ее помокнуть в колодец с холодной водой!». И этот образ освежения, пролады так восхитил ее, что она с румяным лицом, лучившимся восторгом, юмором, пылом, стала описывать, как бы это могло быть сделано: «Чудесно было бы, жаль, что такое невозможно! В детстве мне часто приходило это в голову. Я ненавидела летнюю жару; меня заставляли напяливать столько одежек, просто ужас! И я думала, как было бы хорошо открутить голову и опустить в колодец – всю процедуру я представляла очень явственно, – продолжала Эстер с покрасневшимся от смеха лицом. – Чуть повернула бы голову, она бы издала «твирк!», и можно было бы опускать ее в колодец. Она бы чуть помокла, я бы достала ее, поставила на место – «твирк!» – и голова у меня снова чистая, прохладная. Замечательные штуки придумывают дети, а?» – спросила она с веселым, покрасневшимся лицом.

Воображение ее переполняли всевозможные фантастические образы вроде этого, и она с детской очаровательностью постоянно выдумывала новые. О некоторых напыщенных актерах она говорила с презрением, в котором, однако, не было язвительности или злобы:

– Слушай! Этот человек так важничает, что меня с души воротит. До того вычурный, ты даже не поверишь, что такое возможно, пока его не увидишь. Знаешь, как выглядит его лицо? Совсем как ломоть холодной ветчины! – И, лучась добродушием, радостно смеялась по-женски неудержимо и сочно.

Наконец она спокойно и очень серьезно отзывалась о ком-нибудь из знакомых:

– О, это очень славный человек. Один из самых славных, каких я только знала! – и говорила это с выражением такой откровенности и убежденности на маленьком серьезном лице, что слушатель сразу же убеждался не только в ее искренности, но и в «славности» человека, о котором шла речь.

Тем не менее Эстер часто произносила грубовато-просторечные словечки, которые тогда стали употреблять утонченные светские люди и в которых было нечто притворное, постыдное, отвратительное, когда их произносили *они*. Однако теперь Джордж с каким-то нелогичным недоумением и смятением духа подумал, не употребляет ли она их с той же целью, что и прочая светская публика – придать впечатление простоты, прямоты, открытости своей отнюдь не простой натуре, однако до того одаренной, талантливой, что, повторяя эти слова, фразы вновь и вновь с уверенным, умелым притворством, ухитрялась создать полную иллюзию простоты.

Эстер постоянно употребляла слово «вычурный», и было очевидно, что в ее устах это едва ли не худшая характеристика. Однако вспоминая, как она говорила на судне неизменно прямо, открыто, с убедительной искренностью – что считает пьесу Джеймса Джойса «Изгнанники» «величайшей пьесой всех времен», прекрасно сознавая, что это просто-напросто вычурная, невразумительная вещь, ни в какое сравнение с «Улиссом» не идущая; как говорила о Дэвиде Герберте Лоуренсе чуть ли не с религиозным обожанием, словно Лоуренс не только создал прекрасные книги и волнующих персонажей, но и был вторым Иисусом Христом, открывающим путь к жизни и вечной истине; как рассказывала, что «подвергалась психоанализу» и говорила о психоанализе как о величайшей открытой людьми истине, неожиданном средстве исцелить все ярость, беспокойство и безумие, поражающие человеческие души двадцать тысяч лет, – слышав все это наряду с замечаниями об африканской скульптуре, примитивистской живописи, о Чарли Чаплине как величайшем трагическом актере, современных танцах и разговорами обо всех прочих подобных материях, украшающих жизнь утонченной публики, которые под демонстрацией свободомыслия и острого интереса к новым формам искусства и жизни представляют собой просто-напросто серую, скучную, безжизненную форму приспособленчества для тех, кто не в состоянии создать для себя новую жизнь, кто стремится главным образом держать нос по ветру – уже увидев, отметив у нее все эти тревожные признаки знакомого культа, Джордж думал теперь в страдании и смятении духа:

является ли она очень способной «вычурной» личностью, притворяющейся простой, или, как и кажется, простой, прямодушной, честной, ненавидящей все «вычурное».

Джорджа это мучительно беспокоило, потому что всякий раз, когда Эстер произносила это слово, он прилагал его к собственной жизни и вспоминал письмо, которое написал ей. Тут он терзался стыдом и отвращением при мысли, что оно вышло напыщенным, витиеватым, вымученным и что вместе с тем писал его кровью сердца – что корпел в настоящем труде, испытывал настоящие страдания, отчаяние, муки ради чего-то фальшивого.

Затем Джордж неожиданно вспомнил, что в последнюю ночь на судне Эстер проявила сочувственную натуру, расстраивалась, так как «не хотела видеть, как он страдает» – и ее слова, случайность их знакомства пробудили в его душе мучительное подозрение, что на его месте мог быть другой молодой человек, что он просто оказался на пути романтической женщины, когда та искала приключений. Ему с горечью вспомнились все обстоятельства их знакомства. Он поморщился и попытался выкинуть их из головы. Понял, что ему хотелось бы познакомиться с нею как-то иначе.

Человек может созерцать всеобщий спектакль жизни с отстраненностью циника или философа, забавляться ее обманами и безрассудствами, охотнее всего смеяться над безумием любви и любовника; но когда он становится актером в этом представлении, отстраненность исчезает, и когда дело касается его чувств и интересов, конфликт между общей правдой и отдельной страстью вызывает сомнение, боль, страдание. И теперь Джордж в какой-то степени ощущал этот конфликт. Кто она – женщина, с ужасом ждущая наступления средних лет и желающая любовника – какого угодно? Нет, редкостная красавица, которая предпочитает его всем остальным. Что представляет собой его связь с нею – часть человеческой комедии безрассудства и иллюзорной страсти, очередной повтор бесконечного приключения возлюбленного юноши, неопытного деревенского простака, впервые оказавшегося в большом городе? Нет, чудесную случайность, соединение двух половинок сломанного талисмана, слияние двух верных сердец, прекрасных и верных любовников, прошедших весь лабиринт и хаос обширных дебрей земли, чтобы найти друг друга – веление и волю судьбы.

Глядя в замешательстве, в сомнении на эту женщину, погруженную в мрачную, вызывающую беспокойство задумчивость, он вдруг захотел крикнуть ей отчаянно, яростно: «О чем думаешь? Что означает этот трагичный, таинственный вид? Думаешь, ты до того утонченная, что я не способен тебя понять? Ты вовсе не столь уж изумительна! Мои мысли и чувства не менее глубоки, чем твои!».

Какое-то время миссис Джек, погруженная в мрачную, глубокую, непостижимую для Джорджа задумчивость, опиралась о стол, на котором были разбросаны эскизы и наброски костюмов. В конце концов Джордж порывисто, раздраженно с силой ударил ладонью по гладкой столешнице. Эстер тут же вышла из задумчивости, испуганно взглянула на него, снимая кольцо и вновь надевая, потом с добрым, теплым взглядом подошла к нему и улыбнулась.

– Что разглядываете, мистер Уэббер? Нравятся вам мои эскизы, а?

– Да! Очень, – холодно ответил он. – Замечательные, – хотя не смотрел на них.

– Люблю работать здесь, – сказала Эстер. – Все инструменты такие чистые, красивые. Посмотри, – указала она на стену, где свисали с гвоздей рейсшина и треугольник.

– Красивые, правда? Слово бы живут своей жизнью. Такие опрятные, крепкие. С их помощью можно сделать очень изящные, красивые вещи. И сами они величественные, благородные. Наверное, замечательно быть писателем, как ты, обладать способностью выразить себя в словах.

Джордж покраснел, резко, с подозрением глянул на нее, но промолчал.

– По-моему, это величайшая способность на свете, – продолжала Эстер серьезным тоном. – С нею не может сравниться ничто – она доставляет полное удовлетворение. Господи, жаль, что я не умею писать! Если б могла изложить то, что знаю, написала бы замечательную книгу. Сказала бы несколько таких вещей, что у читателей глаза бы на лоб полезли.

– Каких? – с любопытством спросил Джордж.

– О, – с горячностью ответила Эстер, – всевозможных, какие знаю. Я каждый день вижу изумительные вещи. Вокруг такая красота, великолепие, и, похоже, всем на это наплевать! Позор, тебе не кажется, а? – произнесла она тем негодующим тоном, который вызывает у людей смех. – Мне кажется. Я бы хотела рассказать людям о своей работе. О тех вещах, которыми работаю, – сказала она, поглаживая пальцами мягкую, гладкую столешницу. – Хотела бы рассказать обо всем, что можно делать с помощью этих чудесных принадлежностей: о том, какая жизнь заключена в них – как они висят на стене, каковы они на ощупь. Господи, как бы хотелось мне рассказать людям о своей работе! О том, что я испытываю, когда делаю эскизы! Внутри у меня происходит нечто чудесное, захватывающее, и никто ни разу не спросил меня об этом, никто не попытался уз нать, что это такое, – возмущенно сказала она, словно несла какую-то личную ответственность за это дурацкое невнимание. – Позор!.. Знаешь, я хотела бы написать обо всем, что вижу всякий раз, выходя на улицу. Все это постоянно становится более великолепным, красивым. Я все время обнаруживаю новые вещи, которых прежде совершенно не замечала... Знаешь, что мне кажется одной из самых замечательных вещей на свете? – внезапно спросила она.

– Нет, – ответил Джордж, словно зачарованный, – что?

– Так вот, слушай, – выразительно ответила она, – витрина скобяной лавки... На днях я проезжала мимо одной по пути в театр, и Господи! – она была такой замечательной, что я остановила машину и вылезла. Там были все эти прочные, красивые инст рументы, они образовывали чудесный рисунок, это была словно бы некая странная, новая разновидность поэзии... Да, и вот что еще! Я хотела бы рассказать, как выглядит высокое здание, когда подходишь к нему. Иногда вечером оно образует замечательный вид на фоне неба – мне бы хотелось написать его красками... Хотелось бы рассказать и обо всех разных людях, которых вижу, о том, как они одеты. Написать все, что знаю об одежде. Это самая очаровательная вещь на свете, а о ней как будто бы никто ничего не знает.

– А ты? – спросил Джордж. – Много знаешь о ней? Думаю, что да.

– Много ли знаю? – воскликнула Эстер. – Он еще спрашивает! – Возмутилась она с комичным видом и по-еврейски воздела руки к небу. – Дай мне растерзать его! – произнесла она, весело имитируя свирепость. – Дай мне его растерзать! Так вот, молодой человек, скажу только, что если хочешь найти кого-то, кто знает о ней больше, чем твоя старушка Эстер, тебе придется посвятить поискам долгие годы. Больше по этому поводу сказать мне нечего.

Джордж невольно восхитился той радостью, которую доставляли Эстер ее мастерство и знание; хвастовство ее было таким веселым и добродушным, что ни у кого не могло бы вызвать недовольства, и он был уверен, что оно полностью оправдано.

– О, я знаю изумительные вещи об одежде, – торжественно продолжала она. – Такие, которых не знает больше никто. Как-нибудь расскажу тебе... знаешь, у меня есть работа в одной крупной швейной фирме в южном Манхеттене. Приезжаю туда по ут рам дважды в неделю, делаю эскизы. Место для работы великолепное, жаль, ты его не видел. Такое чистое, просторное, там большие, тихие комнаты, и вокруг рулоны, рулоны превосходного материала. В этих тканях есть нечто величественное, они благородные, красивые, из них можно делать прекрасные вещи. Я люблю ходить в цех и наблюдать маленьких портных за работой. Знаешь, они отличные мастера, некоторые получают двести долларов в неделю. И Господи! –

неожиданно воскликнула она, ее маленькое лицо весело раскраснелось, – как от них воняет! Иногда просто ужасно, кажется, эту вонь можно резать ножом. Но я люблю наблюдать за их работой. У них такие искусные руки. Когда они продевают нитку и завязывают узелок, это похоже на танец.

Джордж слушал эту женщину, и в душу ему входили огромная радость, покой, уверенность. Она внушала ему сознание силы легкости, счастья, каких он никогда не испытывал, а все недавние сомнения, смятение исчезли. Внезапно жизнь города показалась роскошной, великолепной, исполненной торжества, он почувствовал в себе способность побеждать, одолевая любые препятствия, забыл ужас и страх перед кипучей жизнью улиц, жуткое одиночество и бессильное отчаяние человеческого атома, прокладывающего свой путь среди миллионов, стремящегося восторжествовать в противостоянии ужасу громадных зданий и толп.

Это маленькое создание нашло образ жизни, который казался ему исполненным счастья и успеха: она была сильной, небольшой, умелой, была исполнена радости, нежности, живого юмора, была очень храброй и доброй. Он ясно видел, что она порождение этого города. Она родилась в этом городе, прожила в нем всю жизнь и любила его; притом у нее не было встревоженного, загнанного вида, бледности, металлической скрипучести голоса, характерных для многих нью-йоркцев. Дитя стали, камня, кирпича, она была свежей, румяной, налитой соками, словно дитя земли.

Есть люди, обладающие способностью испытывать довольство и радость, они придают их всему, к чему прикасаются. Это прежде всего физическая способность; потом духовная. Неважно, состоятельны эти люди или бедны: в сущности, они всегда богаты, потому что обладают такими внутренним богатством и жизненной силой, что придают всему достоинство и привлекательность. Когда видишь такого человека в буфете за чашкой кофе, то почти ощущаешь вкус и запах напитка: это не просто одна из множества чашек буфетного кофе, это чашка лучшего кофе на свете, и человек, который пьет его, кажется, получает от его вкуса и аромата все возможное наслаждение. Притом делается это без демонстративного смакования, гурманства, вздохов, причмокивания и облизывания губ. Это неподдельная, природная способность к радости и довольству; она исходит из основ его жизни, ее невозможно имитировать.

Нередко обладают этой способностью бродяга, безработный или нищий. Приятно видеть, как такой человек лезет в обвисший карман старого, потрепанного пиджака, достает мятую сигарету, берет ее в губы, прикуривает, закрывая огонек спички жесткими ладонями, с удовольствием затягивается едким дымом и вскоре выпускает его медленными струйками из ноздрей, обнажая зубы.

Этой способностью зачастую обладают люди, которые водят ночами большие грузовики. Они прислоняются к бамперу своей машины в бледном зеленом свете габаритных огней и курят; потом их жизни посвящаются скорости и темноте, в города они мьезжают на рассвете. Обладают ею люди, отдыхающие от работы. Каменщики, которые возвращаются с работы в поездах и курят крепкие дешевые сигары – есть что-то наивное, трогательное в том, как эти люди с довольными улыбками глядят на дешевые сигары в своих больших, неуклюжих пальцах. Едкий дым приносит их усталой плоти глубокое удовлетворение.

Обладают этой способностью молодые полицейские, сидящие, сняв мундиры, в открытых всю ночь кафе, таксисты в черных рубашках, профессиональные боксеры, бейсболисты и автогонщики, смелые и великодушные люди; строители, сидящие перхом на балке в головокружительной вышине, машинисты и тормозные кондукторы, одинокие охотники, трапперы, сдержанные, замкнутые люди, живущие одиноко и в глуши, и в одной из комнат

большого города; словом, все имеющие дело с осязаемыми вещами, с тем, что обладает вкусом, запахом, твердостью, мягкостью, цветом, что требует управления или обработки – строители, транспортники, деятельные труженики, созидатели.

Не обладают этой способностью те, кто перебирает бумаги, стучит по клавишам – конторские служащие, стенографистки, преподаватели колледжей, те, кто обедает в аптеках, бесчисленные миллионы, уныло живущие тепличной жизнью.

И если у человека есть эта природная способность к радости, то сказать «все остальное неважно» не будет нелепым преувеличением. Он богат. Возможно, она самый богатый ресурс духа; она лучше систематического воспитания, и воспитать ее невозможно, хотя с течением жизни она становится сильнее и богаче. Она исполнена мудрости и безмятежности, поскольку в ней есть память о том, что страдание и труд являются противоположностями. Она исходит из понимания и окрашена печалью, потому что в ней есть знание о смерти. Она может примиряться и сожалеть, и это хорошо, так как ей ведомо, что все безрадостное не должно иметь права на существование.

Миссис Джек обладала этой природной способностью испытывать радость в высшей степени. Радость ей доставляло не только физическое, осязаемое, но и богатое воображение, тонкая интуиция; радость эта была исполнена веры и достоинства, и Эстер передавала ее всему, к чему притрагивалась. Так, когда она обратила внимание Джорджа на орудия и материалы, которыми работала – чертежный стол с мягкой гладкой столешницей из белого дерева, маленькие, широкие горшочки с краской, хрусткие листы чертежной бумаги, приколотые кнопками к столу, аккуратно заостренные карандаши и тонкие кисти, рейшины, счетные линейки и треугольники, – он стал ощущать сущность и живую красоту этих предметов как никогда раньше. Миссис Джек любила эти вещи, потому что они были точными, изящными, потому что верно и безотказно служили тому, кто умел с ними обращаться.

Этот согревающий, восхитительный талант служил ей во всем с неизменными готовностью и уверенностью. Миссис Джек стремилась к самому лучшему и красивому в жизни, она всегда искала этого и, находя, всякий раз узнавала и оценивала. Во всем она хотела только лучшего. Она не стала бы делать салат из вялых листьев: если б их поверхность не была хрусткой и свежей, она сняла бы ее и пустила в дело сердцевину, если б у нее было всего два доллара, а она пригласила бы гостей на обед, то не стала бы расчетливо тратить деньги на чуточку того и другого. Она пошла бы на рынок, купила бы лучший кусок мяса, какой смогла найти на эту сумму, принесла бы домой и готовила сама, покуда оно не приобрело бы всей сочности и вкуса, какие мог придать ему ее прекрасный характер, потом подала бы его на толстом кремовом блюде на стол, украшенный только ее большими тарелками, массивными ножами и вилками восемнадцатого века, которые купила в Англии. И ничего больше, однако, поев, все гости сочли бы, что роскошно попиrowали.

Люди, обладающие этой энергией радости и очарования, притягивают к себе других, как спелые сливы пчел. Большинству людей недостает энергии, чтобы жить внутренней жизнью, они робки и неуверены в своих мыслях и чувствах, думают, что могут почерпнуть силу, живость, характер, которых им недостает, в полных жизни, решительных. Поэтому люди любили миссис Джек и тянулись к ней: она давала им чувство уверенности, радости, живости, которым они не обладали.

К тому же, мир полон людей, считающих, что знают то, чего на самом деле не знают – другие снабжают их своими убеждениями, взглядами, чувствами. По миссис Джек сразу было видно, что она знает то, что знает. Когда она говорила о маленьких портных, сидящих на столах, закинув ногу на ногу, о точных, Красиных движениях их рук, описывала красоту и величие больших рулонов тканей или когда с любовью и благоговением говорила о своих материалах и

орудиях, сразу чувствовалось, что говорит она так, потому что знает эти вещи, работает ими, и это знание япляется частью ее жизни, ее плоти, любви, костного мозга, нервной ткани и неразрывно смешано с ее кровью. Вот что на самом деле представляет собой знание. Это поиск чего-то для себя с болью, с радостью, с ликованием, с трудом во все крохотные, тикающие, дышащие мгновения бытия, пока оно не становится нашим в той же мере, как то, что коренится в самой сути нашей жизни. Знание – это крепкий, тонкий дистиллят жизненного опыта, редкий напиток, и дается оно тому, кто обладает способностью видеть, думать, чувствовать, отвеживать, обгонять, наблюдать сам и кто имеет тягу к этому.

По мере того как миссис Джек говорила о себе и своей жизни, рассказывала в присущей ей оживленной манере о своих ежедневных маленьких открытиях на улицах, у Джорджа появлялось иидение городской жизни, совершенно непохожее на мятущийся ужас его собственного фаустианского видения. Он видел, что город, огромность которого затопляла его смятением и бессилием, был для нее просто тем же, что красивые леса и поляны для сельского мальчишки. Она любила толпы, как ребенок реку и иысокую, волнующуюся траву. Этот город был ее восхитительным садом, ее волшебным островом, на котором она всегда могла найти какую-то новую, западающую в память картину.

Она походила на время, на волшебный свет времени, потому что придавала теплую, чудесную окраску отдаленности и воспоминания тому, что видела всего час назад. Благодаря этим рассказам, в которых ярко и образно отражался ее жизненный опыт, часто возникали ее детство и юность, в разуме Джорджа ширилась картина старого Нью-Йорка, старой Америки, обретая порядок и перспективу.

Его Америка была Америкой сельского человека из глуши. История его горячей, бурной крови представляла собой историю сотен мужчин и женщин, живших в безлюдье, кости которых покоились в той земле. Жившая в нем память была не памятью о тех, кто жил на вымощенных и пронумерованных улицах, то была память об уединенности, о представлении о расстояниях и Направлениях охотника и колониста – поныне память о людях, которые «жили вон там», о «парне, с которым я на днях разговаривал в Зибулоне», о тех, кто жил «перед развилкой, где дорога сворачивает в ту лощину – увидишь там большую акацию, и если пойдешь по той тропке, она прямиком приведет тебя к его дому – это недалеко, пожалуй, не больше мили – ты его никак не пропустишь».

Их приветствия незнакомцам были сердечными, голоса подчеркнута любезными, жесты неторопливыми и учтивыми, однако глаза бывали недоверчивыми, колючими, быстро вспыхивающими, тлеющие в них огоньки насилия и убийства мгновенно разгорались в пламя ярости. Когда они просыпались по утрам, глаза их бывали устремлены на спокойную, неизменную землю, они наблюдали за неторопливой сменой времен года, и в памяти их всегда были запечатлены несколько знакомых предметов – дерево, скала, колокол. Это спокойствие вечной, пружинящей под ногами земли и являлось наследием Джорджа. У него был жизненный опыт деревенского парня, приехавшего в большой город – его ноги устали от бесконечных тротуаров, глаза утомились от нескончаемых перемен и движения, мозг страдал от ужаса громадных толп и зданий.

Но теперь он видел в миссис Джек естественное, счастливое порождение той среды, которая ужасала его, стал находить в ее пылких коротких рассказах картину городской Америки, которой не знал, но которую рисовал в воображении. То был мир роскоши, уюта и легких денег; мир успеха, славы и оживленности; мир театров, книг, художников, писателей; мир изысканных еды и вина, хороших ресторанов, прекрасных зданий и красивых женщин. То был мир теплой, щедрой, утонченной жизни; и весь он казался теперь Джорджу чудесным,

счастливым, вдохновенным.

В своих бесчисленных путях по Нью-Йорку, поездках в метро, хождениях по улицам, каждое из которых превращалось в жестокий разлад с жизнью, шумом, движением, оформлением, отчего всякий выход в толпу вызывал у него нервозность, отвращение и досаду, он часто замечал на лицах пожилых нью-йоркцев выражение, которое вызывало у него неприязненное, гнетущее чувство. Выражение это было угрюмым, кислым, недовольным, кожа лиц – серовато-бледной, обвислой. На этих лицах можно было прочесть обыденную историю жалкой, убогой жизни, скверной пищи, вяло поедаемой без отвращения или удовольствия в кафетериях, в унылых холостяцких спальнях или квартирах, работы ночными портье в дешевых отелях, продавцами билетов в метро, кассирами в закусовых, мелкими, сварливыми служащими в форменной одежде – эти люди ворчат, задираются и вызывающе отвечают на вежливо заданный вопрос, или скулят, отвратительно раболепствуют, узнав, что незнакомец, которого они оскорбили, нужный их нанимателю человек:

– Чего же не сказали, что вы друг мистера Кроуфорда? Я ведь не знал! А то услужил бы вам, как только мог. Будьте уверены! Извините. Сами понимаете, в каком мы положении, – скулящим, доверительным тоном, располагающим, по их мнению, к себе. – Нам надо быть осмотрительными. Мистера Кроуфорда хотят видеть столько людей, которым у него нечего делать, что пропускай мы их всех, у него бы свободной минуты не осталось. И если пропустим, кого не нужно, нам влетит. Сами понимаете.

На этих неприветливых лицах Джордж не мог отыскать каких-то признаков достоинства или красоты в жизнях их обладателей. Из жизни уходили чередой хмурых, безрадостных дней в гот прежний Нью-Йорк, который он был неспособен представить иначе как безотрадным, скучным, унылым. Он испытывал к ним презрение, отвращение, жалость. Они походили на собачонок, скулящих от угроз и побоев, они принадлежали к той громадной серой орде, которая ворчит, раболепствует, пререкается, скулит, покуда не упокоится в безмянных, безномерных, забытых могилах.

И Джордж ненавидел этих людей, потому что они показывали ложность его ранних провинциальных представлений о яркой, великолепной, богатой жизни в большом городе. Казалось невероятным, что родом они из того же времени, того же города, что и миссис Джек. Когда он слушал ее рассказы о детстве и юности, о замечательном, необузданном отце-актере, о красивой, расточительной матери, которая откусывала бриллианты с ожерелья, когда нуждалась в деньгах, о дядьях-христианах, толстых раблезианцах, которые были очень богаты, ели самую сочную пищу, за которой сами ежедневно ходили на рынок, где пробовали на ощупь мясо и овощи, о красивой и великодушной тете-еврейке, о тете-христианке, о своих английских и датских родственниках, о немецких родственниках мужа и своих поездках к ним, о мистере Рузвельте и актерах, веселых священниках, пьесах, театрах, кафе и ресторанах, о множестве блестящих, интересных людей – о банкирах, маклерах, социалистах, нигилистах, суфражистах, художниках, музыкантах, слугах, евреях, христианах, иностранцах и американцах, в его воображении складывалась роскошная, восхитительная картина этого города в конце девятнадцатого века и первых годах двадцатого.

24. «ЭТА ВЕЩЬ НАША»

Встречались они три-четыре раза в неделю. Эти часы и минуты, урываемые в полуденное время или поздним вечером после спектакля, проведенные в такси, за ужином где-нибудь в Гринвич-виллидж или за столиком в почти пустом ресторане Чайлдса бывали очень волнующими, драгоценными. Но как и большинство любовников в этом городе, оба расстраивались из-за отсутствия насущной потребности любви – места для встреч: места не на углу, в такси, под окном или на улице, впустую разделяемого под открытым небом с бессмысленными, грубыми толпами, а такого, где они могли бы оставаться наедине, которое было бы их собственным.

Оба ощущали это злосчастное отсутствие все сильнее. Встретаться в ее доме казалось немислимым – не из страха или неловкости и определенно не из стыда, но из присущей обоим чистоты. Они были тем, кем были, и таиться не собирались, но у них Пыло чувство приличия и пристойности. То же самое можно сказать об их встречах в театре: здесь ощущение ее деятельной жизни, работы, общения с друзьями бывало все еще слишком свежим, окутывало ее и нависало над жизнью каждого из них, словно тревожащая туманная дымка.

Что до маленького отеля, где жил Джордж, будь встречи там возможны, то его гнетущая атмосфера, безрадостное окружение убогих жизней оказались бы для него невыносимыми.

Эстер разрешила эту проблему своеобразным способом, характерным для той неукротимой целеустремленности, которая, как предстояло убедиться Джорджу, таилась в ее маленьком теле. И, что довольно забавно, она это сделала, демонстрируя одну из уловок женского ума, с помощью которой женщина получает то, что ищет, притворяясь, будто ищет нечто другое. Она повела речь о «месте для работы».

– А разве у тебя его нет?

– По-настоящему хорошего нет. Конечно, дома комната у меня замечательная. Окна выходят на север, свет хороший. Но эти отвратительные люди начали строить большой многоквартирный дом прямо в нашем заднем дворе. Работать стало слишком темно, а потом дома это трудно. Приходится вечно отвлекаться – отвечать на телефонные звонки, разговаривать с прислугой, постоянно заходят члены семьи.

– Чем плоха комната в театре?

– Да ведь она и не задумывалась как рабочее помещение. Раньше туда вешали ставшие ненужными костюмы. Ее отдали мне, потому что должна же я где-то работать, а другой не было. Но работать там трудно и постоянно становится все труднее. Многие девушки оставляют в ней вещи и вечно ходят туда-сюда, к тому же, освещение никуда не годится... Да и все равно, я работаю не только для театра, и мне очень нужно место поужнее – поближе к тем местам, куда приходится ездить.

Это было похоже на правду. Во всяком случае, Эстер чуть ли не при каждой встрече заговаривала о том, что ей нужно новое место для работы. В конце концов однажды она встретила с Джорджем ликующе взволнованная.

– Нашла место, – сразу же воскликнула она, снимая перчатки, и потом села. – Все утро искала – большинство их было слишком унылыми.

– А это понравилось?

– Просто чудесное, – воскликнула миссис Джек, словно делая потрясающее откровение. – Тебе такое не снилось. На верхнем этаже старого дома, – продолжала она. – В таком же доме я жила в детстве. Только этот совсем обветшал. Очень грязный, лестница готова провалиться под тобой. Сейчас он вроде бы совсем пустует, но, похоже, там было много мастерских. Но когда-то

это был красивый дом, – объявила она, – величественный. И я сняла целый этаж.

– Весь этаж! – воскликнул Джордж.

– Весь! – ликующе подтвердила она. – Ты в жизни не видел такого простора. Там можно развернуться.

– Да – но стоит это, должно быть, целое состояние.

– Тридцать долларов в месяц, – торжественно объявила она.

– Как!

– Тридцать – долларов- в месяц, – медленно, выразительно произнесла миссис Джек, и, увидев на лице Джорджа изумление, быстро продолжала: – Понимаешь, дом совсем не ремонтировался. Сухая развалюха, думаю, его рады были сдать за любую цену. Но там такой замечательный простор! Такой чудесный свет! Подожди, сам увидишь!

Эстер так хотелось показать Джорджу свою великолепную находку, что она не могла дожидаться, когда он поест, сама к еде почти не притронулась. Он тоже, возбужденный ее описанием и радостью, испытывал сильное волнение. После ленча они тут же поднялись и отправились к новому месту.

То был старый четырехэтажный дом на Уэверли-плейс, для которого явно настали черные дни. С улицы в него вели ржавые ступени. На первом этаже размещалась пропыленная швейная мастерская. Коридор был открыт всем ветрам, дверь висела на одной петле. Ведущая наверх лестница сильно кренилась, словно с одной стороны у нее сдавала подпорка. Ступени громко скрипели под ногами, старый поручень покосился – он держался еле-еле, будто старый зуб.

Наверху было темно и совершенно пусто. Единственным источником света служил газовый рожок в узком коридоре, горевший ночью и днем. В стене, вдоль которой шла лестница, были ниши, они напоминали Эстер лучшие времена этого старого дома, когда в нишах стояли мраморные статуи и бюсты. Поднявшись, Джордж и Эстер заглянули в несколько комнат. Комнаты были большими, просторными, но очень грязными и ветхими. Видимо, там некогда размещались какие-то мастерские, потому что с потолка свисали сплетения проводов, на голом полу валялись картонные коробки, бумага, прочий мусор. Пока что перспектива была не особенно радостной.

Наконец они поднялись по крутым, зигзагообразным лестницам на верхний этаж. Остановились на маленькой площадке перед грубо сколоченной из досок дверью. Она была заперта на висячий замок. Миссис Джек порылась в сумочке, достала ключ, отперла дверь и распахнула. Они вошли внутрь.

Комната эта оказалась сущим открытием. Как и остальные, она была очень грязной, но занимала весь этаж. Видимо, ее тоже использовали под какую-то мастерскую: с потолка свисало множество проводов с патронами для лампочек. Там оставили старый, грубо сколоченный, скособоченный стол и много мусора, который Эстер уже смела в кучу. Наверху посередине находился световой люк, потолок понижался к обоим концам, и если в центре комнаты вполне можно было стоять, то подходя к торцовым стенам, приходилось нагибаться. Старые побеленные стены были грязными, штукатурка кое-где обвалилась, обнажая доски и дранку – костяк старого дома. Местами стены выпучивались, голые половицы со скрипом прогибались под ногами. По всему ощущалось, что старый дом осел и покосился.

Эстер гордо повернулась к Джорджу и смотрела на него с веселой, вопрошающей улыбкой, словно говоря: «Ну вот. Что я тебе говорила? Разве комната не замечательная?».

Джордж не сказал ничего, но в первую минуту почувствовал разочарование. Он рассчитывал увидеть нечто более роскошное, в лучшем состоянии, и сперва убогая ветхость огорчила его. Потом он принялся ходить по комнате из конца в конец: ее простор и ощущение,

что можно спокойно, беспрепятственно двигаться, восхищали его. После тесноты его крохотной комнаты, всех тесных жилищ в городе, где простор стал высшей и самой дорогой роскошью, эта комната вызывала у него восторг. Старый пол прогибался под ногами и пугающе скрипел, в одном месте едва не проваливался. Однако чувство освобождения, покоя, уединенности было поразительным.

Пока он ходил взад-вперед, Эстер с беспокойством наблюдала за ним.

– Нравится? Конечно, в конце комнаты нужно пригибаться. Но разве она не чудесная? Столько простора. А свет! – воскликнула она. – Разве не великолепен? Прекрасное освещение для работы. Замечательная, правда?

Через люк над ее головой свет падал мягко, ровно, невозмутимо, беззвучно; отвратительное безумие улиц, бесконечная суматоха города здесь не были слышны; и впечатление, производимое на Джорджа, было под стать самому свету, впечатлением тишины, покоя, убежища.

Эстер принялась расхаживать и, уже преисполненная планов обновления, быстро, воодушевленно говорила:

– Конечно, комната грязная... Просто отвратительная! Но я наняла человека, завтра он вымоет окна и отскребет полы. Отправлю сюда из дома кой-какие вещи – свой чертежный стол, инструменты, старую кушетку, которой не пользуемся, и несколько стульев. Ты не представляешь, как переменится комната, когда здесь будет чисто и появится несколько вещей... Не поставить ли чертежный стол здесь? Под этим светом? Как думаешь?

Эстер, жестикулируя, стояла под световым люком. Сильный мягкий свет падал на ее свежее, румяное лицо, исполненное пылкости и надежды. Внезапно Джордж, сам не зная, почему, глубоко растрогался и ненадолго отвернулся.

Когда они вышли, Эстер заперла дверь и перед тем, как положить ключ в сумочку, торжествующе потрясла им слегка перед лицом Джорджа, что говорило яснее всяких слов: «Эта вещь наша».

Потом медленно, осторожно, держась за руки, как непривычные люди, они стали спускаться по старой зигзагообразной лестнице. Ступени со скрипом прогибались под их ногами, а позади в темноте раздавался стук падающей капли воды, скапливающейся, набухающей, срывающейся с мерным, ритмичным однообразием, казавшийся звучанием тишины в старом жилом доме.

В жизни Джорджа произошла чудесная перемена, и, как час-го случается, поначалу он едва осознавал ее. Сперва он не понимал, что означает для него Эстер. Перемену произвел не только факт любовного успеха: пожалуй, он – даже в последнюю очередь. Гораздо важнее было сознание, что впервые в жизни он для кого-то всерьез много значит.

Хотя Джордж этого почти не ощутил, сей замечательный факт оказал на него почти немедленное воздействие. Он по-прежнему был склонен к раздражительности, по-прежнему очень болезненно реагировал на пренебрежение, действительное или мнимое, по-прежнему держался вызывающе, но уже в меньшей степени. У него появились чувство уверенности, вера в себя, которых не было раньше. А верить в себя он стал потому, что кто-то в него поверил. Война его против всего мира стала менее ожесточенной, так как прекратилась война с собой. Что же до мелких обид и неприятностей, неприветливости спесивцев, глупости дураков, мелочных интриг, зависти, злобы, пересудов, сплетен и мелкого политиканства, отравлявших жизнь Школы прикладных искусств, где он работал, легких уколов и щелчков повседневной жизни, которые поначалу вызывали у него жгучее презрение к себе, – все это отступило на подобающее место. Он смотрел на них, как на пустяки, которыми они и являются, если не хладнокровно, то во всяком случае более сдержанно, соразмерно их значительности.

В сущности, Эстер стала придавать его жизни некую направленность, план, цель, которых не было раньше. Хотя Джордж тогда и не сознавал этого, она сама стала в его жизни своего рода целью, на которую можно было направить все громадные, до сих пор попусту растрачиваемые силы. Было бы неправдой сказать, что он «жил» ради встреч с ней. На самом деле жизнь его между этими встречами теперь шла ровнее, спокойнее, с более здравыми суждениями, чем раньше. Казалось, все слагаемые его жизни стали внезапно обретать соразмерность, гармонию в перспективе картины. Виделся он с Эстер три-четыре раза в неделю, однако связь с ее жизнью ощущал постоянно.

Эстер звонила Джорджу каждое утро, обычно пока он еще спал. Звук ее спокойного, веселого голоса, уже исполненный жизни, утра и деловитости, пробуждал в нем здоровое желание встать и приняться за работу, потому что он лихорадочно писал в каждую минуту, которую удавалось урвать от школьных дел. У Эстер всегда бывало множество планов на день – разъезды, встречи, работа. Если во время ленча она собиралась в «его часть города», они встречались за ленчем; и поскольку она любила свою работу, то приносила на эти встречи ощущение здоровой энергии, радостной деятельности, движения, возбужденности, полноты жизни всего мира. Иногда они встречались за обедом по вечерам, но большей частью виделись уже после спектакля. Джордж совершал долгую, волнующую поездку в Ист-Сайд. Потом они покидали погруженный во тьму театр и ехали к одному из ресторанов Чайлдса в тихом месте – их любимым был расположенный на Пятой авеню, чуть севернее Мэдисон-сквер – поесть там и провести около часа в разговорах.

Дело заключалось не просто в его влюбленности. Джорджу казалось, что, общаясь с Эстер, он наконец-то начал «познавать» город. Потому что в некоем странном смысле она стала для него воплощением Нью-Йорка. Тем городом, познать который он стремился. Она жила не в городе бездомного скитальца, не в городе жалких, пустых людей, обитающих в комнатках маленьких и дешевых отелей, не в городе потерявшегося мальчишки, чужака, глядящего на множество огней, не в жутком, унылом, пустом городе, где нет ни единой двери, есть только неприветливые, запруженные людьми улицы. Она жила в родном городе, и Джорджу теперь казалось, что он стал здесь «своим».

Эстер была дочерью Нью-Йорка, как он порождением маленького городка. Для нее улицы этого города не были странными, переполненные шоссе нелюдимыми, языки и лица суровыми, холодными, незнакомыми. Пожалуй, этот город представлял собой хорошо знакомую округу, где прошла вся ее жизнь – двор, где она играла в детстве, место, где ходила в школу, «разные районы», где жила, выросла, вышла замуж – и все это было не менее теплой, дружественной, привычной областью, чем тесные горизонты маленького городка.

Этот город Эстер любила искренне. Не с хвастливой демонстративностью и самодовольством; не холодно, как слабые люди, что похваляются старым домом, который выстроили их предки, и, неспособные жить подлинной жизнью в окружающем мире, выдумывают ложную о том, который утратили. Нет, для миссис Джек этот город был ее жизненным пространством; был ее полем, лугом, фермой; и она любила его, потому что была его частицей, потому что прекрасно знала его и понимала, потому что он являлся сценой и декорацией ее жизни и работы.

Для нее этот город был живой, дышащей, борющейся, надеющейся, ненавидящей, любящей, вожделеющей вселенной жизни. Был самым человеческим, потому что в нем больше «человечества», чем в любом другом, самым американским, потому что американцев в нем больше, чем в любом другом. Все величие и убожество; высокие устремления и низкие желания; благородный труд и подлые поползновения ради низменных целей; ужас, насилие; огромные свершения и постоянная, нескончаемая безрезультатная возня – все это было здесь, поэтому для нее этот город был Америкой. И во всем этом, разумеется, поскольку этот взгляд, это понимание были очень здоровыми, разумными, истинными, миссис Джек была права.

Повсюду, где бы ни появлялась, она приносила с собой это ощущение здоровья, жизни, работы, человеческого понимания; оно исходило от нее, словно сильная, нежная энергия счастья. Казалось, что миссис Джек, подобно Антею, черпает силу, здоровье, энергию труда, устремленности, деловитости, которымилучилось ее румяное лицо, которые были видны в каждом движении ее энергичного тела, сквозили в каждом маленьком, быстром шаге, в каждом жесте, из постоянного, живительного соприкосновения с ее родной землей – той кишашей людьми бессмертной скалой, по которой она ступала.

Эстер приносила эту громадную оживленность городской жизни на все встречи с Джорджем. Они встречались в неистовом бурлении полудня, в разгар дня, и Джорджа сразу же охватывало ощущение, что весь огромный, свежий груз утра взвален и на него. Десяток рассказов о жизни и делах срывался с уст этой взволнованной путешественницы, и ему внезапно казалось, что в них умещается некое громадное, волнующее великолепие, вся величественная хроника дня.

Эстер бывала «во всех концах» города. В девять утра приезжала в швейную фирму, где работала два утра в неделю, делала эскизы. По ходу ее рассказа перед глазами вставала вся сцена – громадные здания того района, высокие «голубятни», большой склад с рулонами тканей на полках, грубый, чистый запах шерсти, примерочные и раскроечные, портные, сидящие на столах, закинув ногу на ногу.

– Ты в жизни не видел такого мастерства, как у них! Как они работают руками! Быстро, уверенно, изящно – это... это даже наводит на мысль о каком-то большом оркестре! Но Господи! – Она внезапно передернула плечами, лицо ее густо покраснело. – Какой там запах! Мне иногда приходится высовываться из окна!

В половине одиннадцатого она бывала в костюмерной. И в ее рассказе снова возникал мир кулис, жизнь актеров:

– Я одела Мери Морган. Она будет великолепно выглядеть!

Лицо ее внезапно стало серьезным и негодующим, исполненным сочувствия и

озабоченности:

– Мери почти год оставалась без ролей. Это первая! И пришла она такой смущенной, испуганной. Взяла меня за руку, отвела в угол и сказала, что белье у нее просто превратилось в лохмотья. Говорит: «Я не могу показаться этим людям в таком виде, скорее умру. Что делать?». Бедное дитя чуть не плакало. Я дала ей денег, велела пойти, купить себе приличные вещи. Честное слово, если б кто-то поднес ей луну на серебряной тарелочке, она бы не могла так обрадоваться. Обняла меня и говорит: «Когда после смерти попадете в рай, им придется выселить Пресвятую Деву и дать вам лучшую комнату в том доме». Она католичка, – сказала миссис Джек и рассмеялась, но тут же лицо ее посерьезнело, стало негодующим. – Позор! Такое дитя восемь месяцев без работы, туфли у нее прохудились, одежда истрепалась! И Бог знает, на что она жила, как не голодала! А потом репетирует три недели, не получая ни цента! И если спектакль провалится, ничего не получит, снова окажется на улице!.. Но видел бы ты, как мы ее одели! Она стала красавицей! Вот это девушка для вас, молодой человек! – воскликнула Эстер с огоньком в глазах. – Видел бы ты ее сегодня утром, когда она надела это платье! У тебя глаза бы на лоб вылезли! Я впервые видела такие красивые руки и плечи. Она играет роль светской девушки в этой пьесе...

– Светской!

– Да, – Эстер умолкла, не поняв причины этого удивления, потом до нее дошло, плечи у нее вновь истерически задрожали, и она воскликнула: – Подумать только! Потрясающе! Бедное дитя в прохудившихся туфлях и драном бельешке исполняет роль Марсии Ковентри!

– А во сколько обошлось это платье, ты знаешь?

– Знаю. – Лицо Эстер вновь стало серьезным, озабоченным и деловитым. – Сегодня утром составила смету. Расходы я пыталась снизить насколько возможно – поверь, с этим лучше никто бы не справился. Если б я повела девушку к Эдит, платье обошлось бы самое малое в пятьсот долларов. А я уложила в триста. И оно потрясающе! Держу пари, этой зимой его будут копировать все молодежные лиги на свете.

– Стало быть, потрудилась над ним ты изрядно.

– Ты даже представить не можешь! – воскликнула миссис Джек с очень серьезным видом. – Сколько я корпела только над одеждой для этой девочки! По пьесе она разодета, как картинка! А пьеса дрянь! – сказала она очень искренне. – Мы в своем кругу придумали ей название. «Осенняя выставка».

– Что она хоть представляет собой?

– Всякую чушь, собранную воедино ради Кроссуэлла.

– Сесила?

– Да, этого сердцеда. Ты даже представить себе не можешь! – продолжала она со скептическим видом.

– Чего?

– Что эти люди – актеры – представляют собой. О том, что происходит за стенами театра, они понятия не имеют. Если заговоришь с этим человеком о Муссолини, он спросит, в каких спектаклях тот участвовал. И примерно такое же представление у него обо всем остальном, – с отвращением продолжала она. – А какая наглость! Какое самомнение! Знал бы ты, что этот тип воображает о себе. – Эстер вдруг истерически расхохоталась. – Господи! Сегодня утром... – начала было она, но из-за смеха не смогла продолжать.

– Что же утром случилось?

– Пришел Кроссуэлл на примерку, – заговорила миссис Джек. – По ходу всего действия он одет в вечерний костюм – такая вот пьеса. Так вот, костюм я придумала для него прекрасный.

Он оделся. А потом, – в голосе Эстер появилась истерично-веселая нотка, – принял напыщенный вид, стал расхаживать перед зеркалом, туда-сюда, туда-сюда, поводить плечами, поправлять воротник, там одергивать, тут подтягивать, я чуть с ума не сошла. А потом начал покашливать, хмыкать, и то ему не так, и другое. В конце концов этот бездарь, – негодуяще воскликнула она, – решил, что прекрасный костюм, который я придумала, для него недостаточно хорош. Ну и наглец! Я готова была убить его! Знаешь, он откашлялся и принялся ораторствовать – можно было подумать, что он выступает в «Ист Линне» на гастролях. «В общем, – заявил он, – собственный костюм мне больше нравится». У него есть экстравагантный вечерний костюм, он так его любит, что даже завтракать в нем садится. «Вот что, мистер Кроссуэлл, – говорю, – могу только сказать, что этот костюм соответствует роли, и выходить на сцену вам нужно в нем». – «Да, – ответил он, – но лацканы – лацканы!» – воскликнул он трагическим тоном, – лацканы, уважаемая леди, никуда не годятся». После этого понизил голос так, будто сообщал о смерти ребенка. Ну и наглец! – гневно пробормотала она. – Я в шесть лет знала о лацканах больше, чем он узнает до конца жизни. «Лацканы, – заявил он, вытянув пальцы и теребя их пальцами, словно выступал в парламенте.

– Лацканы слишком узки!». На его экстравагантном костюме они, разумеется, широченные. «Вот что, мистер Кроссуэлл, – говорю, – могу только сказать, что, возможно, лацканы нехороши для Кроссуэлла, но в самый раз для персонажа, которого он играет. А играет Кроссуэлл не себя, он играет роль, написанную для него в пьесе». Это, разумеется, неправда, – с отвращением сказала она, – Кроссуэлл играет именно Кроссуэлла он никого больше не играл и не может играть! Само собой, понять этого он не способен – эти люди умом не блещут! – раздраженно выкрикнула она. – Ты даже представить не можешь! Не поверишь, что такое может быть! Этот болван при нялся твердить о своих достоинствах. «Да, понимаю, – говорит, словно обращаясь к ребенку, – понимаю. Однако у каждого из нас есть свои достоинства. А что до меня, – выкрикнул он, хлопнув себя по груди, как дрянной актеришка, – при этих словах миссис Джек с блестящими глазами и раскрасневшимся от смеха лицом повторила маленькой ручкой его жест, – а что до меня, – эти слова она произнесла в пародийном тоне, – что до меня, то я знаменит широким торсом!» – Она истерически затряслась от смеха, потом, все еще смеясь, негромко произнесла: – Представляешь? Можешь поверить в такое? Ну вот, это дает тебе понятие о том, что представляет собой кое-кто из актеров.

– А чем ты еще занималась? Только этим?

– Какое там! До встречи с тобой я отработала полный день! Вот смотри, – она стала кратко перечислять: – Кэти принесла кофе в половине восьмого. Потом я вымылась и приняла холодный душ. Принимаю я его до того холодным, что спину как иголками колет. – И в самом деле, лицо ее постоянно так и сияло свежестью, словно она только что вышла из-под холодного душа. – Оделась, позавтракала, поговорила с кухаркой, сказала ей, что заказать, сколько гостей будет в доме вечером. Поговорила с Барни – это наш шофер – сказала, куда приехать за мной. Потом просмотрела почту, оплатила несколько счетов, написала несколько писем. Поговорила с Робертой по телефону о новой выставке, которую устраиваю для Лиги. Мельком видела Фрица, когда он отправлялся в контору. Ненадолго заглянула к Эдит. Вышла из дома и поехала в южную часть Манхэттена незадолго до девяти. Проработала час у Штейна и Розена, потом отправилась к Хеку на примерки, пробыла там до двенадцати, – потом приехала к изготовителю париков на Сорок седьмую стрит в четверть первого... – Она засмеялась. – Там произошла очень странная история! Ты знаешь, где находится эта мастерская, в бывшем особняке, поднимаешься по ступенькам, там на первом этаже большая витрина с париками и шляпками. Так вот! – воскликнула она с подчеркнутой, взволнованной категоричностью. – Знаешь, что я сделала? Поднялась по ступенькам, думая, что иду правильно, увидела дверь, открыла ее и вошла. И как

думаешь, что увидела? Я попала в бар. Он, казалось, очень далеко уходил вглубь, у стойки выпивала целая толпа мужчин, по другую ее сторону человек смешивал напитки. Так вот! – воскликнула она снова. – Я ужасно удивилась! Право же, это было очень странно. Я не могла поверить своим глазам. Стояла, разинув рот, и таращилась на людей. А они очень веселились. Человек за стойкой крикнул: «Входите, входите, леди. Место для еще одного человека всегда найдется». Я так растерялась, просто не знала, что сказать, и наконец выговорила: «Думала, это мастерская по изготовлению париков!». Слышал бы ты, какой хохот поднялся! Бармен сказал: «Нет, леди, это не мастерская, но у нас есть средство для ращения волос, от него волосы будут лучше, чем на парике!». А другой человек говорит: «Вы не туда попали. Это не мастерская, это галантерейный магазин». И опять все засмеялись; видимо, потому, что там есть ложная витрина с грязными рождественскими колокольчиками и надписью «Объединенная компания по поставке галантереи». Видимо, это какая-то уловка – потому-то они и смеялись. Бармен вышел из-за стойки, подвел меня к двери и показал, где эта мастерская, она оказалась рядом, заблудилась я потому, что там две лестницы, а я второпях пошла не по той – но Нью-Йорк просто великолепен!

Эстер выложила все это торопливо, взволнованно, чуть ли не задыхаясь, но перенесенное смущение превосходно отражалось на ее лице.

– Затем, – продолжала она, – пришлось пробежаться по магазинам старой мебели на восьмой авеню. Ты даже не представляешь, какие вещи там можно обнаружить. Очаровательно просто походить, посмотреть. Я искала кое-что для декорации комнаты в викторианском доме семидесятых годов. И нашла несколько чудесных вещей: картину в золоченой раме, насколько я понимаю, литографию, на ней изображены белокурая дама, играющая на спинете, джентльмен с гофрированным воротником и кружевными манжетами, прислонившийся к спинету с мрачным видом, и три золотоволосые девочки с высокими талиями, кружевными рукавами, в длинных, как у дамы, юбках, кружащиеся в танце, пол вымощен мраморными плитами, на нем тигровая шкура – для той декорации, что я задумала, лучшей картины невозможно представить. Нашла несколько портьер и драпировок, какие искала – из ужасного выцветшего зеленого плюша. Господи! Они выглядели так, будто вобрали в себя всех бактерий, всю пыль, всех микробов на свете – но именно такие и были нужны мне. Спросила о других вещах, которых, казалось бы, не может быть ни у кого на свете – старик начал рыться в грудях своего хлама и наконец достал как раз то, что я разыскивала! Взгляни! – Эстер достала кусочек оберточной фольги и разглядела его: он был блестящим, экзотически-красным. – Красивая, правда?

– Что это такое?

– Обертка от леденца. Я увидела ее утром, когда шла мимо магазинчика канцпринадлежностей. Цвет показался мне таким необычным и красивым, что я зашла и купила леденец только ради обертки. Попробую пристроить ее куда-нибудь на ткань – я ни разу не видела такого оттенка, будет очень красиво.

После небольшой паузы Эстер продолжала:

– Господи! Как хотелось бы рассказать обо всем, что я сегодня видела. Меня это просто распирает, я хочу все это тебе выложить, поделиться с тобой, но тут столько всего, не расскажешь. В детстве меня очаровывали всевозможные формы вещей, всевозможные красивые узоры. Я собирала разные листья: они так отличались друг от друга по виду, по форме и были такими изящными, такими красивыми, я рисовала их во всех подробностях. Другие дети иногда смеялись надо мной, но я словно бы открыла новый чудесный мир, который окружает нас, и которого большинство людей не замечает. И он постоянно становится все богаче, красивее. Я теперь ежедневно вижу вещи, каких не видела раньше – вещи, мимо которых люди проходят, не замечая их.

Иногда Эстер встречалась с Джорджем поздно ночью, после веселой, блестящей вечеринки, куда ее приглашали, или которую устраивала сама. И тут она тоже лучилась радостью, бывала охвачена весельем, приносила ворох новостей. И мир, о котором она пела речь, был уже не миром утренних трудов и дел; то был замечательный мир ночи, счастливый мир наслаждений, богатства, известности, таланта и успеха. Она бывала переполнена этим миром, он все еще булькал шампанским пьянящего веселья, искрился своим блеском и радостью.

Этот ночной мир, в котором она вращалась, жила как привычная, признанная обитательница, являлся привилегированным миром избранных. Миром прославленных имен и знаменитых личностей, давно прогремевших на всю страну. В него входили значительные продюсеры и знаменитые актрисы, известные писатели, художники, журналисты и музыканты, могущественные финансисты. И все эти великие иллюминаты^[13] ночи, казалось, вращались, жили, дышали в некоей прекрасной колонии, которая некогда, в волшебных мечтах его детства, представлялась невозможно далекой, а теперь, благодаря тому же волшебству, чудесно близкой.

Эстер делилась с Джорджем впечатлениями, еще не остыв от соприкосновения с этим чудесным миром славы, красоты, богатства и могущества. Делилась, небрежно давая понять, что причастна к нему, и самым невероятным казалось то, что она часть этого мира.

Бог весть, что Джордж ожидал открыть для себя – услышать, что эти создания услаждаются амброзией, пьют нектар из золотых чаш, едят миног или неведомую пищу, о которой простые люди даже не слыхивали. Но почему-то странно было слышать, что это прославленное общество ложится спать, встает, умывается, одевается и идет по делам, совсем как остальные, и что из этих знаменитых уст исходят обороты речи, мало чем отличающиеся от его собственных.

Знаменитый журналист, чьи крылатые шутки, тонкие остроты, шпильки и похвалы, изящные стихотворения и искусные лимерики блистали более двадцати лет – человек, чьей ежедневной хроникой нью-йоркской жизни Джордж так часто упивался в студенческие годы, зачитывался тем дневником повседневности всего далекого, сияющего великолепием Вавилона, окутанного розовой дымкой его воображения – этот подобный Аладдину чародей, который так часто тер свою лампу и живописал великолепие этого дивного Вавилона для сотен тысяч таких же, как он, ребят – этот волшебник лично присутствовал в тот вечер на званом обеде, сидел рядом с Эстер, называл ее по имени, как и она его, впоследствии он опишет эти время, место и личность в очередной части того бесконечного дневника, который мечтательные юноши в тысяче маленьких городков будут с упоением читать, грезя о дивном Вавилоне: «Я поехал в автомобиле к Эстер Джек, нашел у нее веселое общество, там были декоратор С.Левенсон, писатель С.Хук, красавица в красном платье, которой я прежде не видел, и которую сразу же поцеловал в щечку, и много других людей, весьма утонченных, но самой утонченной, на мой взгляд, была Эстер».

Или же она рассказывала ему веселые новости о какой-нибудь блестящей премьере, открытии знаменитого театра, обществе красивых и знаменитых, которое было там. Блестящее течение этих событий журчало из ее уст с веселой, взволнованной оживленностью. И словно с целью придать событию обыденности – возможно, чтобы Джордж чувствовал себя непринужденнее, ощущал членом этой привилегированной группы, пользующимся всеми ее преимуществами; или, может, с чуточкой притворства, дабы показать себя такой простой и чистой духом, что ей не внушают благоговения громкие репутации великих – она предваряла свои описания, уснащала свой блистательный реестр имен такими скромными словами, как «человек по имени...».

Эстер говорила: «Слышал ты о человеке по имени Карл Файн? Это банкир. Сегодня вечером я разговаривала с ним в театре. Мы знакомы много лет. Слушай! – Тут ее голос начинал

шучать с веселым ликованием. – Тебе нипочем не догадаться, что сказал он, когда подошел...».

Или: «Сегодня я сидела за обедом рядом с человеком по имени Эрнест Росс. – Это был знаменитый адвокат по уголовным делам. – Мы с его женой вместе ходили в школу».

Или: «Ты слышал о человеке по имени Стивен Хук? – Это был писатель, широко известный критик и биограф. – Так вот, он был у нас на обеде, и я рассказала ему о тебе. Он хочет с тобой познакомиться. Это один из лучших людей, каких я встречала в жизни. Мы знакомы много лет».

Или после премьеры: «Угадай, кого я сегодня видела? Слышал ты о человеке по имени Эндрю Коттсуолд? – Это был самый известный театральный критик того времени – Так вот, он подошел ко мне после спектакля, и знаешь, что сказал? – С искрящимися глазами, с покрасневшим от радости лицом она глядела на Джорджа, потом объявляла: – Что я лучший декоратор в Америке. Вот что!».

Или: «Слышал ты о женщине по имени Роберта Хайлпринн? – Это была директриса знаменитого театра. – Так вот, сегодня она была у нас на обеде. Мы очень старые подруги. Вместе росли».

Количество знаменитых людей, с которыми Эстер «вместе росла» или которых «знала всю жизнь», было поразительным. Упоминали имя известного продюсера? «А, Хью – да. Мы вместе росли. Он жил в соседнем доме. Весьма замечательный человек, – говорила она с очень серьезным видом. – О, весьма замечательный». Когда Эстер называла кого-нибудь «весьма замечательным» с полной серьезностью и убежденностью, то казалось, не только сообщала об этом, но и черпала глубокое удовлетворение от сознания, что «весьма замечательный человек» плюс к тому еще и весьма удачлив, и что она сама в очень тесных отношениях с замечательными людьми и с успехом.

Миссис Джек иногда радостно утверждала, что для нее, как и для ее дяди, «все самое лучшее является просто-напросто обыденным». И в самом деле, ее требования к мужчинам и женщинам – как и к еде, работе, вещам, домам, тканям – были очень высоки. Самое лучшее в мужчинах и женщинах включало в себя не только богатство и положение в обществе. Правда, иногда она упоминала имена крупных капиталистов, друзей ее мужа, и их жен, даже говорила об их несметном богатстве с каким-то удовольствием: «Фриц говорит, что его состоянию буквально нет меры! Оно баснословно!».

В том же тоне Эстер говорила о блистательной красоте некоторых женщин. Например, о жене «человека по имени» Розен, знаменитого торговца одеждой, на которого она работала, в его громадной фирме ее сестра Эдит была вице-президентом, второй по должности. У жены Розена было на полмиллиона драгоценностей. «И она носит их все! – воскликнула миссис Джек, глядя на Джорджа с ошеломленным, пытливым выражением. – Они с мужем были вчера вечером у нас на обеде – и все драгоценности были на ней – это выглядело просто невероятно! Она сверкала, как ледышка! И эта женщина очень красива! Я была так очарована, что едва могла есть. Не в силах была отвести от нее взгляд. Я наблюдала за ней и уверена, она все время думала о своих драгоценностях. Так поводила руками, вертела шеей – казалось, тут не женщина с драгоценностями, а драгоценности с женщиной. Странно, правда?» – спросила миссис Джек, и Джордж вновь заметил, что выражение лица у нее встревоженное и пытлиное.

Иногда, ведя речь об этой стороне нью-йоркской жизни, описывая ее быстрыми, небрежными фразами, Эстер вызывала в воображении Джорджа картину, ошеломляющую богатством и могуществом, притом довольно зловещую. Так например, она рассказывала о приятеле своего мужа, миллионере по фамилии Верджермен, состояние которого было «просто баснословным». Вспоминала вечер в Париже, когда он пригласил ее и Роберту Хайлпринн на обед, а потом в игорный клуб, где поначалу для удовольствия клиентов была устроена встреча боксеров. «Казалось, находишься на официальном приеме! Все были в вечерних нарядах,

женщины в жемчугах, на полу лежал громадный, толстый ковер, все сидели на очень изящных, позолоченных стульях с сиденьями из расцветенного цветочным узором атласа. Даже канаты ринга были обтянуты бархатом! Это было восхитительно и жутковато. В высшей степени странно, и когда свет погас, видны были только боксеры на ринге – один из них был негром с великолепными телами, действия черного и белого были очень быстрыми, проворными, напоминали какой-то танец». Когда бой окончился, рассказывала Эстер, гости разошлись к игорным столам, и Берджермен меньше чем за двадцать минут просадил в рулетку миллион франков, по тогдашнему курсу почти тридцать тысяч долларов. «И для него это совершенно *ничего* не значило! – сказала миссис Джек с раскрасневшимся и очень серьезным лицом. – Можешь себе представить? Невероятно, правда?». И еще несколько секунд глядела на Джорджа с удивленным, пытливым видом, словно ожидая ответа.

Эстер рассказывала и другие истории подобного рода – о людях, которые каждый вечер выигрывали или проигрывали целые состояния, и которых не волновали ни выигрыш, ни проигрыш; о женщинах и девушках, которые приходили в магазин мистера Розена и за пятнадцать минут тратили на одежду больше, чем большинство людей могло надеяться заработать за всю жизнь; о знаменитых куртизанках, приходивших с пожилыми любовниками и покупавших шиншилловые манто «прямо с вешалки», платили наличными, доставая из кошельков пачки тысячедолларовых банкнот, «такие большие, – говорила миссис Джек, – что ими подавилась бы лошадь», и небрежно бросая шестьдесят бумажек на прилавок.

Рассказы эти вызывали в воображении картину мира богатства, поначалу баснословную, очаровательную в своей сказочности, но быстро приобретающую зловещий оттенок, когда Джордж понимал ее социальное значение. Она сияла на лице ночи, будто отвратительная, порочная усмешка. То был мир, словно бы помешавшийся на своих излишествах, мир преступных привилегий, смеющийся с нечеловеческой надменностью в лицо большому городу, половина населения которого живет в убожестве и грязи, а две трети до того неуверены в завтрашнем дне, что вынуждены толкаться, рычать, браниться, обманывать, хитрить, оттеснять своих собратьев, будто собаки.

Непристойное подмигивание, так ясно видимое на лице ночи, было невыносимо в своей чудовищной несправедливости. Это сознание душило Джорджа, превращало его кровь в яд холодной ярости, вызывало убийственное желание разрушить, растоптать этот мир. Он поражался, как люди, трудящиеся изо дня в день, позволяют своему врагу сосать их кровь, как позволяют себе забыть о ненадежности своего существования, восторженно таращась на мираж «успеха», которого, как уверено большинство, они уже достигли. Подобно большинству тех несчастных созданий в Стране Слепых, считавших, что единственный среди них зрячий поражен раком мозга, они были уверены, что рай начинается не так уж высоко над их головой, что вскоре они взберутся по десятифутовой лестнице и окажутся там. Тем временем эти слепые жили в грязи и целыми днями трудились, чтобы раздобыть самые скудные средства к существованию, покорно глотали всякую мерзкую чушь, которую всевозможные политики твердили им об их «высоком жизненном уровне», который, как эти несчастные были торжественно убеждены, «вызывает зависть к ним у всего мира».

И все же они, хоть и были слепы, могли обонять. Однако настолько потеряли голову, что наслаждались всепроникающей вонью гнили. Эти слепые знали, что правительство гнилое, что почти каждая ветвь власти от самых высоких должностей до последнего констебля, патрулирующего участок, насквозь проникнута разложением, как гнилой медовый сот, корыстна и бесчестна. И все же самые незаметные в стране, мельчайшие пигмеи в глубинах метро могли уверять вас, что так и должно быть, так было всегда и будет до окончания времен. Слепые были мудры – мудростью, прославляемой на улицах города. Политики негодяи?

Чиновники в руководстве города воры и взяточники? Слепые, протискиваясь в дверь метро, хотя места там хватило бы еще для одного слепого, могли сказать вам, что каждый «берет свое». А если кто-то сильно протестовал, это являлось знаком, что он «придира» – «Вы на его месте делали бы то же самое – *навертка!*».

Поэтому добродетель человека являлась просто-напросто иным названием завистливой злобы. И если человек был добродетельным, уж не считал ли он, что больше не должно быть беззаботной жизни – курицы в кастрюле, двух машин в гараже или, если подняться на ступеньку-другую, шиншиллового мантио от мистера Розена, рулеток для мистера Берджермена и множества других замечательных вещей, которые, как уверяли друг друга слепые, протискиваясь через турникеты, «вызывают зависть к ним у всего мира»?

Сознание, что Эстер является частью этого мира, обжигало Джорджа, словно огнем, он вновь и вновь ощущал ошеломляющую пытку сомнением, которое будет часто мучать, беспокоить его в последующие годы – загадкой ее цветущего лица. Как могла она быть его частью? Это создание казалось ему исполненным здоровья и благоденствия, труда, надежды, утра и высокой честности. И все же, вне всякого сомнения, она являлась частью этого мидасовского мира ночи, подлого подмигивания, его преступной продажности и бесчеловечных привилегий, непоколебимой надменности его усмешки.

И в этой ночи она могла цвести, словно цветок, у которого ночью, как и днем, бывает вид невинности и утра; могла жить в этой ночи, дышать, цвести в отвратительной заразности этого ноздуха, как цвела днем, быть ее частью, которая не теряет ни капли свежести и красоты – быть цветком, растущим на куче навоза.

Джордж не мог постигнуть этого, и это приводило его в неистовство, побуждало иногда напускаться на нее, злобно обвинять несправедливыми, жестокими словами – и в конце концов оставляло его растерянным, разъяренным, ничуть не приблизившимся к истине.

А истина заключалась в том, что Эстер была женщиной, что путь ее, как и у каждого, был мучительным и очень непростым, что как и все в этом громадном медовом соте она попала в паутину и в конце концов была вынуждена пойти на эти уступки. Заключалась истина и в том, что лучшая часть Эстер была предана лучшей части жизни, но преданности ее, как и у всех, были смешаны, и в этой двойной преданности коренилось зло. С одной стороны было светское общество, долг, который оно налагает, ответственность, которой оно требует, обязательства, которые накладывает. А с другой стороны был мир труда, творчества, дружбы, надежд и подлинной сердечной веры. И эта сторона была более глубокой, истинной стороной миссис Джек.

Как труженица, как созидательница эта женщина была несравненной. Подлинной религией души Эстер, той, что спасала ее от деградации, опустошающей праздности, безумной чрезмерности самообожания, тщеславия, самовлюбленности, пустоты, которую познало большинство женщин ее класса, была религия труда. Она спасала Эстер, отнимала у самой себя, придавала ее жизни благородный облик, он существовал независимо от нее и был выше личного тщеславия. Не бывало слишком большого труда, непомерной траты времени, слишком напряженных и обременительных внимания и терпеливых усилий, если только благодаря им она могла добиться «хорошо сделанной работы».

А из всего, что было для нее самым ненавистным, на первом плане стояла дрянная работа. Для нее это было смертным грехом. Эстер могла не замечать недостатков и грехов личности, извинять ее слабость, терпеть ее пороки, с которыми она не может совладать. Но не могла и не хотела оправдывать дрянную работу, потому что оправдания этому не было. Плохо приготовленная еда, плохо прибранная комната, плохо сшитое платье, плохо нарисованная

декорация означали для нее нечто большее, чем спешка или небрежность, нечто большее, чем просто забывчивость. Они означали недостаток веры, недостаток истины, недостаток честности, недостаток чистоты – недостаток всего, «без чего, – как говорила она, – твоя жизнь ничто».

И это в конце концов спасло ее. Она крепко держалась за веру честной работы. Это было ее подлинной религией, из этого выходило все лучшее в жизни и личности Эстер.

26. ТКАНЬ ПЕНЕЛОПЫ

Эта женщина стала для Джорджа целым миром – своего рода новой Америкой, – и теперь он жил в нем, постоянно его исследовал. Это жертвоприношение объяснялось не только любовью. Или, скорее, в его любви была сильная жажда. Возможно, хотя Джордж и не осознавал этого, в нем была и страсть к разрушению, так как то, что любил и заполучал в руки, он выжимал досуха. Иначе и быть у него не могло. Им двигало нечто, идущее от природы, от памяти, от наследия, от пылкой энергии юности, от чего-то внешнего и вместе с тем находящегося внутри, и с этим он ничего не мог поделать.

Однажды вечером, сидя рядом с ним во время антракта, миссис Джек неожиданно взглянула на его узловатые руки и спросила:

– Что у тебя там?

– А? – недоуменно взглянул он на нее.

– Смотри! Это программа! – Эстер взяла у него программу и покачала головой. – Видишь, что сделал с ней?

Джордж скрутил программу трубкой и во время первого действия разодрал пополам. Эстер разглядела порванные листы и поглядела на него с легкой, печальной улыбкой.

– Почему ты постоянно это делаешь? Я обратила внимание.

– Не знаю. Видимо, это проявление нервозности. Сам не пойму, в чем тут дело, но разрываю все, что попадает в руки.

Этот случай был символическим. Едва какая-то вещь пробуждала у Джорджа интерес, он сосредоточивал на ней все внимание, словно гончая на дичи, любопытство его было неутолимым, мучительным, не дающим покоя и гнало вперед до самого конца. Джордж всегда был таким.

В детстве, слушая рассказ тети Мэй о том, как солдаты возвращались с Гражданской войны, он внезапно впервые в жизни увидел войну, услышал голоса и набросился на тетю, словно хищник. Какая тогда стояла погода, в какое время это происходило? Кто были те солдаты, которых она видела, как они были одеты, были оборваны или нет, у всех ли на ногах была обувь? Кто были люди, стоявшие у дороги, что говорили женщины, плакали или нет?

Джордж донимал ее бесконечными расспросами, покуда совершенно не изматывал; потом снова принимался за свое. На что они жили, когда кончились все деньги? Где брали одежду? Шили из выращенного хлопка. Что делали с ним? Женщины его пряли. Как пряли, сидела ли она сама за прядкой? Какого цвета бывала одежда, окрашивали ее или нет? Да, окрашивали, красители готовили сами. Как готовили? Из чего? Из скорлупы грецких орехов, из ягод бузины, из американского лавра, все это собирали в лесу. Какие из них получались цвета, как производилась окраска? – и так далее, заставляя старуху напрягать память, пока не вытаскивал из нее все.

И теперь точно так же не отставал от Эстер. Она как-то сказала:

– Мой отец ходил в заведение «У Мока»...

– Это где? Ни разу не слышал о нем.

– Был такой ресторан – отец ходил туда почти каждый вечер.

– Где? Ты бывала там?

– Нет, я была еще ребенком, но слышала, как он говорил о нем, и название зачаровало меня.

– Да, оно *может* зачаровать. Что представляло собой это заведение?

– Не знаю. Я ни разу не бывала там, но когда отец возвращался поздно, слышала его разговоры с матерью.

– Как ты могла их слышать? Почему не лежала в постели?

– Лежала. Но моя комната находилась прямо над столовой, а в стене был тепловой вентилятор. И когда я включала его, то могла, сидя в темноте, слышать все, что они говорят. Они считали, что я крепко сплю, но я сидела, подслушивая их, будто невиди мый призрак, и находила это восхитительным и волнующим. Они часто упоминали об этом заведении. Иногда отец приводил других актеров, своих друзей, и я слышала голос матери: «Где это вы были?». Отец и другие актеры смеялись, потом он отвечал: «"У Мока", где ж еще?».- «Что делали там в такое время?».- «Ну, выпили кружку пива», – отвечал отец. «Оно и видно, – слышался голос матери. – Что выпили одну кружку на всех». Я слышала их голоса, смех актеров, и звучало это так чудесно, что начинало казаться, будто я сижу там среди них, только они этого не знают, потому что я невидима.

– И это все, что знаешь? Ты не узнала, где находилось это заведение, как выглядело?

– Нет, но мне представляется, что это было заведение для мужчин, со стойкой, устрицами – и с опилками на полу.

– И называлось оно «У Мока»?

– Называлось «У Мока».

Вот так Джордж не отставал от Эстер, пытливо, назойливо расспрашивал, покуда не добился в конце концов полной картины ее минувших лет.

«Долго, долго я лежал в ночи...»

(Раз!)

«Долго, долго я лежал в ночи без сна...»

(Два!)

«Долго, долго я лежал в ночи без сна, думая, как рассказать мне свою повесть».

О, как прекрасны эти слова! Они отдаются во мне музыкой, словно колокольный звон.

(Раз, Два, Три, Четыре! Раз, Два, Три, Четыре!)

Звонят колокола, и это время. Какое? Колокола отбивали полчаса. И это было время, время, время.

И это было время, мрачное время. Да, это было время, мрачное время, и оно висит над нашими головами в прекрасных колоколах.

Время. Ты подвешиваешь время в больших колоколах на башне, время непрерывно бьется легким пульсом у тебя на запястье, ты заключаешь время в маленький корпус часов, и у каждого человека есть свое, особое время.

А некогда существовала маленькая девочка, очень прелестная, очень милая, она была на редкость умной, научилась писать на шестом году жизни и писала письма своим дорогим дядям Джону и Бобу, дяди были большими и толстыми – Господи, до чего же много ели эти люди! – они просто обожали ее, и она называла их «Дорогие Милые Дяди!»: «У нас новая сабака, завут ее Рой очень хорошая только Белла гаворит что она еще и грязная Сестра учится гаворить и уже может сказать все, а я беру уроки французского языка учительница гаворит что я уже хорошо на нем разгавариваю и что я умная и способная и я все время думаю о Дорогих Милых Дядях это все Сестра перидат вам превет и мы жаем что Дорогие Милые Дяди ни забудут нас и превизут что-нибудь хорошее сваей дарогой маленькой Эстер».

О, это наверное, было гораздо позже, после того, как мы вернулись из Англии. Да, видимо, года два спустя, потому что до того я помню только большой пароход, его бросало вверх-вниз и маме было очень плохо – Господи, как она побледнела! Я очень испугалась и заплакала, а папа был молодчиной. Принес ей шампанского, я слышала, как он сказал: «Вот, выпей, тебе станет лучше», а она ответила: «Нет, не могу, не могу!». Но все же выпила. Папа всегда умел настоять

на своем.

У меня была няня, мисс Кремптон – смешная фамилия, правда? – жили мы сперва позади музея на Гауэр-стрит, потом на Тэвисток-сквер. А у молочника была тележка, он толкал ее перед собой и при этом издавал какой-то странный звук горлом, каждое утро, когда он показывался, мне разрешали выйти, усесться на краю тротуара и поджидать его, солнце бывало затянуто дымкой и походило на старое золото, я давала молочнику деньги, а он громко говорил: «Вот вам, мисс, свежие, как маргаритка» и давал мне крохотную бутылочку сливок, я выпивала их прямо там и возвращала бутылочку. Господи, как я гордилась! Воображала себя на три-четыре года старше. А потом, когда спросила папу, почему сливки настолько дороже молока, он ответил: «Потому что корове очень трудно сидеть на таких маленьких бутылочках». Мне это показалось так удивительно, что из головы не шло, а мама сказала ему, что стыдно так разговаривать с ребенком, но в нем было нечто до того замечательное, что я верила каждому его слову.

А потом папа отправился на гастроли с Мэнсфилдом, мама поехала с ним, а меня оставили с тетей Мери. У нее был дом на Портмен-сквер. Господи, до чего красивый! Она была писательницей. Написала книгу о ребенке, который рос в лондонском Ист-Энде, очень хорошую, с великолепным мастерством; это была халтура, но все же замечательная.

Тетя Мери была очень славной. Она позволяла нам пить вместе с ней чай, мне это очень нравилось, к ней приезжали всевозможные люди, у нее была масса знакомых; однажды, когда я спустилась к чаепитию, там был старик с длинной седой бородой, а я пришла в передничке, выглядела, должно быть, очень мило. Тетя сказала: «Иди сюда, моя дорогая», поставила меня между своих колен и повернула лицом к старику. Господи! Я так испугалась, в этом было что-то очень странное. А тетя говорит: «Посмотри на этого джентльмена и запомни его фамилию, когда-нибудь ты будешь знать о нем больше и вспоминать эту встречу». Потом сказала, что фамилия очень странная, и мне стало любопытно, что такой старик мог написать.

Тут мой двоюродный брат Руперт принялся смеяться надо мной, дразнить меня, потому что я боялась мистера Коллинза – Руперт был просто несносен! Я его ненавидела! – и я заплакала, а мистер Коллинз подозвал меня, посадил себе на колено. Оказался замечательным стариком. Умер он, кажется, год спустя. Он стал рассказывать мне разные истории, просто очаровательные, но я их уже забыла. Господи! Я очень любила его книги – он написал несколько замечательных. Читал ты «Женщину в белом» и «Лунный камень»? Превосходные вещи.

Так что, пожалуй, мы провели за границей года два. Папа был на гастролях с Мэнсфилдом, а когда мы вернулись в Нью-Йорк, стали жить у Беллы. Наверно, то был единственный раз, когда она и мама расставались, они просто обожали друг друга... Хотя, пожалуй, сперва мы жили не у Беллы. У мамы еще оставались дома в южной части Манхеттена, и может, мы сперва поехали в один из них, не знаю.

Время было тогда замечательное, однажды солнце вошло, и Мост зазвучал музыкой в сияющем воздухе. Он походил на песню: он словно бы взмывал над гаванью, и по нему шли мужчины в шляпах дерби. Был словно нечто, впервые пришедшее на память, осознанное впервые в жизни, и под ним протекала река. Думаю, так всегда бывает в детстве, уверена, что иначе быть не может, ты вспоминаешь виденное, но все бывает обрывочно, перепутанно, смутно; а потом однажды осознаешь, что есть что, и припоминаешь все, что видишь. Тогда было именно так. Я видела мачты судов, плывущих вниз по реке, они выглядели роццей молодых деревьев, были изящными, тонкими, расположенными близко друг к другу, листвы на них не было, и мне на ум пришла весна. А одно судно шло вверх по течению, то был белых

экскурсионный пароход, заполненный пассажирами, играл оркестр, мне было все видно и слышно. И я видела лица всех людей на Мосту, они двигались ко мне, в этом было что-то странное, печальное, однако ничего более великолепного мне видеть не доводилось: воздух был чистым, искрящимся, как сапфир, за Мостом находилась гавань, и я знала, что там море. Я слышала стук копыт всех лошадей, звонки всех трамваев и все громкие, дрожащие звуки, создававшие впечатление, что Мост живой. Он был словно время, словно красные кирпичные дома в Бруклине, словно детство в начале девяностых годов, видимо, тогда это и происходило.

Мост пробуждал во мне музыку, какое-то ликование, он связывал собой землю, словно некий клич; и вся земля казалась юной, нежной. Я видела два потока людей, движущихся по Мосту в обе стороны, и казалось, все мы только что родились. Господи, я была так счастлива, что едва могла говорить! Но когда я спросила папу, куда мы едем, он затянул нараспев:

– К тому, кто строил этот Мост, к тому, кто строил этот Мост, к тому, кто строил этот Мост, ми-ле-ди.

– Папа, *неправда!* – сказала я.

Он был таким сумасбродным и замечательным, рассказывал столько всяческих историй, что я никогда не знала, верить ему или нет. Мы сели в открытый трамвай позади вагоновожатого. Тот человек постоянно звонил, нажимал на педаль, папа был очень этим доволен и возбужден. Когда он приходил в такое состояние, взгляд у него становился каким-то диким, восторженным. Господи, до чего он был красив! На нем были роскошный темный пиджак и легкие светлые брюки, в булавке для галстука жемчужина, на голове заломленная шляпа дерби, все это было роскошно, превосходно; волосы его были цвета светлого песка, густые, блестящие. Я так гордилась им, на папу все повсюду оглядывались, женщины были просто без ума от него.

Мы вылезли из трамвая, прошли по улице и поднялись по ступеням великолепного старого дома, старый негр открыл дверь и впустил нас. На нем была белая куртка, и весь он был черно-белый, чистый, наводил на мысль о вкусной еде и напитках с мятой, с большим количеством льда в узких высоких бокалах. Мы пошли по дому следом за негром, то был один из тех великолепных домов, темных, прохладных, больших, с ореховыми перилами в фут толщиной и зеркалами до потолка. Старый негр привел нас в комнату в задней части дома, я такой замечательной еще не видела. Она была превосходной, высокой, с морским воздухом. Все три больших окна были открыты, снаружи находился балкон, а за ним виднелись гавань и Мост. Это походило на сновидение – Мост парил в воздухе, казался очень близким к окну и вместе с тем очень далеким. А внизу представляли взору река, искрящаяся вода и множество судов; пароходы поднимались вверх по реке и спускались к морю, над ними тянулись изящные струйки дыма.

Возле окна сидел старик в кресле-каталке. Лицо его было властным и благородным, глаза серыми, как у папы, однако не дикими; руки огромными, но красивыми, и он восхитительно двигал ими. Увидев нас, старик заулыбался. Покатил навстречу нам и кресле, подняться из него он не мог: на лице его появилось пылкое, восторженное выражение, когда он увидел папу, потому что папа очень нравился людям, все его любили и тянулись к нему; рядом с ним у них повышалось настроение. Папа заговорил сразу же, и Господи! я так засмузилась, что ничего не могла сказать и стояла, одергивая платице.

– Майор, – сказал папа, – познакомьтесь с принцессой Арабеллой Климентиной Саполио фон Гоггенхейм. Принцесса известна лично и по слухам здесь, за границей и всем коронованным головам Аропы, Эропы, Иропы, Оропы и Юропы.

– Папа! – воскликнула я. – Это неправда!

Господи! Я не знала, что сказать, боялась, что старик поверит этому.

– Не слушайте ее, майор, – сказал папа. – Она станет все отрицать, если сможет, но вы не

должны ей верить. Принцесса очень застенчива и прячется от прессы. Репортеры преследуют ее повсюду, золотая молодежь не дает ей покоя предложениями руки и сердца, отвергнутые поклонники, завидя ее, выбрасываются из окон и ложатся под колеса поезда, чтобы обратить на себя внимание.

– Папа! – воскликнула я. – *Неправда!*

Тут старик взял меня за руку, его огромная рука была очень сильной и нежной, моя ручонка утонула в ней, и я уже его не боялась. Какие-то восхитительные радость и сила пронизали меня, словно пламя. Пламя это исходило из старика, и мне показалось, что я снова на Мосту.

А папа затянул:

– Он тот, кто строил этот Мост, он тот, кто строил этот Мост, он тот, кто строил этот Мост, ми-ле-ди.

И я поняла, что это правда! Поняла, что Мост был его творением, что жизнь его была посвящена Мосту. Он не мог передвигаться на парализованных ногах, и, однако, из него исходила жизненная сила; взгляд его был спокойным, безмятежным и, однако, пронизывал пространство словно возглас, словно сияние; он сидел в кресле-каталке, однако жизнь его была исполнена радости, и я сознавала в глубине души, что Мост действительно построил он. Я не думала обо всех людях, исполнявших его волю, – я только знала, что это ангел, титан, способный строить громадные мосты собственноручно, не сомневалась, что он все делал сам. Я забыла, что это старик в инвалидном кресле; я была уверена, что он мог бы при желании вознестись в пространство, а потом вновь опуститься на землю, совсем, как Мост.

Я ощущала невыразимые счастье и радость, казалось, я открыла мир в тот день, когда он был создан. Я словно бы возвращалась к тому месту, откуда все исходит, словно бы познавала исток, откуда все берет начало, и находила его в себе, поэтому чувствовала, что теперь будут только бессмертные радость, сила и уверенность, что с сомнениями и замешательством покончено. Да! Я сознавала, что этот человек построит Мост, по прикосновению его руки, по жизненной силе, которая исходила из него, но была так растеряна, что смогла только произнести: «Папа! Это *не так!*». А потом повернулась к старику и сказала: «Это не вы, так ведь?» – лишь затем, чтобы услышать, что это он.

А он был таким большим и добрым, все время улыбался и держал меня за руку. И ответил с немецким акцентом, наверное, был родом из Германии: «Послушай, тфой отец гофорит, што я, а ты долшна верить отцу, потмоу што он фсегда гофорит прафду».

Тогда я сказала: «Нет! Как вы *могли?*». И смотрела при этом на его парализованные ноги.

Оба поняли, о чем я думаю, и папа сказал: «Что? Как *мог?* Да он просто кричал отсюда людям, что надо делать, и они делали».

Господи! Это было так нелепо, что я поневоле рассмеялась, но папа был очень серьезен, он умел убеждать людей, в чем угодно, и я сказала: «Нет, *не кричал!*». А потом спросила у старика: «Вы кричали?».

И он ответил: «Тфой отец гофорит, что да, а ты долшна ему фсегда ферить».

– Что-что? – спросил папа. – Майор, в чем смысл последнего замечания?

– Я опьяснил ей, – ответил старик, – ты прафдивый шеловек, Джо, и она долшна фсегда ферить сфоему папе.

Тут папа запрокинул голову и засмеялся на свой странный, необузданный манер; в смехе его слышались некие судьба, пророчество.

– Да, черт возьми, – сказал он, – она должна всегда верить своему папе.

Я подошла к окну, стала глядеть на Мост, он то казался до того близким, что можно коснуться рукой, то находящимся за много миль, а они оба смотрели на меня; потом я разглядела машины, ехавшие по Мосту в обе стороны, крохотных людей на нем, и сказала: «Не

верю. Люди не слышали бы вашего голоса. Слишком далеко».

– Ладно, тогда покажу тебе, – сказал папа. Подошел к окну, приложил руки ко рту рупором, а голос у него был сильный, великолепный, он прекрасно владел им: мог заставить его звучать то будто из живота, то будто откуда-то издалека, и крикнул так громко, что вся комната задрожала:

– ЭЙ! ЭТО ТЫ?

Потом ответил странным, слабеньким голоском, словно бы доносящимся за много миль:

– Да, сэр.

– ОТКУДА У ТЕБЯ СИНЯК? – спросил папа.

Голосок ответил: – Приятель поставил.

– КАК ТАМ МОСТ? – крикнул папа.

– Замечательно, сэр, – послышался голосок.

– ПОДТЯНИ ОСЛАБЕВШИЕ ТРОСЫ. НАМ НИ К ЧЕМУ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, – приказал папа.

– Будет сделано, сэр.

– РЫБЫ НАЛОВИЛ? – крикнул папа.

– Нет, сэр, – ответил голосок.

– ПОЧЕМУ?

– Не клюет.

Скажите, скажите: где теперь утраченное время? Где утраченные суда, утраченные лица, утраченная любовь? Где утраченная девочка? Никто не видел ее на отходящих судах? У воды? Утрачена? Никто не говорил с ней? Господи, неужели никто не может найти ее, остановить, задержать – вернуть мне девочку? Нет ее? Всего минуту, умоляю, всего минуту измеренного, рассчитанного, забывчивого времени!

Нет ее? Значит, она утрачена? Неужели никто не в силах вернуть мне девочку? Вы построите еще более огромные машины, еще более высокие башни, наш прах будет содрогаться в такт вращению еще более громадных колес: так неужели у вас нет машин, способных вернуть шестьдесят секунд утраченного времени? В таком случае она утрачена.

Ты полюбил бы папу. Он был такой необузданный, красивый, все обожали его. В том-то и беда: все давалось ему легко, он никогда ни к чему не прилагал усилий.

За год до его смерти мне было около шестнадцати лет. Господи, я была прямо-таки писаной красавицей и думаю, что почти такой и осталась. Хорошее у меня лицо? Оно такое же, как всегда, люди мало меняются.

Папа в тот год играл в Нью-Йорке. Слышал ты о пьесе «Полониус Поттс, филантроп»? Чудесная пьеса! Папа в ней был замечателен – он играл профессора Макгиллигру Мампса, доктора богословия из Мемфиса – люди начинали хохотать, едва он появлялся на сцене. Сохранилась его фотография в гриме: у него лысый парик, длинные бакенбарды, торчащие ключьями в разные стороны, одет он в длинный сюртук, в руке большой обвислый зонтик, который раскрывался всякий раз, стоило папе на него опереться. «Моя фамилия Мампс, Макгиллигру Мампс из Мемфиса...», потом он вытаскивал из бокового кармана большой красный платок и оглушительно сморкался. Хохот после этого не утихал пять минут.

Папа был очень красивым. Уголки его рта загибались вверх, словно он всегда был готов улыбнуться, а когда улыбался, лицо его будто бы светилось. В это было что-то изысканное – словно бы кто-то включал свет.

Таких пьес больше не ставят. Видимо, зрители сочли бы их примитивными, глупыми. Я считала их замечательными. Не знаю, но мне кажется, что люди тогда были проще.

Большинство людей сейчас такие спесивцы – каждый полагает, что постоянно должен говорить или делать что-то умное. Такие вычурные, я от них устаю. Большинство молодых людей совершенная шваль, все представляют собой чью-то бледную тень – чуть-чуть фальши здесь, капельку притворства там, сплошное подражание. Господи, чего ради стараться выглядеть не тем, что есть, не быть самим собой?

На другой год Ричард Бранделл поставил «Ричарда Третьего» и прислал моему отцу билеты с запиской, в которой очень взволнованно и настойчиво просил заглянуть к нему перед спектаклем. Отец не играл на сцене уже около года. Глухота его так усилилась, что он уже не слышал суфлера, и дядя Боб дал ему должность своего секретаря в управлении полиции. Я приходила к нему каждую субботу, – полицейские были очень любезны со мной, давали коробки карандашей и большие пачки прекрасной бумаги.

Мистер Бранделл не видел моего отца несколько месяцев. Придя в театр, мы ненадолго отправились за кулисы. Когда отец распахнул дверь и вошел в артистическую уборную, Бранделл обернулся и выскочил из кресла, будто тигр, обнял отца обеими руками и воскликнул дрожащим, взволнованным голосом, словно в невыносимой душевной муке:

– Джо! Джо! Я очень рад твоему приходу! Очень рад видеть тебя!

Волнуясь, он всегда говорил с заметным акцентом. Он хоть и утверждал, что по рождению англичанин, но родился в Лейпциге, отцом его был немец; настоящая фамилия его была Брандль, став актером, он изменил ее на Бранделл.

Я больше ни у кого не видела такой потрясающей возбудимости. Мистер Бранделл был очень красив, но в ту минуту его лицо, приятное, выразительное, удивительно подвижное, было так раздуто и перекошено сильным душевным волнением, что он походил на свинью. Обычно он бывал очень обаятельным, сердечным, приветствовал меня нежно, ласково, целовал. Но тут на радостях забыл обо всем. Несколько минут он молчал, любовно потряхивая отца за плечи; потом заговорил о «них». Мистер Бранделл считал, что все ополчились против него, твердил, что папа его единственный друг на свете и спрашивал, презрительно и имеете с тем жалко:

– Джо, что *они* говорят? Слышал ты *их* разговоры?

– Слышал только, – ответил отец, – что роль ты играешь замечательно, что сейчас на сцене равных тебе нет, что всем далеко до тебя, Дик – и сам я тоже так считаю.

– И даже Подколодному? Даже Подколодному? – воскликнул мистер Бранделл со злобной гримасой.

Мы знали, что он имел в виду Генри Ирвинга, и не ответили. После своего провала на гастролях в Лондоне он в течение многих лет был уверен, что провал произошел по вине Ирвинга. В его представлении этот человек являлся чудовищем, постоянно строящим планы подвести его, погубить. Он был одержим мыслью, что почти все на свете ненавидят его, стремятся сжить со света, поэтому схватил отца за руку и, пристально глядя ему в глаза, сказал:

– Нет-нет! Не лги мне! Не води меня за нос! Ты единственный, кому я могу доверять!

И принялся рассказывать о кознях своих врагов. Исступленно бранить всех и каждого. Сказал, что все рабочие сцены сговорились против него, что никогда не ставят декорации вовремя, что перерывы между действиями способны загубить постановку. Видимо, он считал, что враги его платят рабочим, дабы испортить спектакль. Папа говорил ему, что это глупость, что никто на такое не пойдет, а мистер Бранделл все твердил:

– Они пойдут! Они ненавидят меня! И ни за что не успокоятся, пока не сживут со света! Я знаю! Я знаю! – Голос его звучал очень таинственно. – Я мог бы тебе кое-что рассказать... Я знаю такое... Ты просто не поверишь, Джо.

И заговорил злобным голосом:

– Тогда почему же я изъездил эту страну от побережья до побережья, каждый вечер играл в новом городе и никогда не знал таких неприятностей? Да! Черт возьми, я играл в каждом оперном театре, в каждом захолустном лектории на североамериканском континенте, и всякий раз сцена бывала подготовлена вовремя! Декорации привозили за два часа до спектакля и устанавливали своевременно! Да! Так бывало в любом городишке! По-твоему, в Нью-Йорке это невозможно?

Немного помолчав, он продолжал с горечью:

– Я отдал жизнь театру. Отдал публике лучшее, что было во мне – и какую же благодарность получил? Публика меня ненавидит, коллеги обманывают и предают. Я начал жизнь банковским служащим, в клетке кассира и подчас проклиная злую судьбу, которая вырвала меня оттуда. Да! – яростно выпалил он. – Нужно было пренебречь этой мишурой, блеском, недолгой славой – аплодисментами толпы, которая завтра же тебя забудет, а послезавтра оплюет – зато я приобрел бы нечто бесценное...

– Что же? – спросил отец.

– Любовь благородной женщины и счастливые голоса малышей.

– Отдает наигрышем, – цинично заявил отец. – Дик, да ведь тебя целый пехотный полк не смог бы не пустить на сцену. Актерство из тебя так и прет.

– Да, – сказал с отрывистым смешком мистер Бранделл, – ты прав. Я говорил, как актер. – Подался вперед и уставился в зеркало на гримировочном столике. – Актер! И ничего больше! «Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе».

– Дик, – заметил отец, – я бы не сказал этого. Ты живешь полной жизнью.

– Всего-навсего актер! – воскликнул мистер Бранделл, глядясь в зеркало. – Жалкий, рисующийся, низкий, высокомерный актеришка! Актер – человек, который лжет и не сознает этого, который произносит слова, написанные лучшими, чем он, людьми, читатель любовных записок от продавщиц, соблазнитель доступных женщин, человек, который прислушивается к интонациям собственного голоса, который не может купить в мясной лавке кость для своей собаки без мысли о том, какое производит впечатление, который не может даже поздороваться, не играя – актер! Клянусь Богом, Джо, – воскликнул он, поворачиваясь к отцу, – я с ненавистью вижу свое лицо в этом зеркале.

– Откуда так несет наигрышем? – произнес папа, поворачивая голову и прищуриваясь.

– Актер! – заговорил снова мистер Бранделл. – Человек, который перебивал столькими персонажами, что уже не способен быть самим собой! Который имитировал столько чувств, что у него не осталось своих! Знаешь, Джо, – голос мистера Бранделла стал каким-то шелестящим, – когда мне сказали, что моя мать умерла, у меня был миг – да, пожалуй, именно миг – искреннего горя. А потом я побежал глядеться в зеркало и очень жалел, что нахожусь не на сцене, не могу показать лица публике. Актер! Человек, который создал столько лиц, что уже не знает собственного – он коллекция поддельных рож!.. Какое лицо вам угодно, дорогая моя? – обратился он ко мне с иронией. – Гамлета? – И тут же стал выглядеть Гамлетом. – Доктора Джекила и мистера Хайда? – Тут его лицо чудесным образом дважды преобразилось: в первый миг он выглядел доброжелательным джентльменом, в следующий – уродливым, жутким чудовищем. – Ришелье? – И сразу же превратился в коварного, зловещего старика. – Франта Брамелла? – И стал юным, жизнерадостным, надменным и глупым. – Герцога Глостера? – И преобразился в жестокого, беспощадного негодяя, которого ему вскоре предстояло играть.

Это было необыкновенно, очаровательно; и вместе с тем жутко. Казалось, он обладал какой-то мощной, кипучей энергией, которая вся уходила в этот чудесный и губительный дар подражания – дар, который, возможно, как он говорил, разрушил, уничтожил его собственную личность, потому что в промежутках между преображениями этого человека мимолетными,

тревожащими проблесками возникало некое осознание, скорее угадывалось, чем вспоминалось, каким был этот человек, как выглядел – возникало осознание беспокойного, заблудшего, одинокого духа, который проглядывал с упорной, печальной, безмолвной неизменностью сквозь все изменения его маски.

Мне казалось, что мистер Бранделл испытывал настоящее отчаяние, настоящее горе. Думаю, его, как и моего отца, мучила вечная загадка театра: его почти невозможные грандиозность и великолепие, его поэзия и очарование, не сравнимые ни с чем на свете; и шарлатанство, дешевка, которыми он разлагает тех, кто служит ему. Ричард Бранделл был не только величайшим актером, какого я видела на сцене, он был еще и человеком величайших достоинств. Обладал всеми способностями, какими должен обладать великий актер. И вместе с тем дух его был обезображен словно бы неуничтожимым налетом – он чувствовал, осознавал этот налет, как человек может осознавать действие смертного яда в крови, с которым он ничего не в силах поделать.

Мистер Бранделл играл во множестве пьес, от великой музыки «Гамлета» до нелепой, мелодраматической ерунды, которую писали для него литературные поденщики, и в ролях, написанных ими, раскрывал могучий талант с теми же страстью и энергией, что и в своих чудесных образах Яго, Глостера, Макбета. Подобно большинству людей, сознающих в себе что-то порочное, фальшивое, он как-то байронически презирал себя. Постоянно обнаруживал, что чувство, которое считал глубоким и подлинным, было просто-напросто проявлением тщеславия, опьянением самовлюбленностью, самообманом, приносящим глубокое романтическое удовлетворение; и покуда душа его корчилась от стыда, он злобно насмехался над собой и над собратьями-актерами. Иногда загонял кого-то из них в угол, чтобы тот не мог удрать, и безжалостно обрушивался на него:

– *Пожалуйста*, позвольте рассказать вам о себе. Давайте присядем и заведем приятный, долгий разговор о моей особе.

Вижу по вашему взгляду, вам до смерти хочется послушать, о, вы слишком вежливы, чтобы обратиться с такой просьбой. Я знаю, послушать, как я говорю о себе, вам будет приятно. Вам, разумеется, рассказать о себе нечего, так ведь? – насмехался он. – О, дорогой мой, вы слишком скромны! Ну, о чем пойдет у нас речь? О чем желаете сперва послушать? О том, как меня принимали в Лиме, штат Огайо? Или в Кейро, штат Иллинойс? Знаете, там я заставлял зрителей держаться за край сиденья. Это было чудесно, старина! Какая была овация! Они поднялись и аплодировали десять минут! Женщины бросали мне цветы, сильные мужчины рыдали. Вам интересно? Вижу, что да! Видно по вашему жадному взгляду! Позвольте рассказать еще кое-что. Хотите послушать о женщинах? Дорогой друг, они без ума от меня! Сегодня утром я получил по почте шесть записок, три от бостонских богатых наследниц, две от жен богатых торговцев продуктами и сеном в Миннесоте... но я должен рассказать вам о приеме в Кейро... В тот вечер я играл в «Гамлете». Хорошая роль, старина, – пожалуй, чуточку старомодная, но я сделал вот что: дописал несколько речей в разных местах, однако никто этого не заметил. Придумал несколько замечательных реплик для некоторых сцен – совершенно замечательных! И знаешь, мой мальчик, они *любили* меня! Обожали! В конце третьего акта меня вызывали шестнадцать раз – не хотели отпускать, старина, вызывали и вызывали – наконец мне пришлось сказать несколько тщательно выбранных слов. Конечно, старина, делать этого мне очень не хотелось – в конце концов, дело все в пьесе, так ведь? Мы выходим на сцену не ради аплодисментов для себя, правда? *Нет-нет!* – насмехался он. – Но *позвольте* рассказать, что я сказал зрителям в Кейро. Вижу, вы сторааете от любопытства!

В тот вечер мистер Бранделл видел моего отца последний раз. Перед самым нашим уходом он повернулся ко мне, взял меня за руку и сказал очень искренне, серьезно:

– Эстер, если придется, зарабатывать на жизнь в поте лица своего; если придется, опускайся на четвереньки и мой полы; если придется, ешь горький хлеб унижения – но обещай, что ни в коем случае не попытаешься стать актрисой.

– Я уже заставил ее дать такое обещание, – сказал отец.

– Она такая же послушная, как и хорошенькая? Умная? – спросил мистер Бранделл, не выпуская моей руки и глядя на меня.

– - Такой умной девочки на свете не бывало, – ответил отец. – Ей следовало быть не дочерью мне, а сыном.

– И что она собирается делать? – спросил мистер Бранделл, не отводя от меня взгляда.

– То, чего мне так и не удалось, – ответил отец. – Уразуметь кое-что.

Потом взял меня за руки и заговорил:

– Она не будет желать всего на свете и ничего не добиваться! Не будет стремиться сделать все и бездельничать! Не будет тратить жизнь на мечты об Индии, хотя Индия ее окружает! Не будет сходить с ума, думая о миллионе жизней, мечтая вобрать в себя переживания миллиона людей, хотя жизнь у нее всего одна! Не будет дурой, страдающей от голода и жажды, хотя земля стонет под своим изобилием... Дорогая моя детка, – воскликнул отец, – ты такая хорошая, такая красивая, такая одаренная, и я тебя очень люблю! Я хочу, чтобы ты была счастлива и жила замечательной жизнью.

Он произнес эти слова с таким искренним и пылким чувством, что казалось, вся его сила, вся мощь передалась мне через его руки, словно он вложил всю свою жизненную энергию в это пожелание.

– Знаешь, Дик, – обратился он к мистеру Бранделлу, – этот ребенок появился на свет с такой мудростью, какой у нас никогда не будет. Она может пойти в парк, принести оттуда десяток разных листьев, а потом изучать их целыми днями. И в конце концов знать об этих листьях все. Она знает их размер, форму, цвет – знает до последней черточки и может рисовать их по памяти. Дик, ты мог бы нарисовать лист? Знаешь ты форму и узор хоть одного листа? Я ведь навидался лесов, я бродил по рощам и пересекал в поездах континент, глядел во все глаза, пытался охватить взглядом всю землю – и едва могу отличить один лист от другого. Нарисовать лист по памяти я не смог бы даже ради спасения собственной жизни. А она может выйти на улицу и потом рассказать, как люди были одеты, и что это были за люди. Можешь ты вспомнить хоть одного из тех, с кем ты разминулся сегодня на улице? Я хожу по улицам, вижу толпы людей, гляжу на множество лиц до одури, а потом все эти лица болтаются, как пробки в воде. Я не могу отличить одно от другого, я вижу миллион лиц и не могу вспомнить ни единого. А она видит одно и вспоминает миллион. В этом все дело, Дик. Если б начать жизнь сначала, я бы старался видеть лес в одном листике, все человечество в одном лице.

– Послушай, Эстер, – сказал мистер Бранделл, – уже не открыла ли ты новую страну? Как проникнуть в тот чудесный мир, где ты живешь?

– Очень просто, мистер Бранделл, – ответила я. – Нужно выйти на улицу и смотреть вокруг, вот и все.

– Вот и все! – повторил мистер Бранделл. – Дорогое дитя, я выхожу на улицу и смотрю вокруг вот уже почти пятьдесят лет, и чем дальше, тем меньше вижу того, на что хочется смотреть. Что за чудесные зрелища ты находишь?

– Знаете, мистер Бранделл, – заговорила я, – иногда это лист, иногда карман чьего-то пальто, иногда пуговица или монета, иногда старая шляпа или старый башмак на полу. Иногда это табачный магазин, связки сигар на прилавке, банки с трубочным табаком и чудесный загадочный запах. Иногда это маленький мальчик, иногда девочка, глядящая из окна, иногда старушка в смешной шляпке. Иногда это цвет фургона со льдом, иногда – старой кирпичной

стены, иногда кошка, крадущаяся по забору в заднем дворе. Иногда это ноги мужчин на перекладине внизу стойки, иногда проходишь мимо салуна, опилки на полу, голоса и чудесный запах пива, апельсиновой цедры и ангостуры. Иногда это люди, проходящие поздно вечером у тебя под окнами, иногда стук лошадиных копыт на улице рано утром, иногда гудок судна, выходящего в темноте из гавани. Иногда это контуры строения на другой стороне улицы, в котором расположена какая-то станция, иногда запах рулонов новой, свежей ткани, иногда это чувство, с каким ты шьешь платье – ты чувствуешь, как силуэт этого платья исходит из материала из кончиков пальцев и чувствуешь себя уже в этом платье, у него есть сходство с тобой, и ты сознаешь, что никто на свете не мог бы сшить его так. Иногда это ощущение воскресного утра, которое испытываешь, когда просыпаешься, ты осязаешь, обоняешь его, и пахнет оно завтраком. Иногда это похоже на субботний вечер. Иногда это ощущение, какое бывает в понедельник утром, ты волнуешься, нервничаешь, кофе в желудке бурлит, и вкуса завтрака не ощущаешь. Иногда это то, что испытываешь в воскресенье, когда люди возвращаются с концерта, – ощущение жуткое, оно нагоняет на тебя тоску. Иногда это то, что испытываешь, когда просыпаешься ночью и знаешь, что идет снег, хотя не видишь его и не слышишь. Иногда это гавань, иногда доки, иногда Мост с идущими по нему людьми. Иногда это рынки и запах цыплят; иногда свежие овощи и яблочный запах. Иногда это люди во встречном поезде: они близко, ты видишь их, но не можешь коснуться, прощаешься с ними, и это приводит тебя в печаль. Иногда это дети, играющие на улице: кажется, они не имеют ничего общего со взрослыми, и вместе с тем кажется, что они взрослые и живут в каком-то собственном мире – в это есть что-то странное. А иногда это как с лошадьми – иногда выходишь и не видишь ничего, кроме лошадей, они заполняют улицы, и ты совершенно забываешь о людях, кажется, что лошади владеют землей, они разговаривают друг с другом, и кажется, что у них своя жизнь, к которой люди никакого отношения не имеют. Иногда это всевозможные экипажи – двухколесные, четырехколесные, «виктории», ландо. Иногда это мастерская по изготовлению экипажей Брустера на Бродвее: туда можно заглянуть и увидеть, как в подвале делают экипажи – все очень изящно, красиво, пахнет стружками превосходного дерева, свежей кожей, упряжью, оглоблями, пружинами, колесами и ободами. Иногда это все люди, идущие по улицам, иногда это только евреи – бородатые старики, старухи, ощупывающие уток, девушки и мальши. Я знаю все об этих людях, все, что происходит у них в душе, но говорить вам с папой об этом бесполезно – вы оба христианине и не поймете меня. Ну и еще многое – сдаетесь?

– Господи, еще бы! – ответил мистер Бранделл, взял с гримировочного столика полотенце и махнул в мою сторону. – Сдаюсь! О, дивный новый мир, обладающий такими чудесами!... Джо, Джо, – обратился он к моему отцу, – случится ли это еще когда-нибудь с нами? Неужели мы всего-навсего голодные, уставшие от жизни нищие? Способен ли ты, идя по улице, видеть все это? Вернется ли к нам эта способность когда-нибудь?

– Ко мне нет, – ответил отец. – Я был сержантом, но меня разжаловали.

При этих словах он улыбался, но голос его был старческим, усталым, безрадостным. Теперь я понимаю, он чувствовал, что жизнь его не удалась. Лицо его сильно пожелтело от болезни, плечи ссутулились, большие кисти рук болтались возле колен; стоя там между мной и мистером Бранделлом, он казался сторбленным, словно только что поднялся с четверенек. И все-таки его лицо было изящным и необузданным, как всегда, у лица был странный, парящий вид – словно оно улетало от некоего стесняющего, унижительного бремени – как всегда, и к этому выражению возвышенного полета теперь добавилось напряженно-внимательное, как у всех глухих.

Мне казалось, что ощущение одиночества, изгнанничества, какой-то краткой внеземной остановки, словно некий крылатый дух временно прервал его полет на неведомую землю, было

заметно у него сильнее, чем когда бы то ни было. Внезапно я поняла всю странность его жизни и участи – его отдаленность от всей той жизни, которую я знала. Подумала о его странном детстве, о непостижимой, чудесной случайности, приведшей его к моей матери и евреям – он был посторонним, чужаком, изгнанником среди смуглых лиц – был с нами, но не нашим. И сильнее, чем когда-либо, ощутила нашу близость и отдаленность; почувствовала себя самой близкой к нему из всех людей и вместе с тем самой далекой. В его жизни было уже что-то неправдоподобное, чуждедальнее; он казался человеком из какого-то безвозвратно ушедшего времени.

Думаю, мистер Бранделл раньше не замечал, каким усталым и больным выглядел мой отец. Он был погружен в собственный мир, горел неистовым, полуподавленным волнением, почти безумной жизненной энергией, которая в тот вечер достигла высшего накала. Однако перед нашим уходом он пристально, оценивающе взглянул на отца, взял его за руку и с огромной нежностью спросил:

– Джо, в чем дело? У тебя такой усталый вид. Что-нибудь стряслось?

Отец покачал головой. Он стал очень мнительным из-за глухоты, и любое упоминание о несчастье, заставившем его покинуть сцену, любое выражение сочувствия от бывших коллег больно ранили его.

– Да ну, что ты, – ответил он. – Я никогда не чувствовал себя лучше! Был Джо Страхолюдным Актером, стал Джо Страхолюдным Полицейским, в подтверждение чего могу показать значок. – И с этими словами вынул значок полицейского, которым и вправду очень гордился. – Разве это не успех? Пошли, дочка, – обратился он ко мне. – Предоставим этому злодею устраивать заговоры и совершать убийства. Если он хватит через край, я его арестую!

Мы направились к двери, но мистер Бранделл остановил нас и молчал. Огромное подавленное волнение, ликующая ярость, ощущавшиеся в нем все это время, теперь стали заметнее. Этот человек гудел, как динамо-машина, его сильные руки дрожали, и когда заговорил, казалось, что он уже перевоплотился в герцога Глостера: в голосе его слышались глубокое коварство и ликующее пророчество, нечто безумное, таинственное, заговорщицкое и уверенное.

– Смотрите на сцену в оба, – сказал он. – Возможно, увидите кое-что, достойное запоминания.

Мы покинули его и пошли в зрительный зал. Больше моего отца мистер Бранделл не видел.

Когда мы вошли в зал, он был уже почти полон, хотя люди все еще шли по проходам к своим местам. Поскольку отец плохо слышал, Бранделл дал нам места в первом ряду. Несколько минут как входят люди, как заполняется зал, я вновь ощущала восторженность и радость, как всегда перед поднятием занавеса. Глядела на красивых женщин, на мужчин в вечерних костюмах, на все аляповатые, броские украшения зала; слышала торопливые, оживленные разговоры, шорох шелка, шевеление – и любила все это.

Через несколько минут свет стал гаснуть. Весь зал вздохнул, стало слышно, как люди подались вперед, а затем я увидела в тусклом свете то, что мне всегда казалось исполненным красоты и очарования: множество людей, внезапно ставших обособленными существами, и нежные белые пятна лиц, цветущих лепестками в бархатистой темноте, запрокинутых жадно, молча, сосредоточенно и прекрасно.

Затем поднялся занавес, на огромной, высокой сцене стоял одинокий уродливый человек. На миг я осознала, что это Бранделл; на миг ощутила только изумление, чувство нереальности при мысли о чуде преображения, происшедшего за несколько минут, сознании, что это жестокое, злое существо – тот самый человек, с которым мы только что разговаривали. Потом на весь зал прозвучали первые слова великолепного вступительного монолога, и все это

мгновенно забылось: этот человек был уже не Бранделлом, а герцогом Глостером.

Тот вечер будет жить в моей памяти, как самый великолепный, какой я провела в театре. Ричард Бранделл достиг тогда вершины мастерства. Тот вечер явился вершиной в буквальном смысле. Сразу после спектакля у Бранделла началась нервная депрессия: пьеса была снята с репертуара, Бранделл уже никогда не играл Ричарда. Прошло несколько месяцев, пока он вообще вышел снова на сцену, и до конца жизни он уже не приближался к тому уровню исполнения, какой продемонстрировал в тот вечер.

При первых же его словах зрители мгновенно поняли, что увидят такую игру, какую удастся увидеть на сцене лишь раз в жизни. И все же поначалу не было ощущения раскрытия характера, жестокости и коварства Ричарда – была лишь могучая музыка, звучащая на весь зал, настолько великая и ошеломляющая, что уничтожала всякую память обо всем низком, уродливом, мелком в жизни людей. В звучании этих слов словно бы заключалась вся мера благородства, величия и трагического отчаяния человека, слова взлетали к огромному вечному небу словно вызов и свидетельство человеческого достоинства, словно проповедь веры, что ему нечего стыдиться или бояться.

Итак, преобразило солнце Йорка

В благое лето зиму наших смут.

И тучи, тяготевшие над нами,

Погребены в пучине океана^[14].

Затем стремительно, потрясающе, с яркими проявлениями одержимости, страха, жестокости стала раскрываться жуткая личность Ричарда; она предстала во всей полноте едва ли не до конца вступительного монолога. Речь эта была поистине ужасающей, в ней отчетливо выявлялся искривленный, уродливый, страдающий Глостер, для которого в жизни не существовало ничего прекрасного, человек, который не имел иной возможности возвыситься, кроме совершения убийств. По ходу пьесы личность Ричарда становилась для меня совершенно реальной, убийства донельзя пугающими, стихи наполнились такой музыкой и таким ужасом, что когда началась та кошмарная сцена в палатке, я почувствовала, что не смогу оставаться там, если прольется хоть одна капля крови. Потом, когда Ричарду явились призраки маленьких принцев, когда он начал произносить «Огонь блестит каким-то синим светом», со мной произошло одно из самых необычных событий в жизни.

Неожиданно я услышала негромкое, очень далекое гремяние колес, оно постепенно приближалось. Королевская палатка исчезла, и перед моим взором протянулась длинная полоса жесткого серебристого песка, а за ней был спокойный океан. Вода была нежно-голубого цвета, известного как аквамаринный, солнце висело низко над землей. Берег у самой воды был совершенно плоским, человеческая нога не ступала на него с тех пор, как начался отлив.

Я догадалась, что та земля представляла собой остров, прибрежная полоса огибала высокий, поросший зеленью обрыв. Гремяние колес стало ближе, показалась мчащаяся колесница, запряженная тройкой лошадей. Гремяние стало оглушительным, и греческая колесница явственно предстала моему взору. Правила ею женщина, сразу же заполнившая все мое существо сердечной теплотой и чувством узнавания. Она была среднего роста, с небольшой головой, лицо ее я могу описать лишь как имевшее форму сердца: широкое у висков, оно сужалось к хрупкому, острому подбородку. У нее были прекрасные, шелковистые волосы, перехваченные венцом из золотых листьев, сзади венец был связан пурпурной лентой. Ни лицо, ни фигура ее не были классическими в нашем понимании. Лицо было по-своему красивым и задело во мне какую-то струну, отозвавшуюся всей теплотой моей натуры.

Я знала эту женщину всю жизнь. Иногда тембр звука заставляет хрустальный кубок

звенеть, хотя его ничем не касались. То же самое эта женщина сделала с моим сердцем. Если бы я вошла в комнату, заполненную самыми прекрасными на свете женщинами, и увидела бы ее, то воскликнула бы: «Вот она!». Для меня эта женщина символизировала дом, любовь, радость. Фигура ее была округлой, но не совершенной, как греческие статуи, и не особенно красивой, если не считать прямой, благородной осанки. Одной рукой она правила лошадьми с проворным, уверенным изяществом, другой поглаживала по головкам двух стоявших слева от нее детей – худенькую девочку лет десяти и крохотного мальчика лет четырех, глаза которого едва возвышались над краем колесницы. Платье ее было цвета светлой слоновой кости, отделанным мельчайшей плиссировкой, сшитым из облегающей и вместе с тем ниспадающей ткани, как у древних греков. На ногах у нее были высоко зашнурованные котурны из белой, украшенной золотом кожи.

Они ехали быстро, ветер обтягивал ее платье вокруг тела. Я слышала громыхание колес и топот копыт по жесткому мокрому песку. Видела, как колесо вращается на оси. Они проехали и вскоре обогнули мыс. У меня появилось чувство невосполнимой утраты. Ничего подобного я не испытывала ни раньше, ни позже.

Потом до меня дошло, что я нахожусь в заполненном людьми зрительном зале. Я снова увидела действие на сцене и услышала какой-то звук, исходящий из моего горла. Отец взял мои простертые руки в свои и мягко заговорил со мной. Видение, или что там это было, длилось, как казалось мне, добрых пять минут, но в действительности, должно быть, оно заняло гораздо меньше времени.

Я выбросила видение из головы и стала смотреть на сцену. Пьеса шла к своему блистательному концу. Однако этот сон не давал мне покоя много дней, и несколько месяцев я все еще испытывала то восхитительное чувство узнавания и любви, чувствовала запах песка, моря, берега, и видела все так же ясно, как происходящее вокруг. Потом со временем видение поблеело; но иной раз возвращалось так же явственно, как виделось тогда в театре.

Как думаешь, что это было?

«Долго, долго я лежал в ночи без сна, думая, как рассказать мне свою повесть».

(Раз!)

Теперь в темноте я слышу на реке пароходы.

(Два!)

Теперь я слышу на реке громкие гудки.

Время! Где ты теперь, в каком месте и в каком времени?

О, теперь я слышу свистки на реке! О, теперь большие суда идут вниз по течению! Громкие гудки раздаются в устье, большие суда выходят в море!

А ночью в темноте, в сонной тишине земли, река, темная, многоводная река, полная странного времени, странного времени, странного, трагического времени, струится к морю!

Господи, сколько бы мне хотелось рассказать всего! Жаль, не обладаю литературным даром! Хотелось бы написать книгу, поведать людям о том, что происходит у меня в душе, и обо всем, что вижу.

Прежде всего я рассказала бы об одежде, которую носят люди. Невозможно понять, что человек собой представляет, пока не увидишь, как он одет. Люди одеваются в соответствии со своей сущностью. И не следует думать, что выбор одежды случаен. На свой манер одеты актеры, проповедники, политики, врачи, шарлатаны и психологи: у них все напоказ, они демонстрируют себя всему миру. По обуви, галстукам, рубашкам, носкам и шляпам можно определить, что у человека на первом месте: свой внутренний мир или окружающий.

Замечательнее всех старухи, носящие уйму всевозможных мелочей. Их много в Англии.

Живут они в отвратительных маленьких отелях в Блумсбери и тому подобных местах. Много их и в Бостоне. У них странные лица, они не от мира сего.

Знаешь, я как-то видела в Бостоне изумительную старуху! В ресторане. На ней было, пожалуй, около тысячи мелочей. Она была одета в черное платье, сплошь покрытое бусами, браслетами и блестящими украшениями. Господи! Весило оно, должно быть, тонну! Кроме того, платье было все в кружевах, они словно бы стекали с рукавов, окутывали запястья и окунались в суп. И еще у нее была масса колец, браслетов, бус, ожерелий, воротник на китовом усе, тоже в кружевах, серьги, в волосах всевозможные гребни, шляпа, усеянная множеством украшений, перьями, фруктами, птицами. Господи! Эта женщина была ходячим музеем! И до того странной, что меня разобрало любопытство. Я подошла к ней как можно ближе, попыталась подслушать, что она говорит, но не смогла. Чего бы я только ни отдала, чтобы узнать об этом. В ней было нечто очень трагичное. Странно, правда? Это идет у них откуда-то изнутри, из чего-то причудливого, рассыпанного, как бусы, перемешанного, плотно слежавшегося и утопающего в океане вздора.

Хотелось бы рассказать и о белье. Старуха Тодд, бедняжка, жила у нас и заболела бронхитом, мы боялись, что она умрет. Она прямо-таки горела в жару, вся дрожала, мы с Эдит раздели ее и уложили в постель. Господи! Поверишь ли? На ней было три пары старомодных хлопчатобумажных рейтуз!

– Тодд! – воскликнула я. – Тодд! Господи, в чем дело?

– Спрячь меня от них! – ответила она. – Они меня преследуют!

– Они? – удивилась я. – Тодд, ты о ком? Здесь, кроме нас, никого нет.

Бедняжка была просто в ужасе. Потом она рассказала мне, что много лет боялась нападения мужчин и потому носила все ли штуки.

Грустно это, господи! Когда я только познакомилась с ней, она была молодой и очень красивой, только что пришла из больницы, Белла была у нее первой роженицей. Потом, когда я рожала Элму, мы снова пригласили ее. Тогда я чуть не умерла. Тодд была просто замечательной, потом она постоянно приходила и жила у нас. Странно, правда? У нее было множество поклонников, несколько мужчин хотели жениться на ней, а у нее постоянно жил в душе этот ужас.

Да! А потом я хотела бы написать, что испытываешь, когда рожает, и каково было, когда Элма появилась на свет, беременная, я все лето ложилась на землю, на зеленый склон холма, и чувствовала, как громадная земля движется подо мной и летит по орбите на восток вокруг солнца. Я понимала землю, я превращалась в нее, мое тело было землей, и ребенок шевелился внутри, когда я лежала на зеленом склоне холма.

Приехали Тодд и доктор Рот – он был великолепным хирургом – а я, казалось, была не в своем уме. И все же знала обо всем, что происходило вокруг. Было одиннадцать часов утра, шел август, жара стояла страшная, я слышала, как проходят люди по улице. Слышала лязг щипцов развозчика льда, крики детворы, инезапно расслышала, как поют птицы на деревьях, и воскликнула: «Как приятно дыхание утра с пением ранних птиц», так оно и было.

Утро было великолепным – Господи! – а я сходила с ума от боли. Такого ты не можешь даже представить себе. Это превращается в своего рода беспредельную, непереносимую радость, одна часть тела, верхняя, словно бы плавает над тобой, другая как будто прикована цепями к земле, и тебя раздирают, колют ножами, по тебе прокатываются огромные волны боли, и когда боль накатывала, я кричала:

– Кто приносит страдания? Кто приносит страдания? Кто приносит страдания?

И видела Тодд с доктором Ротом, движущихся сквозь боль, это было очень странно, потому

что их лица то расцветали, то увядали от боли. А потом появились огромные, нежные руки Тодд, вечные и мягкие, они были большими и сильными, как мужские подо мной, и я не боялась, но думала, что умираю, была в этом уверена и воскликнула:

– Тодд! Тодд! Прощай, я ухожу из жизни!

И она ответила:

– Нет, дорогая моя! Нет, милая! Все будет хорошо!

Она так любила меня, Господи! Тогда я была красивой, очень маленькой и красивой. Однако в Тодд и докторе Роте было что-то странное, жуткое. Я никогда не видела их такими, он всегда бывал очень мягким. Потом он говорил мне, что очень беспокоился, но тогда он склонялся надо мной и выкрикивал мне в лицо:

– Тужься! Ты должна тужиться, мать! Плохо стараешься! Надо постараться получше! Давай-давай, мать! Не можем же мы за тебя родить! Тужься! Тужься сильнее, мать! Ты не стараешься!

А Тодд сказала: «Да старается она!». Она очень рассердилась на него, и они оба ужасно беспокоились, роды затягивались. А потом все кончилось, и я поплыла на облаках покоя, я плавала в чудесном, волнующемся океане блаженства.

Да, и вот что! Мне хотелось бы рассказать все о моей маленькой Элме, какой она была крохотной, и что говорило это дитя! Знаешь, она была забавным ребенком! Однажды мы пили чай, и она пошла к двери, а у нас были гости, ей тогда не было еще и четырех лет, я окликнула ее:

– Элма, Элма, ты куда?

А она ответила:

– Ухожу, ухожу, огарок!

Господи! Я думала, там все умрут со смеху, но в этом было и нечто замечательное. Разве не странно услышать такое от четырехлетнего ребенка? Должно быть, она слышала, как кто-то из нас цитировал Шекспира.

А однажды Элма, когда мы с Эдит вошли к ней, готовила уроки. Разложила книги на полу вокруг себя и читала слова по бук-нам. Произносила каждое слово отрывисто, словно ругала его:

– Эр-а-эм-а, рама! Эр-а-эм-а, рама!

Потом принялась за другое:

– Эф-тэ-е-эн-а, стена! Эф-тэ-е-эн-а, стена!

Господи, как мы расхохотались! Бедный ребенок думал, что буква «эс» называется «эф». И потом, если что не так, мы говорили «Эр-а-эм-а, рама!» – это было все равно, что «черт возьми», только лучше.

Господи, какой этот ребенок был уморой! Ты даже не представляешь, что она говорила за столом. Иногда мы не могли есть от смеха. Хорошо бы вспомнить что-нибудь... А, да! Мы говорили о загородном доме, о том, как назовем его, и Элма сказала:

– Ту сторону, где спит папа, назовем Патриархат, а ту, где мама – Матриархат.

Господи, какая она чудесная! Она мое сокровище, зеница моего ока, моя маленькая Элма, самое прекрасное и милое существо на свете.

Да, и вот что! Я хотела бы рассказать о евреях и христианах, и о евреях, которые меняют фамилии. Взять хотя бы этого Берка! Тебе не смешно? Натаниэл Берк, надо же! Раз уж ему взбрело это на ум, почему бы не выбрать какое-нибудь экстравагантное христианское имя? Монморанси ван Лэндингем Монтейт, или Реджиналд Хилари Столтонстолл, или Джефферсон

Линкольн Кулидж или что-нибудь в этом роде? Натаниэл Берк! Представляешь? Настоящее его имя Натан Беркович. Я с детства знаю его родных.

До чего же он бесцеремонный! Я так устала от его выходок, что как-то сказала ему: «Послушай, Берк. Будь доволен тем, что ты еврей. Где б ты был, если б не еврей, хотела б я знать? Это никуда не годится».

Его мать и отец были очень славными стариками. У отца был магазин на Грэнд-стрит. Он носил бороду, шляпу дерби и мыл руки перед едой, как все они, особым способом. В таких старых евреях есть что-то очень милое. Оба они, разумеется, были ортодоксами, и я думаю, поведение сына очень их огорчало. А он родителей больше знать не хотел. Разве не позор – отречься от родных, чтобы стать липовым христианином?

Мы превосходные люди. Над нами насмешничают, но мы все равно превосходные. «Меня вы на Риальто попрекали...плевали на еврейский мой кафтан». Папа был христианином, но таким замечательным! Любил все то же, что и мы. Очень любил поесть, думаю, пресную христианскую стряпню он терпеть не мог. Неудивительно, что ушел от них.

Да! И вот еще что! Я хотела бы рассказать, как езжу по утрам к Штейну и Розену делать эскизы, мистер Розен расхаживает взад-вперед по большим, толстым коврам, и Господи! богатство, могущество и гусиный жир, кажется, сочатся из каждой его поры. А магазин красивый, чистый, замечательный, великая княгиня Как-там-биш-ее продает одно, принцесса Пиккатитти другое. Будь у меня подобная фамилия, я сменила бы ее на Шульц или что-то в этом духе. Даже Эдит невольно смеется, когда произносит ее. Представь себе – носить имя Офелия Пиккатитти! Разве не ужасно для детей, если их называют маленькими Пиккатитти?

Знаешь, я иногда смеюсь, встречая их фамилии в светской хронике. В Нью-Йорке, должно быть, полно таких людей. Как думаешь, откуда они берутся? Когда читаешь, кажется, что эти фамилии кто-то выдумывает нарочно: «Мистер Х.Стейвесант О’Тул дал обед в честь принца и принцессы Стефано ди Гуттабелли. Среди присутствовавших были мистер и миссис ван Ренселер Вайсберг, граф Сапский, мистер Р. Мортимер Шулемович и великая княгиня Марта-Луиза фон Гессе Шницельпусс».

А мистер Розен в своем магазине расхаживает взад-вперед, отдает распоряжения, раскланивается, пожимает руки людям в полосатых брюках и шикарных черных пиджаках, с жемчужинами в галстуках. Он такой холеный, лоценький, и все в магазине словно бы мурлычет о роскоши, атмосфера кажется очень спокойной и вместе с тем деловитой, и по всему магазину зовут Эдит. Спрашивают о ней повсюду. Вот и она, выглядит очень элегантно, вялым сельдереем, к лодыжке у нее пристегнут шагометр. Эдит сказала, что как-то прошла за день семнадцать миль, когда она возвращается домой, то просто валится с ног от усталости. Бедняжка худая, как жердь. Иной раз за целый вечер двух слов не скажет, даже если в доме гости. Но Господи, какая она умная! Она там умнее всех, обойтись без нее не смогли бы.

«Долго, долго я лежал в ночи без сна...»

(Раз!)

Приди, ласковый сон, закрой ворота памяти...

(Два!)

Приди, чудесный сон, скрой видение ушедших дней...

(Три!)

Ибо мы странный, прекрасный сон, все мы странный, прекрасный сон...

(Четыре!)

Ибо мы умираем в темноте и не знаем смерти, во сне смерти нет...

О сын позабытых часов, владыка труда и усталости, милосердный брат мрачной смерти и

всяческого забвения, обаятель и избавитель, привет тебе!

27. ЗАВЕДЕНИЕ ШТЕЙНА И РОЗЕНА

Однажды вечером, когда мир был намного моложе, чем теперь, мистер Розен, владевший тогда лишь скромным магазином в южной части Парк-авеню, был с женой в театре. Среди публики он видел много знакомых. Ничего удивительного в этом не было, потому что главную роль в спектакле играла блестящая русская актриса Алла Назимова, недавно приехавшая в Америку. Шла пьеса «Кукольный дом». Мистер Розен в антрактах прогуливался, здоровался со знакомыми и приглядывался, во что одеты дамы. Друзья его были большей частью богатыми, культурными евреями. Женщины были очень элегантными, светскими, прекрасно одетыми, смуглыми, высокими, некоторые экзотически красивыми. Большинство этих людей знало друг друга с детства, они принадлежали к весьма немногочисленному привилегированному кругу; некоторые из них ценили тонкий ум и творческие способности выше, чем деньги, но большая часть обладала и тем, и другим.

Расхаживая среди этой блестящей публики легкой, энергичной походкой, мистер Розен увидел девочек Линдер. Он всегда думал о них, как о «девочках», хотя старшая, Эстер, была уже очень красивой тридцатилетней женщиной, супругой Фредерика Джека. Другая, Эдит, была пятью годами младше. Люди любили ее и считали «умницей», хотя она никогда не раскрывала рта. Эдит повсюду ходила с Эстер. Бывала всегда безупречно сдержанной и молчаливой – произнести за вечерним разговором полдюжины слов для нее означало разболтаться.

Мистер Розен прекрасно знал девочек Линдер и слегка благоговел перед ними. Своего рода нынешнего положения он добился трудом – был выходцем из евреев-тружеников среднего класса. Но в семье Линдера было нечто беззаботное, романтическое, вызывающее у него восхищение и недоверие: они делали трудные вещи с блестящей легкостью, расточительно тратили деньги, сколачивали состояние, теряли и сколачивали снова.

Он знал отца этих девочек – Джо Линдера. Джо был хорошо известным в свое время актером, но умер на пятидесятом году жизни. Мистер Розен помнил его красивым мужчиной, который подшучивал над всем. Он играл вместе с Мэнсфилдом и когда напивался, цитировал Шекспира целыми страницами со слезами на глазах. Мать Джо была христианкой – и этой чужой наследственности мистер Розен приписывал его неуравновешенность и падение. Он помнил, что добрыми друзьями Джо было двое католических священников – отец О'Рурк и отец Долан. Они встречали Джо после спектакля и шли в ресторан Уайта, где выпивали до полуночи сколько могли. Но если священникам предстояло на другое утро служить мессу, то останавливались они вовремя. И с некоторым беспокойством мистер Розен вспомнил, что младшая из дочерей Джо, Эдит, получила воспитание в католическом монастыре в Бронксе.

Мистер Розен помнил мать этих девочек. Умерла она раньше мужа, когда дети были еще маленькими. Она была чистокровной еврейкой прекрасного происхождения – ее родители приехали из Голландии. Отец ее, адвокат, сколотил в Нью-Йорке состояние и оставил ей в наследство целый квартал домов. Но она была еще расточительнее мужа. Если ей нужно было бриллиантовое ожерелье, она продавала дом; если платье – продавала ожерелье или часть его. С острой душевной болью мистер Розен вспомнил, что она, когда ей нужны были деньги, откусывала бриллианты по одному и отправляла в ломбард. При этом воспоминании он печально покачал головой.

Но теперь он с тайным волнением пошел к двум молодым женщинам и, подойдя, восторженно зажмурился.

– Откуда... Откуда... – хриловато зашептал он Эстер, сжав руки и молитвенно потрясая ими перед собой, потому что не мог подобрать слова, дабы выразить восхищение, – откуда у

тебя такое платье?

– Нравится?

– Дорогая моя, это мечта.

– Как выразался папа, – сказала Эстер, – оно лучше, чем удар в глаз, верно?

Мистер Розен застонал от такого кощунства, потом нетерпеливо спросил:

– Где раздобыла его? Ты должна сказать мне.

– Обещаете никому не говорить?

– Разумеется, – взволнованно ответил мистер Розен.

– Ладно, – торжественно ответила Эстер, – скажу. Купила в отделе уцененных товаров у

Мейса.

Мистер Розен громко застонал и ударил себя по лбу. В такой манере разговаривал Джо Линдер, и на взгляд мистера Розена, это могло быть одной из причин его безвременной смерти. Для легкомыслия есть свое время и место, но священными вещами шутить нельзя.

– У Мейси! – произнес мистер Розен. – Ты смеешься надо мной. В Нью-Йорке нет ателье, шьющего такие платья.

– И все же это так, – со смехом сказала Эстер. – Ткань я купила там.

– К черту ткань! Кто его шил?

– Моя сестра Эдит, – ответила Эстер торжествующе. – Вы и не знали, что она такая умная, правда? – И любовно взяла за руку сестру. – Знаете, мистер Розен, – заговорила она радостно, – я сама ничего не смыслю, но Эдит очень умная, умеет все. Как папа.

И стояла, держа за руку Эдит, глядя на мистера Розена, раскрасневшаяся, сияющая, радостная, довольная тем, что «ничего не смыслит», пока все с нею очень добры, а рядом такая умная сестра.

Мистер Розен медленно, внушительно повернулся к другой юной леди; которая во время всего разговора с полнейшим хладнокровием хранила молчание, а теперь переводила совершенно спокойный взгляд больших темных глаз то на него, то на сестру.

– Эдит! – сурово произнес мистер Розен. – Это платье шила ты?

– Да, – словоохотливо ответила Эдит.

– Эдит, – заговорил мистер Розен мягко и обаятельно, – хотела бы ты получить работу?

– Что делать? – последовал взрыв красноречия.

– Создавать фасоны платьев, – нежно ответил мистер Розен, – фасоны платьев, – с наслаждением произнес он, – наподобие этого.

– Хотела бы, – сказала Эдит, утомленная собственной разговорчивостью.

Душа мистера Розена воспарила. Он мысленно благословил обеих сестер.

– Приезжайте ко мне в магазин, – хрипло прошептал он. – В понедельник утром.

И покинул сестер.

Однако в понедельник утром сестры напрочь забыли об этом разговоре, и Эдит оказалась близка к взволнованному удивлению, как никогда в жизни, когда в десять часов к ней вошла горничная с сообщением, что звонит мистер Розен и хочет немедленно поговорить с ней. Она поднялась и пошла в комнату Эстер, где имелась отводная трубка.

– Ну? – послышался раздраженный голос мистера Розена. – Почему не приехала?

– Зачем?

– На работу, которую я предложил.

– Забыла. Подумала, что вы пошутили.

– Неужели я стал бы тратить время на шутки?

– Вы не передумали меня брать?

– Нет! – выкрикнул он. – Приезжай немедленно!
Эдит оделась и поехала в южный Манхеттен.

Эдит начала работать у мистера Розена с присущими ей ленцой и прохладцей. Теперь она стала вице-президентом фирмы и имела свою долю в деле.

Фирма Штейна и Розенберга проделала большой путь с окраины в фешенебельные кварталы, с Грэнд-стрит на Парк-авеню, и на этом победном пути потеряла свое название. Мистер Штейн скончался, а мистер Розенберг стал мистером Розеном, сын его учился в Оксфорде, дочь предпочитала жить в Париже.

Мистеру Розену шел пятьдесят шестой год, это был красивый, дородный мужчина, смуглый, с ярко выраженной еврейской внешностью. Фамилию он изменил, но становиться другим человеком не собирался. В кабинете на письменном столе у него постоянно стояла фотография покойного партнера, Сола Штейна: полное, улыбающееся лицо с громадным серовато-коричневым носом глядело на него, пробуждая исполненные грусти и нежности воспоминания о времени, когда он, забросив ногу на ногу, сидел бок о бок с покойным на портновском столе, о тех днях, когда они стояли возле своей ист-сайдской мастерской, приглашая покупать всех евреев, высыпавших на улицу по случаю ясной, теплой майской погоды.

Нет, мистер Розен не забывал и не стыдился. Он ходил легкой, энергичной походкой по толстым коврам своего большого магазина, на нем были брюки в тонкую полоску, визитка, он раскланивался и вежливо разговаривал с покупателями, баснословно богатыми евреями – но не забывал. Он очень гордился принадлежностью к своему народу, трудом и умом, которые принесли ему богатство. И потому обладал одним великолепным убеждением – оно присуще почти всем богатым евреям и мало кому из богатых христиан. Добиться богатства трудно, но оно прекрасно, приятно, желанно – поэтому пусть те, кто его имеет, наслаждаются им.

Вне всякого сомнения, те, кто считает евреев жадными, глубочайшим образом заблуждаются. Это самый щедрый и богатый на свете народ. Мистер Розен дважды путешествовал во Францию на борту «Иль де Франс»: у него была каюта-люкс и частная палуба, его жена одевалась лучше и дороже всех на судне. Летом мистер Розен неизменно проводил много времени в Париже, закупая одежду, а супруга с детьми отправлялась в Довиль. Мистер Розен вечерами прилетал к ним на самолете, и вся семья купалась, танцевала, пила коктейли.

К тому же, мистер Розен всегда жил над своим заведением. Сперва его жилье состояло из двух комнат на Грэнд-стрит, теперь из двух этажей и восемнадцати комнат на Пятой авеню. Затем он переедет в новый, более роскошный дом, строящийся в центре Манхеттена. Там у него будет три этажа, двадцать четыре комнаты и великолепный вид на город. Когда христианин богатеет благодаря своему заведению или чужому, он переезжает как можно быстрее. Поднимается вверх по Гудзону, покупает тысячу акров и сорок комнат, выписывает из Англии садовников и грумов. Мистер Розен нет. Он исповедовал идеи Фаггеров, Каботов, ранних Ротшильдов. Жил над своим заведением и имел к обеду много самого лучшего шампанского.

«Штейн и Розен» стал одним из самых фешенебельных и дорогих магазинов в стране, и его победоносное продвижение в центр Манхеттена вскоре должно было завершиться в новом великолепном здании. Авторы светских романов заставляли своих персонажей говорить о нем: Рита (или Лейла, или Шейла) с изящной темноволосой головой «и сильными загорелыми руками» идет по улице, думая о Брюсе и о том, как пристально художник Хилари смотрел на нее «раскосыми, почти восточными глазами», и вдруг видит, как Дженифер Деламар входит в магазин «Штейн и Розен».

При таком успехе мистер Розен быстро расцвел. К его упитанности прибавился румянец.

Он весь лоснился и расхаживал взад-вперед легкой, энергичной походкой, напоминая прекрасного призового быка. Эта дородная, пышная плоть отнюдь не выглядела несообразной во французской элегантности магазина, в окружении дымчатых шелков: тонкие ткани вполне могли бы исходить из этого упитанного тела подобно эктоплазме. И светские дамы, делавшие покупки в магазине «Штейн и Розен», должно быть, испытывали восхитительное чувство уюта и таинственности, глядя на него, поскольку смуглое, улыбающееся лицо, с превосходными крупными жемчужными зубами и толстым носом, с широкими, мясистыми, волосатыми ноздрями придавали ему сходство с восточным волшебником. Им казалось, что в этой обстановке неистощимой роскоши ему стоит лишь хлопнуть в пухлые, розовые ладоши, и тут же появится вереница рабов, несущих на голове кипы драгоценных тканей.

В сущности, мистер Розен способен был это делать и делал, хотя вместо чернокожих евнухов предлагал нечто лучшее – стройных, ласкающих взгляд гурий, одетых в волшебные платья.

Он сознавал, что выглядят они волшебными, главным образом, благодаря Эдит Линдер. И произносил ее имя с ноткой религиозного обожания – называл ее «великой женщиной» и чувствовал некоторую бедность языка. Его неизменное благоговение перед сестрами Линдер стало глубже. Они могли делать все, и притом с легкостью. Хотя он прекрасно знал, как неутомимо грудилась Эдит для развития его бизнеса, во всем, что делала она, ему виделись волшебство и непринужденность. И такое впечатление сложилось у всех.

С годами Эдит стала более молчаливой и тощей. Собственная молчаливость снедала ее. От ее тела веяло, словно тонкими духами, постоянной усталостью, но она никогда не отдыхала. Работала беспрестанно, молча, изготавливала своими руками волшебные дорогостоящие вещи, которые приносили магазину «Штейн и Розен» громадное богатство. Весь день на каждом этаже магазина слышалось ее имя. Где Эдит? Может немедленно придти? Она молча приходила – усталая худощавая женщина в простом черном платье, стоящем восемьсот долларов. К ее тонкой костлявой лодыжке был пристегнут шагометр, а вокруг хрупкого запястья с сетью голубых вен, обянутого кожей туго, словно нога птицы, были инкрустированные алмазами часики, чудо тончайшей работы, отсчитывающие тиканьем время – странное, трагичное время – в безупречном корпусе не больше наперстка.

Смуглое лицо мистера Розена лучилось энергией и удовольствием. У него было двое красивых детей. Прекрасная жена. Он был сам красив, словно призовой бык. Они все очень любили друг друга. Да, мистер Розен ушел далеко, далеко с окраины после давних трудных дней первых усилий. Мягко, мягко, уверенной, энергичной походкой он расхаживал взад-вперед по своему магазину.

Он был очень, очень счастлив.

28. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АПРЕЛЯ

Осень была для них мягкой, зима долгой – но в апреле, в последние дни апреля все засияло.

Весна приходила в том году очарованием, музыкой, песней. Едва в воздухе появилось ее дыхание, неотступное предчувствие ее духа заполнило сердца людей ее преображающей прелестью, околдовывало своим неожиданным, невероятным волшебством серые улицы, серые тротуары, серые, безликие людские толпы. Она приходила словно музыка, легкая, далекая, с ликованием и пением в воздухе, со звучащими лютней криками птиц на рассвете, с высоким, быстрым мельканием крыльев и однажды появилась на городских улицах внезапным странным возгласом зелени, острым ножом невыразимых радости и боли.

Даже все великолепие громадной плантации земли не могло превзойти той весной великолепие городских улиц. Ни возглас громадных зеленых полей, ни песня холмов, ни великолепие молодых берез, внезапно вновь пробудившихся к жизни на берегах рек, ни океаны цвета персиков, яблонь, слив и вишен в цветущих садах – ни все пение и сияние цветущей поры с апрелем, выбивающимся из-под земли со множеством ликующих возгласов, со зримой поступью весны, шествующей в цветах по земле, не могли превзойти невыразимого, мучительного великолепие единственного дерева на городской улице.

Джордж покинул свою комнатку в маленьком, неприглядном отеле и завладел просторным этажом в старом доме на Уэверли-плейс. У них с Эстер возникла непродолжительная ссора, когда он заявил, что платить за квартиру будет сам. Эстер возражала, что квартиру сняла она – хотела, чтобы он перебрался в нее, что ей приятно будет думать, что он там, что квартира будет «общая» – она уже платила за нее, будет платить, и значения это не имеет. Однако Джордж был непреклонен, сказал, что ногой туда не ступит, если не будет платить за нее, и в конце концов Эстер сдалась.

И теперь ежедневно в полдень он слышал ее шаги по лестнице. В полдень, радостный, мирный, прекрасный полдень, приходила она, хозяйка этой беспорядочно обставленной комнаты, та, чей легкий, быстрый шаг пробуждал в сердце Джорджа ликующее торжество.

Лицо ее походило на свет и на музыку в свете полудня: было веселым, маленьким, нежным, как слива, и розовым, словно цветок. Было юным, добрым, дышащим здоровьем и радостью; ни одно на свете не могло бы сравниться с ним обаянием, энергичностью и благородной красотой. Джордж целовал его множество раз, потому что оно было таким добрым, цветущим, сияющим своей миловидностью.

Все в ней громко пело надеждой и утром. Лицо ее наполнилось живостью, веселым юмором, было радостным, пылким, как у ребенка, и вместе с тем на нем, подобно пятнам на солнце, неизменно сохранялись строгие, сумрачные, печальные глубины красоты.

Итак, слыша в полдень ее шаги по лестнице, ее легкий стук в щель, поворот ее ключа в замке, Джордж испытывал небывалые оживление и радость. Она появлялась, словно торжествующий возглас, словно грянувшая в крови музыка, словно бессмертная птичья песня в первых лучах рассвета. Она приносила надежду и добрые вести. Из ее оживленных уст изливались с пылкой детской неумностью множество рассказов о зрелищах и очаровательных красках, которые она видела утром на улицах, десяток историй о жизни, работе и делах.

Она входила в его вены, начинала петь и пульсировать в его пиллой плоти, все еще отягощенной изрядными остатками сна, наконец он вскакивал с громким воплем, обнимал ее, жадно целовал и чувствовал, что на свете для него нет ничего невозможного, неодолимого. Она придавала звучание ликующей весенней музыке, трепещущей в золотисто-сапфировом сиянии

ноздуха. Все вокруг – трепетание яркого флага, детский крик, запах старых, нагретых солнцем досок, густые, маслянистые, гудроновые испарения улиц, меняющиеся краски и лучи света на тротуарах, запах рынков, фруктов, цветов, овощей и суглинком, оглушительный гудок огромного судна, отчаливающего в субботний полдень – обретало благодаря ей яркость, дух, настрои радости.

Эстер никогда не была такой красивой, как в ту весну. Джорджа подчас чуть ли не с ума сводили ее красота и свежесть. Еще не слыша шагов по лестнице в полдень, он всякий раз ощущал ее появление. Погруженный в странный, чуткий полуденный сон, Джордж сразу же чувствовал, что она вошла в парадную дверь, даже если не слышал ни звука.

Стоя в ярком полуденном свете, она, казалось, воплощала собой всю прекрасную, радостную жизнь земли. Во всем изяществе ее маленького роста, стройной фигуры, тонких лодыжек, полных, округлых бедер, пышной груди, хрупких прямых плеч, розовых губ, цветущего лица, в мерцании ее прекрасных волос, в веселье, молодости и благородной красоте она выглядела столь необычайной, изысканной, возвышенной и великолепной, какой только может быть женщина. Первый же взгляд на нее в полдень неизменно порождал надежду, уверенность, веру и посылал в вялую, все еще одурманенную сном плоть Джорджа мощную волну неодолимой силы.

Эстер обнимала его и неистово целовала, ложилась рядом с ним на кровать, ловко прижималась к нему и ненасытно подставляла счастливое, сияющее лицо под поцелуи. Она была свежей, как утро, нежной, как слива, и до того неотразимой, что Джорджу хотелось поглотить ее, навеки заключить в своей плоти. Потом некоторое время спустя она поднималась и начинала проворно стряпать ему еду.

На свете нет более привлекательного зрелища, чем красивая женщина, готовящая обед для любимого. И при виде слегка покрасневшейся Эстер, когда она ревностно, будто совершая религиозный обряд, склонялась над своей стряпней, Джордж едва не сходил с ума от любви и голода.

В такие минуты Джордж не мог сдерживаться. Он поднимался и начинал расхаживать по комнате в исступлении невыразимого восторга. Намывивал лицо для бритья, выбривал одну сторону, потом снова принимался ходить взад-вперед, напевая, издавая горлом странные звуки, рассеянно поглядывая в окно на кошку, крадущуюся по гребню забора; снимал с полок книги, прочитывал строку или страницу, иногда читал Эстер вслух отрывок из стихотворения, потом забывал о книге, ронял ее на кровать или на пол, и в конце концов пол оказывался завален ими.

Потом присаживался на край кровати, рассеянно, тупо глядел прямо перед собой, держа носок в руке. Затем вновь подскакивал и начинал ходить по комнате, кричать и петь, тело его сотрясала бурная энергия, находившая исход лишь в громком, диком, радостном возгласе.

Время от времени Джордж подходил к кухне, где Эстер стояла у плиты, и вдыхал сводящий с ума аромат пищи. Потом снова метался по комнате, пока не терял самообладания. Вид ее лица, ревностно склоненного и сосредоточенного на труде любви, уверенных ловких движений, полной, красивой фигуры – изящной и вместе с тем пышной, вместе со сводящими с ума благоуханием великолепной еды пробуждали в нем невыразимый голод и неистовую нежность.

Тем временем кошка, подрагивая, продолжала хищно красться по гребню забора в заднем дворе. Молодые листья, трепеща, шелестели под легким апрельским ветерком, солнечный свет то появлялся, то исчезал в пульсирующем сердце очаровательной зелени. Мимо, как обычно, проезжали телеги, в бестолковости улиц толклись и тянулись толпы, а над сказочными стенами и башнями города раздавалось возвышенное, бессмертное звучание времени, негромкое и непрерывное.

И в такое время, когда ликование любви и голод становились у них все сильнее, они

разговаривали вот как:

– Да! Теперь он меня любит! – весело восклицает Эстер. – Любит, когда я для него стряпаю! Знаю-знаю! – продолжает она с ноткой лукавого, циничного юмора. – Тут уж он любит меня!

– Конечно! – отвечает он, осторожно встряхивая ее, словно не в состоянии больше говорить. – Конечно... моя... ласковая... дорогая! – продолжает он медленно, но с ноткой нарастающего ликования. – Конечно... моя ... маленькая... нежнокожая девочка!.. Люблю! Конечно, черт возьми, милая, я обожаю тебя!.. Дай поцеловать твое красивое личико! – говорит он, молитвенно склоняясь над ней. – Я поцелую тебя десять тысяч раз, моя прелестная девочка! – торжественно восклицает он в восторге. – Я так схожу по тебе с ума, моя прелесть, что съем тебя на обед!

Потом Джордж выпускает ее и, медленно, тяжело дыша, отступает на шаг. Раскрасневшееся лицо его выглядит пылким, неумным. Его взгляд жадно останавливается на ней, мощная волна крови начинает глухо kloкотать в его жилах, медленно, сильно биться в висках и запястьях, наливать силой его чресла. Он неторопливо делает шаг вперед и склоняется над ней; потом осторожно берет Эстер за руку и нежно поднимает ее, словно крыло.

– Приняться за крылышко? – говорит он. – Нежное крылышко, вкусно приготовленное с петрушкой в масляном соусе? Или за нежное, как следует прожаренное сочное мясо ляжки?

– Und ganz im Butter gekocht^{[15]*}, – с улыбкой восклицает она.

– Ganz im besten Butter gekocht^{[16]*}, – говорит Джордж... или за постное мясо ребер? – продолжает он, – или за спелые дыни, которые звенят в апреле? – восклицает он ликуя, – или за нежный кусочек дамских пальчиков? О, чертова восхитительная, маленькая, нежнокожая девка!.. Я съем тебя, как мед, маленькая, сладкая блудница!

Потом они вновь отдаляются друг от друга, она смотрит на него с легкой обидой и укоризной, потом, покачивая головой, говорит с легкой, горькой улыбкой:

– Господи, ну и чудо же ты! Как у тебя повернулся язык называть меня такими словами?

– Потому что я очень люблю тебя! – ликуя восклицает он. – Вот почему! Это любовь, чистая любовь и ничего больше!

Затем снова принимается целовать ее.

Вскоре они вновь отдаляются друг от друга, раскрасневшиеся и тяжело дышащие. Через несколько секунд она говорит мягким и вместе с тем страстным голосом:

– Нравится тебе мой взгляд?

Он пытается заговорить, но не может. Отворачивается, вскидывает руки неистово, конвульсивно и сумасбродно выкрикивает нараспев:

– Нравится мне ее взгляд, нравится мне ее склад, нравится мне ее лад!

Она поднимает лицо и так же сумасбродно вторит:

– Ему нравится мой чад, ему нравится мой град, ему нравится мой зад!

И оба принимаются порознь носиться в танце по всей комнате – он подпрыгивая, скача, запрокидывая с радостным криком голову, она более сдержанно, напевая, раскинув руки и кружась, словно в вальсе.

Когда смысл ее слов наконец доходит до Джорджа, он внезапно останавливается. Сурово, обвиняюще напускается на нее, но уголки его губ конвульсивно дрожат от сдерживаемого смеха.

– Что, что такое? Что ты сказала? Нравится твой зад? – строго вопрошает он.

На миг Эстер становится серьезной, задумывается, потом лицо ее становится свекольно-красным от внезапного взрыва удушливого хохота:

– Да! – восклицает она. – О, Господи! Я сказала это неожиданно для себя! – И громкий,

сочный смех заполняет ее горло, затуманивает слезами глаза и отражается от высоких голых стен.

– Но ведь это возмутительно, моя милая! – говорит он укоризненным тоном. – Женщина, я возмущен твоим поведением. – А затем, внезапно возвратясь к тому безумному, обособленному ликованию, в котором их слова, казалось, были адресованы не столь друг другу, сколько всем стихиям вселенной, он вскидывает голову и затягивает: – Я удивлен, ошеломлен, поражен тобой, женщина!

– Он изумлен, предупрежден, сокрушен и уничтожен! – выкрикивает она.

– Не в склад, не в лад! – кричит он и, обняв ее, принимается целовать снова.

Их переполняли безрассудство, любовь, ликование, они не думали, как может кто бы то ни было воспринять их слова. Они любили и сливались в объятьях, спрашивали, предполагали, отрицали, отвечали, верили. Это походило на сильный, непрестанный пожар. Они прожили вместе десять тысяч часов, и каждый мае равнялся насыщенной жизни. И это постоянно походило на голод: начиналось, как голод, и продолжалось так вечно, без утоления. Когда Эстер была с Джорджем, он сходил с ума от любви к ней, когда уходила, сходил с ума от мыслей о ней.

А чем занимался Джордж? Как жил? Чем наслаждался, обладал, овладевал в последние дни апреля того года?

Вечерами, оставаясь один, он устремлялся на улицы, словно на встречу с любовницей. Бросался в жуткие, невероятные, несметные толпы возвращавшихся с работы людей. И вместо прежних смятения, усталости, отчаяния и скорби духа, вместо прежнего жуткого ощущения, что тонет, задыхается в несметных людских толпах, ощущал лишь торжествующую силу и радость.

Все казалось ему прекрасным, чудесным. Над громадным, неистовым станом города мощно трепетало некое единство надежды и радости, некая торжествующая, очаровательная музыка, внезапно пронизывающая всю жизнь своей восхитительной гармонией. Она сокрушала слепую, жестокую бестолковость улиц, врывалась в миллионы камер, окутывала тысячи мгновений и деяний жизни и трудов человека, она парила над ним в воздухе, блистала, искрилась в опоясывающих город водах и волшебной рукой извлекала из гробниц зимы серую плоть живых мертвецов.

Улицы оживали вновь, они бурлили и сверкали новой жизнью, новыми красками, и женщины, более красивые, чем цветы, более сочные, чем фрукты, появлялись на них живым потоком любви и красоты. Их восхитительные глаза сияли единой нежностью, они являли собой красоту подобных алой розе губ, чистоту молока и меда, единую музыку груди, ягодиц, бедер, губ и блестящих волос. Однако любая из них, думал Джордж, не столь красива, как Эстер.

Джордж хотел съесть и выпить всю землю, проглотить город, чтобы не упустить ничего, и ему казалось, что он преуспеет! Каждый миг был насыщен невыразимой радостью и славой, столь богат жизнью, что в него словно бы вмещалась вся вечность, и невозможность его удержать была невыносима, мучительна. И Джордж думал, что откроет нечто неведомое никому на земле – возможность обрести, удержать, сохранить всю красоту и славу земли и вечно наслаждаться ими.

Иногда они воплощались в смелый, неудержимый крик детей на улицах, в смех, в старика, в гудок огромного судна в гавани или в медленное, плавное движение над пирсом двух зеленых огней на мачте лайнера, идущего ночью вниз по реке к морю. Что бы то ни было, когда бы ни происходило, оно высекало музыку из земли, в конце концов город звенел, словно единственная, отчеканенная для него монета, и лежал в его руке тяжестью живого золота.

И возвращался Джордж с улиц обезумевшим от наслаждения и вожделения, с чувством

победы, страдания и радости, обладания и неимения. Он был уже не сумасбродом, который неистово и бессмысленно метался по сотне улиц, не находя ни двери, в которую можно войти, ни собеседника, ни смысла, ни цели всех своих неистовых поисков, ему теперь казалось, что он самый богатый на земле человек, обладатель чего-то более драгоценного и славного, чем доводилось видеть кому-то. И он расхаживал с этим чем-то по комнате, неспособный ни сесть, ни передохнуть, ни почувствовать удовлетворения. А потом выбегал из комнаты, из дома, и устремлялся на улицу с чувством неистового вождения, страдания и радости, думая, что упускает нечто драгоценное и редкое, что оставаясь в комнате позволяет неким высшим счастье и удаче пройти мимо.

Город казался высеченным из единой скалы, созданным по единому замыслу, вечно движущимся к некоей единой гармонии, некоей основной всеобъемлющей энергии – поэтому создавалось впечатление, что не только тротуары, здания, тоннели, улицы, машины и мосты, все ужасающие сооружения, возведенные на его каменной груди, но и огромные людские потоки на его тротуарах созданы его единой энергией, наполнены ею и движутся в его едином ритме. Джордж передвигался среди людей, словно пловец, бросившийся в поток; он ощущал их тяжесть на своих плечах, словно нес их, огромную, осязаемую теплоту и движение их жизней по тротуарам, словно представлял собой скалу, по которой они ходили.

Джордж словно бы обнаружил источник, родник, из которого исходило движение города, из которого все появилось на свет – при этой находке сердце его возликовало, и ему стало казаться, что он овладел всем городом.

И поскольку в этой потрясающей фуге сливались голод и его утоление, неистовое вождение и высшая удовлетворенность, обладание всем и неимение ничего, видение всей славы города в единый миг и сводящая с ума досада, что он не может одновременно быть везде и видеть все – поскольку могучие, противоречивые стремления вечно странствовать и возвращаться домой постоянно бурлили в нем, яростно сражались друг с другом и вместе с тем были связаны неким основным единством, некоей одной силой – то ему казалось, что город сросся с землей, на которой стоит, и вся земля его питает.

Поэтому на городских улицах Джордж ежесекундно испытывал невыносимое желание устремиться прочь, покинуть этот город хотя бы ради наслаждения вернуться в него. Он выезжал в пригород на день и возвращался ночью; или по выходным, когда в Школе прикладного искусства не бывало занятий, уезжал в другие места – в Балтимор, Вашингтон, Виргинию, в Новую Англию или к родственникам отца в пенсильванский городок неподалеку от Геттисберга. И непрерывно ощущал то же сильное желание вернуться, увидеть, что город на месте, что он все такой же невероятный, вновь обнаружить его сияющим во всей своей сказочной реальности, вечном единстве изменчивости и постоянства, в странном и чудесном свете времени.

Он съедал и выпивал этот город до основания – и за всю ту весну ему ни разу не пришло в голову, что он не оставил даже отпечатка ноги на его каменных тротуарах.

Тем временем некий остолоп осторожно прошел мимо газетного киоска в Бронксе, увернулся от такси, услышал три голоса, уныло поглядел на многоквартирный дом «Гемпшир Арме» и мысленно отметил что-то. Было двадцать первое апреля, и это вызывало у него негодование: он вспоминал давние времена, когда свет падал иначе, сердце его было пустым, так как прежнее блаженство исчезло. Поэтому он думал о соловьях в Ньюарке и роптал на свои невзгоды; он знал шесть слов по-гречески и говорил о Клитемнестре. Роптал он сокрушенно, был утонченным и сломленным, но не умирал: он наблюдал за окнами, надевал в дождь галоши, расплакался, когда ему изменила жена, и ушел из дома – роялист из Канзас-сити, классик из

Небраски, остолоп ниоткуда.

Но в тот самый день Джордж Уэббер и его Эстер спустились с небес на землю и обнаружили, что на ней неплохо, посмотрели на жизнь и увидели, что выглядит она недурственно. Они вышли на улицы и куда бы ни шли, повсюду были еда и великолепие. Весна приходит с яркими цветами под стопами апреля, а под стопы влюбленным земля стелет все свое изобилие и роскошь. Поэтому влюбленные упивались сталью и камнем, красотой груд старого кирпича. Земля сияла всеми манящими, великолепными красками, потому что они были вполне достойны этого, и потому что в сердцах у них не было фальши.

Они покупали еду со страстной вдохновенностью поэтов и обнаружили затерянный мир не в Самарканде, а на Шестой авеню. При виде их мясники распрямлялись и становились выше ростом; поправляли толстыми руками соломенные шляпы, одергивали окровавленные фартуки; брали самые отборные куски мяса, гордо поднимали, нежно пошлепывали по ним грубыми ладонями и говорили:

– Леди, это превосходный кусок. Лучший, какой у меня есть. Посмотрите, леди! Если он не лучший, какой вы только видели, принесите обратно, я съем его сырым прямо у вас на глазах.

И зеленщики находили для них самые лучшие фрукты. Джордж с оттопыренной губой и хмурой серьезностью тыкал пальцем в мясо, пощипывал ноги цыплят, щупал листья салата, перебирал пальцами дыни, жадно читал все этикетки на консервах и вдыхал острые, пряные запахи лавок. И они вместе пошли домой с большими сумками и пакетами еды.

Теперь Эстер, словно неумолимый призрак, занимала главное место во всех его делах, чувствах, воспоминаниях. Это не значит, что он постоянно думал только о ней. Что не мог ни на миг изгнать из разума всепоглощающий образ, на котором теперь сосредоточилась вся его жизненная энергия. Нет. Завоевание ее было в десять тысяч раз более грозным. Ибо пребывая она только в чертогах его сердца или царствуй гордой императрицей в преходящих представлениях мозга, ее было бы можно изгнать каким-то усилием воли, безжалостным актом насилия или отвержения, или возбуждением ненависти в душе. Но она вошла в кровь, впиталась во все ткани плоти, проникла во все мозговые извилины и теперь обитала в его плоти, крови, жизни, словно таинственный и могучий дух, изгнать которого так же невозможно, как материнскую кровь из жил, как стать обладателем отцовских плоти и крови.

Думал Джордж о ней сознательно или нет, она теперь роковым образом неизменно присутствовала в каждом его поступке, в каждом мгновении его жизни. Ничто уже не являлось его безраздельной собственностью, даже самые тусклые, далекие воспоминания детства. Эстер неумолимо вошла в его жизнь до самых дальних ее уголков, тревожила его память, будто свидетель всех его славных и недостойных поступков. Обосновалась в средоточении его жизни так, словно жила там вечно, распространилась по всем ее капиллярам, входила и выходила с каждым его дыханием, билась в каждом ударе пульса.

Стоя в комнате и глядя на Эстер, Джордж внезапно ощутил запах стряпни, вспомнил о еде, которая готовилась у нее на кухне, и у него пробудился неистовый, зверский аппетит, в котором она каким-то образом отождествлялась с едой. Тут он обнял ее сильными руками и ликующе прокричал ревушим, страстным голосом:

– Еда! Еда! Еда!

Потом выпустил Эстер из крепких объятий и нежно взял за руку. Она поцеловала его и нежно, оживленно спросила:

– Хочешь есть? Проголодался, мой дорогой?

– О, если б музыка была любви едой, то, как сказал Макфуд, будь проклят тот, кто первым крикнет: «Стой!».

– Я накормлю тебя, – сказала она оживленно. – я приготовлю для тебя еду, любимый.

– Ты моя еда! – воскликнул Джордж, вновь обнимая ее с пением в сердце. – Ты для меня мясо, масло, хлеб и вино!.. Ты мое пирожное, моя икра, мой луковый суп!

– Приготовить тебе луковый суп? – с готовностью спросила Эстер. – Хочешь?

– Ты мой обед и моя кухарка. Ты моя девочка с тонкой душой и волшебными руками, ты та, кто меня кормит, и сейчас, моя любимая, сейчас, моя нежная и драгоценная, – воскликнул он, прижимая ее к себе, – сейчас, моя веселая и пьянящая девочка, я буду обедать!

– Да! – воскликнула она. – Да!

– Правда, ты моя нежная и милая?

– Да, – ответила она, – твоя нежная и милая!

– Это моя рука?

– Да.

– Это моя шея? Это мое теплое, округлое горло, это мои тонкие пальчики, мои румяные щечки? Это мои красные, нежные губы и сладкий, хмельной ликер моего языка?

– Да! – ответила она. – Да! Это все твое!

– Могу я съесть тебя, моя нежная лапочка? Сварить, потушить, изжарить?

– Да, – ответила она, – в любом виде!

– Могу поглотить тебя? – продолжал он с нарастающей радостью и уверенностью. – Поддерживать свою жизнь твоей, вобрать в себя всю твою жизнь и красоту, жить с тобой внутри, вдыхать тебя, как запах жатвы, растопить, выпить, усвоить тебя, чтобы ты вечно находилась у меня в мозгу, в сердце, в пульсе, в крови, ставила в тупик врагов и смеялась над смертью, любила и утешала меня, придавала мне мудрости, вела к победе, вечно помогала мне своей любовью быть здоровым, сильным, прославленным и торжествующим?

– Да! – с чувством воскликнула она. – Да!.. Да!.. Да!.. Вечно!

И оба искренне в это верили.

Книга пятая. Жизнь и литература

Тот чудесный год с Эстер миновал, ушел в прошлое, настал и иступил в свои права следующий.

И теперь Джордж Уэббер был с головой погружен в громадный труд, разросшийся из попытки описать, что видел и чувствовал в тот год детства, который он назвал «конец золотой поры». Когда Джордж взялся за перо, у него сложился замысел книги, в которой он хотел представить картину не только своей юности, но и всего родного городка, изобразить всех его жителей такими, как знал их. Но ходу работы книга обретала жизнь под его рукой, росла, и Джордж уже смутно видел содержание десятка других книг, продолжающих ту же сюжетную линию, переносящую действие, как перенесся он, из маленького городка в большой мир за его пределами, пиши повествования разрастались, удлинялись, переплетались и пересекались, покуда ткань его не обрела плотность и сложность всей паутины жизни и Америки.

Тем временем его жизнь с Эстер продолжалась, как раньше. То есть, внешне она выглядела прежней. Однако некая перемена произошла. Сперва она озадачила Джорджа, и лишь постепенно он стал постигать ее смысл.

29. КОЛЬЦО И КНИГА

Ушел еще один год, наступила еще одна весна, а Джордж писал, писал, писал со всем напряжением творческого неистовства. Комната уже была завалена стопами и грудями исписанной бумаги, а он все продолжал писать.

Разум его пылал потоком теснящихся образов, чеканкой со световой скоростью множества блестящих картин в мозгу, сверканием возносящейся ракеты. И в каждой мгновенной, пламенеющей картине таился целиком плод каждого долгого, мучительного напряжения разума и памяти.

Казалось, память Джорджа наконец-то охватывала полностью и торжествующе все до единого мгновения его жизни. Он мог не только зрительно представить, вспомнить до малейших подробностей каждое место, где жил, каждую страну, где бывал, каждую улицу, по которой хоть раз прошел, каждого, с кем был знаком или обмолвился словом, и все, что они говорили и делали: он помнил также множество мимолетных, несущественных мелочей, которые видел в какой-то ушедший и не подвластный времени миг своего насыщенного прошлого. Он мог припомнить женский голос и смех на одной из зеленых улиц в родном городе, слышанный двадцать лет назад в темноте и тишине обыденного вечера; лицо женщины, ехавшей во встречном поезде, атома, несшегося сквозь время где-то на огромном материке; набухшие вены на руках старика; падение капли воды в чужом влажном, темном, мрачном коридоре; тени туч, проплывавшие в некий день по густой зелени холмов в родном городе; поскрипывание куста под зимним ветром; угловой фонарь, бросавший мертвенный свет на мрачный, серый фасад маленького, унылого дома. Эти воспоминания и множество других возвращались теперь невесть почему из неистовой сумятицы дней.

Эти величественные силы памяти, обобщения и воображения, взявшие благодетельную и приятную власть над жизнью Джорджа, обострявшие, делавшие очень яркими все впечатления каждого дня, достигли такой зрелости и уверенности в начале весны – это время года способно более всех других напоминать человеку о его бренности и вечности земли. Ни одно другое не может пробудить с такой ясностью чувство недолговечности жизни, вызвать отчетливое, пронзительное, мгновенное осознание всей человеческой участи с ее сплетениями ликующей, несказанной радости и невыразимого горя, юности, которая не может умереть никогда и, однако, умирает с каждым пролетающим мигом, красоты, которая бессмертна и все же появляется и исчезает с неуловимой скоростью света, любви, которая не знает смерти и которая умирает с каждым дыханием, вечной тленности, нескончаемой и эфемерной жизни-в-смерти, неизменного приближения с каждым мигом к кончине, величайшей, бессмертной славе, тронутой признаками рокового несовершенства, громкого возгласа ликующей радости и исступленного восторга, рвущегося из сердца, обреченного на вечное горе и трагическую судьбу.

Обо всей этой мучительной загадке жизни, этом вечном противоречии, не бросающемся в глаза, но ошеломляющем единстве антитез, из которых соткана до самой смерти жизнь человека, дух весны напоминает, как больше ни одно время года. И все же молодому человеку весна зачастую кажется временем хаоса и неразберихи. Для него это время путаницы в чувствах, яростных безгласных криков страдания, радости, жажды, неистовых, непоследовательных желаний, тяги ко множеству неведомых, непоследовательных соблазнов, которая исступляет его мозг, искажает зрение, разрывает сердце.

Так было в тот год и с Джорджем. Вместе с обретенной уверенностью в работе, творчестве, пришло и кое-что другое. Иногда, стоя у окна, глядя на волшебное очарование нового апреля,

он, двадцатилетний, неожиданно вспоминал о своем отце и о всех других умерших, и его охватывали невыразимая жалость, мучительное чувство одиночества, воспоминание о чем-то утраченном и невозвратимом. В такие мгновения его радость и надежда улетучивались, на смену им приходило сознание невыразимой утраты и крушения. Труд, за который он принимался с такой ликующей уверенностью, теперь лежал перед ним на столе, словно рука разбитой статуи, и он с чувством бесконечного отвращения убирал его с глаз.

Он уже не питал больше к этой работе ни любви, ни интереса. Не мог вернуться к ней, не хотел смотреть на нее. И все-таки не в силах бывал ее уничтожить. Совал ее в чемоданы и ящики, раскладывал беспорядочными стопами на книжных полках, и вид их наполнял его сердце ужасом и усталостью. Эти напоминания о неоконченной книге походили на эпитафии тщетным усилиям, памятники краха и крушения.

И, однако же, через день-другой в сердце его поразительным, невероятным образом пробуждалась надежда, жизнь становилась очаровательной, как апрель. Тяга к работе вновь торжественно вздымалась в его груди, и он с неимоверной радостью бросался в кузнечный горн творчества. Трудился денно и ночью, почти без перерыва, не считая занятий в школе, и потраченное там время люто ненавидел. С неохотой, с раздражением погружался урывками в горячий сон, но и во сне громадный груз времени и памяти действовал постоянно, непрерывно, превращаясь в грандиозное, гармоничное сооружение из впечатлений и переживаний. Эта лихорадочная деятельность разума хищнически расходовала его силы, поэтому утрами он просыпался усталым и вновь с головой погружался в работу.

И всякий раз, когда это происходило, когда работал с надеждой, с торжеством, с энергией, он любил эту женщину больше жизни. И не мог сдерживать своей любви. Она прорывала свою обитель из плоти и крови, словно вода в прилив дамбу, и все на свете оживало снова. Заслышав шаги Эстер по лестнице, он отрывался от неистовой работы, усталый, но с бурлящей внутри огромной радостью.

Эстер, как обычно, ежедневно приходила в полдень и стряпала для Джорджа. Когда припасы у него подходили к концу, они вдвоем отправлялись по магазинам и возвращались с коробками, сумками, пакетами хорошей еды.

Однажды в замечательном магазине, где продавалось все – в одной стороне мясо, в другой бакалейные товары, в центре овощи, фрукты и всевозможная зелень – среди разложенных овощей ходила молодая женщина. Эстер заметила, что Джордж смотрит на изгиб ее бедер, медленное покачивание груди, изящные завитки волос на затылке, волнистые движения тела; а когда увидела, как эта женщина красива и насколько моложе ее, как блестят глаза Джорджа, поняла, что у него на уме, и в сердце у нее словно бы повернули лезвие ножа.

– Я видела! – сказала потом Эстер.

– Что видела? – спросил он.

– Как ты пялился на ту женщину в магазине.

– Какую? – спросил Джордж, заулыбавшись.

– Сам знаешь, – ответила она. – На ту сучонку-христианку! Я видела!

– Ха! – воскликнул он торжественно и попытался схватить Эстер.

– Да, посмейся над собой, – сказала она. – Я же знаю, о чем ты думал.

– Ха! – завопил он с неистовым сдавленным смехом и обнял ее.

– Эта сучонка знала, что ты на нее пялишься, – сказала Эстер. – Потому так и нагибалась, делая вид, будто разглядывает морковь. Я знаю, что они собой представляют. От нее несло дешевыми духами и немывтым телом.

– Хо-хо! – завопил Джордж и крепко стиснул Эстер в объятиях.

– Я знаю про все твои делишки, – сказала она. – Ты ведь думаешь, что тебе удастся обводить меня вокруг пальца? Ничего подобного. Когда у тебя побывают девки, я всякий раз это узнаю.

– Откуда?

– Узнаю, не сомневайся. Ты считаешь себя очень хитрым, юноша, но я всегда узнаю. Я находила их шпильки на подушке, и ты вечно прячешь мои шлепанцы и фартук на верхнюю полку чулана.

– Ха-ха! – завопил Джордж. – Ой, не могу! Женщина, – произнес он уже спокойнее, – ты лжешь.

– Это наша комната, – сказала она, покрасневшись, – и я не хочу, чтобы здесь появлялся кто-то еще. Моих вещей не касайся. Пусть шлепанцы стоят там, где могут попасться на глаза любой сучонке. И не смей никого сюда приводить. Если хоть раз за стану здесь какую-то девку, я тебе всю морду разобью, глаза выдеру.

Джордж расхохотался, как безумный.

– Слишком много позволяешь себе, женщина! Так не пойдет. Я свободен. Делаю то, что хочу, и тебя это не касается.

– Ты не свободен! – ответила она. – Ты принадлежишь мне, я – тебе. Навеки.

– Мне ты никогда не принадлежала. У тебя есть муж и дочь. Вспомните о долге перед семьей, сестра Джек, – елейно заговорил он. – Постарайтесь загладить ошибки своей прежней жизни, пока не поздно. Время еще есть, только покайтесь искренне.

– Каяться мне не в чем, – сказала Эстер. – Я всю жизнь была честной и порядочной. Разве только в том, что питаю к тебе великую любовь, которой ты не достоин. Больше мне каяться не в чем, низкий ты человек. Ты не достоин ее.

– Примиритесь с Богом, сестра Джек, – заговорил Джордж ханжеским тоном. – О, я знаю, что вы думаете. Что уже слишком поздно. Нет, сестра, не поздно никогда. Никогда не поздно для Иисуса. В Михайлов день исполнилось ровно пятьдесят три долгих, ужасных года, как я вел почти столь же порочную и греховную жизнь, как вы, сестра Джек. Целыми днями думал только о еде, выпивке и вожделениях плоти. Меня мучила похоть, сестра. Я подвергался жестоким искушениям. Мало того, что танцевал, играл в карты и чревоугодничал, я еще желал жену ближнего своего, хотел совершить с нею прелюбодеяние. Слышали вы когда-нибудь, сестра Джек, о чем-нибудь столь безнравственном? Но я хранил это в себе. Не говорил никому о своих греховных помыслах. Считал, что никто не знает моей тайны. Однако кое-кто знал. Кое-кто постоянно был со мной и знал мои помыслы. Знаете, кто? Иисус. Он знал их, сестра. Я думал, что нахожусь наедине с ними, но Иисус все время не сводил с меня глаз. Я не знал, что Он рядом. Он видел меня, но я не видел Его. Знаете, почему не видел, сестра? Потому что мое сердце закоренело в грехе, я был не способен им видеть. А чтобы видеть Иисуса, нужно узреть Его сердцем, сестра Джек. Потом однажды Он заговорил со мной. Я подвергался жестокому искушению, сестра. И готов был поддаться ему. Я шел на встречу с женой ближнего своего, сестра, хотел отправиться с нею чревоугодничать. И услышал, как Он меня зовет. Зов слышался издали. Я обернулся, но позади никого не было, и я решил, что ослышался. Прошел еще несколько шагов, и Он окликнул меня снова. На сей раз Он был близко, и я хорошо слышал, что Он говорит.

– Что же Он говорил? – спросила Эстер.

Слова Джорджа были нечестивы, богохульны, глаза горели сумасшедшим огнем: в него вселилось фанатичное безумие Ранса Джойнера, и витийствовал он убежденно.

– Он звал меня по имени, сестра. Звал по имени. Призывал остановиться и выслушать Его.

– И что же ты сделал?

– Я испугался, сестра. Подумал о своей греховной жизни и пустился бежать со всех ног. Пытался удрать, сестра, но тщетно. Он следовал за мной по пятам и все приближался. Я ощущал затылком Его горячее дыхание, сестра Джек. А потом Он заговорил мне прямо в ухо. Знаете, что Он сказал?

– Что? – спросила Эстер.

– Сказал: «Это бесполезно, сын мой. Зря тратишь силы. Как бы ты быстро ни бежал, Я всегда могу бежать чуть-чуть быстрее. Тебе не скрыться от Меня, брат. Я ревностный христианин. Поговорим или Мне еще за тобой погоняться?».

– И что ты ответил? – спросила она, как зачарованная.

– Я ответил: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». И Он заговорил, сестра Джек, и голос Его был нежен. То напоминал журчание воды, то легкий апрельский ветерок в кустах кизила. Он сказал: «Брат, давай присядем на камень и потолкуем. Хочу поговорить с тобой, как мужчина с женщиной. У меня есть к тебе предложение. Я давно за тобой наблюдаю. Не свожу с тебя глаз, сын мой. И знаю твои дела, парень». Я сказал: «Господи, я сознаю, что грешен. Наверное, Ты очень сердишься на меня, а?». И Господь ответил: «Да нет, сын мой. Не сержусь. Это не Мой путь, брат. Ты неправильно Меня понял. Это не Божий путь, сын мой. Господь не сердится и не лезет в драку. Если ты ударишь Меня сейчас изо всей силы, Я не рассержусь. Это не Мой путь. Скажу: «Ударь Меня еще, парень. Раз так настроен, ударь».- «Что Ты, Господи, – ответил я, – знаешь ведь, что я не сделаю ничего подобного». Тогда Господь сказал: «Ударь, сын мой. Если тебе от этого станет легче, размахнись и ударь изо всей силы, брат». Тон, которым Он произнес эти слова, растерзал мне сердце, сестра Джек. Я зарыдал, как ребенок, – по щекам моим покатались слезы величиной с куриное яйцо. А Господь воскликнул: «Ударь Меня, парень! Пусть будет больно, но если хочешь, бей». А я сказал: «Что Ты, Господи, я скорей отсеку себе руку, чем трону Тебя пальцем. Ударь меня Ты, Господи, я грешил и заслуживаю трепки. Ударь».

И тут, сестра, мы оба так расплакались, словно наши сердца разрывались, и Господь возопил: «Парень, Я на тебя не сержусь. Это не Мой путь. Мне просто обидно, сын мой. Ты задел Мои чувства. Я разочарован в тебе. Думал, сын мой, ты будешь вести себя лучше». И я, сестра Джек, возопил в ответ Господу: «О, Господи, я раскаиваюсь в своем поведении». И Господь возопил: «Ура, парень! Аминь!». Тогда возопил я: «О, Господи, я сознаю, что был нечестивым грешником. Сердце мое было черно, как ад».- «Вот это разговор! – воскликнул Господь. – Аллилуйя!».- «О, Господи, прости мне мои прегрешения. Я сознаю, что был дурным человеком, но дай мне возможность исправиться».- «Слава Богу! – радостно возопил Господь. – Ты прощен, и душа твоя спасена. Вставай и больше не греш!».

Джордж умолк – глаза его горели, лицо было мрачным. На минуту он поверил в рассказ, который начал в насмешку. На минуту поверил, что существуют боги, способные избавить от страданий; поверил, что существует мудрый, сострадающий разум, способный взвесить каждый атом измученной плоти, ходящей по улицам, проникнуть в переполненные камеры комнат, тоннелей и черепов, распутать хаос забытых языков и ступней, вспомнить нас, спасти, исцелить.

Потом губы его вновь насмешливо искривились; он заговорил:

– Примиритесь с Иисусом, сестра. Он здесь, Он наблюдает за вами. Он стоит сейчас за вашим плечом, сестра Джек. Слышите Его? Вот Он обращается ко мне, сестра. Говорит: «Эта женщина грешила и терпит мучительные искушения. Однако может еще спастись, если только покается. Скажи ей, пусть вспомнит о своих седых волосах и обязанностях супруги. Скажи, пусть больше не грешит и возвращается в законный брачный союз. Убери с этой стези

искушение, сын мой. Поднимись и оставь ее».

Джордж умолк на несколько секунд; он глядел прямо на Эстер с пылкой любовью безумца.

– Господь обращается ко мне, сестра Джек. Он велит мне покинуть вас.

– Иди ты к черту, – сказала она.

Однажды Джордж сидел, глядя, как Эстер склоняется над своим чистым, белым столом, руки ее были сложены, одна изящная ступня перекрещивалась с другой. На стене позади шелестели упругие листы восковки, а перед ней на квадрате прикрепленной кнопками к столу плотной чертежной бумаги три смело нарисованные карандашом фигурки пестрели великолепными яркими красками. Стоявшая в изящной позе Эстер с головой ушла в работу: вокруг нее в беспорядке лежали кисти, карандаши, краски, чертежные инструменты. Сзади с гвоздя свисала рейшина, чуть подальше, возле окна, была приколотая двумя кнопками сверху и снизу хорошая фотография одной из маленьких обнаженных женщин Кранаха. Маленькая фигурка с тонкими руками и ногами, с цепочкой вокруг тонкой талии, с маленькими узкими грудями, выпуклым животом и несравненной красотой, сильной и вместе с тем хрупкой, детской и материнской, чарующей и странной, вполне могла служить отображением характера работы Эстер. Казалось, картина превосходно воплощает всю фацию и уверенность ее труда, энергию, изысканность и красоту.

Общее впечатление, которое производил угол, где работала Эстер, было таким: там словно бы обитал некий дух, уверенный, сильный, утонченный, исполненный энергии и счастья. Она получила от жизни не только радость, но и легкость работы. Эстер могла трудиться, как счастливая маленькая фурия, и однако казалось, что делает она все уверенно и легко. Когда Джордж смотрел на нее, работающую в том углу радостно, увлеченно, она казалась безусловно самой удачливой и талантливой из всех, кого он знал. Она словно бы восторжествовала над судьбой и трудилась с полнейшей непринужденностью, без заминок, огрехов, мучительных поисков вслепую, знакомых и ему, и большинству других людей.

Если человек обладает талантом и не может его использовать, он неудачник. Если использует лишь наполовину, неудачник отчасти. Если научился использовать полностью, он счастливец, он добился мало кому знакомых удовлетворения и удачи. И вот тут-то, думал Джордж, Эстер вырвала у жизни величайшую победу. Казалось, процесс творчества от замысла до полного завершения идет у нее почти по четкой, неуклонной траектории, на едином дыхании. Она была способна осуществить акт творчества – который извлекает из таинственной природы духа элементы того, что нужно сотворить, а затем придает им внешнее и внутреннее единство – без заминок, без пустой траты сил, без всяких потерь.

Эстер не сомневалась, что акт этот отчасти физический, что он в равной мере обуславливается мышечной координацией и соответствующей устремленностью духа. Она утверждала, что присущие величайшим спортсменам напористость и собранность – напористость Дэмпси в Толидо, Тилдена, Мальша Рута, бегуна Нурми – являются «золотой нитью», проходящей через все произведения величайших художников, поэтов, композиторов.

Джордж знал, что так оно и есть. Появление величайших произведений искусства становится неизбежным с начала работы над ними. Создание каждого представляет собой единый акт движения вперед, неостановимый, как удар замечательной биты Рута. В скаковых лошадях и танцовщицах Дега, в «Илиаде», в «Падении Икара» и «Детских играх» Питера Брейгеля, наконец в таком прекрасном, безупречном творении, какое только можно найти на свете, в громадных панно Матиаса Грюневальда для Иссенхеймского алтаря, это единое дыхание и собранность художника с блестящими находками в композиции, пропорциях, рисунке, обогащающими эту устремленность, очевидны с начала до конца.

Очевидны они, к сожалению, не во всех работах. Кое-кто из великих – Геррик, Шекспир, Чехов – добивался этой удачи почти постоянно. Должно быть, эти люди были одними из самых счастливых на свете. Геррик обладал благозвучным, негромким, превосходным голосом, не дрогнувшим в пении ни разу. Жизнь его, очевидно, была восхитительно счастливой и удачливой. Шекспир, о котором мы ничего не знаем, но который все понял и перестрадал, прожил, видимо, более прекрасную жизнь, чем кто бы то ни было. Чехов пытался покончить с собой и умер довольно рано от чахотки; и все-таки жизнь прожил, должно быть, великолепную. Если больная женщина звала врача или Чехов видел студента, идущего лугом по тропинке, это составляло для него сюжет рассказа, и когда он принимался писать, из-под пера его выходил шедевр.

Эстер казалась прирожденной художницей. Художественный гений обладает физическим, ручным, техническим мастерством, которого у поэтического гения нет. Поэтому когда художник достигает вершины, то не утрачивает приобретенного; он продолжает успешно работать до самой смерти.

Однако поэты, бывшие величайшими людьми на земле, большей частью терпели неудачу. Кол ьридж обладал величайшим поэтическим гением со времен Шекспира, но оставил нам лишь несколько великолепных отрывков. Полностью раскрыл свой талант он лишь однажды, в одной поэме. Поэма эта непревзойденная, однако автор ее жил в нищете и скончался сломленным, обессиленным. Ибо такой гений, если обладатель не научился использовать его, восстает и разрывает поэта, словно тигр; он может нести смерть точно так же, как и жизнь.

Эстер гением не была; Джордж даже не знал, является ли она «замечательной художницей», как с гордостью говорила о себе; но жизнь ее отличалась теми же независимостью, свободой, энергией, какие были присущи многим великим художникам. Неприязнь Джорджа к театру, где работала Эстер, нарастала, он не считал, что рисование декораций для сцены является искусством, выгодно отличается от мастерства умелого плотника или что этот экспериментальный театр со всеми его косыми взглядами и многозначительными подмигиваниями стоит доброго слова. Но он видел, что все, за что она принималась, каждая работа, которую выполняла, будь то просто-напросто смелый, изысканный рисунок рукава, бывало проникнуто всей недюжинной, утонченной, прекрасной силой ее духа.

Иногда мысль о том, что самые подлинные отражения ее жизни выставляются перед толпой надушенных обезьян, что их хватают руками, используют в качестве сиденья никудышные глупцы, душила его чувством стыда и злобы. В такие минуты ему казалось, что выйди она голой на сцену, это было бы не более постыдно и вульгарно. Непомерное тщеславие и хвастливость, дешевая самовлюбленность актеров этого театра, их постоянное желание быть на виду казались ему отвратительными, и он поражался, как столь благородная, редкостная женщина может связываться с подобной гнусностью.

Джордж сидел, наблюдая за работой Эстер, и ее вид, поток связанных с нею мыслей, начали пробуждать массу ассоциаций с тем и с теми, кого и что он презирал. Ему припомнилось ее странное тщеславие, казавшееся наивным и детским.

Он вспомнил премьеру одного спектакля, на которую пошел потому, что декорации нарисовала Эстер, и которая осталась у него в памяти, так как в тот вечер ему впервые пришло на ум, что в их отношениях что-то неладно, по крайней мере для него. В тот вечер в театре у него внезапно возникло странное, тревожное ощущение, будто вокруг него что-то смыкается, его словно бы окружало волшебное, невидимое кольцо, не давало выхода, превращало против его воли в часть этого мира, к которому принадлежала она.

Джордж видел ее разнаряженную дочь; ее сестру, молчаливую, с неподвижным взглядом и

бесстрастным лицом; ее мужа, невысокого, пухлого, румяного, безукоризненно одетого, ухоженного, сияющего спокойным довольством, огромным, глубоким удовлетворением этим броским, публичным доказательством преуспевания своей жены в мире моды, богатства, искусства.

В антрактах роскошно, красиво разодетая Эстер с ожерельем из крупных темных драгоценных восточных камней ходила взад-вперед по проходам, сияла, как роза, лучилась радостью и удовольствием, выслушивая похвалы и комплименты, сыпавшиеся со всех сторон. Публика, сверкавшая нарядами, пахнувшая богатством и властью, казалось, образовывала общину, небольшой городок, в котором Эстер знала всех. Это, значит, и был ее «город» – который она знала, маленький, замкнутый, поглощенный своей жизнью, своими скандалами, как любая деревушка. Населяли его богачи с женами, знаменитые актеры и актрисы, наиболее преуспевающие писатели, критики, художники и светские покровители искусства.

Эстер знала их всех, и когда она расхаживала по проходам, Джордж видел, как ее повсюду приветствуют люди, стремящиеся пожать ей руку, сказать похвалу. И слышал ее голос, чуточку повышенный, еврейский, слегка удивленный и протестующий, но исполненный восторженной пылкости, дружелюбно произносящий: «О, привет, мистер Флигельхеймер. Миссис Флигельхеймер и Роза приехали?.. О, неужели вы действительно так считаете?.. Нравится вам – а?»

Тон ее был радостным, чуть ли не ликующим, она жадно подавалась вперед, словно хотела принять еще похвал, если предложат.

Потом, все еще лучась румянцем и отвечая на приветствия отовсюду, она направилась к Джорджу. Когда подходила, в ряду позади началось какое-то волнение, поднялся крупный еврей с крючковатым носом. У него было круглое, лоснящееся лицо и чувственные ноздри, подсвеченные сверканием бриллиантовых запонок, возвышающихся над широкой манишкой, он чуть не падал на колени других людей в стремлении догнать ее. Протиснувшись к ней, он благоговейно, нежно взял ее за руку и стал гортанно шептать лестные слова, поглаживая ей пальцы.

– О, Эстер! – громко шептал он. – Тфои декорации! – Закатил глаза в безмолвном восторге, потом гортанно прошептал в упоении: – Тфои декорации префосходны! Префосходны!

– Ты действительно считаешь так, Макс? – произнесла Эстер высоким, взволнованным голосом, сияя от удовольствия. – Нравятся они тебе – а? – воскликнула она.

Макс лукаво огляделся по сторонам и понизил голос до еще более напыщенного шепота.

– Они самое лучшее ф спектакле! – прошептал он. – Ей-богу, я не стал бы этим шутить! То же самое я гофорил Лене как раз перед тфоим приходом. Сказал ей – спроси сама, так ли это – сказал: «Лена, клянусь Богом, она фсех остафила далеко позади, ф этом деле ей нет рафных!».

– О, Макс, я очень рада, что они тебе нравятся! – восторженно воскликнула Эстер.

– Нрафятся! – пылко произнес он клятвенным тоном. – Послушай! Я без ума от них. Я люблю их, честное слофо! Ф жизни не фидел ничего лучшего!

Потом в зале стал гаснуть свет, Эстер подошла и села рядом с Джорджем. Он взял ее за руку и с иронией пробормотал, передразнивая Макса:

– Ой! Тфои декорации префосходны! Префосходны!

И почувствовал, как ее тело дрожит от смеха, она обратила к нему лицо, столь покрасневшее от веселья, что даже в гаснущем свете это было видно.

– Ш-ш! – произнесла она сдавленным шепотом. – Я знаю! Знаю! – И продолжала с претензией на сочувственную серьезность: – Бедняги! У них были самые лучшие намерения – они не представляют, как это звучит.

Однако восторг ее был столь явным, что Джордж язвительно пробормотал:

– И тебе это очень неприятно, так ведь? Господи, до чего же неприятно! Твои декорации префосходны! Твои декорации префосходны! Черт возьми, ты упивалась этим!

Эстер попыталась взглянуть на Джорджа протестующе, однако ее радость и ликование были чересчур сильны. В уголках ее губ задрожала восторженная улыбка, она засмеялась слегка воркующе, с торжеством, и крепко стиснула его руки.

– Вот что я тебе скажу! – восторженно прошептала она. – Заморочить голову твоей маленькой Эстер не так-то просто! – Потом улыбнулась и спокойно призналась: – Нам всем это нравится, разве не так? Говори что угодно, но слышать это приятно!

И внезапно Джорджа охватила громадная волна любви и нежности к ней. Он любил ее, потому что она была такой маленькой, такой сильной, такой веселой и красивой, такой талантливой, потому что радовалась этим похвалам своему труду и умению пылко, ликующе, как ребенок.

Когда спектакль кончился, Джордж мельком увидел Эстер в фойе, принимающую с радостным лицом поздравления и комплименты, окруженную членами семьи. И ощутил ко всем ним приязнь и уважение. Они стояли вокруг нее, стараясь выглядеть равнодушными и учтивыми, но в каждом из них – в муже, в сестре, в дочери – сквозили огромная, спокойная гордость, чувство радости, ласкового, нерушимого согласия.

Надутые от собственной власти, презрительные от богатства и спеси, великие евреи и христиане мира сего проходили мимо в сопровождении вызывающе красивых жен, производя впечатление грозной, неодолимой силы. Однако при строгом, придирчивом сравнении Джордж видел, что все их спесь, презрение, власть ничто перед малейшей черточкой ее лица, что вся их вызывающая красота блекнет, становится сухой, безжизненной перед великолепием ее маленькой фигурки.

Ему казалось, что в одном уголке сердца богатства у нее больше, чем во всех их сейфах и сокровищницах, в одном ее дыхании больше жизненной силы, чем они вложили в громадные твердыни власти, больше величия в этом живом особняке из плоти, костей и огня, чем во всех шпилях и бастаонах их огромного города. И все они со всей их пышностью, великолепием стали в его глазах серыми, ничтожными, и ему стало ясно, что никто в мире не может сравниться с Эстер.

Джордж не знал и не хотел знать, насколько она замечательная художница, к какому роду относится ее искусство, если это искусство. Однако после строгих, бесчисленных сравнений Джордж был убежден, что она великая женщина, как бывают иногда уверены люди, что некие мужчина или женщина «великие», невзирая на славу или ее отсутствие, на то, есть ли у них силы или талант, способные принести им славу.

Джорджу было все равно, что за работу она сделала: только ему в ту минуту казалось, что любая ее работа, все, чего касалась она, – еда, одежда, краски, книги и журналы в комнате, размещение картин на стенах, расстановка мебели, даже кисти, линейки и циркуль, которыми она пользовалась при работе – мгновенно наполнялось явным, неповторимым волшебством ее прикосновения, блеском, ясностью и красотой характера.

И однако же, несмотря на всю любовь к ней, Джордж на миг ощутил ледяную тень того кольца вокруг сердца.

30. ПЕРВАЯ ВЕЧЕРИНКА

Миссис Джек знала всех, кто представлял собой хоть что-то в искусстве, и теперь Джорджу предстояло увидеть этот блестящий мир во всей его подлинности. Однажды она пришла к нему пылко раскрасневшаяся и сказала, что его приглашают на вечеринку: пойдет ли он?

Поначалу Джордж проникся неприязнью и подозрительностью. Со всей мучительной застенчивостью юности он взирал на нее эти воображаемые великолепия пренебрежительно, отчужденно, потому что сердце его тянулось к ним. Однако, слушая Эстер, смягчился и согласился. Он был тронут этой пылкой возбужденностью, ощутил ее приятную заразительность, от ее горячности сердце его забилося быстрее.

– Если б только ты побольше любил вечеринки! – сказала Эстер. – Какую приятную жизнь мог бы вести! Сколько веселых, интересных людей было бы радо приглашать тебя, если б ты только принимал приглашения!

– На эту я приглашен? – недоверчиво спросил Джордж.

– Ну конечно, – раздраженно ответила она. – Фрэнк Вернер будет рад видеть тебя в числе гостей. Я говорила ему о тебе, и он сказал – непременно его притащи.

– Притащить? Как кошка пойманную мышь, насколько я понимаю. Притащить меня, потому что он думает, что я привязан к тебе, и с этим ничего поделать нельзя.

– Перестань! До чего нелепо! – На лице Эстер появилось негодующее выражение. – Право, ты ждешь, что тебе поднесут весь мир на серебряной тарелочке! Наверное, сейчас начнешь выражать недовольство, что он не прислал тебе приглашения, оттиснутого золотыми буквами!

– Не хочу ходить, куда не приглашен.

– Да приглашен ты, говорю тебе! Все хотят тебя видеть! Люди обожали бы тебя, если б ты дал им такую возможность.

– Кто будет там, ты знаешь?

– О, все! – воскликнула Эстер, слегка преувеличивая. – Фрэнк знает всевозможных людей – в высшей степени интересных, он ведь очень культурный человек, – в том числе и множество писателей, кое-кто из них будет. Не знаю – но я почему-то подумала, что тебе будет приятно познакомиться с такими людьми. Не могу сказать, кто из них приглашен, но Фрэнк упоминал ван Влека (это был модный писатель того времени) – конечно, они большие друзья, – произнесла она с очень серьезным видом и очень легкой напыщенностью, – Клода Хейла, он пишет книги, судить не берусь, но одна кажется мне очень неплохой, будет, наверное, кое-кто из театра и – ах, да, поэтесса, о которой все говорят, Розалинда Бейли.

– Величайший мастер сонета после Шекспира, – зловещим тоном произнес Джордж, повторяя одну из наиболее сдержанных похвал сборнику стихов этой женщины.

– Знаю! – с горечью сказала Эстер. – Смехотворно! Эти люди такие шуты, можно подумать, никогда ничего не читали – у них нет чувства меры... И все же, тебе не кажется, что будет приятно познакомиться с ними? – спросила она, глядя на него с надеждой. – Узнать, что Бейли представляет собой? Говорят, она просто красавица... Приедут и прочие... похоже, будет очень весело... люди, право, очень славные... и все тебя полюбят, если узнают, как знаю я, – ну, пошли! – воскликнула она быстро, уго- варивающе, подойдя к нему вплотную и взяв за руки.

– Ладно – там, наверное, будет не хуже, чем одному здесь, в этой ледяной комнате.

– О, Господи! – произнесла Эстер мелодраматическим тоном, а затем, встав в театральную позу и ударяя себя в грудь, хрипло выкрикнула: «В самое сердце, в самое сердце!» – Это была знаменитая фраза Тервидропа.

Джордж недовольно сверкнул на нее глазами, но когда она затряслась от пронзительного

смеха над собственным остроумием, веселье ее оказалось столь заразительным, что Джордж глуповато улыбнулся, взял ее за руки и встряхнул.

– Знаю,- произнесла она, тяжело дыша, – но у тебя это прозвучало, как у мистера Тервидропа – мерзнуть на этом холодном чердаке, совершенно одному!

Эти слова она произнесла с высокопарным смирением, вновь приняв мелодраматическую позу.

– Я же не сказал «на чердаке», – запротестовал Джордж, – я сказал «в комнате».

– Знаю, – ответила Эстер, – но имел в виду чердак – да-да! – выкрикнула она, увидя несогласие на его лице, и снова расхохоталась. – Господи, ты просто чудо, – сказала она, перестав смеяться. – Интересно, существовал ли на свете такой человек, как ты? По-моему, это невероятно.

– Когда загонишь меня в гроб, таких больше не будет, – угрюмо предрек он.

– В самое сердце! – выкрикнула она.

Джордж схватил Эстер, у них завязалась борьба, и он бросил ее на кушетку.

Когда время знаменательной вечеринки приблизилось, начались беспокойства. Приняв это решение, сделав первый шаг, подчинив наконец юношескую гордость юношеской мечте, Джордж испытывал напряженность, нервную, острую, электризирующую, словно бегун на старте. Он знал, что люди, которых назвала Эстер, были одними из самых модных и утонченных литераторов того времени. Этот тесный кружок обладал пленительным ореолом: блеск их имен заключал в себе блеск всего города.

Теперь, когда все было решено, оба стремились туда. У Джорджа не было вечернего костюма, он решил его приобрести, и это решение было одобрено.

– Думаю, потратишь деньги не зря, – сказала Эстер. – Познакомишься с людьми, видимо, будешь выбираться из дома все чаще и чаще – перед Джорджем открылись громадные перспективы светского рая, – и костюм тебе будет нужен. В довершение всего, – преданно добавила она, – в нем ты будешь просто красавцем.

Они отправились в один из больших магазинов на Геральд-сквер, и там под пронизательным взглядом Эстер Джордж экипировался. Костюм сидел не лучшим образом, Джордж выбирал его из того, что имелось, и он не был рассчитан на такие отклонения от стандарта, как широкие плечи, длинные руки, короткие талия и ноги. Но беда эта оказалась поправимой. Заставив Джорджа поворачиваться на месте, Эстер оглядела костюм, взялась кшкими пальцами за лацкан, сделала пометки мелом на лопатках и рукавах и дала занимающемуся подгонкой портному указания, от которых тот лишился дара речи, и на лице его застыло тумленно-почтительное выражение.

На обратном пути они задержались внизу, купили вечерние рубашки, воротнички, запонки и черный галстук. Эстер решила, что покупать вечерние туфли не стоит.

– Многие никогда в них не обуваются, – сказала она. – Ты будешь выглядеть прилично. К тому же, – улыбнулась она, – будешь таким красавцем, что на твои ноги никто не обратит внимания. Вот увидишь.

И все равно, покупки сильно ударили Джорджа по карману. На них ушла большая часть месячного жалованья. Путь в общество великих града сего, пусть даже эти великие были поэтами, стоил дорого.

Знаменательный вечер наступил. Джорджу предстояло пообедать дома у миссис Джек, а потом везти ее на вечеринку, назначенную на десять часов.

Джордж, волнуясь, старательно облачился в новые одежды. Блестящее сочетание черного с

белым в первый миг поразило его, он был едва не ошеломлен собственным великолепием.

Выйдя на улицу, Джордж дошел до угла, как человек, впервые выходящий на огромную сцену перед многочисленной аудиторией. Но увидел почти сразу же, что люди глядят на него одобрительно, дружелюбно, и пришел в блестящее, великолепное настроение. Джеймс, чернокожий чистильщик обуви на углу, сверкнув крепкими белыми зубами, сказал: «В их компанию входите, а?» – От его слов Джордж преисполнился приятным волнением и веселой радостью – потом негр проворно выскочил вперед и остановил такси.

Джордж чувствовал себя на седьмом небе. Он жил в этом городе долгое время и считал, что знает его – как может знать только тот, кто в одиночестве ходил по его улицам в любой час суток. Но теперь ему впервые предстояло стать его частью.

Ощущение «принятого» – сильное, воодушевляющее. Впервые подобающе одеться по принятым в обществе требованиям – одно из достопамятных событий в жизни человека. А быть молодым, влюбленным, красиво одетым, ехать на встречу с любимой под феерическим покровом ночи, потом войти в общество поэтов и самых прекрасных женщин, каких только может явить эта самоцветная скала, этот главный, величественный алмаз всего мира – о, дивность этого опьянения, этого избранного общества, этого торжества, этой славы – в жизни не существует более головокружительной вершины, и, случившись раз, это событие будет вечно пылать в мозгу.

Джордж был не просто молод, влюблен и ехал на подобную мечеринку впервые в жизни. В тот вечер в нем бился пульс Тамерлана, ему казалось, что это великолепнее, чем быть царем и ехать с триумфом по Персеполису.

И он был не просто мальчишкой, устремившимся, подобно мотыльку, как множество прочих, к огромному зареву этого величественного света, к пресловутым приманкам мечты, иного образа жизни, старым, как города, и нестареющим, словно земля.

Он был поэтом, выпущенной стрелой их бессмертной жизни, он пел песни всех поэтов, какие только пели и умерли. Был почтой, какие только пели и жили. Был поэтом, был братом, сыном, бессмертным языком всех поэтов, какие только пели, жили и умерли с начала времен. Был поэтом и сыном поэтов, умерших и погребенных, был великим поэтом на своем поприще, и в его неистовой, безмолвной крови тем вечером пели все неистовые, йезмолвные языки темноты и Америки. Был поэтом, и все неистовые, безмолвные языки, которыми он должен был петь, пели тем вечером в его крови. И он стоял здесь, на этом куполе ночи, на этом берегу бессмертной тьмы, на неоткрытом краю всего дивного нового мира Америки; он знал, что прилив нарастает, и, однако же, его вдохновение еще не достигло высшей точки.

Свершавшееся в тот час, в ту минуту, в том месте с несравненной точностью совпадало с идеалом его юности, с вершиной, зенитом его мечты. Город никогда не казался ему таким прекрасным, как в ту ночь. Джордж впервые видел, что, по сравнению с другими городами мира, Нью-Йорк – величайший город ночи. Ночью он достигал изумительного, несравненного очарования, некоей новой красоты, созвучной месту и времени, с которыми не могли сравниться никакие другие место и время. И внезапно Джордж осознал, что красота других ночных городов -Парижа, раскинувшегося под холмом Сакре-Кер огромной, таинственной россыпью огней, мерцающего дремотными, манящими, таинственными цветами ночного великолепия; Лондона с его дымчатым ореолом туманного света, странно волнующего, потому что он так громаден, так затерян в беспредельности – обладает в каждом случае своей неповторимостью, восхитительной и непостижимой, но до этой ей далеко.

Город сиял в обрамлении ночи, и Джорджу он никогда еще так не радовал глаз. Это был жестокий город, но и приятный, свирепый, но и очень нежный; был неуютной, суровой, ужасающей катакомбой из камня, стали, тоннелей в скале, нещадно изрубцованной светом, был

грохочущей ареной непрестанной войны людей с механизмами; и вместе с тем он дышал приветливостью и добротой, был так же исполнен сердечности, страсти, любви, как и ненависти.

И даже небеса, обрамлявшие Нью-Йорк, сама ткань ночи, казалось, обладали архитектурой, духом его неповторимости. Джордж видел, что город это северный: очертания его были главным образом вертикальными. В нем даже ночь, характер темноты имели особое строение, особую архитектуру. Здесь ночь в отличие от парижской или лондонской, более округлых, мягких, дремотных, была устремленной вверх, жесткой, обрывистой, отвесной, властной. Здесь все было резким. Город пламенел огнями свирепо и вместе с тем очень ласково. В этой высокой прохладной ночи поразительно и прекрасно было то, что, будучи такой суровой и властной, такой надменно-грозной, она была вместе с тем и очень нежной; здесь в ночах, даже самых ледяных, были не только жесткая сталь, но и дыхание апреля: ночи могли быть бесцеремонными, жестокими, и, однако, в них неизменно ощущалось предчувствие легких шагов, сиреневой тьмы, чего-то быстрого и мимолетного, почти достигаемого, вечно ускользающего, чистой, как апрель, девушки.

Здесь, в этой накрывшей город феерии ночи, огни были рассеяны, как звезды. Джорджу внезапно предстало видение города, ошеломляющее своей красотой. Ему почудилось, что вокруг ничего нет, кроме чарующей архитектуры тьмы, усеянной звездами множества огней. О зданиях он забыл: они словно бы перестали существовать. Казалось, сама темнота создала узор из звездной пыли этого множества огней, они были разбросаны по одеянию ночи, словно драгоценные камни, искрящиеся на платье той таинственной Елены, что вечно пылает в крови мужчин.

И великолепие их было невероятным. Огни сверкали перед ним, парили над ним, поднимались несомкнутыми цепями, были рассеяны по невидимой стене, возносились к самым вершинам ночи, были вправлены в само облачение темноты, бесплотные, невесомо висящие, однако неподвижные, как кирпичи в стене, то был мир тьмы, невидимый, освещенный по случаю какого-то вечного праздника.

Джордж был ясен и лучезарен, как пламя: лицо его сияло со всей чистотой радостной юности. Он был взбудоражен той несравненной, благородной восторженностью юноши, которая приходит столь редко и которую впоследствии он уже не в силах обрести вновь. То был миг, когда все вино жизни словно бы влилось в его вены, когда сама его кровь превратилась в вино жизни, когда он обладал всем, что в жизни есть – ее силой, красотой, состраданием, нежностью и любовью, всей ее ошеломляющей поэзией – когда все это принадлежало ему, вошло в самый центр белого накала его юности, торжествующего сознания собственного успеха.

Тот час говорил с Джорджем своими безмолвными языками, и внезапно он услышал песнь всей той земли:

По крутому ущелью в сизой утренней дымке я восхожу, ускоряя темп быстрых шагов, к вершинам полудня; весь день нескончаемое, неистовое движение на переполненных улицах; непрестанное, вечное строительство в этом нарастающем потоке дней, силуэты зданий на фоне ясного, нежно-голубого небосвода, громовой стук стальных балок, оглушительный лязг механизмов. Вот уже близится темнота, феерия неба и громадная Медуза ночи; меж двумя плещущими океанами усеянные звездами огней раковины континента и темнота, прохладная, окутывающая ночь, звезды и очарование Америки. А по континентальным равнинам грохочут мчащиеся экспрессы, громко разносится протяжный отзвук гудка, вровень с паровозной топкой на восемьсот миль тянется пшеница; жестко шелестят всходы кукурузы в Индиане; на Юге уныло бредущий по обочине дороги измазанный засохшей глиной негр, краткий проблеск автомобильных фар; сияние фабрики в ночи, мощный гул за ярко освещенным стеклом, затем

вновь сосны, глина, хлопковые поля; несущиеся издали, быстро исчезающие кружащиеся звуки карнавала; стенание грешников в церкви; а затем, заложенные уши под ложем реки, голоса в тоннеле удаляются к Бруклину; но неровный лунный свет на Скалистых горах, нескончаемое лунное безмолвие на разноцветной скале; в Теннесси среди холмов проезжает последний автомобиль вдоль Холстон-ривер, раздаётся гудок, и кто-то наверняка прислушивается: «Это те ребята. Были в городе. Подъезжают». – А потом тишина и Холстон-ривер; но в Карлайле хлопнула наружная дверь, слышатся голоса: «Доброй ночи, доброй ночи, Олли. Доброй ночи, Мэй... Где Чекере? Вы его отпустили?» – И тишина, тишина, и «Доброй ночи, доброй ночи»; полицейский в Бостоне вертит свою дубинку: «Всего один бродяга. – И задумчиво: – Всего один бродяга на пустыре – и только; ладно, доброй ночи, Джо». – Окна, запотевшие от едкого пара, – «Доброй ночи»; и вновь лунный свет на разноцветных холмах – «Ми-истер... Ох-х, ми-истер» – нетерпеливое, печальное, умоляющее, странное – и неподалеку от дороги, в сухом речном русле разбитый «форд», покойник, два пьяных мексиканца – «ми-истер» – а потом в жуткой близости тьяканье койота – «ми-истер» – и до Санта-Фе семь миль.

И шелест молодой листвы по всей Америке, и «Скажи!», неистовое, юное, негромкое – и неистовое, страстное «Не скажу!» настойчивое, неистовое «Скажешь! Ну, говори же! Скажи!» – и листва мягко: «Скажи, скажи». – И полунехотя, отчаянно, не истово: «Тогда... если обещаешь!» – И вздохи листвы: «Обещаешь, обещаешь». – Быстро, неистово: «Да, обещаю!» – «Я скажу!» «Так говори же! Скажи!» – И быстро, негромко, еле слышно: «...Любимая!.. Вот! Я сказал!» – Неистовое, ликующее, мальчишеское: «О, любимая, любимая, любимая!» – Необузданное, прерывистое: «Ты обещала!» – Необузданное, неистовое: «Любимая, любимая, любимая!» – Отчаянное, сокрушенное: «Ты обещала!» – И печальный шелест листвы: «Обещала, обещала» – «Любимая, но ты обещала!» – «Обещала, обещала, обещала, обещала» – издает листва по всей Америке.

И повсюду что-то движется в ночи сквозь бессмертную тьму, что-то шевелится в сердцах людей, что-то восклицает в их неистовой, безмолвной крови, неистовыми безмолвными языками ее великих пророчеств – уже скоро утро, утро: О, Америка.

Строители многоквартирных домов одержали двойную победу: миссис Джек наконец покинула свой очаровательный старый дом возле Риверсайд-драйв и переехала в большую квартиру на Парк-авеню. Когда Джордж подъехал к входной двери на такси, швейцар в ливрее быстро подошел к машине, распахнул дверцу и сказал: «Добрый вечер» чуть приветливее, чем молодой человек ожидал от столь впечатляющего существа. Внутри сидевшая за столом телефонистка на миг оторвана взгляд от коммутатора, спокойно улыбнулась Джорджу и назвала ему номер квартиры. Он вошел в лифт и бесшумно поднялся.

Семья миссис Джек уехала, и скромный обед был устроен на четверых. Там присутствовали Стивен Хук и его сестра Мери.

Блестящая суета и потрясения жизни не касались хрупкого тела Хука. Он вел жизнь отшельника, причиной тому являлась его сыновья преданность матери. Был одиноким, независимым, влюбленным в увлекательную жизнь чувств, сознавал могучим мозгом, что такое радость, но возможности испытывать ее был лишен. Он почти целиком жил жизнью других. Только его блестящий, острый разум был кипучим и дерзновенным.

Вот уже десять лет Хук все больше и больше искал общества определенных нью-йоркских евреев. Его разум, жаждавший яркости и великолепия, отвергал с досадой и отвращениями сухую серость и скуку пуританского наследия. Во всем вокруг ему виделось оскудение тепла и радости жизни. Землей владели «скучные люди», и он считал, что эта всеобщая дряблость, особенно в жизни художников и интеллектуалов, не должна иметь права на существование.

Евреи любили красивое и приятное. Богатые и бедные, они были исполнены жизни и любознательности. Богачи-евреи спасались от пустоты жизни плутократов-янки подражанием английской знати. В то время как фешенебельное общество курсировало, будто заведенное, между Нью-Йорком, Ньюпортом, Палм-Бичем и Ниццой, богатые евреи разъезжали повсюду и видели все. Они основали экспериментальные театры и сделали их доходными, они проводили выходные с Бернардом Шоу, проходили курс психоанализа у Зигмунда Фрейда, покупали картины Пабло Пикассо, финансировали радикальные журналы, летали самолетами в Россию, исследовали норвежские фиорды на яхтах, взятых напрокат у хиреющих принцев крови. Они восхитительно проводили время, жены их были загорелыми, красивыми, усеянными драгоценностями.

Что касается бедных евреев, они были оживленными, суматошными, и Хуку не надоедало созерцать их – он, словно истосковавшийся по дому призрак, прижимался лицом к окошку такси, когда оно петляло между опорами надземки в Бронксе или Ист-Сайде. Они суетились, дрались, торговались, ощупывали овощи и тыкали руками мясо, объяснялись, жестикулируя грязными пальцами, клялись, что их обсчитали или обвесили – они ели, пили и предавались любовным утехам вволю. Бедные евреи тоже наслаждались жизнью.

Хук часто сожалел, что не родился евреем.

Впоследствии Джордж постоянно вспоминал тот чудесный обед – прекрасную столовую, красивый стол и лица четверых, тускло, призрачно освещенные спокойным пламенем свечей. Он понимал, что это его обед – его и Эстер, – а двое других, словно тоже это понимали, казалось, были причастны его счастью и юности. В голубых глазах Мери Хук плясали веселые искры, она проникательно смотрела на него, понимающе, заразительно смеялась, и в свете свечей ее рыжие волосы выглядели изумительно красиво. Джордж уже видел ее однажды, но теперь, в тесном кругу, достоинства этой старой девы бросались в глаза. Было видно, чувствовалось, что это старая дева, но она была до того очаровательной, что Джорджу на миг показалось, что всем женщинам на свете следовало быть старыми девами, как Мери Хук.

Потом Джордж взглянул на Эстер. И понял, что всем женщинам на свете надо походить на нее. Она была сияющей. Он ни разу не видел ее такой красивой, как в тот вечер. Взгляд его то обращался к портрету, висевшему за ее спиной на стене, на котором Генри Мэллоу запечатлел ее во всей привлекательности в двадцать пять лет, а потом вновь к ее лицу, и в уме у него вертелась одна фраза: «Господи, какая она красивая!». И между живым портретом и живой женщиной он был заморожен чудом времени.

Эстер была одета в простое, но великолепное платье из темно-фиолетового бархата, ее шелковистые руки и плечи были обнажены, на груди красовалась брошь из драгоценных камней. Глаза ее плясали, искрились, нежное лицо, как всегда, было розовым, словно цветок. Она была такой сияющей, веселой, счастливой, так полна жизни и здоровья, что было восхитительно просто глядеть на нее. Джордж был так поглощен этим созерцанием, что едва не забывал есть великолепную еду. Он смотрел на нее с таким зачарованным интересом, с каким отец может созерцать игру забывшего обо всем ребенка; он был околдован этим зрелищем, и даже смачность ее аппетита, аппетита здоровой женщины, увлеченной вкусной едой, восхищала и веселила его. Эстер открыла рот, собираясь с жадностью откусить кусочек, потом подняла взгляд, глаза их встретились, и оба громко рассмеялись.

У Джорджа то был самый радостный, веселый обед в жизни. Мери Хук глядела на него с Эстер и смеялась сияющему восторгу обоих. И даже Хук со своей обычной маской скуки и равнодушия, которая, в сущности, являлась щитом для мучительной застенчивости и ранимости и не могла спрятать душевного тепла и благородства, присущих этому человеку, не мог полностью скрыть веселья и интереса, которые вызывали у него любовь и энергия этих двоих.

Женщины заговорили друг с другом, молодой человек быстро переводил взгляд с одной на другую. Потом встретился глазами с Хуком, и между ними на миг возникло веселое общение двоих мужчин, глядящих на мир женщин, безмолвное и, пожалуй, непере译имое, но в котором они словно бы говорят друг другу: «Ну, что ж, сами знаете, какие они!».

Что же до самих женщин, они были восхитительны. Джордж никогда еще не ощущал так радостно и полно совершенно очаровательное воодушевление женским обществом, вызываемое, несомненно, сексом, потому что мужчины испытывают его только в присутствии женщин, но далекое от грубого желания или животного магнетизма соблазна.

В половине десятого они поднялись из-за стола и почти в десять распрощались. Джордж с Эстер поехали на вечеринку. Ее радость и восторг сохранялись до конца пути.

Приятель миссис Джек Фрэнк Вернер, холостяк, владел квартирой в доме на Бэнк-стрит в Гринвич-Виллидж. Дом был привлекательным, распространенного типа, одного из лучших в той части города. Он представлял собой скромное трехэтажное строение из красного кирпича с изящными зелеными ставнями, каменными ступенями и красивым арочным дверным проемом в белом обрамлении. Принадлежало оно к тому архитектурному стилю, который был в моде восемьдесят – девяносто лет назад, потом в городе стали преобладать грубые, уродливые фасады из песчаника. В основных чертах дом, разумеется, был викторианским, но все же сохранил изящество и простоту колониальных предшественников. Простота подобных зданий хоть и не являлась озарением, присущим высокому искусству, но все-таки неизмеримо превосходила являвшееся плодом расчета уродство позднейшего, более изысканного стиля. А изящные зеленые ставни, яркие и веселые, безупречная белизна обрамления входной двери, полированная дверная ручка, сияющая бронза на изящных лестничных перилах являлись добавлениями, но отнюдь не новшествами более поздних времен. Поэтому дом производил впечатление колониального – на гринвич-виллиджский манер, – искусно, слегка причудливо спроектированного.

Дом радовал глаз. Джордж нередко видел такие. У молодого человека без семьи, без друзей, жившего в снимаемой комнате, он вызывал приятное ощущение уюта, радушия, скромной роскоши. Более того, в ревуем водовороте жизни этого города наводил на мысль о спокойном убежище, непритязательном комфорте, укромной жизни. Казалось, именно в таких домах надо жить «писателям и художникам». Взгляды в окна таких домов с их приятными комнатами, полками книг, приветливым, неярким светом вызывали у Джорджа желание лучше узнать эти дома и их обитателей, ощущение, что люди живут там мирно, размеренно, безмятежно, как и надлежит художнику.

Джорджу до сих пор казалось, что жизнь творческого человека должна представлять собой стремление к такого рода убежищу. До сих пор казалось, что зрелый художник может за такими стенами достичь избавления от свирепых конфликтов мира, грубой, неистовой борьбы с действительностью – он бы называл это торжеством над ними. С неведением и надеждой юности он полагал, что приветливый, уютный, неяркий свет подобного дома – цель, к которой нужно самозабвенно стремиться, символ той жизни, какую надо вести художнику. По своей юношеской неопытности он не мог понять, возможно, не хотел взглянуть в лицо тому суровому факту, что противостояние человека силам действительности бесконечно, что жизнь – это тяжелое испытание, которое настоящий мужчина должен встречать грудью и не отступать перед ним, что в этом жестоком мире покоя нет прежде всего для художника, что художник прежде всех остальных должен добывать свой хлеб из камня, добиваться славы и спасения души с привкусом стали на губах – и что для него нет уютного убежища с приветливым светом за зелеными ставнями, покуда не угаснут жизненные силы.

Квартира Фрэнка Вернера находилась на втором этаже этого привлекательного дома. Джордж с Эстер поднялись по каменным ступеням, в вестибюле обнаружили табличку с его фамилией и кнопкой звонка в аккуратном ряду других табличек и кнопок. По-шонили, замок щелкнул, они вошли. Внутренний холл был застелен ковром, там был полированный стол с зеркалом и серебряным подносом. Стали подниматься по изящной лестнице, в это время наверху открылась дверь, послышался оживленный шум голосов. Фрэнк Вернер вышел на лестничную площадку и поджидал их, они услышали его веселое, громкое приветствие.

Это был холеный, приятного вида человек средних лет, одетый со щегольской небрежностью. На нем были серые фланелевые брюки, ботинки на толстой подошве, хорошо скроенный пиджак из английского твида, белая рубашка с отложным воротничком и красным галстуком. У него было приятное, живое, умное лицо. Он был чуть повыше среднего роста, не особо крепкого сложения, однако лицо его пламенело здоровым румянцем, высокий лоб и залысины покрывал загар от долгого пребывания на открытом воздухе. В руке он держал очень длинный и, судя по всему, дорогой янтарный мундштук с зажженной сигаретой, весь его вид излучал хорошее, приподнятое настроение, как можно было догадаться, обычное.

Когда гости поднялись, он громко приветствовал их, при этом посмеиваясь и улыбаясь, обнажая крепкие жемчужные зубы. Потрепал миссис Джек по руке, легонько поцеловал в румяную щеку и произнес:

– Дорогая, как ты сегодня красива. Кажется, – обратился он с улыбкой к молодому человеку, – она отыскала тот волшебный источник юности, который мы все тщетно ищем, не так ли?

Вернер обезоруживающе улыбнулся гостю и, повернувшись снова к миссис Джек, засмеялся с неудержимым весельем.

– Ха-ха! Да, несомненно! – воскликнул он. Тон его был несколько манерным и подчеркнуто любезным, но добродушие было вполне искренним.

Комната, в которую они вошли, была красивой, просторной и сразу же создавала впечатление тепла, уюта, покоя. Там были тысячи прекрасных книг, целая стена была до потолка уставлена полками. Роскошные переплеты, казалось, вбирали в себя и возвращали обратно тепло и яркость всей комнаты. В камине за ширмой потрескивали сосновые дрова, мебель была простого колониального стиля, на стенах висело несколько великолепных гравюр с видами города, лампы под абажурами лили оранжевый свет.

Позади этой комнаты за дверью находилась другая, примерно того же размера. Спереди находилась маленькая спальня, за ней по одну сторону – ванная, по другую – маленькая кухня.

Все в квартире создавало впечатление уюта, культуры, безупречного вкуса. Пристальный, искушенный взгляд, возможно, нашел бы ее несколько претенциозной для холостяцкого жилья. Все было очень уж утонченным и аккуратным: подставки для дров в камине и бессмысленные металлические грелки, которыми не пользовались, выглядели слишком уж изысканными и наводили на мысль о руке художника по интерьеру.

В передней комнате находилось несколько людей, из задней слышались голоса. Стоявшие молодой человек и молодая женщина разговаривали, держа в руках высокие бокалы с коктейлем. Женщина была хорошенькой и держалась с видом юных героинь модных романов. Белокурый молодой человек томно шепелявил. Двое мужчин сидели возле камина. Один был крепкого сложения, с румяным лицом, красиво выющимися седыми волосами и крупными зубами, которые постоянно проглядывали сквозь приоткрытые губы. Другой был поменьше и посмуглее, с шелковистыми усиками над верхней губой и семитскими чертами лица. Все, кроме хозяина, были в вечерних костюмах, хотя было не понятно, зачем потребовалось одеваться так для столь спокойной обстановки, и то, что хозяин один воздержался от этого, вызывало легкую

симпатию к его простоте.

Фрэнк Вернер стал представлять гостей друг другу. Смуглый мужчина встал и очень тепло поприветствовал миссис Джек. Это был Морис Нэгл, директор знаменитой Актерской Лиги, с которой было тесно связано много ее друзей.

Человек с крупными зубами, которого Вернер назвал Полом, и был романист ван Влек. Его книги пользовались широкой известностью. Это были в высшей степени вычурные произведения о покрытых татуировкой герцогинях, постимпрессионистках-киноактрисах и профессиональных боксерах-неграх, читающих по-гречески, говорящие всему миру, что по части вычурности Америку превзойти невозможно.

Ван Влек не поднялся навстречу новым гостям и не произнес ни слова. Просто обратил к ним румяное, суровое лицо и уставился немигающими глазами. В его взгляде была намеренная бесцеремонность человека, обладающего столь сложными и тонкими чувствами, что он всегда ищет в других чего-то тонкого и сложного. Очевидно, в этой паре он ничего такого не нашел, потому что через несколько секунд отвернулся от нее и снова заговорил с Нэглом.

Молодая женщина произнесла «Здравствуйте» холодно, неприветливо и отвернулась, словно полагая, что в ее грубости есть какая-то бескомпромиссная честность. Но стоявший с ней молодой человек заговорил витиевато и неудержимо: это был сын знаменитой актрисы, и сразу же принялся взалхлеб осведомлять миссис Джек, что знает о ее работах в театре и считает их «в высшей степени великолепными!»

В эту минуту из задней комнаты вышла Розалинда Бейли. Кто она – никаких сомнений не вызывало. Ее холодная красота была прославлена, портреты были широко известны, и, надо отдать ей справедливость, она была единственной из писательниц, чьи фотографии не подвергались ретуши. Хотя ей было уже далеко за сорок, выглядела она поразительно молодо. Походила на девушку, притом без всяких ухищрений. У нее были прямые, длинные, красивые ноги, она была высокой, с горделивой осанкой. Шея и посадка головы были девичьими, величественными, красивыми, темные волосы были расчесаны с пробором посередине и обрамляли лицо крыльями, глаза были черными, бездонными, взгляд прямым и гордым. Каждый, кто хоть раз видел миссис Бейли, навсегда сохранял память о ее девичьей красоте, стройности, гордой осанке, прямоте взгляда, сочетании детскости и зрелости, страстности и льда.

Розалинда Бейли сразу же повела себя странно. Не обращая внимания на пришедших, она с достоинством вышла из двери и с гордым, разгневанным видом встала перед Вернером.

– Фрэнк, – заявила она холодным, решительным тоном, – *я ни за что*, – на последних словах голос ее повысился, – не останусь в этой комнате, пока здесь находится Пол.

Джорджа поразила нелепость этого заявления, она только что вошла в эту комнату по своей воле, явно напрашиваясь на скандал, и должна была знать, что там находится ван Влек.

– Успокойся, Розалинда, – раздраженно сказал романист, подняв взгляд и сурово уставясь на нее, – я не собираюсь с тобой разговаривать.

– *Я ни за что* не стану находиться с ним в одной комнате, пока он говорит такие вещи! – провозгласила она громко и твердо, не глядя на ван Влека и напоминая разгневанную, оскорбленную богиню.

– Разговаривать я с ней не собираюсь, – сказал, отворачиваясь, ван Влек тем же раздраженным тоном.

– *Я ни за что* не останусь здесь, – объявила она, – если он опять ударится в свои оскорбительные выпады.

– Послушай, дорогая моя, – мягко возразил Вернер, явно встревоженный и стремящийся всеми силами успокоить ее, – я уверен, он вовсе не хотел...

– Я ни за что не буду слушать его! – надменно воскликнула она. – Не желаю подвергаться таким оскорблениям!

– Послушай, Розалинда! – кротко возразил Вернер, – я убежден, что у него не было намерения оскорбить тебя.

– Было! – воскликнула она и возмущенно продолжала: – Пол сказал, что Элеонора Дузе – самая красивая женщина, какую он только видел!

И при этом поразительном заявлении в ее пылающих глазах словно бы захрустел черный лед ярости.

– Я не собираюсь больше разговаривать с ней, – произнес ван Влек, с раздраженным видом глядя на огонь.

Тут Розалинда Бейли впервые обратилась к нему ледяным тоном:

– Говорил ты или нет, – вскричала она, – что Дузе самая красивая женщина, какую ты только видел?

– Я не собираюсь...- начал снова ван Влек.

– Отвечай! – воскликнула богиня, словно воплощенный пробудившийся гнев. – Говорил или нет?

– Я не собираюсь...- начал он снова, потом медленно повернулся в кресле и угрюмо уставился на нее. – Да.

Розалинда зарыдала и, повернувшись, упала в утешительные объятия только что вышедшего мужа, конвульсивно всхлипывая, словно ребенок.

– Я не перенесу этого! Не перенесу! – всхлипывала она.- Он сказал... сказал... – Слова застряли у нее в горле, и она еще горше зарыдала. – Я не могу этого вытерпеть!

Все сгрудились вокруг нее, принялись успокаивать, обнимать, просить, умолять, обхаживать – ее муж, хорошенькая женщина, Вернер, Морис Нэгл – все, кроме ван Влека, который с суровым, мрачным бесстрашием глядел на огонь.

Это был изысканный кружок лиц, добившихся головокружительного положения в жизни города. Они объединились в клику, которая в то время была безраздельно господствующей, и главой этой клики, ее обожаемым кумиром была поэтесса Розалинда Бейли.

Она была идолом и вместе с тем жертвой времени, породившего ее. Не сомневалась, что обессмертила себя, и не догадывалась, как недолговечна, мимолетна ее слава.

Бедняга Китс воскликнул: «Вот лежит тот, чье имя написано на воде» – и умер. Почитатели Розалинды восклицали: «Вот живет та, чье имя начертано на мемориальных досках из долговечной бронзы» – но ей предстояло умереть. Видимо то, что они нуждались в подобном образе неувядаемой славы, дабы сохранить иллюзию собственного бессмертия, являлось знаменем времени. В такое время, когда все как будто бы возникало, исчезало, забывалось с трагической быстротой – когда то, что сегодня вызывало восторг, назавтра устаревало, как новости прошлой недели, – они испытывали нужду в какой-то несомненной ценности, освященной, непреходящей.

И вожделенный образ неувядаемой славы воплотился в этой женщине. Некогда поэты умирали в молодости прославленными – и были мужчинами. Поэт являлся трагическим символом величия и рока. Но с тех пор все изменилось. Женщина стала символом гениальности, а мужчина сошел со сцены.

31. МРАЧНАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ

Куда уходили дни и месяцы, Джордж не представлял, но времена года шли своим predetermined чередом, он работал, любил, ходил по неистовым ночным улицам, и книга его уже приближалась к завершению.

Между тем его отношения с миссис Джек мало-помалу обрели иной тон и оттенок. Золото и пение все еще сохранялись в их любви, однако все чаще и чаще стали появляться пятна серой тени, а подчас в ярости и безрассудстве его беспокойной, измученной души появлялись кроваво-красные прожилки и крапинки. Время, таинственное время текло и производило неуловимые перемены в жизни обоих.

Любовный успех Джорджа утратил новизну, стал привычным. И теперь Джордж все сильнее стал ощущать, что запутался в паутине, сплетенной ими обоими. Он по-прежнему любил Эстер и знал, что никого больше так любить не будет; но чем больше любил ее, тем сильнее ощущал, что она становится единственной громадной необходимостью в его жизни, что сам попался в собственный капкан. Когда его охватывали эти чувства, Джордж видел в Эстер своего злого гения и набрасывался на нее с бранью, хоть и сознавал при этом, что любит ее, хотя сгорал от нарастающих стыда и досады.

Кроме того, хоть он требовал от нее верности и часто доводил себя до полубезумия беспочвенными страхами и смутными подозрениями, что она вероломна и развратна, однако свои вождения не обуздывал. Он определенно не любил никакой другой женщины, всю любовь, на какую был способен, отдавал ей, и только ей, но все же бывал неверен.

Но Эстер не изменилась. Оставалась все той же. Вина лежала на нем, на все усиливающимся сознании, что одной любви, во всяком случае для него, недостаточно, что любовь, сделавшая его столь зависимым от женщины, вызывающая без нее ощущение собственной безнадежности, беспомощности, никчемности, является для такого человека, как он, темницей духа – и что его нуждающийся в свободе дух начинает биться о решетку.

И, однако же, их жизнь продолжалась. Временами Джордж любил эту женщину безраздельно, как в те несравненные первые месяцы, когда любовь была золотой и зеленой, еще не поблекшей, тогда Эстер приходила к нему, словно утро, радость, торжество и апрельский свет. С другой стороны, когда его охватывали мрачные мысли, она казалась ему коварной, сильной приманкой жизни, пресловутым соблазном величавых и порочных больших городов, хитро окрашенной в цвета невинности и утра, зловещей западней, которая ломает хребет юности, отравляет порчей сердца мужчин, отнимает у них все мечты и силы.

Иногда этот жуткий приступ безумия, позора и смерти внезапно охватывал его мозг даже во время любовных речей, и он свирепо выкрикивал суть своего отчаяния.

– Да ты спятил! – говорила Эстер. – Твой порочный разум совсем помутился!

Но волна смерти и ужаса исчезала так же стремительно, как появлялась, и Джордж, словно не слыша слов Эстер, говорил ей с нарастающей радостью и уверенностью о глубине и силе своей любви.

А кошка по-прежнему безжалостно кралась, подрагивая, по забору в заднем дворе. Копыта и колеса проносились мимо по улице. А высоко над легендарными стенами и башнями города нависало звучание времени, негромкое и нескончаемое.

32. ФИЛАНТРОПЫ

Мы дошли до той части повествования, когда нашей приятной привилегией становится оповестить читателя о событии, которого он, надо полагать, с нетерпением дожидается – то есть о вхождении нашего юного героя в литературную жизнь большого города, или, как предпочтут сказать те, кто бывал во Франции и знает французский язык, о его посвящении в тайны *La vie Litteraire*.

Правда, вхождение молодого человека – если можно так называть – было в высшей степени скромным и очень мало походило на вторжение. В сущности, если он вообще вошел туда, то, можно сказать, через черный ход, и – грубо говоря – лишь после того, как был спущен с лестницы, оторвал покрытый синяками зад от мостовой и поплелся прочь, навверняка бормоча, что Рим *еще* услышит о Цезаре!

Произошло это так:

Книга, над которой Джордж трудился больше трех лет, была дописана в начале благоденственного тысяча девятьсот двадцать восьмого года Господа нашего и Кальвина Кулиджа, и миссис Джек посоветовала ему не оставлять драгоценный камень столь чистой воды сверкать в неизвестности. Короче говоря, она сказала, что пришло время, когда «мы должны показать ее кому-нибудь».

Автор и сам постоянно держался этой точки зрения, однако теперь, когда работа была завершена, его охватило чувство полнейшей безнадежности, и все, на что он оказался способен – это тупо посмотреть на женщину и спросить:

– Показать? Кому?

– Ну как же, – раздраженно ответила Эстер, – кому-то, кто знает толк в таких вещах.

– В каких?

– В книгах, разумеется!

– А *кто* знает в них толк? – спросил он.

– Как это кто – критики, издатели – люди из этого мира!

– Ты знаешь кого-то из издателей? – спросил молодой человек, глядя на нее тупо и вместе с тем восторженно, словно спрашивал: «Ты знакома с кем-то из гиппогрифов?»

– Так – дай-ка сообразить! – задумчиво произнесла миссис Джек. – Да, знаю Джимми Белла – мы были очень близко знакомы.

– Он издатель? – спросил Джордж, все еще глядя на нее с восторженным изумлением.

– Да, конечно! – ответила Эстер. – Партнер в фирме «Черн и Белл» – ты должен был о них слышать!

Джордж слышал о них, о них слышали все; и все же он не верил в их существование. Собственно говоря, теперь, когда его книга была написана, он вообще не верил в существование издателей. Издатель являлся плодом романтического воображения, приятным вымыслом молодых людей, пишущих первую книгу, который поддерживал их в самые тяжелые минуты! Но верить всерьез теперь, в холодном свете действительности, когда взгляд его с ужасом останавливался на офомной стопе листов завершенной рукописи, что можно найти издателя, который опубликует *эту* гору писанины – нет, это было слишком! Было невысказано! Верить, что какой-то издатель существует и действует, находится где-то в пределах этого фомадно-го, рассеченного ущельями города, было все равно, что верить в духов и фей! Подобное существо и весь мир, в котором оно обитает, представляли собой миф, небылицу, легенду.

Если трудно было поверить в существование издателя *вообще*, то в существование фирмы

«Черн и Белл» тем более. Правда, Джордж слышал о них; в то время это было одно из самых знаменитых издательств, но все, что он слышал, было баснословным, очаровательным, однако невозможным, темой для забавных анекдотов за выпивкой, но в холодном, сером рассвете трезвости – немыслимым.

Прежде всего, из того, что Джордж слышал о фирме Черна и Белла, создавалось впечатление, что эти господа книги издают, но не читают. Так мистер Черн, легендарный мистер Хаймен Черн, крупный джентльмен с восточными чертами лица, родившийся Чернштейном, но изменивший фамилию, разумеется, для краткости, был примелькавшейся личностью на премьерах, вечеринках с коктейлями, в подпольных кабаках высшего класса и на прочих сборищах с едой и выпивкой, однако, насколько было известно всем, не прочел ни единой книги. Более того, он сам это признавал. Ему принадлежала знаменитая острота:

– Я не читаю книг, я их *издаю*!

Да, фирма Черна и Белла вела работу новым, нетрадиционным образом. Скучное дело книгопечатания приятно оживлялось частыми и долгими застольями с женщинами, вином и пением. Издательские решения этих господ иногда, возможно, бывали ошибочными, но стол был неизменно превосходным. В радующем глаз помещении фирмы книг почти не было, зато имелся большой бар с богатым выбором напитков. Совладельцы ее устраивали вечеринки, чаепития, обеды для своих авторов и приглашали туда многочисленную публику; возможно, на этих сборищах недоставало здравого смысла, однако веселью не бывало конца.

Словом, это издательство принадлежало к новой школе, которую можно назвать «Школой издания по интуиции». Мистер Черн откровенно похвалялся, что не прочел ни единой книги, а мистер Белл, весьма гордившийся своей эрудицией, нередко заявлял, что читать ему нет необходимости, потому что он уже «начитался». Что же до чтения собственных книг или авторских рукописей, об этом, разумеется, не могло быть и речи, это было до нелепого устарелым, смехотворным, губительным для книгоиздания, подобной нудной, приземленной процедуры можно было ожидать от тех издательств, которые господа Черн и Белл именовали «консервативными» – таких, как «Скрибнер», «Харпер» или «Макмиллан» – но только не господ Черна и Белла!

– Читать рукопись! – воскликнул однажды мистер Черн, когда его спросили об этом. – *Мне читать рукопись!* – воскликнул он, потыкав себя толстыми пальцами в грудь, и раздул ноздри с невероятным презрением. – *Не смешите* меня! – вскричал он отнюдь не веселым голосом. – На кой мне черт читать рукопись? Мне *не нужно* читать! Достаточно взять ее в руки и *пощупать!* Тут он пошевелил четыремя толстыми пальцами, словно что-то ощупывал. – Достаточно подержать ее в руках и *понюхать*, – тут он стал раздувать мясистые ноздри, словно принюхиваясь. – Если рукопись приятна на ощупь – *хорошо!* Я ее издаю! Если приятна на запах – *хорошо!* Издаю! Если неприятна на ощупь и пахнет *отвратительно*, – пухлое лицо мистера Черна брезгливо скривилось, он обрекающе указал вниз толстым большим пальцем и прорычал: – г-г-гаус^[17] ее! Это мерзость! Я ни за что ее не возьму!

К тому же, в этом издательстве существовал взгляд – его лучше назвать невысказанным, но пылким убеждением, – что в кабинетах фирмы деловые вопросы обсуждаться не должны. Пусть этим занимаются «консервативные издательства»! Пусть «консервативные» идут путями традиционной коммерции, которая притупила воображение и задержала свободное развитие книгоиздания. Пусть «консервативные» по-прежнему исходят из того, что издание книг является доходным делом, а не родом изящного искусства. К тому же, тонкую, ранимую душу художника нельзя терзать речами о договорах, гонорарах, сроках издания и тому подобном, словно он тупой обыватель на фондовой бирже! Пусть они – «консервативные» – ведут в зловещей таинственности своих кабинетов эту старую игру, исполненную уловок и коварства,

заговорщицких козней, тайных соглашений, скрытой дипломатии! Подобные методы лишь порождают подозрительность и грядущие недоразумения; они губительны – губительны! – неужели эти хитрые старики никогда не поумнеют? – и привели издательское дело в нынешнее плачевное состояние.

Господа Черн и Белл не признавали подобных методов. Они вдохнули в книгоиздание новую жизнь. По их выражению, они вошли в издательское дело «свежим ветерком» – и теперь бушевали в нем ураганом! Пусть у других будут деловые кабинеты с их скучной атмосферой; господа Черн и Белл, понимавшие тонкий склад души художника лучше, чем все их конкуренты, имели залы, гостиные, кушетки со множеством подушек. Атмосфера там была эстетическая, а не коммерческая.

Если уж надо обсудить с автором деловые вопросы – к прискорбию господ Черна и Белла, такая необходимость возникала, – то пусть разговоры ведутся без утайки и подозрительности, в свободной, откровенной, нравственно чистой манере, и пусть при этом присутствуют посторонние. В соответствии с этим принципом, все деловые переговоры фирмы велись в хорошо известном кабачке, расположенном по соседству в подвале особняка. Там почти в любой час дня и ночи можно было обнаружить сотрудника фирмы, обсуждающего планы, перспективы и достижения издательства с любым, кто хотел слушать. Одной из самых приятных черт в сотрудниках фирмы Черна и Белла была открытость. В фирме царил восхитительный дух товарищества. Рассыльный бывал осведомлен о делах фирмы лишь немногим хуже ее выдающихся глав, и каждое новое событие спустя четверть часа дружелюбно обсуждалось с официантами, барменами, завсегдатаями и всеми, находившимися в радиусе слышимости.

Все переговоры с авторами обставлялись как можно приятнее. Поскольку Черн и Белл знали природу души художника, как никто, относились с полным пониманием – нет! состраданием – к его обостренной чувствительности, то до седьмого тоста всякие вопросы о договорах, гонорарах, авансах даже не затрагивались. Если вопрос бывал простым – например, быстрое получение авторской подписи под договором, предусматривающим «обычные условия» наряду с правом издания восьми очередных его книг, – то, чтобы склонить обладателя чувствительной души прозреть, уступить и, побыстрее поставив подпись, покончить с неприятным делом, достаточно было всего-навсего семи-восьми крепких коктейлей и гипнотической убедительности голоса мистера Черна.

В более сложных случаях, когда обладатель чувствительной души бывал предрасположен к раздражительности и недружелюбию, то, чтобы убедить его, требовалась, разумеется, более длительная подготовка. Если возникал какой-нибудь спор – увы, мы должны признать, что эти злосчастные споры иногда происходят, – если у Обладателя возникала какая-то болезненная склонность к низкой подозрительности, благожелательное сострадание мистера Хаймена Черна становилось широким, как природа, глубоким, как Атлантический океан, нежным, как Божья милость.

– Мой дорогой мальчик, – можно было услышать от него после одиннадцатого тоста, звучащее так мягко, нежно, любезно, словно он обращался к ребенку, – мой дорогой мальчик, как думаешь, почему я занимаюсь книгоизданием? Ради денег?

– А разве, – мог произнести в ответ Обладатель вперемежку с икотой и отрыжкой, таращась на своего благодетеля с язвительным удивлением, – а разве – ик! – нет?

Тут мистер Хаймен Черн начинал смеяться, мягко, гортанно, понимающе – в смехе слышались в равной степени жалость и упрек. Потом, поводя толстым указательным пальцем из стороны в сторону перед своим мясистым носом, он говорил:

– Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!.. Мой дорогой мальчик, ты не понимаешь!.. Деньги! Дорогой

мальчик, я о них не думаю! Они для меня ничто! Если б я думал о деньгах, – восклицал он торжествующе, – на кой черт мне было б книгоиздание?.. Нет! Нет! Нет! Ты все не так понял! Мне нужны не деньги! Как и всем издателям! Иначе бы я не занимался этим делом. Дорогой мальчик... ты все понял не так. *Издатели* не гонятся за деньгами!.. Нет! Нет! Нет!.. Я думал, ты *знаешь* это!

– А, понятно! – мог тут со злобой произнести Обладатель. – Вы все – ик! – просто-напросто великодушные филантропы, так ведь? – ик! – Ваше здоровье!

Теперь тон мистера Черна становился очень серьезным и доверительным. Подавшись вперед и постукивая собеседника по колену толстым указательным пальцем, он говорил негромким, но очень впечатляющим шепотом:

– Вот именно!.. Ты понял совершенно правильно!.. Попал в самую точку!.. Мы филантропы!

– Ну еще бы! – это с явной ноткой циничного сарказма. – А как же тогда мой гонорар? Где все деньги, что вы нажили на моей последней книге?

– Гонорар? – произносил мистер Хаймен Черн таким рассеянным, задумчивым тоном, словно слышал это странное словечко в далеком детстве. – Гонорар?.. Ах, гонорар! – восклицал он внезапно, словно до него только что дошло значение этого слова. – Так ты ведешь речь о *гонораре*! Вот это тебя и беспокоит?

– Да, именно это! Ну так как же?

– Мой дорогой мальчик, – говорил тут мистер Черн соболезнующим тоном, – что же раньше не сказал мне этого? Почему не облегчил душу? Почему не пришел, *не поговорил* со мной? Я бы понял! Для того мы и находимся здесь – потому что *понимаем* такие дела! И когда что-нибудь подобное снова возникнет... начнет беспокоить... ради *Бога*, приходи ко мне, выговорись!.. *Не терзайся!*.. В том-то и беда с вами – вы все чересчур уж чувствительны!.. Конечно, иначе не были бы *писателями*] Только со мной, Джо, это ни к чему! Ко мне можно обращаться безо всякого страха... Ты знаешь это, правда ведь? Так что не будь таким чувствительным!

– *Чувствительным?* Ах, вы... *Чувствительным!*.. Что вы, черт возьми, имеете под этим в виду?

– Именно это, – отвечал мистер Черн. – Что тебе совершенно не о чем беспокоиться. Потому я и пригласил тебя – видел, что тебя это начинает мучить, – вот и пригласил выпить по стаканчику, сказать, что все в порядке!

– *Сказать* мне! Так что же в порядке? *Ничто* не в порядке! Совершенно!

– В порядке! Если нет, *приведу* в порядок!.. Послушай, Джо, – снова негромкое, спокойное увещание, подавляющий взгляд темных глаз мистера Черна, палец, впечатляюще постукивающий автора по колену. – Забудь об этом!.. Я вижу, тебя это мучает – но забудь! Жизнь слишком коротка! Мы хотим, чтобы у тебя было легко на душе... Вот я и пригласил тебя сообщить, что, насколько дело касается *нас*, все в порядке!.. Ты нам ничего не должен!

– Должен вам! Ах, вы, старая... надо же, *должен* вам! Что вы, черт возьми, имеете в виду?

– То, что сказал!.. Имею в виду, что теперь... сегодня!.. с этой минуты!.. мы начинаем все сначала!.. Что сделано, то сделано!.. С чем покончено, с тем покончено!.. Мы возлагаем надежды на твое будущее, хотим, чтобы тебя ничто не беспокоило, не мешало работать... Так что забудь!.. С прошлым покончено – *мы* так относимся к этому!

– Значит, вы так относитесь? Значит, с прошлым покончено? Ну уж нет, черт возьми! Я отношусь к этому не так!

– Знаю, – спокойно отвечал мистер Черн, – а все потому, что ты очень чувствителен! Ты считаешь, что чем-то обязан нам. Что у тебя есть перед нами какой-то долг. Но это просто

говорит твоя гордость!

– Долг! Гордость! Что...

– Послушай, Джо, – вновь начинал мистер Черн спокойным, серьезным голосом. – Я давно уже пытался тебе это сказать, но ты не хотел меня слушать! Я уже сказал, что занимаюсь книгоизданием не ради денег!.. Если бы гнался за деньгами, то не занимался бы им!.. А занимаюсь потому, – голос мистера Черна становился хриплым и обрывался, глаза начинали влажно блестеть, но он справлялся с собой и задушевым тоном завершал: – потому что *люблю* это дело... потому что завел друзей... может... ладно, Джо, я не хотел говорить этого... знаю, тебя это смутит... понимаю, как неприятно, когда кто-то говорит с тобой о твоей работе... но я должен это сказать!.. Знаю, что через сто лет обо мне никто не будет помнить, – говорил мистер Черн с печальным, но мужественным смирением, – знаю, что я всего-навсего один из *малых* мира сего... Никто обо мне помнить не будет... Но если кто-то через сто лет возьмет одну из твоих книг, увидит мою фамилию в названии издательства и скажет: «Не знаю, что это был за человек, но *он* открыл Джозефа Доукса, предоставил ему первую возможность опубликоваться,» – тогда я буду считать, что не зря прожил жизнь!.. Вот как много значит это для меня, мальчик. – Голос мистера Черна становился хриплым. – Вот почему я участвую в этой игре! Не ради денег!.. Нет! Нет! – Влажно блестя глазами, он страдальчески улыбался и потрясал перед носом толстым указательным пальцем. – Мной движет мысль, что, может, я принес какую-то пользу, живя на свете... смог быть полезным таким ребятам, как ты... немного помочь... открыть дорогу, чтобы ты мог реализовать свой талант. Поэтому ты не должен мне *ни гроша! Ни единого!* Долга передо мной у тебя нет *ни-ка-ко-го!*.. Для меня очень много значит твоя дружба, гордость сознанием, что я твой издатель!.. Так что забудь об этом! Ты мне ничего не должен!

– Ничего вам не должен! Ах... вы... – Голос поднимался до безумного вопля, Владелец выхватывал бумаги и злобно ударял ими о стол. – Взгляните на этот договор!

– Минутку! – Голос Черна звучал негромко, сдержанно, властно. – Я сказал то, что думал, и думал то, что сказал!.. Я сказал, что ты ничего мне не должен, и был искренен. Мы хотим, чтобы ты забыл о всех тех деньгах, которыми мы снабдили тебя на годы вперед...

– Обо всех деньгах!.. Уж не хотите ли сказать...

– Хочу сказать, что мы сделали вклад в твое писательское будущее. Что поступили так, поскольку поверили в тебя... и готовы списать этот долг, потому что по-прежнему верим в тебя и твою работу, не хотим видеть, как ты беспокоишься из-за долгов... И ты все еще недоволен? Все еще не убежден? Все еще беспокоишься из-за гонорара?.. Ладно же! – произносил мистер Черн с суровой решимостью. – Это все, что я хотел знать! Раз так – смотри!

С этими словами он брал оскорбительные гонорарные документы, разрывал их вдоль, затем поперек, складывал и старательно рвал на множество клочков. Потом, спокойно глядя на собеседника, говорил:

– Ну – удовлетворен? Теперь веришь, что ничего нам не должен? Убедился?

Чтобы не мучить читателя дальнейшими подробностями, надо признать, что даже среди авторов Черна и Белла находились такие обладатели чувствительных душ, которые не поддавались даже самым благожелательным убеждениям.

Подобные люди, увы, встречаются на каждом шагу, и хотя в это трудно поверить, известны даже филантропам, возглавляющим значительные благотворительные учреждения, именуемые издательствами. Может показаться невероятным, мои друзья, что такие змеи, недостойные имени человека, могут водиться в траве даже самых старых и достойных издательств, они вечно готовы сомневаться в благотворительности целей, преданности принципам, праведности благоговения перед чистой литературой, которые, как известно любому непредубежденному человеку, являются теми мотивами, какими руководствуется каждый издатель, достойный так

называться – готовы даже усомниться, что издатели занимаются своим делом из духа чистой филантропии, который мистер Черн описывал с таким чувством, заподозрить, что издатели наживаются за счет автора, заключая грабительские договоры и вставляя в них коварные пункты – словом, питать подозрение, недоверие, негодование к этим святым благодетелям *печати*, без чьей помощи писатель ничто. Никакой отзыв об этих негодях не будет чрезмерно суровым. Они подобны птице, которая гадит в своем гнезде, собаке, кусающей руку, которая ее кормит. Но они существуют – даже в издательствах со столь благородными и возвышенными идеалами, как замечательное издательство Черна и Белла.

Когда господа Черн и Белл обнаруживали у себя подобную змею, им оставалось только одно – они ее выбрасывали. Мягко, спокойно, огорченно; но навсегда. По их словам, этот человек «расходился с ними во взглядах». Поэтому они бывали вынуждены «отпустить его» «попытать удачи в другом издательстве», «добиваться успеха в другом месте» – но «отпускали».

Этот человек уходил и зачастую, должны мы сказать, с сожалением, уходил во гневе, браня злыми словами своих бывших филантропов-попечителей. Уходил, нередко сурово о них отзывался – увы! и писал им – как свидетельствуют нижеследующие прискорбные строки, написанные одним из этих рассерженных людей, приводятся они здесь единственно с целью показать, насколько черная неблагодарность больше змеиного укуса:

Писать поэмы – дураков удел,
Раз книги издавать берутся Черн и Белл;

Поэмы кровью сердца созданы,
А Черн и Белл – созданья Сатаны!

Как только вижу этих я двоих,
То радуюсь, что в мире мало их.

И если Черн предстанет предо мной,
Клянусь, хочу, чтоб это был другой!

А Белл придет, как я того хотел,
То думаю: уж лучше Черн, чем Белл!

33. ОЖИДАНИЕ СЛАВЫ

Приведенные выше сведения о знаменитой фирме Черна и Белла, были, разумеется, неизвестны Джорджу, хотя, вне всякого сомнения, до него доходили слухи о них. Но, пожалуй, в то время это неведение было счастливым, потому что обычные страдания ожидающего автора достаточно тяжелы, и если к мукам сомнения и ожидания добавить знание о нормах и требованиях Черна и Белла, его мучения в этот тяжелый период достигли бы высшей степени.

Прошло пять недель, прежде чем он получил от них известие, а тем временем...

Но как описать этот период взволнованного ожидания? Вообразите себе мать, родившую первенца, родовые муки уже позади, но она с мучительным беспокойством ждет заключения врача. Здоров ли ребенок, нормальный ли у него вес? Хорошо ли сложен? Нет ли каких-то уродств, пороков? Заячьей губы или трещины неба? Косоглазия или косолапия? Рахита? Нет ли перепонки, бородавки, сыпи, прыщей, родинки? Или ребенок явился в мир хорошо сложенным, здоровым, бодро бьющим ножками? Придет ли вскоре врач со словами: «Рад сообщить, что у вас родился крупный, здоровый сынишка!»?

Да, родовые муки позади, но муки томительного ожидания только начинаются. Автор подвергается пытке! Видит повсюду приметы и символы; становится до безумия суеверным: не встает по утрам с левой ноги из боязни, что это принесет ему несчастье; входит в одну дверь, а выходит в другую; меняет марку сигарет, потом возвращается к прежней; не может ничего решить – перейти улицу или нет, купить газету в этом киоске или в другом; пытается угадать количество шагов из конца в конец своей комнаты и укорачивает шаг, чтобы попасть в точку – словом, превращается в копилку магических чисел и обрядов, предзнаменований, примет, суеверных заклинаний, гипнотических внушений молитвенно обращенных к господам Черну и Беллу и собственной рукописи, судьба которой висит в настоящее время на волоске и может быть спасена – или загублена – любой мелочью! Автор надеется, молится, страдает, страшится и задерживает дыхание, считая шаги, чтобы если даже не *повлиять* на ход судьбы, то хотя бы не нарушить его.

Итак, молодой автор дожидается и проходит – нет! не через Ад; хуже – через чистилище. В Аду, по крайней мере, все определено и ясно: тебя вечно жжет огонь, холодит лед, бичуют черти, мучают голод, жажда, и неосуществимое желание. Но в чистилище ты оказываешься между небом и землей: у тебя нет никакой определенности, хотя бы адской! – тебя бросает из стороны в сторону по морю сомнений; ты не знаешь, где находишься; и где концы и начала чего бы то ни было!

Скоро весна. Наш автор поглядывает в окно и ждет, надеется получить какое-то предзнаменование до ее прихода. Уже скоро деревья зазеленеют бередящей душу листвой – о, Господь милостив! Черн и Белл тоже.

Наступает ночь с морозным, усеянным звездами февральским небом или с бушующим в темноте ветром только что наступившего марта – наш герой видит в небе ракеты новорожденной славы, сияющие созвездия первого торжества. Приходит утро, фантастические ночные видения исчезают – на смену им приходит серое уныние. И вот солнечный полдень, сапфировое небо, все на свете сверкает – может ли хоть на миг возникнуть сомнение в бессмертном «Да!» этой сияющей радости! А затем вдруг наплывает тень, и сияния как не бывало; улица темная, свет тусклый – и Черн с Беллом сказали свое последнее слово, несокрушимое Отчаяние покончило с Сомнением!

Но тень проплывает! Свет возвращается, и старый красный кирпич дома напротив снова блещет жизнью и мартом, вновь появляются сияние дня и сапфировые небеса. – Нет, нет! Они

не сказали последнего слова, их последнее слово не суровый Отказ, еще не известно, каким оно будет, – мистер Черн просто нахмурился в задумчивости; у мистера Белла на миг возникло сомнение – но теперь их головы вновь увлеченно склонились, они переворачивают захватанные листы громадной рукописи с лихорадочным интересом – читают с самозабвенным восторгом, – Черн хрипло дышит и говорит: «Господи, Джим! Какой замечательный писатель этот парень! Вот послушай-ка этот отрывок!» – А затем Белл внезапно разражается хохотом: «Господи Боже! Какой непристойный, сочный юмор! После Рабле ничего подобного не бывало!».

Черн, неторопливо, убежденно: Книга, которой дожидалась Америка!

Белл: Писатель, необходимый этой стране!

Черн: Мы должны издать эту книгу! Я ее издам, даже если набор придется делать собственноручно!

Белл: В этом я тебе помогу! Да, мы должны ее выпустить!

Черн, ликующе: И самое замечательное, что этот парень только начинает!

Белл, восторженно: Он даже толком не начал! Его хватит еще на сотню таких книг!

Черн: Сокровище!

Белл: Золотое дно!

Черн: Замечательный автор!

Белл: Лучшего в фирме не бывало!

Черн: Это все равно, что наткнуться на золотую жилу!

Белл: Что собирать деньги с тротуара!

Черн: Роса небесная!

Белл: Хлеб, отпущенный по водам!

Оба: Это манна!.. Божья милость!.. Грандиозно!

А тем временем свет то появляется, то исчезает, тень проносится, возвращается сапфировое небо, сияние – и все надежда, радость, ужас, сомнения и поражение, все беспросветное, тупое отчаяние – все слава и радость – о, расцвет жизни, весна души, безрассудная, глупая, грешная, гордая, наивная, могущественная, прекрасная и заблуждающаяся юность!

И покуда свет появляется и исчезает, покуда кошка, подрагивая, крадется по забору в заднем дворе, Джордж ежедневно слышит в полдень шаги Эстер по лестнице:

Эстер, ее румяное лицо сияет утром, она веселая и оживленная, как птичка: Какие новости? Есть новости, мальш?

Джордж, неприветливо, сердито, ворчливо, как медведь: Нет.

Она: Письма от них пока не было?

Он: Нет! Не было!

Она: Ну, его, разумеется, нельзя ждать так скоро. Дай им время.

Он, сплетя пальцы, подавшись вперед, глядя в пол: Я дал им время. И ответа не жду.

Она, раздраженно: Не болтай ерунды! Ты *знаешь*, что ответ будет!

Он: Ты несешь ерунду! Прекрасно *знаешь*, что я не получу от них ответа!

Она, чуть повысив голос в раздражении: Право, не понимаю, как человек с твоими способностями может сказать такую чушь!

Он: Потому что никаких способностей у меня нет, и я вынужден по восемь часов на день слушать *твою* чушь!

Она, громким, взволнованным, предостерегающим голосом: Опять начинаешь!

Он, злобно: Как бы я хотел, чтобы ты опять прекратила! Но знаю, что надежды на это нет!

Она, еще более громко и взволнованно, с легкой дрожью в голосе: О, значит, хочешь, чтобы я ушла? Хочешь от меня избавиться? Так?

Он, бормочет: Ладно! Ладно! *Ладно!* Ты не права! Я прав! *Твоя* взяла!

Она, дрожащим голосом, угрожающе: Смотри, если хочешь – уйду! Тут же! Уйти или нет?

Он, угрюмо бормочет, как и прежде: Ладно! Ладно! Ладно! Будь по-твоему!

Она, чуть взвизгивая в конце фраз: Ты этого добиваешься? Этого хочешь? Стремишься от меня избавиться? Хочешь, чтобы я ушла – а?

Он, бормочет с отворачиванием: О, Господи! – Встает и направляется к окну, бормоча: – *Делай, что хочешь, черт возьми, только оставь меня в покое.*

Опирается руками о подоконник и уныло глядит в задний двор, свет появляется, тускнеет, исчезает, появляется и исчезает, становится ярче, сияет и угасает.

Она, срывающимся голосом, близким к истерике: Ты этого хочешь, а? Этого добиваешься? Стремишься отделаться от меня? Хочешь сказать таким образом, что рвешь со мной? Хочешь, чтобы я оставила тебя – ушла и оставила – одного?

Он, повернувшись, с безумным криком, зажав истерзанные уши: Черт поberi – да!.. Уходи! Убирайся!.. *Делай, что хочешь! Оставь меня в покое, ради Бога!*

Она, пронзительным, надтреснутым голосом: Ухожу!.. Ухожу!.. Прощай!.. Ухожу!.. Больше не потревожу!.. Оставлю тебя в покое, раз так хочешь. – Ответа на эти слова не следует. Она расхаживает по комнате, разговаривая с Кем-то, словно Офелия, доверительным, трогательным, театральным тоном: Прощай!.. Все!.. Конец!.. Уже нехороша!.. Он порвал с нею!.. Устал от нее!.. Она любила его, приходила и стряпала ему... Сносила все оскорбления, потому что обожала его... Но теперь все кончено! Она ему надоела!.. Он получил от нее все, что хотел... попользовался ею... Теперь она ему не нужна!

Он, внезапно оборачиваясь, словно обезумевшее, загнанное животное, с горловым рыком: Попользовался *тобой!* Ах, ты... наглая девка... это я *тобой* пользовался! Ты мной пользовалась!

Она, совсем как Офелия, нежно-рассеянно, прерывисто, смиренно и прощающе, Кому-то во Вселенной: Ничего!.. Я понимаю!.. Он порвал с ней!.. Она была рабыней ему все эти годы... Не отходила от него, утешала его, верила в него... Думала, он ее любит, но теперь понимает, что ошиблась... Ладно! Ладно! Она уходит!.. Она ему больше не нужна, он ее прогоняет!.. Вышвыривает!.. Он получил от нее все, что хотел! Она отдавала ему любовь и преданность... Думала, он нуждается в этом, но ему это больше не нужно... Он использовал ее... Теперь все кончено...

Он, в бешенстве расхаживая по комнате, язвительно обращаясь к своему Доверенному Лицу где-то в Солнечной Системе: Использовал *ее!* Получил все, что *она* могла дать! Черт возьми, это просто восхитительно! Использовал *ее!* А теперь все кончено! и с насмешливой жеманностью: – Вот это мне нравится! Даже слов нет! Использовал *ее!* Последняя шлюха и то возмутилась бы!

– И внезапно опять с рыком грубо обращается к ней: – Да, черт возьми, я использовал *тебя* только тем, что отдавал тебе свою юность – свою жизнь – свою силу – свою веру – свою преданность – свою любовь; отдавал тебе всю пылкость, поэзию и гордость юности, ее невинность и чистоту – и зачем! Ради чего!.. Черт поberi мою невезучую, жалкую, злополучную жизнь – потому что я любил тебя – любил больше жизни!.. *Использовал ее!* Да, клянусь Богом, использовал тем, что любил – эту женщину, которой пора думать о безмятежной старости – как *стала бы* любая другая на ее месте! – которой надо бы в оставшиеся годы примириться с Господом! Да, использовал *ее* тем, что отдавал ей юношеские обожание и преданность, воспламенял ее таланты страстностью, поэзией, гением, вдохновением жизни молодого мужчины! Использовал *ее!* Да, черт меня поberi за то, что был и остаюсь помешанным, одурелым, одурманенным рогоносцем! Вот так я *тебя* использовал – и получил по заслугам!

Она, сдержанным, негромким голосом, с легким придыханием: Нет, нет!.. Неправда,

Джордж!.. Я любила тебя... Все кончено, я ухожу, раз, видимо, ты этого хочешь... но по крайней мере будь ко мне справедлив... Будь честен... Ты должен признать, что я любила тебя. – С очень сдержанным, благонравным, спокойным достоинством продолжает: – Я, разумеется, думала, что ты любишь меня тоже... Что отвечаешь любовью на любовь... но, – с легкой кривой улыбкой и все с тем же спокойным достоинством: – теперь вижу, что ошиблась... Но, по крайней мере, прогоняя меня, мог бы признать это по справедливости. – Затем, чуть поведя плечами и руками, чуть приблизившись к прежней манере спокойного разговора с Кем-То Наверху, однако с великолепной, подобающей леди благовоспитанностью: – Я любила тебя, это правда... И всегда буду любить!.. Конечно, у тебя сегодня одно, завтра другое, но... что ж, – опять легкая кривая улыбка, – я не такая... Любовь не может приходить и уходить, бывать горячей и холодной, открываться и закрываться, как водопроводный кран. – С ноткой гордости: – Мой народ отличается преданностью!.. У нас любовь не кончается! – Со злостью: – Мы не то, что прекрасные и благородные христиане... эти замечательные, восхитительные гои...- от волнения начинает шумно дышать. – Да, они замечательные, бесспорно, бесспорно! Я знаю! Я знаю! – И кивает с проницательным видом. – Знаю, какие вы... Ты мне все рассказал... о ваших распутных женщинах, о том, что спал с вашими проститутками, о беспорядочных связях с вашими потаскухами до встречи со мной... Я знаю! Я все об этом знаю! Ты рассказывал мне о своем отце, так ведь?.. О, каким он, видимо, был чудесным отцом!.. Бросил твою мать ради проститутки!

Он, негромко, сдавленно: Послушай, ты! Оставь моего отца в покое!.. Убирайся!

Она, по-прежнему негромко, но с нарастающим волнением: Ухожу!.. Ухожу сейчас же!.. Оставляю тебя в покое, раз ты так хочешь... Но перед уходом хочу кое-что сказать... когда-нибудь ты это вспомнишь! Поймешь, как обошелся со мной! Поймешь, что отверг самого лучшего друга в жизни... швырнул ту, что любила тебя, в канаву... сознательно оплевал и растоптал такую любовь, какой ни у кого никогда не было!

Он, зловеще, тяжело дыша: Уходишь или нет?

Она, голос у нее снова пронзительный, дрожащий: Ухожу! Ухожу! Но перед этим хочу тебе сказать: надеюсь, доживешь до того дня, когда осознаешь, как обошелся со мной. – Голос ее начинает дрожать от истерического плача: – Надеюсь, доживешь... и будешь страдать, как страдаю я!

Он, хрипло дыша, схватив ее за плечи, повернув и подталкивая к двери: Уходи! Убирайся отсюда, я сказал!

Она, голос ее срывается на крик, полуплач-полувопл: Джордж! Джордж!.. Нет, нет, ради Бога, не так!.. Не бери этого черного преступления на душу!.. Не прощайся таким образом!.. Чутьочку любви, чутьочку сострадания, чутьочку сочувствия, нежности, прошу тебя, ради Бога!.. Не порывай так. – Вопит: Нет! Нет! Ради Бога! – хватается за край распахнутой двери, виснет на ней, хрипло всхлипывая: – Нет, нет! Прошу тебя – не порывай так. – Он грубо срывает одну ее руку с двери, выталкивает хрипло плачущую в коридор, захлопывает дверь и приваливается к ней плечом, дыша, словно загнанное животное.

Через несколько секунд он поднимает голову, напряженно прислушивается. Из темного коридора ни звука. Вид у него обеспокоенный, пристыженный, он встряхивается, словно животное, выпячивает губу, берется за дверную ручку, готов открыть дверь, челюсти его сжимаются, он поворачивается, снова садится на кровать, угрюмо глядя в пол, еще более мрачный и подавленный, чем раньше.

И вновь свет появляется и исчезает, появляется и исчезает, тускнеет и снова становится ярким. Стоит тишина, с негромким тиканьем тянутся бесконечные минуты скучной тишины,

превращая в пепел скучное серое время – и вот наконец какой-то звук! Снаружи негромко скрипит половица, дверная ручка медленно поворачивается. Джордж быстро поднимает взгляд; потом опять свешивает голову, угрюмо смотрит в пол. Дверь открывается, в проеме стоит Эстер, покрасневшая, со сверкающими глазами, вся ее маленькая фигурка дышит непреклонностью, но вместе с тем и благовоспитанностью, она являет собой воплощение горделивой сдержанности, утонченного самообладания.

Эстер, очень спокойно: Извини, что беспокою тебя снова... Но я здесь кое-что оставила... несколько эскизов, рисовальные принадлежности... Раз я больше не вернусь сюда, то заберу их.

Джордж, уныло глядя в пол: негромко: Ладно! Ладно!

Она, подходя к чертежному столу, открывая ящик и доставая свои вещи: Поскольку, кажется, ты именно этого хочешь, не так ли?... Сказал, чтобы я ушла, не беспокоила тебя больше... Раз хочешь этого...

Он, устало, как и прежде: Ладно! Ладно! Твоя взяла!

Она, негромко, но с едким сарказмом: Потуги на остроумие, так?.. Молодой писатель, замечательно владеющий языком и блещущий острословием!

Он, вяло, угрюмо глядя в пол: Хорошо! Ты права! Твоя взяла, ладно!

Она, всплыв: О, ради всего святого! Да скажи что-нибудь другое! Не мямли «ладно, ладно», как идиот! – Потом резко, властно: – Смотри на меня, когда разговариваешь со мной! – Раздраженно: – Ради Бога, возьми себя в руки и постарайся быть взрослым! Не веди себя, как ребенок!

Он, как и прежде: Ладно! Ладно! Твоя взяла!

Она, медленно, с жалостью: Жалкий – слепой – дурачок! Подумать только, хватило ума напуститься на единственную, кто тебя любит... обожает... которая может так много дать тебе!.. И ты хотел выбросить это бесценное сокровище!.. Хотя я столько знаю, – ударяет себя в грудь – хотя я храню это Великое в себе – *здесь!здесь!*.. готова отдать его тебе... Великое Сокровище всего, что вижу, чувствую, знаю... попроси, и оно твое... целиком твое... только твое... величайшее сокровище, какое только может получить человек... вся красота и великолепие, способные питать твой гений... и все это выброшено, пущено на ветер... лишь оттого, что ты по дурости не хочешь взять этого... Лишь оттого, что ты по слепоте и невежеству не желаешь это видеть, использовать, взять то, что само идет в руки! О, какое дурное, бессмысленное, *греховное* упущение – хотя я хочу отдать все это тебе, вывернуть ради тебя душу наизнанку... предоставить тебе все громадное сокровище своего существа – а ты отвергаешь его, потому что совершенно *глуп – слеп - и невежествен!*

Он, вяло, с унылым вздохом: Хорошо! Хо-ро-шо! Твоя взяла! Ты права! Во всем.

Она, бросает на него пристальный, язвительный, вызывающий взгляд, потом говорит спокойно, без обиняков: Послушай! Ты не пьяный?.. Не пил?

Он, устало, угрюмо: Нет. Не пил. Ни капли. – Уныло: – В доме ничего нет.

Она, резко, пытливо: Ты уверен?

Он: Конечно, уверен.

Она: Ты ведешь себя так, словно выпил.

Он: Говорю же, не пил. – Угрюмо задумывается, потом вдруг ударяет себя кулаком по колену, с мрачной решимостью поднимает взгляд и кричит: – Но, клянусь Богом, выпью!.. И не каплю! – Потом неторопливо, с нарастающей твердостью: – Пойду и напьюсь, как весь британский флот! Ей-богу, напьюсь, даже если это будет моим последним поступком в жизни!

Она: Ты завтракал?

Он, угрюмо: Нет!

Она: Съел хоть что-нибудь за весь день?

Он: Нет.

Она: Тебе, разумеется, надо поесть. Глупо портить здоровье таким образом... Хотя ты и прогоняешь меня, я буду о тебе беспокоиться... Во всяком случае, я *следила*, чтобы ты ел вовремя – ты должен это признать!.. Кто теперь будет тебе стряпать?... Сам не будешь, я знаю. – Язвительно: – Может, кто-то из девок, которых приводишь... – Злобно: – *Черта* с два! – Негромко, саркастически: – *Представляю*, как они возьмется на кухне!

Он молчит.

Она, нерешительно: Хочешь, приготовлю небольшой ленч? – Торопливо: – Я не останусь, сразу же потом уйду... знаю, ты не хочешь больше меня здесь видеть... но если приготовлю поесть тебе перед уходом... по крайней мере, буду знать, что ты *сыт*... не стану потом об этом беспокоиться. – Затем с легкой ноткой сожаления:

– Жаль, конечно, что все эти хорошие продукты придется выбросить... тем более, что на свете голодает столько людей... Но, – легкое пожатие плечами, кривая улыбка, нотка обреченности в голосе, – раз ты к этому так относишься, ничего не поделаешь.

Он, поднимая взгляд после недолгого молчания: – О каких это хороших продуктах ты говоришь?

Она, с деланной беззаботностью: А, о тех, что купила в южной части Манхеттена... Думала, поедим вместе... Считала, что у нас так заведено... дожидалась этого... но раз ты хочешь, чтобы я ушла, – вздыхает, – что ж, так тому и быть! – Указывает подбородком на большую продуктовую сумку на столе. – Делай с ней, что хочешь – выброси в мусорный бак – отдай дворнику... Жаль, не сказал сразу, что намерен так поступить... Это избавило бы меня от хлопот.

Он, опять угрюмо помолчав, поднимает взгляд и с любопытством смотрит на сумку: Что в ней?

Она, беззаботно: О, ничего особенного! Ничего такого, что нужно долго стряпать!.. Может, ты забыл, но я сказала, что хочу приготовить очень простой ленч... Вот и заглянула по пути в ту славную мясную лавку на Шестой авеню – в которой все мясники знают нас, у них всегда такая прекрасная вырезка... и я спросила мясника, есть ли у него шикарный бифштекс из филейной части, и он показал мне прекрасный кусок толщиной в дюйм – я взяла его... И, – показывая легким, выразительным движением большого и указательного пальцев высшее совершенство, – молодого картофеля... который просто тает во рту... Ты очень любишь его в моем приготовлении... с маслом и молодой петрушкой... Потом увидела превосходный, свежий зеленый салат и купила пучок, еще несколько апельсинов и яблок, парочку груш и грейпфрут – ты ведь любишь фруктовый салат, который я готовлю, с *моим* соусом по-французски – не слишком сладким, не слишком кислым... Еще увидела чудесную, только что привезенную клубнику, подумала, что тебе захочется ее на десерт, поэтому взяла корзиночку и пинту сливок. – С легкой печальной улыбкой: – Что ж, очень жаль, что все это пропадет – но, видимо, ничего не поделаешь! Так уж обстоят дела, верно?.. Такова жизнь!

Он, после недолгого молчания, задумчиво почесывая щетину на лице: Много времени уйдет на жарку бифштекса?

Она: О, всего несколько минут... Картофель, разумеется, будет вариться чуть дольше... Но – что ж – после того, что случилось, ты все равно не станешь есть, так ведь? – Поворачивается, словно собираясь уйти, но медлит.

Он, поднимаясь и кладя ей ладонь на руку, задумчиво облизывая губы: А масла купить не забыла?

Она: Да, с маслом все в порядке – я вспомнила, что оно у нас закончилось, и купила два брикета.

Он, мечтательно поглаживая ее по руке: Ага!.. А как с маслом для салата?

Она, быстро: О, и тут все в порядке! Я вспомнила, что оливковое у нас пришло к концу, поэтому заглянула в тот славный итальянский магазинчик и взяла... Ах да, совсем забыла – и крохотную головку чеснока, если уметь его использовать – как я! – не чрезмерно, просто растереть по краю миски для едва уловимого аромата – опять выразительный жест большим и указательным пальцами – он, как ничто, придаст салату именно нужный привкус!.. Да, и вот что! Видел бы ты *фрукты*, которые я купила – ты в жизни не *пробовал* таких, какие сейчас продают – этот прекрасный зеленый салат – а яблоки!., а груши!., а овощи! – Восторженно шепчет она, – фасоль, горох, редиска!.. Восхитительные пучки моркови!.. До чего они *свежие*!.. Разве это не изысканная еда?.. А *молодая* спаржа!.. Представляю, как она лежит на блюде под масляным соусом, который я умею готовить... А цветная капуста!.. Ты в жизни такой не видел... Да – а лук!.. *Нежные* маленькие луковички... размером с крупный жемчуг! – Серьезным тоном: – Разве лук не замечателен?.. Разве не чудесно, что он так дешев, и его так много?.. Что только можно с ним *делать*!.. Использовать множеством способов... Луковички просто тают во рту, когда приготовлены, как нужно – как я умею!.. Будь лука мало, люди платили бы за него почти *любые* деньги!.. Замечательно, правда, что это такой распространенный овощ?

Он, задумчиво: Хм! Да. – Медленно, мечтательно облизывает губы.

Она, с подобающей ноткой сожаления: Конечно, то, что я собиралась сделать...- с легкой, печальной, чуть вопрошающей улыбкой: – Но теперь говорить об этом бессмысленно, так ведь?.. Раз ты прогоняешь меня.

Он, задумчиво, как и прежде: Хм! Так что ты собиралась сделать?

Она, печально: Хотела приехать в четверг вечером пораньше... конечно, если б ты был не против... если б ничем не был занят... часов в пять и приготовить тебе тушеного мяса – ты знаешь, каким оно у меня получается...

Он, задумчиво, рассеянно: Хм – да!.. Тушеного мяса, говоришь?

Она: Да, ты знаешь, как я его делаю – фунтов восемь шпигованной говядины – разумеется, самой лучшей... Сегодня утром я разговаривала об этом с мясником, он заверил меня, что даст *превосходный* кусок... конечно, это требует времени!.. Мясо тушить нужно самое меньшее три-четыре часа в моей большой чугунной кастрюле... Если после моего ухода тебе будет готовить какая-то девица, настаивай, чтобы она стряпала в чугунной посуде. О, в ней получается *гораздо* лучше! *Гораздо*. Это единственный способ тушить мясо, как следует, только мало кому из женщин это понятно – одной из тысячи... Потом, тушить нужно *медленно*, *очень* медленно, несколько часов – это *очень* тонкое дело – требуется постоянное внимание, – мало кто из нынешних женщин возьмет на себя этот труд... Но тушить надо *очень* медленно и тщательно, пока все овощи не пропитаются вкусом мяса, а мясо – куском всех овощей. – Продолжает очень серьезно, негромким голосом: – Это как шедевр – как пирушка у древних греков – все так старательно смешано, что в *каждом* есть *все*, и во *всем* *каждое*.

Он, мягко, негромко, словно в трансе: Овощи, говоришь?

Она: Да, конечно – те, о которых я говорила!.. Эти нежные, свежие, весенние овощи!

Он, рассеянно: Говоришь, все их смешать и положить в мясо?

Она, быстро: Да – и, разумеется, нужно масло – притом много! Готовить всегда нужно с маслом... Скажи это своим девицам... И чуточку красного перца – ничего не может быть лучше, если только знать, сколько – самую малость – мало кто знает нужную дозу... Потом соль и черный перец... Хотя что толку тебе это говорить – теперь это бессмысленно, разве не так? – поскольку мы больше не увидимся.

Он, в мечтательном, рассеянном раздумье: Да-а!.. Хм-м!.. С маслом, говоришь? – Обнимает

ее одной рукой за талию. – Чуточку красного перца?

Она, внезапно начав бурно протестовать, делая вид, будто хочет вырваться: Нет! Нет!.. Не начинай этого!.. Уже поздно!.. Ты сказал, чтобы я ушла, оставила тебя в покое!.. Ты меня прогнал!.. Нет!.. Нет!.. Не позволю!.. Все кончено! – Решительно трясет головой. – Слишком поздно!.. Все кончено!

Он, пытаясь отделаться смехом, весело, но с ноткой беспокойства: Да ну – ха-ха – подумаешь!.. Я просто шутил... Ты знала это!.. Решил слегка позабавиться! Это была просто шутка... Ты знаешь, что я это не всерьез!

Она, покрасневшись и тяжело дыша: Неправда!.. Ты все говорил всерьез! – Негодующе: – Тоже мне, шутник!.. Ты всегда употребляешь столь изысканные, прелестные слова, когда шутишь? С горечью, чуть не плача: – В адрес той, которая обожает тебя, пойдет ради тебя на что угодно! Бросить ее в канаву, обозвать девкой, хотя она готова отдать за тебя Жизнь! Тоже мне, шутник! Видимо, ты научился всем этим словам в баптистском колледже! – Тяжело дыша, вырываясь, отталкивает его. – Нет! Нет!.. Перестань!.. Нельзя сперва напускаться на меня, оскорблять грязными словами и... и тут же начинать это! Нет! Нет!

Он, медленно, с вожделием и торжеством, сжав ее руки и неторопливо раскачивая взад-вперед с нарастающим ликованием: Ах-ты-нежная-маленькая-гладкокожая-девка! Ах ты...

Она, тяжело дыша: О, какой деликатный!.. Такие прекрасные слова!.. Такие изящные выражения!

Он, ликующе: Ах – моя хрупкая милочка, моя дорогая! Ахх... Аххх... – Неуверенно озирается, подыскивая слова, тяжело дыша; внезапно прижимает ее к себе и вскрикивает с неистовой радостью: – Ах – маленький ты гладкокожий ангел – я поцелую тебя – вот что!.. Клянусь Богом! – С жаром целует ее. Потом снова дышит хрипло, неровно и, озираясь, подыскивает слова: – Я... я... я покрою поцелуями все твое веселое личико! – Целует, она жестаи выражает протест; он тяжело дышит еще несколько секунд, потом внезапно вскрикивает с яростной убежденностью, словно нашел решение мучившей его проблемы: – Я поцелую тебя десять тысяч раз, клянусь Богом! – Целует, она негромко выкрикивает протесты и слабо вырывается. – Мясо, значит? Тушеное? Ты – ты мое тушеное мясо!

Она, негромко вскрикивает: Нет! Нет... Не имеешь права!.. Слишком поздно!.. Но разве бывает слишком поздно для любви?

В конце концов Джордж подходит к открытому окну, облакачивается о подоконник, глядит наружу. А свет появляется, исчезает и появляется снова; все пение и сияние дня возвращаются.

Эстер, восторженно, негромко, словно в трансе: Существовала ли такая любовь, как наша?.. Существовало ли что-нибудь подобное на свете с начала времен?

Джордж, негромко, отвечая своим мыслям, продолжая глядеть в окно: Я верю – клянусь Богом – искренне верю...

Она, все так же восторженно, себе и Вселенной: Думаешь, существовала на свете пара, которую связывала бы такая любовь? Могли кто-то на свете, кто не знал...

Он, как прежде, упорно глядя в окно, с нарастающим ликованием: Я верю – да-да, искренне верю...

Она, своему небесному доверенному лицу: ...понять, что это такое – эта великая поэзия, эта вечная красота, которая сияет во мне, подобно звезде – истина – блаженство – эта огромная, великолепная – эта охватывающая душу – эта всепоглощающая...

Он, внезапно, с окрыленной, торжествующей убежденностью: Да! Клянусь Богом, я знаю, как они поступят! Знаю!- Поворачивается, ударяет кулаком в ладонь и выкрикивает: – Говорю тебе, я это знаю! Наверняка!

Она: ...эта могучая, нежная, яркая...

Он, с торжествующим воплем: Клянусь Богом, они возьмут мою книгу!

Она: ...эта прекрасная вечная...

Джордж, запрокинув голову, смеясь от неистовой радости и голода: Еда! Еда! Еда!

Эстер, с восторженной нежностью: Любовь! Любовь! Любовь!

А свет появляется и меркнет, тускнеет и исчезает, кошка, подрагивая, хищно крадется по забору в заднем дворе, свет вновь тускнеет, появляется опять, исчезает – и все навеки такое же, как было всегда.

34. СЛАВА МЕДЛИТ

Прошло пять недель – пять недель, сотканных из света и тени, пять недель окрыленной надежды и горькой, унылой безнадежности, пять недель радости и горя, мрака и сияния, слез, смеха, любви и – еды!

Самое большое, на что Джордж мог обоснованно рассчитывать – это что рукопись попала в руки умному человеку, и тот внимательно ее читает. Об испытаниях мистера Черна на запах и на ощупь он не знал. Знай Джордж о первом, то мог бы только надеяться, что запах всего написанного им покажется мясистым ноздрям мистера Черна здоровым и приятным. Что до второго – могла ли рукопись в полторы тысячи страниц, толщиной двадцать пять дюймов, не показаться издателю на ощупь ужасающей? Одного вида ее было достаточно, чтобы привести рецензента в дрожь, заставить редактора побледнеть, а типографа в ужасе отшатнуться.

Собственно говоря, этим предварительным испытаниям рукопись не подвергалась. Судьба ее решилась меньше чем через час после поступления в издательство господ Черна и Белла. Мистер Черн, выйдя из своего кабинета, вдруг остановился, хлопнул пухлой ладонью себя по лбу и, указав рассыльному на эту гору писанины у него на столе, вскричал:

– Господи, что это такое?

Услышав, что это рукопись, мистер Черн застонал. Оглядел ее со всех сторон изумленными, недоверчивыми глазами. Осторожно подошел к ней поближе, протянул руку, ткнул ее пальцем – она не шевельнулась. В конце концов положил на нее руку, придвинул к себе, приподнял, ощутил ее вес, застонал снова – и бросил на место!

– Нет! – выкрикнул он и сурово поглядел на рассыльного.

– Нет! – крикнул он снова, сделал два шага вперед, один назад и замер.

– Нет! – решительно крикнул он и быстро замахал пухлой рукой перед лицом, жест этот красноречиво говорил об отвращении к запаху и остервенелом отказе.

– Нет! Нет! Нет! – прокричал он. – Убери ее! Она смердит! Пфуй! – И зажав пальцами ноздри, быстро вышел.

Таким вот образом и было решено дело.

И теперь забытая, нечитанная рукопись пылилась на стопе старых гроссбухов, а господа Черн и Белл пили коктейли по соседству в баре Луи.

Джордж уже дошел до помешательства. Он перестал сознавать, спал он или нет, ходил или сидел, ел или голодал. Сутки за сутками проходили в кошмарном хаосе и кошмарных мучительных снах. Он постоянно жил в ожидании почты – прибытия единственного, рокового, пугающего, безумно желанного письма – которого он ежечасно ждал и которое все не приходило.

В конце пятой недели этих мучений, когда стало казаться, что плоть и кровь, мозг и дух больше не вынесут, когда Джордж решил, что перестал надеяться, однако не мог вынести полной утраты надежды, когда ничто, ни сон, ни еда, ни выпивка, ни книги, ни разговоры, ни работа в Школе, ни писание, ни любовь к Эстер не могли принести ни минуты покоя, ни мига забвения, он сел и написал письмо господам Черну и Беллу, в котором спрашивал, прочитана ли рукопись, и как они намерены с ней поступить.

Ответ пришел неожиданно быстро, через два дня. Джордж вскрыл конверт непослушными пальцами – и с застывшим лицом стал читать письмо. Не успев прочесть и десятка слов, он догадался об ответе, и лицо его побледнело. Написано в письме было вот что:

«Уважаемый сэр.

Мы прочли вашу рукопись и, к сожалению, не сможем ее опубликовать. Хотя в ней есть отдельные проблески таланта, нам кажется, что вся работа в целом не обладает достоинствами, которые оправдали бы публикацию, кроме того, объем ее столь велик, что даже если бы нашелся издатель, пожелавший опубликовать ваше произведение, оказалось бы невероятно трудно найти читателя, который пожелал бы его читать. Книга чересчур автобиографическая – хотя ни Черн, ни Белл не читали рукописи, хотя никто из них толком не знал, что значит «автобиографическая», или как одно художественное произведение может быть более или менее «автобиографическим», чем другое, они сочли возможным предположить с полной уверенностью, что эта рукопись является автобиографической, поскольку это первая книга молодого человека, а все первые книги всех молодых людей, вне всякого сомнения, «чересчур автобиографические». – Книга чересчур автобиографическая, а поскольку в прошлом году мы издали не менее полудюжины таких книг и на всех потерпели убытки, то не можем пойти на риск издать вашу книгу, тем более, написана она настолько неуклюже, дилетантски, подражательно, что это уничтожает последние надежды на ее успех. Видимо, роман – форма, чуждая тому таланту, которым вы обладаете – (к этому времени талант не казался его потрясенному обладателю хотя бы микроскопическим) – но если вы все же приметесь за очередную книгу – (при этой мысли Джордж конвульсивно вздрогнул от ужаса) – надеемся, что изобретете тему более объективного характера и таким образом избежите одной из худших ошибок, в которые впадают начинающие авторы. Если напишете когда-нибудь такую книгу, мы, разумеется, будем рады ее рассмотреть.

А пока что, к сожалению, не можем дать вам более ободряющего ответа

Искренне Ваш Джеймс Черни»

И что теперь? – слезы, брань, драки, скандалы, пьянство, проклятия, дикая ярость, безумное отчаяние? Нет, с этим было покончено; угрюмая апатия вола в стойле, бессмысленный взгляд курильщика опиума, застывшее лицо лунатика – невидящие глаза, неслышащие уши, неощущающая рука, мозг, дух, погруженные не в глубь слепого отчаяния, а в бездну черного, беспросветного забвения.

Джордж сидел на неприбранной кровати, расставив ноги, угрюмо, тупо приоткрыв рот, с этим листком бумаги – своим смертным приговором – в руках. А свет по-прежнему появлялся, исчезал, тускнел, кошка кралась, подрагивая, и в полдень вновь послышались легкие, быстрые шаги по лестнице. Дверь открылась. Джордж таращился, словно животное, оглушенное молотком мясника, и не ощущал ничего.

Эстер, выхватив письмо из его рук, жадно пробежав написанное глазами, негромко вскрикивает: «О!», потом спокойно: Когда оно пришло?

Джордж, глухо бормочет: Утром.

Она: Где рукопись?

Он: В чулане.

Эстер подходит к чулану, открывает дверцу. Рукопись валяется на полу, вниз лицом, пачкой расползшихся веером листов. Эстер бережно собирает ее, разглаживает смятые листы, закрывает папку и прижимает к груди. Потом кладет рукопись на стол.

Она: Так-то ты обращаешься со своей рукописью – своими потом и кровью? Неужели у тебя нет к ней уважения?

Он, глухо, тупо: Не хочу смотреть на нее! Брось обратно в чулан! И закрой дверцу!

Она, резко: О, ради всего святого! Соберись с духом и веди себя по-мужски! Неужто у тебя так мало веры и самоуважения, что ты ставишь на себе крест при первой же неудаче?

Он, глухо: Он утверждает, что я никуда не гожусь!

Она, раздраженно: Перестань нести чушь! Кто это утверждает?

Он: Черн.

Она, презрительно: Да наплевать, что он скажет! Что он в этом смыслит? Ты даже не знаешь, читал ли он твою рукопись!

Он: Утверждает, что читал, и что я никуда не похужу!

Она: Вздор! Мало ли что он утверждает! Глупо обращать на это внимание! – После небольшой паузы, резко: – Когда вернулась рукопись?

Он, тупо: Она не вернулась, я ходил сам.

Она: Куда ходил?

Он: Пошел и забрал ее.

Она: Видел кого-нибудь?

Он: Да.

Она: Кого? – Раздраженно щелкнув пальцами: – Не тарашься на меня, как идиот! Отвечай! Кого ты там видел?

Он: Черна.

Она: Белла не видел?

Он: Нет, видел Черна.

Она, раздраженно: Ну так говори, что он сказал!

Он: Не сказал ничего.

Она, нетерпеливо: Ерунда! Люди ведь не смотрят на тебя молча, когда ты приходишь к ним.

Он, угрюмо: Смотрят. Он смотрел!

Она, гневно: Тогда что он делал? Он должен был что-то делать.

Он: Да, делал. Выходил из кабинета.

Она: Был с ним кто-нибудь?

Он: Да.

Она, торжествуя: Тогда все понятно. Он был с кем-то. Был занят. – Потом гневно: – Какой же ты дурак!

Он: Знаю. Я никуда не похужу.

Она, раздраженно щелкнув пальцами: Ну, продолжай! Не молчи, как идиот! Ты должен был с кем-то разговаривать.

Он: Да, разговаривал.

Она: С кем?

Он: С евреем.

Она, взволнованным, предостерегающим тоном: Опять начинаешь?

Он: Ничего не начинаю. Ты спросила, я ответил.

Она: Ну, так что он? Ради всего святого, ты сведешь меня с ума, если будешь молчать!

Он: Посмотрел на меня и спросил: «Ну так в чем дело?».

Она, опять взволнованно, предостерегающе: Я предупредила тебя! Если хочешь начать снова, я ухожу.

Он: Я не начинаю. Ты спросила, я ответил.

Она, не совсем смягчась: Знаешь, будь поосторожнее! Это все, что я могу сказать! Хватит с меня оскорблений! – Раздраженно, отрывисто: – А потом что?

Он: Он спросил: «Ну так и в чем дело?» – и я ответил.

Она, раздраженно: Что ответил? Ты разговариваешь, как идиот!

Он: Сказал, что пришел за рукописью.

Она: Ну? А что дальше? Что он сказал после этого?

Он: Сказал: «А, вы тот самый парень! Надо же!».

Она: Ну, а потом? Что было дальше?

Он: Он взял рукопись и отдал ее мне.

Она: Ну? А потом что?

Он: Я сдул пыль с рукописи.

Она: Ну, продолжай! Говори! Дальше что?

Он: Я вышел.

Она: Куда?

Он: В дверь!

Она, удивленно: И все?

Он: И все.

Она: Больше ни с кем не разговаривал?

Он: Нет. Ни с кем.

Она: Какой же ты дурак! И так сломался из-за этой истории! Неужели у тебя нет больше самоуважения и гордости – нет веры в свое дело?

Он: Я никуда не гожусь. И хочу остаться в одиночестве. Уйди, пожалуйста. А перед уходом выброси рукопись – швырни куда угодно – в мусорную кучу – в туалет – в чулан – только, ради Бога, прочь с моих глаз. – Устало поднимается. – Ладно, я сам.

Она, схватив рукопись и прижав к груди: Нет!.. Эта рукопись *моя!*.. Кто был рядом с тобой все эти годы, стоял над тобой, заставляя писать, верил в тебя и был предан тебе?.. Если больше совершенно не веришь в свой труд и хочешь его выбросить, я не позволю!.. Спасу его!.. Рукопись моя, говорю тебе, моя! – Резко вскрикивает: – Джордж! Ты что делаешь?

Он, устало, как прежде, но упрямо: Послушай, отдай эту чертову рукопись – я суну ее туда, где никогда не увижу!

Она, тяжело дыша, прижимая рукопись к себе: Нет! Нет!.. Ты не должен!.. Джордж, говорю тебе...

Они вырывают рукопись друг у друга; папка разрывается у них в руках, одна часть остается у Джорджа, другая у Эстер. Он швыряет свою часть в стену, листы разлетаются повсюду. Открывает дверцу чулана, с бранью злобно пинает рукопись, пока не загоняет в темный чулан с глаз долой. Потом захлопывает дверцу, возвращается и угрюмо садится на кровать.

Эстер, тяжело дыша, свирепо глядя на Джорджа сквозь слезы, прижимая свою часть рукописи к груди, потрясенная: Ах... ты... злобный человек! О!.. Какой злобный поступок! Это все равно... все равно... что бить ногами своего ребенка!.. О!.. Как *гнусно!*- По щекам катятся слезы, она торопливо ходит по комнате, подбирая разлетевшиеся листы, бросается в чулан и выходит оттуда, прижимая к груди вторую часть рукописи – прижимает к себе всю перемешанную грудку бумаг и с плачем говорит: – Ты не имел права! Она *моя!*.. *Моя!*.. *Моя!*

Джордж, устало растянувшись на кровати, свесив с нее ноги, устало: Пожалуйста, уйди. Сделай мне небольшое одолжение, а? Будь добра, убирайся к черту. Я никуда не гожусь и не хочу тебя видеть.

Она, взволнованно, с нарастающей истерической ноткой: Ах, вот как? Вот чего ты хочешь? Значит, снова захотел избавиться от меня?

Он, как прежде: Пожалуйста, уйди.

Она: Значит, я во всем виновата!.. Кто-то написал тебе в письме, что ты никуда не годишься, и ты взваливаешь вину на меня!

Он, с полной апатией: Да. Ты права. Вся вина лежит на тебе.

Она, плачущим и негодующим тоном: Вся вина на мне, потому что кто-то назвал тебя никуда не годным? Так? Теперь ты обвиняешь меня в этом – а?

Он, с безмерно усталым спокойствием: Да, в этом. Ты права. Во всем виновата ты. Твоя вина, что я никуда не гожусь. Твоя вина, что я вынужден на тебя смотреть. Твоя вина, что я с тобой встретился. Твоя вина, что я жив, хотя мне следовало умереть. Твоя вина, что я счел себя писателем. Твоя вина, что я решил, будто на что-то способен!

Она, истерично: Ухожу! Ухожу!.. Вот ты, значит, как!.. Ты прогнал меня!.. Ты!

Он, повернувшись лицом к стене, с усталым спокойствием: Пожалуйста, убирайся к черту, а? Я никуда не гожусь и хотел бы умереть спокойно – с твоего позволения.

Она: Ах, гнусный... Ах, какой злобный ты человек. – Потом ожесточенно: – Прощай! Прощай!.. Больше ты меня не увидишь... На этом все!

Он, лежа лицом к стене, тупо: Прощай.

Эстер с горящими от гнева щеками, прижимая к груди рукопись, выбегает из комнаты. Дверь хлопает, слышны шаги по лестнице, потом хлопает наружная дверь, Джордж переворачивается на спину и, устало прислушиваясь, бормочет:

– Никуда я не гожусь. Так пишет Черн по-белому. Нет, так считает Белл, ему незачем меня чернить. – Устало вздыхает. – Да неважно, кто – я и сам знаю, что никуда не гожусь. Это просто подтверждение. Как теперь доживать век? Ждать, видимо, придется долго.

Время идет, день, ночь, утро – и вновь сияющий, солнечный полдень. Все, как было всегда. Джордж видит, чувствует, слышит, и ему на все наплевать – даже на легкие, быстрые шаги в полдень по лестнице.

Эстер открывает дверь, подходит и садится рядом с Джорджем на кровать. Негромко спрашивает:

– Ел что-нибудь с тех пор, как я была здесь?

Он: Не знаю.

Она: Так все время и лежал здесь?

Он: Не знаю.

Она: Пил?

Он: Не помню. Надеюсь. Да.

Она, берет его за волосы и спокойно, сильно теревит: Ах ты, дурачок! Иной раз так бы тебя и удавила! Иной раз я удивляюсь, почему так обожаю тебя... Как может такой великий человек быть таким дураком!

Он: Не знаю. Не спрашивай меня. Спроси Бога. Спроси Черна и Белла.

Она, спокойно: Знаешь, я просидела полночи, собирая твою рукопись...

Он: Правда? – Слегка сжимает ее руку.

Она: ...после твоих злобных попыток уничтожить ее. – Пауза, потом негромко: – Не стыдно тебе?

Снова пауза.

Он, с тенью улыбки: Ну... видишь ли, у меня есть еще две копии.

Она, после нескольких секунд ошеломленного молчания: Ах ты, негодяй! – Внезапно запрокидывает голову и громко заливается грудным женским смехом. – Господи, существовал ли на свете еще кто-то такой, как ты! Можно ли поверить, не зная тебя, что такой существует!.. В общем, я собрала рукопись и сегодня утром отвезла Симусу Мэлоуну. Знаешь, кто это?

Он: Да. Заезжий ирландец, пописывающий статейки для журналов, так ведь?

Она, выразительно: И весьма выдающийся человек! Чего только не знает! Он читал все! И, разумеется, знает всех в издательском мире... У него есть контакты повсюду. – Потом небрежно, однако с легкой значительностью добавляет: – Разумеется, он и его жена очень старые мои друзья – я знаю их много лет.

Он, вспомнив, что она, кажется, всех знает много лет, однако наконец заинтересованный: И

что он собирается делать с моей книгой?

Она: Прочешь. Сказал, что примется за чтение сразу же и сообщит мне свое мнение через несколько дней. – Потом серьезно, с глубокой убежденностью: – О, я знаю, что теперь все будет хорошо! Мэлоун знает *всех* – если кто и знает, что делать с книгой, так это он! И сразу же поймет, что делать с твоей рукописью, куда ее отправить! – Затем презрительно: – Джимми Черн! Что *он* смыслит – *этот* человек! Как может *такой* понять твой талант! Ты слишком велик для них – они *мелкие* люди! – С рас красневшимся, негодующим лицом презрительно бормочет: – Да это смехотворно! Он имел наглость отправить тебе такое письмо, хотя ничего в тебе не понял бы, даже прожив тысячу лет! – Негромким, спокойным голосом, в котором слышатся обожание и нежность, продолжает: – Ты мой Джордж, один из величайших людей на свете. – Потом с какой-то восторженной, задумчивой декламацией: – Джордж, великий Джордж!.. Великий Джордж, поэт!.. Великий Джордж, необыкновенный мечтатель! – Глаза ее вдруг наполняются слезами, она шепчет, целуя его руку: – Ты мой великий Джордж, знаешь ты это?.. Ты не похож ни на кого в мире!.. Ты величайший человек, какого я только знала... величайший поэт... величайший гений... – потом восхищенно, уже не обращаясь к нему: – ...и когда-нибудь об этом узнает весь мир!

Он, негромко: Ты серьезно?.. Действительно в это веришь?

Она, спокойно: Дорогой, я знаю.

Молчание.

Он: Будучи ребенком, я иногда вглядывался в себя и чувствовал, что во мне есть что-то необыкновенное. Смотрел и видел свой вздернутый нос, видел, как торчат уши, как смотрят глаза. Подолгу глядел в них и в конце концов чувствовал себя открытым настезь, мне казалось, что я разговариваю со своим открытым сердцем – с обнаженной душой. И я говорил глазам: «Думаю, что буду необыкновенным. Я здесь наедине с вами, сейчас три часа – я слышу бой деревянных часов на камине – я чувствую, что стану необыкновенным, достигну Совершенства. Думаю, во мне есть внутренний огонь. А как думаете вы?». И глаза, такие открытые, карие, честные и серьезные, отвечали: «Да, станешь!».- «Но ведь, – говорил я, – то же самое, наверное, чувствуют все ребята. Я смотрю на Огастеса Поттерхема, на Рэнди Шеппертона, на Небраску Крейна – все они высокого мнения о себе, знают, что незаурядны, убеждены в своих неповторимости, исключительности. Разве это и все, что я испытываю, глядя на себя? Я чувствую себя неким гением – иногда уверен в этом, – однако не могу удостовериться, что это так – не могу убедиться полностью, что я не такой, как остальные». И глаза, открытые, серьезные, отвечали: «Нет, ты не такой. Ты гений. Ты совершишь великие деяния и достигнешь Совершенства»... (пауза)... Что ж, это было давно, и теперь о Совершенстве не может быть и речи. Я знаю, что мне его никогда не достигнуть; знаю, что натворил уже дел, которые нельзя ни искупить, ни загладить; знаю, что меня есть в чем упрекнуть; знаю, что подмочил свою репутацию, запятнал свое доброе имя... Знаю, что мне уже не двадцать, что мой пыл поулегся; знаю, что мне почти тридцать, часто испытываю усталость... Однако внутренний огонь во мне не угас. Я все еще хочу совершить нечто великое. Хочу как-то обелить свою репутацию, постоянно стремлюсь к совершенству, хотя знаю, что не достигну его, стремлюсь стать сильнее, смелее, мудрее, лучше как художник и как человек... (снова пауза)... Ничто не бывает таким, как тебе представлялось; ничто не оборачивается так, как думалось... Я думал, что к тридцати годам прославлюсь на весь мир. Мне уже почти тридцать, а мир пока что и не слышал обо мне. Я мечтал о блистательных свершениях и чудесных странах, о прекрасных молодых женщинах, о прекрасной любви, постоянном и счастливом браке!.. Ни одна мечта не сбылась! Свершения не блистательные, хотя подчас неплохие. Ни одна из стран, какие я видел, не была чудесной – хотя в каждой есть что-нибудь чудесное. Ни одна из женщин, каких я знал, молодых или старых, не

была вполне прекрасной, любовь тоже... Все оказалось разительно другим... Сияющий город моей детской мечты – это муравейник из закопченного кирпича и камня. Ничто не сияет так, как мне представлялось – Совершенства нет. И вместо великолепной журнальной красавицы моих детских мечтаний я встретил – тебя.

Она, предостерегающе: Опять начинаешь?

Он: Нет. Мир лучше, чем я думал – несмотря на всю его грязь и мерзость – на все безобразие, серость, жестокость, ужас, зло, – гораздо лучше, прекраснее! А жизнь полнее, богаче, глубже – несмотря на ее мрачные, многолюдные трущобы, – чем пустые мечты школьника. А миссис Джек и другие женщины – в большинстве своем бедные, болтливые, безмозглые, полупомешанные шлюхи – лучше, впечатляюще, ярче журнальных красавиц... (пауза)... Бедная миссис Джек! Бедная миссис Джек с сединой в волосах и ее безупречной, респектабельной семьей – миссис Джек с ее слезами, всхлипами, протестами – миссис Джек, которая угрожает покончить с собой, а через минуту говорит о вечной любви – миссис Джек, которая, оставляя рыдания, всхлипы и стоны здесь, через двадцать минут приезжает домой с веселой улыбкой – миссис Джек, говорящая о Вечном и забывающая о Пяти Минутах Тому Назад – миссис Джек с ее невинным, веселым личиком и ничего не упускающим взглядом – миссис Джек, живущая в мире, населенном лесбиянками, педерастами, актерами, актрисами, в мире злословия, лжи, неверности, отвратительного, потаенного, торжествующе непристойного смеха, делая вид, будто ничего этого не замечает, находящая повсюду счастье, веселье, прелесть и свет – и миссис Джек с ее уловками, хитростями, тщеславием, эгоизмом – миссис Джек с ее умным женским мозгом, с детским лукавством – и миссис Джек с ее сердечностью, изысканностью, потрясающей красотой, любовью, преданностью, верностью, честностью, прекрасным, истинным талантом... Я не предвидел тебя, миссис Джек, – ничто в жизни не обернулось так, как я рассчитывал, – но если бы ты не существовала, тебя, как Бога, нужно было бы выдумать. Ты можешь быть права относительно меня или заблуждаться – тебе скажут, что ты заблуждаешься. Может быть, я гений и великий человек, как ты говоришь; может, я ничтожество и простофиля, заслуживающий жалости дурачок, возомнивший, будто обладает талантами, которых у него нет и в помине. Разумеется, детские мечты улетучились. Иногда мне кажется, что я никогда не свершу великих деяний, как собирался. И репутация подмочена, доброе имя запятнано, жизнь, исполненная прекрасных, блистательных деяний и безупречной чистоты, поругана. Я осквернил душу, обезобразил дух неискупимыми преступлениями против тебя. Я оскорблял тебя, миссис Джек, бывал к тебе жесток и недобр, платил за твою преданность бранью, прогонял тебя. Ничто не вышло так, как мне представлялось, но, миссис Джек, – со всеми твоими человеческими слабостями, заблуждениями, несовершенствами, национальной истерией, собственничеством – ты самый лучший и верный друг, какой у меня только был, единственная, кто был рядом со мной в беде и в радости, помогал мне, неизменно верил в меня. Ты не журнальная красавица, дорогая миссис Джек, ты самая лучшая, честная, благородная, замечательная и красивая женщина, какую я только видел, все остальные перед тобой ничто. И да поможет Бог моей несчастной, измученной душе со всеми тяготеющими над ней преступлениями, грехами, заблуждениями – ты та женщина, которую я люблю, и что бы ни случилось со мной, когда бы ни покинул тебя, как рано или поздно это случится, в глубине души я буду любить тебя вечно.

35. НАДЕЖДА НЕ УМИРАЕТ

Однажды утром несколько дней спустя Эстер позвонила Джорджу за два часа до обычного появления в полдень. По взволнованному тону было ясно, что новости у нее очень важные.

– Послушай, – воскликнула она без предисловий, – я только что разговаривала по телефону с Симусом Мэлоуном, он ужасно заинтересовался твоей книгой.

Это, как обнаружилось впоследствии, было весьма значительным преувеличением, но при данных гнетущих обстоятельствах почти любая соломинка, за которую можно было ухватиться, представлялась дубом.

– Да, – торопливо продолжала она взволнованным тоном, – Симус очень хочет увидиться с тобой и поговорить. У него есть несколько предложений. Одна его знакомая начинает работать литературным агентом, он думает, что есть смысл передать рукопись ей, может, она сумеет что-то сделать. Знакомства у нее есть повсюду – думаю, она может оказаться очень подходящей для такого дела. Ты не будешь возражать, если она посмотрит рукопись?

– Нет, конечно. Кое-что лучше, чем ничего. Если мы сможем найти кого-то, кто прочтет ее, это будет уже кое-что, правда?

– Да, я тоже так считаю. И не беспокойся больше, мой дорогой. Я уверена, из этого что-то выйдет. Симус Мэлоун очень старый мой друг – и очень культурный человек, – у него очень высокая репутация критика, – и если он говорит, что вещь стоящая, значит, так оно и есть... А Лулу Скадлер – та знакомая, с которой он говорил, – по его словам, очень энергичная! Если ты позволишь ей взять рукопись, она, видимо, покажет ее повсюду! Ты не думаешь, что есть смысл позволить ей – а?

– Думаю. Вреда от этого никакого не будет, а польза может быть!

– И я так считаю. По крайней мере, кажется, в настоящее время это наша лучшая ставка, и если она сделает попытку, вреда это принести не сможет. А я уверена, что рано или поздно должно что-то произойти. *Непрременно!* То, что ты сделал – слишком... слишком... прекрасно, чтобы оставлять это без внимания. Рано или поздно тебя должны признать! Вот увидишь! Я знаю, что говорю – я всегда это знала! – Затем с внезапной решительностью: – Ну так слушай! Я вот что сделала. В четверг я устраиваю небольшую вечеринку для нескольких знакомых – и Симус Мэлоун с женой будут там. Почему бы не приехать и тебе? Там будет очень простая, непринужденная обстановка – соберутся только члены семьи, несколько старых друзей, кое-кто из театра, Стив Хук с сестрой Мери и Мелоуны. Я устрою тебе возможность познакомиться с Симусом, поговорить с ним. Приедешь?

Джордж, разумеется, согласился.

В половине десятого вечера, когда Джордж приехал к миссис Джек, там было уже много гостей. Это стало ясно, когда он вошел в прихожую великолепной квартиры. Туда доносился волнующе неразборчивый гомон – прозрачная паутина звуков, приятно нестройный шум – смех, позвякивание льдинок в высоких бокалах, звучная глубина мужских голосов, серебристое благозвучие женских.

Миссис Джек встретила молодого человека там. Она была очень красива в одном из своих великолепных сари. Глаза ее искрились, на веселом лице играла улыбка, она, как обычно, вся лучилась радостью от присутствия друзей. Раздумываясь от счастья, от удовольствия, она нежно сжала руку Джорджа и повела его в большую гостиную.

Здесь Джордж увидел великолепную сцену. «Небольшая простенькая вечеринка» обернулась блестящим, роскошным приемом. Там было как минимум тридцать – сорок человек, большей частью одетых в вечерние костюмы и платья. Джорджу показалось, что он вошел в

один из рисунков Коваррубиаса, и все фигуры ожили, они больше походили на карикатуры, чем на подлинных людей. Там был большезубый ван Влек, он разговаривал в углу с каким-то негром; был Стивен Хук, он прислонился спиной к камину со скучающе-небрежным видом, служившим ширмой для его мучительной застенчивости; был Коттсуолд, критик, невысокий, хрупкий любитель вычурности, лощеный мастер ядовитых похвал; и еще много художественных, литературных, театральных знаменитостей.

Карикатуры очень походили на оригиналы, и поняв, что они должны смотреть, Джордж расправил плечи, вздохнул и пробормотал под нос:

– Вот тебе и на.

Стивен Хук разговаривал с кем-то возле камина, стоя боком к собеседнику, его белое, полное лицо с поразительно нежными чертами было чуть повернуто в сторону, на нем застыло обычное выражение усталой, скучающей отрешенности. Подняв взгляд при появлении Джорджа, он произнес: «Привет, как поживаете?» – быстро, с отчаянием протянул руку, потом отвернулся, оставив, как ни странно, впечатление сердечности и дружелюбия.

Повсюду в этой блестящей толпе Джордж видел других знакомых. Там была Мери Хук с огненно-рыжими волосами, более непринужденная, более дружелюбная, открытая и практичная, чем ее брат, однако производящая то же самое впечатление обаяния, душевной чистоты и скрытой сердечности. Там были миссис Джек и ее дочь Элма.

И повсюду стоял шум – причудливое, назойливое смешение трех дюжин голосов, звучавших разом, их рокочущее слияние, странное, как время. Однако громче, чем все эти голоса, сквозь них и над ними, звучал мгновенно отличающийся от всех остальных всепроникающий, всеподавляющий, всеубеждающий и всезаглушающий Голос.

Джорджу наверняка не доводилось слышать более необычного голоса. Прежде всего он отличался изумительной мягкостью и неопикуемой звучностью, в нем словно бы сливались отзвуки голосов всех живших на свете ирландцев. Однако этот восхитительно могучий, покельтски мягкий голос был исполнен адского огня. В каждом слове, произнесенном этим потрясающим голосом, ощущался надвигающийся, клокочущий поток злобы ко всему человечеству, словно бы выбивающийся из некоего бездонного колодца ярости внутри этого человека и грозящий ему мгновенным удушением.

Обладатель этого замечательного голоса был мистер Симус Мэлоун, а внешность мистера Мэлоуна была не менее замечательной, чем его голос. Это был человек пятидесяти с лишним лет, довольно хрупкого сложения, но казавшийся здоровяком благодаря изумительной бороде. Борода покрывала все его лицо; она была прямоугольной, не длинной, но пышной, какого-то иссиня-черного цвета. Пара светло-голубых глаз над бородой презрительно взирала на мир; все это придавало мистеру Мэлоуну вид озлобленного Иисуса Христа.

Могучий голос мистера Мэлоуна, разумеется, пробивался через эту пышную черную бороду. Когда он говорил – а говорил он постоянно, – окружающие с неловкостью обнаруживали существование двух бледно-красных, толстых, похожих на резиновые, скрытых в черной растительности губ. Этим губам была присуща поразительная гибкость; когда мистер Мэлоун говорил, они изгибались, корчились, извивались в бороде, словно две змеи. Иногда они разделялись в подобии улыбки, иногда широко растягивались в конвульсивном рычании. Но находились в движении постоянно; сквозь них извергался поток ядовитых речей.

Мистер Мэлоун сидел в углу дивана и, как многие гости, держал в руке бокал с коктейлем. Его окружало несколько жадно слушающих людей. Среди них бросались в глаза молодой человек с красивой супругой, оба они – с приоткрытыми ртами, с глазами, сверкающими гипнотической зачарованностью – подались вперед и, затаив дыхание, внимали страстно извергавшемуся потоку эрудиции мистера Мэлоуна.

– Очевидно, – говорил мистер Мэлоун, – очевидно! – О, как передать эту звучность, мягкость, это убийственное презрение, изложенное в единое слово! – Очевидно, этот человек ничего не читал! Видимо, все, что он прочел, это две книжки, с которыми знаком каждый школьник – а именно, «Pons Asinorum» Якопуса Роби-сониуса, которую Паркези напечатал в Болонье весной тысяча четыреста девяносто седьмого года, и «Pontifex Maximus» Аросиуса Глутциуса, напечатанной на другой год в Пизе! Помимо этого, – прорычал мистер Мэлоун, – он ничего не знает! Ничего не читал! Разумеется, – тут его резиновые губы устроили в зарослях бороды змеиную пляску, – разумеется, в так называемой цивилизации, где уровень культурной и научной осведомленности определяется писаниями мистера Артура Брисбейна и шедеврами в журнале «Сатердей Ивнинг пост», претензии подобного человека, несомненно, сойдут за энциклопедическое всезнание!.. Но он *ничего* не знает! – процедил мистер Мэлоун и раздраженно вскинул руки, словно подводя черту под этим приговором. – Он ничего не читал! Господи, чего *можно* ждать от такого человека?

И тяжело дыша, изнемогший от напряжения, отбил одной ногой чечетку. Торопливо отхлебнул из бокала, поставил его и, все еще лоя ртом воздух, но уже чуть поспокойнее выпалил:

– Сенсация, которую он произвел, – нелепость! Этот человек невежда – глупец – он ничего не знает!

Во время заключительной части этой тирады миссис Джек с Джорджем подошли к метру и ждали в почтительном молчании, чтобы он договорил. Когда он несколько успокоился и перестал стучать ногой о пол, миссис Джек наклонилась к нему и негромко произнесла:

– Симус.

– А? Что? В чем дело? – встревоженно заговорил он, подняв взгляд и тяжело дыша. – О, привет, Эстер! Это ты!

– Да. Хочу представить тебе молодого человека, о котором говорила с тобой – мистера Уэббера, чью рукопись ты читал.

– О... э... как поживаете? – произнес мистер Мэлоун.

Протянул влажную руку, его бледно-красные губы искривились в страдальческой попытке дружелюбно улыбнуться. И в этом подобии улыбки было нечто заслуживающее сострадания, нечто говорящее о подлинной сердечности, подлинном влечении к дружбе под мучительно запутанным узлом его жизни, нечто поистине обаятельное, проглянувшее на миг сквозь его неукротимую ирландскую запальчивость. Проглянуло то, что крылось под не дающими покоя ненавистью, завистью, жалостью к себе, ощущением, что жизнь его предала, хоть она его и не предавала, что его талантам не воздано должное, хотя воздано им было больше должного, что подлые шарлатаны, дураки, невежды, болваны, тупицы, фигляры всех мастей провозглашены гениями, пресыщены аплодисментами, купаются в успехе, осыпаны сверх меры медоточивой лестью, заискивающим обожанием, отвратительным низкопоклонством безмозглой толпы, хотя все доставалось бы *ему! Ему! Ему!* – никому кроме *него*, черт возьми! – существуй хоть капля истины, чести, порядочности, ума и справедливости в этом мерзком, проклятом, идиотском, предательском мире!

Однако, когда он с кратким, мучительным усилием обратился к Джорджу: «О, да! Как поживаете?.. Я читал вашу рукопись» -- его душа не вынесла этого признания, и в звучном голосе вновь зазвучали презрительные нотки.

– Разумеется, говоря по правде, я ее не читал, – громко говорил мистер Мэлоун, раздраженно постукивая по краю дивана. – *Никто*, обладающий хотя бы крупницей разума, *не попытается* читать рукопись, но я заглянул в нее! И... и прочел несколько страниц. – Это признание явно стоило ему огромных усилий, но он все-таки превозмог себя. – Я... я нашел в

ней несколько мест, которые... показались *неплохими!* То есть, неплохими, – тут уже он снова зарычал, – по сравнению с той обычной тошнотворной бессмыслицей, которую *издают*, и которая в этой вашей Прекрасной и Просвещенной Стране сходит за Художественную Литературу! – На сей раз его бледно-красные губы в густой бороде скривились и растянулись чуть ли не до мочки правого уха. – Неплохо, – воскликнул он сдавленным голосом, – по сравнению с провинциальной болтовней мистера Синклера Льюиса! Неплохо по сравнению с невразумительными нюансами этого невротика из штата Миссури, мистера Т.С.Элиота, который годами морочил голову простодушному миру такой заумью, как «Бесплодная земля» и «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока», создавал себе у эстетов городка Каламазу репутацию человека огромной эрудиции сочинением стихов на «кухонной» латыни и ронделей на ломаном французском, под которыми постыдилась бы подписаться любая ученица монастырской школы, а теперь, друзья мои, превратился в пророка, проповедника и политического революционера, потрясает все имеющее право голоса население великой агностической республики, известной как Британские острова, сообщением, что он -подумать только! – мистер Элиот из штата Миссури, стал *роялистом!* *Роялистом*, представьте себе, – процедил мистер Мэлоун, – и англокатоликом!.. Да ведь эти сообщения должны посеять ужас в сердце каждого английского лейбориста! Основы британского атеизма в опасности!.. Если великий мистер Элиот продолжает оскорблять подобным образом политические и религиозные взгляды каждого истинного англичанина, Бог весть, чего нам ждать дальше, но мы должны быть готовы ко всему!.. Я нисколько не удивлюсь известию, что он втерся в доверие к парламентскому правительству и требует немедленного ввода в Лондон полицейских отрядов, дабы положить конец беззакониям, мятежам, революционному насилию, свирепствующему на улицах!

– Нет, – заговорил снова мистер Мэлоун, переведя дыхание. – Книги этого молодого человека я почти не читал – где-то несколько слов, где-то отрывок. Однако по сравнению с напыщенной болтовней мистера Элиота, парфюмерным вздором мистера Торнтон Уайлдера, он откашлялся и стал покачиваться взад-вперед с гневным блеском в глазах, – с тяжеловесным тупоумием мистера Теодора Драйзера, – с сентиментальной чушью всевозможных рифмоплетов, этих Миллеев, Робинсонов, Уайли, Линдсеев и прочих, – с нелепыми, бессвязными глупостями Шервудов Андерсонов, Карлов Сэндбергов, Эдгар Ли Мастерсов, школы «Я дурак» Ринга Ларднера-Эрнеста Хемингуэя, – со всевозможными формами шаманства, которые поставляют всевозможные Фросты, О'Нилы, Джефферсы, Кейбеллы, Глазгоу, Питеркенсы и Кэзер, Бромфидцы и Фиццже-ральды – заодно с шарлатанами более мелкого пошиба, которые процветают во всех уголках этой Великой Страны, как нигде в мире, с Толстыми из Канзаса, Чеховыми из Теннесси, Достоевскими из Дакоты и Ибсенами из Айдахо, – процедил он, – по сравнению со всеми семьсот девяносто шестью разновидностями вздора, слащавости, болтовни, шаманства и надувательства, которые подсовывают жаждущим гражданам этой Великой Республики ведущие поставщики художественной сивухи, то, что написал этот молодой человек – неплохо.

Снова начав покачиваться взад-вперед, он хрипло дышал и наконец с последним, отчаянным усилием выпалил:

– Это все *сивуха!*- прорычал он. – Все, что печатают, – сивуха!.. Если отыщете в произведении четыре несивушных слова, то, – он судорожно глотнул воздуха и опять вскинул руки,- печатайте его! *Печатайте!*

И разделавшись таким образом с большей частью современной американской литературы, если не к полному своему удовольствию, то по крайней мере, к полному изнеможению, мистер Мэлоун несколько минут покачивался взад-вперед, дыша открытым ртом и постукивая ногой о

пол.

После этой тирады наступила довольно неловкая пауза. Мало у кого хватило бы смелости возразить мистеру Симусу Мэлоуну. В его подходе к таким вопросам была сокрушительная категоричность, которая делала спор если не бесплодным, то, по крайней мере, почти бессмысленным. Он походил бы на уборку обломков нескольких дюжин Шалтай-Болтае в и обсуждение их ценности, если бы они не свалились во сне.

Однако после мучительного молчания, прежде всего с целью возобновить вежливый разговор, один из слушателей – молодой муж красавицы – спросил с подобающей ноткой почтительной робости:

– Что... что вы думаете о мистере Джойсе? – И в самом деле, среди этого всеобщего ниспровержения мистер Джойс казался одной из нескольких уцелевших фигур в современной литературе: – Вы... вы знаете его, не так ли?

Сразу же стало ясно, что вопрос неудачен. В глазах мистера Мэлоуна снова вспыхнули гневные огоньки, и он уже потирал ладонями костлявые коленные чашечки.

– Что, – заговорил мистер Мэлоун очень мягким, зловещим голосом, – *что* я думаю о мистере Джойсе?.. *И знаю ли я его? Знаю ли?..* Полагаю, сэр, – продолжал мистер Мэлоун очень медленно, – вас интересуют, знаю ли я мистера Джеймса Джойса, в прошлом жителя Дублина, а ныне, – его бледные губы искривились в многозначительной улыбке, – ныне, если не ошибаюсь, обитателя Левого берега Сены в Париже. Вы спрашиваете, знаю ли я его. Да, сэр, знаю. Я познакомился с мистером Джеймсом Джойсом очень давно – да, очень, очень давно. Имел честь – лучше назвать это Высокой Привилегией, – процедил он, – после того, как переехал в Дублин, наблюдать за взрослением юного мистера Джойса. И разумеется, друзья мои, это высокая привилегия для такого *незаметного* человека, как я, – тут он насмешливо указал подбородком на свою хрупкую грудь, – обладать возможностью заявлять о восхитительной дружбе с Великим Идолом Современной Литературы, святым пророком Интеллигенции, который в одной ошеломляющей книге исчерпал все, о чем стоит писать, – и изнурил *всех*, кто читал ее... *Знаю ли я мистера Джойса?* Полагаю, сэр, что могу скромно претендовать на эту высокую честь, – заметил мистер Мэлоун, чуть искривив губы. – Я знал этого джентльмена тридцать лет, если и *не совсем*, как брата, – насмешливо, – то, во всяком случае, *очень* близко!.. И вас интересуют, что я думаю о мистере *Джойсе*?.. Ну что ж, – звучно продолжал мистер Мэлоун задумчивым тоном, – дайте сообразить, *что* я думаю о нем?.. Мистер Джойс прежде всего мелкий ирландский буржуа, который провел много лет на европейском континенте в совершенно *бесплодных* попытках преодолеть фанатизм, предрассудки и ограниченность иезуитского воспитания в детстве. Мистер Джойс начал литературный путь как слабый поэт, – продолжал, покачиваясь взад-вперед, мистер Мэлоун, – затем стал очень слабым новеллистом, потом беспомощным драматургом, после этого никчемным приверженцем зауми в литературе, которая в настоящее время высоко ценится Избранными, – ухмыльнулся мистер Мэлоун, – и полагаю, в настоящее время стряпает какую-то жалкую бессмыслицу – словно возможности в этой сфере не исчерпаны его предыдущим опусом.

В наступившей паузе, пока мистер Мэлоун успокаивался, кто-то очень смелый пробормотал, что ему *казалось*, в «Улиссе» есть неплохие места.

Мистер Мэлоун замечательно воспринял это кроткое несогласие. Покачался взад-вперед, а потом, махнув тонкой белой рукой, с сочувственной уступкой заметил:

– Что ж, пожалуй, там есть какой-то незначительный талант – во всяком случае, мельчайшие крупинки таланта. Разумеется, строго говоря, этот человек – школьный учитель – этаким мелкий педант, которому следовало бы преподавать в шестом классе иезуитской семинарии... Но, – заметил мистер Мэлоун, снова махнув рукой, – у него *кое-что* есть, –

немного, но все-таки кое-что. Разумеется, – тут он снова принялся цедить слова, и в глазах его грозно засверкали гневные молнии, – разумеется, поразительно, какую репутацию при всем при том создал себе этот человек. В высшей степени поразительно, – воскликнул мистер Мэлоун, и губы его искривились в невеселой попытке рассмеяться. – В Дублине тогда было не меньше дюжины людей, которые могли бы сделать то, что пытался Джойс в «Улиссе» – и притом *гораздо* лучше! – процедил он. – Мог Гогерти, который в двадцать раз сильнее Джойса. Мог А.Э. Мог Эрнест Бойд. Мог Йитс. Могли даже... даже Мур или Стивене. – Он покачался взад-вперед и неожиданно прорычал: – Мог я!.. А почему не сделал? – яростно спросил он, так как этот вопрос явно был у всех на уме. – Да потому что мне просто было неинтересно! Для всех нас это особого значения не имело! Нас интересовало... другое... жизнь!.. Разумеется, – процедил он, – такова уж история всей современной литературы. Этим объясняется бессодержательность выходящих книг, глупость, серость. Все люди, которые действительно *могли* писать, не брались за перо. Почему? Потому что, – громко заявил мистер Мэлоун, – нас это не интересовало! Нас интересовало другое!

В ту минуту мистера Мэлоуна интересовал его бокал с коктейлем; он поглядел по сторонам, увидел его, взял и отпил глоток. Потом, улыбнувшись с усилием, обратился к молодому мужу красавицы:

– Но хватит об этом! Поговорим о чем-нибудь другом – более приятном! Вы, я слышал, вскоре едете за границу?

– Да, – поспешно ответил с едва заметным облегчением молодой человек. – Примерно на год.

– Нам ужасно хочется *поехать*, – заговорила молодая женщина. – Мы, разумеется, уже бывали в Европе, правда, всякий раз недолго. Вы жили там в течение долгого времени, и мы будем весьма благодарны за любой совет, какой услышим от вас.

– А куда вы едете? – спросил мистер Мэлоун. – Собираетесь... собираетесь покататься по Европе, – губы его презрительно искривились, но он сдержался, – или пожить в одном месте?

– В одном, – поспешил ответить молодой человек. – Для того и уезжаем. Решили познакомиться с европейской жизнью – так сказать, окунуться в нее. Собираемся обосноваться в Париже.

Наступила пауза; затем молодая женщина с легким беспокойством подалась к великому человеку и спросила:

– Мистер Мэлоун, вы одобряете это намерение?

Так вот, если бы мистер Мэлоун высказывал свое мнение пять минут или пять месяцев назад, то наверняка счел бы, что поехать в Париж и пожить там около года – хорошая мысль. Он говорил себе это не раз – в тех случаях, когда осуждал американский провинциализм, американское пуританство, американскую невежественность и американское незнание европейской жизни. Более того, часто задавался вопросом, *почему* американцы носятся по всему континенту, стремятся осмотреть всю Европу сразу вместо того, чтобы пожить годик в *Париже*, присмотреться к людям, изучить язык. И более того, если бы молодой человек с супругой объявили о намерении обосноваться на годик в *Лондоне*, реакцию мистера Мэлоуна было бы нетрудно предвидеть. Его бледные, резиновые губы презрительно искривились бы, и он с иронией поинтересовался:

– А почему в Лондоне? С какой стати, – тут бы он хрипло задыхался, – с какой стати терпеть унылый английский провинциализм, безотрадное однообразие английской кухни, ужасное английское тупоумие, когда всего в семи часах пути, по другую сторону Ла-Манша есть возможность *недорого* жить в самом прекрасном и цивилизованном городе мира, жить с уютом и роскошью в *Париже* за какую-то часть того, что стоила бы вам жизнь в Лондоне, притом

общаться с веселыми, умными, цивилизованными людьми, а не с провинциальными британскими Бэббитами?

В таком случае, почему же гневное презрение вскипело в душе мистера Мэлоуна, когда молодые люди выразили намерение сделать то, что он настоятельно посоветовал бы им сам?

Так вот, во-первых, они сообщали о своем решении ему – а мистер Мэлоун не мог вынести такой наглости. Во-вторых, он считал Париж собственным открытием, а туда стало ездить слишком много треклятых американцев. Разумеется, никто не должен был ездить туда без его ведома.

Поэтому, когда двое молодых людей *самостоятельно* решили поехать в Париж на год он счел их самодовольную наглость несносной. После того как молодой человек и его супруга высказались, несколько секунд царило молчание; в глазах мистера Мэлоуна начал полыхать гневный огонь, он покачался взад-вперед, потер колени, но пока что сумел сдержаться.

– Почему в *Париж*? – спросил он спокойно, но с ноткой едкого сарказма в мягком тембре голоса. – Почему в Париж? – повторил он.

– Но... неужели вы считаете, что туда не стоит ездить, мистер Мэлоун? – беспокойно спросила женщина. – Не знаю, – торопливо продолжала она, – но... но Париж представляется мне таким ярким, веселым – и увлекательным.

– Ярким?.. Веселым?.. Увлекательным? – неторопливо, веско, с видом глубокой задумчивости произнес мистер Мэлоун. – О, какая-то яркость, пожалуй, сохранилась, – допустил он такую возможность. – Разумеется, если туристы со Среднего Запада, алчные владельцы отелей и господин Томас Кук не окончательно уничтожили ее остатки... Полагаю, разумеется, – продолжал он, слегка цедя слова, – что вы целиком последуете примеру своих соотечественников – будете просиживать по двенадцать часов в день среди интеллектуалов в Le'Оте или на террасе Cafe de la Paix и вернетесь через год совершенно не повидав ни Парижа, ни Франции, ни *подлинной* жизни народа, однако же с полной уверенностью, что знаете *все!* – Он неистово засмеялся, потом сказал: – Право же, очень смешно, что все молодые американцы устремляются в Париж... Взять хотя бы вас – молодые люди, вероятно, *неглупые*, обладающие, по крайней мере, достаточными средствами, чтобы путешествовать – и куда же едете? – насмешливо спросил мистер Мэлоун. – В Париж! – он так прорычал это слово, словно от него дурно пахло. – *Па-ри-и-и-ж*, один из самых *унылых, скучных, дорогих, шумных и неуютных* городов в мире... населенный скупыми лавочниками, жуликоватыми таксистами и официантами, просто *ужасающим* французским средним классом и туристами.

На минуту воцарилось ошеломленное молчание; красивая молодая жена выглядела подавленной, сбитой с толку; потом молодой человек откашлялся и с легкой нервозностью спросил:

– А... а куда бы поехали вы, мистер Мэлоун? Можете вообразить... лучшее место, чем Париж?

– Лучшее, чем Париж? – переспросил мистер Мэлоун. – Дорогой мой друг, есть десятки более интересных мест! Поезжайте куда угодно, только не туда!

– Но куда же? – спросила молодая женщина. – Куда посоветовали бы вы, мистер Мэлоун?

– Ну... ну... ну в *Копенгаген!* – вдруг торжествующе произнес громким голосом мистер Мэлоун. – Непременно поезжайте в *Копенгаген!*.. Разумеется, – насмешливо произнес он, – весть о нем еще не достигла гринвич-виллиджской богемы на Левом Берегу, школьных учителей со Среднего Запада и прочих великих путешественников этого пошиба. Возможно, Они и не *слышали* об этом городе, поскольку он находится чуть в стороне от их наезженных маршрутов. Их, видимо, удивило бы известие, что Копенгаген *самый* веселый, *самый приятный*, *самый* цивилизованный город в Европе, населенный в высшей степени очаровательными, умными

людьми. Несомненно, это известие, – язвительно произнес он, – потрясет наших богемных друзей на Левом Берегу, чье представление о географии Европы не простирается дальше Эйфелевой башни. Но Копенгаген именно такое место. Поезжайте туда, обязательно! Па-ри-иж! – прорычал мистер Мэлоун. – Ни в коем случае! Копенгаген! Копенгаген! – выкрикнул он, вскинул руку в красноречивом жесте раздражения этим спектаклем человеческой глупости, постучал ногой по полу и стал с хрипом ловить ртом воздух.

Затем вдруг, увидев унылую фигуру, несколько ошеломленное лицо молодого мистера Уэббера, столь внезапно оказавшегося среди мнимых великих мира сего и нашедшего эту атмосферу очень странной, мистер Мэлоун, словно лицо молодого Уэббера мгновенно напомнило ему молодого Мэлоуна и всех Уэбберов, всех Мэлоунов, живших на свете, повернулся к нему и звучно, дружелюбно воскликнул:

– Но я думал, что читал совсем не... совсем не... – На миг его губы искривились в иссиня-черной бороде, а потом – о, мучительное переплетение национального и личного! – Он согнал с лица гримасу. Очень обаятельно улыбнулся молодому человеку и произнес:

– Ваша книга мне понравилась. Желаю удачи.

Таким вот человеком был Симус Мэлоун.

И таким вот образом наконец состоялось скромное вхождение Джорджа Уэббера в большую литературную жизнь. Оно, как мы уже сказали, очень мало походило на вторжение, однако, только он не мог этого знать, было знаменательным. Как гласит пословица: «Громадные дубы вырастают из маленьких желудей». Ну ладно, не будем больше испытывать нарастающее любопытство читателя. Дуб рос вот как.

Мистер Мэлоун отдал рукопись молодого человека Лулу Скаддер, та, в свою очередь, занялась с нею тем, чем занимаются литературные агенты, и в конце концов – да, в конце концов – из этого кое-что вышло. Но до этого предстояло пройти многим томительным месяцам, а тем временем Джордж – молодой, отчаявшийся, надеющийся, злополучный Джордж – погружался глубже, чем когда бы то ни было, в бездну неверия в себя и черного, беспросветного отчаяния.

Книга шестая. Горькая тайна любви

Та вечеринка произвела на Джорджа неожиданно угнетающее воздействие. Ушел он оттуда, еще сильнее мучаясь сознанием, что никуда не годится, и книга его никогда не будет издана.

Однако это было не все - далеко не все. Ибо Джордж сознавал, что Эстер каким-то непостижимым образом вплетена в паутину его горечи и отчаяния. В роскоши ее дома он общался с великими мира сего, чей редкостный, восхитительный удел был предметом его давних зависти и устремлений. И теперь увиденное наполняло его смятением, стискивало холодом сердце.

Джордж еще не успел толком разобраться, что именно так подействовало на него, однако точно, твердо, наверняка знал, что его заветная мечта разбита вдребезги. И такой влекущей была мечта, такое важное место занимала в его надеждах с самого детства, что теперь у него появилось чувство, будто он сам - все его движущие силы, работа, вся жизнь – сокрушен, разбит, сломан, уничтожен и навсегда погребен под обломками своей прекрасной мечты.

36. ВИДЕНИЕ СМЕРТИ В АПРЕЛЕ

Той весной – в зеленом очаровании того решающего, рокового, губительного апреля – Джорджем овладело состояние из многих компонентов: безумие стало терзать его тело, дух, разум всеми силами смерти, безысходности, ужаса. Джордж считал, что песенка его спета, и взирал на мир глазами не серой нежити, а человека, выброшенного из жизни, злобно вырванного из великолепной музыки дня, глядящего из смертной тени на все утраченное великолепие и упивающегося им с пылающим сердцем, с безгласным воплем, с чувством невыразимого горя, с мукой сожаления и утраты.

И в этом безумии, искажающем, извращающем истинное положение вещей, Джордж с приливом отчаяния и безутешной жалости к себе думал, что это крушение подстроила ему Эстер. Она виделась Джорджу в центре растленного, бесчестного мира, населенного богатыми, влиятельными, циничными людьми, представительными, надменными, могущественными крючконосными евреями, их нежнокожими женами, которые создали моду, поветрие на книги, спектакли, африканскую скульптуру, так называемыми корифеями в искусстве, художниками, писателями, поэтами, актерами, критиками, лукавыми и коварными в своей хитроумии, в ненависти и зависти друг к другу – и Джордж думал, что в ее мире, представляющем собой подобную картину, этим безжизненным, серым, отвратительным людям в их заговоре нежити доставляет радость только выхолащивание духа живого человека. Они использовали Эстер, чтобы заманить провинциала в западню. И ему казалось, что преуспели в этом. Что он в конце концов угодил в устроенную ими ловушку, что завело его туда собственное безрассудство, что крушение его окончательно и непоправимо, что он навсегда лишился своей силы, что для него нет надежды на оздоровление или спасение.

Ему было двадцать семь лет, и подобно человеку, который ждал слишком долго, покуда грянет надвигающаяся гроза, слишком тупо, самонадеянно, беззаботно глядел на подступающее наводнение, надвигающегося врага, или юному, неопытному боксеру, который ни разу не был бит, не испытал на себе сокрушительной, беспощадной мощи противника, не был ужален ядовитой змеей поражения, не был приучен к осмотрительности немислимо, невероятно сильным ударом и потому и мнит в своей надменности и гордости, будто он мера всех вещей и будет победителем в любом соперничестве, Джордж теперь думал, что был застигнут бедой расплюх и навсегда, безвозвратно низвергнут в бездну крушения, которой не предвидел.

И все-таки он считал, что никогда ни к одному человеку весна не приходила так прекрасно, так великолепно, как в тот год к нему. Сознание крушения, убежденность, что песенка его спета, жуткий страх, что вся мощь и музыка его жизни, подобно бегущим остаткам разгромленной армии превращены в разложившиеся клочья и никогда не вернуться к нему, никогда больше не будет хороших, прекрасных времен, таких ночей, как те, когда дух его бродил легко и весело, словно тигр, по полям сна, таких дней, как те, когда его энергия в трудах, в мечтах устремлялась к неизбежному, упорному завершению громадной, радостной работы – сознание утраты навеки всего этого отнюдь не вызывало у него ненависти к весне и жизни, которую он видел вокруг, наоборот, побуждало его любить весну сильно и страстно, как никогда.

В заднем дворе старого кирпичного дома, где он жил, в одном из маленьких, обнесенных забором нью-йоркских задних дворов, крохотной части напоминающего шахматную доску квартала, на старой, утомленной земле была полоса нежной травы и единственное дерево. В тот апрель Джордж изо дня в день наблюдал, как оно вновь покрывается прекрасной молодой листвой. А потом однажды взглянул в гущу свежей, великолепной зелени и увидел трепещущие

блики пронизывающего ее света, оттенки, которые темнели, перемещались, менялись с каждой малейшей переменной освещения, каждым легчайшим, неуловимым ветерком, это было до того жизненно, ярко, впечатляюще, что превратилось в некое волшебство, некую тайну, вызвав мучительные раздумья о времени и жизни человека на земле, и Джорджу вдруг показалось, что это дерево связано с его судьбой, что жизнь его неразрывна со всей, от рождения до смерти, недолговечностью весны.

Джордж чувствовал, что это необычное свойство, способность весны пробуждать сознание единства человека со всеми головоломными, мучительными загадками жизни, исходит из воздействия зелени на его память и ощущение времени. Первая зелень года, особенно в Нью-Йорке, обладала не только способностью сводить весь суетливый хаос и неразбериху города в единую замечательную, лирическую гармонию жизни, но еще и такой волшебной властью над его воспоминаниями, что шедшая вокруг жизнь становилась частью всех мгновений его жизни. Таким образом и прошлое становилось столь же реальным, как настоящее, он жил в событиях двадцатилетней давности с такой же напряженностью, с таким же сильным ощущением реальности, словно они только что произошли. Он чувствовал, что не существует *теперь*, более реального, чем *тогда*; фикция временной последовательности была уничтожена, и вся его жизнь стала неразрывной с нерушимым единством времени и судьбы.

Таким образом, разум его той весной находился под воздействием этой очаровательной зелени, и потому в жизнь его вошло яркое, отчетливое видение. Видение смерти и разложения, неизменно роившееся в его мозгу тысячью образов. Он видел мир в оттенках смерти не потому, что хотел уйти от действительности, а потому что хотел принять ее, не потому, что хотел бежать от жизни, найдя ее невыносимой, в какую-то приятную сказку собственного сочинения, а потому, что в течение многих лет жажда, которая пробуждала в нем стремление к знаниям, столь ненасытное, что ему хотелось сорвать последний покров с каждой вещи, обнажить ее сущность, все еще влекла его к бегству *в жизнь*. Но теперь ему казалось, что жизнь его обманула.

Не считая тех часов, когда с ним находилась Эстер и когда бывал на занятиях в Школе, Джордж проводил время либо в безумном, неистовом хождении по улицам с вечера до утра, либо дома в полном одиночестве, в раздумьях. Иногда он часами неподвижно сидел в кресле или лежал на кровати, заложив руки под голову, с виду погруженный в глубокую апатию, однако в действительности, хотя все мышцы были неподвижными, все его способности были вовлечены в небывало бурную деятельность. Картины прошлого и настоящего проносились в его мозгу потоком слепящего света.

Когда Джордж думал об Эстер, о ее мире и крушении, которое, как ему казалось, подстроила она, его внезапно отвлекала бессмертная птичья песня на дереве. Тогда он подсакивал с кровати, подходил к окну, и, когда смотрел в восхитительную гущу листвы, минуты прошлого оживали со всеми их трагическими воспоминаниями, столь же реальными, как комната, в которой он стоял.

Однажды Джордж вспомнил о том случае в детстве, когда видел, как человек, которого трясли, будто крысу, били по лицу, пятился, испуганно ежился перед своим противником, под взглядами бледных, широко раскрывших глаза жены и маленького сына, и понимал, что с этой минуты дух человека сломлен, жизнь разбита. Он помнил день, время, ужасное, чудовищное молчание соседей, которые все слышали и видели. И потом в течение многих месяцев тот человек проходил мимо обращенных к нему циничных, спокойно-презрительных лиц горожан, не поднимая головы, а когда заговаривал с кем-то, пытался улыбнуться, улыбка получалась отвратительной – какой-то жалкой гримасой, просительным, заискивающим растягиванием губ,

а не улыбкой. А его жена и сын ходили молча, в одиночестве, пряча глаза, испуганные, пришибленные, стыдящиеся.

И еще, когда ему было двенадцать лет, Джордж видел, как одного человека избил у всех на глазах любовник его жены. Тот человек был жалким, тщедушным, мужем крупной, чувственной женщины, любовник ее, сильный, красивый, жестокого вида мужчина, богатый и властный, каждый вечер приезжал за ней на машине после ужина. И муж, который в это время обычно поливал газон перед домом, не поднимал бледного лица от земли, ничего не говорил ни любовнику, ни жене, когда та проходила мимо по дорожке.

Однако как-то вечером, когда любовник приехал и стал вызывать женщину гудком, муж внезапно бросил шланг, пробежал по газону, спустился по бетонным ступеням к стоявшей машине и заговорил с приезжим громким, дрожащим, взволнованным голосом. Из машины тут же раздалось негромкое рычание, в котором звучали удивление и гнев, рослый мужчина распахнул дверцу с такой силой, что муж отлетел назад, потом схватил мужа, стал трясти, бить его, грязно и злобно обзывать, надменно демонстрируя свои отношения с его женой соседям и всем притихшим, глядевшим во все глаза жителям улицы.

Это было непередаваемое в своей унижительной постыдности зрелище, и самым постыдным был отвратительный страх мужа, который после первого бурного порыва смелости пищал от ужаса, словно крыса, молил, чтобы любовник жены выпустил его и больше не избивал. Наконец он в отчаянии вырвался и стал неуклюже карабкаться задом наперед по ступеням в отвратительном бегстве, протестуя и умоляюще вытянув тонкие руки, а здоровяк грузно преследовал его, обзывая и нанося неловкие удары, казавшиеся еще более постыдными из-за их неловкости, тяжелого дыхания бьющего и тупого, унижительного молчания зрителей.

Потом женщина быстро вышла к ним из дома, яростно обругала прикрывающегося мужа, заявила, что он осрамил ее и себя «дурацкой выходкой», и приказала ему, словно побитому ребенку, идти в дом. И тот человек пошел, извинился, скуля и ежась, а затем торопливо заковылял в спасительное убежище дома, голова его была опущена, слезы струились по красным щекам худощавого избитого лица. А женщина села в машину к своему ругающемуся и хвастливо грозящему любовнику, заговорила с ним негромким, серьезным, убеждающим голосом, и наконец он утих.

Машина поехала, свернула на углу возле основания холма, Джордж услышал внезапный взрыв веселого, чувственного смеха женщины. Потом наступила темнота, и сквозь далекие звуки и нависшую таинственность ночи, сквозь свет звезд, вспыхнувших в небе, и огней на верандах по всей улице, снова послышались голоса соседей, негромкие, язвительные и очень жадные, то и дело прерывающиеся взрывами грубого смеха. И он навсегда возненавидел ту ночь, ему казалось, что не существует темноты настолько глубокой, чтобы скрыть его стыд.

На ум Джорджу пришли и другие воспоминания, и в результате возникло кошмарное видение человеческой жестокости, низости, покорности и трусости, до того невыносимое, что он корчился на кровати. Конвульсивно рвал простыни, ругался, кривя рот, и в конце концов, когда черный ужас перед жестокостью и страхом человека начал извиваться в его мозгу, словно гнездо змей, принялся разбивать в кровь кулаки о стену.

Джордж видел это в детстве и поклялся, как и все остальные ребята, что скорее падет мертвым или избитым до полусмерти, чем допустит, чтобы такое случилось с ним. И укреплял сердце, стискивал зубы, готовясь к встрече с врагом, давал клятвы, что будет наготове, когда враг появится.

Но теперь, в начале того рокового апреля, Джорджу казалось, что враг появился, но не так, как он ожидал, не с той стороны, не в том свирепом обличье. Ему представлялось, что враг возник откуда ни возьмись, неузнанным, и нанес ему поражение, унижение, крушение более

ужасное и непоправимое, чем претерпели те двое.

И все же подобно человеку, побежденному врагами, лишенному органов мужественности, Джордж сохранял все свои неистовые желания, все возвышенные надежды на творческие свершения. Планы, замыслы десятка книг, сотни рассказов обуревали его мозг: форма и содержание книги целиком, с начала до конца, внезапно вспыхивали у него в голове, и он неистово, забыв обо всем, погружался в работу. Этот всплеск творчества мог продолжаться с неделю.

В такое время, в перерывах между неистовыми приступами писательства, он вновь гулял по улицам, испытывая нечто вроде возвращения радости, которую вызывала у него вся окружающая жизнь. И поскольку весь сумбур его мучительных, путанных мыслей об Эстер влиял, воздействовал на все, что он думал, чувствовал, говорил, Джордж с исступленной страстью смотрел на всех женщин.

Однажды он увидел крепкую, дюжую ирландку, привлекательную грубой, дикой красотой ее племени, когда та огибала неприглядный угол под ржавой, грохочущей надземкой. Едва она появилась из-за угла, на нее обрушился порыв ветра, завернул подол платья между ног, и на миг фигура ее отчеканилась во всей откровенности – широкий, мощный живот, большие груди и громадные, похожие на колонны бедра, движущиеся вперед с будоражащей чувственной энергией. И внезапно Джордж почувствовал в себе такую силу, что, казалось, мог бы выдергивать дома из земли, будто луковицы. Сияющий образ этой крепкой, дюжей красавицы навсегда запечатлелся в сознании Джорджа, придавая радостную яркость воспоминаниям о чудовищном грохоте на той неприглядной улице и толпам серолицых, кишевших вокруг нее людей.

Потом неподалеку от южной части Бродвея, на одной из узких, людных улочек со старыми, пожелтевшими, угрюмого вида домами, но и с волнующей, обыденной атмосферой жизни и торговли – с тюками, ящиками и мощными машинами, с запахами кофе, кожи, скипидара и веревок, с неторопливым цоканьем копыт тяжеловозов, грохотом колес по бульжнику, ругательствами, возгласами, распоряжениями кучеров, упаковщиков, грузчиков и хозяев – мимо Джорджа, когда он стоял возле кожгалантерейной лавки, прошла молодая женщина. Она была высокой, стройной и вместе с тем неимоверно соблазнительной, шла горделивой, чувственной походкой. Лицо ее было худощавым, изящным, глаза ясными, сияющими, однако в них таилась мечтательная нежность, морковного цвета волосы – пышными, шелковистыми, они выбивались из-под шляпки с каким-то колдовским очарованием. Прошла она мимо Джорджа неторопливо, покачивая бедрами, на губах ее появилась легкая улыбка, невинная и одновременно растленная, кроткая и вместе с тем исполненная сочувственной и соблазнительной нежности, и он провожал ее взглядом с чувством радости и вожделения, с ощущением невыразимой утраты и душевной боли.

Джордж понимал, что скрылась она навсегда, что больше ее не увидит, и вместе с тем был убежден, что отыщет ее, овладеет ею. Это походило на волшебство, и исходило оно не только от красивой женщины, но и от старой улочки с ее богатой, тусклой и восхитительной смесью прошлого, с крепкими, чистыми, волнующими запахами простых, натуральных материалов, особенно чистым, великолепным запахом кожи от галантерейной лавки – сложенных перед ней больших чемоданов, сумок, чехлов, который ударил ему в ноздри, когда женщина проходила мимо, – и все это вместе с нежным, странным, очаровательным апрельским светом обернулось радостной, чудесной сценой, которая, казалось ему, запомнится навсегда.

Джордж не забывал ту женщину, ту улицу, тот запах кожи. Эта память была частью его невыносимых страданий и радости всю ту весну. И непонятно отчего мысль о той женщине

неизменно связывалась у него с мыслью о судах, о запахе моря, скошенных надстройках, ходе, форштевне большого быстроходного лайнера, с будоражающим предчувствием путешествия.

Так бывало с Джорджем в те краткие промежутки времени, когда безо всякой видимой причины дух его воспарял снова, возносил своего обладателя на день-другой к жизни, любви, творчеству. А потом вдруг из самой глубины радости, из волшебного сияния, великолепия, ликующей музыки земли возвращался белый, слепой ужас его безумия, ошеломлял, уничтожал начисто все радостное в его душе.

Иногда эта волна смерти и ужаса появлялась от приводящих в бешенство полурасслышанного слова, громкого смеха на ночной улице, пронзительных выкриков и насмешек юных итальянских головорезов, проходивших в темноте под его окном; или насмешливого, бесцеремонного, любопытного взгляда из-за ресторанного столика, какого-нибудь нерасслышанного шепота. Иногда она появлялась из каких-то глубин безо всякой видимой или ощутимой причины. Появлялась, когда он сидел в кресле дома, когда глядел в потолок, лежа на кровати, появлялась из-за слова и стихотворении, из-за строчки в книге когда он просто глядел из окна на единственное зеленое дерево, но когда, по какой причине она бы ни появилась, результат неизменно бывал одним и тем же: работа, мощь, надежда, радость, все творческие силы моментально тонули в ее ошеломляющем накате. Джордж поднимался с этой волной в душе и раздражался бешеной бранью на весь мир, словно человек, обезумевший от физической боли, пожираемый со всеми потрохами раковой опухолью или сжимающий ладонями целый ужасающий ад больных зубов.

И всякий раз, когда его сводили с ума эти конвульсии ужаса и страдания, Джордж искал спасения в бутылке. Неразбавленный джин с бульканьем лился по его горлу, словно по ливневному спуску, отупляя клетки охваченного безумием мозга, смиряя бешеное волнение крови, сердца, дергающихся нервов временной иллюзии силы, осмотрительности, самообладания. Потом джин начинал гореть, кипеть в его крови, словно какое-то тягучее масло. Мозг горел неторопливо, буквально как угли в ржавой, почерневшей жаровне, Джордж сидел тупо, молча, в зловещих потемках медленно нарастающей убийственной ярости и в конце концов выходил на улицу найти врага, браниться, драться, искать смерти и ненависти в дешевых притонах среди крыс в человеческом облике, синевато-серой, блестящей ночной нежити.

И с вечера до утра, будто существо, обреченное жить в отвратительном кошмаре, видя в своем безумии всех и все на свете в постоянно меняющихся обликах, он вновь рыскал по громадной, непристойной авеню ночи, вечно освещенной ярким, мертвенным, подмигивающим светом. Ходил по клоаке, где обитала нежить, а тем временем улица, земля, люди, даже громадные уродливые здания кружились вокруг него во всеобщей безумной пляске, и все жестокие, синевато-серые лица созданий этого мира, казалось, злобно обращались к нему с чертами змей, лисиц, ястребов, крыс и обезьян – а он вечно искал живого человека.

И утро наступало вновь, но без сияния, без пения. Джордж оправлялся от безумия и снова смотрел разумным, спокойным взглядом, однако из безрадостных, бездонных глубин духа в сердце жизни, которую, как ему казалось, он утратил навсегда.

Когда Эстер приходила в полдень, Джорджу она иногда казалась роковой причиной его безумия, устранить которую невозможно, как причину расползающегося рака из крови. Иногда возвращалась зелень первого апреля их совместной жизни, и тогда Эстер сливалась с сердцем радости, со всем, что он любил в жизни, со всем сиянием и пением земли.

Однако вечером, после ее ухода, Джордж уже не помнил, как выглядела Эстер среди дня. Мрачный, роковой свет разлуки, необъятная бархатная ночь, чреватая множеством невообразимых предательств, падали на нее, и лицо, сиявшее в полдень светом преданности,

любви, здоровья, исчезало напрочь. Теперь оно виделось Джорджу застывшим в какой-то надменной властности, оно мерцало, словно невиданный, роскошный драгоценный камень; в лихорадочном воображении Джорджа оно тускло светилось всеми дремлющими, неутолимыми страстями Востока, говорило о безмерном, как океан, вожделении, о теле, которое доступно всем мужчинам и которое никому из них никогда не будет принадлежать безраздельно. В сознании Джорджа вспыхивала, вновь и вновь, извращенная картина. Он видел множество смуглых, щедро одаренных красотой евреек, лица их были ласковыми, глаза горящими, груди походили на дыни. Видел их в богатстве, властности, окруженными огромными, надменными башнями города, видел их прекрасные тела в роскошной одежде, сверкающей темными драгоценными камнями, когда они расхаживали по величественным пышным палатам ночи с нежной, исполненной невыносимой чувственности гибкостью. Они представляли собой живую дыбу, на которой были сломаны дрожащие спины всех их любовников-христиан, живой крест, на котором были распяты мужчины-христиане. И эти женщины были еще более погибшими, чем все мужчины, которых они утопили в океане своей страсти, их плоть была больше изглодана ею, чем плоть всех мужчин, ставших жертвами их похоти, обессиленных их неумным вожделением. А позади них, неизменно в великолепии ночи, находились смуглые лица представительных крючконосых евреев, исполненные надменности и презрения, мрачной гордости и неопишуемого упорства, стойкости, покорности, древней отвратительной иронии, следящих, как их дочери и жены отдаются любовникам-христианам.

Словом, едва Эстер покидала Джорджа, в него тут же вселялось безумие, он тут же осознал, что обезумел и ничего не может с этим поделать. Стоял у окна, глядя на дерево, и видел, как черная мерзость смерти и ненависти надвигается на него, словно волна. Она сперва заполняла своей отвратительной, ядовитой слизью глубокие извилины его мозга, а затем пронизывала своими черными языками вены и артерии его плоти. Она жгла, воспаляла его мозг темным, жарким огнем, отдающим кровью, убийством, но все остальное в теле холодила, замораживала и стискивала змеиными зубами. Иссушала сердце кольцом ядовитого льда, лишала пальцы чувствительности, плоть его увядала, становилась омертвелой, желтовато-бледной, щеки обретали зеленый оттенок, рот пересыхал, язык делался распухшим, на губах появлялась кислота и горечь, бедра и ягодицы становились слабыми, дряблыми, колени подгибались под тяжестью тела, ступни холодели, белели, живот сводило, подташнивало, а чресла, некогда трепетавшие музыкой жизни и радости, под ядовитым, яростным стискиванием становились бессильными, чахлыми, иссохшими.

И в этих приступах безумия Джордж считал, что нет ни спасения, ни защиты от лживости женщин, от их нежной жестокости, их растленной невинности. Неистовые ругательства, проклятия, мольбы любовника против беспощадной потребности женской природы. Все женские слезы, протесты, страстные признания ничего не меняют. Ничто не может смирить, обуздать ненасытные желания женщины, когда она оказывается перед ненавистным уделом старости и смерти. Любовник может кричать на стену, пытаться плевок обрушить мост, обвязать веревкой ураган или поставить посреди океана частокол с таким же успехом, как добиваться от женщины верности.

Разве не могут женщины лгать, лгать, лгать, и при этом думать, что говорят правду? Разве не могут колотить себя в грудь, рвать на голове волосы, бить обвиняющих любовников по лицу и вопить, что такой чистоты, верности, преданности, как у них, не бывало с начала времен? Могут! Разве не могут источать благородство всеми порами, всеми протестующими стопами и всхлипами, пока не повалятся на кровать мутноглазыми, заплаканными, краснолицыми, запыхавшимися, изможденными этим пылом своей чистой, невинной женской природы – и вместе с тем лгать, изменять в мгновение ока, свернув за угол, в любой из миллионов

потаенных, затерянных, неведомых комнат в непроглядных джунглях этого города, где твои соперники свернулись змеями, готовясь отравить верность, напустить порчу в сердце любви?

Мозг Джорджа пронзило отравленной стрелой постыдное воспоминание. Он неожиданно вспомнил гнусные, коварные слова, которые три года назад сказала ему одна знакомая Эстер из театрального мира, единственные откровенные слова обвинения, какие кто-либо говорил, осмеливался говорить ему о ней. И когда эти ненавистные слова всплыли в памяти, Джорджу вспомнились и время, место, улица, узкий, голый, серый тротуар, где они были сказаны.

Он шел с той девицей по улице, где она жила, часов в одиннадцать вечера. И когда она произнесла эти слова, они проходили под полосатым тентом над подъездом нового многоквартирного дома. И едва слова безжалостно впились своими ядовитыми клыками в сердце Джорджа, он глянул в рыхлое, грубое, прыщавое лицо молодого швейцара в дверях, увидел обильные галуны на его ливрее, его медные пуговицы, наглую усмешку, и лицо этого человека навсегда запечатлелось в памяти Джорджа с чувством ненависти и омерзения.

Девица, глянув на Джорджа с коварной, сдержанной злобностью на тощем, уродливом лице, предостерегла его относительно женщины, с которой он познакомился всего месяц назад, сказала сдержанным, сожалеющим голосом, в котором под конец прозвучала неожиданная вспышка яда и недоброжелательства:

– Она *любит* молодых людей. Извините, но так о ней говорят. Знаете, боюсь, что это правда.

И теперь в какой-то миг черного ужаса эти слова вспомнились ему со всей их ядовитой, мучительной многозначительностью. В жарком гневе, который вскипал тогда у него в душе, он счел их мерзким наговором, ревнивой ненавистью серой, бесплотной нежити к прекрасной, пылкой, чудесной жизни. Но забыть их не мог. Вновь и вновь эти слова возвращались терзать его сердце, словно отвратительные, неизлечимые язвы.

Они вызвали в воображении картину всего отвратительного театрального мира, мертвенного, сверкающего ночного мира Бродвея, мира утомления, смерти, ненависти и унылой проституции, стремящегося замарать все живое собственной грязью. И когда он думал об этой громадной клоаке, где обитала нежить, этой громадной улице ночи, освещенной непристойным подмигиванием мертвенного света, кишачей множеством отвратительных, порочных, злобных лиц – лиц крыс, змей, стервятников, всех отвратительных пресмыкающихся, паразитов, безглазых рептилий ночи, притворных, лицемерных лиц ненавистных актеров со всеми их коварными сплетнями, подлыми шепотками, – то снова безумел от ужаса, сомнения, неверия. Казалось невероятным, что эта живая, красивая, цветущая женщина со свежим, веселым, полуденным лицом, сияющим здоровьем, чистотой и радостью, может быть хоть какой-то нитью связана с этим порочным ночным миром притворства, грязи и смерти.

И теперь, в одно из ошеломляющих мгновений своего безумия, отвратительные, мучительные воспоминания о тех незабываемых словах пронеслись в его мозгу, вызвав ядовитый выводок мыслей-гадюк и безумных фантазий. Он вновь увидел какой-то ее случайный взгляд, вспомнил сотню случайных слов, поступков, интонаций, и они, как бы ни были мимолетны и пустячны, теперь казались зловеще чреватými проявлениями лживости, предательства, порочности. И в потемках измученного разума у него впервые мелькнула мысль, что он понял их в подлинном, постыдном значении.

И внезапно с ослепительной яркостью ненависти и отчаяния в его воображении проносился десяток картин предательства, не менее мучительных от того, что эти картины были созданы только безумием его распаленного мозга. Джордж видел Эстер надежно спрятавшейся от него в

многолюдной огромности города, оберегаемой властью надменного, наглого окружающего ее богатства. Потом надежно укрытой в жестоком очаровании весны где-то за городом, в усадьбах и домах богатых, чувственных евреек-сводниц.

Он видел ее завернутой в мягкие гобелены богатства и похоти, нежно млеющей в объятиях какого-то ненавистного парня. Иногда это бывал белокурый подросток с нежными, румяными щеками. Иногда чувственно-скромный богемный юнец, который изнывает за чашкой чая с эстетками и томно выдыхает свои вялые, утонченные переживания в жадно внимающие уши, украшенные нефритовыми серьгами. Иногда какой-то ненавистный актер из того самого театра, какой-то юнец с худощавым, противным лицом и гнусными бачками, какой-то высокомерный баловень эротичных театральных дам – «один из наших лучших молодых актеров», который играл молодого любовника в какой-то веселой, непристойной комедии с действием в Будапеште, или в легкомысленной хронике распутства в Вене, или в какой-нибудь славной пьеске о местном блюде в чопорных окрестностях Ньюпортской молодежной лиги, почти не уступающей, представьте себе, «цивилизованной» утонченностью юмора веселой светскости пьес о европейских шлюхах и рогносцах.

Истязая себя этими картинами, обезумевший Джордж со злобными, конвульсивными гримасами беззвучно цедил слова ненависти и презрения. О, была она веселой, радостной, была остроумной, находчивой, непринужденной в этих изысканных разговорах о любви и измене? Вела себя со знаменитой «непринужденностью игры» комиков этого модного экспериментального театра? Скажите, было это непринужденно и изысканно, достойные господа, скажите, было все это с шутками, благородные дамы, с шутками и прибаутками, все почтенное благовоспитанное общество? Говорите же, черт возьми! Могла она восседать на своем изысканном заду и вести шутливую беседу о непринужденных тонкостях прелюбодейства? Происходило все пристойно, в духе веселых шуток о гомосексуалистах и лесбиянках?

Ну-ну, говорите же, говорите! Что она и ее приятельницы, богатые, чувственные еврейки, которые были у нее в гостях, – потешались над супружеской неверностью, светло-зеленой туалетной бумагой, целлофаном, Калвином Кулиджем, киноиндустрией, братьями Шубертами, сухим законом и кухонными двориками Алисы Фут Мак-Дуглас? Были под впечатлением, как следовало ожидать, от пьес Пيرانделло? Были увешаны брелоками, как модно у поклонников Лоуренса? Прочли они все последние книги, дорогие друзья? Смотрели с ехидными усмешками умственного превосходства на лица любителей тех восхитительных прогулок по залу во время представления, которые придают последний штрих торжества и надменности вечерам зрелой культуры в Актерской гильдии? Знали «Линна и Альфреда», добрый милорд? Читали то, видели это, было ли оно «потрясающе», «великолепно» или «отвратительно», сын человеческий?

Знают ли они все слова и помнят все ответы, знают все, что можно высмеять, так же хорошо, как то, что заслуживает уважения и восхищения? О, дорогие друзья, разве они не являются проникательными, остроумными, смелыми и современными, последним чудом времени, превосходящими даже своих отцов, слишком благородными, слишком утонченными и просвещенными для обычных мучений и страданий таких простолюдинов, как я, слишком исключительными для всех горестей, таких людей, какие несли под огромным, вечным небом бремя своих горестей и страданий? Разве они не избавлены чудесами современной науки от всех недугов ненависти, любви и ревности, страсти и веры, которые укоренились в человеческих душе и теле двадцать тысяч лет? Разве не могут сказать тем, кто не отличается столь высоким происхождением, куда обратиться со своим отягощенным сердцем (если только они достаточно богаты!), назвать врачей, способных проанализировать их ошибки, исцелить их душевное недомогание за сорок модных сеансов, осведомлять их о глубоком проклятии давнего горя три

раза в неделю, спасти их горестный, отягощенный дух от хаоса безрассудств и огорчений за восемь месяцев модного избавления?

Да! Разве она не избавлялась навсегда от всех своих страхов и призраков, присущих людям от рождения, с помощью того же чародейства, не стала в высшей степени здоровой, нормальной, понимающей благодаря тому же лечению? А разве теперь не плачет, просит, умоляет, закликает, не грозит самоубийством и мезтью, не выказывает ревности, ярости, страданий, скорби, негодования, не клянется, что она самая благородная и несчастная женщина, которая только жила на свете, что такой скорби, трагедии, любви, как у нее, никогда не бывало – и все с таким безрассудством, страстью, горячностью и волнением, словно является просто-напросто невежественной, страдающей дочерью Евы, чья смятенная, темная душа никогда не знала этого исцеляющего света?

Да! Они исключительная, утонченная порода, праздные баловни судьбы, далекие от проклятых несовершенств его низкой, потеющей, смрадной персти, обреченной на труд и страдания. И внезапно Джордж подумал, а не грозит ли ему задохнуться в этой беспросветности, как бешеной собаке, сражаться с миром бескровных призраков, сойти с ума и умереть в отчаянии от горя среди растленной, бесстрастной нежити, отвратительной породы ничтожеств, лишенных корней, которые чувствуют, будто они чувствуют, думают, что они думают, веря, что они верят, однако не способны ничего думать и чувствовать, ни во что верить. Неужели он любил женщину, которая никогда его не любила, неужели он обезумел, неужели сокрушен, повержен, сломлен из-за слабостей игрушки, непостоянства воска, легкомысленных шалостей мотылька?

А может, измена совершена тайно, без веселья и непринужденности изысканных шутливых бесед? Может, она в зеленом, жестоком великолепии весны таяла с одурманенной нежностью в объятиях какого-то чувственного, смуглого парня, какого-нибудь актера с полными губами и раздувающимися чувственными ноздрями, какой-то порочной, отвратительной твари с полным, белым, безволосым телом и толстой бычьей шеей?

Или то был какой-то мрачный, угрюмый юнец, который раздраженно постукивал по столу и «жил в Париже», который с какой-то лихорадочной злобой на весь мир внимал восхвалениям своих непризнанных талантов? Глядела она на него сияющими нежностью глазами, гладила его худощавое, мрачное лицо, говорила с изумлением, что лицо его «очаровательное», «очень утонченное», «прямо-таки ангельское»? Говорила, что «никому не понять, как ты прекрасен»? Говорила: «Ты обладаешь величайшими достоинствами, каких нет больше ни у кого, величайшей мощью, величайшим гением. Никому не понять величия, богатства и красоты твоей души, как понимаю их я»?

И говорила потом о трагической разнице в возрасте, которая разделяет их, делает подлинное счастье обоих невозможным? Говорила, плача при этом, о своих горестях, клялась, что это «величайшая любовь ее жизни», что вся прежняя любовь и жизнь ничто по сравнению с теперешними, что она никогда прежде не думала, не могла представить себе, что такая любовь возможна, что подобный рай любви может существовать на земле, и что во всей мировой истории не было ничего сравнимого с нею? Произносила громкие, высокие слова и легко уступала ему, возвышенно говоря о высокой любви, священной чистоте, вечной преданности, физическом и духовном освящении?

Джордж невидяще смотрел в гущу трепещущей, прекрасной листвы, ненавистные картины струились в его иступленном разуме черной процессией позора и смерти. Он оказался в западне безрассудства, крушения, безумия, ненавидел собственную жизнь и мерзкий позор, в котором она захлебнулась, был открыт в своем унижительном несчастье пристальному, безжалостному оку мира, лишен возможности укрыться, спрятаться от него, поведать кому бы

то ни было о бремене горя и ужаса, лежащем на его сердце.

Иногда в полдень при виде румяного, здорового, любящего лица Эстер все великолепие и пение прошлого возвращалось к Джорджу с ликующей радостью и здравомыслием. Но всякий раз после ее ухода в его сознании пробуждалось с обжигающей яркостью горячего бреда это жестокое, зловещее видение Эстер, красивого, ядовитого цветка растленного, бесчестного мира, ночью, в недостижимости. И безумие вселялось в него снова, отравляя кости, кровь, мозг своей порчей.

Тогда он звонил Эстер, и если заставал дома, осыпал злобными упреками и непристойной бранью, спрашивал, где ее любовник, нет ли его рядом, и когда она клялась, что в комнате с нею никого, ему казалось, что за ее спиной слышатся шепот и смешки. Тогда, обругав Эстер снова, он говорил, чтобы она никогда больше у него не появлялась, выхватывал телефон из ниши в стене, швырял на пол и принимался топтать, словно аппарат являлся подлым, злонамеренным виновником его крушения.

Но если Эстер дома не оказывалось, если трубку снимала горничная-ирландка и говорила, что ее нет, отчаяние и безумие Джорджа не знали границ. Он яростно засыпал горничную вопросами. Где миссис Джек? Когда вернется? Как отыскать ее немедленно? Кто с ней? Что она велела ему передать? И если горничная не могла немедленно и четко ответить на все эти вопросы, Джордж считал, что она дурачит его, издевается над ним с насмешливым презрением и надменностью. Улавливал в звучном, вкрадчиво-почтительном голосе ирландки нотки насмешки, злобного веселья наймитки, бесстыдной и самоуверенной, запятнанной, опороченной тайным сговором и получением платы за молчание.

И он клал трубку, осушал бутылку до последней капли, а потом устремлялся на улицы браниться и драться с людьми, с городом, со всей жизнью в тоннелях, на улицах, в салунах, ресторанах, а вся земля тем временем кружилась в своем офомном, сумасшедшем танце.

А потом, в многолюдной вечности тьмы, длящейся от света до света, от зари до зари, он бродил по сотням улиц, глядел в миллионы синевато-серых лиц, видел во всех смерть и ощущал ее повсюду, куда бы ни направлялся. Бросался в тоннели, ведущие к какому-нибудь отвратительному аванпосту громадного города, неприглядной окраине Бруклина, и выходил на бледный утренний свет в ужас пустырей, ржавчины, мусора; в ужас унылых домишек, разбросанных на бесплодной земле, сбитых в кварталы, повторяющие друг друга с идиотским однообразием.

Иногда в каком-нибудь таком месте безумие и образы смерти исчезали столь же внезапно и загадочно, как и появлялись, и он возвращался в зарю, от смерти к заре, идя по Мосту. Чувствовал под собой живое, динамичное содрогание его огромного, похожего на крыло полета. Потом ощущал свежий, чуть гнилостный запах реки, замечательный запах морских водорослей с его радостным предвестием моря и плавания, знойный аромат обжаренного кофе. Видел огромную гавань с ее мощными приливами, движением горделивых судов, а прямо перед собой – громадный отвесный утес ужасающего города; и зарю, яркую утреннюю зарю, вновь пламенеющую на множестве его шпилей и бастионов.

Вот что творилось с Джорджем в зеленом великолепии того решающего, рокового, губительного апреля. Он ненавидел живых людей, не видел во всех и во всем вокруг ничего, кроме смерти и холодной развращенности, и вместе с тем любил жизнь с такой неистовой, нестерпимой страстью, что каждую ночь словно бы вновь посещал пределы этой громадной земли будто призрак, чужак, посторонний, мозг его был охвачен мучительной горечью воспоминаний и неутолимой томлением по всей радости и великолепию жизни, которую, как ему казалось, он утратил навсегда.

Безумие Джорджа той весной усугубляла, была в нем основой, затрагивала его со всех сторон любовь к Эстер, любовь, которая из-за распаленной воображением ревности, отвращения к миру этой женщины, чувства крушения и утраченных надежд преобразилась теперь в жгучую ненависть. Почти три года прошло с тех пор, как он познакомился с Эстер, полюбил ее, и теперь, словно человек, который вышел из непроглядной сумятицы и ярости битвы, оглянулся и впервые ясно увидел, что принадлежит к числу побежденных, осознал свое поражение. Джордж теперь стал способен различать все стадии, которые прошла его любовь.

Вначале он испытывал ликующую гордость и самодовольство тем, что считал блестящей личной победой – любовью красивой, талантливой женщины – данью собственному тщеславию.

Потом тщеславие и радость сладострастной победы уступили место смирению, возвеличиванию любви, и в конце концов Эстер завладела каждым биением его сердца, всей энергией и пылом его жизни.

А затем неожиданно ловец попался в ловушку, победитель оказался побежденным, гордый и надменный унизился, Эстер вошла в его плоть, растворилась в его крови, и казалось, он уже никогда не изгонит ее из себя, никогда не сможет взирать на жизнь собственными глазами, никогда не обретет вновь ликующей независимости своей юности, не сможет избавить плоть и дух от того жуткого плена любви, который лишает мужчин их гордой обособленности, их неприступного затворничества, возвышенной музыки их уединения. И когда он начал осознавать могучую власть любви, степень, до которой она поглотила все его силы и помыслы, то понял, что цена, которую платит за нее, слишком высока, и стал раздражаться, тяготиться оковами, которые выковало его сердце.

И тут уже вся гордая, торжествующая музыка этой любви, которая пленила его, покорила его, стала прерываться, искажаться, звучать хрипло и непристойно из-за набегающих одна за другой волн сомнения, подозрения, ненависти и безумия, которое в конце концов окончательно и губительно возоблагодало над его жизнью.

В неистовой хронике этой страсти с ее бессчетными воспоминаниями, бесчисленными переплетениями оттенков и мгновений, мыслей и чувств, каждое из которых было пронизано столь неопишным смешением страдания, радости, нежности, любви, жестокости и отчаяния, что словно бы выросло из всего слитного действия жизни, реальность отсчетного, календарного времени нарушилась, и эти три года оказались длиннее, чем любые десять, прожитые до того Джорджем. Все, что он видел, делал, чувствовал, читал, о чем думал или грезил во всей прежней жизни, представлялось ему лишь почвой для настоящего.

И когда все это открылось в раздумьях Джорджу, то полное, отчетливое осознание, что Эстер захватила власть над его жизнью, что он покорен ее игу, показалось ему невыносимым. Убежденность в своем крушении укоренилась в его сердце, и он поклялся, что освободится, будет жить независимо, как прежде, или умрет.

Эти мысли и решения созрели у Джорджа однажды ночью, когда он долго лежал без сна, глядя в потолок. На другой день, как обычно, Эстер пришла к нему, и вид ее румяного, веселого лица он воспринял, как вызов. Ему показалось подозрительным, что она такая сияющая, когда он такой подавленный, и червь снова стал въедаться в его сердце. Едва Эстер вошла и, как обычно, весело поздоровалась с ним, все созданные безумием картины измены вновь пронеслись в его мозгу; он слепо, неуклюже провел рукой по глазам, от чего в них поплыли пятна, и выговорил хриплым от раздирающей ненависти голосом.

– Вот оно что! – произнес Джордж с сильным ударением.- Вернулась, значит, ко мне? Пришла, поскольку наступил день, провести у меня час-другой! Наверное, следует поблагодарить тебя за то, что не забыла меня окончательно!

– Джордж, ты что? – спросила она. – Господи, в чем дело?

– Прекрасно знаешь в чем! – злобно ответил он. – Хватит принимать меня за дурачка! Пусть я просто-напросто чурбан неотесанный, однако со временем начинаю понимать кое-что!

– Будет тебе, Джордж, – мягко сказала Эстер. – Не сходи с ума из-за того, что вчера вечером, когда ты звонил, меня не оказалось дома. Кэти сказала мне о твоём звонке, и я сожалею, что меня не было. Но Господи! По твоему тону можно подумать, что я встречаюсь с другими мужчинами.

– Подумать! – хрипло произнес он и внезапно разразился хриплым, похожим на рычание смехом. – Подумать! Черт тебя побери, я не думаю, я знаю!.. Да! Стоит мне лишь отвернуться!

– Видит Бог, я не встречаюсь ни с кем, – заговорила Эстер дрожащим голосом, – и ты это знаешь! Я была верна тебе с первой минуты нашего знакомства. Никто не приближался ко мне, никто не прикоснулся ко мне пальцем, и в глубине своего злобного, лживого сердца ты это знаешь!

– Господи, и как только у тебя язык поворачивается! – произнес он, покачивая головой с каким-то зловещим изумлением. – Смотришь мне в лицо и говоришь эти слова! Как только не подавишься ими!

– В этих словах чистая правда! – ответила Эстер. – И не будь твой разум отравлен низким, отвратительным подозрением, ты бы понял это. Ты не доверяешь всем, потому что считаешь всех такими же низкими и подлыми, как сам!

– Не беспокойся! – яростно выкрикнул Джордж. – Я доверяю всем, кто того заслуживает! Я знаю, кому можно доверять!

– О, ты знаешь, ты – со злостью сказала Эстер. – Господи, да не знаешь ты ничего! Ты не способен отличить правду от лжи!

– Уж тебя-то я знаю!- выпалил он. – И ту гнусную публику, с которой ты якшаешься.

– Послушай! – воскликнула она предостерегающим тоном. – Если тебе не нравятся люди, среди которых я работаю...

– Да, черт возьми, не нравятся! – выкрикнул Джордж. – Как и вся эта свора – эти утонченные еврейки, живущие на Парк-авеню, с их миллионами долларов, душевными томлениями и изысканным блудом. – Потом спокойно, недобро повернулся к ней и сказал:

– Хочу задать тебе один вопрос. – Поглядел ей в глаза: – Скажи, Эстер, знаешь ты, что такое шлюха?

– Что-о-о? – произнесла Эстер дрожащим, неуверенным голосом с высокой, истеричной ноткой в конце. – Что ты сказал?

Джордж яростно бросился к ней, схватил ее за руки и прижал спиной к стене.

– Отвечай! – в бешенстве прорычал он. – Ты слышала мой вопрос! Ты любишь твердить такие слова, как преданность, искренность, любовь и верность! А когда я спрашиваю, знаешь ли, что такое шлюха, ты даже не понимаешь, о чем речь! Это слово нельзя употреблять, говоря об этих утонченных дамах с Парк-авеню, так? Оно неприменимо к таким, как они? Ты права, черт побери, неприменимо! – неторопливо прошептал он с удушливым пылом ненависти.

– Пусти меня! – сказала Эстер. – Убери руки!

– О, нет-нет! Подожди. Ты не уйдешь, пока я не просвещу тебя, воплощенная чистая невинность!

– Не сомневаюсь, что ты можешь меня просветить! – злобно ответила она. – Не сомневаюсь, что ты авторитет в этом вопросе! В том-то и беда! Потому твой разум полон

мерзости и злобы, когда ты говоришь о порядочных женщинах! Ты не знал ни единой порядочной женщины до встречи со мной. Ты всю жизнь якшался с грязными, распутными женщинами – и знаешь только таких. Только их ты способен понять!

– Да, Эстер, я знаю таких женщин и понимаю их лучше, чем утонченные душевные томления твоих приятельниц-миллионерш. Я знал две сотни других женщин – шлюх из публичных домов, с окраинных улиц, из трущоб – знал в добром десятке стран, и там не было таких, как изысканные дамы с Парк-авеню!

– Разумеется! – спокойно ответила Эстер.

– У них не было миллиона долларов, они не жили в квартирах из двадцати пяти комнат. И не скулили, не хныкали из-за душевных томлений, не жаловались, что их любовники чересчур грубы и невоспитанны, не способны их понять. Не представляли утонченными, изысканными ни в каком свете, но знали, что они шлюхи. Некоторые были растолстевшими, измотанными старыми клячами с большими животами, без верхних зубов, из уголков рта у них сочилась табачная жвачка.

– Прибереги свои драгоценные сведения для тех, кому они интересны, – сказала она. – А меня от них только тошнит! Я не желаю знать великой мудрости, которую ты почерпнул в трущобах.

– Брось, брось, – негромко, глумливо произнес он. – Неужели это та самая превосходная художница, которая видит жизнь отчетливо и во всех проявлениях? Неужели это та самая женщина, которая повсюду находит истину и красоту? С каких это пор ты воротишь нос от трущоб? Или, может, тебе не по вкусу те, о которых веду речь я? А вот прекрасные трущобы на сцене экспериментального театра – какая-нибудь замечательная старая трущоба Вены или Берлина – совсем другое дело, не так ли? Или восхитительная, колоритная, грязная трущоба в Марселе? Вот они достойны внимания, а? Если память не изменяет мне, ты сама делала декорации замечательной марсельской трущобы? Для пьесы о шлюхе, которая являлась матерью всех людей, которая укрывала бродяг и изгнанников в своем всепоглощающем чреве – мадам Деметре! Я бы мог рассказать тебе кое-что, лапочка, об этой трущобе, потому что бывал там во время своих путешествий, правда, с этой дамой ни разу не встречался! И разумеется, при своей низкой, подлой натуре я не сумел оценить всей глубокой, символической красоты этой пьесы, – прорычал он, – хотя мог бы дать тебе некоторое представление о вонии Старого Квартала, о гнилых фруктах и рыбе, об экскрементах в переулках! Но ты не спрашивала меня, так ведь? У меня хорошее зрение, прекрасный нюх и отличная память – но я не обладаю глубинным зрением, верно, дорогуша? И к тому же, моя низкая душа не способна воспарить к высоким красотам прекрасной старой трущобы в Марселе или в Будапеште – ей не подняться выше трущоб негритянского квартала в южном городишке! Но ведь это же простая местная грязь – это не искусство! – произнес он сдавленным голосом.

– Ну, успокойся, успокойся, – мягко сказала Эстер. – Не приводи себя в бешенство. Ты не в своем уме и сам не сознаешь, что говоришь. – Она нежно погладила руку Джорджа и печально взглянула на него. – Господи, что все это значит? Что это за нелепый разговор о трущобах, переулках и театрах? Какое все это имеет отношение к тебе и ко мне? Какое отношение к тому, как я люблю тебя?

Губы Джорджа посинели и неудержимо дрожали, серое лицо исказилось в гримасе безумной, бессмысленной ярости, и он в самом деле не совсем сознавал, что говорит.

Внезапно Эстер схватила его за руки и неистово встряхнула. Потом вцепилась ему в волосы, яростно притянула его голову к себе и взглянула в ошеломленные, безумные глаза.

– Слушай! – резко заговорила она. – Слушай, что я тебе скажу!

Он угрюмо уставился на нее, и Эстер на миг приумолкла, глаза ее налились гневными

слезами, все маленькое тело трепетало энергией упорной, неукротимой воли.

– Джордж, если ты ненавидишь мою работу и людей, среди которых я работаю, – мне очень жаль. Если актеры и другие люди, работающие в театре, так низки и отвратительны, как ты говоришь, мне тоже очень жаль. Но не я сделала их тем, что они есть, и я никогда не считала их такими. Многих из них я нахожу тщеславными, жалкими, несчастными, лишенными хотя бы крупицы таланта и понимания, но не подлыми и низкими, как ты говоришь. И я знаю всю их жизнь. Мой отец был актером, был таким же неистовым, безумным, как ты, но обладал не менее возвышенным и прекрасным духом, чем любой из живших на свете.

Голос ее дрожал, из глаз катились слезы.

– Говоришь, все мы низкие, подлые, не имеем понятия о преданности! О, какой ты глупец! Я услышала, как папа звал меня среди ночи – бросилась к нему в комнату и нашла его лежащим на полу, изо рта у него шла кровь! Почувствовала, что мои силы удесятерились, подняла его, взвалила на спину и понесла к кровати. – Она приумолкла, губы у нее дрожали и мешали говорить. -- Кровь его пропиталась сквозь ночную рубашку мне на плечи -- я до сих пор ее ощущаю – он не мог говорить – он умер, держа меня за руку, глядя на меня своими замечательными серыми глазами, – и это было почти тридцать лет назад. Ты говоришь, все мы низкие, подлые, не любим никого, кроме себя. Думаешь, я смогу забыть его? Нет, никогда, никогда, никогда!

Эстер зажмурилась, чуть приподняла покрасневшее лицо и плотно сжала губы. Через минуту она продолжала уже спокойнее:

– Я сожалею, что тебе не нравятся моя работа и люди, среди которых я работаю. Но это единственная работа, какую я умею делать – которая нравится мне больше всего – и что бы ты, Джордж, ни говорил, я горжусь своей работой. Я превосходная художница и знаю себе цену. Знаю, что пьесы у нас большей частью дрянные, паршивые – да! – и некоторые люди, которые играют в них, тоже! Но знаю, что в театре так же есть великолепие и красота, и когда их обнаружишь, с ними не может сравниться ничто на свете!

– А! Великолепие и красота – чушь! – проворчал Джордж. – Все они только болтают о великолепии и красоте! Это великолепие и красота суки во время течки! Все они ищут легких любовных связей! С нашими лучшими молодыми актерами, а? – свирепо произнес он, схватив Эстер за руку. – С нашими будущими Ибсенами моложе двадцати пяти лет! Так? С нашими молодыми декораторами, плотниками, электриками – и всеми прочими молодыми, румяными гениями! – сдавленно произнес он. – Это и есть те великолепие и красота, о которых ты говоришь? Да! Великолепие и красота эротоманок!

Эстер вырвалась из его крепкой хватки и внезапно поднесла к его лицу свои маленькие, сильные руки.

– Посмотри на них, – негромко, гордо сказала она. – Смотри, жалкий дурачок! Это руки эротоманки? Они переделали работы больше, чем руки любого другого мужчины. В них есть сила, мощь. Они могут шить, писать маслом, рисовать, творить – они способны делать то, чего не может больше никто на свете. И они стряпали для тебя! Лучшую еду, какую ты только пробовал.

Она вновь яростно схватила Джорджа за руки, притянула к себе и, вскинув пылающее лицо, поглядела на него.

– О, жалкий, безумный дурачок! – прошептала она восторженным тоном находящейся в экстазе женщины. – Ты пытался бросить меня – но я привязалась к тебе. Я привязалась к тебе, – продекламировала она радостным, торжествующим шепотом. – Ты пытался меня прогнать, ты бранил меня, оскорблял – но я привязалась к тебе, привязалась к тебе! Ты мучил, терзал меня, заставил пройти через то, чего не смог бы вынести больше никто на свете – но не смог прогнать!

– воскликнула она с ликующим смехом, – не смог от меня отделаться, потому что я люблю тебя больше всего на свете и всегда буду любить. О, я привязалась к тебе, привязалась к тебе! Жалкое, безумное создание, я привязалась к тебе, потому что люблю тебя, и в твоём безумном, измученном духе больше красоты и великолепия, чем в любом человеке, какого я знаю! Ты самый лучший, самый лучший, – зашептала Эстер. – Безумный и недобрый, но самый лучший, и потому я привязалась к тебе! И я извлеку из тебя самое лучшее, величайшее, даже если это будет стоить мне жизни! Отдам тебе свои силы и знания. Научу, как использовать самое лучшее в себе. О, ты не собьешься с пути! – произнесла она чуть ли не с ликующим торжеством. – Я не позволю тебе сбиться, стать безумным, вероломным, подлым, быть ниже, чем самые лучшие на свете. Ради Бога, скажи мне, что с тобой, – воскликнула она, отчаянно встряхнув его. – Скажи, чем я могу помочь, и я помогу. Укажу тебе четкий план, золотую нить, и ты будешь за нее держаться. Я покажу тебе, как извлечь из себя самое лучшее. Не позволю терять чистое золото, погребенное под массой недоброго, дурного. Не позволю сгубить жизнь в пьянстве, бродяжничестве, с продажными женщинами в грязных борделях. Скажи, что с тобой, я помогу тебе. – И неистово затрясла его. – Скажи! Скажи!

Джордж тупо уставился на нее сквозь мутную, клубящуюся пелену безумия; когда пелена эта рассеялась, и он вновь увидел перед собой лицо Эстер, его ошеломленный, неверный разум устало, слепо подобрал оборванную нить того, о чем он вел речь, и он стал продолжать тупым, безжизненным, монотонным голосом автомата:

– Они живут в лачугах негритянского квартала в южном городишке или за железнодорожными путями, на ставнях у них цепи – отличительный знак профессии – и дома их обнесены решетчатыми заборами. Иногда ты приходил туда в послеполуденную жару, башмаки твои покрывала белая пыль, все под солнцем было горячим, неподвижным, грубым, грязным, противным, ты сам удивлялся, зачем пришел, тебе казалось, что все знакомые смотрят на тебя. Иногда приходил зимой, среди ночи. Слышал, как негры кричат и поют в своих лачугах, видел их закопченные лампы за старыми, выцветшими шторами, но все было скрытым, потаенным, все звуки доносились неведь откуда, и тебе казалось, что на тебя смотрит тысяча глаз. И время от времени мимо прощныривал какой-нибудь негр. Ты ждал в темноте, прислушиваясь, и когда пытался закурить, пальцы дрожали, спичка гасла. Видел, как раскачивается на углу уличный фонарь, мигая ярким, холодным светом, видел резкие, пляшущие тени голых ветвей на земле и холодную, голую глину негритянского квартала. Ты огибал в темноте десяток углов, десяток раз проходил туда-сюда перед домом, прежде чем позвонить. А в доме всегда бывало жарко, душно, пахло полированной мебелью, конским волосом, лаком и сильными антисептиками. Слышно было, как где-то открывалась и осторожно закрывалась дверь, как кто-то выходил. Однажды две женщины сидели на кровати, забросив ногу на ногу, играли в карты. Предложили мне выбрать любую из них и продолжали играть. А когда я уходил, они улыбались, демонстрируя свои беззубые десны, и называли меня «сынок».

Эстер отвернулась с горящим лицом, со злобно сжатыми губами.

– О, должно быть, это было очаровательно... очаровательно! – негромко произнесла она.

– А иногда ты сидел целый вечер на шаткой кровати в маленьком дешевом отеле. Давал негру доллар и ждал, пока ночной портье не уходил спать, потом негр приводил к тебе женщину или вел тебя в ее комнату. Женщины приезжали поездом и уезжали среди ночи другим, за ними постоянно охотилась полиция. Слышно было, как на сортировочных станциях всю ночь маневрировали паровозы, как по всему коридору открывались и закрывались двери, как мимо двери украдкой проходили люди, как скрипели кровати в дешевых номерах. И все в комнате пахло нечистотой, грязью, плесенью. Губы у тебя пересыхали, сердце стучало, как молот, и всякий раз, когда кто-то крался по коридору, у тебя холодело внутри, и ты затаивал дыхание.

Глядел на дверную ручку, ждал, что дверь распахнется, и думал, что ты попался.

– Замечательная жизнь! Замечательная! – злобно воскликнула Эстер.

– Я хотел большего, – сказал Джордж. – Но был семнадцатилетним, вдали от дома, студентом колледжа. Брал то, что мог получить.

– Вдали от дома! – злобно воскликнула она. – Словно это оправдание! – И резко перешла на другое: – Да! И дом этот был великолепный, так ведь? Отпустили тебя, шестнадцатилетнего, и выбросили из головы! О, замечательная публика! Замечательная жизнь! А ты еще смеешь бранить меня и мой народ!

– Твой... твой народ! – медленно, монотонно повторил Джордж; а потом, когда смысл ее слов дошел до его сознания, в нем вскипела черная буря ненависти и гнева, и он свирепо напустился на нее.

– Твой народ! – выкрикнул он. – А что *твой* народ!

– Опять начинаешь! – предостерегающе воскликнула она с раскрасневшимся, взволнованным лицом. – Я сказала тебе...

– Да, ты мне сказала! Сама можешь, черт возьми, говорить все, что вздумается, но стоит открыть рот мне...

– Я не говорила ничего! Это ты!

Гнев Джорджа улегся так же внезапно, как вспыхнул, он устало, раздраженно пожал плечами.

– Ладно, ладно, ладно! – отрывисто произнес он. – Давай оставим эту тему!

И махнул рукой, лицо его было мрачным, угрюмым.

– Это не я! Не я начала этот разговор! Ты! – повторила она протестующим тоном.

– Ладно, *ладно!* – выкрикнул он, выходя из себя. – Говорю же тебе, хватит! Ради Бога, давай прекратим!

И почти сразу же негромким, мягким голосом, в котором слышалось неудержимое, яростное презрение, продолжал:

– *Итак* – я не должен говорить ни слова о твоём драгоценном народе! Все эти люди до того великолепные и утонченные, что не мне о них судить! Я их не способен понять, так, дорогая моя? Слишком низок и подл, чтобы оценить по достоинству богатых евреев, живущих на Парк-авеню! О, да! А уж что до твоей семьи...

– Оставь в покое мою семью! – вскричала Эстер пронзительным, предостерегающим голосом. – Не смей говорить о них своим грязным языком!

– О, да! Разумеется. Я не должен говорить своим грязным языком. Мне, видимо, нельзя даже заикнуться.

– Предупреждаю! – плачуще воскликнула Эстер. – Я тебе всю морду разобью, если скажешь хоть слово о моей семье! Мы для тебя слишком хороши, вот в чем беда! Ты прежде никогда не встречался с порядочными людьми, в жизни не видел порядочных людей, пока не познакомился со мной, и думаешь, что все так гнусны, как это представляется твоему низкому разуму!

Эстер била сильная дрожь, она яростно кусала губы, слезы струились из ее глаз, и несколько секунд она стояла в молчании, конвульсивно сжимая и разжимая опущенные по бокам руки, чтобы овладеть собой. Потом продолжала, уже поспокойнее, поначалу едва слышно, голос ее дрожал от страстного негодования:

– Девка! Потаскуха! Еврейка! Вот какими гнусными словами ты обзывал меня, а я была порядочной и преданной всю жизнь! Господи! Какой у тебя чистый, благородный разум! Видимо, это еще не все приятные, изысканные выражения, которыми ты на учился в Старой Кэтоубе! Ты просто чудо! Должно быть, рос среди замечательных людей! Господи! Как у тебя

хватает наглости говорить обо мне! Твоя семья...

– Помолчи о моей семье! – выкрикнул Джордж. – Ты ничего о ней не знаешь! Эти люди гораздо лучше тех мерзких, ненавидящих жизнь театральных крыс, с которыми якшаешься ты!

– О, да! Они, должно быть, просто восхитительны! – заговорила Эстер со злобным сарказмом. – Они так много для тебя сделали, правда? Отпустили тебя шестнадцатилетнего в большой мир и умыли руки! Господи! Очаровательная публика твои христиане! Ты говоришь о евреях! Попытайся найти еврея, который обходился бы так с детьми своей сестры! Родственники твоей матери выперли тебя, когда тебе было шестнадцать лет, и теперь им наплевать, что с тобой. Они хоть вспоминают о тебе? Часто полу чаешь письма от дяди и тети? Можешь не отвечать – я знаю! – злобно сказала она с явным намерением уязвить его. – Ты рассказывал мне о своей замечательной семейке в течение трех лет. Ты оскорблял и ненавидел весь мой народ – а теперь ответь, кто поддерживал тебя, кто был твоим другом? Будь честен. Думаешь, кто-то из них сможет оценить, понять то, что ты делаешь? Думаешь, кого-то из них волнует, жив ты или нет? – Она иронично засмеялась. – Не смей меня! Не смей!

Слова Эстер больно уязвили его гордость, и она ощутила злобную радость, видя, что задела его за живое. Лицо его побледнело от обиды и ярости, губы беззвучно шевелились, но Эстер не могла сдержаться, так как была глубоко задета.

– А что сделал для тебя твой распрекрасный отец, о котором ты столько говоришь? – продолжала она. – Кроме того, что махнул на тебя рукой?

– Это ложь! – глухо произнес он. – Это... гнусная... ложь! Не смей даже заикаться о нем! Он был замечательным человеком, и каждый, кто знал его, скажет то же самое!

– Да, замечательным шалопаем! – объявила Эстер. – Замечательным пьяницей! Замечательным бабником! Он дал тебе прекрасный отчий дом, так ведь? Оставил громадное состояние, не правда ли? Ты должен быть благодарен ему за все, что он сделал для тебя! За то, что превратил тебя в изгнанника и бродягу! За то, что наполнил твое сердце ядом и ненавистью против людей, которые любили тебя! За свою черную, извращенную душу и всю ненависть в твоём безумном мозгу! За то, что он сделал тебя чудовищем, которое ранит друзей в сердце, а затем покидает их! И постарайся как можно больше походить на него! Иди по его стопам, раз тебе этого хочется, и постарайся стать таким же низким, как он!

Эстер не могла удержаться от этих слов, сердце ее переполняли злоба и ненависть, ей хотелось наговорить самых жестоких, ранящих вещей. Хотелось причинить Джорджу такую же боль, как он ей, и, глядя на него, она испытывала отвратительную радость, так как видела, что боль причинила ему ужасную. Лицо его побелело, как мел, губы стали непослушными, синими, глаза сверкали. Он попытался заговорить, но сразу не смог, а когда все же заговорил, губы не повиновались ему, и поначалу она едва слышала его.

– Уходи! – сказал он. – Уйди из моей квартиры и больше не возвращайся!

Эстер не шевельнулась, не могла шевельнуться, и внезапно он заорал на нее:

– Убирайся, черт возьми, а то выгашу на улицу за волосы!

– Ладно, – заговорила она дрожащим голосом, – ладно, уйду. Это конец. Но от всей души надеюсь, что со временем какая-нибудь сила заставит тебя понять, какая я. Надеюсь, когда-нибудь ты перенесешь те же страдания, какие причинил мне. Надеюсь, когда-нибудь поймешь, что сделал со мной.

– Сделал с тобой! – выкрикнул Джордж. – Да я отдал тебе свою жизнь, будь ты проклята! Вот что я с тобой сделал! Ты располнела и расцвела на моей энергии и жизни. Ты опустошила, иссушила меня; вернула себе юность за мой счет – да! И отдала ее этому гнусному публичному дому, именуемому театром! «О, Господи, – ухмыльнулся он, с издевательским жеманничаньем передразнивая ее сетования. – Что ты сделал со мной, жестокий зверь?». Что ты сделал с этой

милой, славной американской девицей, едва знающей разницу между содомией и изнасилованием, до того она чистая и невинная! Как ты посмел, растленный негодяй, соблазнить эту чистую, милую сорокалетнюю девушку, когда тебе было целых двадцать четыре года, как не постыдился лишить эту бродвейскую молочницу ее незапятнанной девственности? Позор тебе, гнусный провинциал-совратитель, ты приехал к этим простодушным, доверчивым городским ублюдкам и погубил своей преступной страстью эту невинную, застенчивую девицу, не имевшую еще и двадцатипятилетнего опыта в любовных шашнях! Позор тебе, разжиревший плутократ, получающий две тысячи в год учительшка, ты обольстил ее блеском своего золота, увлек от простых радостей, которым она всегда предавалась! Когда ты познакомился с нею, у нее было всего-навсего три личных счета, но она была счастлива в своей непорочной бедности, – глумливо произнес он, – и довольствовалась простыми радостями евреев-миллионеров и невинными прелюбодеяниями их жен.

– Ты знаешь, что я никогда не была такой, – сказала Эстер, дрожа от негодования. – Знаешь, что у меня ничего не было ни с кем из этих людей. Джордж, я знаю, какая я, – произнесла она с гордостью, – и все твои грязные слова, грязные обвинения не могут сделать меня иной. Я работала, не покладая рук, я была порядочной, я всю жизнь стремилась к добру и красоте. Я превосходная художница и знаю себе цену, – гордо сказала она дрожащим голосом, – и никакие твои слова не могут этого изменить.

– Сделал с тобой! – повторил Джордж, словно не слыша слов Эстер. – Ты загубила мою жизнь, свела меня с ума, вот что я с тобой сделал! Ты продала меня моим врагам, и они хихикают за моей спиной!

Грязные слова теснились у него в горле и изливались из уст потоком непристойностей, голос его от ожесточения и ненависти стал хриплым.

Снаружи по улице шли люди, Джордж слышал их шаги под окном. Неожиданно раздался чей-то невеселый, неприятный, пронзительный уличный хохот. Этот звук мучительно резанул ему слух.

– Слышишь! – безумно выкрикнул он. – Клянусь Богом, это они смеются надо мной! – Бросился к окну и закричал: – Смейся! Смейся! Ну, давай же, хохочи, грязная свинья! Пошли вы все к черту! Я свободен от вас! Теперь никто не в силах навредить мне!

– Джордж, никто не собирается тебе вредить, – сказала Эстер. – Единственный твой враг – это ты сам. Ты губишь себя. У тебя в мозгу появилось что-то безумное, злобное. Если не изгонишь этого, ты погиб.

– Погиб? Погиб? – тупо, ошеломленно повторил он. Потом вдруг закричал: – Убирайся отсюда! Теперь я по-настоящему знаю тебя и ненавижу!

– Ты не знаешь меня и не знал никогда, – ответила Эстер. – Ты хочешь меня возненавидеть, хочешь представить меня отвратительной женщиной и думаешь добиться этого лживыми словами. Но я себя знаю и стыжусь только того, что выслушиваю подобные слова от тебя. Я всю жизнь была порядочной женщиной, я любила тебя больше всех на свете, я была верна тебе, была твоим близким и любящим другом, и теперь ты отвергаешь лучшее, что имел. Джордж, ради Бога, постарайся избавиться от этого безумия. Ты обладаешь такой силой и красотой духа, каких нет ни у кого, но в тебе завелись безумие и злоба, недуг, который губит тебя

Эстер умолкла, и Джордж ощутил в обезумевшем мозгу тусклый проблеск возвращающегося разума, гнетущий, отвратительный, бездонный стыд, ошеломляющее чувство безнадежного сожаления, неискупимой вины, невозвратимой утраты.

– Как думаешь, что это за недуг? – пробормотал он.

– Не знаю. Не я вложила его в тебя. Он уже был в тебе, когда мы познакомились. Ты гибнешь из-за него.

И внезапно Эстер не смогла больше сдерживать дрожь в губах, из горла у нее вырвался крик неистового отчаяния и горя, она яростно заколотила себя стиснутыми кулачками и разрыдалась.

– О, Господи! Этот недуг меня сломил. Я была такой сильной и смелой! Была уверена, что могу все, что сумею изгнать из тебя этот черный недуг, но теперь вижу, что не в состоянии! Я так любила жизнь, видела повсюду красоту и великолепие, жизнь постоянно становилась лучше. Теперь, просыпаясь, я думаю, как вынести еще один день. Я ненавижу свою жизнь, меня больше ничто не радует, я хочу умереть.

Джордж обратил на нее тупой, растерянный взгляд. Машинально провел рукой по лицу, и на миг показалось, что в его глаза возвращается свет и осмысленность.

– Умереть? – тупо переспросил он. И тут волна мрака и ненависти снова захлестнула его мозг. – Умереть! Ну так умри, умри, *умри!* – закричал он яростно.

– Джордж, – сказала Эстер с трепетной, страстной мольбой, – мы не должны умирать. Мы созданы для жизни. Ты должен изгнать этот злобный мрак из души. Ты должен любить жизнь и ненавидеть это жалкое существование. Джордж! – воскликнула она снова с твердой убежденностью. – Жизнь хороша и прекрасна. Верь мне, я много жила, я многое знаю, во мне много красоты и великолепия, и я отдам все это тебе. Джордж, помоги мне, ради Бога, протяни мне руку помощи, а я помогу тебе, и мы оба спасемся!

– Ложь! Ложь! Ложь! – негромко произнес он. – Все до последнего слова.

– Это чистая правда! – воскликнула она. – Клянусь Богом!

Он помолчал, тупо, бессмысленно глядя на нее. Потом в душе у него снова вспыхнула безумная ненависть, и он закричал:

– Что стоишь? Уходи отсюда! Убирайся! Ты лгала мне, обманывала меня и теперь стараешься обвести вокруг пальца!

Она не шелохнулась.

– Уходи! Уходи! – хрипло выпалил он.

Она не шелохнулась.

– Уходи, говорю! Проваливай! – произнес он шепотом. Яростно схватил ее за руку и потащил к двери.

– Джордж! – сказала она. – Это конец? Вот так кончается вся наша любовь? Ты не хочешь больше никогда меня видеть?

– Уходи! Уходи, слышишь? И больше не появляйся!

С губ ее сорвался протяжный жалобный стон отчаяния и крушения.

– О, Господи! Я хочу умереть! – воскликнула она. И уткнувшись лицом в сгиб руки, горько, безутешно заплакала.

– Ну и умирай! Умирай! Умирай! – выкрикнул Джордж, грубо вытолкнул ее из комнаты и захлопнул дверь.

38. СЪЕДЕННЫЕ САРАНЧОЙ ГОДЫ

В коридоре было темно, тихо. Эстер стала спускаться по старым, скрипучим ступеням и услышала звучание тишины и времени. Она не могла расслышать в нем слов, но оно шло из старых, мрачных стен, ветхих досок, укромных глубины и протяженности впечатляющего, заключенного в стенах пространства. Лик пространства был темен, непроницаем, сердце, подобно сердцу царей, неисследимо, и в нем скопилось все знание о множестве неприметных жизней, сорока тысячах дней и всех съеденных саранчой годам.

Эстер остановилась на лестнице, подождала, оглянулась на закрытую дверь с надеждой, что она откроется. Но дверь не открылась, и Эстер вышла на улицу.

Улица была залита ярким, нежным солнечным светом. Он падал по-весеннему весело на старые кирпичи закопченных зданий, на все грубое неистовство жизни города, придавал всему оживленность, радость и нежность. Улицы бурлили своей суровой, беспорядочной жизнью, такой стремительной, наэлектризованной, неуступчивой и такой бесконечной, увлекательной, многоцветной.

Несколько мужчин с обнаженными, покрытыми татуировкой руками грузили в кузов машины ящики: они вонзали стальные крючья в чистую белую древесину, и мышцы их выпирали под кожей, словно канаты. Дети со смуглыми лицами и черными волосами латиноамериканцев играли на улице в бейсбол. Они ловко вели игру среди густого потока машин, сновали между ними на крепких, сильных ногах, громко, хрипло перекрикивались, грузовики и легковые автомобили с ревом ехали в одном направлении. А люди шли непрерывным потоком, каждый из них стремился к определенной, корыстной или желанной цели. Их плоть иссушили и закалили треволения городской жизни, лица их были мрачными, исхудалыми, тупыми и недоверчивыми.

И внезапно Эстер захотелось крикнуть, сказать им, чтобы они не спешили, не беспокоились, не тревожились, не боялись, что вся их отталкивающая работа, все их напряженные усилия, напористость, ожесточенность, все мелочные расчеты на жалкие заработки и победы, пустая уверенность и ложные заверения в конце концов пропадут впустую. Реки будут течь вечно, апрель будет наступать так же прелестно, восхитительно, с таким же пронзительным возгласом, когда все их крикливые языки обратятся в прах. Да! Несмотря на всю их перебранку, лихорадочность неистового беспокойства, ей хотелось сказать им, что их крики останутся не услышанными, любовь не оцененной, страдания незамеченными, что красота весны будет по-прежнему сиять спокойно и радостно, когда их плоть сгниет, что когда-нибудь другие люди на других тротуарах будут думать обо всех их усилиях и стойкости, даже обо всех их преступлениях и хвастовстве силой, с жалостью и снисходительностью.

В ярком апрельском свете старуха, полоумная карга, бормоча, рылась костлявыми пальцами среди гнилых овощей в мусорном баке. Внезапно она повернулась, подставила иссохшее лицо солнцу, обнажила желтые клыки, погрозила костлявым кулаком небу, снова принялась рыться в баке, потом бросила, сложила руки, из мутных глаз ее потекли слезы, и воскликнула: «Бедность! О, бедность!». Потом старая карга задрала грязную юбку, обнажив дряблые, желтые бедра, и стала приплясывать, семена и вертяться, в отвратительной пародии на радость, гогоча при каких-то непристойных воспоминаниях. И все-таки никто не обращал на нее внимания, кроме неряшливого полицейского, он небрежно вертел дубинку и сурово глядел на нее, тупо жуя жвачку, да нескольких насмежавшихся над ней юных хулиганов, на лицах у них были гнусные, дурашливые ухмылки, они хлопали друг друга по спинам в своем веселье и выкрикивали: «Во дает!».

Люди проходили мимо нее, кто со смущенным, брезгливым видом, кто с осуждающе поджатыми губами, выражением оскорбленной нравственности, но большинство с раздражением и бесцеремонностью, устремив суровый взгляд прямо перед собой. Потом старуха опустила юбку, повернулась к баку, затем снова к прохожим и погрозила им кулаком. На нее никто не обратил внимания, и она вновь вернулась к содержимому бака. Старуха негромко плакала, и мягкий, веселый апрельский свет падал на нее.

Эстер шла мимо больницы, у бровки тротуара стояла «скорая помощь». Водитель с худощавым лоснящимся, грубым лицом склонился над баранкой, его упорный, одурманенный взгляд жадно поглощал содержание бульварной газетенки:

«Случайные знакомые предаются разгулу в притоне».

«У меня разбито сердце, я любила его!» – восклицает Хелен».

«Двубрачие», – всхлипывает танцовщица и просит утешения».

Эти отвратительные, убогие слова терзали проходившую Эстер своей гнусной, площадной низостью, вызывая в воображении картины унылой, жалкой, идиотской, преступной в своем пустом неистовстве жизни, где имя любви оскверняется соблазнительными позами, а ужаса не вызывает даже убийство.

А над всем стоял запах крови и дешевых духов. Вот какими были облики всех человеческих чувств:

Страсти – пустое, кукольное лицо и две толстые эротичные ляжки.

Преступления -- освещенные фотовспышкой зверские лица под серыми шляпами, глядящие в объектив, стоящий на обочине легковой автомобиль с разбитыми стеклами.

Любви – «Слушай, девочка, если срочно не увижу тебя, то спячу. Я без ума от тебя, малышка. Никак не могу выбросить мою любимую крошку из головы. Мне во сне снится твое милое личико, детка. Твои нежные поцелуи обжигают меня. Знаешь, малышка, если узнаю, что ходишь с другим, прикончу обоих».

Горя – мать плачет, позируя фотографу через три часа после того, как ее маленькая дочка сгорела заживо.

Она мертва.

«Порядок, миссис Мойфи, теперь щелкнем вас глядящей на туфельки малышки».

Но она мертва.

«Вот-вот, мамочка. Чуть побольше выражения, миссис Мойфи. Изобразим материнскую любовь. Оставайтесь так!».

Но она мертва.

«Сегодня вечером о вас будут читать в газетах, мамочка. С жадностью. Мы дадим вашу фотографию на всю первую полосу».

Она мертва. Она мертва.

Неужели под ярким, чудесным светом этих великолепных небес, на этом гордом, сияющем острове, переполненном бурлящей жизнью, колыбели могучих судов, величественно вознесшемся в сиянии огней, на этих оживленных улицах, на этой заполненной людьми скале, которую она так любила, где нашла столько красоты, радости, великолепия, сколько не найти больше ни в одном городе мира, выросло чудовищное племя нежити, до того омерзительной, тусклой, зверской в своей тупой бесчеловечности, что живой человек не может взирать на нее без отвращения, ужаса и надежды, что она вместе с той чудовищной жизнью, которую создала, внезапно исчезнет под чистыми солеными приливами? Неужели этот город вскормил своей железной грудью племя грубых автоматов, каменный, асфальтовый компост бесчеловечных ничтожеств, рыча, идущих к смерти, о которой никто не пожалеет, с грубыми, бранными,

избитыми, беспрестанно повторяющимися словами, таких же чуждых природе, крови и страсти живого человека, как громадные жуки-машины, которые они пустили на безумной скорости в неистовый хаос улиц?

Нет, она не могла в это поверить. На этой скале жизни, на этих громадных улицах был мир не хуже любого другого, было столько страсти, красоты, сердечности и яркого великолепия, сколько не найти больше нигде.

Из больницы вышел интерн в белом халате, небрежно бросил свою сумку в машину «скорой помощи», что-то кратко сказал водителю, взобрался, плюхнулся на сиденье рядом с ним, вытянул ноги, и машина плавно отъехала с трелями электрических звонков. Интерн лениво оглянулся на людную улицу, и Эстер поняла, что вернутся они с убитым или раненым, в несметной толпе одиночек одним искалеченным атомом или одним биением пульса станет меньше, интерн отправится доедать ленч, а водитель снова с жадностью уткнется в газету.

Тем временем, как и всегда, по этому острову жизни струились светлые реки. В большие окна первого этажа больницы видны были малыши, сидящие на залитых солнцем кроватках, над ними склонялись нянечки в накрахмаленных халатах, дети с наивным любопытством тарасились на оживленные улицы, восторженно и беспамятно.

А на балконах над улицей взрослые, которые были больны и боялись смерти, сидели теперь в солнечном свете, зная, что уже не умрут. Они вновь обрели жизнь и надежду, на их лицах было гордое, глуповатое выражение больных, которые ощущали руку смерти на своих сердцах, а теперь с пассивной, нетвердой верой вернулись к жизни. Тела их под больничными халатами казались усохшими, на бледных, впалых щеках росла щетина, ветер развеивал их длинные, безжизненные волосы, челюсти их отвисали, и они с глупыми, счастливыми улыбками обращали лица к свету. Один курил дешевую сигару, медленно, неуверенно подносил ее тонкой рукой к губам, оглядывался вокруг и усмехался. Другой нетвердой походкой ходил взад-вперед. Они походили на детей, родившихся заново, в их взглядах было что-то бессмысленное, недоуменное, исполненное счастья. Они втягивали в себя воздух и свет с жалкой, безрассудной жадностью, их ослабевая плоть, истощенная тяжелым трудом и борьбой за существование, вбирала в себя солнечную энергию. Иногда появлялись и уходили проворные медсестры, иногда рядом с неловкостью стояли родственники, неудобно чувствующие себя в жесткой, благопристойной одежде, приберегаемой для воскресений, праздников и больниц.

А между двумя глухими стенами из старого кирпича стройное деревце с остроконечными ярко-зелеными листьями выглядывало из-за кромки забора, и красота его среди неистовой улицы, грубости ее стали и камня, была как песня, как триумф, как пророчество – гордой, прекрасной, стройной, внезапной, трепещущей – и как возглас, в котором звучала странная музыка горестной краткости жизни человека на вечной, бессмертной земле.

Эстер видела все это, видела людей на улицах, все окружающее, все заблудшие люди ликующе, неудержимо взывали о жизни; поэтому в самых потаенных глубинах души она поняла, что они не заблудшие, и по лицу ее заструились слезы, потому что она горячо любила жизнь, потому что вся торжествующая музыка, сила, великолепие и пение прекрасной любви состарились и обратились в прах.

39. РАСКАЯНИЕ

Когда Эстер ушла, когда Джордж вытолкнул ее и захлопнул за нею дверь, душу его стали раздирать мучительная жалость и неистовое раскаяние. С минуту он стоял посреди комнаты, ошеломленный стыдом, отвращением к своему поступку и своей жизни.

Джордж слышал, как Эстер остановилась на лестнице, и понял, что она ждет – вот он выйдет, возьмет ее за руку, скажет слова любви или дружбы и поведет обратно в комнату. И внезапно ощутил невыносимое желание выйти, догнать ее, стиснуть в объятиях, снова вобрать в свое сердце, в свою жизнь, принять и радость, и горе, сказать ей, что будь она на пятнадцать, двадцать, тридцать лет старше него, будь она седой и морщинистой, как Аэндорская волшебница, она так запечатлелась в его мозгу и сердце, что он никогда не сможет любить кого-то, кроме нее, и потом жить до самой смерти в этой вере. И тут его гордость вступила в упорную, отвратительную борьбу с раскаянием и стыдом, он не сделал ни шага за Эстер, вскоре услышал, как закрылась наружная дверь, и осознал, что снова выгнал ее на улицу.

И едва Эстер вышла из дома, его душу обдало леденящим холодом сиротливости мучительное, безмолвное одиночество, которое в течение многих лет, до встречи с нею, было спутником его жизни, однако теперь, поскольку она покончила с его яркой нелюдимостью, превратилось в ненавистного, отвратительного врага. Оно заполнило стены, чердак и глубокую тоскливую тишину старого дома. Он понял, что Эстер покинула его, оставила одного в доме, и ее отсутствие заполнило всю комнату и его сердце, словно некий живой дух.

Джордж конвульсивно вскинул голову, будто сражающееся животное, рот его искривился в мучительной гримасе, ступня резко оторвалась от пола, словно он получил удар по почкам: образы неистовых, невыразимых жалости и раскаяния пронзали подобно тонкому лезвию его сердце, с его уст сорвался дикий вопль, он вскинул руки в жесте смятения и страдания. Потом внезапно зарычал, как обезумевший зверь, и принялся злобно колотить по стене кулаками.

Объяснить свое смятение Джордж бы не мог, однако теперь он с невыразимой уверенностью ощущал присутствие демона неуклонного отрицания, который обитал повсюду во вселенной и вечно вел свою работу в сердцах людей. Это был хитрый, коварный обманщик, насмешник над жизнью, бичеватель времени; и человек, видящий все великолепие и трагическую краткость своих дней, склонялся, будто тупой раб, перед этим вором, который лишил его всей радости, удерживал хоть недовольным, но покорным, во власти своего злобного чародейства. Джордж повсюду видел и узнавал мрачный лик этого демона. Вокруг него на улицах постоянно кишели легионы нежити: они набивали брюхо соломой, жадно глядели голодными глазами на прекрасную еду, видели, что она их ждет, что на громадных плантациях земли щедро поднялся золотой урожай, однако никто не хотел протянуть руку за тем, что предлагалось ему, у всех брюхо было набито соломой, и никто не хотел есть.

О, им было бы легче сносить свое отвратительное поражение, если б они сражались насмерть с беспощадной, неодолимой судьбой, которая лишила их жизни в кровавом бою, перед которой они теперь безнадежно лежали мертвыми. Но умирали они как порода тупых, ошеломленных рабов, раболепствовали ради корки хлеба, находясь перед громадными столами, ломящимися от возделенной еды, которую не смели брать. Это было невероятно, и Джорджу казалось, что над этими кишачными ордами в самом деле есть некий злобный, насмешливый правитель, который управляет ими, словно марионетками в страшной комедии, издеваясь над их бессилием, бесчисленными иллюзиями какой-то бесплодной силы.

Значит, и он принадлежит к этой отвратительной породе голодных полулюдей, которые хотят еды и осмеливаются взять только шелуху, постоянно ищут любви и оскверняют ночь

непристойным блеском множества скучных забав, жаждут радости и дружбы, однако же с тупым, нарочитым упорством отравляют свои вечеринки ужасом, позором, ненавистью? Неужели он принадлежит к этой проклятой породе, которая говорит о своем поражении и, однако же, никогда не сражалась, которая тратит свое богатство, чтобы культивировать пресыщенную скуку и, однако, никогда не обладала энергией или силой добиться удовлетворения, не обладала смелостью умереть?

Значит, он принадлежит к этому кругу жалких рабов, которые, немощно рыча, идут унылым путем к смерти, ни разу не утолив голода, не избежав горя, не познав любви? Значит, он должен принадлежать к пугливой, несуразной породе, которая не дает воли своей мечте и украдкой утоляет похоть за углом, в неуклюжих корчах на узкой кушетке или, трепеща, на скрипучей койке дешевого отеля?

Должен быть таким, как они, вечно таящимся, вечно осторожным, робким, трепещущим, и ради чего, ради чего? Чтобы юность томилась, никла, переходила с горьким недовольством в седую, дряблую старость, чтобы ненавидела радость и любовь, потому что хотела их и не смела обладать ими, и все равно была осторожной, нерешительной, сдержанной.

И ради чего? Ради чего им сберегать себя? Они берегут свои жалкие жизни, чтобы лишиться их, морят голодом свою жалкую плоть, чтобы она сгнила в могиле, обманывают, ограничивают, дурачат себя до самого конца.

Джордж вспомнил горькое, отчаянное обвинение Эстер: «Глупец! Жалкий, безумный глупец! Ты отвергаешь самое прекрасное, что только может у тебя быть!».

И тут же осознал, что она сказала правду. Он ходил по улицам ночью, днем, сотни давно прошедших, безжалостно убитых часов, вглядываясь в лица множества людей, смотрел, есть ли у какой-нибудь женщины хоть капля ее очарования, хоть проблеск ее великолепия, радости и благородной красоты, сквозящих в каждом ее жесте, каждом выражении лица, и ни разу не видел такой, чтобы могла сравниться с Эстер: все по сравнению с нею были тусклыми, безжизненными.

И теперь свирепая ненависть, которую испытывал Джордж, браня Эстер во время их ожесточенной ссоры, десятикратно усилилась и обратилась на него самого, на людей на улицах. Потому что он сознавал, что предал ее любовь, ополчился на нее, отдал ее робким, трусливым рабам и тем самым предал свою жизнь, отдал равнодушной смерти.

Эстер сказала ему со страстным негодованием и мольбой: «Как думаешь, зачем я все это делаю, если не люблю тебя? Зачем прихожу изо дня в день, стряпаю для тебя, убираю за тобой, выслушиваю твои оскорбления и гнусные ругательства, бросаю работу, оставляю друзей, не ухожу, когда ты собираешься меня прогнать, если не люблю тебя?».

О, Эстер сказала правду, истинную, чистую правду. С каким умыслом, лукавым, тайным, коварным умыслом эта женщина три года щедро изливала на него любовь и нежность? Почему она провела десять тысяч часов с ним, оставляя роскошь и красоту своего дома ради неимоверного хаоса его убогого жилища?

Джордж огляделся вокруг. Почему она приходила ежедневно в сумасшедший беспорядок этой громадной комнаты, в которой, казалось, какие бы терпеливые усилия ни прилагала Эстер, чтобы содержать ее в порядке, волнение и неистовство его духа поражали все, как молния, поэтому все вещи – книги, рубашки, воротнички, галстуки, носки, грязные кофейные чашки с раскисшими окурками, открытки, письма пятилетней давности и счета из прачечной, студенческие сочинения и грозящие падением стопы листов его собственной рукописи, блокноты, драная шляпа, штанина от кальсон, пара потрескавшихся, стоптанных ботинок с зияющими дырами на подошвах, Библия, Бертон, Кольридж, Донн, Катулл, Гейне, Джойс и Свифт, десяток толстых антологий пьес, стихов, очерков, рассказов и старый, потрепанный

словарь Вебстера, сложенные в шаткие стопы или разбросанные неровным полукругом возле кровати, присыпанные табачным пеплом, брошенные раскрытыми страницами вниз перед тем, как отойти ко сну, – представляли собой хаотичную смесь пыли и хлама последних десяти лет. Тут были газетные вырезки, обломки и сувениры из его поездок по многим странам, которые он не мог выбросить, при взгляде на большую их часть его охватывала скука, и все они, казалось, были брошены в этот невероятный беспорядок со взрывной силой.

Почему эта утонченная, разборчивая женщина ежедневно приходила в дикий беспорядок этой громадной комнаты? Чего надеялась добиться от него тем, что льнула к нему, любила его, щедро расточала на него свою неистощимую нежность, несмотря на все упреки, обиды, оскорбления, которыми он осыпал ее, поддерживала его со всей энергией своей неукротимой воли?

Да – почему, почему? Джордж задавался этим вопросом с холодным, нарастающим неистовством отвращения к себе. Что за непостижимый тайный умысел мог быть у нее? Где коварное вероломство, сводившее его с ума множеством гнусных подозрений? Где хитроумная ловушка, которую она ему подготовила? Что за сокровища она домогалась, какое бесценное достояние хотела у него похитить, что за смысл и цель были у всех этих силков любви?

Что же в нем притягательного? Огромное богатство и высокое положение в обществе? Гордое звание преподавателя на огромном, многолюдном образовательном конвейере, высокая честь, которую он делил почти с двумя тысячами пугливых, озлобленных, серых людишек? Его редкостная культура, выдающаяся способность говорить изнуренным машинисткам и желчным, дурно пахнущим молодым людям с резкими голосами о «высших ценностях», «широких взглядах», «здоровой, глубокой и всеобъемлющей точке зрения»? Тонкое, благожелательное восприятие, необходимое, дабы разглядеть истинную красоту их унылых, косных, вялых умов, перлы, сокрытые в занудной безграмотности их сочинений, увлекательность и жар, пронизывающие «Самый волнующий миг моей жизни» или простые, глубоко волнующие истины в «Моем последнем году в школе»?

Или же ее очаровали его элегантность, изысканность костюма, утонченное, неотразимое обаяние манер, несравненная красота его лица и телосложения? Грациозное, небрежное достоинство, с каким покрывали его колени и зад эти наряды, старые, пузырящиеся брюки, сквозь которые, надо признать, его задние прелести сверкали неземной белизной, но которые, несмотря на это, он носил с такой светской безупречностью, с такой уверенностью и непринужденностью? Изящество, с каким он носил свой пиджак, элегантный «мешок на трех пуговицах», из которых уцелела одна верхняя, эффектно украшенный следами прошлогоднего бифштекса с соусом? Или его нескладное тело, над которым потешаются уличные мальчишки, подскакивающий, стремительный, широкий шаг, массивные, покатые плечи, болтающиеся руки, копна нечесаных волос, слишком маленькое лицо и слишком короткие для его грузного тела ноги, выставленная вперед голова, выпяченная нижняя губа, угрюмый взгляд исподлобья? Эти его достоинства прельстили светскую даму?

Или она оценила что-то иное – нечто тонкое, благородное, глубокое? Великую красоту его души, мощь и яркость «таланта»? Увлелась им потому, что он «писатель»? Вспыхнув в сознании, это слово заставило его конвульсивно скорчиться от стыда, явило мучительную картину тщетности усилий, отчаяния, ложных претензий. И внезапно он увидел себя членом огромной убогой армии, которую презирал: армии жалких, пустых графоманов, никому не известных обидчивых юнцов, считавших свои души до того возвышенными, чувства до того тонкими, таланты до того изысканными и своеобразными, что грубый, вульгарный мир не способен их понять.

Джордж знал их вот уже десять лет, слышал их разговоры, видел их жалкую надменность,

их немощное позерство и подражательство, и они вызывали у него отвращение своей безнадежной беспомощностью, поражали сердце серым ужасом неверия и отчаянной бессмысленности. А теперь, в единый миг слепящего стыда, они явились язвить его ужасающим откровением. Бледные, бездарные, немощные, озлобленные они нахлынули несметной ордой, бесясь от мучительного недовольства, злобясь на непризнание их талантов, насмехаясь с заливистым презрением над способностями и достоинствами более сильных и одаренных людей, неуверенно утешая себя смутной верой в таланты, которыми не обладали, слегка опьяненные туманными планами творений, которые никогда не завершат. Он видел их всех – жалких рапсодов из джаза, примитивных Аполлонов, модернистов, гуманистов, экспрессионистов, сюрреалистов, неопримитивистов и литературных коммунистов.

Джордж вновь услышал их давно знакомые слова жульнического притворства, и внезапно ему открылся в них окончательный приговор собственной жизни. Разве он не хмурился, не мрачнел, не плакался на недостаток того, отсутствие этого, на какие-то препятствия, мешавшие его гению раскрыться в полной мере? Не сетовал на отсутствие некоего земного рая, в чистом эфире которого его необычайная душа могла бы торжествуяще воспарить к великим свершениям? Разве не было солнце этой низкой, отвратительной земли слишком жарким, ветер слишком холодным, перемены погоды слишком грубыми для его нежной, чувствительной кожи? Разве злобный мир, в котором он жил, люди, которых он знал, не были преданы низкому стяжательству и презренным целям? Разве этот мир не был равнодушным, убогим, безобразным, губительным для души художника, и если бы он перенесся под иные небеса – о! если бы он мог перенестись под иные небеса! – разве там душа его не преобразилась бы? Разве бы он не расцвел в ярком свете Италии, не стал бы великим в Германии, не распустился бы, подобно розе, в ласковой Франции, не обрел бы уверенности и красоты в старой Англии, не осуществил бы полностью своего замысла, если бы только мог, как тот эстет-беженец из Канзаса, с которым он познакомился в Париже, «поехать в Испанию, немного пописать»?

Разве он месяцами, годами не отлынивал от работы, не тратил попусту время, не давал себе потачки и не корчил из себя труженика, совсем, как они? Не проклинал мир, равнодушный к его выдающимся талантам, не съедал плоть свою в озлобленности, не глядел в окно с мрачным видом, отлынивая от работы и тратя попусту время – и чего добился? Написал книгу, которую никто не опубликует.

А она – превосходная, выдающаяся художница, яркий, тонкий и несомненный талант, искусная, уверенная, сильная женщина, которая работала, творила, создавала – терпела все это, заботилась о нем, оправдывала его нерадивость и верила в него. Все время, пока он бранился и жаловался на трудности жизни, потакал своим капризам, хныкал, что не в силах писать из-за утомительной работы в Школе, эта женщина титанически трудилась. Вела хозяйство, заботилась о семье, строила новый дом за городом, была ведущим модельером у фабриканта одежды, постоянно совершенствовалась в своем искусстве, изготовила декорации и костюмы для тридцати спектаклей, выполняла дневной объем работы утром, пока он спал, и, однако же, находила силы и время приехать к нему, приготовить обед и провести с ним восемь часов.

Это внезапное осознание неукротимого мужества и энергии Эстер, трудолюбия, спокойного самообладания во всех решительных поступках и мгновениях ее жизни по контрасту с пустотой, безалаберностью, сумбурностью его собственной, поразило Джорджа стыдом и презрением к себе. И словно немое свидетельство этого контраста ему неожиданно открылась противоположность разных частей комнаты. В той, где обосновался он, царил жуткий хаос, а в углу возле окна, где стоял стол, за которым работала Эстер, все было опрятно, прибрано, четко разложено, готово к работе. На чистых белых досках стола были закреплены кнопками хрусткие листы чертежной бумаги, покрытые эскизами костюмов, все эскизы так

изобиловали неукротимой, живой энергией, утонченной, меткой уверенностью, что мгновенно оживотворялись не только всем ее несомненным талантом, но жизнью персонажей, для которых были созданы. Инструменты и материалы, которые она так любила и которыми пользовалась с таким чудесным мастерством, были разложены справа и слева в идеальном порядке. Там были тюбики и коробки с красками, гонкие кисточки, логарифмическая линейка, блестящий циркуль, длинные, остро очинённые карандаши, а за столом свисали с гвоздей в стенах рейсшина, измерительная линейка и треугольник.

И теперь каждая принадлежащая ей вещь, каждый след ее жизни в этой комнате неистово укоряли Джорджа своим видом, вызывая у него невыносимое раскаяние. В своей неподвижности они были непреклоннее и неотвратимее, чем черное сонмище мстительных фурий, какие только угрожали с мрачных, роковых небес бегущему от них человеку, красноречивее, чем трубный глас возмездия. Их немое, повсеместное присутствие рисовало воображению картину ее жизни, более полную и завершённую, чем подробная хроника двадцати тысяч дней, оно вело золотой нитью в неистовое смешение времен и городов. Соединяло Эстер со странным, ушедшим в прошлое миром, который был неведом Джорджу.

Побуждаемый мучительным желанием понять, постичь ее, сродниться с нею, извлечь все подробности ее прошлого из бездонной пропасти времени и безжалостного забвения нью-йоркской жизни, слиться с ним, срастись целиком и полностью со всем, что она видела, знала, чувствовала, разум его, подобно зверю, углубился в джунгли былого, выискивая окончательные пределы и малейшие скрытые оттенки смысла каждого случайного слова, каждого рассказа, эпизода, мгновения, каждого зрелища, звука, запаха, которые он со всей своей неутолимой жаждой неустанно извлекал из ее памяти в течение трех лет. Он плел эту ткань, словно остервенелый паук, покуда два мира, две жизни, две участи, предельно удаленные друг от друга, не соткались воедино таинственным чудом судьбы.

У нее в прошлом – оживленные улицы, неистовые людские потоки, сумятица больших городов, грохот копыт и колес по бульжнику, тронутые временем фасады больших темных особняков.

У него – уединенные жизни людей из глуши, которые в течение двухсот лет видели тени туч, проплывающие по густой зелени дебрей, погребенные останки которых лежат по всему континенту.

У нее – воспоминания о знаменитых именах и лицах, бурление толп, ликующий полуденный шум больших городов, топот солдат на больших парадах, громкие возгласы играющей на улицах детворы, люди, глядящие вечерами из раскрытых окон старых особняков.

У него – буйные ветры, завывающие ночами в холмах, скрип окоченелых кустов под зимней вьюгой, большие, багряные холмы, уходящие вдаль, в пределы смутных, безграничных мечтаний, нарушаемый ветром звон колокола, гудок паровоза, уносящегося в синие распадки и ущелья, ведущие на Север и Запад.

У нее – забытые, весело несущиеся над Манхеттсом клубы дыма, горделиво рассекающие воду суда, портовый город, пресыщенный торговлей и путешествиями. У нее – шелка, нежное белье, старая мебель красного дерева, мерцание выдержанных вин и массивного старого серебра, отборные деликатесы, бархатистые спины и горделивая демонстрация холеной, роскошной красоты, живописные маски и мимика актерских лиц и бездонная глубина их глаз.

У него – свет керосиновой лампы в тесной зимней комнате с закрытым ставнями окном, запах нафталина и яблок, мерцание и распад пепла в камине и пепел времени в голосе тети Мэй, в голосе торжествующих над смертью Джойнеров, протяжно повествующем о смерти, скорби, о греховности и позоре жизни его отца, призраки Джойнеров, живших сто лет назад в этих холмах.

Когда еще все элементы огня и земли, из которых он состоит, еще бродили в бурной крови тех, от кого он произошел, она уже ходила ребенком по улицам этого города. Когда он еще только появился в утробе матери, она была уже девочкой-подростком, лишенной родительской любви, познавшей горе, утрату, горечь, обнадеживающе стойкой. Когда он, еще двенадцатилетний мальчишка, лежал в траве перед дядиным домом, погружаясь в мечтания, она, уже женщина зрелых чувств и зрелой красоты, лежала в объятиях мужа. И когда он еще юношей видел мысленным взором вдали восхитительные башни легендарного города и нутром чувствовал радость, несомненность славы, любви, могущества, которых добьется там, она была женщиной, всецело обладающей могуществом, не знающей смятения, уверенной в своих силе и таланте.

Так память его сновала челноком по нитям судьбы, пока не соткала их жизни воедино.

И наконец он понял, что этот отважный, стойкий дух, уверенный в своей силе, в способности восторжествовать, впервые столкнулся с тем, чего не мог ни принять, ни одолеть, и стал сражаться неистово, с отчаянной и жалкой яростью, словно против невыносимой личной несправедливости, с общим непобедимым врагом всех людей – уходом юности, утратой любви, наступлением старости, усталости, конца. Эта непререкаемая, жестокая неизбежность и была тем, чего Эстер не хотела принять, и от чего невозможно было спастись. Жизнь ее разбивалась о железный лик этой неизбежности. Эта безмолвная, неумолимая неизбежность постоянно присутствовала в их отвратительной, безобразной войне друг с другом, нависала над ними с ужасным приговором часов, неостановимым роком времени. Была безмолвна при их словах злобных оскорблений и упреков, безмолвна перед любовью и ненавистью, верой и безверием, и лик ее был мрачным, застывшим, категоричным.

Эстер не хотела уступать этой неизбежности, не признавала справедливости судьбы, о которой говорил этот лик. И когда Джордж осмыслил эту отчаянную, бессмысленную борьбу, сердце его защемило от неистовой жалости к ней, ибо он знал, что Эстер права, как ни фатальна, ни всеобща эта участь. Знал, что Эстер права, будет права, если сойдет в могилу с проклятием неистового отрицания на устах, потому что такие красота, мужество, любовь и сила, как у нее, не должны стареть, не должны умирать, что правда на ее стороне, как бы ни был неизбежен триумф этого всепожирающего, всепобеждающего врага.

И когда Джордж это понял, в сознании у него возник образ всей человеческой жизни на земле. Ему представилось, что вся жизнь человека похожа на крохотный язычок пламени, кратковременно вспыхнувший в безграничной, ужасающей тьме, и что все человеческое величие, трагическое достоинство, героическая слава исходят из этой крохотности и краткости, что его свет мал и обречен на угасание, что лишь тьма огромна и вечна, что он погибнет с вызовом на устах, и что с последним ударом сердца издаст возглас ненависти и отрицания в пасть всепоглощающей ночи.

И тут вновь отвратительный, невыносимый стыд возвратился, стал мучить его ненавистью к собственной жизни, ему казалось, что он предал единственное воплощение преданности, силы, уверенности, какое только знал. И предав его, не только опозорил жизнь, плюнул в лицо любви, отдал единственную женщину, которая любила его, ненавистным легионам обитающей в клоаке нежити, но предал и себя, сговорился с нежितью относительно собственного крушения и поражения. Ибо если его сердце отравлено до самых глубин, мозг извращен безумием, жизнь погублена, осквернена, кто виноват в этом, кроме него самого?

Люди мечтают вдалеке, в маленьких городках, и воображение рисует им замечательную картину этого мира, всей силы и славы, какими обладает этот город. Так было и с ним. Он приехал сюда, подобно всем молодым людям, с радостью и надеждой, с твердой верой, с убежденностью, что у него достанет мощи, дабы восторжествовать. У него хватало силы, веры,

таланта, чтобы добиться всего, нужно было только вести себя по-мужски, сохранять те же благородство, смелость, веру, какие были у него в детстве. И посвятил он жизнь достойно и мужественно этой цели? Нет. Он плюнул на славу, которая шла ему в руки, предал любовь, отдал, будто хнычущий раб, свою жизнь в руки другим рабам, и вот теперь, подобно им, насмеяется над своей мечтой как над грезами провинциала, предаст пыл и веру юности дурацкому осмеянию, притворному, бессмысленному, невеселому.

И ради чего? Ради чего? Он говорил Эстер о «стыде», который испытывает из-за нее. Из-за чего он мог испытывать стыд хотя бы на секунду, если не считать грязных оскорблений и обид, которыми осыпал ту, которая любила его, которую он любил? Испытывал стыд! Господи! Из-за чего – и перед кем? Должен он, опустив голову, торопливо проходить мимо всех глядящих на него серолицых ничтожеств на улице?

Они говорят! Они говорят! Они! Они! Они! А кто они такие, чтобы он прислушивался к их разговорам на улице или принимал во внимание их ублюдочную светскость? Они! Они! Кто они такие, чтобы он предавал Эстер, эту прекрасную женщину, превосходную художницу, истинную аристократку в угоду какой-то вульгарной шлюхе, или выскочке, который паясничает и бахвалится в пропахшем дешевыми духами продажном обществе? Испытывает стыд! Оправдывается! И перед кем! Господи, неужели он должен сникать перед аристократической надменностью благовоспитанных старых принстонцев, ежиться перед презрительно раздувающими ноздри доблестными членами Молодежной лиги, сносить с пылающим лицом насмешливые, пренебрежительные взгляды молодых зазнаек из Гарвардского клуба, раболепствовать перед высокородными наследниками Хейса и Гарфилда, подлецами, которые еще не выдохнули из ноздрей отвратительный запах мошенничеств, которые совершали их отцы? Или корчиться от стыда, упаси Боже, под самодовольными, ироническими взглядами какого-нибудь обозревателя из «Сатердей ревью», носителя утонченной старой культуры пошлости и вульгарности, перед насмешливо шепчущимися и подталкивающими друг друга локтями жалкими подлизами и пресмыкающимися ничтожествами из Школы прикладных искусств?

Они! Они! К кто такие *они!* Обезьяны, крысы, попугаи, боящиеся собственного неверия, жалкие уличные циники, которые с подмигиванием и понимающими усмешками пересказывают свои мелкие, гнусные сплетни. *Они!* Жалкие провинциалы из маленьких городишек, которые ехидничают, зубоскалят и повторяют расхожие, затверженные непристойности. *Они!* Ничтожные, беспомощные учительши из Школы прикладных искусств, никчемные писаки, у которых нет ни сердца, ни мужества для откровенности, для какого бы то ни было живого чувства, милосердия, любви или крепкой веры, которые могут разойтись от глотка дрянного джина, хихикать и перешептывать вновь и вновь какую-то гнусную сплетню об актрисе-лесбиянке, поэте-гомосексуалисте или грязный слушок о знаменитости, ради знакомства с которой они согласились бы есть навоз.

Они! Они! А что, разве он сам лучше какого-то тупого раба, который подмигивает, кивает с понимающей усмешкой, жадно проглатывает ложь и мерзость, которые выдумал для него более хитрый подлец, и говорит при этом: «Конечно, я знаю! Я-то знаю! Мне можете не рассказывать!.. Я знаю! Чему здесь удивляться?.. Да-а!» – хотя этот жалкий дурачок невежествен и глуп от рождения.

Да, он ежился и робел под взглядами таких людей, однако предки его были настоящими мужчинами, они жили в делях и не ежились, не робели ни под чьим взглядом. Неужели на земле не сохранилось их духа? И внезапно он понял, что этот дух жив. Что этот дух живет в воздухе, которым он дышит, что он по-прежнему присущ человеку, все такой же подлинный и яркий.

Разве до него десять миллионов людей не приносили свои силы, таланты, волшебные сказки юности в этот город? Разве не слышали своих ненавистных шагов по железным лестницам, по кафельным вестибюлям, разве не видели суровых, безжизненных глаз, не выслушивали холодных, сухих приветствий тех людей, у которых купили пристанище в своих крохотных камерах? Разве они с пылающими сердцами, со жгучей жаждой своего одиночества не бросались из этих камер обратно на улицы? Разве с диким взором, в отчаянии, в бешенстве не носились по жутким улицам, где не было ни поворота, ни просвета, ни места, куда они могли бы войти, не оглядывали множества лиц с отчаянной надеждой, а потом возвращались в свои крохотные камеры, сбитые с толку соблазнительными иллюзиями изобилия и многоцветия этого города, жестокой загадкой одиночества человека среди восьми миллионов, бедности и отчаяния в средоточии огромных могущества и богатства?

Разве они не бранились по ночам в темноте своих комнатушек, не рвали конвульсивно простыни, не били кулаками о стену? Разве не видели множества надругательств над жизнью на ночных улицах, не ощущали отвратительного запаха чудовищных привилегий, не наблюдали косога взгляда преступной власти, усмешку продажной и равнодушной силы, не сходили с ума от стыда и ужаса?

И, однако, не все очерствели сердцем, обрели безжизненный взгляд или стали устало повторять бессмысленные речи нежити. Не все обезумели в отчаянии от поражения. Ибо многие видели ошеломляющие, несметные жестокости этого города, возненавидели его, но не ожесточились. Кое-кто проникся милосердием на его мостовых, обрел в маленькой комнатушке любовь, нашел в неистовом шуме улиц все великолепие земли и апреля, а кое-кто тронул каменное сердце города, открыл чистый источник, исторг из его железной груди величайшую музыку, какую только знала земля. Они в страданиях познали тайну его суровой души, силой и пылкостью своей добились от города того, о чем мечтали в юности.

Разве нет людей, которые уверенно ходят по улицам жизни, знают в ежедневных трудах невзгоды, борьбу, опасность и, однако же, по вечерам со спокойным взглядом опираются о свой подоконник? Разве нет людей, которые в горячке и сверкании неистового полудня оглашают воздух крепкими, хриплыми ругательствами с сидений грузовиков, правя ими умелыми руками в перчатках на полной скорости, глядят демоническим взглядом соколиных глаз на рельсы, громко отдают команды загорелым, потным рабочим, которые во всю пьют, дерутся, распутничают, объедаются и все же остаются в душе прекрасными и добрыми, исполненными горячей крови и неудержимой пылкости живых людей?

И при мысли о них мир оживился прекрасным существованием мужчин и женщин, которые силой вырвали радость и пылкость у мира, подобно тому, как вся его большая комната оживлялась жизнью Эстер. Память о ее маленьком, горько обиженном лице пораженного изумлением и горем ребенка, чье веселье и любовь внезапно были сокрушены одним ударом, вернулась и вонзилась в его сердце беспощадным, мстящим лезвием.

Но теперь его жизнь так запуталась, закружилась в этой дикой пляске безумия и отчаяния, любви и ненависти, веры и неверия, неистовой ревности и горького раскаяния, что он уже не сознавал, где правда, а где ложь в его проклятиях, молитвах, самопорицаниях, в здравом уме он или безумен, отравлены его душа и плоть злобой или нет. Сознавал только, что, какими бы ни были его мысли, истинными, ложными, чистыми, грязными, юношескими, старческими, добрыми или злыми, Эстер укоренилась в его жизни и необходима ему.

Он ударил себя по лицу кулаком, издал дикий, неопикуемый крик и устремился из комнаты, из дома на улицу искать Эстер.

40. ПОГОНЯ И ПОИМКА

Внезапно Эстер увидела его словно бы обезьянью тень, несущуюся по тротуару. В свете яркого апрельского солнца тень мчалась за ней, туловище и длинные руки мотались из стороны в сторону, ноги высоко взлетали в их причудливом шаге, сердце у нее екнуло и заколотилось, мучительно и радостно. Но она не обернулась к нему, упрямо опустила голову и ускорила шаг, словно бы не замечая его. Тень поравнялась с ней, обогнала ее, но Эстер по-прежнему не смотрела на Джорджа, а он не произносил ни слова.

В конце концов Джордж схватил ее за руку и суровым от стыда и настойчивым голосом заговорил:

– Что это с тобой? Куда ты? В чем дело, черт возьми?

– Ты велел мне уходить, – ответила она с оскорбленным достоинством и попыталась высвободить руку. – Сказал, чтобы я ушла от тебя и больше не появлялась. Ты прогнал меня. Дело в тебе.

– Возвращайся, – сказал он с гнетущим стыдом и остановился, словно собираясь повернуть ее и направить в обратную сторону.

Эстер вырвалась и пошла дальше. Губы ее тряслись, и она не произносила ни слова.

Джордж постоял, глядя на ее удаляющуюся фигуру, в его нарастающем стыде и гневной растерянности снова неожиданно пробудилась черная ярость, и он погнался за Эстер с безумным криком:

– Вернись! Возвращайся, черт побери! Не позорь меня перед прохожими! – Схватил ее за руку и зарычал: – Не реви! Прощу, умоляю, не реви!

– Я не реву! – ответила она. – И не позорю тебя! Ты сам себя позоришь!

Несколько человек остановились и уставились на происходящее, заметив их, Джордж повернулся к ним и рявкнул:

– Это не ваше дело, гнусные ротозеи! Чего пялитесь?

Потом, угрожаясь повернувшись к Эстер, хрипло заговорил с искаженным лицом:

– Ну, видишь? Видишь, что натворила! Они глазают на нас! Черт возьми, у них прямо слюнки текут – вон облизывают свои поганые губы! И ты радуешься этому! – перешел он на крик. – Чувствуешь себя на седьмом небе! На все готова, лишь бы при влечь к себе внимание. На все, лишь бы опозорить, обесчестить, унижить меня!

И потащил ее за руку в обратную сторону так быстро, что ей приходилось бежать.

– Пошли! – сказал он отчаянным, умоляющим тоном. – Пошли, ради Бога! Ты бесчестишь меня! Прощу тебя, пошли!

– Иду. Иду, – ответила она, и по лицу ее заструились слезы. – Ты сказал, что не хочешь меня больше видеть.

– Ну-ну, поплачь! Хны-хны-хны! Полей глицериновые слезы!

– Нет, слезы настоящие, – сказала Эстер с достоинством.

– О, и-и-и! О, а-а-а! О, горе мне! Ой-ой-ой! Поиграй на публику! Добейся ее сочувствия!

Внезапно Джордж разразился неистовым, безумным смехом, повернулся и заорал на всю улицу, приглашая размахивая руками:

– А ну, подходи, ребята! Мы сейчас увидим первоклассное представление! Дает его одна из лучших актрис экспериментального театра, цена всего пять центов, одна двадцатая доллара!

Он умолк, глянул на Эстер и злобно выкрикнул:

– Ладно! Твоя взяла! Мне до тебя далеко!

– Я не играю на публику, – сказала она. – Играешь ты!

– С таким славным, изящным, румяным личиком? Это твой очередной трюк? Пускаешь посреди улицы слезы по своему чистому, прелестному, женственному личику!

– На публику играешь ты, – повторила Эстер. Внезапно остановилась и поглядела на Джорджа, лицо ее было красным, губы кривились. Потом сказала негромко, презрительно, словно произнося самое страшно оскорбление: – Знаешь, как ты себя ведешь? Так вот, скажу. Как христианин!

– А ты как еврейка! Треклятая, хитрая еврейская Иезавель!

– Помолчал бы о евреях, – сказала она. – Мы слишком хороши для тебя, вот и все. Ты ничего не знаешь о нас и со своей подлой, низкой душонкой до конца жизни не сможешь понять, какие мы.

– Понять! – воскликнул он. – О, я кое-что понимаю! Не такие уж вы изумительные и загадочные, как думаете! Значит, мы слишком подлые и низкие, чтобы понять, до чего вы благородны и замечательны? Тогда скажи, – выкрикнул он взволнованным, воинственным голосом, – почему, если мы такие низкие, вы не держитесь своих соплеменников? Почему каждая из вас стремится подцепить христианина? Скажешь мне? А?

Возбужденные новым спором, они снова встали лицом к лицу посреди тротуара, покрасневшие, озлобленные, не обращая внимания на прохожих.

– Нет-нет, – твердо заговорила Эстер протестующим тоном, – не смей так говорить. Это неправда, сам знаешь!

– Неправда! – воскликнул Джордж с неистовым, возмущенным хохотом, ударил себя ладонью по лбу и умоляюще воздел руки к небу. – Неправда! Господи, женщина, как ты можешь смотреть мне при этом в лицо? Знаешь ведь, что правда! Черт возьми, вы все, и мужчины, и женщины, будете ползать на четвереньках – да! – унижаться, пресмыкаться, хитрить, пока не заполучите в свои когти христианку или христианина!.. Черт возьми! К этому должно было прийти! – И он рассмеялся злобно, безумно.

– Прийти к чему? – спросила Эстер с гневным смехом. – Господи, да ты помешался! Большею частью сам не сознаешь, что говоришь. Открываешь рот, и слова вылетают сами!

– Отвечай! – хрипло потребовал он. – Это неправда? Прекрасно знаешь, черт возьми, что правда!

– Я уйду! – воскликнула она высоким, взволнованным голосом. – Ты снова начинаешь! Я сказала, что больше не стану слушать твои мерзости!

Она вырвала у него из пальцев руку и с пылающим, гневным лицом пошла прочь.

Джордж тут же догнал ее, остановил, мягко, крепко взяв за кисть руки, и заговорил негромким, умоляющим голосом:

– Оставь! – сказал он, стыдясь себя и стараясь скрыть это смехом. – Пошли обратно! Я это не всерьез. Неужели не понимаешь, что я просто шутил? – И снова громко засмеялся.

– Да! Блестящий шутник! – сказала она с презрением. – Если б кто-то проломил еврею голову, ты счел бы это замечательной шуткой!.. Знаю! Знаю! – продолжала она возбужденно, чуть ли не истерично. – Можешь ничего не говорить. Ты всегда оскорблял нас. Ты нас до того ненавидишь, что никогда не сможешь понять!

Джордж тупо, бессмысленно глянул на нее налитыми кровью глазами, в которых огоньки любви и ненависти, убежденности и недоверия, здравомыслия и безумия мгновенно слились в единое пламя, сквозь которое дух проглядывал затравленно, словно нечто, пойманное в ловушку, ошеломленное, отчаянное, измученное, недоумевающее. И вдруг, в тот самый миг, когда услышал ее слова, исполненные горестного возмущения, он ясно увидел ее лицо, маленькое, покрасневшее, горько обиженное.

И тут с возвратившимся сознанием своей непростительной несправедливости он понял, что

она сказала правду, что он в неистовой вспышке раздражения и мстительности сказал то, чего говорить не собирался, использовал слова как смертоносное оружие с единственной целью уязвить ее, слова, которые не мог взять обратно или загладить. Его вновь охватила волна невыносимого стыда, отчаяние поражения заполнило его сердце. Казалось, он настолько оказался во власти безумия, что не мог хотя бы на пять минут сохранить чистого, слабого порыва. Тот порыв, который погнал его на поиски Эстер, исполненный страстного раскаяния, веры, твердой убежденности, оказался забыт с первыми же сказанными ей словами, он вновь унизил ее и себя гнусным, ядовитым потоком грязных оскорблений и ругани.

Стыдясь смотреть Эстер в лицо, Джордж поглядел на улицу и отчетливо увидел ее в подлинном свете – неприглядную, угловатую из-за хаотичной архитектуры, неотделанные, выступающие фасады новых зданий, неопрятную тусклость старых, ноздреватые парапетные плиты, ржавые пожарные лестницы, закопченные склады, редкие яркость и великолепие старого красного кирпича и более спокойного времени. То была обыкновенная американская улица, какие он видел множество раз, без поворота, без покоя, без просвета, без спланированной гармоничности.

Они стояли под стройным деревом, одним из немногих на улице; оно росло на сиротливом клочке земли между старым кирпичным домом и серым тротуаром; сквозь тонкие ветви, покрытые свежей листвой, солнце бросало пляшущие блики на широкие поля шляпки Эстер и яркую зелень ее платья, на прямые, узкие плечи. Лицо ее, красное от обиды, походило на странный, прекрасный цветок под шляпкой, на нем были смешаны выражения, которые Джордж видел уже множество раз – детских прямооты, гордости, бесхитростности, детской огорченной, озадаченной невинности; и всей неизбывной печали женщин ее национальности.

Джордж глядел на нее, и сердце у него сжималось от нежности, от желания обнять ее, приласкать. Он медленно протянул руку, коснулся ее пальцев кончиками своих и негромко сказал:

– Нет, Эстер, я не питаю к тебе ненависти. Я люблю тебя больше жизни.

После этого, взявшись под руки, они повернулись и пошли обратно к нему. И все у них было, как всегда.

41. ПЛЕТЕЛЬЩИК СНОВА ЗА РАБОТОЙ

Джордж неподвижно стоял спиной к Эстер, расставив ноги и опираясь руками о нагретый солнцем каменный выступ за окном. Выставя втянутую в плечи голову, он хмуро оглядывал улицу. Нежные лучи апрельского солнца освещали его голову и плечи, в лицо ему веял легкий ветерок, а позади него хрустко шелестели листы кальки. То был уже другой день.

Хмурясь, быстро снимая и надевая старое кольцо – этот жест был обычным для нее в минуты нервозности, раздражения, серьезных размышлений или решений, – Эстер глядела на него с легкой горькой улыбкой, с нежностью, гневом и презрительной насмешливостью.

«Сейчас, – думала она, – я знаю точно, о чем он думает. Несколько вещей во вселенной устроено не к его удовольствию, поэтому он хочет их перемены. А желания его скромны, не так ли? Очень! – злобно подумала она. – Всего-навсего, чтобы и волки были вечно сыты, и овцы целы. Он устал от меня, хочет, чтобы я ушла, оставила его в одиночестве созерцать собственный пупок. И чтобы я оставалась с ним. Я та, кого он любит, его веселая маленькая еврейка, которую он обожает и готов проглотить, и я же порочная девка, которая лежит, поджидая ничего не подозревающих деревенских парней. Я радость и блаженство его жизни и я же зловещая, растленная гарпия, которую силы тьмы призвали загубить его жизнь. А с какой стати? Ну как же, потому что он такой непорочный, безупречный – Господи! Кто смог бы в это поверить! – а все отвратительные, ненавидящие жизнь людишки ночей не спят, строя против него козни. Евреи ненавидят христиан и вместе с тем любят их. Еврейки соблазняют чистых христианских юношей, потому что любят их и хотят погубить, а евреи, циничные и безропотные, смотрят на это и ликующе потирают руки, потому что ненавидят христиан и вместе с тем любят их, хотят их погубить, потому что им приятно видеть, как они страдают, но обожают их, потому что питают к ним огромное сочувствие и жалость, однако помалкивают, потому что получают грязное сексуальное удовлетворение от этого спектакля, и потому, что души у них старческие, терпеливые, они знают, что их женщины были неверны семь тысяч лет, и они должны страдать и терпеть! Плети! Плети! Плети! Он плетет эту паутину своим больным, измученным мозгом день и ночь, в ней даже Энштейну не под силу разобраться – и, однако, думает, что в ней все просто и ясно, как день! Евреи самые щедрые и великодушные люди на свете, на столах у них самая восхитительная еда, но когда они приглашают тебя ее отведать, то ждут, пока ты не начнешь ее глотать, на лице у тебя не появится довольное выражение, а потом скажут что-то бессердечное, коварное, чтобы ты лишился аппетита».

И вновь проникнувшись древним житейским еврейским юмором, она с ироничной улыбкой стала думать:

«Лишился аппетита! Сам знаешь, как *ты* его лишаешься! Ястряпаю для тебя три года, молодой человек, и лишился аппетита ты всего лишь раз, когда уже не мог поднести вилку ко рту! Лишился аппетита! Господи! Ну и наглость у этого парня! Я же видела, как он ест, пока глаза не потускнеют и не полезут на лоб, а потом в течение трех часов в ответ на все, что я скажу, способен только хрюкать, будто свинья! Да! Даже приходя к нам – отвратительным, как говоришь, людям, – ты теряешь аппетит, так ведь? Господи, разве забыть, как он пришел, когда мы все сидели за обедом, и сказал: «Нет-нет, ничего есть не буду! Ничего! Я только что плотно пообедал в «Голубой ленте» и не могу проглотить ни крошки... Ладно, – говорит, – пожалуй, с вашего разрешения, выпью чашечку кофе. Буду пить, пока вы едите». Чашечку кофе! Умора! Три полные тарелки моих фрикаделек, целое блюдо спаржи, миску салата – ты не сможешь этого отрицать, – две порции яблочного пирога – и кофе! Господи, он даже не вспомнил о кофе, пока все не уплел! Бутылку лучшего «сент-жюльена», какой был у Фрица, вот что ты выпил,

мой мальчик, как прекрасно сам знаешь – «пожалуй, выпью стаканчик, Фриц» – выкурил одну из его лучших сигар, выпил два стакана его лучшего бренди! Чашечку кофе! Вот такой была твоя чашечка! Господи! Мы все смеялись до упаду над тем, что сказала Элма после твоего ухода. «Мама, если, по его представлению, это чашечка кофе, я довольна, что он не попросил еще и бутерброд с ветчиной». Даже Фриц сказал: «Да, хорошо, что он не был голоден. Насколько я понимаю, урожай в этом году похуже, чем в прошлом». Мы просто закатывались от смеха над этой чашечкой кофе! И никто из нас не жадничал! При всей своей бессердечности и несправедливости ты не можешь этого сказать. На такую скупость и мелочность способны только вы, христиане».

Эстер поглядела на него с легкой, ироничной улыбкой.

«Чашечка кофе! Не беспокойся, мой мальчик! Свою чашечку кофе ты получишь наверняка! Подожди, вот женишься на какой-нибудь анемичной христианке – она подаст тебе чашечку кофе. Христианского! Две крупинки кофе на ведро помоев! Вот такой кофе ты будешь пить! Да! Кто будет тогда тебя кормить? Кто будет тебе стряпать?»

Эстер задумалась с легкой, злобной улыбкой.

«Какая-нибудь маленькая христианка с нечесаными желтыми волосами, плоскими бедрами и глазами утонувшей кошки... Я знаю, что она будет тебе подавать. Явственно представляю! Консервированный суп из бычьих хвостов, разваренную треску с ложкой этого отвратительного, белого, липкого христианского соуса, ломоть клейкого хлеба, прокисшее молоко и кусок черствого торта, который эта девка купила в булочной по пути домой из кинотеатра. «Ну-ну, Джорджик, милый! Будь хорошим мальчиком. Ты даже не притронулся, дорогой, к вкусному вареному шпинату. Он полезен тебе, лапочка, в нем много необходимого тебе железа. (Какое там, к черту, необходимое железо! Через три месяца он позеленеет от болей в животе и расстройства пищеварения... Ты будешь вспоминать обо мне всякий раз, отправляя кусок в рот!) Нет, скверный мальчик! Бефстроганова больше нельзя. Ты уже три раза ел мясо в этом месяце, за последние три недели, дорогой, съел шесть и три восьмых унции мяса, для тебя это очень вредно. В нем содержится мочевая кислота. Если будешь хорошим мальчиком, лапочка, через две недели позволю тебе съесть баранью отбивную. На все это время я составила тебе превосходное меню. Вычитала его в кулинарных советах Молли Неряхи в «Дейли жуть». О, смак, смак. Смак! У тебя слюнки будут течь, когда увидишь, что я тебе приготовила, дорогой. (Да, и если я его хоть немного знаю, слезы тоже!) Следующая неделя, любимый, у нас будет рыбной. Будем есть только рыбу, лапочка, отлично, правда? (О, да! Словами не выразить.) Молли утверждает, что рыба тебе полезна, ягненочек, организму нужно много рыбы, это пища для мозга, и если мой большой мальчик поработает своим большим замечательным мозгом, обдумает все эти прекрасные мысли, он будет хорошим мальчиком и станет есть много рыбы, как велит мамочка. В понедельник, дорогой, у нас будет импортная венгерская зубатка с куриным кормом, во вторник, лапочка, лонг-айлендская прилипала с желудочным соком, в среду, любимый, копченая селедка а ля Горгонзоля со зловонным салатом, в четверг, милый, у нас будет разваренная треска с подливкой из требухи, а в пятницу – пятница поистине Рыбный День, ягненочек, в пятницу у нас будет... Гадкий мальчишка! Сейчас же перестань *хмулиться!* Не хочу, чтобы *красивое* лицо моего большого мальчика *полтила* эта *плотивная хмулость*. Открой ротик и проглоти столовую ложку этого кипяченого сливового сока. Ну, вот! Лучше стало, правда? Он полезен для твоих внутренностей, дорогой. Утром проснешься в прекрасном самочувствии!».

Гордая, мрачная, покрасневшая, она, быстро снимая и надевая кольцо, смотрела на Джорджа с легкой, задумчивой улыбкой и восхитительным ощущением торжества.

«О, ты будешь вспоминать меня! Еще как будешь! Думаешь, что сможешь меня забыть, но

у тебя ничего не выйдет! Если и забудешь все остальное, поневоле будешь вспоминать меня всякий раз, отправляя в рот христианскую еду!»).

«Плети, плети, плети! – думала Эстер. – Плети, безумный, измученный плетельщик, куда сам не запутаешься в собственной паутине! Не пользуйся тем, что у тебя есть. Сходи с ума, желая того, чего у тебя нет. А чего ты хочешь? Знаешь? Можешь сказать? Имеешь хоть какое-то представление? Быть здесь и не здесь, быть в Вене, Лондоне, Франкфурте и Австрийском Тироле одновременно. Быть одновременно в своей комнате и на улице. Жить в этом городе, знать миллион людей, и жить на горной вершине, знать всего троих-четверых. Иметь одну женщину, один дом, одну лошадь, одну корову, один клочок земли, один населенный пункт, одну страну и так далее, и иметь тысячу женщин, жить в десяти странах, плавать на сотне судов, отведать десять тысяч блюд и напитков, жить пятьюстами разных жизней – и все одновременно! Смотреть сквозь кирпичные стены в миллион комнат, видеть жизнь всех людей, и глядеть мне в сердце, раскрыть мою душу нараспашку, задать мне миллион вопросов, постоянно, до безумия думать обо мне, сходить с ума от мыслей обо мне, воображать обо мне тысячу безумных мерзостей и мгновенно в них верить, съесть меня вместе с потрохами – и забыть обо мне. Иметь сотню идей и планов будущей работы, книг и рассказов, которые собираешься написать, браться за десяток дел и ни одного не заканчивать. Испытывать безумное желание работать, а потом растягиваться на кровати, мечтательно глядеть в потолок и желать, чтобы все исходило из тебя, как эктоплазма, чтобы карандаш сам бегал по бумаге и делал за тебя всю каторжную работу, писал, просматривал, исправлял, становился в тупик, ругался, расхаживал по комнате и бился головой о стену, трудился до кровавого пота, кричал: «Черт возьми! Я схожу с ума!» – уставал, приходил в отчаяние, вечно зарекался больше не писать, а потом снова бы садился работать, как проклятый! О, какой замечательной была бы жизнь, если бы всю эту часть можно было отсечь от нее! Как было бы замечательно, если бы слава, репутация, любовь только бы ждали нашего зова, и если б работа, которую мы хотим сделать, удовлетворение, которое надеемся получить, приходили бы к нам, когда пожелаем, и покидали нас, когда мы устанем от них!»).

Эстер взглянула на Джорджа и в глазах ее вспыхнуло раздражение.

«Вот он, мечется повсюду и везде терпит крах! Уверен в своей цели и забывает о ней всякий раз, как зазвонит телефон, кто-то пригласит выпить, какой-то болван постучит в дверь! Сгорает от желания всего. Кроме того, что имеет, и отворачивается от того, что получает, едва получит! Надеется спастись, сев на судно и от-правясь в другую страну, отыскать себя, затерявшись, переменитьсь, изменив адрес, начать новую жизнь, найдя новое небо! Вечно верит, что найдет что-то необыкновенное, великолепное, красивое где-то в другом месте, когда все великолепие и красота мира здесь, перед ним, и вся надежда найти, сделать, спасти что бы то ни было, заключена в нем самом!»).

С присущими ей ненавистью к неудаче, отвращением к нерешительности и замешательству, с любовью к успеху, который ценила чуть ли не на вес золота – к разумному использованию жизни и таланта, к знанию, которое неизменно руководствуется ясным планом – Эстер, дрожа в яростной, неукротимой решимости, сжимала и разжимала кулаки, смотрела на него и думала:

«Господи! Если б я только могла передать ему часть своей способности работать и добиваться цели! Если б только могла наставить его на путь и удерживать там до конца! Если б только могла научить его собирать силы и использовать их для нужной цели, извлечь из него чистое золото – да, самое лучшее! Это единственное, что может быть сносным! – и не давать всему этому пропадать впустую, растрачиваться по мелочам, тонуть в массе ложного и никчемного! Если б только я могла показать ему, как это делается – и, клянусь Богом, – подумала она, сжимая согнутые руки и кулаки, – покажу непременно!»).

42. РАЗРЫВ

Апрель кончился, наступил май, но в состоянии Джорджа не появилось ни перемены, ни надежды на перемену. Во множестве проблесков, всплшек, фантазий беспокойного разума жизнь его билась в какой-то дьявольской пляске, словно птица, несомая ветром к морю, и перед взором его постоянно возникали вечно близкие, вечно желанные и недостижимые, постоянно меняющиеся видения этого неуловимого атома, истины, рассеивающиеся при его неистовых попытках овладеть ими, словно образы из разноцветного дыма, оставляя его сбитым с толку, озадаченным, обезумевшим существом, разбивающим в кровь кулаки о неодолимую стену мира.

Иногда воспоминание, воскрешение в памяти классических идеалов мягко входило в разум Джорджа, очищало его, успокаивало. И он жаждал уже не волшебного Кокейна, не чувственной плоти и пурпурных от виноградного сока губ, а ясных, вечных небес, парашета из невъщербленного камня, спокойных глаз, взирающих на безмятежное, неизменное море, то и дело вскипающее белой пеной у далеких скал. Там время шло своей неумолимой поступью, ясное небо трагически нависало над головами людей, думавших о жизни, но спокойно сознававших, что должны умереть. Печаль времени, грустные воспоминания о краткости жизни не тревожили их, и они никогда не плакали. Они жили по времени года, отводя каждому должное:

Весне – веселье и пляски, сверкание юных тел в серебристой воде, преследование, захват, соперничество.

Лету – сражение, быстрые, сильные удары, победу без жалости или несправедливости, поражению без покорности.

Потом октябрю они приносили все зерна своей мудрости, плоды зрелых размышлений. Их спокойные глаза видели то небольшое, что сохранилось – море, горы, небо, – и они вместе гуляли, разговаривали со спокойными жестами о человеческой участи. Наслаждались истиной и красотой, лежали вместе на жестких матах и пировали вином, маслинами, коркой хлеба.

Так что же, это ответ? Джордж тряс головой и отгонял видение. Ничего подобного. Ответа не существовало. Если такие люди жили на свете, их касались все наши несчастья, все безумие, горе, неистовство, какие могут быть ведомы человеку. Страдание, исступление разума мучало их точно так же, как и нас, и сквозь все времена, сквозь краткие мгновения всех человеческих жизней текла эта река, мрачная, бесконечная, непостижимая.

Тут снова червь принимался высасывать его жизнь, нож вонзался в сердце и поворачивался, и внезапно Джордж становился бездумным, опустошенным, бессильным.

Таким вот застала его Эстер в тот полдень.

Джордж сидел на постели, погрузившись в угрюмую, тупую, свинцовую апатию, и не поднялся навстречу ей, не произнес ни слова. Эстер решила вывести его из этого состояния, рассказав в своей бодрой, веселой манере о спектакле, который видела накануне вечером. Повела ему обо всем, какие актеры были заняты, как они играли, как их воспринимали зрители. Изложив во всех подробностях, что происходило в театре, она не сдержалась и беспечно выпалила, что спектакль был блестящий, замечательный, великолепный.

Эти простые для ее изощренного языка слова неожиданно привели Джорджа в ярость.

– О, блестящий! О, замечательный! О, великолепный! – прорычал он, злобно передразнивая Эстер. – Господи! Вы все с ума меня сведете своей манерой выражаться! – И опять погрузился в угрюмое молчание.

Эстер легким шагом расхаживала по комнате, но тут резко повернулась к нему, ее румяные

щеки стали малиновыми от внезапного гнева.

– Вы все! Вы все! – громко, возмущенно выкрикнула она. – Господи, что это с тобой? С кем ты говоришь? Я не все! Я не все! – произнесла она дрожащим от обиды голосом. – Не понимаю, о ком ты ведешь речь!

– Понимаешь! – пробормотал Джордж угрюмо, устало. – Обо всей вашей своре! Вы все одинаковы! Ты одна из них!

– Одна из кого? – вскипела Эстер. – Я не из кого-то – я это я! Ты все время несешь бессмыслицу! Ненавидишь весь мир, всех бранишь, оскорбляешь! Большею частью не отдаешь себе отчета в том, что говоришь. Вы все! Вечно обращаешься ко мне «вы все», – произнесла она злобно, – когда сам не знаешь, кого имеешь в виду!

– Знаю! – хмуро ответил Джордж. – Всю вашу треклятую свору – вот кого!

– Какую? Какую? – воскликнула она с мучительным, раздраженным смехом. – Господи! Бормочешь все время одну и ту же бессмыслицу!

– Всю вашу треклятую свору еврейских и христианских эстетов-миллионеров! С вашей пустой болтовней: «Видели это?» «Читали то?» – с вашим суесловием о книгах, пьесах и картинах, стенаниями об искусстве, о красоте, о том, что только ради них и живете, хотя на все это вам наплевать, вам просто нужно быть в курсе! Воротит меня от вас! – от всей вашей треклятой своры с вашими шуточками о педиках и лесбиянках, вашими книгами, пьесами и африканскими скульптурами! – сдавленно заговорил он с поразительной непоследовательностью. – Да. Вы блестяще разбираетесь в искусстве, разве не так? Вам же приходится читать журналы, узнавать оттуда, что вам должно нравиться – и вы забудете о своих словах, измените мнение, через полминуты охаете то, что хвалили, если обнаружите, что ваша гнусная свора держится иного мнения!.. Любители и покровители искусства! – произнес он с яростным, дрожащим смехом. – Господи Боже! К этому и должно было прийти!

– Прийти к этому! К чему? Жалкий дурачок, ты несешь бессмыслицу, как помешанный.

– К тому, что талантливый человек – настоящий художник – истинный поэт – должен быть доведен до смерти...

– Что за ерунда?

– ...злостью и ядом этих обезьян-миллионеров, ничего не смыслящих в искусстве, и их распутных жен! «О, как мы любим искусство! – глумливо произнес Джордж. – Я так интересуюсь вашим творчеством. Я знаю, вам есть, что сказать, – и вы нам о-о-очень нужны, – еле слышно прошептал он, – не заглянете ли ко мне в четверг на чашку чая? Я совершенно одна...». Суки! Грязные суки! – внезапно заревел он, как обезумевший бык, а потом снова перешел на тон жалобного, соблазнительного приглашения: «...и мы сможем долго, мило побеседовать. Я так хочу поговорить с вами! Уверена, вы меня не разочаруете». Ах, грязная свинья! И ты, ты, ты! – тяжело дыша, произнес он. – Это *твоя свора!* И твоя игра тоже, да? – Голос его перешел на шепот обессиленной ненависти, в тишине раздавалось его тяжелое дыхание.

Эстер с минуту не отвечала. Она молча, грустно смотрела на него, покачивая головой с жалостью и презрением.

– Послушай! – сказала она наконец. Джордж угрюмо отвернулся от нее, но она схватила его за руку, повернула к себе и резко заговорила властным тоном: – Слушай, жалкий дурачок! Я тебе кое-что скажу! Объясню, что с тобой неладно! Ты всех бранишь и оскорбляешь, думаешь, все ополчилось против тебя и стремятся причинить тебе зло. Что все ночей не спят, думая, как бы тебя сокрушить. Думаешь, все строят заговоры, чтобы помешать твоему успеху. Так вот, слушай, – спокойно продолжала она. – Того, что ты воображаешь, не существует. Этого демона создал ты сам! Джордж, посмотри на меня! – резко обратилась к нему Эстер. – Что бы ты ни говорил, я правдива, и клянусь тебе, что все это существует только в твоём воображении. Люди,

которых ты бранишь и оскорбляешь, никогда не питали к тебе ненависти, не желают тебе никакого зла.

– О, – произнес Джордж со свирепым сарказмом, – надо полагать, они меня любят! Только и думают, как бы сделать мне добро!

– Нет, – сказала она. – У них к тебе нет ни любви, ни ненависти. Большинство из них и не слышало о тебе. Они не желают тебе ни добра, ни зла. – Умолкла, печально глядя на него. Затем продолжала: – Но могу сказать тебе вот что – даже если бы они тебя знали, все было бы не так, как ты думаешь. Люди вовсе не такие. Ради Бога, – воскликнула она с чувством, – не черни себе разум, не коверкай жизнь гнусными, отвратительными мыслями, что это не так! Пытайся иметь немного веры и разума, думая о людях! Они совсем не такие, как тебе кажется! Никто не желает тебе зла!

Джордж угрюмо, тупо поглядел на Эстер. Безумие снова покинуло его, и теперь он смотрел на нее устало, испытывая стыд и сильное отвращение к себе.

– Знаю, что не такие, – уныло произнес он. – Знаю. И браню их, потому что сознаю свою никчемность... О, я даже не могу передать тебе! – сказал он с каким-то отчаянным, недоуменным внезапным жестом. – Не могу передать тебе, что со мной! Но не то, что ты думаешь. У меня нет ненависти ко всем, как тебе кажется, – несмотря на все мои слова. Ненавижу я только себя. Эстер, скажи, ради Бога, что со мной случилось? Что происходит с моей жизнью? Раньше у меня была сила двадцати человек. Я любил жизнь, обладал энергией и мужеством делать все. Работал, читал, путешествовал с энергией большой динамо-машины. Хотел поглотить всю землю, насытиться всеми книгами, людьми, странами на свете. Хотел знать жизнь всех людей, побывать повсюду, увидеть и понять все, как великий поэт. Ходил, слонялся по улицам, поглощая все, что люди делали и говорили, с какой-то неистовой, неутолимой жадной. Все пело мне о славе и торжестве, и я был уверен, что обладаю силами и талантом сделать все, что хочу. Я хотел блаженства, любви, славы и не сомневался, что смогу их добиться. И хотел сделать прекрасную работу, добиться успеха в жизни, расти и добиваться в работе все лучших результатов. Хотел быть великим человеком. Почему я должен стыдиться говорить, что хотел быть великим, а не маленьким, жалким, серым?.. А теперь все это ушло. Я ненавижу свою жизнь и все, что вижу вокруг. Господи! Если бы я прожил жизнь, был старым, изнуренным, не получившим от жизни того, что хотел, я мог бы понять причину! – неистово выкрикнул Джордж. – Но мне всего двадцать семь – и я уже изнурен! Господи! Быть изнуренным стариком в двадцать семь лет! – проревел он и принялся колотить кулаками по стене.

– О, изнурен! Изнурен, как же! – сказала Эстер с возмущенным смешком. – Оно и видно! Изнурил меня, ты хочешь сказать. Изнуряешь всех своими метаниями. Изнуряешь себя, колотясь головой о стену! Но – изнурен! Ты так же изнурен, как Гуд зон!

– Не надо – ради Бога, не надо! – яростно произнес Джордж сдавленным голосом, вытянув руку в жесте, выражающем раздражение и досаду. – Не льсти мне. Послушай! Я говорю правду! Я уже не тот, что раньше. Я утратил былые уверенность и надежду. У меня нет прежних уверенности и силы. Черт побери, женщина, неужели тебе не ясно? – яростно спросил он. – Неужели не видишь сама? Неужели не понимаешь, что я утратил свой возглас? – выкрикнул он, ударя себя в грудь и сверкая на нее глаза ми в безумной ярости. – Не знаешь, что я полгода уже не издавал возгласа?

Как ни смешны и нелепы были эти слова, какими поразительными ни могли бы показаться невидимому слушателю, ни он, ни она не рассмеялись. Разгоряченные, воинственные, возвышенно-серьезные, они стояли, обратя друг к другу раскрасневшиеся, взволнованные лица. Эстер поняла Джорджа.

«Возглас», о котором говорил Джордж, который среди мучительного безумия и мрачной ярости последних месяцев, как ни странно, казался ему важным, представлял собой просто-напросто выражение животной жизнерадостности. С раннего детства этот нечленораздельный вопль поднимался в нем волной неудержимого торжества, собирался в горле и потом срывался с губ диким ревом боли, радости, исступления.

Иногда возглас приходил в минуту торжества или успеха, иногда по непонятной причине из загадочного, безымянного источника. Джордж издавал его в детстве множество раз, он приходил к нему в свете и красках множества мимолетных явлений; и все непереносимое добро и красота бессмертной земли, все непереносимые ощущения боли и радости, все непереносимое сознание краткости человеческой жизни всякий раз вкладывались в этот неудержимый крик, хотя Джордж не знал, каким образом, не мог сказать, в каких выражениях.

Иногда он приходил просто в краткий, непередаваемый миг – в знойном, радостном аромате молотого кофе, в запахе жарящегося мяса, в первых морозцах октябрьских вечеров. Иногда в мутных водах реки, разлившейся после проливного дождя; или в округлости дынь, лежащих в телеге на душистом сене; бывал в запахе гудрона и нефти, несшемся летом от раскаленных тротуаров.

Бывал он в ароматных запахах старых бакалейных лавок – и Джордж неожиданно вспоминал забытую минуту детства, когда он стоял в такой лавке и видел, как собираются черные, пронизанные фиолетовым и багровым светом грозовые тучи, потом десять минут смотрел, как неистовый ливень хлещет и растекается по опущенной голове, тощему серому крупу и исходящим паром бокам старой лошади лавочника, запряженной в телегу, привязанной к бордюрному камню и ждущей у бровки тротуара с мученическим терпением.

Эта обыденная, забытая минута вспоминалась со всем давним загадочным ликованием, которое вызывала у него та сцена. И Джордж вспоминал все и всех в лавке – продавцов в передниках, с манжетами из соломы, с резинками на рукавах, с карандашами за ухом, их расчесанные на прямой пробор волосы, обворожительную вкрадчивость их голосов и манер, когда они принимали заказы от раздумывающих домохозяек, а также сильные, ароматные запахи, поднимающиеся от больших ларей и бочек. Вспоминал запах пикулей в бочонках из Атланты, приятные, застарелые запахи досок пола и прилавка, которые словно бы специально выдерживались во всех этих ароматах более десяти лет. Там были запахи вкусного, горьковатого шоколада и чая; свежесмолотого кофе, сыплющегося из мельнички; масла, лярда, меда и нарезанного ломтями бекона; желтого сыра, отрезанного толстыми ломтями от большого куска; а также природные запахи свежих овощей и фруктов – твердых лущеных горошин, помидоров, фасоли, молодых кукурузы и картофеля, яблок, персиков, слив; большие, сильно и странно волнующие арбузы.

И вся та сцена – виды, звуки, запахи, душный воздух и фиолетовый цвет, ливень, хлещущий по блестящим безлюдным тротуарам, а также источающие пар бока старой серой лошади, красивая, недавно вышедшая замуж молодая женщина, с восхитительной неуверенностью покусывающая нежные губы, делающая заказы молитвенно стоящему перед ней продавцу, – пробудила в его мальчишеском сердце могучее чувство радости, изобилия, гордого, бьющего ключом торжества, чувство личной победы, громадной удовлетворенности, однако почему все это так воздействовало на него, он не знал.

Но в детстве чаще, необъяснимее, из более таинственных источников безмерного ликования этот неудержимый возглас исторгался у него в те минуты, когда картина изобилия оказывалась не особенно впечатляющей, когда непонятно было, что вызывало у него торжество, удовлетворенность, однако и тут радость его бывала не менее сильной, чем при полной,

убеждающей картине.

Иногда этот возглас таился в тени облака, проплывающей по густой зелени холма, иногда с самой невыносимой радостью, какую он только знал, в зеленом свете леса, поэтической чаще дебрей, прохладных, голых местах под пологом дерева, золотистых бликах солнца, пронизывающих странным, чарующим светом колдовское великолепие прохладной, бездонной зелени. Во всем этом великолепии бывали впадина, откос, поляна, родник, бьющий в подушке из зеленого мха, растущий возле тропинки дуб с громадным дуплом, а дальше хрустально чистый лесной водопад, и в воде под ним женщина с голыми ногами, пышными бедрами и подоткнутой юбкой, а вокруг нее необычайное сияние колдовского золота и бездонной зелени, камень, папортник, пружинящий ковер мягкой лесной земли и все бесчисленные голоса ясного дня, они внезапным, отрывистым чириканьем, щебетом и пением, неистовым стуком дятла проносились мимо нее к несметным смертям, исчезали и раздавались снова.

И этот возглас приходил в слабом, надтреснутом звоне колокола среди дня, долетающем к тенистой теплоте поляны, в сильном жарком благоухании клевера, в частом падении желудей на землю среди ночи, в резком, далеком реве ветра осенью. Возглас этот бывал в сильном, вольном крике детей, играющих на улице в сумерках, в негромких голосах в конце лета, в женском голосе и смехе ночью на улице, в трепетании листа на ветке.

Он бывал ночами в морозе, звездном свете и далеких, невнятных звуках, бывал в зелени листвы, во внезапном биении снежинок о стекло. В первом свете, заре, в цирках, в пляске и раскачивании фонарей во тьме, в мигании зеленых огней семафоров, в пыхтении паровозов, в стуке и дребезжании товарных вагонов в потемках, в криках и брани циркачей, в ритме ударов по забиваемым кольям, запахах брезента, опилок и крепкого кофе, в смраде, идущем от львов, в черноте и желтизне тигров, в сильном коричневом верблюжьем запахе, во всех звуках, видах и запахах, которые цирк привозил в маленькие городки.

И в торжественной радости тихих полей, с которых исчезли дневные жара и неистовство, и в громадном теле земли, движущемся к прохладе и ночи, тихо дышащем в последнем свете дня.

В колесах и копытах, нарушающих на заре тишину улиц, в пении птиц на рассвете, в грузном, дробном топоте скота, выходящего с пастбищ на дорогу в сумерках, в красном, угасающем свете заходящего солнца над вершинами холмов; в вечере и тишине земли, в четких мыслях с болью и радостью о далеких городах.

Этот дикий возглас поднимался к устам Джорджа от всего названного, от всех приездов и отъездов, от мыслей о новых землях, городах, судах и женщинах; от колес, реборд, от рельсов, огибающих землю словно беспредельность и торжественная музыка, от людей, путешествий и бессмертного, негромкого звучания времени вокруг стен больших станций; от стремительности, блеска, снования штока, силы и мощи паровоза, от ярких огней и клубов пара, мгновенно пронсящихся по рельсам ночью. Он был в едкой копоти на громадных станционных платформах, окутанных дымом сорока поездов, в жарком зеленом храпе в пассажирских вагонах по ночам, в сердце юноши, который, лежа на своей полке, радостно прислушивался, как неторопливо шевелится, шелестя бархатом, женщина, вяло потягивающаяся в темноте, и когда он видел огромную темную землю, плавно проплывающую за вагонным окном, когда слышал в тишине ночи более странные и знакомые, чем сон, голоса неизвестных людей на маленькой платформе в Виргинии.

Этот возглас поднимался от всех мыслей о путешествиях и расстояниях, о навевающей грусть бескрайности земли, о больших реках, медленно несущих в темноте из глубин сокрытых в холмах истоков свое аллювиальное изобилие по всему континенту, о ночной Америке с темными, неподвижными стеблями кукурузы и легким шелестом листьев. Он был в его думах обо всех реках, горах, равнинах и пустынях, обо всех маленьких сонных городках на всем

континенте, о ярком свете паровозных фонарей, заливающим рельсы и на краткое время громадные пшеничные поля, обо всех женщинах Запада в своих сновидениях и мечтах, которые стояли в проеме открытой двери и спокойно глядели в бескрайние поля зеленой кукурузы или золотистой пшеницы или прямо в зарево заходящего в пустыне солнца.

Таким образом, во всей этой картине мира, которая за много бурно пронесшихся лет в непрерывных, мучительных трудах души и разума сложилась не только из того, что Джордж видел, узнал, запомнил, но также из всего, что его жажда и мечта извлекли из невиданных краев, жил этот дикий, нечленораздельный возглас радости и торжества. Этот возглас был в сложившемся у него образе земли, таком завершенном и сияющем, что ночами ему иногда казалось, будто он видит ее всю, раскинувшуюся на холсте его воображения – холмы, горы, равнины, пустыни, застывшие в лунном свете поля и громадные сонные леса, а также всю громадную россыпь больших и маленьких городов. Возглас этот был в его видении огромных, таинственных, текущих в темноте рек, в восемнадцати тысячах миль океанского побережья, о которое в мерцании лунного света вечно плещет море, наступаая и отступая шипящими волнами в ритме своего дыхания, непрерывно пенясь в бесчисленных углублениях суши.

И этот возглас поднимался от мыслей о тропической темноте и ночных джунглях, обо всем мрачном, зловещем, неведомом; он поднимался с демонической радостью из сонных дебрей, из буйных тропических зарослей, где на поросшем папоротником склоне холодно поблескивает змеиный глаз; из видения странных тропических растений, на которых, насытятся, спят ядовитые тарантул, гадюка, кобра, и где золотисто-зеленые, глянцеви́то-синие, ярко-красные попугаи оглашают темноту горделивыми, бессмысленными воплями.

Особенно неистово возглас этот приходил с самой необузданной радостью из сердца тьмы, из сонного царства. Много раз в тихие ночи дух Джорджа вырывался из заточения в городской комнате и носился над сонным царством, он слышал вокруг сердцебиение десяти миллионов людей, и из души его рвался дикий, нечленораздельный возглас. Из темного моря людского сна, на которое тускло светило несколько звезд, возглас взывал ко всем громадным рыбам, плавающим в темных ночных водах; ко всем блужданиям, тыканьям, нащупываниям мозга вслепую; ко всем легчайшим, невидимым шевелениям, ко всему, что плавало, шевелилось. Блуждало в сонном царстве, ко всему, покрытому лесами, далекому, дух его слал возглас торжества и возвращения.

И наконец этот нечленораздельный возглас пыла и торжества рвался из его горла множество раз на городских улицах. Иногда он приходил от всех теплых, волнующих запахов мостовых в конце весны, от влажного аромата земли, словно бы пробивающегося волнами ее животворности сквозь все камень и сталь; приходил с неистовой радостью от волшебства апреля, великолепия первой зелени, очарования прекрасных женщин, которые словно бы выбились ночью из земли и всего один день будут цвести на улицах чудесными цветами.

Этот возглас приходил к нему, когда он ощущал запах водорослей в гавани, чистое, соленое благоухание моря, возглас бы-пал в прохладных вечерних приливах, в пустых пирсах, в проплывающих огоньках маленьких буксиров. Возглас поднимался к его устам, когда он слышал гудки больших судов в ночном заливе или с ликованием внимал оглушительному бу-у-у их отплытия, когда они строились в кильватер и направлялись к морю в субботний полдень. Возглас приходил к нему всякий раз, когда он видел горделивые носы могучих судов, скошенные надстройки отплывающих лайнеров, смотрел, как они удаляются от чернеющих толпами провожающих пирсов.

Итак, этот дикий, нечленораздельный возглас торжества, страдания и восторга приходил к нему множество раз во множестве мест. И в этом возгласе была память обо всем далеком,

мимолетном, утраченном навсегда, о том, что он с пылающим сердцем, с невыносимым, неистовым сожалением хотел бы сохранить в своей жизни. Раньше по весне этот возглас поднимался до могучего биения энергии и радости, вздымался над миллионно-людной жизнью города в крыловидных пролетах мостов, во всех сильных запахах верфей и рынков. Однако теперь, в эту жестокую весну, Джордж неистово расхаживал по городу, воспринимал, как всегда, остро, пронзительно очарование и великолепие ее прихода – однако же ничто не срывало этого возгласа с его уст.

И теперь, поскольку он не ощущал порыва к этому дикому, неудержимому возгласу, ему казалось, что из его жизни, из души ушло нечто драгоценное, неоценимое. Он всегда знал, что этот возглас представляет собой нечто большее, чем природная жизненная сила мальчишки.

Возглас этот приходил к нему не из воображаемых образов, не из сновидений или фантазий, не из галлюцинаций мечты. Он исходил из земли с неуклонной уверенностью, и в нем были все богатство и слава мира. Возглас этот был для Джорджа своеобразным пробным камнем действительности, потому что никогда его не обманывал. Всегда приходил как отклик на истинное, несомненное великолепие, на действительность, столь же подлинную, как золотая монета. В этом возгласе были знание, сила, истина. Возглас связывал Джорджа со всей людской семьей, так как он всегда знал, что люди во все века и эпохи ощущали на устах этот самый возглас торжества, страдания и пылкости, что он приходил к ним из тех же событий, времен года и неизменных очевидностей радости, как и к нему.

Этот возглас являлся подлинным золотом земли, и теперь Джордж сознавал с чувством крушения, сломленности, что утратил нечто бесценное, вовеки невозместимое.

– И ты знаешь это, так ведь? – злобно сказал он. – Ты это признаешь. Сама знаешь, что я утратил его, разве не так?

– Ничего ты не утратил, – спокойно ответила Эстер. – Послушай! Ты не утратил ни силы, ни энергии. Вот увидишь, их у тебя не меньше, чем когда бы то ни было. Не утратил способности радоваться или интереса к жизни. Ты утратил лишь то, что никакого значения не имеет.

– Это *ты* так говоришь, – угрюмо пробормотал Джордж. – Это все, что *ты* об этом знаешь.

– Послушай! Я знаю об этом все. Знаю точно, что ты утратил свой прежний способ выпускать пар. А такое случается со всеми. Господи! Нам ведь не может быть вечно двадцать один год! – гневно произнесла она. – Но ты поймешь, что не утратил ничего ценного или существенного. Ты сохранил все свои силу и энергию. Да – и даже увеличил! Потому что научишься лучше использовать их. Джордж, ты будешь постоянно становиться все сильнее, клянусь тебе! Так было со мной, и так будет с тобой.

Раскрасневшаяся Эстер на миг нахмурилась.

– Утратил свой возглас! – пробормотала она. – Господи! Как ты выражаешься! – Губы ее слегка изогнулись, в голосе послышался знакомый циничный юмор еврейской презрительности. – Не беспокойся об утрате возгласа, – негромко сказала она. – Побеспокойся о том, чтобы немного поумнеть – это, молодой человек, тебе гораздо нужнее... Утратил свой возглас! – пробормотала она снова.

И еще несколько секунд смотрела на него, серьезно и гневно хмурясь, быстро снимая и вновь надевая кольцо. Потом помягчела, ее теплое горло дрогнуло, веселое лицо стало вновь расцветать румянцем, и внезапно она разразилась легким, удушливым женским смехом:

– Утратил свой возглас! Господи, ты просто чудо! Неужели можно воспринимать всерьез то, что ты говоришь!

Джордж угрюмо поглядел на нее, а потом вдруг неистово расхохотался, ударил себя ладонью по лбу и воскликнул:

– Хо!

Потом с мрачным, угрюмым взглядом повернулся к ней и невнятно, непоследовательно пробормотал, словно кто-то был повинен в оскорблении, которое он оставлял без внимания с какой-то противной себе снисходительностью:

– Знаю, знаю! Не говори больше об этом. – Потом отвернулся и угрюмо уставился в окно.

В течение всего того жестокого мая, отмеченного треволнениями, приступами его тупого молчания, плотным сплетением их жизней, напряженным, переменчивым состоянием их душ, в которых на краткий миг вспыхивала самая горячая, нежная любовь, между ними велась безобразная, безжалостная, отчаянная борьба.

День за днем шла упорная, свирепая битва – мужчина рычал, метался по комнате, будто разъяренное животное, обрушивал на женщину грязные ругательства, обвинения, упреки, женщина плакала, всхлипывала, пронзительно выкрикивала возражения и в конце концов с трагичным видом, с опухшим от слез лицом уходила, говоря, что настал конец, что она прощается с ним навсегда и больше не желает его видеть.

Однако меньше чем через два часа она звонила ему по телефону, присылала телеграмму или короткое, наспех написанное письмо, Джордж немедленно вскрывал его и упрямо читал с посеревшим, искаженным лицом и дрожащими пальцами, черты лица его издевательски кривились, когда он злобно насмехался над собственным безрассудством, и сердце его мучительно кололо наспех написанные простые слова, проникнутые истиной, честностью, страстью, легко проходившие сквозь его душевную броню.

А на другой день она появлялась у него снова, ее маленькое лицо бывало серьезным, решительным, с застывшим торжественным выражением окончательного отречения. Иногда говорила, что пришла проститься окончательно по-хорошему, иногда, что забрать нужные для работы материалы и вещи. Но появлялась всякий раз, с неизбежностью судьбы, и тогда Джордж начинал понимать то, что оказывался не способен понять раньше, то, что счел бы в ранней юности невозможным – что в этой хрупкой женщине с похожим на цветок лицом таится могучая, неукротимая воля, что это утонченное, привлекательное маленькое существо, способное горько плакать, печально отречься, изо дня в день трагически уходить, является, вне всякого сомнения, самым решительным, непоколебимым, грозным противником, какого он только знал.

– Ладно! – обреченно произнесла Эстер с торжественным и трагичным согласием в конце одного из этих поединков двух волей. – Ладно! Оставь меня, раз хочешь. Ты меня отверг. Отвернулся от меня. Отказался от лучшего друга в жизни. – А затем, слегка пожав плечами в горестном смирении, монотонно продекламировала:

– Ты покончил со мной! Я мертва! Ты убил меня!

– Хо-хо! Браво! Замечательно! Продолжай! – Джордж безумно расхохотался и зааплодировал. – Бис!

– Она мертва! С нею покончено! – так же монотонно продолжала Эстер, обреченно и задумчиво. – Твоя любимая мертва! Она любила тебя, а ты убил ее! Твоя еврейка мертва! Все! Все! – Она горестно улыбнулась, опустив уголки губ, и вновь с трагическим смирением пожала плечами. – Все кончено. В прошлом. Погребено... Ты еще пожалеешь! – воскликнула она, внезапно изменив поведение и тон.

Джордж расхаживал по комнате, колотя себя кулаком в лоб и покатываясь от дикого, яростного смеха.

– Ей-богу, Камилла! – выкрикнул он. – Так-так! Плачь! Реви! Ори, чтобы все слышали! Отлично! Замечательно! Мне очень нравится! Это музыка для моих ушей!

– Ты не будешь знать покоя! – воскликнула она угрожающе. – Я стану являться тебе. Думаешь, что сможешь забыть меня, но не надейся. Я выйду из могилы преследовать тебя. Увидишь! Увидишь! Приведу Азраила и Вельзевула преследовать тебя -да! Приведу духов великих раввинов, знающих каббалу! О, ты не будешь знать покоя! Я приведу духов моего народа преследовать тебя! И духов своих родственников-христиан!.. Господи! – воскликнула она внезапно с презрительной насмешкой. – Держу пари, это дрянные, безжизненные духи по сравнению с еврейскими – как анемичные шлюхи-христианки, с которыми ты путаешься!

Эстер умолкла, ее маленькое лицо внезапно исказилось от нахлынувших ревности и ярости, из глаз хлынули слезы, она стиснула кулаки, подняла их на миг к бокам, дрожа от невыразимого гнева.

– Не приводи их больше сюда! – негромко произнесла она сдавленным, дрожащим голосом.

– Ах вот, значит, в чем дело? – неторопливо произнес Джордж с неприятной, издевательской усмешкой. – Вот где, стало быть, собака зарыта? Вот что, оказывается, беспокоит ее? – и внезапно сделал грубый, презрительный жест. – Пошла ко всем чертям! – Повысил он голос. – Я буду делать все, что захочу, черт побери, – и ты не сможешь мне помешать!

– Не приводи больше сюда этих девок! – воскликнула она пронзительным, дрожащим голосом. – Это наша квартира. В равной мере твоя и моя. Не приводи их в мое жилье. – Отвернувшись, чтобы скрыть слезы, закусив дрожащую губу и через не сколько секунд заговорила с гневным упреком: – Что бы ты сказал, если б я вела себя так же с мужчинами? Ничего подобного не было, ну если бы было, как бы ты себя чувствовал? Господи, да ты не вынес бы этого! Сошел бы с ума!

Тут Джордж принялся браниться, нападать на нее, выдумывать новые обвинения, злобные, беспочвенные, бессмысленные, она плакала, отрицала их, напускалась на него, как прежде. В конце концов Джордж одержал над ней верх, у нее не осталось сил противиться, и она со злобной улыбкой уступаяще пожала плечами:

– Ладно! Питайся со своими шлюхами! Делай, что хочешь! Я ухожу!

И ушла, сказав, как десяток раз до этого, что ее лица он больше не увидит.

Джордж с какой-то зверской, всепоглощающей ожесточенностью преисполнился решимости окончательно порвать с Эстер, таким образом он надеялся избавиться от чувства крушения, отчаяния, невыразимой утраты, которое охватило его, овладело им и внушило ему жуткий страх. А Эстер была преисполнена решимости не отпускать его от себя.

Но в начале июня наступил черный день, когда Джордж осуществил наконец свое намерение. Он сказал Эстер, что рвет с ней навсегда, что намерен забыть ее напрочь, вырвать память о ней из крови, мозга, сердца и уехать из этого проклятого города куда-нибудь, где сможет начать новую жизнь, подчинить ее единой цели. Отправится в Европу – вот что он сделает! – оставит между ними широкий океан, пусть его бушующие воды смоят последние воспоминания об их совместной жизни, и тогда все будет так, словно они никогда не были знакомы, не любили друг друга, не жили вместе, не бранились, не ссорились!

В безумно-яростной решимости он собрал книги, одежду и все прочие вещи, вынесся бурей из дома и, ступив на тротуар, понял, что больше никогда не ступит на этот порог.

43. ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО ЭСТЕР

Учебный год в Школе прикладного искусства кончился, так что в Нью-Йорке Джорджа уже ничто не удерживало. Он отчаянно хотел уехать и, не желая возвращаться из-за границы в конце лета, взял отпуск на весь осенний семестр. Потом с такой легкостью на душе, какой не знал уже давно, взял билет до Саутгемп-тона.

В полночь, когда Джордж поднялся на борт судна, его ждало письмо от Эстер. Получив его от судового казначея и увидев на конверте почерк миссис Джек, он ругнулся вполголоса и разозлился на себя, потому что, несмотря на всю твердую решимость, сердце его неистово заколотилось от радости и надежды.

– Черт возьми! – пробормотал он. – Неужели не может дать мне спокойно отплыть? – Сжал письмо в дрожащей руке и отправился искать каюту, где мог прочесть его без помех.

В каюте Джордж нервозно вскрыл его и прочел вот что:

«Мой дорогой.

Судно не выйдет до рассвета, но я надеюсь, что ты получишь письмо, когда поднимешься на борт, и сможешь прочесть его перед сном.

Сперва я хотела прийти, проводить тебя, но потом передумала. Это было бы слишком. Хорошо, что ты уплываешь сейчас – еще одной недели я, пожалуй, не вынесла бы. Эта весна была самым тяжелым временем в моей жизни. Была хуже ада – я никогда не знала таких мучений. Мое сердце болит и обливается кровью, словно его пронзили мечом. Я проплакала всю прошлую ночь, плачу последние полтора часа – мне казалось, у меня больше не осталось слез, но они все льются. Раньше я никогда не плакала, а теперь представляется, что с тех пор, как повстречала тебя, плачу все время. Ты скажешь, я пишу это с целью причинить тебе боль, но я лишь говорю правду – я никогда не хотела мучить тебя. Хотела только любить и делать тебе добро.

Я изнурена и убита горем. Некогда я считала себя сильной, способной вынести что угодно – но эта история меня сломила. Прошлой ночью я сделала то, чего не делала с раннего детства – слезла с кровати и помолилась Богу, словно бы есть Бог, способный мне помочь. Но я знаю, что Бога нет. Ты выбросил самое прекрасное, что имел. О себе я всегда говорила правду – я была преданной и верной тебе с тех пор, как повстречала тебя, а тебе не достало разума понять это. Возможно, поймешь когда-нибудь, какая я на самом деле, но будет поздно. Во мне нет ничего дурного или порочного, все это измышления твоего жутко помраченного разума. Стоит тебе что-то вообразить, ты сразу же становишься в этом уверен.

Ради Бога, не будь больше таким. Не губи то замечательное, что есть в тебе. Не губи свой замечательный ум, замечательный талант тем, что терзает тебя изнутри. Я люблю тебя, я верю в твой гений и всегда буду верить – что бы там ни говорили другие. («Что бы там ни говорили другие, вот как? Ха, гнусная, злосердечная свинья! Значит, вот что они говорят ей! Ясно! Эти завистливые змеи теперь торжествующе шипят, думают, что наконец-то разделались со мной. Ну, а ты как вела себя при этом? Хвалила меня, а? Защищала? Говорила, какой я хороший и замечательный, и что они меня совершенно не знают. Ради чего? Чтобы утолить свою страсть к мученичеству, чтобы выглядеть возвышенной, благородной и прощающей, чтобы показать, какая ты хорошая, добрая, великодушная, и какой я подлый, низкий и недостойный! Знаю я тебя!».- С посеревшим, искаженным лицом Джордж разгладил письмо, смявшееся в дрожащих пальцах, и продолжал читать.)

Несмотря на все, что случилось, что произошло между нами, я люблю тебя всем сердцем и душой и буду любить всегда. Меня больше никто не взволнует. Я сойду в могилу, унося тебя в

сердце. Знаю, прочтя это, ты усмехнешься, дурно подумаешь обо мне, но сказала я правду и только правду. Никто не причинял мне таких страданий, как ты, но ты дарил мне также величайшие счастье и радость. Какие бы мрачные, жуткие мысли ни таились в твоей голове, ты обладаешь самым редкостным, величайшим благородством из всех, кого я знала. Ты пробуждал во мне замечательную музыку. Не могу представить, какой была бы моя жизнь, если б я не узнала тебя.

Я очень беспокоюсь, думая о тебе, размышляя, что ты делаешь. Обещай не пить слишком много. Алкоголь, судя по всему, на тебя плохо действует – ты становишься не веселым и радостным, а подавленным, иногда он вызывает у тебя приступы безумия. Ты ни в коем случае не должен пускать на ветер то драгоценное, что есть в тебе.

И прошу тебя, пожалуйста, не лезь в ссору с людьми. Я вся изведусь, размышляя, в какие еще неприятности ты попал. Ради Бога, смотри на вещи разумнее. Никто не смеется над тобой – никто не пытается оскорбить тебя – никто не питает к тебе ненависти и не хочет причинить тебе зло. Все это происходит только в твоём воображении. Ты совершенно не представляешь, какое впечатление производишь на других – ты не похож ни на кого на свете, и когда в ресторане на тебя таращатся, это не значит, что над тобой смеются. Пожалуйста, постарайся быть с людьми мягче и любезнее – когда ты хороший, ты можешь веревки из них вить – никто не будет питать к тебе ненависти, все будут обожать тебя и делать все, что ты захочешь.

Тодд обещала мне съездить на Уэверли-плейс и привести комнату в порядок. Я сказала ей, что сделать с моими красками и принадлежностями – раз тебя нет, я не смогу туда вернуться, и если ты не вернешься, я ни за что там не появлюсь.

Интересно, будешь ли ты скучать обо мне, думать о своей маленькой Эстер. Я уверена в одном – такой кухарки, как она, тебе никогда не найти. Она знала, что ее Джордж больше всего любит. Может, когда тебе придется есть христианскую еду, ты захочешь, чтобы я вернулась. Представляю, как твой чуткий нос морщится от запаха этой еды. Когда подадут тебе так называемый салат – вялый листок латука с тремя каплями уксуса – вспомни те салаты, какие готовила я. («Ей-богу, тут она права, – подумал Джордж с болезненной улыбкой. – Такой еды мне больше не отвеждать».)

Надеюсь, на душе у тебя полегчало, и ты собираешься улечься в постель. Не пей слишком много кофе – в этом году ты пил его галлонами. Видимо, отчасти потому и стал таким нервным. И тебе нужен отдых. Писание книги было громадной работой, способной измотать любого.

Теперь, дорогой, пожалуйста, не сердись на то, что я скажу – я знаю, как ты волнуешься и сердись, когда кто-то заговорит о твоей книге. Однако не падай духом из-за того, что ее отверг один издатель – ты злишься на меня, когда я завожу об этом речь, но я уверена, что ее кто-нибудь возьмет. Как-никак, произведение это объемистое, кое-кто может побояться издавать его. Мисс Скаддер говорит, оно в пять раз длиннее среднего романа и нуждается в сокращении. Возможно, следующее ты напишешь покороче. («Этого следовало ожидать! – пробормотал Джордж, скрипя зубами. – Надежду на издание этой книги она уже оставила. Вот почему заводит речь о следующей. Так вот, следующей не будет. Хватит, хватит! Пусть змеи теперь захлебываются своим ядом!»)

Теперь, пожалуйста, будь терпелив, дорогой, – я уверена, что ты сможешь опубликовать эту, если пойдешь на кой-какие уступки. Вчера вечером я опять разговаривала с Симусом Мэлоуном. Он сказал, что некоторые масти книги «просто великолепны!». (Господи, ну и ложь! – подумал он. – Сказал скорее всего «недурно» или «довольно любопытно», раздраженным или равнодушным тоном, словно говоря «да ну ее к черту!»). Но добавил, что она слишком длинная и нуждается в сокращении. («Они раньше сдохнут, чем я на это пойду!») В таком виде ее пришлось бы издавать двумя большими томами, а это, знаешь, дорогой, невозможно.

(«Невозможно, значит. А почему? Пруста печатают вот уже пять лет, книгу за книгой. Два тома будет или четыре, кого это касается, кроме меня? Они прочтут ее, прочтут, черт возьми, такой, как я написал, даже если мне придется вогнать ее в их надменные глотки!»)

Я твержу себе, что между нами все кончено. Ты прогнал меня – окончательно. Но при мысли, что ты путаешься со шлюхами, которых находишь повсюду, я схожу с ума. (Джордж улыбнулся со злобной радостью, потом с мрачным, хмурым лицом стал читать дальше.)

Ты не сказал, что собираешься делать, и я не знаю, куда тебе писать. Буду слать тебе письма в лондонское отделение «Америкен Экспресс», хотя не знаю, ответишь ли ты. Вернешься ли ты домой этим летом? А если да, захочешь ли со мной встретиться? Если останешься там дольше и захочешь меня видеть, я могу приехать к тебе в августе. Думаю обо всех прекрасных местах, где могли бы мы побывать вместе, и у меня сердце щемит при мысли о том, что поедешь в Вену или Мюнхен без меня. («Вот как! Ты смеешь мне это предлагать! Приедешь ко мне, вот оно что? Клянусь Богом, мне скорее кишки намотают на барабан!») Только вряд ли ты захочешь этого, правда?

Я сама не знаю, что пишу. Едва не схожу от всего с ума. Ради Бога, помоги мне чем-нибудь. Я тону, погружаюсь на дно – протяни, пожалуйста, руку. Спаси меня. Я люблю тебя. Я твоя до самой смерти.

Да благословит тебя Бог. Эстер.»

Несколько минут Джордж сидел тихо, скованно, все еще держа последнюю страницу. Потом медленно, стиснув зубы, сложил листы вместе, аккуратно свернул, разорвал надвое, потом еще раз, неторопливо поднялся, подошел к открытому иллюминатору, просунул в него руку и медленно выпустил клочки между пальцами в темноту, в воду.

На судне у Джорджа было время подумать, как выпутаться из паутины, сплетенной его разумом и сердцем. Об Эстер он думал постоянно. Ярость его прошла, смятение улеглось, и в спокойствии моря и солнца, в пространстве между материками, он вновь бесстрастно переживал годы их совместной жизни. Вплоть до того дня, когда честно высказал все, что понимал и чувствовал, когда предсказал Эстер нынешнее положение вещей.

«Ты самый лучший и верный друг, какой только у меня был. Ты самая благородная, замечательная и красивая женщина, какую я только видел. Ты та женщина, которую я люблю». Эти слова говорило его сердце. А потом холодно вмешался разум со своими соображениями, о которых сердце не имело понятия: «И что бы ни случилось со мной, когда бы ни покинул тебя, как рано или поздно случится...» – сказал разум; а затем снова вмешалось сердце: - «...в глубине души я буду любить тебя вечно».

Все так и вышло. Он любил Эстер и вот теперь покидал. Плыл за границу, чтобы избавиться от нее, от Нью-Йорка, от книги, от всего, связанного с их общей жизнью - и с отчаянной, детской надеждой признавал, что его отъезд - попытка спастись бегством от страдания, заключенного в нем самом.

Но то была не единственная причина его добровольного изгнания. Он не только спасался бегством, но и отправлялся на поиски. Собирался пожить месяц-другой в Англии и во Франции, а потом поехать в Германию, провести там осень.

Он уже бывал в Германии, правда, недолго, и эта страна сразу и навсегда очаровала его. Может, это чудо сотворила немецкая кровь отца? Ему в это верилось.

И теперь он собирался узнать поближе эту страну с ее лесами и городами, уже запавшую ему в сердце, но не как чужая страна, а как некая вторая родина его духа.

44. ВРЕМЯ – ЭТО МИФ

Джордж уехал, чтобы забыть Эстер, но только и делал, что вспоминал о ней. Он заболел от страдания, от мыслей о покинутой женщине, и от его болезни не было лекарства. Руки и ноги его стали непослушными, вялыми, сердце лихорадочно билось в удушливом ритме, внутренности ослабли, горло жгло, грудь сдавливало от жуткого несварения желудка. Он не мог переваривать пищу, и его тошнило по нескольку раз в день.

Ночами, после лихорадочного хождения по лондонским улицам до трех-четырёх часов, он укладывался в постель и погружался в болезненное забытие, в котором события и люди из прошлой жизни входили в настоящую, но признавал при этом, что видит сон и может прекратить этот отвратительный транс в любую минуту. Наконец ранним утром, когда люди шли по улице на работу, он крепко засыпал и лежал, как опоенный, до полудня.

Пробудясь, Джордж через час-другой жутко уставал; его разум непрестанно бился в каком-то надоедливом ритме, и в каждом ударе, словно боль, трепетала Эстер. Он заставлял разум сосредоточиваться на всевозможных предметах, но ему приходилось отрывать его от этого наваждения, как изможденный бегун отрывает от дорожки отяжелевшие ноги; глаза его были усталыми, и он постоянно щурился, силясь сосредоточиться.

Наконец в минуту мучительной тоски и полного упадка воли Джордж устремился в контору «Америкен Экспресс» и обнаружил письмо от нее. Тут ему показалось, что трех месяцев сомнения, ненависти, горечи не было, и он понял, что любит ее больше жизни.

Джордж думал об Эстер постоянно, однако не мог припомнить, как она выглядит. А если и вспоминал, то не один ее облик, а множество, они появлялись, исчезали, менялись, смешивались, переплетались в таком ошеломляющем мельтешении, что ни единый образ ее лица не задерживался, и он не мог увидеть ее неподвижной, четкой, неизменной. И это наполняло его сердце жуткими сомнениями, недоумением, смятением, так как ему внезапно вспоминалось, что можно увидеть лицо всего несколько раз в жизни, и, однако, оно запечатлется в памяти единым, незабываемым, неизменным образом.

А потом он обнаруживал, что точно так же обстоит дело с теми, кого лучше всех знал и больше всех любил: когда пытался вспомнить, как они выглядят, то видел не один облик, а множество, не одно лицо, а целый рой лиц.

Во второй половине дня Джордж отправлялся пешком к оксфордскому почтовому отделению узнать, есть ли ему письма. Когда подходил к зданию почты, сердце его лихорадочно колотилось, ноги дрожали, в животе холодело. Он с отчаянным нетерпением дожидался, пока служащий неторопливо перебирал толстую пачку, смотря, нет ли ему писем. Служащий намеренно не спешил, и Джорджу хотелось вырвать у него письма и самому их просмотреть.

Когда Джордж видел, что письма есть, сердце его начинало колотиться, как молот, он бывал вне себя от надежды и предвкушения. Но если писем от Эстер не оказывалось, сникал, словно их не было вовсе. Все прочие его не интересовали; он равнодушно совал их в карман и уходил, душа и сердце ныли у него от горя и отчаяния. Облачные, влажно-серые небеса словно бы обрушивались на него и ломали ему хребет, жизнь его тонула в океане зловещей, безнадежной серости, из которого не было спасения.

Но если приходило письмо от нее, Джорджа, едва он видел ее тонкий, уверенный, изящный почерк, охватывало чувство хмельной радости и торжества. Он вырывал письмо из руки служащего, жадно читал, не сходя с места, и чувствовал, что в стихах величайших поэтов нет таких очарования, истины и любви, какие были в письме. И поднимал взгляд, ликуя смеясь, глядя на служащего, который дал ему письмо, так как чувствовал, что этот человек один из его

лучших друзей на свете.

Этот человек запомнил Джорджа, ждал его, и когда Джордж появлялся, тянулся за стопкой писем и начинал перебирать ее еще до того, как он подходил к окошку. Однажды, когда Джордж дочитал письмо и поднял на него взгляд, этот человек смотрел на него спокойно, серьезно, пристально. Джордж улыбнулся ему и торжествующе потряс зажатый в кулак письмом, служащий не ответил улыбкой, как зачастую. Он легонько, быстро, серьезно потряс головой и отвернулся.

Хуже всего бывало по ночам. Ночами, когда Джордж сидел у себя в номере и слушал, как ветер с сумасшедшей тоской вздыхает в огромных деревьях, безумие снова возвращалось к нему, и он думал о Нью-Йорке. За темным, бескрайним океаном легендарный город возносил над землей свое сияние в зловещих чарах ночи, и Джордж вспоминал о громадных, непристойных ночных авеню, о гигантской улице нежити, снова видел лица в клоаке, где обитала нежить, – лица стервятников, крыс, лисиц, рептилий, свиней – и не мог поверить, что эта клоака существует, что была знакома ему.

Клоака возносила свое сияние в каком-то недобром волшебстве времени, в какой-то легенде о настоящем или вечном, в каком-то зловещем кошмаре, снящемся ему в сновидении, Джорджу невыносимо хотелось вернуться, взглянуть, там ли она – и снова отыскать, увидеть, узнать лицо Эстер с его странной, мучительной загадкой.

Он видел ее лицо, постоянно меняющееся, радостное и любящее, здоровое и сияющее, теперь навсегда утвердившимся в том мире зловещей ночи, вокруг нее сразу начинала виться нежить, снова возрождались отвратительные образы жестокости, вероломства, отчаяния. Видел ее окончательно утвердившейся в этом гнусном мире жизни-в-смерти, отвратительной, извращенной, бессмысленной жизни в тщеславии, ненависти и зле. Безумие жалило его, словно змея, и червь снова высасывал его жизнь.

Введенный в заблуждение той легендой о волшебстве времени, Джордж силился околдовать Эстер за темным океаном, уловить ее жизнь в сеть своего отчаяния, вырвать ее из этого мира, удерживать, беречь, охранять своей любовью, направить на нее такой яркий, беспощадный свет, такие безграничные желания, жажду, чтобы они пронеслись к ней сквозь темноту через полмира, хранили ее для него от всякого вероломства – и так минута за минутой, пока не кончалась ночь.

Однако пока Джордж сидел, силясь управлять каждым ее поступком, каждым мигом ее жизни, следовать за ней шаг за шагом с этими ревностными стражами желания, он бывал опять-таки введен в заблуждение временем, упускал из виду, что часы для Эстер бьют по-другому, что вероломная ли, верная, порочная ли, хорошая или плохая, она живет в другой стране, в другом времени, что она спит, когда он думает о ней, бодрствует, покуда он спит, живет в темноте и страсти зловещей ночи, когда у него светлый день, и все поступки, страсти, вероломства, бедствия, которых он страшится, либо давно, вот уже пять часов, как позади, либо еще впереди.

Время представляет собой миф и тайну: у него множество ликов, оно налагает свой отпечаток на все образы мира и преображает их странным, неземным сиянием. Время собрано в огромных часах и висит в башнях, тяжеловесные колокола времени оглашают темноту спящих городов, время бьется слабеньким пульсом в часиках на женском запястье, время дает начало и кладет конец жизни всех людей, и у каждого человека свое, особое время.

Ночью мужчина пишет из чужой страны возлюбленной, направляет любовь и жажду через громадную, темную пустоту ночных морей, пытается передать свои пыл и безумие, спрашивает: «Где ты сейчас, в каком месте?». Слышит шаги на пустой улице, колокола времени отбивают для него три часа, он пишет: «Что делаешь ты в это время дома? Спишь? Одна? Слышишь ли шаги на пустой улице; и думаешь ли обо мне? Или нашла новую любовь и в эту минуту

нежишься в объятиях другого любовника?». Потом, когда шаги на улице замирают, когда громкие раскаты ударов колокола затихают в воздухе, он колотит себя в муке и отчаянии, думает о преданной любви, но он забыл, что верна она ему или нет, время у нее другое, и дома часы бьют десять.

Вот так даже в воспоминаниях о любовных горестях, даже когда мы надеемся, что возглас любви чудесным образом обогнет половину земного шара, время шутит с нами злую шутку, там, куда обращен наш возглас, никакой любви нет, минута верности или предательства либо позади, либо впереди, наш возглас тонет в темноте; и вся земля полна этими обманами времени, этими неуслышанными возгласами, этими несчетными, ушедшими, сиротливыми мгновениями многоликого, насмешливого, бессердечного времени.

Существует минута, когда наши молитвы бывают услышаны, когда наши жизни могут соприкоснуться, когда наши странствия могут окончиться, когда вся наша жажда может быть утолена, и мы можем навсегда войти в самое сердце любви.

Но кто узнает эту минуту, когда она наступает? Кто знает ту дверь, которую может открыть? Кто может отыскать один огонь среди миллиона огней, одно лицо среди миллиарда лиц, одно взаимное желание, одну общую радость в громадных, запутанных дебрях любви и жажды, покрывающих всю землю? Мы маленькие, ищущие вслепую существа, взывающие о свете и любви, которая могла бы спасти нас и которая умирает в темноте рядом с нами, однако найти ее мы не можем. Мы подобны слепым детенышам, безглазым морским пресмыкающимся, которые ползают ощупью в зарослях на громадном морском дне, и умираем одинокими в темноте, в секунде от надежды, в миге от радости и осуществления желаний, в крохотном полчасе от любви.

Это одна разновидность времени; это один из бесчисленных его ликов. Вот другой:

Когда Джордж открыл дверь маленькой химчистки в Эмбл-сайте и стал спускаться по ступенькам, молодой человек с худощавым, живым лицом ждал его. Снаружи темнело, начинался дождь. День был ветреным, хмурым и прекрасным, вокруг холмов пеной бурлили тучи, налетал шквалами проливной дождь. Теперь дождь полил снова, капли его мерно падали на деревенскую улицу. В угасающем свете молодой человек с худощавым, живым лицом взгляделся в Джорджа и сказал:

– Добрый вечер, шэр. – Потом улыбнулся со своеобразным юмором, с умом и пониманием, улыбка на миг обнажила почерневшие беззубые десны, причину его шепелявости. – Пождно вы, шэр. Я уже хотел жакрывать.

– Костюм мой уже готов?

– Да, шэр. Я дожидалша ваш.

Он придвинул по стойке аккуратно перевязанную коробку с костюмом. Джордж полез в карман за деньгами и вопросительно взглянул на него. Молодой человек сказал:

– Два фунта шесть шиллингов, шэр. Жаль, что вам пришлошь идти по такой погоде, но, – в его голосе звучал мягкий, добродушный упрек, – вы не оштавили швоего адреша, шэр. А то бы я пришлал коштюм ш рашшильным. – Он поглядел в окна на сереющий свет, а потом, недовольно покачав головой, выразительно сказал: – Шырая погода! Шырая! Жаль, шэр, что ваш приезд испорчен погодой.

– О, я ничего не имею против, – ответил Джордж, взяв коробку и собираясь уходить. – Такая погода иногда приятна, кроме того, последние две недели стояли такие прекрасные дни, что грех жаловаться. Я ожидал совершенно другого. И удивился, что погода здесь может быть такой ясной.

Молодой человек с худощавым, живым лицом неторопливо взял тонкими пальцами за прилавок, чуть подался вперед и спросил с вызывающим, веселым любопытством:

– А почему, пожвольте ужнать? Почему, скажите на милость, вы удивились? Какой погоды ожидали?

– Думал, она будет паршивой. Видите ли, мне так сказали. В Лондоне, говорили, что здесь постоянно льет дождь, и ничего другого ждать не следует.

– Это, шэр, – неторопливо, выразительно заговорил молодой человек, – *нижкая* клевета! *Отвратительно* нижкая! Дожди, конечно, у наш бывают, – признал он, – но отрицать, что у наш бывают яшные дни прошто шмехотворно! Жнаете, шэр, – с неожиданной гордостью заявил молодой человек, – иж года в год на швете не бывает лучшей погоды, чем на Английских Ожерах – и отрицать это – *шущая* клевета – *шамая* нижкая – *лондоншкая* клевета!

Высказав с величайшей серьезностью эти слова, молодой человек с худощавым, живым лицом выпрямился и весело, дружелюбно, очень заразительно улыбнулся.

– Вшего доброго, шэр, – сказал он, когда Джордж повернулся к двери.

И клиент ушел, провожаемый улыбкой молодого человека – улыбкой, которая потом не шла у него из памяти, которая согревала ему сердце, когда он вспоминал живой ум, веселое, добродушное понимание, тонкий юмор, сквозившие в этой улыбке, – и от которой ему становилось не по себе, которая вызывала у него странно и горько смешанные жалость и отвращение, когда он вспоминал беззубые, почерневшие десны, беспощадно обнажавшиеся в этой на редкость добродушной улыбке у такого молодого человека.

На деревенской улице не было ничего, кроме тусклого, угасающего влажного света и мерного шума дождя, спокойно льющего сквозь листву, непрестанно капающего с ветвей на землю. Джордж шел под холодным дождем, хлещущим его по лицу, и ему не давали покоя мучительные откровения кратких встреч со своими собратьями, чудесная улыбка на худощавом, живом лице.

Это другой миг утраченного времени, один из множества его ликов.

И вот путешественник находится на пароходе, подходящем к городу Булонь на французском побережье в два часа ночи. Середина лета, июль. Пароход быстро идет к городу. Пассажиры стоят вдоль поручня, смотрят, как скользит мимо в темноте волнолом, как приближаются городские огни. Все это вкупе с разбросанными по всему французскому побережью мерцающими огнями вызывает у пассажиров чувство благоговения и восторга.

Мало того, что это *французская* земля, что маленькие фигурки у ярко освещенного причала – *французы*, но даже и все эти огни *французские*; благодаря этому чувству благоговения и торжества, которое никогда не умирает в наших сердцах полностью, пассажиры будут облекать все, что увидят – деревья, кошек, собак, кур – этим же волшебным покровом собственной выделки: «французскостью». Даже самую обыденную, распространенную вещь они не смогут видеть без сознания, что она «французская», своеобразная, и потому станут разглядывать ее с любопытством.

Тем временем пароход быстро приближается к городу, и путешественник, усталый телом, но вновь охваченный волнением путешествия, надеждой и бессмертной верой в путешествия, нетерпеливо дожидается высадки. Маленькое судно, пеня воду, подходит к серому каменному причалу, путешественник видит людей, быстро идущих вдоль борта, ярко-голубые и огненно-красные лампасы на мешковатых брюках жандарма, потом снова сходит на сушу, опускается по сходням и отдает карточку высадки, быстро идет по причалу за дюжим носильщиком в синей куртке, невысоким энергичным французом, важно вышагивающим с его багажом. У таможенного барьера носильщик останавливается, зовет и манит путешественника, усталый чиновник бормочет обычную формулу, на которую путешественник отвечает: «Je n' ai rien, monsieur»^[19], чиновник быстро ставит мелом кресты на его вещах, проверка окончена, он

проходит.

Неожиданно путешественника охватывают острое сожаление и тоска по всем местам, которые он проехал, не побывав в них, по тайнам, которых не постиг, дверям, которых не открыл. Он знает, что жизнь в этом приморском городке, который прежде существовал для него лишь как россыпь огней, беспорядочная картина лиц, улиц, мостов, домов и длинный причал, у которого останавливается поезд, существовал только как блеск воды, плеск волн, смесь голосов чиновников, носильщиков и путешественников, потом как скос деревянных пирсов, видение судовых огней и наконец судно! – он знает, что жизнь в этом городке, видимо, такая же, как и повсюду, но знает также, что неповиновение вечному стремлению сомневаться, изучать, исследовать – одна из роковых ошибок в жизни, и, обратясь к носильщику, говорит, что не поедет в Париж ждущим отправки поездом, а останется здесь.

Минуту спустя, покинув пристань через новую дверь, путешественник сидит в разболтанной, запряженной костлявой клячей коляске. Ветхий экипаж, дребезжа, удаляется по бульжной мостовой от удивленного носильщика и возбуждающей любопытство группы извозчиков. Причал, таможня, поезд остаются позади, он проезжает мимо новых домов, пересекает новые улицы, заведенный порядок прибытия нарушен полностью. Спустя еще минуту он вызывает владельца небольшого отеля, снимает номер и, едва стихло усталое цоканье копыт старой лошади по мостовой, оказывается наедине со своим багажом в большой, выбеленной комнате. Заказывает большую бутылку красного вина и пьет за собственные торжество и радость.

Через несколько минут он раздевается и гасит свет. Стоит в темноте какое-то время. Старые, толстые половицы, кажется, раскачиваются, словно палуба судна. Он все еще ощущает волнение моря. Подходит к окну и выглядывает. Приятный ночной воздух, приятный воздух лета с ароматом цветов и листьев, с запахом моря в гавани, со всеми старыми, знакомыми запахами земли и города – улиц, старых зданий, тротуаров, магазинов – обдает его дружественным, человеческим благоуханием.

Окно выходит на маленькую улочку – одну из узких окраинных, мощенных бульжником улиц французского городка, с узкими тротуарами, на которых двум людям не разминуться. На ней царит надменный, спокойный, замкнутый дух ночных французских улиц: рифленые железные шторы всех лавочек опущены, скрытые люди, спящие в высоких старых домах с покатыми крышами, образующими стойкий, выразительный скульптурный образ древности, плотно закрыли ставни, чтобы туда никто не мог заглянуть. На другой стороне улицы внизу он разбирает потускневшие буквы над закрытыми шторами лавочки – Patisseri^[20]*

Лавочка очень старая и очень привычная. Улица спит и вместе с тем обладает странной, живой настороженностью – словно бы громадный темный глаз пристально, неусыпно наблюдает за судьбой улицы.

У путешественника возникает чувство, что он уже бывал здесь. Он стоит еще какое-то время, проникаясь неизменной и живой вечностью земли, вдыхая ее сильное, крепкое благоухание, часть участи всех живущих на ней. Потом ложится в постель, тело его погружается в блаженство грубых чистых простыней и мягких подушек, словно в некую живую субстанцию, и на минуту замирает, охваченный восторженным изумлением, становится частью этой живой темноты. Находящиеся в комнате предметы – кровать, стулья, шкаф, умывальник – объединяются как живущие в его сознании вещи, старые, очень знакомые, необходимые, хотя час назад он не знал об их существовании; в его сознании присутствуют и улица снаружи, старые дома, город и вся земля.

Присутствует в его сознании и время, мрачное, таинственное, вечно текущее, словно река; присутствует вся семья живущих на земле, все люди кажутся ему знакомыми и дружелюбными,

и на миг он представляется себе живым сердцем тьмы, глазом, наблюдающим за спящими городами.

Потом, лежа и прислушиваясь в темноте, он слышит несколько знакомых звуков земли. Внезапно живая тишина нарушается резким, пронзительным свистком – высоким, захватывающим звуком – французского поезда, и путешественник слышит, как поезд начинает свой путь по стране. Потом где-то раздается самый знакомый, памятный из звуков – стук колес и цокот копыт по пустой улице. Откуда-то доносится негромкий, прерывистый вой собаки, затем путешественник слышит шаги внизу.

Шаги приближаются, металлически позвякивая на пустых тротуарах, и вот он слышит два голоса – мужской и женский, голос у мужчины негромкий, доверительный, путешественник не может разобрать слов, понять, какой это язык, но голоса этих людей звучат как голоса всех любовников, ходивших парой по тихим ночным улицам: над ними неизменно шелестит нежная листва, они непринужденны и ласковы, они узнаваемы, в их ритме слышатся все неповторимые тона, паузы, восклицания людей, не замечающих ни мира, ни собственных слов. Шаги и голоса приближаются, становятся громче и минуют его окно, обретая на миг ошеломляющую реальность.

Внезапно, едва они проходят, из горла женщины вырывается негромкий, мягкий смех, нежный и чувственный, и тут по волшебству времени какой-то свет озаряет на миг сплетение его воспоминаний, поднимается какая-то штора, забытый миг оживает со всей волшебной, ужасающей яркостью, и путешественник вновь становится ребенком, он слышит в темноте под шелестом июльской листвы шаги любовников, шедших по ночной улице маленького американского городка, когда ему было девять лет, они пели песню «Люби меня, и весь мир станет моим».

Где?

В городке Либия-Хилл, в Старой Кэтоубе, двадцать лет назад, примерно одиннадцать часов вечера, он слышит мягкий, прохладный шелест листвы; из темноты доносились напев и радость музыки на танцах, но теперь она прекратилась, и город затихает, слышен только собачий лай; кроме него где-то в темноте у реки он слышит громохание колес по рельсам, звон колокола и долгий, завывающий гудок американского ночного поезда, сиротливый и чудесный звук, затихающий в одной из долин Юга.

Теперь, тоже на одной из зеленых, спящих улиц в том городке, ребенок слышит звук заводимого мотора; слышит неожиданный и громкий в ночи рев одного из первых автомобилей. Ему легко представить, как выглядит этот автомобиль – это один из ранних «бьюиков» или «хадсонов» с ревущими моторами, от него пахнет бензином и кожей сидений. За рулем сидит какой-нибудь бесшабашный парень с румяным лицом, в кожаных гетрах, он, завершив дневные труды, выехал на своем автомобиле или «позаимствовал» чужой в одном из темных, унылых гаражей, чтобы покатать свою любовницу или какую-нибудь доступную женщину.

Прохладный, темный ночной воздух, трепет листвы, тонкий, пьянящий аромат цветов, громадная заманчивость сонной земли и темных холмов еще больше разжигают их страсть, и ребенок в постели взбудоражен тайной и соблазном ночи. Шум затихает, и любовники идут по тихой улице под шелестящей листвой деревьев: он слышит их шаги и негромкую интимность голосов. Потом раздается негромкий, мягкий смех женщины, и это было двадцать лет назад, тогда в моде была песня «Доброе, старое летнее время». Итак, эта сцена, извлеченная из темной, глубокой пучины памяти, вспыхивает в мозгу путешественника перед сном, но кто может сказать, каким образом, благодаря какому волшебству? Смех женщины на улице старого французского городка оживил ее, и с нею над утраченным образом ребенка, над крушением, усталостью, увяданием плоти оживает вся безбрежная мечтательность, вся невинность юности,

которая никогда не может умереть. Память пробуждает невыразимое чувство, безгласный клич, смысл, который путешественник в душе не может облечь в слова, он вновь слышит в ночи резкий, пронзительный гудок французского поезда, с его уст срывается возглас радости, боли, переплетенных горя и восторга, и он засыпает.

45. ПАРИЖ

Вот уже три дня Джордж жил, будто во сне. Громадный окружающий мир Парижа со всей его монументальной архитектурой, оживленными улицами, толпами и суетой, кафе и ресторанами, игрой и блеском жизни проплывал мимо него, вокруг неясными, смутными картинами какого-то призрачного мира. Он постоянно думал об Эстер, но словно человек, находящийся во власти каких-то могущественных, злых чар. Теперь он был исполнен новых сомнений и мучительных страхов. Почему нет письма от нее?

Его носило по всему городу какое-то беспощадное, изнурительное беспокойство, он не радовался тому, что видел, на уме у него были только перемены и движение, словно обитавших в его душе дьяволов можно было обогнать, оставить позади. Он метался от кафе к кафе, садился на террасе, в одном пил кофе, в другом пикон, в третьем пиво, лихорадочно и грустно глядя на безудержную живость, неистощимую и бессмысленную веселость французов.

И везде было одно и то же. Прежде всего снующие туда-сюда официанты, потом ждущие любовниц молодые люди, потом ждущие любовников молодые женщины, потом семьи, поджидающие родственников и расставляющие стулья в кружок, потом одинокие молодые люди, как и он, потом две-три случайные проститутки, потом французы, ведущие деловые разговоры за кружкой пива, потом занятые сплетнями старухи.

Куда от этого деваться? Пойти в другое кафе, выпить пива? Или коньяка? Но и там то же самое.

Джордж терпеть не мог отеля и как только поднимался поутру, уходил. Садился в автобус или шел неистовым, стремительным шагом по набережным, через мост, под аркой Лувра, по авеню дель-Опера к зданию конторы «Американ Экспресс». Там, кипя от волнения и нетерпения, стоял в очереди к почтовому окошку, уверенный, что сегодня получит от нее долгожданное письмо. Потом, когда письма не оказывалось, быстро уходил с тоской и отчаянием в сердце, ненавидя все и всех вокруг, ненавидя даже теплый, серый воздух, которым дышал.

Может, его корреспонденцию забыли переслать из Лондона? На миг у него ярко вспыхивала надежда, он исполнялся уверенности, что письмо Эстер ждет его там. Или ее великая, бессмертная любовь умерла? Может, он забыт и отвергнут? Может, «вечно» – это всего полтора месяца? Может, она теперь шепчет «вечно» другому любовнику?

С каждым днем его надежда вновь оживала. И с замирающим сердцем он знал наверняка, кто вручит ему письмо. Он уже так возненавидел невысокого, лысого служащего с отрывистой речью, что знание об этой ненависти передалось этому неприятному, но безобидному маленькому человеку. Ибо, как Джордж стал понимать, хотя люди живут во множестве разных миров памяти, мыслей, времени, мир чувств у них, в сущности, один. Последний осел с огрубелой плотью и недоразвитым мозгом способен понять Эйнштейна или Шекспира не лучше, чем забредшая в библиотеку собака разобраться в книгах хозяина. И однако же этот тупой болван с разумом животного может мгновенно прийти в ярость от пренебрежительного взгляда, насмешливого высокомерия в едином слове, надменно раздуваемых ноздрей, искривленных губ.

Так обстояло и с тем тупым, заурядным человечком в «Американ Экспресс». Он почувствовал странную неприязнь к себе со стороны этого клиента, и теперь они ежедневно глядели через перегородку друг на друга суровыми, холодными глазами, в кото рых сквозила ненависть, слова их звучали грубо, резко, и когда служащий, отвернувшись от писем, отрывисто говорил: «Вам ничего нет, Уэббер», на его лице при виде страдания и растерянности Джорджа

появлялось злобное удовлетворение.

И когда после этого он, топая, уходил из конторы, его горе и злобное разочарование бывали так сильны, что он ненавидел не только служащих, но и заходивших туда туристов. Ему казалось, что они с гнусной радостью глядят пустыми, безжизненными, злобными глазами на его отчаяние. Ненавидел гнусавые, монотонные голоса, иссохшие шеи, постные, с выдающимися челюстями лица своих соотечественников и соотечественниц, их дешевую, неприглядную одежду массового пошива, их грубую, надменную бесчувственность, раздражающе действующую на нервы людям других национальностей. Ненавидел всю их штампованную, металлическую стандартность и лишь оттого, что не получил письма, обращал злобу на земляков, убеждал себя в каком-то разгуле извращенного патриотизма, что вся страна стала выхоленной, отвратительной, растленной и преступной, что она создала чудовищную, гнусную, пагубную машину, отштамповавшую отвратительную расу роботов, которые предали всю прежнюю радость жизни, благо-датность и честь «старой Америки» – Америки Дэвида Крокетта, Линкольна, Уитмена, Марка Твена – и, разумеется, его собственной; и что если возрождать Америку, спасти весь мир, то эту мерзкую, уродливую расу подлых роботов придется уничтожить. И все потому, что он не получил письма от женщины!

Он молча проходил широким шагом мимо туристов, болтающих в залах «Американ Экспресс Компани», и скрипел зубами, когда с какой-то злорадной ненасытностью ненависти, со злобным удовлетворением ловил обрывки разговоров. Радости в них не слышалось. Там собирались обманутые, озадаченные люди, велись бесконечные разговоры взволнованных, жалующихся, смятенных, несчастных, спешащих, измотанных, неопытных людей. То были жители маленьких городков, мечтавшие «съездить в Европу» – учителя со Среднего Запада, провинциальные бизнесмены с женами, «клубные дамы», студенты и студентки – и теперь их гоняли стадом, будто скот, на какую-нибудь отвратительную экскурсию, обращались к ним на незнакомом языке, приводили их в замешательство, повсюду обманывали, они были уже раздосадованы, утомлены, напуганы, сбиты с толку всем этим, горько разочарованы замечательным путешествием, о котором мечтали всю жизнь, и отчаянно стремились «попасть снова домой».

В таких случаях Джордж даже не знал, кого недолюбливал больше – туристов с их гнусавыми, хнычущими, жалобными голосами или служащих с их грубыми, бесцеремонными, отрывистыми, раздраженными, неприветливыми манерами, их почти откровенной -совсем как у маленького почтового служащего – радостью подавленности, смятению, заблуждению, неловкости людей, которых они обслуживали. Служащие были и американцами, и французами; когда Джордж проходил через залы, они во время разговора неторопливо барабанили пальцами о перегородки, он слышал, как они с раздраженной неприступностью говорят неприятными, холодными голосами;

– Сожалею, мадам. Билеты мы вам заказали, но не можем нести ответственность, если вам не нравятся места... Нет. Нет. Мне жаль, что ваши места за колонной, и она заслоняет вам вид, но вы брали билеты на свою ответственность. Мы не виноваты... Нет, сэр! Нет! Мы тут совершенно ни при чем... Нет! Мы не можем быть в ответе!.. Мы рекомендовали этот отель, он есть у нас в списке, мы всегда считали его приличным, другие люди, которых мы направляли туда, хорошо о нем отзывались... Если у вас украли багаж, мне жаль. Мы не сможем нести ответственность за ваш багаж. – Потом резко: – К кому?.. Что такое? – С холодным равнодушием: – Не могу сказать, к кому вам обращаться, сэр. Попробуйте к американскому консулу... Надо было обратиться к местным властям... Если дирекция отеля отказывается возместить убытки, мне жаль. Но мы ничего не можем для вас сделать... Слушаю вас, – отрывисто, холодно другому терпеливо ждущему посетителю. – Куда вам?.. В Страсбург, –

холодным, отрывистым тоном; затем устало: – В десять тридцать утра... в четырнадцать пять днем... и в девять тридцать каждый вечер... С Восточного вокзала, – холодно лезет за расписанием поездов, быстро обводит кружочками три пункта, потом грубо сует посетителю, не глядя на него, и, раздраженно барабанив пальцами, обращает взгляд на очередного просителя и резко спрашивает: – Так?.. Что вам нужно? Аккредитив? – Устало: – Это напротив, увидите табличку... Нет, сэр. Нет. Заказ на билеты здесь.

И жалкие, измотанные, недоумевающие, горько разочарованные туристы повсюду протестуют, спрашивают, получают отказ, слоняются по залу и жалуются друг другу, ведут такие вот разговоры:

– А я говорю, вы должны его поменять! Что же мне делать?.. Когда мне продали билет обратно домой, то сказали...

– Простите, мадам, мы здесь ни при чем.

– О, вон те муж и жена из Сент-Пола, что плыли с нами сюда... Мистер и миссис Как-Там-Их... О, Хумпершлагель!.. Поговори с ними, Джим! Это первые знакомые, каких мы видим... О, здравствуйте, миссис Хумпершлагель!.. Как поживаете, мистер Хумпершлагель?.. Плывете обратно вместе с нами на «Олимпии» в следующем месяце?

– Не-ет; билеты я поменял... Отплываем пятнадцатого в этом месяце, на «Мавритании»... Был бы пароход пораньше, так сели бы на него.

– Что такое, мистер Хумпершлагель, в чем дело? Неужели дома какая-то беда?

– Беда? Нет, что вы! Вся беда только в том, что нельзя отплыть пораньше! Что придется торчать здесь до пятнадцатого!

– Господи, мистер Хумпершлагель! Вы так говорите, словно плохо проводите тут время! У вас, должно быть, что-нибудь стряслось!

– Стряслось! Знаете, миссис Бредшоу, стряслось все, кроме заболевания оспой! С тех пор, как отплыли из Штатов, у нас сплошные передряги и невезения!

– Аххх! – сочувственное женское тремоло. – *Какая жалость!*

– Началось все с того, что жену стало тошнить, едва мы вышли из дока... Все время наизнанку выворачивало, я боялся, что она умрет... Когда мы пришли в Шербур, ее пришлось выносить на носилках, и с тех пор она еще не оправилась.

– О-о-ох, миссис Хумпершлагель! Какая жалость! Я вам так сочу-у-увствую!

В ответ на очередное тремоло звучит хнычущий, гнусавый, болезненный женский голос:

– О, знаете, миссис Бредшоу, это была просто жуть! Я ужасно себя чувствовала с той минуты, как мы отплыли!.. И не видела ничего. Все время лежала на кровати в отелях, была так больна, что не могла двигаться... Вчера мы были на автобусной экскурсии по Парижу, но заезжали во столько мест, что в голове у меня все смешалось, не помню, где и были... Спросила у экскурсовода, но стоит их о чем-то спросить, они начинают так тараторить, что ни слова не поймешь.

– Да! – злобно проскрежетал Хумпершлагель. – Понимаешь только вот что, – он протянул огромную руку и сделал пальцами хватательное движение, – дай, дай, дай! Это понятно на любом языке, – только здешняя публика довела это дело до уровня науки – обирает тебя со всех сторон! Вот так! Не будешь держать ухо востро, золотые коронки с зубов снимут!

Тем временем женщины оживленно тараторят:

– А цены просто жу-у-уткие!.. Я постоянно слышала, что здесь все дешево, но после этого! – нет уж, больше развешивать уши не буду!.. Сама знаю! Это ужас! Конечно, они думают, что все американцы миллионеры и будут платить любую цену!.. Подумать только! Они имели наглость потребовать *полторы тысячи* франков! Мыс Джимом потом подсчитали – это больше девяноста долларов – за паршивое платье, какое в Блумингтоне можно купить за двадцать!..

Конечно! Конечно, дорогая моя!.. Я сказала ей!.. Тут же отдала платье и говорю: «Поищите кого поглупее, пусть они платят вам такую цену, но от меня вы этих денег не получите!.. Ни в жизнь! .. – говорю. – Мы дома можем купить не хуже за четверть этой цены и приехали не за тем, чтобы нас надували!

Тем временем мистер Хумпершлагель с громогласной категоричностью:

– Нет уж! Больше ни за что! Добрые старые США меня вполне устраивают! Как только увижу снова Статую Свободы, издам такой вопль, что его услышат в Сан-Франциско!.. Говорят, однажды простофиля – вечно простофиля, но это не про меня. Одного раза хватит!

И миссис Хумпершлагель:

– А теперь я так боюсь обратного пути! Говорю вчера Фреду – вот если бы можно было *выстрелить* тебя обратно... передать *по проводу*... Наверно, я даже рискнула бы лететь самолетом, до того боюсь идти на судно! Меня жутко тошнило по пути сюда, а в обратном плавании наверняка будет еще хуже... Желудок у меня расстроен с тех пор, как только мы отплыли. Больше месяца ем через силу. В горло не идет еда, что здесь подают.

– Да, черт возьми, – выкрикнул мистер Хумпершлагель, – здесь никогда не подают ничего съедобного! На завтрак булочка с маслом и чашечка кофе, который...

– Ох, да! – простонала тут миссис Хумпершлагель, – ну и кофе! Какую горькую, черную гадость они пьют! Ох-х! Я вчера заказала Фреду, что как только приедем домой, первым делом выпью десять чашек хорошего, крепкого, свежего американского кофе!

– Потом все эти маленькие тарелочки с надписями, которые никому не разобрать... и... да что там! – негодуяще выпалил ее муж, – они едят *улиток*!... Истинная правда! – объявил он, покачивая головой. – Вчера в отеле я видел, как один тип доставал что-то из раковины щипчиками, и спросил официанта, что это такое. «Ахх, местье, – манерно выкрикнул мистер Хумпершлагель, – это ули-итка!»... Скорей бы вернуться домой, забыть про эти тарелочки с диковинными соусами и непонятными надписями, зайти в ресторан, взять бифштекс в дюйм толщиной – густо посыпанный луком – эдак с галлон настоящего кофе и большой кусок яблочного пирога – вот это я понимаю! – заключил он с мечтательным выражением на лице. – Тут уж отъемся!

– Послушайте, Хумпершлагель, – вмешался Бредшоу, словно его осенила внезапная мысль, – почему бы вам и миссис Хумпершлагель не пойти с нами как-нибудь в одно местечко, которое мы обнаружили здесь, в Париже? Знакомые сказали нам о нем, и с тех пор мы питаемся там. Французскую жратву я тоже терпеть не могу, но в этом местечке можно получить настоящую, полноценную, приготовленную по-домашнему американскую еду.

– Как? – вскричал Хумпершлагель. – Настоящую – без дураков?

– Да, сэр! – твердо ответил мистер Бредшоу. – Самую что ни на есть! Настоящие американский кофе, бисквиты, кукурузный хлеб, свиные отбивные, яичницу с ветчиной – яйца поджарят до той степени, как скажете! – гренки, настоящий бифштекс из вырезки, какой только окажется вам по зубам...

– И яблочный пирог? – жадно спросил Хумпершлагель.

– Да, сэр! – твердо ответил мистер Бредшоу. – Лучшего вы и не видели – поджаристый, с корочкой, всегда свежий!

– Ура-а! – торжествующе заревел Хумпершлагель. – Ведите нас в это место! Скажите, где оно находится! Когда сможем, пойдем вместе – братец, я умираю от голода, я не могу ждать!

И так повсюду. Кричаще разодетый бруклинско-бродвейский еврей в элегантной серой шляпе, ухарски сдвинутой набекрень над большим крючковатым носом, в забрызганных грязью сверкающих туфлях, с сигарой, высокомерно зажатой в уголке кривящегося рта, запустив руки в карманы щегольского пиджака и слегка покачиваясь взад-вперед, обращается резким,

покровительственным голосом к небольшому кружку внимающих ему знакомых:

– Нет уж!.. Нет уж, дудки!.. Хотел я полюбоваться тем, что у них есть, но один раз взглянул, и будет! Хватит с меня!.. Я повидал все – лондонский Тауэр, Букингемский дворец, Берлин, Мюнхен, Будапешт, Рим, Неаполь, Монте-Карло – все эти места, – сказал он, снисходительно покачав головой. – Облазил весь этот город, в Пар-риже ничего такого нет, чего б я не знал. Черт возьми! – внезапно зарычал он и, выхватив изо рта сигару, огляделся по сторонам с угрожающим видом, – про этот... город ничего мне рассказывать не нужно! Я побывал в каждом... заведении, какие только здесь есть. Повидал все.

Он сделал паузу, неторопливо сунул сигару опять в уголок рта, мягко качнулся на носках блестящих туфель, с легкой улыбкой превосходства понимающе кивнул и заговорил с выразительной неторопливостью:

– Нет уж! Нет уж, дудки! Я вдоль и поперек облазил этот город – и поверьте мне, поверьте мне – мы их переплюнули во всем... Что там говорить! Что там говорить! У них нет ни единого заведения, которое у нас не было в десять раз лучше... Я всю жизнь слышал про этот город, подумал – дай-ка взгляну на него. Пар-риж! Да что в нем такого, черт побери! – зарычал вдруг он снова, выхватив сигару изо рта и так угрожающе навел на слушателей, что те попятнулись. – О чем вы говорите, черт возьми? – вызывающе спросил он, хотя никто не произнес ни слова. – Да я могу показать вам на маленьком старом Бродвее больше заведений, чем этот... город мечтал иметь! Что там говорить! Что там говорить! Здесь самые лучшие заведения выглядят как забегаловка Маллигена на Шестой авеню!.. Нет уж, дудки! Это не для меня! Хватит. Один раз взглянул, и будет! Я сыт по горло! Повидал, что хотел повидать, и конец! Теперь маленький старый Нью-Йорк меня вполне устраивает!

И, удовлетворенный наконец этим торжественным утверждением собственного патриотизма, он сунул большие пальцы под мышки, качнулся взад-вперед, передвинул сигару в другой уголок рта и выпустил из ноздрей большой клуб густого, ароматного дыма.

Вот такой была контора «Америкен Экспресс» летом 1928 года в Париже, куда письмо так и не пришло.

Однажды вечером Джордж отправился в Фоли Бержер и добрался туда поздно. В вестибюле было пусто; люди в кассе и двое мужчин за высоким столом у дверей глядели на него холодными галльскими глазами. Джордж просмотрел расценки на билеты; классификация их была непонятной; разобраться в ней он не мог. К нему подошел мужчина в вечернем костюме – представитель ночного парижского племени, лет тридцати пяти, с черными, блестящими прилизанными волосами, безжизненными глазами рептилии, большим крючковатым носом корыстолюбца, хитрым лицом.

– Месье, – вопрошающе и вместе с тем убедительно произнес он, – мо-ожет, я чем-то могу помочь вам?

Джордж, вздрогнув, обернулся, поразился великолепному виду этого лощеного создания и, запинаясь, промямлил:

– Я... какой билет нужно мне...

– Ах, билет! – воскликнул мужчина с таким видом, словно на него снизошло откровение. – Mais parfaitement! Monsieur, – произнес он вкрадчиво, – permettez moi!^[21].. Я атташе – Vous comprenez^[22]* – этого театра. Я куплю вам билет.

– Только не... только не слишком дорогой, – промямлил Джордж, стыдясь говорить о каких-то жалких ценах с этим великолепным ночным существом. – Что-нибудь... что-нибудь за умеренную цену, понимаете?

– Mais parfaitement! – воскликнуло снова лощенное существо. – C'est entendu. Quelque chose

du moyen prix^[23].

Этот человек взял у Джорджа протянутую стофранковую банкноту, подошел к окошку кассы, быстро переговорил с сидевшими внутри и купил самый дорогой билет. Потом сказав с улыбкой: *S'il vous plait, monsieur*^{[24]*}, подошел к столу, где двое стражей двери хмуро поглядели на билет, сделали запись в книге и разорвали его пополам, затем отдал разорванный билет Джорджу с легким поклоном, но без сдачи.

– А теперь,- вкрадчиво сказал он, когда Джордж, несколько ошеломленный быстротой и дороговизной этой процедуры, вознамерился войти,- вы хотите повидать танцовщиц, *n'est-ce pas?*^{[25]*}

– Танцовщиц? – проямлил Джордж. – Нет, я пришел посмотреть представление.

– О, – махнул рукой с веселым смехом Темноглазый. – Но время еще есть! Время есть! И для начала мы пойдем к танцовщицам, *n'est-ce pas?*

– Как-нибудь в другой раз – я и так уже опоздал на представление!

– *Mais pas du tout!* – громогласно возразил Темноглазый. – *Du tout, du tout, du tout!*^{[26]**}
Представление еще не началось. Поэтому времени у нас много.

– Не началось? – переспросил Джордж, с беспокойством глянув на часы.

– Нет-нет! Еще полчаса! – настоятельным тоном произнес Темноглазый. – А теперь – идемте со мной, а? – продолжал он вкрадчиво. – Посмотреть танцовщиц. Думаю, вам понравится -да!

– Это считается частью представления?

– Ну да! *Parfaitement!*

– А вы работаете здесь?

– Ну да, *monsieur*. Дирекция – как это сказать – поручает мне обслуживание иностранцев. – Он заразительно улыбнулся и сде лал руками и плечами изящный жест. – Так что, если хотите, я вам покажу тут кое-что – а? – пока не началось представление?

«До чего славный человек! – с благодарностью подумал Джордж. – И как предусмотрительно со стороны дирекции поставить его здесь для помощи иностранцам!.. Однако, должно быть, под конец он рассчитывает получить чаевые». И заколебался, не зная, возьмет ли такой лощеный, воспитанный человек на чай.

– Ну, идем – а? – улыбнулся Темноглазый. – Думаю, девочки вам понравятся. *Par ici, monsieur!*^{[27]***}

Он любезно распахнул створку двери перед Джорджем и когда выходил сам, что-то быстрое, неуловимое пронеслось между ним и людьми в вечерних костюмах за высоким столом. Не улыбка, не слово, а нечто исполненное ликования, суровое, холодное, бессердечное и застарелое, зловещее, как ночь.

Когда они вышли, Джордж удивленно, обеспокоенно взглянул на француза, но бодряще взятый за руку, позволил себя увести.

– А что же танцовщицы? – спросил он. – Разве они не здесь, не в театре?

– *Mais non, mais non,* – вкрадчиво ответил Темноглазый. – У них – как это называется? – отдельный *atablissement*^[28].

– Но он является частью Фоли Бержер?

– *Mais parfaitement!* *Monsieur,* я вижу, в Париже новичок, а?

– Да, я здесь недавно.

– И долго собираетесь пробыть?

– Не знаю – месяца полтора, может, подольше.

– А! Это хорошо! – одобрительно кивнул Темноглазый. – Будет время научиться языку, а?..

Да!.. Это будет хорошо!.. Если станете понимать язык, – он слегка пожал плечами, – tout va bien!^{[29]*}, если нет, – он развел руками и заговорил сожалеющим тоном, – в Париже очень много плохих людей. Не французов! No, no, no, no! C'est les Russiens... les Allemands... les Italiens^{[30]**}. Они обманывают тех, кто не понимает а са... Вы даете им дол-лар обменять! – воскликнул он. – Ах-х! Доллар! Будьте осторожны с дол-лар!.. Не давайте им дол-лар! Если хотите обменять доллар, идите в банк! У вас есть дол-лар? – с беспокойством спросил он.

– Нет, – ответил Джордж. – Только дорожные чеки.

– Ах-х! – воскликнул Темноглазый и одобрительно кивнул. – Это лучше! Тогда вы можете пойти в банк américain, n'est-ce pas?

– Да.

– Это много, много лучше! – сказал Темноглазый и оживленно закивал с одобрением. Они пошли дальше.

Вокруг все было ярко, резко освещено, но теперь улицы и здания обладали замкнутым, таинственным, непроницаемым видом, той монументальной безжизненностью, которая большей частью характерна для ночного Парижа. Путь у Джорджа и его спутника был недалеким. Пройдя от театра два квартала, они свернули на другую улицу и остановились перед домом очень замкнутого, таинственного вида, из его верхних, закрытых ставнями окон волнующими полосками пробивался свет.

Темноглазый нажал кнопку звонка. Внезапно раздалась будоражащая трель, от которой сердце Джорджа забило чаще. Дверь открыла молодая женщина в форме горничной и с улыбкой впустила их. Они оказались в коридоре, окаймленном великолепными зеркалами; пол был застелен толстым, мягким ковром.

Сверху доносились звуки торопливой, взволнованной суеты: распахивание и закрывание множества дверей, быстрая беготня, юные взволнованные голоса и неприятный, деспотичный, раздраженный голос, резко выкрикивающий команды. И непрерывно звонили электрические звонки – звук был назойливым, пронзительным, исполненным угрозы и безотлагательности, как внезапная, отчаянная трель тревожной сигнализации.

Когда пришедшие стали подниматься по великолепной лестнице, все звуки прекратились. Их ноги бесшумно ступали по красной ковровой дорожке в полной, застывшей, насыщенной жизнью тишине. Джордж сознавал, что жизнь окружает его, подслушивает за десятком дверей, тайком смотрит на него сотней глаз, ждущая, наблюдающая, невидимая.

Эта застывшая, таинственная тишина, этот укромный, сладострастный свет вызывали у Джорджа окоченение плоти, какую-то пустоту в конечностях, сердце, желудке и чреслах. Он облизнул пересохшие губы, пульс его бился сильно и часто, словно в крови стучали какие-то молоточки.

Сцена была странной, незнакомой, как сновидение, и, однако же, обладала реальностью сна наяву. Напоминала нечто, чего Джордж никогда не видел, но что всегда знал, совпадающее с образом, сокрытым в его душе, и теперь, когда он это обнаружил, безошибочно узнаваемое. Оказавшись здесь, он испытывал ощущение странности и призрачной нереальности, которое проистекает из той смеси знакомого и неизвестного, которая и есть суть всякой странности – словно он внезапно оказался в аду или в раю и разговаривает с кем-то, кого знал всю жизнь – с полицейским из небольшого городка или с деревенским пьяницей.

Ступив в открытую после звонка дверь, Джордж вошел в новый мир. Вошел с безлюдной, открытой, знакомой тишины улиц в замкнутый и таинственный мир ночи. Этот мир был невероятным, потому что Джордж всегда знал, что он находится за простыми, ничем не примечательными фасадами знакомых домов. И мир этот был нежным, таинственным, великолепным, порочным и роскошным, в этом мире все – свет, лица, цвет и строение живой

плоти, биение сердца и пульсация крови, даже время и память подвергались странному, нереальному преобразению. Это был зловещий мир: он холодил кровь и вызывал окоченение плоти, заставлял пульс биться подобно сильному стуку молотков. Но и зловеще соблазнительный: он наполнял Джорджа своим душным, томным благоуханием, будоражил его чувства зловещим усилением мучительного и неутомимого желания.

И Джордж понимал, что подобный мир можно обнаружить только здесь, в зловещей таинственности и ночном мраке этого загадочного, очаровательного города – мир, странный для американца, для всего неприкрытого страха и отчаяния его души. Хоть этот мир и замкнут, отделен от внешнего мира улиц и машин словно бы герметичной, могильной печатью, в недрах своей таинственности он чувственно, неопишимо, с полной, невозбранной разгульностью свободен.

Это был не тот мир, где странная, древняя торговля женским телом ведется тайком, в страхе и жуткой тревоге. Не жалкий, извращенный мир порока, грубого, торопливого, убогого, какой обнаруживаешь в деревянных лачугах и хибарках возле железнодорожных путей, на вокзальных скамейках в американском городишке, в обнесенных заборами домишках негритянского квартала или в дешевых, сомнительной репутации отелях на Южной Мейн-стрит. Не тот мир, где укрывают любовь, утоляют страсть в мучительных волнениях сердца; или где до полуночи ждут в темноте убогой комнатухи шагов по скрипучей половице, осторожного поворота дверной ручки, предостерегающих шепотков в тишине и спешке. Не тот мир, где стук в дверь вселяет ужас в сердце, мгновенно душит самую жаркую страсть, где люди замирают, ждут, прислушиваются, затаив дыхание, когда удалятся пугающие шаги, в который мужчины входят и который покидают торопливо, с поднятым воротником, глубоко натянутой шляпой, пряча глаза.

Это был мир, где древняя торговля телом ведется в надежном убежище, облагорожена разрешением властей, где этот род занятий является давним, приемлемым, добропорядочным, как профессия юриста, врача или священника. Мир, где порок приукрашен всевозможными роскошными, чувственными украшениями, усовершенствован всеми тонкостями, какие способен выработать опыт многих столетий; и потому этот дом подействовал на чувства Джорджа возбуждающе, будто сильный наркотик, подавил его волю, привел к безвольной, безнравственной капитуляции.

На верху лестницы их поджидала женщина, одетая в вечернее платье из блестящей, отделанной стеклярусом ткани. Руки ее были обнажены, мертвенно-бледными, на них позвякивали браслеты, мертвенные, обтянутые кожей пальцы были усеяны драгоценными камнями; вены были жесткими, синими, выглядели безжизненно, как у трупа.

Что до ее лица, оно представляло собой самую отвратительную карикатуру, какую только видел Джордж. Домье не писал ничего подобного даже в минуты величайшего вдохновения. То было лицо «неопределенного возраста» просто потому, что возраста не имело. Женщине могло быть и сорок пять, и пятьдесят, и шестьдесят, и даже семьдесят; определить ее возраст было невозможно никак. Она казалась вечной в своей порочности. Ее лицо купалось в пороке, закореневало в нем, окрашивалось греховностью, покуда ткани его не стали жесткими, сухими, лишенными возраста, сморщенными, мумифицированными, подобно жутким трофеям охотников за головами. Глаза походили на вставленные в лицо тусклые, твердые агаты, в них совершенно не было блеска, жизни, человечности; волосы были совершенно безжизненными, представляли собой нечто отвратительное, неопределенное, похожее не то на солому, не то на паклю; а нос, окончательно придававший ее карикатурному лицу убедительное выражение корыстолюбия, алчности, беспредельной порочности, представлял собой потрясающий клюв стервятника, жесткий, как у птицы. И этот нос придавал лицу главную характерную

особенность: оно представляло собой топор из человеческой плоти, твердый, острый, впечатляющий, ледяной и жестокий, как ад. По сравнению с ним лица Сидящего Буйвола, Паухатана, великого вождя Мокрое Лицо, любое из лиц индейцев сиу и апачей походило на лица добрых, мирных, великодушных стариков-христиан.

Женщина приветствовала гостей ослепительной радушной улыбкой, в ней было все обаятельное, сердечное дружелюбие зубов гремучей змеи; потом взволнованно, жадно заговорила по-французски с Темноглазым, немедленно выяснила общественное положение и национальность своей последней жертвы и приготовилась ее обобрать.

Они вошли в какую-то комнату и сели на изящный, обитый золоченым атласом диван. Остролицая по-матерински уселась рядом со своим юным клиентом в такое же кресло и принялась говорить без умолку:

– Как вам нравится Париж?.. Замечательный, правда?.. Когда увидите, что у нас есть, он понравится вам еще больше – да?

Она улыбнулась с лукавым намеком и тут же хлопнула белыми, безжизненными руками, резко издав грубый выкрик надсмотрщика.

Тут же, будто в сказке, с какой-то отвратительной, смешной поспешностью заиграл большой граммофон, со всех сторон распахнулись стены, и вошло, танцуя, около двадцати молодых, красивых женщин.

Женщины были совершенно раздетыми. Стены, представлявшие собой не что иное, как зеркала, закрылись за ними, потолок и пол тоже были зеркальными, и когда эти обнаженные, молодые, красивые женщины медленно двигались в танце мимо Джорджа вокруг комнаты, яркие отражения в этой сотне зеркал бесконечно умножали голые тела; куда бы Джордж ни бросал взгляд, ему казалось, что он смотрит сквозь бесконечные колоннады на нескончаемое, ритмичное движение молодой обнаженной плоти.

Джордж сидел на обитом золоченым атласом диване, отвесив челюсть и выкатив глаза, словно султан на троне между заботливыми придворными – старой Остролицей и молодым Темноглазым, и все это время красивые женщины двигались в танце мимо, облаченные в сводящий с ума соблазн молодой обнаженной плоти, приглашая его нежными взглядами, прошептанными обещаниями, беззвучными просьбами на веселом языке потаскух, улыбались ему с вкрадчивым соблазном легкой любви, с нежной и порочной невинностью своих молодых потаскушских лиц.

Потом Джорджа повели в громадную комнату с позолотой, зеркалами и голубым светом. Она называлась «Тайны Азии». Там оказалось еще сорок женщин на выбор, в том числе две негритянки, все были нагишом. Одни стояли на пьедесталах, будто статуи, другие позировали, стоя в нишах, третьи растянулись по лестничному пролету, а одна была привязана к огромному кресту. Во имя искусства. Некоторые лежали на больших коврах на полу – и никто не имел права шевельнуться. Но все смотрели на Джорджа, силясь сказать взглядом: «Возьми меня!».

Когда он выбрал женщину, они пошли наверх, в комнату с лампами под абажуром, позолотой, зеркалами и кроватью, Джордж дал на чай горничной, а его женщина извинилась и пошла «привести себя в порядок».

Она была обходительной, спокойной, вежливой, и Джордж принялся с ней разговаривать. Для разговора он нашел много тем. Начал с фразы:

– Жарко сегодня.

А она ответила:

– Да, но, по-моему, вчера было жарче.

Он сказал:

– Да, но все же лето очень дождливое, правда?

Она ответила:

– Да, дожди затянулись. Надоели уже.

И он спросил, бывает ли она здесь постоянно. Она ответила:

– Да, сэр, ежедневно, кроме вторника, в этот день я гуляю.

Потом Джордж спросил, как ее зовут, она ответила, что Ивонна, он сказал, что она очень милая и красивая, и что непременно придет к ней. Она ответила:

– Благодарю вас, сэр. Вы очень благовоспитанны, меня зовут Ивонна, и я здесь бываю ежедневно, кроме вторника.

Она повязала ему галстук, помогла надеть пиджак и, спускаясь вместе с ним по лестнице, любезно поблагодарила за пятнадцать франков.

Джордж идет по улице с небольшими роскошными магазинами, с густой толпой и потоками машин, по rue St.Honore, и вокруг него кишат чуждые, смуглые лица французов, его мышцы сводит усталостью от неприятной кошачьей нервозности их движений, запечатлевшиеся облики множества людей, масса забытых картин гнетут его память, и кажется, что все всегда было так, плечи его сутулятся от серой скуки бесчисленных дней, идиотского однообразия всей жизни.

Потом вдруг он видит свое лицо, отраженное в зеркальной витрине принадлежащего какой-то женщине магазина перчаток, и в памяти его словно бы щелкает замок, открывается дверца, и три года жизни исчезают, он юноша, влюбленный в жизнь, исполненный изумления и ликования, он впервые в чужой стране, в первый раз идет по этой улице и смотрит в эту витрину. И лицо этого юноши отвечает ему взглядом, этот миг оживает, словно по волшебству, он видит утраченную юность, глядящую сквозь огрубелую маску, видит, что наделало время.

Волшебство исчезает: он снова охвачен толпой, ее бесконечной суетливостью, смятением, возбужденностью, непреходящим раздражением; он идет дальше, от одной иллюзорной призрачности времени к другой, но ему введома странная тайна жизни, у него было видение смерти и времени, и он на миг поднимает взгляд к вечному небу, невозмутимо льющему свет на улицу, на все ее виды, а когда смотрит на подлинные лица, на движение, потоки машин и людей, тайна и печаль человеческой участи гнетут его.

Он мысленно отмечает дату. Тридцатое июля тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

Время! Время! Время!

Он идет дальше.

46. ПАНСИОН В МЮНХЕНЕ

Можно ли говорить о Мюнхене, не сказав, что это своего рода немецкий рай? Кое-кто видит во сне себя на Небесах, но во всех уголках Германии людям иногда снится, что они едут в баварский Мюнхен. И поистине, в определенном изумительном смысле этот город представляет собой воплощенную в жизнь великую немецкую мечту.

Обнаружить причину манящей силы этого города нелегко. Мюнхен очень солиден, очень степенен, но отнюдь не скучен. В Мюнхене варят лучшее в Германии и во всем мире пиво, там есть огромные, прославленные на всю страну пивные погреба. Баварец считается Национальным Весельчаком, остроумным, чудаковатым, на множестве открыток он изображается в народном костюме, сдувающим пену с пивной кружки. В других районах Германии, услышав, что вы едете в Мюнхен, люди поднимут взгляд и восхищенно вздохнут:

– Ach! Miinchen... ist schon!^[31]

Мюнхен не является, как многие другие немецкие города, сказочной страной готики. По всей стране разбросано множество городов, городков, деревень, обладающих в гораздо большей степени очарованием готического мира, великолепием готической архитектуры, романтичностью готических ландшафтов. Таков Нюрнберг, таков менее известный, но более впечатляющий Ротенбург, такова старая центральная часть Франкфурта, древний Ганновер обладает таким готическим великолепием старых домов и улиц, до которого Мюнхену далеко. То же самое можно сказать об Айзенахе в Тюрингии. О Бремене; о множестве городков по Рейну и по Мозелю, о Кобленце и Хильдесхайме, о Страсбурге в Эльзасе, о множестве деревушек и городков в Шварцвальде и Гарце, в Саксонии и Франконии, на ганзейском севере и в альпийских долинах Баварии и Тироля.

В Мюнхене нет древних замков, возведенных на отвесной романтической скале, нет жмущихся к ней древних домов. Нет неожиданной, волшебной красоты холмов, нет таинственности темных лесов, нет романтической прелести пейзажа. Очарование Мюнхена больше ощущается, чем видится, и это усиливает его загадочность и привлекательность. Мюнхен стоит на равнине, и, однако, каждый каким-то образом знает, что неподалеку находятся зачарованные вершины гор. Джордж слышал, что в ясный день оттуда видны Альпы, но не был в этом уверен. Альп из Мюнхена он ни разу не видел. Он видел их на открытках с панорамным видом города, поблескивающими вдалеке, словно зачарованные клубы дыма. И решил, что эта картина – плод фантазии. Фотограф поместил их туда, так как, подобно Джорджу, чувствовал, осознавал, что они там.

Как рассказать об очаровании Мюнхена! Оно такое несомненное и вместе с тем непередаваемое.

Каждый большой город обладал для Джорджа особым запахом. На изогнутых улицах Бостона пахло свежесмолотым кофе и дымом. Чикаго при западном ветре явственно пахнул жареной свининой. Чем пахнет Нью-Йорк, определить было сложнее, но Джордж считал, что это запах динамо-машины, электричества, подвала, старого кирпичного дома или административного здания, спертый, чуть затхлый и сырой, с тонкой примесью свежего, чуть гнилостного запаха гавани. Запах Лондона тоже был смешанным и вместе с тем определенным. Самым сильным был запах тумана с примесью чуть кисловатого запаха угольного дыма. Добавьте сюда солодовые испарения горького пива, чуть ностальгический запах чая, сладковатый аромат английских сигарет, смешайте все это с утром, окутанным дымом, кисловатой едкостью жарящихся сосисок, бекона и рыбы, профильтруйте через старую бронзу просвечивающего сквозь туман солнца – и получите нечто, похожее на запах Лондона.

Париж тоже обладал своим особым, необычным, несравненным зловонием, слиянием, ностальгической смесью многих запахов, и дурных, и изысканных. Для Джорджа главным – поскольку был самым характерным, принадлежащим только Парижу – являлся затхлый, чуть сырой запах опилок. Он шел из входов в метро, из решеток на тротуарах. То был запах безжизненной жизни, мертвой жизненности; запах мертвого воздуха, использованного кислорода. Запах множества усталых, немых людей, которые приходили, уходили, вдыхали воздух, выдыхали его и оставляли там – мертвенный, спертый, ядовитый, нечистый, испорченный, несущий на своих мертвенных волнах запах застарелого пота, мертвенное, исчерпанное дыхание безжизненной энергии.

Венеция разила своими каналами, недвижимым смрадом, отвратительной, вредной, заразной вонью плавающих среди старых стен нечистот. То же самое было в Марселе – опасная, болезнетворная атмосфера, насыщенная запахами человеческой грязи и испражнений, дурным запахом юга, рыбы, старой средиземноморской гавани.

А Мюнхен обладал самым чистым запахом, самым тонким и незабываемым, самым волнующим, самым неопределенным. То был почти неощутимый запах, неизменно пронизанный бодрящей легкостью альпийской энергии. Летом солнце светило жаркими лучами с сияющей голубизны неба. Чем жарче становилось, тем лучше Джордж себя чувствовал. Он вдыхал полной грудью горячий воздух и солнечный свет. Казалось, пил огромными глотками солнечную энергию. Был исполнен легкости, радости и жизненной силы – как это было непохоже на духоту и апатию, маету, дышащее зноем небо и накрывающие город нечистые, миазматические испарения нью-йоркской жары.

Джордж всегда знал, что Альпы неподалеку. Ощущал их на юге, в часе пути, ощущал сияющее величие этих призрачных гор. Он не видел их, но вдыхал вместе с воздухом, чувствовал их запах, запах чистого, благородного эфира альпийской энергии.

Наступил и окончился август. Что-то ушло из дней, что-то исчезало с солнца. По ночам появлялись резкое дыхание осени, ощущение чего-то быстро убывающего, пока что смутное, днем солнце еще горело, но что-то уходило, исчезало, вызывая в душе какую-то зловещую печаль. Очаровательное лето уходило на юг, в Италию.

Ночи в начале сентября были прохладные, иногда Джордж слышал шелест сухих листьев. Иногда вслед за порывом ветра по тротуару, шелестя, проносился лист. И кто-то торопливо проходил мимо. И снова слышались шелест листья, плеск воды в фонтане, чем-то непохожий на плеск летней ночью. Джордж по-прежнему гулял вечерами и сидел в саду Нойе Борсе. На террасе за столиками все еще сидели люди. Гуляющих почти не было. Под ногами Джорджа негромко хрустел гравий. Окна и двери большого кафе были закрыты. Внутри было полно людей. Играл оркестр. Воздух был слегка спертый от тепла еды и людского дыхания, музыки, пива. Но Джордж сидел на веранде, слыша, как шелестит лист по гравию, ощущая наконец в воздухе призраки осени.

Жил Джордж на углу Терезиенштрассе и Луизенштрассе. Пансион назывался «Бюргер», но жильцы его бюргерами не были. Здание было простым, основательным, трехэтажным, почти без украшений, но с той неременной массивностью, внушительной тяжеловесностью, которая присуща почти всей немецкой архитектуре и которой американские здания не обладают.

Джордж не знал, как этого добились, но эти здания казались чуть ли не архитектурным отражением немецкой души. В них было нечто вызывающее, грозное. Он считал, что эту архитектуру можно назвать своего рода немецким викторианством. Оно наверняка появилось в славные дни правления Вильгельм Второго. Вне всякого сомнения, под влиянием того стиля, который англичане именуют викторианским. Но это было викторианство, обработанное

кулаком Вотана. Викторианство, отуманенное пивом и отягощенное непомерной массивностью. Викторианство с древними темными лесами в нем. Гортанное викторианство. И в сравнении с его сокрушительной массивностью, грозной, устрашающей тяжеловесностью, лучшие образцы архитектуры во владениях покойной королевы кажутся волшебным легкими. Старая нью-йоркская почта – чудом изящества и парящей невесомости.

Мимо этих домов Джордж всякий раз проходил с чувством подавляющей беспомощности. Не потому, что они были такими уж огромными, массивными. Беспомощность у него вызывало сознание, что их невозможно хотя бы примерно измерить в обычных единицах веса. И не имело значения, что здания всего трех-четырёхэтажные, они подавляли его, как ни одно здание в Америке.

Когда Джордж думал о Нью-Йорке, об ужасающем виде Манхэттена, покрытом кратерами ландшафте его парящих башен, он казался громадной фантастической игрушкой, построенной изобретательными детьми, так, как дети строят маленькие города из картонных коробок, аккуратно проделывают в картоне множество окон, а потом зажигают за ними свечи, чтобы создать иллюзию освещенного города. Даже какое-то старое американское здание, какой-нибудь старый склад с необыкновенно, приятно гладкими глухими стенами (они всегда почему-то напоминали Джорджу о волнениях в 1861 году и об иллюстрациях в старых номерах журнала «Харперс Уикли») казались по сравнению с этими строениями лишь немного прочней бумаги. Всякий раз, возвращаясь домой, он просыпался утром на судне в Карантине, выглядывал в иллюминатор и видел очень волнующую, пробуждающую воспоминания сцену – первый вид американской земли, влажную, буйную, несколько бледную зелень, выцветший флаг и в высшей степени необыкновенное, волнующее, впечатляющее, мгновенно вспоминаемое с потрясением узнавания и благоговения зрелище белого каркасного дома или здание из шелушащегося кирпича ржавого цвета – с ощущением, что все они так похожи на игрушки, так непрочны, что он мог бы носком ноги пробить отверстия в их гладких глухих стенах, дотянуться туда, где шпили и бастионы Манхэттена купались в утренней дымке, будто нечто хрупкое, легкое, плавающее в воде, и скосить все это одним взмахом руки, схватить и выдернуть с легкостью, словно луковицы.

Однако, проходя мимо этих зданий на Терезиенштрассе или огромных, массивных фасадов на великолепной Людвигштрассе, Джордж всякий раз чувствовал себя беспомощным, словно ребенок в мире громадных предметов, объем которых не может осмыслить. Чувствовал себя маленьким, как Гулливер среди великанов. У него было чувство, будто у каждой двери, в какую входил, ему приходилось вставать на цыпочки, чтобы дотянуться до ручки. Хотя он и сознавал, что это не так.

Сам пансион представлял собой скромное жилье, занимавшее два верхних этажа здания. Управляла им молодая женщина, фрейлен Бар. У нее были два брата, холостяки, оба работали в городе. Старший, лет сорока, был приветливым добродушным человеком среднего роста, полноватым, с нездоровым румянцем и короткими усиками. Джордж не знал, чем он занимался. Работал в какой-то конторе. Возможно, был канцеляристом, кассиром или бухгалтером – конторским служащим.

Младший, Генрих, был высоким, худощавым. Ему было за тридцать, два года он провел на войне. Работал в большом бюро путешествий на площади, которая тогда называлась Променаден Платц. Джордж заходил по утрам туда повидать его. Генрих выдавал деньги подорожным чекам, принимал заказы на железнодорожные и паровозные билеты, давал путешественникам и туристам всевозможные советы и сведения о путешествиях по Баварии и по всей Европе, зарабатывал явно не очень много. Одежда его была аккуратной, но слегка потрепанной. У него было серьезное, рябое, усеянное глубокими старыми щербинками лицо. В

нем, как и в сестре, было что-то сдержанное, спокойное, замкнутое, унылое, но приятное и честное.

В свое время, да, собственно, и теперь они были «приличными людьми» – не обладали высоким общественным положением, не учились в университетах, не принадлежали к военному или аристократическому сословию, к лицам свободной профессии, но постоянно сохраняли определенный уровень светскости и, видимо, до войны жили более обеспеченно. Собственно говоря, в пансионе ощущалась атмосфера если не нищей, то по крайней мере захудалой светскости, какую встречаешь в пансионатах подобного типа, в «приличных домах», по всему миру. Такой, например, можно обнаружить в американском городке, где есть колледж. Хозяйкой его окажется какая-нибудь дама с истощившимся состоянием, однако весьма настырная в вопросе собственной светскости и родословной. Подчас даже слишком настырная. Склонная то и дело твердить студентам, что, принимая их «в свой дом», она, разумеется, полагала, что они «джентльмены», что ждет от гостей «своего дома» подобающего гостям поведения, и если окажется, что в своих суждениях ошиблась, что кто-то из принятых в дом не является джентльменом, то будет вынуждена выселить его из занимаемой комнаты.

Нельзя сказать, что заведение фрейлен Бар было всецело таким. Ей хватало ума и такта не заниматься подобной ерундой. Это была высокая, смуглая брюнетка тридцати пяти лет, типичная баварка, очень спокойная, очень умная, очень прямая и честная. Принадлежала к хорошему типу женщин, каких часто встречаешь в Германии, они, кажется, чудесным образом лишены кокетства и феминизма, присущих многим американкам. На свой неброский, баварский манер была красива.

Джордж ничего не знал о ее прошлом. И почти ничего о настоящем. С жильцами она находилась в хороших отношениях. Была дружелюбной, внимательной, любезной, однако чувствовалось, что у нее есть своя жизнь, не связанная с пансионом. Джордж не знал, была ли она когда-нибудь влюблена в кого-то, были ли у нее любовные связи или нет. При желании она определенно могла бы их завести, и Джордж был уверен, что если хотела бы, то заводила бы. Вела бы их честно и просто, с достоинством и страстью, а если б они обернулись скверно, она таила бы страдание глубоко в душе, не стала бы доставлять удовольствие себе или приятельницам истерикой.

И все-таки жизнь этого пансиона обладала какой-то застенчивой сдержанностью, атмосферой поддерживаемой светскости. Он поразительно походил на определенный разряд пансионатов, которые Джордж знал повсюду. На пансион, который он знал в Лондоне на Тэвисток-сквер, в районе Блумсбери. На другой, носивший громкое название «частного отеля» в Бате. На пансион в Сен-Жермене, пригороде Парижа, где он жил недолгое время. Принадлежал, в сущности, к огромной компании «Светские пансионаты мира, лтд.». В пансионе фрейлен Бар боялись громко смеяться, хотя часто хотелось. Побаивались говорить естественным голосом, во всеуслышание, откровенно, увлеченно, вступать время от времени в оживленный спор или дискуссию. Голоса жильцов были понижены, смех вежливо сдержанным, разговоры деликатно немногословными. Джорджу казалось, что все жильцы слегка стесняются друг друга, что они не в меру тактичны, а также не в меру критичны. Словом, атмосфера была не особенно непринужденной, светскости добивались, жертвуя естественностью, сдержанности за счет увлеченности, вежливости ценой сердечности.

Так же обстояло дело и с едой. Впервые в Германии Джордж оказался в таком месте, где всего было в обрез. Он не осмеливался попросить добавки, потому что не просил никто. Его беспокоило чувство, что еды еле-еле хватает, и мучительное подозрение, что если кто-то, не сдержавшись, попросит вторую порцию, то получит ее, однако кто-то из прислуги, кухарка, официантка или горничная, останется с пустым желудком. За столом их сидело восемь, и когда

подавали мясо, свинину, говядину или телятину, на тарелке всегда лежало ровно восемь довольно тонких кусочков. Каждый брал свой кусочек утонченно, с изысканной сдержанностью. И в это время все остальные скромно смотрели в сторону. Точно так же обстояло дело с хлебом и овощами. Всего бывало в обрез.

Джордж постоянно был голоден, как волк. То ли потому, что порции были маленькими, то ли из-за огромной жажды духа и воображения, действующей на него физически, он не знал. Видимо, сказывалось и то, и другое.

Но Джордж полагал, что остальные, несмотря на их изысканную умиротворенность и мягкую сдержанность, тоже испытывают голод. Он знал, что они в этом ни за что не признаются. Это было не в духе и нравах светского заведения. Но зачастую подозревал, что у них имеются потайные источники поддержки сил, продукты, искусно припрятанные в укромности своих комнат, которыми они могли объедаться в полном одиночестве, лишь под обвиняющим взглядом собственной совести и Бога. Эти мрачные подозрения он питал ко всем. Ему иногда казалось, что когда они встают, говорят «Malhreit»^[32] и благовоспитанно, с достоинством удаляются, в их поведении заметны признаки неблаговоспитанной поспешности, или в глазах вспыхивают огоньки ненасытной и слегка неприличной страсти.

И он следовал за ними мысленным взором в их комнаты. Мысленным взором видел, как они идут сперва неторопливо, с подобающей сдержанностью, постепенно ускоряя шаг, и в конце концов, свернув за угол в пустой коридор, бегут к своей комнате, лихорадочно берутся с замком, открывают дверь, запирают ее за собой, а потом с истерическим смехом набрасываются на колбасу, жадно, с чувством вины и удовольствия набивают рот лакомством.

Собственно говоря, Джордж получил неожиданное, комическое подтверждение этому. Пошел как-то оплатить недельный счет и увидел фрейлен Бар со старшим братом за едой. Он постучал в дверь их гостиной. Оттуда как раз выходила официантка с пустым подносом, и Джордж внезапно увидел их. Фрейлен, разумеется, ничего не оставалось, как пригласить его, что она сделала весьма любезно. Джордж вошел, глаза его выкатились и прилипли к столу, ломящемуся, как ему показалось, от лукулловых лакомств. Фрейлен Бар слегка покраснела, потом сказала, что они пьют чай, и предложила выпить ему чашечку. Чай! Да, чай там действительно был. Но и много чего еще. Жирные, пряные, ароматные, очень вкусные колбаски, едва не лопающиеся в своей маслянистой шкурке. Ливерная колбаса и салами, поджаристые булочки и стопки пумперникаля, восхитительные кружочки масла, великолепные баночки джема, консервы и варенья. Были сладкие, роскошные, очаровательные чудеса немецких кондитеров, покрытые консервированными вишнями, земляникой, сливами и яблоками, с плотным, толстым слоем взбитых сливок. Это было настоящее пиршество. Джордж понял, почему фрейлен Бар и ее приветливый, добродушный брат всегда так быстро наедались за столом.

Может быть, другие люди в пансионе поступали так же. Джордж не знал этого. Знал только, что постоянно голоден по-волчьему, как никогда в жизни, и что бы он ни делал, что бы ни ел, утолить или ослабить голод не мог. И дело заключалось не только в маленьких порциях. Если б он съедал втрое больше, было бы то же самое. То был голод не только утробы, но и разума, сердца, духа, который поразительно, ошеломляюще распространялся на все потребности души и плоти. Этот голод он ощутил, едва въехал в Германию, а Мюнхен обострил его и усилил. Вот таким был этот город.

Мюнхен был не просто своего рода немецким раем. Он представлял собой сказочную страну Кокейн, где вечно едят, пьют и никогда не насыщаются. Он представлял собой Scharaffenland^[33] – Джорджу вспоминалось названная так картина Питера Брейгеля, где изображены жареные поросята, бегущие утолить ваш аппетит, с ножами и вилками, воткнутыми

в их нежные, поджаристые бока, с кусками, отрезанными от их окороков, толстые жареные куры, идущие накормить вас, падающие с неба бутылки, кусты и деревья, увешанные сладостями и плодами.

Возможно, отчасти Джордж был постоянно голоден из-за чистой энергии альпийского воздуха. Возможно, из-за отсутствия той еды, в которой нуждался. Но не только. Неистовый голод и неутолимая жажда донимали его, и что бы он ни ел и ни пил, все было мало.

Этот голод невозможно передать, описать, нельзя подобрать к нему слово. Он был ужасным, противным, отвратительным, омерзительным. Этот голод не был голодом, эта жажда не была жаждой, то были голод и жажда, нараставшие от всего, чем Джордж пытался их утолить. Они походили на какую-то жуткую чахотку души и тела, неизлечимую, нескончаемую.

По утрам, когда горничная убирала его комнату, Джордж отправлялся погулять в английский парк, шел по Терезиенштрассе и по пути десятком раз останавливался перед соблазнами этих мучительных голода и жажды. Он всеми силами заставлял себя проходить мимо продуктовых, кондитерских, конфетных лавок. Казалось, весь город заполнен этими маленькими, обильными, роскошными лавками. Джордж поражался, как они удерживались на плаву – откуда в этой разоренной войной стране брались покупатели и деньги. Витрины деликатесных лавок сводили его с ума. Они были заполнены поразительным разнообразием аппетитных продуктов, колбасами всевозможных сортов и форм, от которых текли слюнки, сырами, жареным мясом, копчеными окороками, высокими, стройными бутылками прекрасного вина, они являли собой изобилие роскоши, сокровищницу гурманов, вызывающую у Джорджа неодолимое гипнотическое очарование. Приближаясь к одной из таких лавочек, а они были повсюду, он отводил взгляд, опускал голову и пытался торопливо пройти мимо – но безуспешно. Если бы некий чародей провел по тротуару волшебную черту, заколдовал эту лавочку, усилия Джорджа не могли бы оказаться громаднее, поражение полнее и унижительнее. У этих лавочек невозможно было не остановиться. Он останавливался перед витринами и жадно таранился, если проходил мимо одной, тут же оказывалась другая. Если заходил и делал покупку, его всякий раз преследовало воспоминание обо всех несделанных покупках, обо всех сводящих с ума лакомствах, мимо которых прошел. Если покупал один сорт колбасы, ему не давала покоя мысль о десятке других, более вкусных сортов. Если тратил деньги в одной лавке, неизбежно видел другую, так забитую товарами, что первая по сравнению с ней казалась бедной. То же самое было с кондитерскими, с их вишневыми, сливовыми, персиковыми и яблочными тортами, чудесными выпечками, покрытыми взбитыми сливками. То же самое было с конфетными лавками. Там продавались шоколадки, конфеты, леденцы, засахаренные вишни и сливы, кубики ананаса, шоколад с коньяком и ароматная жевательная резинка.

То же самое было со всем, что Джордж видел, со всем, что делал. Он хотел всего. Хотел все съесть, все выпить, все прочесть, все запомнить, все осмотреть, завладеть всем несомненным и невозможным богатством, восхитительным изобилием всей ломящейся от него земли, вобрать его в себя, поглотить, сделать своим навеки. Это было безумие, мучение, неисцелимая, необлегчи-мая, безнадежная болезнь разума, плоти и духа. Он объедался всем, что мог купить, что мог себе позволить, всем, что мог увидеть, услышать, запомнить, и все же этому не было видно конца.

Джордж ходил по музеям, этим многолюдным, бесчисленным хранилищам, в которых собраны громадные сокровища искусства. Овладевал ими, пытался поглотить их с ненасытностью немислимой, безумной страсти. Хотел насытиться каждой краской холста, запечатлеть каждую картину в мозгу и в памяти с такой жадной старательностью, что казалось, все краски исчезнут с нее и впитаются в его глаза. День за днем он ходил по залам Старой Пинакотеки, и в конце концов настороженные охранники принялись следовать за ним из зала в

зал. Он едва не совлекал со стены Матиаса Грюневальда; он уходил оттуда, унося в мозгу красивых обнаженных девушек Кранаха. Он вбирал каждую унцию розовой плоти, каждую головокружительную вселенную земли и неба с насыщенных полотен Рубенса, каждый холст в этой огромной галерее от Грюневальда до Рубенса, от Лукаса Кранаха до Ганса Гольбейна, от Брейгеля до «Четырех апостолов» Альбрехта Дюрера, от Тенирса до автора «Жизни Марии». Он все их вобрал в мозг, запечатлел в сердце, отобразил на полотне души.

По книжным магазинам Джордж ходил с той же ненасытной, безрассудной страстью. Простаивал часами перед их заполненными витринами, запоминал название книг, написанных на языке, на котором едва умел читать. Заполнял одну записную книжку за другой их заглавиями. Покупал книги, бывшие ему не по карману, которые не мог читать, и носил их повсюду со словарем, чтобы расшифровать их. Множество готических букв, этого ошеломляющего излишества немецкой культуры, сводило его с ума невыносимой, невозможной жадностью овладеть им. Он выяснил количество книг, ежегодно издаваемых в Германии. Оно казалось ошеломляющим, жутким. Более тридцати тысяч. Он ненавидел их с той же ненасытностью, которая снедала его. Недоумевал, как немцы могут это вынести, как могут дышать под таким кошмарным потоком книг.

Джордж был ужасающе стиснут, обвит, оплетен лаокооново-ми кольцами собственного безумия. Он стремился насытиться тем, что не может питать, утолить то, что не может быть утолено, успокоить то, что не может быть успокоено, дойти до конца Unendlichkeit ^[34], распутать густую паутину, расплести до последней нити ткань узора, который не может иметь конца.

Стремился охватить во всей полноте, измерить во всей глубине, изречь во всей завершенности то, что само по себе неохватно, неизмеримо, невыразимо – древний германский дух, одержимую стремлением возвыситься душу человека.

А это было невозможно. Джордж признавал это и потому ненавидел «их». Ненавидел снедавший его голод. Ненавидел еду, которую ел, потому что не мог съесть всего, что хотелось. Ненавидел всю людскую семью, потому что сам принадлежал к ней, потому что в нем была ее кровь, потому что двойники-демоны его души раздирали его в бесконечной войне. Ненавидел морду громадной свиньи, покрытую складками шею ненасытного животного, потому что сам испытывал такой же неутолимый голод и не видел ему конца. В нем таились две противоположные силы души и наследия, и теперь они ежедневно сражались на поле битвы, где победителя быть не могло, где он попался в собственную ловушку, оказался пленником собственных сил, которые составляли его сущность. Он прекрасно понимал все это, потому что оно было его созданием. И потому что сам был созданием всего этого. Люто ненавидел все это, потому что глубоко и неизменно любил. Бежал от всего этого и понимал, что убежать не удастся. Вечерами Джордж ходил по улицам. Заходил в людные места. Ему нужны были яркий, затуманенный пивными парами свет и рев, огромные рестораны. Он погружался в ревущую сумятицу Хофбрау-Хауза, включался в ритм этой ревущей жизни, ощущал тепло, бурление, прочную общность этих огромных толп, пил из глиняных кружек литр за литром холодное и крепкое темное пиво. Наслаждался жизнью, шатался, ревел, пел, орал в качающуюся людскую массу, чувствовал переполняющие его громадное ликование, безумную страсть, неутолимый голод, по-прежнему не мог достичь цели и не искал покоя.

47. ПОХОД НА ЯРМАРКУ

Сентябрь шел к концу, близилось время октябрьских празднеств. Джордж повсюду видел объявления, возвещающие об этом событии, и куда бы ни шел, люди разговаривали о нем. В пансионе на Терезиенштрассе жильцы говорили о близящихся празднествах с той вымученной шутливостью, с какой взрослые обращаются к детям – или к иностранцам, плохо владеющим языком. Голова Джорджа была забита догадками и представлениями, но картина приближающихся празднеств складывалась у него не особенно ясная. Однако это событие стало приобретать для него некий ритуальный смысл. Он начал осознавать, что наконец-то приблизится к пониманию души немцев – словно после долгого пути через древний варварский лес внезапно застанет их у алтаря на расчищенной поляне.

Воскресным днем в начале октября, через несколько дней после открытия празднеств, Джордж с Генрихом Баром отправились на Терезиенфельде, восточную окраину города, где располагалась ярмарка. Когда они миновали железнодорожную станцию, все ведущие к ярмарке улицы начали кишеть людьми. Большею частью мюнхенцами, но было немало и крестьян. Эти баварцы, дюжие мужчины и женщины, расцвечивали толпу своими нарядами – мужчины были в украшенных искусной вышивкой коротких брюках и в чулках, женщины – в ярких платьях с кружевными корсажами, они бодро вышагивали упругим шагом горцев. У этих крестьян были совершенные тела и крепкие зубы животных. Их спокойные круглые лица были отмечены только солнцем и ветром: на них не было следов страданий и раздумий, истощающих силы человека. Джордж глядел на них с острым сожалением и с завистью – они были очень сильными, уверенными, и если многое упустили, то, казалось, приобрели значительно больше. Их жизнь была ограничена немногими запросами. Большинство из них не прочло ни единой книги, поездка в чудесный город Мюнхен представляла для них путешествие в центр вселенной, и мир, лежащий за пределами их гор, для них, по сути дела, не существовал.

Когда Джордж с Генрихом приблизились к Терезиенфельде, толпа стала такой густой, что движение замедлилось. До них уже долетали громкие шумы ярмарки, и Джордж видел многочисленные строения. Когда они вошли на ее территорию, первым его чувством было ошеломляющее разочарование. Перед ним и вокруг, казалось, простирался Кони-Айленд, только поменьше и потускнее. Там были десятки будок и павильонов, заполненных дешевыми куклами, плюшевыми медвежатами, конфетами в обертках, глиняными круглыми щитами и т.д. с непременно двухговыми уродцами, толстухами, карликами, хиромантами, гипнотизерами, а также замысловатые машины, предназначенные вызывать у людей головокружение: вертящиеся тележки и игрушечные автомобили, описывающие круги по электрифицированному настилу, во всех было полно людей, визжавших от радости, когда сумасшедшие экипажи сталкивались и служитель разводил их.

Генрих Бар принялся смеяться и таращиться, как ребенок. Детская способность всех этих людей веселиться была поразительной. Подобно детям они, казалось, совершенно не уставали от всего этого безвкусного зрелища. Здоровенные бритоголовые толстяки с морщинистыми шеями катались на этих вертлявых, сталкивающихся машинах или без конца кружились, сидя на поднимающихся и опускающихся деревянных конях каруселей.

Генрих был в восторге. Джордж несколько раз прокатился с ним по захватывающим дыханием американским горам, потом до головокружения колесил в нескольких машинах.

Наконец Генриху это надоело. Они медленно шли по центральному проходу ярмарки, покуда не очутились у сравнительно незастроенного места возле ее края. Там с невысокого моста зазывала обращалась к толпе на грубом ярмарочном немецком. Рядом с ним стоял молодой

человек, тело и руки которого были скрыты под брезентовым одеянием без рукавов и окружены цепью. Вскоре зазывала умолк, молодой человек просунул ступни в брезентовые петли, и его стали поднимать ногами вверх, пока он не повис над глазающей толпой. Джордж наблюдал, как юноша начал отчаянные усилия высвободиться из цепи и одеяния, потом увидел, что лицо его стало багровым, на лбу вздулись вены. Тем временем в толпе ходила женщина, собирая пожертвования, и когда собрала все деньги, с какими толпа пожелала расстаться, молодой человек, чье набрякшее лицо почти почернело от крови, очень быстро высвободился и был опущен на землю. Толпа рассеялась, как показалось Джорджу, чуть ли не с недовольным видом, словно то, что люди надеялись увидеть, произошло, но чем-то разочаровало их. Зазывала снова начал свою речь, молодой человек сел в кресло и, прикрыв глаза рукой, стал приходить в себя. Собиравшая деньги женщина встревоженно встала рядом с ним и через несколько секунд заговорила. И просто-напросто от их близости друг к другу Джорджу передалось ощущение нежности и любви.

Голова у него уже шла кругом от шумного столпотворения ярмарки, и это последнее зрелище, явившееся кульминацией в бесконечной программе уродцев и диковинных животных, вызвало у него легкий ужас. На миг ему показалось, что в людях, которые хаот даже самые примитивные свои удовольствия, есть какая-то врожденная злоба.

Уже вечерело; дни теперь укорачивались быстро, воздух стал осенним – свежим, прохладным, его почти не прогревали скудные, красные лучи солнца. Над ярмаркой стоял сплошной гул сотни тысяч голосов. Генрих, чей интерес к ярмарочным зрелищам уже улегся, стал подумывать о пиве. Взяв Джорджа за руку, он присоединился к раскачивающейся толпе, почти совершенно забившей улицу праздника.

Немцы продвигались вперед медленно, терпеливо, с той чудовищной солидностью, которая словно бы составляет сущность их жизни, принимая движение толпы с огромным удовольствием, словно переставали быть собой и превращались в часть окружающего их громадного зверя. Их массивные тела сталкивались, ударялись друг о друга грубо и неуклюже, однако никто не сердился. Они громко выкрикивали шутки или приветствия друг другу и всем окружающим; двигались группами из мужчин и женщин по шесть – восемь человек, взявшись под руки.

Генрих Бар оживился, развеселился; постоянно хохотал, посмеивался; вскоре, взяв Джорджа под руку, дружески и настоятельно сказал:

– Пошли! Посмотрим на Жареного Быка!

И при этих словах у Джорджа вновь пробудился чудовищный голод, голод по мясу, какого он не пробовал – ему захотелось не только увидеть Жареного Быка, но и съесть громадный его кусок. Джордж уже обратил внимание на характерную черту этой ярмарки, отличавшую ее от всех, какие он видел. На массу ларьков, больших и маленьких, где продавали горячее и холодное мясо. Со стен некоторых громадными связками и гирляндами свисали колбасы, из других неслись запахи всевозможных варящихся и жарящихся яств. Ароматы эти сводили с ума. И Джорджу казалось, что над густой массой так медленно движущихся людей навсегда повис в прозрачном, холодном воздухе запах умерщвленной плоти.

И вот они оказались перед большим, длинным павильоном, ярко раскрашенным с фасада, с нарисованным над дверями огромным быком. Это была Жарильня Быка (Ochsen-Braterei), но внутри теснилось столько народа, что перед дверями стоял, раскинув руки, человек, сдерживая желавших войти, говорил, что им придется подождать пятнадцать минут. Генрих с Джорджем присоединились к толпе и покорно ждали: Джорджу тут отчасти передалось громадное терпение толпы, ждавшей и не пытавшейся прорваться сквозь барьеры. Вскоре двери открылись, и все вошло.

Джордж оказался в большом, длинном павильоне, в конце его сквозь густое облако табачного дыма, сгущавшего атмосферу почти до консистенции лондонского тумана, видны были туши двух громадных животных, медленно вращающиеся на железных вертелах над жаровнями с раскаленными углями.

В павильоне после холодного октябрьского воздуха было тепло – то была неповторимая теплота тысяч тел, сгрудившихся в помещении. С этой теплотой смешивался сильнейший запах еды. За сотнями столов сидели люди, поглощая тонны мяса – бычьего мяса, огромные тарелки нарезанной холодной колбасы, громадные ломти телятины и свинины – заодно с пенящимся в глиняных кружках холодным и крепким октябрьским пивом. Стоял низкий, непрестанный гул разговоров с набитым ртом, громкий, частый стук глиняной посуды и ножей вздымался и опускался нестройными волнами. По центральным проходам и вдоль стен непрерывно двигалась, толкаясь, другая толпа, ища в набитом зале свободные места. Дюжие крестьянки, игравшие роль официанток, дерзко протискивались сквозь толпу, держа в одной руке поднос с тарелками или шесть кружек пива, а другой бесцеремонно отпихивали мешавших.

Генрих и Джордж медленно двигались вместе с толпой по центральному проходу. Джорджу казалось, что едоки большей частью крупные, толстые люди, у которых на лицах уже появилось что-то вроде чванного свинского довольства. Глаза их были тупыми, мутными от еды и пива, многие из них таращились на окружающих как-то удивленно, словно одурманенные. И в самом деле, одного только воздуха, такого густого, плотного, что в пору резать ножом, было достаточно, чтобы одурманить разум, поэтому Джордж был доволен, когда, дойдя до конца прохода и взглянув на подрумянивающуюся тушу, Генрих предложил пойти в другое место.

Холодный воздух сразу же вывел Джорджа из апатии, он снова стал быстро, оживленно смотреть по сторонам. С приближением вечера толпа становилась все гуще, и ему стало ясно, что вечер придется посвятить только еде и пиву.

Разбросанные среди бесчисленных маленьких строений ярмарки, будто львы, уложенные среди зверей поменьше, вокруг высились громадные пивные залы, возведенные знаменитыми пивоварнями. И как ни густа была толпа перед киосками и зрелищами, она казалась небольшой по сравнению с заполнявшей эти большие здания – огромные павильоны, каждый из которых вмещал несколько тысяч людей. Впереди Джордж видел громадный красный фасад павильона пивоварни Левенбрау с ее гордой эмблемой наверху – двумя величественными, стоящими на задних лапах львами. Но когда они приблизились к обширному разгульному шуму, окутывающему зал, то увидели, что найти место там невозможно. Тысячи людей разгульно шумели за столами над кружками пива, и еще сотни беспрестанно ходили взад-вперед, ища, где бы сесть.

Джордж и Генрих попытались счастья в нескольких других залах с тем же успехом, но в конце концов нашли такой, где перед павильоном на маленькой, покрытой гравием площадке стояло несколько столиков, огражденных барьером от кишящей снаружи толпы. Кое за какими столиками сидели люди, но большая часть их была свободна. Приближались сумерки, воздух был резким, ледяным, и оба испытывали почти неистовое желание войти в душное человеческое тепло и завывающую бурю пьяного шума. Но оба устали, утомились от возбуждения толпы, громадного калейдоскопа шума, цвета, ощущений.

– Давай сядем здесь, – предложил Джордж, указав на один из свободных столиков.

Генрих, беспокойно глянув в одно из окон на дымный хаос внутри, в котором темные фигуры теснились, толкались, словно души, затерянные в тумане, в мареве Валгаллы, согласился и сел, однако не мог скрыть разочарования.

– Там замечательно, – сказал он. – Сразу видно.

К ним устремилась крестьянка, державшая в каждой сильной руке по шесть пенящихся

кружек крепкого октябрьского пива. Улыбнулась с напускным дружелюбием.

– Светлого или темного?

Они ответили:

– Темного.

Она тут же поставила перед ними две пенящиеся кружки и удалилась.

– И это все ради пива? – спросил Джордж. – Почему? Зачем для этого идти сюда? Чего ради знаменитые пивоварни настроили здесь павильонов, если Мюнхен славится пивом, и в городе сотни пивных ресторанов?

– Оно так, – ответил Генрих, – но, – он улыбнулся и сделал ударение на этом слове, – это октябрьское. Оно вдвое крепче обычного.

Они взяли громадные глиняные кружки, улыбнувшись, чокнулись со словом «Прозит» и на ледяном, резком, бодрящем воздухе стали пить большими глотками холодную жидкость, разносящую теплом по их венам свою мощную энергию. Повсюду вокруг люди ели и пили. За соседним столиком крестьянская семья в ярких одеждах заказала пива и теперь, развернув принесенные с собой бумажные свертки, выложив на стол гору еды, все принялись основательно пить и есть. Глава семьи, крепкий, пышноусый мужчина в белых шерстяных чулках, которые облегли его мощные икры, но оставляли голыми ступни и колени, вынул из кармана большой нож и отрезал головы у нескольких соленых рыбин, красиво отливавших золотом в вечернем свете. Женщина достала булочки, пучок редиски, из другого свертка большой кусок ливерной колбасы. Дети, мальчик и девочка со спадавшими спереди на плечи длинными белокурыми косами, оба настороженные, голубоглазые, неотрывно, будто голодные животные, молча смотрели, как родители нарезают и делят еду. Через минуту с той же молчаливой, жадной сосредоточенностью все они пили и ели.

Все вокруг ели; все вокруг пили. Какой-то зверский голод – безумный, неутолимый, зарящийся на все мясо жареных быков, все колбасы, всю соленую рыбу в мире, мучительно донимал Джорджа. На свете не существовало ничего, кроме Еды – восхитительной Еды. И Пива – Октябрьского Пива. Мир представлял собой огромную единую Утробу – небес, выше Рая Насыщения и Обжорства, не существовало. Все душевные муки здесь были забыты. Что знают эти люди о книгах? О картинах? О множестве волнений души, о противоречиях и терзаниях духа, надеждах, странах, ненависти, неудачах и честолюбивых устремлениях, всей лихорадочной сложности современной жизни? Эти люди живут только ради того, чтобы есть и пить – и в ту минуту Джорджу казалось, что они правы.

Двери огромного павильона без конца открывались и закрывались, внутрь терпеливо протискивался нескончаемый поток любителей пива. А изнутри Джордж слышал гром большого духового оркестра и рев пяти тысяч пьяных от пива голосов, сливавшихся в ритмах песни «Trink, Trink, Briiederlein, Trink»^[35].

Зверский голод терзал Джорджа и Генриха. Они громко окликнули расторопную официантку, когда та проходила мимо, и услышали от нее, что если хотят горячей еды, то надо войти внутрь. Однако через минуту она направила к их столику женщину с громадной корзиной всяческой холодной снеди. Джордж взял два восхитительных бутерброда с соленой рыбой и луком и большой кусок печеночного паштета с корочкой по краям. Генрих тоже взял несколько бутербродов, и, заказав еще по литру темного пива, они с жадностью принялись за еду. Наступила темнота. Все постройки и увеселительные предприятия Ярмарки ярко светились; из громадного, пронизанного светом мрака ночи волнами доносились громкий рев и бормотание толпы.

Когда они прикончили бутерброды и допили пиво, Генрих предложил сделать решительную попытку найти места внутри, и Джордж, до сих пор питавший сильное

отвращение к спертому воздуху и шумному хаосу в павильоне, к своему удивлению обнаружил, что с радостью готов присоединиться к громадной толпе в насыщенных пивными парами заведении. На сей раз он покорно встал в очередь терпеливых немцев, медленно проходящих через дверь, и вскоре обнаружил, что, окутанный пьяным шумом, терпеливо бродит вместе с толпой, медленно расхаживающей по громадному залу в поисках мест. Через некоторое время, пристально вглядываясь сквозь облака и завесы дыма, клубящегося в большом павильоне, словно над полем битвы, Генрих обнаружил два свободных места за столом почти в центре зала, где на квадратном деревянном, окутанном дымом помосте сорок человек в крестьянских костюмах оглушительно играли на духовых инструментах. Оба устремились к этим местам, натываясь на спокойно сносящих это осоловевших от пива людей.

Наконец в самом центре этой шумной суматохи они торжественно уселись за стол, победно переводя дыхание, и немедленно заказали два литра темного и две тарелки свиной колбасы с кислой капустой. Оркестр трубил мотив «Ein Prosit! Ein Prosit!», люди по всему залу вставали из-за столов, сцеплялись согнутыми в локте руками, поднимали кружки и, ритмично раскачиваясь взад-вперед, горланили эту замечательную застольную песню.

В этих человеческих кольцах по всему огромному, задымленному залу было нечто почти сверхъестественное и ритуальное: нечто, связанное с сущностью племени, сомкнутого в эти кольца, нечто чуждое, таинственное, словно Азия, нечто более древнее, чем древние варварские леса, нечто раскачивающееся вокруг алтаря, приносящее человеческие жертвы и пожирающее горелое мясо.

Зал оглашался их могучими голосами, содрогался в такт движению их могучих тел, и при виде того, как они раскачиваются взад-вперед, Джорджу казалось, что им не может противостоять ничто на свете – что они должны сокрушать все, против чего выступят. Теперь он понимал, почему другие народы так боялись немцев; внезапно его самого охватил такой жуткий, смертельный страх перед ними, что сердце замерло. У него возникло ощущение, что он спал, пробудился в незнакомом, варварском лесу и увидел склоненные над собой злобные варварские лица: светловолосые, светлоусые, эти люди опирались на толстые древки своих копий, сидели на своих щитах из высушенной кожи и взирали на него сверху вниз. Он был окружен ими, спасения не было. Джордж подумал обо всем привычном, и оно показалось очень далеким, принадлежащим не только другому миру, но и другой эпохе, отделенным веками от этого древнего темного леса варварских времен. И теперь он чуть ли не с пылким дружелюбием думал о чуждых, смуглых лицах французов, их цинизме и непорядочности, их быстрых, возбужденных голосах, их мелочности, их низменных нравах; теперь даже все их ветреные, обыденные супружеские измены казались отрадными, привычными, веселыми, очаровательными, исполненными такта. И об упрямых англичанах с их трубками, пивными, горьким пивом, туманом, изморосью, их женщинами с манерными голосами и длинными зубами – все это теперь представлялось очень сердечным, отрадным, привычным, и Джорджу хотелось оказаться среди тех людей.

Но внезапно кто-то взял его под руку, и сквозь шум он расслышал, что обращаются к нему. Повернул голову и увидел веселое, покрасневшее, улыбающееся лицо хорошенькой девушки. Она добродушно, шаловливо потянула его за руку, что-то сказала и указующе повела подбородком. Джордж повернулся в другую сторону. Рядом с ним стоял молодой человек, ее приятель; он, тоже радостно улыбаясь, предложил Джорджу взять его под руку. Джордж взглянул на другую сторону стола и увидел Генриха, его желтоватое, унылое, рябое лицо было таким улыбающимся, радостным, каким Джордж его еще не видел. Он кивнул Джорджу. Через секунду все они сцепились за руки, раскачивались и пели в такт реву этих оглушительных голосов, раскачивались и пели все вместе, а оркестр играл «Ein Prosit!». Наконец музыка

прекратилась, но теперь все барьеры рухнули, все, раскрасневшиеся и счастливые, улыбались друг другу, когда песня кончилась, Джордж с Генрихом присоединили свои голоса к одобрителю реву толпы. Потом смеясь, улыбаясь, разговаривая, все сели снова.

И теперь больше не было отчужденности. Не было барьеров. Все вместе пили, ели, разговаривали. Джордж пил холодное крепкое пиво литр за литром. Пивные пары ударяли ему в мозг. Он был торжествующим и счастливым. Безбоязненно говорил на своем ломаном, скудном немецком. Генрих время от времени помогал ему, но это было неважно. Ему казалось, что этих людей он знал всю жизнь. Девушка с веселым, красивым лицом оживленно пыталась выяснить, кто он и чем занимается. Джордж поддразнивал ее. Не открывал правды. Говорил то одно, то другое. Что он бизнесмен, норвежец, австралиец, плотник, матрос, все, что приходило в голову, а Генрих, улыбаясь, поддерживал его во всех дурачествах. Но девушка захлопала в ладоши и восторженно закричала «Нет», она знает, кто он – художник, живописец, творческая личность. Генрих с улыбкой слегка кивнул и сказал, что Джордж не художник, писатель – он назвал его поэтом. И все удовлетворенно закивали, девушка снова восторженно захлопала в ладоши и выкрикнула, что она это знала. И теперь они все вместе пили, снова сцепясь руками, раскачивались кольцом. Вскоре, поскольку уже было поздно, и люди начали покидать павильон, они поднялись вшестером, эта девушка, еще одна, двое парней и Генрих с Джорджем, и направились к выходу, с песней, сцепясь за руки, сквозь счастливую поющую толпу.

Потом наконец Джордж и Генрих покинули этих четверых молодых людей из гущи жизни, из сердца Германии, которых Джордж никогда больше не увидит – четверых людей и счастливое, раскрасневшееся, улыбающееся лицо девушки. Покинули, так и не спросив имен друг друга; покинули, утратили их с теплотой, с дружбой, с любовью в сердцах ко всем им.

Генрих и Джордж пошли своей дорогой, они – своей. Громкий шум Ярмарки становился все тише, пока не превратился в обширный, дремотный, далекий ропот. Вскоре, идя рука об руку, они вновь подошли к вокзалу и древнему сердцу Мюнхена. Пересекли Карлплатц и вскоре оказались возле своего жилья на Те-резииенштрассе.

И однако они чувствовали, что не устали, что еще не готовы входить. Пары крепкого, хмельного пива и более того, пары товарищества и любви, дружбы и человеческого тепла поднялись к их головам и сердцам. Они понимали, что это редкостное, драгоценное явление, недолговременное очарование чуда и радости, что ему должен прийти конец, а им очень не хотелось этого конца.

То была восхитительная ночь – резкий, ледяной воздух, пустынная улица, а вдали подобный времени, подобный нескончаемому и непреложному ропоту вечности, слышался далекий, дремотный, напоминающий волны шум громадной Ярмарки. Небо было безоблачным, сверкающим звездами, в вышине сиял диск луны. Поэтому они чуть постояли у своего жилья, а затем, словно повинувшись общему инстинкту, пошли дальше. Они шли по улицам и вскоре оказались перед огромным, тихим, сияющим в лунном свете зданием Старой Пинакотеки. Миновали его, вошли в окружающий парк и прогуливались рука об руку взад-вперед ровным шагом по ровному гравию. Разговаривали, пели, смеялись.

– Поэт, да, – воскликнул Генрих и торжествующе взглянул на сияющий лунный диск. – Поэт, ja! – воскликнул он снова. – Эти люди не знали тебя и назвали поэтом. И они правы.

И в лунном свете его унылое, покрытое оспинами лицо преобразилось выражением счастья. И они ходили, ходили по улицам. Испытывали ощущение чего-то бесценного, невыразимого, какого-то невидимого мира, который должны увидеть, неосознанного мира, с которым должны соприкоснуться, мира тепла, радости, неременного приближающегося счастья, невозможного восторга, до которого рукой подать. И ходили, ходили по улицам. Луна сияла ясно и холодно со сверкающего звездами неба. И улицы были безмолвны. Все двери закрыты. А издали доносился

последний, приглушенный шум Ярмарки. И они пошли домой.

48. БОЛЬНИЦА

Джордж лежал в ночи, обратив к потолку разбитое лицо, и слушал шум дождя в саду. Кроме мерного стука мелких капель по желтому ковру мокрых листьев, не раздавалось ни звука. Стук был уныло, нескончаемо однообразным; неустанный, он представлял собой усталое течение времени; Джордж слушал стук дождя по мокрой палой листве с ощущением, что дожидается безо всякой надежды сам не зная чего.

Потом наступал краткий перерыв, в шум дождя врываются далекие звуки Ярмарки. Обширные, приглушенные, вздымающиеся и опускающиеся волнами обрывки музыки и праздничного шума доносились сквозь дождь, слабели, исчезали; и опять слышался только мерный, нескончаемый стук мелких капель. Иногда вечерами из-за стен, ограждающих сад, доносились голоса, хриплый смех, шаги возвращавшихся домой. А Джордж лежал на спине и, слушая шум дождя, ждал.

Как это произошло? Что он сделал? Воспоминания о тех событиях были смутными, путанными, словно полузабытый кошмар. Он знал, что снова устроил поход на Ярмарку, пил кружку за кружкой хмельного, холодного октябрьского пива, пары его ударяли ему в голову, покуда тысячи пьяных лиц вокруг не стали фантастичными, призрачными в том спертном, задымленном воздухе. Там опять были шумная суматоха поднимающихся из-за стола людей, сцепление рук с поднятыми кружками, ритмичное раскачивание взад-вперед под оглушительную музыку «Ein Prosit!». Опять ритуальное действие всех тех людских колец, раскачивающихся, ревущих хором песню в огромном задымленном зале; опять внезапный страх перед ними, от которого замерло сердце. Что произошло затем, Джордж не знал. В то мгновение пьяного страха размахнулся и саданул большой глиняной кружкой по свиноподобной роже, красным поросычьим глазам стоявшего рядом толстяка? Он не знал, но там началась драка – беспощадное размахивание кружками, мелькание ножей, внезапная слепая вспышка убийственной пьяной ярости. И теперь он лежал здесь, в больнице, со сплошь забинтованной головой; лежал на спине и слушал, слушал шум дождя.

Дождь капал с крыши, с ветвей, из водосточной трубы, и Джордж, прислушиваясь к нему, думал обо всех влажно блестящих постройках на Ярмарке: внутри объедающиеся, пьющие, раскачивающиеся толпы, красные лица блестят в нагретом телами, насыщенном испарениями и дымом воздухе; снаружи месиво грязи, она должна быть на всех дорогах и тропинках, исхоженных, истоптанных многими тысячами ног. Где-то с торжественной, завершающей благозвучностью часы отбили свою меру неумолимого времени, дождь, сквозь который долетел этот звук, придал содержащейся в нем вести фантазмагорический смысл. Звук этот поведал Джорджу, что для всех живущих истек еще один час, что все они на час приблизились к смерти; и послужило ли тому причиной молчаливое присутствие лежавшей вокруг древней, вечной земли – древней земли, что лежала в темноте и теперь, словно живое существо, спокойно, упорно, неустанно пила падающий на нее дождь, – он не знал, но ему внезапно представилось, что вся жизнь человеческая подобна маленькому языку земли, погруженному в воды времени, и что беспрестанно, непрерывно в темноте, в ночи этот язычок распадается в потоке, постепенно растворяется в темных водах.

Джордж лежал, глядя в потолок. Дверь беззвучно отворилась, и монахиня в одеянии медсестры, безупречно белом халате и шляпке с огромными накрахмаленными белыми крыльями, вошла взглянуть на него. Ее маленькое белое лицо, тесно обрамленное головным убором, символизирующим благочестие, выглядывало из этой тюрьмы с потрясающей, почти непристойной обнаженностью. В тусклом свете лампы под абажуром монахиня входила и

выходила так бесшумно, что казалась Джорджу привидением, и он почему-то испытывал перед ней страх.

Но теперь он посмотрел на монахиню и увидел, что лицо у нее открытое, изящное; это было приятное лицо, но для мужчин в нем не было ни нежности, ни страсти, ни любви. Ее сердце, ее любовь были отданы Богу и пребывали среди блаженных на небесах. Жизнь в этом мире она проводила тенью, изгнанницей; кровь раненых, муки страдающих, слезы горя, страх смерти оставляли ее равнодушной. Она не могла скорбеть, подобно ему, о смерти людей, ибо то, что для него было смертью, для нее было жизнью; что для него было концом надежды, радости, счастья, для нее являлось только началом.

Монахиня положила прохладную руку ему на лоб, произнесла несколько слов, которых он не расслышал, и покинула его.

Когда Джордж оказался в клинике, Geheimrat ^[36] Беккер осмотрел голову и обнаружил на черепе слева две раны. Они были дюйма по полтора длиной и пересекались буквой Х.

Herr Geheimrat велел своему ассистенту сбрить волосы вокруг ран, что и было сделано. Поэтому Джордж остался с гривой густых волос и нелепой, величиной с блюдце лысиной сбоку черепа.

Сперва, когда жестокие пальцы Беккера зондировали, нажимали, обтирали, Джорджу казалось, что под густыми волосами на затылке есть еще ранка, которой доктор не заметил. Но репутация этого человека была столь высока, манеры так властны, а речь, когда Джордж заикнулся об этом, до того груба и презрительна, что Джордж прикусил язык, уступив его авторитету и знакомому нам всем желанию попытаться избежать проблем, отмахнувшись от них.

На Ярмарке он не подвергнулся никакой опасности. Страхи его были призраками мрачного воображения, теперь ему это было понятно. Кровотечение у него было обильным, крови потерял он много, но раны уже заживали. Волосы со временем должны были отрасти, закрыть шрамы на выбритой части черепа, и единственным заметным последствием травм могли остаться только легкая кривизна перебитого носа и шрамик от ножа на его мясистом кончике.

Поэтому ночами теперь ему оставалось только лежать, ждать и глядеть в потолок.

В палате были четыре белые стены, койка, тумбочка, лампа, туалетный столик и стул. Стены были высокими, квадратными, потолок тоже был белым, словно пробел времени и памяти, и все блистало чистотой. Ночами, когда светила только лампа возле койки, высокие белые стены и потолок лишались своей яркости, их заливала, тускнила тень темного абажура. И это гармонировало с ожиданием и шумом дождя.

Над дверью висело распятие с мучительно скрюченными пальцами, косо приколочеными ступнями, искривленными бедрами, выступающими ребрами, изможденным лицом и смиренным страданием Христа. Это изображение, столь жестокое в сочувствии, столь изможденное, искривленное, смиренное в этом парадоксе сурового милосердия, этот роковой образец страдания был до того чужд Пайн-Року, Джойнерам, баптизму, всем знакомым ему распятиям, что наполнял Джорджа чувством непривычности и смущенного благоговения.

Потом в этой вечности унылого ожидания наступил беспокойный перерыв. Джордж ворочался на жестких простынях, взбивал подушку, раздраженно поправлял одеяло, клял неудобство покатога матраца, из-за которого верхняя часть его тела постоянно находилась в приподнятом положении. Провел пальцами по бинтам на выбритой части головы, ощутил бугорки струпьев и, бранясь, сунул руку под повязку, туда, где оставались волосы, к дергающей боли той раны, которую *не обнаружили*; и внезапно вскипев слепой, безрассудной яростью,

поднялся, решительно подошел к двери и громко закричал в тишину сонного коридора:

– Иоганн!.. Иоганн! Иоганн!

Тот появился и пошел к пациенту по ковровой дорожке окрашенного в зеленый цвет коридора, сильно прихрамывая. Хромота его тоже привела Джорджа в ярость, потому что Беккер хромал на ту же ногу; на войне Иоганн был денщиком Беккера, оба получили ранения и оба хромали одинаково. «Они все хромают?» – подумал Джордж, и эта мысль привела его в бешенство.

– Иоганн.

Тот подошел, хромя. Лицо его, широкое, полное, толстоносое, неприглядное, было исполнено протеста, увещевания и недоуменного беспокойства.

– Was ist?^[37]

– Verbindung^[38]*

– Ах! – Он посмотрел и укоризненно сказал: – Вы ее сдвигали!

– Но я verletzt^{[39]**} еще в одном месте! Посмотрите! Скажите Беккеру, что он не заметил одной раны!

И приставил к ней палец, указывая.

Иоганн пощупал; потом рассмеялся и покачал головой:

– Nein, это всего-навсего Verbindung!

– Говорю вам, я verletzt! – выкрикнул Джордж.

Торопливо простучав каблуками по зеленому ночному коридору, вошла ночная Мать Настоятельница, ее открытое лицо утопало между огромными накрахмаленными крыльями шляпки.

– Was ist?

Джордж, немного смягчась, указал:

– Здесь.

– Там ничего нет, – сказал ей Иоганн. – Его беспокоит повязка, а он думает, что там рана.

Монахиня коснулась легкими пальцами указанного места.

– Рана, – сказала она.

– Nein! – воскликнул изумленный Иоганн. – Но Негг Geheimrat говорил...

– Там рана, – сказала монахиня.

О, как приятно это подтверждение, словно предвестие близкой победы – знать, что *этот* доктор-мясник *один раз ошибся!* Этот хам с презрительной речью, этот грубиян с кабаньей шеей и пальцами мясника – ошибся! – *ошибся!* Ей-богу! – раны, шрамы, повязки – для него все едино! Хромой мясник с жестокими пальцами один раз в своей треклятой мясницкой жизни – ошибся!

– Verletzt, ja!.. И у меня жар! – злорадно сказал Джордж.

Монахиня приложила легкий, прохладный палец к его лбу; и спокойно сказала:

– Nein Fieber!^[40]

– Fieber? – обратился к ней широкое, недоуменное лицо Иоганн.

Монахиня со строгим, как всегда, лицом ответила спокойно, серьезно, безжалостно:

– Nein Fieber. Nein.

– Говорю вам, жар есть! – воскликнул Джордж. – А Geheimrat – сдавленно: – Да! Великий Geheimrat Беккер...

Монахиня сурово, негромко, со строгим упреком произнесла:

– Негг Geheimrat!

– Ладно, Негг Geheimrat! – не смог ее обнаружить!

Сурово, спокойно:

– Жара у вас нет. А теперь возвращайтесь в постель!

Монахиня вышла.

– А *Geheimrat!* – повысил голос Джордж.

Иоганн твердо посмотрел на него. Его некрасивое немецкое лицо застыло в спокойном выражении протеста против нарушения приличий.

– Прошу вас, – сказал он. – Люди спят.

– Но *Geheimrat!*...

– *Herr Geheimrat*, – спокойно и подчеркнуто, – *Herr Geheimrat* тоже спит!

– Иоганн, так разбудите его! Скажите ему, что у меня жар! Он должен прийти! – и внезапно задрожав от гнева и оскорбленности, Джордж закричал в коридор: *Geheimrat* Беккер... Беккер! Где Беккер!.. Мне нужно Беккера!.. *Geheimrat* Беккер – о, *Geheimrat* Беккер, – насмешливо, – *великий Geheimrat* Беккер – вы здесь?

Возмущенный нарушением приличий Иоганн схватил Джорджа за руку и прошептал:

– Тише!.. С ума сошли?.. *Herr Geheimrat* Беккер не здесь!

– Не здесь? – Джордж изумленно уставился в широкое лицо.

– Не здесь?

– Нет, – безжалостно, – не здесь.

Не здесь! – хромой мясник не здесь! – не на своей бойне! Бритый мясник с покрытым шрамами лицом, выбритой головой, морщинистой шеей – не здесь! – где ему положено находиться, хромать по коридорам, зондировать толстыми пальцами раны – на своей бойне, мясник не здесь!

– Тогда где же? – обратился к Иоганну изумленный Джордж.

– Тогда где же он?

– Дома, разумеется, – ответил Иоганн с терпеливым упреком. – Где еще ему быть?

– *Дом?* – вытаращился Джордж на него. – У него есть дом? Вы хотите сказать, что у Беккера есть дом?

– *Aber ja. Natürlich*^[41], – сказал Иоганн с терпеливой усталостью. – И жена с детьми.

– *Жена!* – На лице Джорджа появилось озадаченное выражение. – С детьми? Вы хотите сказать, что у него есть дети?

– Конечно, разумеется. Четверо!

У этого хромого мясника с жестокими пальцами есть...

То, что угрюмый Беккер с короткими толстыми пальцами и волосатыми руками, с сильной хромотой, круглоголовый, с жесткой щеточкой черных, тронутых сединой усов, с голым, выбритым до синевы черепом, грубым, морщинистым лицом со шрамами после давних дуэлей – то, что это существо может иметь какую-то жизнь, не связанную с больницей, Джорджу не приходило в голову и теперь казалось фантастическим. Беккер господствовал в больнице: он казался существом с наглухо застегнутым до толстой, сильной шеи белым, накрахмаленным мясницким халатом, его так же невозможно было представить без этого одеяния, в обычном костюме, как монахиню в туфлях на высоких каблуках и в короткой юбке мирской женщины. Он казался живым духом этих стен, особым существом, ждущим здесь, чтобы набрасываться на всех раненых и увечных мира, грубо укладывать их на стол, как уложил Джорджа, брать их плоть и кости в свою власть, нажимать, зондировать, стискивать своими жестокими пальцами, если потребуется, вскрывать их черепа, лезть в них, даже добираться до извилин мозга...

Иоганн поглядел на Джорджа, покачал головой и спокойно сказал:

– Возвращайтесь в постель. *Herr Geheimrat* осмотрит вас утром.

И, прихрамывая, ушел. Джордж вернулся и сел на койку.

49. МРАЧНЫЙ ОКТЯБРЬ

Октябрь вновь пришел на кишашую людьми скалу со всей своей смертью и оживленностью, жизнью и безжизненностью, собранным урожаем и бесплодной землей, предвестием гибели, радостной надеждой. Стоял октябрь, и после осеннего заката в Парке мерцали яркие звезды.

Эстер одиноко сидела на скамье и думала о Джордже. Ровно четыре месяца назад он покинул ее. Что он делает теперь – когда октябрь наступил снова?

Это что, единственный красный лист, последний из своего клана, висит, трепещет на ветру? Сухие листья проносились перед ней по дорожке. В своей быстрокрылой пляске смерти эти мертвые души неслись, гонимые злыми порывами безумного ветра. Октябрь наступил снова.

Это что, ветер завывает над землей, это ветер гонит все своим бичом, это ветер гонит всех людей, словно безжизненных призраков?

Ветер сокрушал и уносил все. Эстер видела величественный утес города, громадный, потрясающий, великолепный, вздымающийся над деревьями Парка, гору высящейся стали, бриллиантовую пыль огней, самоцвет на фоне неба, заносчивость величавого камня, прекрасного и брэнного, как женская плоть. Она знала этот город еще ребенком, в нем были тихие улицы и дома, были слышны шаги и голоса людей, цоканье конских копыт, и теперь это все исчезло.

Теперь город казался слишком громадным для проживания людей. Был слишком надменным, бесчеловечным в своем богатстве и блеске, казалось невероятным, что крохотные люди могли возвести такие здания. Он походил на обитель великанов, населенную пигмеями, и казался вечным. Однако Эстер знала, что он не долговечнее сна.

Она видела, как люди расположились лагерем на этой земле, в этих громадных каменных шатрах, как бродят они по этим улицам жизни. И не страшилось этого громадного, кишашего людьми лагеря, так как знали, что и она, и все остальные являются гостями, посторонними на этой земле, и не погибнет только земля, что земля пребудет вовеки. Внизу под этими тротуарами и зданиями находилась земля, нет ничего, кроме земли. Если вся земля покроется этими тротуарами, все равно не будет ничего вечного, кроме земли.

Внезапно Эстер захотелось подняться и отправиться на поиски Джорджа. На миг она забыла, что Джордж покинул ее, ей казалось, он где-то близко. Ей хотелось оказаться рядом с Джорджем, поговорить с ним, сказать ему то, что знает, передать часть своей силы и веры. Она сознавала, что знает очень много, что повидала очень многое, что обладает громадными знаниями, красотой, мощью и мудростью, и что все это было бы прекрасно, если б только могла поделиться всем этим с ним.

Глядя на громадные утесы зданий со множеством огней, Эстер понимала ужас и безумие, которые они вызывали у Джорджа, понимала, что все молодые люди, приехавшие из захолустья, должны быть ошеломлены, испуганы ими. И ей хотелось найти его, сказать ему, чтобы он мужался. Сказать, что человек может быть сильнее толпы, выше башни, и поскольку она долго жила и много знала, ей хотелось сказать ему, что в мире много неизменного, многое навсегда останется тем же самым, многое пребудет вовеки.

На миг Эстер показалось, что Джордж рядом, что его можно коснуться рукой. Потом она вспомнила, что он покинул ее, что его заблудшая душа бродит Бог знает где по миру, гонимая какой-то безумной жадностью, какой-то слепой яростью, и в полученном письме говорится, что его заблудшее тело лежит теперь избитым, покалеченным в чужой земле. Она чувствовала, что теперь прекрасно знает, что ему нужно, что теперь могла бы спасти его, будь у нее возможность

поговорить с ним.

Она видела его, когда он губил свой талант, когда его мозг омрачался безумием, когда он тратил силы на то, чтобы расшибать лоб в столкновениях с жизнью. Видела, как его сжигала собственная жажда, как заключенная в нем мощь обращала когти и зубы, подобно дикому зверю, против себя и против всех, кто любил его, и она сознавала, что знает только одна, как спасти его, утолить его жажду. Она являлась стеной, которой ему недоставало, внутренним теплом, которое он искал по всему свету. Поскольку поговорить с ним она не могла, ей хотелось написать ему, передать все богатство своей жизни, жатву всех своих октябрьских урожаев; но красноречие ее сердца было немым, она никогда не пыталась изложить на бумаге такие слова, хотя смысл их носила в себе.

Почему тебя нет в этой ночи, любимый? Где ты, когда в темноте звонят колокола? Вот и снова их звон, как странно его слышать в этом огромном спящем городе! Сейчас во множестве маленьких городков, в мрачных, глухих местах земли маленькие колокола отбивают время! О, моя мрачная душа, мое дитя, мой дорогой, мой любимый, где ты сейчас, в каком месте, в каком времени? О, благозвучные колокола, звоните над ним, пока он спит. Я посылаю тебе свою любовь в этом звоне.

Странное время, навеки утраченное, вечно текущее, словно река! Утраченное время, утраченные люди, утраченная любовь – утраченная навеки! В этой реке ничего нельзя удержать! Ничего! Она уносит твою любовь, твою жизнь, уносит громадные суда, выходящие в море, уносит время, мрачное, неосязаемое время, тикающие мгновения странного времени, отсчитывающие наш путь к смерти. Сейчас во мраке я слышу ход мрачного времени, все печальное, тайное утеkanie своей жизни. Все мои мысли текут, словно река, я сплю, говорю, чувствую совсем как река, текущая мимо, мимо, мимо меня к морю.

Эстер сидела с этими мыслями в Парке, пока часы не пробили полночь. Звон их унес ветер, лист продолжал трепетать на ветру, не желая падать, сухая листва неслась по дорожке перед ней.

К Эстер подошел полицейский и заговорил:

– Уже пора спать, юная леди. Где вы живете?

Она сказала:

– У меня нет дома, ибо дом – это то, где твое сердце, а у меня сердце вырвано, и я брошена здесь умирать одна в темноте.

Полицейский спросил, ждет ли она кого-нибудь, и она ответила, что да, и будет ждать вечно, и он не придет. Полицейский попросил описать этого человека, возможно, он видел его; и она заговорила:

– У него лицо безрассудного ангела, голова его всклокочена и прекрасна, в мозгу его безумие, мрак и зло. Он беспощаднее смерти и очаровательнее цветка. Душа его создана для чистоты и света и отравлена злобными, низкими подозрениями. Мозг его должен быть ярко пламенеющим мечом, но извращен, измучен собственными кошмарами. Он бежит от тех, кто любит, обожает его, наносит им рану в сердце и покидает их, уходит с незнакомцами, которые причинят ему зло. Он словно некий бог, весь сотворен из света и живет один, в оковах и во мраке.

Полицейский сказал, что не видел никого, кто соответствовал бы этому описанию. И Эстер ответила:

– Да, если б увидели его, то запомнили бы, потому что другого такого нет. «Лицо его прекраснее небес с парящей в них поющей птицей...» – И не смогла продолжать, потому что слезы хлынули слепящим потоком и сжали ей горло.

Полицейский сказал, что она не совсем трезвая, и это было правдой. Она пила весь день,

ничего не ела, она влиwała в себя отраву, и облегчения ей это не принесло. («Вот до чего, – подумала она, – ты меня довел, а мы, евреи, приличные люди, исполненные гордости, и я была добронравной и преданной всю жизнь»).

Потом страж порядка сказал, что если она не уйдет, он ее арестует; ей было все равно, и она сказала:

– Я готова. Ведите меня в другую тюрьму.

Полицейский был добрым, он продолжал называть ее «юная леди», в темноте ему не было видно седых волос; он сказал, что не хочет делать этого, спросил, где она живет, и услышав, что на Парк-Авеню, решил, что женщина спьяну его разыгрывает. Но когда она сказала, что это правда, и назвала адрес, он спросил с недоверчивым выражением лица:

– Ваша фамилия есть в светском календаре?

(«Господи, ну и чудо же они, – подумала Эстер. – Ходишь, встречаешь их каждый день, а когда вспоминаешь, что они говорили, то даже не верится, это кажется невозможным, кажется, что это чья-то выдумка»).

И сказала:

– Моей фамилии нет в светском календаре, я просто-напросто маленькая еврейка, а фамилии маленьких евреек не заносят в светский календарь. Но если б существовал светский календарь для маленьких евреек, я была бы там.

Тут полицейский как-то странно посмотрел на нее. Взял под руку, назвал «леди», они пошли по дорожке к углу и сели в такси.

Город кружился перед Эстер в каком-то пьяном танце – утес огней, безумие башен, спицы улиц, ключья и осколки хаотичной яркости. А в глазах у нее все еще трепетал тот красный лист на нижней ветке, дул ветер, и все терялось, утопало в нем.

В неприветливом трепещущем свете ветер кружил на углу газетные обрывки, они гонялись под фонарем один за другим, словно крылатые существа, по кругу, не останавливаясь, не разлетаясь. То были изорванные в ключья сведения вчерашнего дня, и тот огромный мир, о котором они сообщали, уже перестал существовать и был забыт.

Эстер сидела рядом с полицейским в такси, молчала и прислушивалась в темноте к собственным мыслям:

Мы пытаемся уловить жизнь всеми этими сетями, капканами слов, наше неистовство нарастает от нашего бессилия, мы пытаемся сохранить, удержать хоть что-то с помощью всей этой бесплодной плодовитости прессы, и в итоге остается несколько газетных обрывков на ветру. Обладать чем бы то ни было, даже воздухом, которым дышим, нам не дано, река жизни и времени течет у нас между пальцев, нам остаются только эти трепещущие, разрозненные мгновения. Над этими попорванными, забытыми словами, истлевшими, ставшими прахом останками прошлого, мы тысячу раз рождаемся заново и умираем, и вечно останемся только с нашей усталой плотью и с призраками случайных воспоминаний.

Вот идут под ветром двое влюбленных. Лица их обращены друг к другу, они горделивы, улыбки, таких, как они, нет больше на свете, то, что они знают, никто никогда не знал. Они проходят. Следов их ног на тротуаре нет. Они оставляют этот угол ветру, пустоте, октябрю.

Красный свет светофора сменяется зеленым, и по авеню утес за утесом вздымаются здания, ужасающие в своей надменности и гордыне, в своей холодной красоте. На другой стороне улицы я вижу магазин, где работает Эдит, одиннадцать стройных этажей изысканности. Неукрашенная белая гладкость его стен подобна бедрам женщин, которых он украшает. Вдохновенное, прекрасное здание столь же высокомерно, сладострастно, роскошно, как та жизнь, что питает его, поскольку оно живет за счет нахальства моды и гибели вещей. Оно

гласит о громадном богатстве и бездушии, хотя на его гладких стенах ни надписи, ни символа, ни единого знака.

Теперь я вижу в сердце жизни свернувшуюся, поджидающую змею, вижу, как мужчины начинают любить эту гадюку, эту кобру. Некоторые из нас, самые лучшие и красивые, страшились любви и умерли, и над всей этой суровостью башен виден лик страха.

О, я хочу воззвать к ним, сказать, что бояться глупо! Хочу сказать то, что они боялись сказать – что любовь коренится в земле, что любовь прекрасна и вечна, что мужчины должны любить жизнь и ненавидеть нежить, которая не умрет, но все же боится умереть. Я узнала нечто ужасное о нас, и это необходимо изменить. Те, кто боялся любви, возненавидели любовь. Они ненавидят любящих, насмеваются над любовью, и сердца их полны праха и злобы.

Эдит и я были в детстве красивыми и смелыми. Очень сильными, преданными, исполненными любви. Волнующая канва нашего детства была красочной, но исполненной страдания, радости и очень непрочной. В детстве были отец, мать и наша очаровательная Белла. До того непрактичные и прекрасные, что теперь даже кажется, будто мы были родителями наших родителей, матерями детей, которые породили нас. Мы обе были так юны, так свободны, так просты, так щедро одарены. Талант к созиданию, к прекрасному бурлил в нас, и все, что мы делали, было замечательно.

Мир принадлежал нам, потому что мы любили его. У нас было обостренное чувство природы. Мы видели жизнь во всем окружающем – жизнь, которая слабо бьется в толще старой кирпичной стены, жизнь, которая устало висит в досках старой, покоробившейся двери, жизнь, которая заключена в столах и стульях, в ножах с истертыми серебряными рукоятками, жизнь всех вещей, которыми люди пользовались – пальто, башмаков, твоей старой шляпы, дорогой мой. И этих улиц, надземной железной дороги, от которых сжималась твоя душа, этих толп и суеты, перед которыми ты испытывал робость!

– Земля! – говорил ты. – Верните нам землю! Я говорю тебе, что земля здесь, и что мы это знали. Вот она, почва, урожай, земля. Говорю, что никогда не бывало более плодородной, более живой земли, чем эти улицы и тротуары. Возможно, как ты сказал, в моей густой еврейской крови есть нечто, заставляющее меня любить толпу. Мы – рой пчел с медом, мы любим веселье, изобилие, движение, еду и многолюдье толпы. Этот город был моей поляной, я знала его и любила, я гуляла по нему, эти лица были моими травинками. Я понимала жизнь этого города – усталую, но счастливую жизнь улиц, когда их покидают вечерние толпы, задумчивое спокойствие зданий, отдыхающих после работы в них, негромкие вечерние звуки, запах моря и судов, постоянно доносящийся из гавани, последний, красный, неземной свет заходящего вдали солнца, не слепящий, не жгучий, на стенах старых кирпичных зданий. Все это и еще многое я знала и любила.

Поэтому я знаю, что земля не хуже, чем холмы и горы твоего детства. От какого ужаса ты хотел бежать? Неужели тебе суждено вечно быть глупцом без веры и проводить жизнь в скитаниях?

«От ужаса восьми миллионов лиц!».

Помни о восьми – знай один.

«От ужаса двух миллионов книг!»

Напиши одну, в которой будет две тысячи слов мудрости.

«Каждое окно – это свет, каждый свет – комната, каждая комната – камера, каждая камера – человек!»

Все комнаты, все окна, все люди для твоей жажды? Нет. Вернись в одну: наполни эту комнату светом и великолепием, пусть она сияет, как не сияла ни единая, и вся жизнь будет делить с тобой эту комнату.

О, если б только я могла докричаться сейчас до тебя, поделиться с тобой своей мудростью, сказать, что ты не должен страшиться этих ярко освещенных каменных чудовищ! Здесь нет чуда, нет тайны, которых ты неспособен постичь. Если построят Вавилонскую башню в десять тысяч этажей или если десятиллионный город съжится до размеров муравейника, все равно мое сердце будет биться ровно, все равно я буду помнить листок, появление первой зелени в апреле. Потому что видела, как эти тихие улицы заполнялись машинами, дымом и грохотом, видела, как веселый поток жизней и лиц становился густым, бурным, видела, как человеческий дом поник под нечеловеческими башнями, и не нахожу в этих знамениях никакой тайны. Я говорила тебе, что магазин, где работает моя сестра, обязан своим существованием платью, которое она сшила мне из отреза купленной по дешевке ткани: в ее таинственном духе есть некое волшебство, из этого духа и появилось горделивое каменное здание. А раз так, то разве человек не выше башни? Разве тайна, сокрытая в одном атоме усталой плоти, не значительнее, чем все вздымающиеся огни?

И теперь я снова думаю о тихих улицах, особняках, старом утраченном городе моего детства, и он кажется до того близким, что можно коснуться рукой. Снова вижу детское лицо, вижу десяток людей, которыми была некогда. Слышу прежние звуки, прежние песни, прежний смех. Прилив памяти заливаает мне сердце со всем разнообразным грузом значительного и мимолетного – с лицами мужчин в шляпах дерби, идущих по Бруклинскому мосту, смехом влюбленных на темных улицах, трепетом листа на ветке, неожиданным пятном лунного света на темной морской воде в тот вечер, когда познакомилась с тобой, шелестом кружащихся на ветру газетных обрывков, узловатым деревом над развалинами стены в штате Мэн, голосом, который давным-давно отзвучал, и с песней, которую пела в сумерках моя мать перед смертью.

И думаю о тебе! Думаю о тебе!

Все события, все времена моей чудной жизни сошлись воедино, и я думаю обо всей красоте, которую создала, и которая исчезла. Вижу театральные декорации, над которыми трудилась, конец спектакля, рабочих, убирающих сцену, прощающихся друг с другом актеров: краткое сияние, великолепие своей работы и ее скорый конец, забвение на складе, занавес, поднятый перед рядами пустых кресел.

И думаю о тебе.

А ты, представилось мне как-то, вечером сидел там, в темном зале, и вся моя душа воскликнула: «Он вернулся ко мне!». И я сказала: «Кто это? Что за человек сидит там?». А потом увидела, и всегда вижу, что это не ты. Я вижу не тебя. А уборщицы продолжают откидывать пустые сиденья.

А теперь я снова приехала домой, из Парка в давнем октябре.

Полицейский привел Эстер домой, она надеялась, что там никого не будет. Кэти впустила их, Эстер велела ей дать этому человеку денег и угостить его выпивкой.

А потом вошла в темноту своей комнаты и стояла в потемках, прислушиваясь к пароходам на реке. Думала о Джордже, и в мозгу ее все кружилось, словно палая листва на ветру в Парке, в давнем октябре.

Думала о нем. Долго, долго в ночи думала о нем.

(Раз!)

О, я слышу пароходы на реке.

(Два!)

О, вот большие пароходы идут вниз по реке.

(Три!)

Когда долго, долго я лежу в ночи без сна.

Время, прошу тебя, время! Который час? Уже пора спать, юная леди. Уже пора умереть, юная леди. Да, твоей любимой пора умереть.

«И слушая тебя, о времени напрочь забываю». О, Господи! Как это прекрасно, как правдиво! Я думаю обо всем времени, что мы провели вместе, обо всем восторге и блаженстве, что мы познали. Поверит ли кто этому? Бывало ли когда-нибудь нечто подобное?

Я беру книгу, большую антологию, твой подарок, и читаю иногда чуть ли не всю ночь. Господи, какие замечательные стихи можно отыскать в ней! Я вижу, что другие сердца были отягощены задолго до моего, что поэты во все времена писали о своей печали. Это так прекрасно, но какое блаженство было больше нашего? Кто описал его? Кто умерил мои страдания? Кто любил так, как мы? Кто знал блаженство, горе и все прекрасные времена, какие мы знали вместе?

В больничной палате Мюнхена Джордж сидел на краю своей койки. На стене перед ним, над тумбочкой, висело зеркало, и он вглядывался в него.

«Лик человека в зеркале разбитом». А что его разбитое лицо в целом зеркале?

Из темных глубин зеркала сидящее Существо подается вперед, торс кажется укороченным, толстая шея втянута в широкие плечи, очертания груди напоминают бочку, громадная лапища сжимает коленную чашечку. Таким он вылеплен, таким создан.

А то, что натворила природа, усугубили человеческие усилия. Существо в темных глубинах зеркала выглядело как никогда карикатурно, по-обезьяньи. Лишенный густых волос, непристойно оголенный череп с ушами-крыльями переходил в низкий наморщенный лоб с густыми зарослями бровей; ниже обезображенные черты лица, толстый, вздернутый нос свернут вправо (его перебили посередине с левой стороны), губы распухли, общее выражение такое, словно его внезапно окликнули – досталось ему здорово. С детства он не заслуживал до такой степени полученной от ребят клички – Обезьян.

Джордж глядел на Существо в зеркале, а оно на него, с какой-то недоуменной, отчужденной бесстрастностью, не как ребенок смотрит на свое безмолвное отражение, мысленно говоря «я», а будто со стороны, и думал: «Клянусь Богом, ну и образина же *ты!*» – имея в виду не *Себя*, а *Его*.

Существо отвечало ему взглядом, тяжело дыша сквозь приоткрытые распухшие губы. (Джордж ощущал застарелый запах иода, засохшую, пропитанную кровью ватку в носу.) Он шумно вдохнул разбитым ртом, и в зеркале обнажились расшатанные зубы с полосками запекшейся крови между ними. Повыше рта нос был свернут на сторону, налитые кровью глаза смотрели пристально; под глазами красовались красно-зелено-желтые разводы.

– Черт возьми! Ну и рожа!

Существо криво улыбнулось в ответ сквозь свою разбитую маску; и неожиданно – вся гордость и тщеславие улетучились – он рассмеялся. Разбитая маска рассмеялась вместе с ним, и душа его, наконец, освободилась. Он был человеком.

– Ну, Рожа?

– Мученик любви? – отозвалась она, улыбаясь в ответ.

– Шедевр природы!

– Непризнанный писатель!

– Уродец!

– Кто тебя *выпустил?* – весьма язвительно спросило его Тело.

– Кто меня *выпустил?* Какой там черт, *выпустил!* Кто меня *заточил*, хочешь сказать?

– По-твоему, я?

– Да, *ты!*

– Я не сомневалось в побеге, – сказала Тело. – Ну?

– Что «ну»?

– Не будь ты *заточен*, где бы ты *находился?*

– В клевере, мой курносый, бандитского вида друг. В клевере, Обезьяна.

– Это *ты* так думаешь, – сардонически произнесло Тело.

– Это я *знаю!* Горилла! В тебе нет никакой нужды! Ты просто случайность!

– Вот как? А *ты?* Надо полагать, нечто запланированное.

– Ну...

– С красивыми маленькими ступнями, – иронично произнесло Тело. – И с такими

изящными руками, – оно подняло свои лапищи, поглядело на них, – с длинными, заостренными пальцами художника – так? – насмешливо сказала оно.

– Послушай, Тело, не насмехайся!

– И с шестью футами двумя дюймами стройного американского юношеского...

– Послушай...

– ...но не стал бы возражать против шести футов одного дюйма, видит Бог! И с длинными, белокурыми, вьющимися от природы волосами!

– Твоя природа, Тело, до того груба и низка, что ты не способно оценить...

– «Утонченного» – сухо произнесло Тело. – Да, знаю. – Однако продолжим: с голубыми глазами, римским носом, классическим лбом, профилем юного греческого бога – словом, Байроном без хромоты и тучности – любимцем женщин и гением до мозга костей!

– Слушай, Тело, черт бы побрал твою душу!

– Души у меня нет, – сухо сказала Тело. – Она для «Художников» - я правильно выражаюсь? – съязвило оно.

– Не насмешничай!

– Душа для Великих Любовников, – продолжало Тело. – А моя находится ниже пояса. Правда, она служила тебе в самых душевных порывах – не будем в это вдаваться, – насмешливо произнесло Тело. – Я ведь просто-напросто жернов на твоей шее – случайность.

И они еще несколько секунд глядели друг на друга; потом заулыбались.

Джордж сидел, глядя на отражение своего тела в зеркале, и воспоминание об их совместной жизни явилось тревожить его мучительной ее таинственностью. Он думал о миллионах сделанных вместе шагов, о миллионах раз, когда вместе вдыхали воздух ради жизни, о тысячах раз, когда слышали, как часы отбивают время под вечным светом неизведанных небес. Да, они долго были неразлучны, это тело и он. Много прожили наедине друг с другом, много видели, думали, чувствовали и теперь знали то, что знали, не отвергали друг друга, не тяготились друг другом, были приятелями.

Было время мечтаний и выдумок, когда он не видел тела таким, как оно есть. Тогда он казался себе облеченным великолепной плотью. Они вместе бывали героями множества доблестных, романтических подвигов, были вместе прекрасными и доблестными.

Потом настало время, когда он проклинал, ненавидел свое тело, так как считал его уродливым, нелепым, недостойным себя, видел в нем причину всех своих бед и огорчений, полагал, что тело предает его, отделяет от той жизни, которую он так любил, с которой хотел слиться. Он стремился узнать все и всех на свете и постоянно хотел сказать окружающим:

– Нелепая фигура, которую вы видите, это не я. Не обращайтесь на нее внимания. Забудьте о ней. Я такой же, как вы. Я один из вас. Пожалуйста, постарайтесь видеть меня таким, как есть. Кровь моя струится по жилам, она такая же красная, как ваша. Я во всем состою из тех же веществ, рожден на той же земле, живу той же самой жизнью и ненавижу ту же самую смерть, что и вы. Я во всех отношениях один из вас и хочу получить свое законное место среди вас немедленно!

В то время он был раздражительным и злобным, ненавидел свое тело, потому что оно вставало между ним и его самыми сокровенными желаниями. Презирал его, поскольку присущие ему чувства обоняния, вкуса, зрения, слуха и осязания никогда не давали, как и надлежит всякой плоти, ощущения окончательной, захватывающей, полнейшей сущности жизни, несравненной радости бытия. Поэтому он колотил тело в своем безумии, изнурял, не щадил его под жестоким бичом своих неутолимых желаний и голода, превратил в сосуд того безумного вождения утробы, мозга, сердца, которое в течение четырех тысяч дней и ночей не

давало ему наяву ни минуты покоя. Проклинал, потому что тело не могло выполнить той сверхчеловеческой задачи, которую он возложил на него, ненавидел, потому что жажда тела не могла сравниться с его жаждой ко всей земле и всему живущему на ней.

Но теперь Джордж не испытывал этих чувств. Фигура в зеркале походила на удобное одеяние, которое он носил всю жизнь и от которого на минуту отказался. Его нагой дух вышел из этой грубой оболочки, и это облачение из костей и плоти отвечало духу взглядом, пробуждая в нем чувство приязни и уважения, с каким мы смотрим на любую старую вещь – башмак, стул, стол или шляпу, – которая жила с нами одной жизнью, служила нам верой и правдой.

Теперь они оба немного помудрели. Эта плоть не предавала его. Она была сильной, стойкой, невероятно чувствительной в сфере своих чувств. Руки были слишком длинные, ноги слишком короткими, кисти рук и ступни походили на обезьяньи больше, чем у большинства людей, но были человеческими, не уродливыми. Уродство было только в его безумии, в озлоблении сердца. Но теперь через мудрость тела и мозга он понял, что дух, возомнивший себя слишком утонченным для грубых земных целей, либо слишком незрел и неискушен, либо чрезмерно сосредоточен на себе, слишком устремлен внутрь, слишком влюблен в красоты собственной художнической души и заслуживает того, чтобы затеряться в чем-то большем, чем сам, и таким образом обрести свое место, делать в мире мужскую работу – а если слишком утончен для этого, то, следовательно, слаб, хрупок, никчем.

Они вместе открывали землю, его плоть и он, открывали самостоятельно, тайком, в изгнании, в странствиях, и в отличие от большинства людей знали то, до чего дошли сами. Самостоятельно, своим тяжелым трудом, они взяли в руки чашу знаний и осушили. Узнали то, что большинство людей было бы радо знать. И что же узнали они, пройдя путем трудов и страданий? Вот что: они любят жизнь и своих братьев-людей, ненавидят смерть-в-жизни, и жить лучше, чем умереть.

Теперь он смотрел на свое тело без презрения или злобы, с удивлением, что живет в этой обители. Теперь он осознавал и принимал его несовершенства. Теперь он понимал, что демон его жажды будет вечно недостижим. Сознал, что люди больше, чем люди, и меньше, чем дух. Чем обладаем мы, кроме сломанного крыла, чтобы иметь возможность парить в поднебесье?

Да! Он сознавал, глядя на нелепую фигуру в зеркале, что сделал со своей жаждой и своей плотью все, что по силам человеку. И сознавал также, хотя его распухшее, избитое лицо могло показаться физиономией безумца, что дух, обитающий за этой маской, теперь спокойно, здраво взирает на мир впервые за десять лет.

– Это человек, – спросил он, – сидит так неусыпно во чреве ночи?

– А раз так неусыпно, то разве не Тело вмещает человека?

– Это неправда. А теперь, Тело, дай мне поспать.

– Это правда. А теперь, Человек, отвяжись от меня.

– Нет, Тело; жестокий, неотвязный Червь, таящийся во чреве ночи, непрерывно извивается, и это не дает мне заснуть.

– Этот Червь твой. В давно прошедшие годы, когда Тело, на которое ты недавно гневался, и ты лежали вместе, никакой Червь не мешал нам.

– Но существовал.

– То был Червь зарождающийся. Червь развивающийся. Червь, шевельнувшийся в крови, начало страницы.

– С чего-то, с чего-то начался разлад между нами – с чего? С чего? С Червя?

– Начался он давным-давно, Бог весть, с какой вехи, в какой ячейке памяти – возможно, с солнечного света на веранде.

– Тогда было хорошее время, тогда было все, чего теперь не стало, крыльцо, корзина, яркие

настурции...

– Близкое кудахтанье греющихся на солнце кур, всеобщая утренняя суета, чей-то голос, обращающийся к тебе, в полдень скрежет трамваев, останавливающихся на углу, шарканье кожаных подошв по улице, хлопанье калиток и неожиданные приветствия, бодрящий холодок пиленого льда в полдень – тяжелый, черный дух простоватых негров, щипцы для льда, линолеум – хриплое, приятное, спокойное мычание коровы Крейна, идущей переулком вдоль ограды заднего двора...

– И ты было там?

– Да! Целиком и полностью.

– И погруженное в бездны времени и памяти?

– Нет-нет, это была твоя роль – из этих бездн и стал появляться впервые слепой, неотвязный Червь. Но я было там, было там - да, с пухлыми ножками, в корзине, чувствующее свет.

– Свет уходит, свет возвращается – печаль, надежда...

– Это порождения Червя, они твои, твои - не мои. Мое солнце.

– А печаль, Тело, когда оно исчезло?

– Иногда неприятные ощущения – не печаль. Печаль – это Червь.

– Ты ревело?

– А как же! Когда бывало грязным, испачканным, противным, мокрым, голодным, обделавшимся! Ревело! Ревело! – Да! Ревело, требуя утешения, тепла, облегчения, сытости, сухой подстилки – солнца!

– А потом?

– Потом уже нет, уже нет. Жило только Сиюминутным. Хорошее было время.

– Хорошее время – это...

– ...это время, когда на свете жил-был малютка-мальчик,- сказала Тело.

– То время хорошее, потому что тогда появлялся солнечный свет и падал на веранду, тогда были шаги мужчин, шедших домой в полдень, запахи рыхлой земли и табака, струйки табачного дыма из ноздрей, складки на горле, вялые, толстые, неприятные женщины в отсыревших халатах, с тюрбанами из кухонных полотенец, томительная скука обыденности, влажная ботва репы, проветривание домов по утрам, перевернутые матрацы, выбитые ковры, теплый привычный запах земли и настурций, мысль о комнатах, их приятных застарелых запахах, внезапная гнетущая тишина после того, как прошел трамвай, и какое-то тоскливое чувство надежды, что скоро полдень.

– Это все было твое – извивы Червя, – сказала Тело.

– А потом опять корова Крейна и утро в джунглях памяти с множеством жизней-и-смертей в далеком прошлом, с мыслями о завывании зимнего ветра в дубовых ветвях, с множеством солнечных лучей, появившихся и исчезнувших с утра, с отзвучавшими голосами – «Сынок, ты где?» – давно скончавшихся в горах родственников... То было хорошее время.

– Да, – сказала Тело. – Только – домой возврата нет.

notes

Натаниэл Карриер (1813 – 1888) – американский предприниматель. Совместно с художником Дж.Айвзом в середине XIX века организовал выпуск эстампов.

Бэббит – герой одноименного романа С. Льюиса, духовно убогий обыватель.

Джек Кетч – английский палач в XVII веке. Отличался особой жестокостью.

Верцингеториг – вождь кельтского племени арвернов, в 52 году до н.э. возглавивший крупное восстание против Цезаря. В 46 году до н.э. взятый в плен Верцингеториг был доставлен в триумфальной процессии в Рим и там задушен.

Перевод С.Маршака.

* Тюръма в США.

Rapce (англ.) - бельгийский мрамор.

'Перевод С.П.Боброва и М.П.Богословской.

Гибель Богов (нем.).

Чем больше перемен, тем больше все остается по-старому (*фр.*).

«Ну да, месье», «Большое спасибо», «Прошу прощения» и «Сейчас» (фр.).

Перевод Б. Пастернака.

Члены тайных религиозно-политических обществ в Баварии во второй половине XVIII века.

Перевод М. Донского.

– И все приготовленное в масле.

* – Все, приготовленное в самом лучшем масле (*нем.*)

Долой (нем.)

Октябрьское празднество (нем.).

У меня ничего нет, месье (фр.).

* Кондитерская (фр.).

Ну конечно! Позвольте мне... (Фр).

* Вы понимаете (Фр.)

Ну конечно. Разумеется. Что-нибудь за среднюю цену (фр.)

* Пожалуйста, месье (фр.)

* Не так ли? (фр.)

** Вы ошибаетесь! Совершенно, совершенно, совершенно (*фр.*)

*** Сюда, месье! (фр).

Дом (фр.)

* Все будет хорошо! (*фр.*)

** Нет, нет, нет! Это русские, немцы, итальянцы (фр.)

Ах! Мюнхен... прекрасен! (нем.)

Приятного аппетита (*нем.*).

Страна лентяев (*нем.*).

Бесконечности (нем.).

Пейте, пейте, собратья, пейте! (нем.).

Тайный советник (нем.).

Что такое? (нем.).

* Повязка (нем.).

** Ранен (нем.).

Жара нет (*нем.*).

Ну, да. Конечно (*нем.*).